



Гарий Немченко

ГАРИЙ
НЕМЧЕНКО

ИЗБРАННОЕ

ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ



МОСКВА
МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ
1984

84Р7
Н50

Художник
Д. ШИМИЛИС

Немченко Г. Л.

Избранное: Повести и рассказы / Послесл. Е. Сергеева; Худож. Д. Шимилис. — М.: Мол. гвардия, 1984. — 542 с., ил.

В пер.: 2 р. 30 к. 100 000 экз.

Проза Гария Немченко — о наших современниках, о дне сегодняшнем. Его герои — люди щедрого и глубокого сердца, и чем сложнее отношения между ними, тем богаче жизненный опыт каждого. Опыт этот писатель относит к категории нравственных ценностей. Отсюда и главная тема — осознание человеком самого себя как личности, понимание неразделимой причастности к судьбам Родины, поиск духовного родства.

© Издательство «Молодая гвардия», 1984 г.

ПОВЕСТИ



ПОВЕСТИ

ПОД ВЕЧНЫМИ ЗВЕЗДАМИ

ОЗЯБШИЙ МАЛЬЧИК

То ли из-за холодов, то ли потому, что рейс этот последний, народу в автобусе почти не было, лишь несколько человек сидели на передних местах, постукивали ногами.

У меня были большой чемодан и пузатая сумка, и я пошел назад, чтобы поставить все это там, где вещи мои никому не помешают, и тут его и увидел: сжавшись, он одиноко сидел на заднем сиденье — руки засунуты в карманы, и локти чуть-чуть расставлены и будто приподняты вверх, козырек надвинут на глаза, голова, туго обтянутая верхом кепки, опущена, уши оттопырены, а воротник торчит, шея голая... И сесть где придумал — у самой задней двери, а она плотно не прикрывается, щель такая, что запросто можно просунуть кулак... Сидит, нахохлился, бездомный воробей, да и только!

Я определил свои чемоданы, устроился на сиденье над задним колесом, там, где два кресла стоят одно напротив другого, обернулся к нему:

— Садись хоть чуть поближе, а то совсем замерзнешь!

Он охотно перешел, сел напротив. Щупленький мальчишка, совсем худерба. Подбородок остренький, и нос тоже маленький, острый, глаза хорошие, внимательные. Лет, наверное, одиннадцать мальчишке.

— Холодно небось?

— Холодноовато...

— А чего это ты так поздно надумал ехать?

Он как-то по-взрослому сказал:

— Да вот пришлось.

И тут же пристукнул зубами, задрожал, прогоняя холод.

— А ты разомнись, пока стоим. Зарядочку быстренько — раз, два!

— О-ой! — сказал он, пытаясь слегка приподнять одну руку и морщась. — Не получится у меня зарядка...

До сих пор все тело гудит.

— Чего это оно у тебя гудит?

— После тренировки.

Пошел разговор:

— Во-он как! А чем занимаешься?

— Боксом, дядь.

— Ну, ты молодец. И давно уже занимаешься?

— Третий год.

— А сколько тебе?

— Вот двенадцать будет.

— И правда молодец.

Автобус катил теперь по освещенным улицам, поворачивая притормаживал, и за полузамерзшими стеклами подрагивали и смутно расплывались огни — то белые, от далеких уличных фонарей, а то зеленые и синие — от реклам. Как ни всматривался, я не узнавал мест, по которым ехал, и только потом вдруг понял, что автобус идет другою дорогой и как раз сейчас мы будем проезжать мимо нашего дома.

Меня словно какая-то сила подняла с места, толкнула к затянутому морозом окну на противоположной стороне, но было уже поздно, машина снова поворачивала за угол, и я только торопливо повел головой, а потом, придерживаясь за спинки кресел, вернулся на свое место, присел, и оттого, что я не успел проводить взглядом свой дом, на душе у меня вдруг стало тревожно. Как будто это было очень важно: успеть.

Странно, совсем недавно я ездил чаще и ездил куда как дальше, хотя бы потому, что ко всем маршрутам каждый раз мне надо было прибавить еще и путь от Сталегорска до Москвы, откуда у нашего брата начинаются почти все дороги, но вот поди ты: никогда раньше я не уезжал из дома с таким бьющимся сердцем, как теперь. Может быть, уже давал себя знать возраст? Или это было что-то другое, связанное все с тем же — с переездом из Сибири, где я прожил больше десятка лет, с возвращением сюда, на Северный Кавказ. На мою родину.

Тут творилось со мной что-то непонятное.

Жили мы теперь в чудесном маленьком городке, который утонул в зеленой и теплой котловине у подножия недалеких гор с розовато-синими пиками. Во всякое время года был этот городок хорош до того, что при ощущении красоты его тонко щемило сердце.

Меня особенно трогали удивительные его, давно исчезнувшие в больших городах необыкновенной чистоты запахи. То зимою, когда черную наготу каштанов да ясеней прикроет первозданной белизны снег, среди легкого морозца уловишь вдруг витающий над пивным заводом сытый парок ячменного солода. То весной, когда промчится гроза и улетающий вслед за ней прохладный ветер рассыплет на мытых улицах крошечные лепестки отцветающих вишен, ты поймашь вдруг мятное пряничное тепло, плывущее из раскрытых окон кондитерской фабрики. Летом сладкий дух древней «изабеллы» будут покачивать на себе горячие дымки шашлыков, а осенью, когда закаты цвета молодого вина уже поблекнут, вечерняя сырость остро пропахнет первой прелью да горьковатым куревом окраинных костров, на которых сжигают бурьян и палые листья.

Чего, казалось бы, живи теперь да живи, но меня то мучила тоска, то одолевали страхи и неуверенность.

Сначала я относил все это за счет нашего неустройства на первых порах, но потом, когда все более или менее утряслось, спокойствие ко мне так и не пришло.

Казалось, все было хорошо, но вот в умиротворение зимних сумерек врывается грохот прокатного стана. Городок, замерший у синих предгорий, словно молнии, озаряли красноватые сполохи плавки, и мне вдруг нечем становилось дышать... Или убаюкивающее тюрюканье сверчков в осеннем саду родной моей станицы неожиданно взрывал тысячеголосый крик, и вслед за ним слышался хрусткий удар шайбы о промерзший борт хоккейной коробки, и я крепко зажмурил глаза, как от внезапной боли.

В такие минуты все эти благодатные запахи игрушечного городка я бы не раздумывая отдал за то, чтобы не в воображении, а наяву лишь на секунду ощутить тот самый аромат, который ты вдруг уловишь, когда моторная лодка будет похлестывать днищем о пережат еще за тридцать километров от очистных сооружений за нашим поселком.

Необычные для юга холода и небывалый снег этой зимы я принял как дружеский привет издалека, и долгие метели были для меня словно старый и надежный союзник, одна мысль о котором прибавляет сил. По улице в эти дни шагал я с особым настроением, и, даже когда занят был разговором или на чем-то сосредоточен, где-то на втором плане то мгновенно пронеслись, а то плыли медленно и безмолвно обрывки знакомых видений: скованное льдом и уже заметенное порошей широкое плесо, отороченное зубчаткою ельника. Сизые дымки над крошечной, утонувшей в снегу деревенькой и первая над тайгой зеленая звезда. Собака, только что ворошившая рыхлый сугроб, подняла карие глаза, и горячая морда у нее еще залеплена белым...

В скверике в центре города однажды я увидел покрытую куржаком сосну и вдруг остановился как вкопанный. Было синее, с колким морозцем утро, и освещенная ранним солнцем пышная крона с блестками инея на концах веток показалась мне вдруг хорошо знакомой, и знакомыми были и две растущие рядом березки, и смутные очертания кустарника чуть поодаль. Пройти еще самую малость, и начнется молодой осинничек с развалом лосиных следов посередине и с петлями заячьих набродов, а за ним тебе откроется внизу узкий и длинный лог с тугими гривами пихтача на крутых взлобках, и там, в самой горловине его, у ручья совсем почти незаметное издали зимовье дяди Саши Тимакова, и высокие сопки над ним, и бескрайняя тайга, и дальние гольцы...

Я постоял еще немножко и пошел вбок, туда, где тянулась широкая, со скамейками по бокам аллея, и ни разу не оглянувшись, и ни разу больше не приходил сюда, словно боясь обмануться, но всегда теперь помнил, что есть одно такое местечко, куда я, может быть, еще приду, если станет мне совсем плохо.

До сих пор я был легок на сборы, но здесь любая поездка, даже самая близкая, стала для меня вдруг проблемой, и, собираясь, я нервничал и, пожалуй, в последние день-два надоедал своим домашним настолько, что, провожая меня, они еле сдерживали вздох облегчения. Так и нынче.

У порога жена подбадривала меня взглядом, ей хотелось, чтобы напоследок в окружении троих наших ребятишек я увидел ее улыбающуюся, уверенной в себе и в том, что этот месяц, пока меня не будет дома, она и сама с ними отлично справится. Я все это понимал и был благодарен, но, ей-богу, больше, пожалуй, мне хотелось уловить тогда какой-нибудь признак, из которого можно бы заключить: без меня им тут будет нелегко.

Со старшим у нас был на днях серьезный разговор о его школьных делах, и сейчас он стоял с учебником геометрии в руках и тихонько покачивал головой, словно все еще что-то про себя повторял и никак не мог оторваться, и вид у него был нарочито глубокомысленный, но я-то знал, что тут же, как только щелкнет замок, он бросится в детскую и учебник с шелестом полетит в угол, а сам он — бедные наши соседи! — с маху опрокинется на тахту и задерет ноги.

Средний рассмешил нас вчера. Мы сидели за столом, ужинали, все как-то притихли, и он вдруг со вздохом сказал:

— Хоть бы недельку пожить без всех этих вопросов.

Я так и застыл с открытым ртом:

— Это без каких же вопросов?

— Ну, «вытряхни, пожалуйста, из пепельницы», «подай тапку».

Теперь мать выжала из него наконец, что он «будет скучать», но по глазам его очень хорошо было видно, что он отлично понимает: с моим отъездом «вопросов» для него станет вдвое меньше.

А младший наш, Митя — совсем кроха, — сидя у жены на руках, усердно делал мне «до свиданья, до свиданья», и все они вместе с ней демонстрировали, в общем, такую твердую решимость без меня продержаться, что, казалось, не могли дожидаться, когда дверь за мною захлопнется.

И я спускался по темной лестнице и грустно думал, что младший мой, как говорится, неодинок, что все трое моих мальчишек ничего еще пока не понимают, и с внезапной тревогой бросился потом к замерзшему окну, когда автобус катил мимо нашего дома.

Теперь мы были уже за городом, но ехать стали заметно медленней. По заиндевелым стеклам то и дело ползли желтые блики от встречных машин, ползли еле-еле — покрытая наледью полоска асфальта здесь совсем сузилась, а на обочину не съедешь, там теперь тянутся белые островерхие хребты и черные стволы голых деревьев вдоль дороги сиротливо торчат над горбатыми сугробами.

Зима и правда для здешних мест просто небывалая.

До сих пор я и сам себе не желал признаваться, что мне, как и всем, тоже холодно, все держал сибирскую марку и ни разу не появился на улице ни в ушанке, ни в теплых ботинках.

В этом городе, где я теперь жил, в обычае медлительная беседа где-нибудь посреди тротуара на улице, и я, привыкший к торопливому ритму рабочего поселка, на первых порах все куда-то невольно спешил и чувствовал себя неловко, когда понимал, что беспокойством своим этот здешний обычай я безжалостно нарушаю. Но теперь я уже пообвык. Порассуждать о коварстве нынешней зимы останавливался на улице с двойным удовольствием и только начинал настраиваться на благодушный разговор, как вдруг замечал во взгляде у своего собеседника некоторую нервозность, и становилось неловко мне теперь оттого, что опять я словно чего-то не понимал, продолжая задерживать на холоде озябшего человека. Я тут же протягивал руку, а мой знакомый, поспешно подавая свою, другою виновато тер уши или проводил по влажным от изморози усам.

А сейчас я, кажется, впервые пожалел, что не оделся теплее, пальцы на ногах у меня уже вконец занемели, острый сквозняк, бежавший над металлическим днищем автобуса, немилосердно жег лодыжки.

А мальчишка напротив и совсем, видно, застыл. Ткнул в грудь подбородок да так и замер.

— Вот, брат, как нынче дает.

— Дает так дает.

— Нам с тобой надо было валенки надевать, а мы в туфельках.

— А вы, дядя, пальцами шевелите, а потом — пяткой в пол или вот сюда.

Он уперся подошвами в ножку моего сиденья, а плечами прижался к спинке кресла, напрягаясь всем телом, и маленький его острый подбородок слегка приподнялся и задрожал.

— Уф, знаете, как сразу тепло.

Я невольно прищурил глаза, улыбаясь ему: ишь, теоретик.

— Ну а в дневнике-то у тебя как? Терпеть можно? Или сплошные двойки?

— Да нет, как сказать.

— Одни пятерки, что ль?

— Да нет, не одни, но есть. — И тут же вздохнул: — Верней, были. В той четверти. А в этой не было.

— Что ж ты так?

Он снова ответил, не вдаваясь в подробности:

— Так получилось. — Помолчал немного, а потом словно решил-таки досказать: — Бокс много времени отнимает, вот в чем беда. А бросить его я не брошу.

И лицо у него стало строгое.

— Это ты правильно. Ни в коем случае не бросай. Сам я бросил. И чем дальше, тем обиднее почему-то об этом мне вспоминать.

А начиналось так хорошо. В новом здании университета на Ленинских горах у нас был прекрасный зал, и занимался с нами не кто-нибудь, а Виктор Иванович Огуренков, тренер сборной страны, и ребята из сборной, когда съезжались в Москву перед поездками за границу, работали у нас в зале, и тогда тут было на что посмотреть. Нет-нет, время то было замечательное, жаль, что его нельзя повторить, нельзя прожить заново.

У меня вроде бы получалось, и раза два или три Виктор Иваныч проворчал что-то такое, что можно было понимать как похвалу, а потом произошла такая штука: на тренировке у меня украли часы.

Как-то после разминки я на минуту вышел из зала, зачем-то заглянул в раздевалку и тут увидел, как дверцу

моего шкафа закрывает рыжий высокий парень, — он стоял еще без перчаток, только ладони были перебинтованы. Тогда-то я не придавал этому значения, ни о чем таком не подумал: может быть, человек ошибся, да мало ли! В те счастливые времена я был яростно убежден, что одно только слово «московский» уже как бы является надежной гарантией против всего дурного, иначе и быть не могло, а как же — здесь, в стенах университета, собрались самые достойные, и все они вместе — это тоже своего рода сборная, и это чудо, что в нее вдруг попал и я...

И когда я заметил рыжего около моего шкафа, мне и в голову ничего не пришло. Только потом, когда пропажа обнаружилась, тот миг увиделся мне как бы заново, и как в зале кино, когда смотришь фильм второй раз и замечаешь уже гораздо больше подробностей, так и я теперь уловил, теперь припомнил, что, увидев меня, рыжий как-то странно сжал ладонь...

Не знаю, что я сделал бы, если бы это дошло до меня сразу, но как обвинить человека в воровстве задним числом?

Вот они, ладные эти ребята, уже одетые после душа, затягивающие галстуки, поправляющие виски, — влажные волосы ровно расчесаны, и у каждого по тогдашней моде — кок, и от всех прямо-таки пышет чистотой и здоровьем. И вдруг подхожу к ним я — в тубетейке, которую вынужден носить, потому что иначе прическа моя тут же рассыплется, как плохо сложенная копна, и с прыщиком на подбородке, в черной вельветке на «молнии» и в широченных брюках.

Я вообще заикаюсь, но, допустим, мне удастся внятно произнести:

«Ты взял мои часы — отдай».

Все лица уже повернуты к нам. «Слышали, что он сказал?» — сощурившись, спрашивает рыжий. Плотная стенка вокруг меня смыкается. «Что тут происходит, молодежь?» — это Виктор Иванович. «Он говорит, что у него украли часы!» — «Эй, парень, — скажет Виктор Иванович, — а ты, перед тем как сказать, подумал? На кого ты хочешь поклеп возвести? На одного Динковича или на всю секцию? А может, и на... ты подумал, где ты учишься?»

А я был тогда и правда парнишка не очень испорченный, и ночью, когда ворочался на своей койке в общежитии на Стромынке, все представлялось мне таким образом, словно, подозревая Динковича, я невольно замахивался и на наш высокоглавый университет, и на светлые идеалы, и на что-то чуть ли не самое святое.

На следующую тренировку я пришел с тяжелым сердцем. А у Динковича заболел партнер, мой тоже почему-то не появился, и в спарринг Виктор Иванович поставил нас вместе.

Мне было стыдно и за Динковича, и за себя, и за весь белый свет, я мучился и пропускал удары, а он бил и бил без промаха, и, перед тем как все закрывала тяжелая его кожаная перчатка, в совиных глазах его я каждый раз ловил белые вспышки какой-то непонятной мне дурной ярости.

Конечно, это была слабость — на секцию я больше не пришел.

А ты ходи, мальчик, ходи — может быть, и я тогда устоял бы, если бы в спортзал впервые попал не в восемнадцать, если бы запах пропахшей потом кожи на перчатках вдохнул бы раньше и раньше ощутил все то, что я, кажется, так ясно ощущаю и сейчас — и прилиплю к телу майку, и мокрый свой подбородок на горячем плече, и боль в скулах от тупого удара в челюсть, и солоноватый привкус во рту, и шнурки, которые вдруг хлестнут по щеке, и тугую резинку на поясе, все!

— Ты не бросай. Подтянуться, брат, с учебой надо железно, но секцию не бросай.

— Кружок...

— Да, кружок.

— Другой раз я боюсь, что не выдержу, — сказал мальчишка. — Но пока я держусь. Правда, мне сейчас ох и здорово достается!

— Почему?

— Да просто мне не повезло. К нам новенький пришел в этом году. Тренер поставил его со мной и говорит: а ну-ка, Толя, покажи ему, как надо работать. А он такой же вроде, как я. И рост и все. А потом я чувствую, что-то не так, точно — не так! Больно он крепкий. А сколько тебе, говорю, лет? А он: четырнадцать. Представляете, дядь, он почти на три года старше меня.

— Д-да, слушай, это, наверно, чувствительно!

— Еще как! Он так колошматит!

— А он давно занимается?

— Говорит, нет...

— Но ты-то видишь?

— В том и дело, вижу. Мне кажется, он давно не новичок, он такие вещи знает...

С высоты своих тридцати пяти я решил дать ему совет:

— А ты уходи... — И не очень ловко повел шеей, на которой был туго застегнут воротничок с крошечным квадратиком материи, где стояла цифра сорок четыре. — Ты уходи — раз!

— Не, дядь, я не могу от него уйти.

— Почему?

— Да в том и дело, что он видит. Вы понимаете, я только собираюсь, а он видит. Я только финт, а он разгадывает. Я — на обманку, а он — не идет. Понимаете, он по глазам меня видит.

— Да, слушай, попал ты в положение.

Все-таки ему было всего одиннадцать, он вздохнул:

— Другой раз думаю, попасть бы к нему домой, посмотреть: есть ли у него грамоты за бокс?

— А ты спроси у него. Так, будто между прочим: а ты, наверное, уже занимался боксом?

— Но он-то при мне сказал тренеру, что нет. А если я спросил, значит, он меня одолевает? Чего б я иначе сомневался? Так же?

Мне ничего не оставалось, как согласиться:

— В общем, так.

— Вот я и держусь. А что дальше... Прошлый раз он мне саданул, я сначала подумал, у меня челюсть треснула. — В тоне у него, конечно, появилась гордость. — Раз потрогаю, два потрогаю — ну, точно треснула. Потом неделя, две — нет, вроде прошло.

— И ты все это время ходил на бокс?

— А что ж он тогда подумает? Вот я и прикрывался.

— Слушай-ка, — сказал я ему очень решительно. — Ты поговори с тренером.

— А что я ему скажу?

— А так и скажи. Как мальчишку, твоего партнера?

— Борька.

— А Борька, мол, на три года старше.

— А вдруг тренер скажет: а я знаю. Ну и что?

— Как что?

Мальчишка сказал очень просто и очень грустно:

— Он ведь поставил меня и сказал: ты покажи ему, Толя. Выходит, я не могу показать? И он ведь видит, как мы боксуем. Он, наверное, все понимает. Но раз надеется на меня...

Тот, старший, мне здорово не нравился.

— Ну, слушай, если он занимался боксом, ему просто должно быть совестно выдавать себя за новичка!

— Если бы я знал точно.

— А ты спроси.

— Выходит, я ему не верю? Или так сильно напугался...

— Да-а, брат... Но это тоже не дело, чтобы он колотил тебя.

— А мне, думаете, хочется? Вот я и думаю все время, и думаю.

— Да, тут ты, ей-богу, попал.

Он подышал на оконное стекло и приник глазом, а когда снова повернулся ко мне, лицо у него было задумчивое.

И все-таки ты не бросай, мальчик, нет, не бросай, ты держись.

С этим рыжим, с Динковичем, у нас потом сложились странные отношения. Наша университетская многотиражка напечатала мой рассказ, очень слабый и сентиментальный до того, что мне и сейчас еще вспоминать об этом неловко...

У меня был друг Дарио, из тех испанцев, которые детьми еще приехали в Россию. Мать у него умерла еще там, на родине, а об отце ничего не было слышно, и Дарио давно уже считал себя круглым сиротой. И вдруг его разыскал отец, бывший капитан торгового судна. Оказалось, он увел свой корабль на Кубу, и жил там, и тоже плавал, и поднял на своем «купце» красный флаг тут же, как только Фидель занял казармы Монкадо, и в Москву он приехал с самой первой делегацией новой Кубы.

Дарио рассказывал, как отец хотел, чтобы он вспомнил тот день, когда они расстались, наверное, для него это было почему-то очень важно, — он снова и снова рассказывал о давке в порту, о бомбежке, о том, как над французским транспортом, увозившим детей, завязался воздушный бой. А Дарио, как ни напрягал память, видел только большой оранжевый апельсин, который тогда кто-то сунул ему в руки, а отец, конечно, не помнил этого апельсина, и мой рассказ был обо всем этом, только я почему-то решил, что все должно происходить в ночь под Новый год — и расставание в Барселоне, и встреча в Москве... И сын с отцом медленно шли по заснеженным улицам, и под ноги им бросалась метель, и парень-испанец, выросший в России, вспоминал огромный золотисто-красный апельсин.

Оказалось, этот рассказ понравился Динковичу, и как-то он подошел ко мне и заговорил. Пожалел, что я бросил секцию, предложил вернуться и под конец сказал, что он берет меня под свою защиту, что-то такое. В общем, это было и удивившее меня, и признаться, растрогавшее предложение дружбы, растрогавшее, пожалуй, потому, что тогда я впервые стал догадываться о тайной силе слов, твоею волею сведенных вместе.

Странно эта дружба началась, и странно она закончилась.

Мы были с разных факультетов, он с юридического, а я тогда еще не ушел с философского, и Динкович ревновал меня к нашим ребятам и при них вел себя особенно покровительственно, как бы отделяя меня от моих однокурсников, как бы отгораживая от них, как бы от чего-то защищая. В общежитии все это было еще не так заметно, но когда все вместе мы оказались на сборах... Есть, наверное, у казармы такое свойство — чего-то она нас сразу лишила, чего-то тут же прибавила.

А может быть, это было возмужание, не знаю, — так или иначе, в нас сильнее стал жестокий дух соперничества.

Динкович привез на сборы перчатки.

В первый же день он предложил мне заниматься, и мы начали, и вокруг нас стали собираться «юристы» и «философы». А наши бои отчего-то вдруг все меньше стали походять на тренировку, на каждый мой удачный

удар Динкович молниеносно отвечал такой серией, что у меня в глазах начинали плыть круги. Болельщиков становилось все больше, и «юристы» обычно валялись вокруг на траве и покуривали, а наши очкарики стояли, сбившись в кучку, и даже не пытались меня подбадривать.

Дело, пожалуй, еще и вот в чем: состав курса у «юристов» был, как нигде, однородный, и теперь-то, издали, я хорошо вижу — учились там крепкие мальчишки, уверенные в себе и в будущем своем предназначении. А на наш философский, кроме всего прочего, шел все больше народ, который успел уже усомниться в том, что мир можно перестроить одними несложными командами. Как ни на каком другом факе, у нас было много бывших фронтовиков или ребят, уже прошедших через армию — старослужащих. На сборы вместе с нами они не поехали, и сразу же наш курс стал почти вдвое меньше и как будто осиротел. Или мне просто хочется оправдать чересчур мирных моих однокурсников?

Только после отбоя кто-нибудь из них вдруг со вздохом говорил, что Динковичу, мол, конечно, повезло — еще бы, такой терпеливый ему попался «мешок»!

А Динкович и правда совсем уже обнаглел, даже не считал нужным держать руки в защите — тогда была эта мода, работать с опущенными, как у Енгибаряна, перчатками. Иногда мне казалось просто нечестным этим воспользоваться, но однажды, когда, бросив руки вниз, он приплясывал передо мной, с насмешливой улыбкой глядя, как я прихожу в себя после любимого его крюка «по печени», я бросился на него, забыв обо всем, и удар получился крепким, он упал, и впервые за все это время «философы» мои радостно закричали.

Потом он бил меня так, что белая исподняя рубаха была, сплошь покрыта бурыми отпечатками перчаток, и «за неряшливый вид» наш молоденький лейтенант вкатил мне три наряда вне очереди. Динкович знал, что у меня слабый нос, советовал есть чеснок, которым от него пахло почти постоянно. В тот раз он этим воспользовался.

С этого дня мы отдалились друг от друга, а потом судьба и вовсе развела нас: я получил направление в Сибирь, на стройку. Динкович уехал в Ростов, сперва работал в милиции, потом ушел — говорили, не по своей воле — и с тех пор подвизался в каких-то организациях, которые занимались не то снабжением, не то коммерцией; один из его однокурсников сказал мне как-то с усмешкой, что знание законов Динковичу необходимо теперь вовсе не для того, чтобы следить, как их соблюдают другие...

Так, нет ли — во всяком случае, пока он преуспевал, заметно продвигался по службе и довольно скоро перебрался в Москву.

Потом мы с ним встретились в Сталегорске.

Однажды зимой мне в поселок позвонил мой друг и сказал, что в восемь вечера «при полном параде» я должен быть в городе, в ресторане «Русский сувенир». Лучше один, без жены, потому что в принципе намечается мальчишник. В очень узком кругу. Состав? А это маленький сюрприз.

В тот вечер я увидел на столе закуски, о наличии которых в нашем городе я до этого, признаться, и не подозревал. Очень жаль, что мы с моим другом оба не были дипломатами; покачав головою, о щедрости стола я заговорил вслух и только тут понял, что свалил дурака. Ты слышишь меня, Геннадий Арсентьевич? Ты помнишь, какой урок преподавал нам тогда Динкович?

Бесхитростные мои слова стали как бы эпиграфом к чуть небрежному и будто ненароком устроенному показу, как надо уметь жить.

Не знаю, кто в этот вечер подходил к нам чаще — официант или администратор. Знавший нас как облупленных и, ей-богу же, дороживший этим близким с нами знакомством, первому он еще издали начинал улыбаться Динковичу — так, одними глазами, — и к первому потом к нему обращался, и одобрительные отзывы о качестве осетрины принимал с чересчур явным удовольствием.

Официант занимался нами тоже хорошо знакомый, я помнил его еще в потертой гимнастерке вместо отутюженного фрака — он был демобилизованный солдат, работал у нас на стройке сперва бетонщиком, затем перешел в одно маленькое кафе там же, у нас, затем — сюда и, кажется, все сделал правильно, потому что, как говорится, нашел себя. Недавно, когда был телевизионный конкурс городов, за него болел весь Сталегорск, и в финале он обошел своего соперника, официанта из областного центра, и этим почему-то особенно гордились и сталевары наши, и шахтеры, и эта братва — строители: вот, мол, и мы — не лыком...

Он был действительно хороший парень, и сейчас мы с ним, словно вступая в заговор, перемигнулись, и все-таки теперь полные достоинства неторопливые его жесты нет-нет да и казались мне лакейскими... Грустный то был для меня вечер!

Все лица вокруг казались мне не то чтобы враждебными, но полными превосходства и высокомерия, и хотелось выскочить из душного, с пластами сигаретного дыма зала, выскочить, оставив пиджак на спинке кресла, и так, в одной рубахе, пойти по улице, а там вечерняя стынь, там колкий снежок, который мельтешит под фонарями и над витринами, и за седой пеленой метели неслышно подрагивает вдали багровое зарево над старым комбинатом, и в ту сторону спешат трамваи, в которые сейчас лучше все-таки не входить в чистой одежде, потому что какому-нибудь совсем зеленому, только что из училища рабочему человеку больно уж хочется прокатиться в черной, с блестящими графита сталеварской куртке, чтобы все видели — парень, понимаешь, не пыль с пряников в гастрономе сдувает.

По улице катится знакомая толпа, и в окружении «вечерников», каменщиков да монтажников с нашей стройки неторопливо идет кандидат философских наук Кондаков, мой друг Стас, бывший мой однокурсник, который тогда, на сборах, первым бросился под перчатки Динковича и первым заступился за меня перед молоденьким нашим лейтенантом, за что и схлопотал те же самые три наряда, — мы вместе тогда собирали в

расположении лагерь сосновые шишки, и глубокомысленной этой работы было много, потому что дул сильный ветер, и шишки все падали и падали...

Не знаю, чем бы кончилось наше застолье в «Русском сувенире», но к нам подошел один довольно крупный, скажем так, сталегорский чиновник и сперва, правда, кивнул нам, потом положил кулак на край стола:

— Борис Филиппович, машина внизу.

Он был в тяжелом драповом пальто с каракулевым воротником, а пыжиковую шапку, этот неперменный атрибут власти, держал в руке, чуть отставив ее назад, и шапка была вся мокрая, с нее капало на паркет, и я подумал, что, перед тем как подняться сюда, он, пожалуй, постоял в вестибюле, подождал там. Почти тут же к нашему столику подплыла директриса, спрашивая, всем ли гости довольны, и Динкович только степенно покивал, не вынимая изо рта тонкого перышка зубочистки, потом зажал ее губами, раскрывая крошечный, из темного дерева полированный футляр, и тут вдруг на один миг куда девалась его респектабельность, лицо его, до этого строго значительное, вдруг как-то разом обмякло, отвисла вдруг нижняя челюсть, а рыжие свиные глаза стали совершенно дурацкие, такие, какими они бывали у него еще очень давно, когда ни с того ни с сего он мог стать посреди улицы в стойку и, не обращая внимания на прохожих, во всю глотку радостно заорать:

— А по пэчени — бэмз!.. бэмз!

Так и теперь — он вдруг кинул через стол руку с зажатым в ладони футлярчиком, из которого торчали белые хвостики зубочисток, сунул под нос мне, потом моему другу:

— Ты хоть понюхай!.. И ты! Сандал! Такое дерево!

Как лихо и весело мы с тобой, Геннадий Арсентьевич, могли под орех разделять этих надутых индюков, этих в потном кулаке насмерть зажавших захватанное перо жар-птицы гавриков... А что с нами случилось тогда? Почему мы были словно потерянные?

Я, поперхнувшись, промолчал, а ты только сказал, посмотрев на этого, с пыжиковой шапкой в руке:

— Надо бы, Петр Евграфыч, попросить столичного товарища, чтобы он для музея оставил эту штуку, — славная, так сказать, страница в истории нашего забытого богом города.

А Динкович снова был сама респектабельность, фужер с минеральной взял этаким совсем «мидовским» жестом и подпортил только тогда, когда шумно прополоскал рот.

Потом он сунул ладонь за борт пиджака, и мы с другом тоже, словно наперегонки, рванулись рассчитывать, но директриса подняла пухлые руки:

— Что вы, что вы, товарищи... Уже все.

А Динкович раскрыл бумажник, и белый листок визитной карточки лег сначала передо мной, потом — перед моим другом.

— Звоните, для вас у меня время всегда найдется, — и глянул вверх, неторопливо определяя в карман бумажник. — Вы их тут не обижаете, Петр Евграфыч? Имейте в виду, что этим ребятам есть кому пожаловаться... Н-ну, имею честь!

И в том, как он вставал, чувствовалась школа — мы тоже вдруг невольно привстали, а наш солидный, скажем так, чиновник расправил плечи и шеей повел по каракулевому воротнику.

Они ушли, а рядом с нами остался стоять этот мальчишка в отутюженном фраке, наш бывший бетонщик...

На улице шел снег, густой и тихий, и отпечатки автомобильных шин у подъезда ресторана были уже плотно припорошены. Маленький скверик напротив пустовал, и каждая скамейка там была ровно застелена белым. Дальше, над теплой от комбинатовских сбросов речушкой высоко поднимался негустой пар, а над ним, над серыми громадами каменных зданий глухо ворочалось иссиня-багровое зарево.

Мы молча пошли по улице, миновали центр и у моста через теплую нашу речку, не сговариваясь, повернули направо, вошли в кафе. Раздеваться не стали — тут был буфет, в котором можно было не раздеваться.

Немного подождали в очереди, потом все так же молча у высокой мраморной стойки ослабили галстуки, раздергали воротники рубаш, постояли еще чуть-чуть, ни к чему не притрагиваясь и словно бы давая отдалиться от себя чему-то чужому и обидному.

И все, наверное, было бы потом хорошо, и об этом странном вечере мы просто постарались бы забыть, но тут случилась одна история, которая до сих пор не дает мне покоя.

Резко отодвинув меня плечом, мимо нас прошел невысокий худощавый мужчина лет тридцати. На нем был зеленый прорабский плащ, и, когда владелец его, кривя губы, обернулся и с головы до ног окинул меня тяжелым нетрезвым взглядом, я увидел и потертый кожанок под плащом, и обмотанный вокруг шеи шарф.

Мы с моим другом пожалы плечами, но через минуту человек этот, шедший от буфетной стойки уже обратно, налетел на меня на полном ходу, и тарелка, которую он нес в руке, вдребезги разлетелась на каменном полу... Он постоял, слегка пошатываясь и словно задумчиво глядя на свой мокрый кулак, в котором сжимал почти опустевший стакан, потом поставил его на столик со мной рядом, наклонился, подобрал с пола кильку и, держа ее за хвост, осторожно положил на мою тарелку.

— Э, парень, не забывайся! — строго сказал мой друг.

А он тяжело нагнулся, нашел среди фарфоровых осколков еще рыбешку и, приподнявшись, ткнул ею тому в лицо.

Я дернул его за плечо, поворачивая к себе, хотел ударить в подбородок, но промахнулся: кулак скользнул по выложенному поверх плаща меховому воротнику кожанка, и почему-то именно это совсем вывело меня из себя, и, когда я во второй раз ударил уже точно, бедолага отлетел под ноги к швейцару, и тот, молниеносно просунув голову между тонкими, размалеванными под березу стойками, переливчато свистнул в сторону

раздевалки. Там сейчас же выпрямился грудью лежавший на загородке старшина, и все, как назло, произошло в считанные секунды: швейцар, видимо за всем наблюдавший, только что-то негромко сказал старшине, и тот, даже не обернувшись в нашу сторону, быстренько потащил еще не совсем пришедшего в себя человека в брезентовом плаще на улицу.

А милицейский «газик» мы заметили, когда только подходили к кафе, — видно, ребятам надоело колесить по городу, и они на минуту забежали сюда, где шум да суета, а может быть, у них закончилось курево...

По всем забегаловочным кодексам я был безусловно прав, и все-таки чересчур гадко было у меня на душе и в тот вечер, и особенно утром. Было совсем рано, когда я позвонил своему другу Бересневу, капитану милиции, все рассказал и попросил срочно узнать, как там и что с этим парнем. Минут через сорок раздался ответный звонок:

— Это прораб с электромонтажного, Сердюков... Не знаешь? Я тоже не знаю, он у нас недавно. Сам-то он молчит, а там какой-то или сосед его по дому попался, или с участка, — говорит, от него жена ушла, понимаешь, какое дело? Бросила двух ребятшек и с кем-то уехала, а он совсем один, ни матери, ни хоть какой старушонки, никого.

А я не понимал себя, я ломал голову: почему все так произошло? Не скажу, чтобы после выпивки я был ягодка, вовсе нет, и все-таки бить — это было не в моих правилах, никогда я до этого не бил первым, и теперь я, ей-богу, мучился почти физически и, может быть, впервые понял, что такое — болит душа.

Не раз и не два мысленно возвращался я к этому вечеру и вдруг с уколовшей сердце остротой понял: да это ведь тот удар, который совсем другому был предназначен, вот в чем было дело! Просто этот прораб с электромонтажного подвернулся, что называется, под руку, а на самом деле все должно было случиться чуть раньше... встать бы из-за стола, слегка ткнуть его пальцем в плечо, как будто приподнимая с удобного кресла, спокойно сказать: «А это ведь ты украл тогда в раздевалке мои часы!»

Почему мы прощаем такие вещи? Почему вдруг стыдно становится нам — не им?

Тогда, еще студентом, тебе все казалось, что его грызет раскаяние и этого с него вполне достаточно, ты и сблизился-то с ним тогда больше всего из-за желания помочь пережить ему эти его выдуманные тобой самим угрызения совести... Или ты хотел наказать его добротой? Пусть так. Но теперь, когда пред тобою сидела уже совершенно законченная, с приличным стажем сволочь, у которой губы измазаны были начинкою того самого дармового пирога, который они поедают с таким чавканьем, что ж ты целый вечер просидел с ним за одним столом? Почему тот поединок, когда твоя исподняя рубаха была вся в бурых пятнах, вы с ним вспоминали со смехом? По каким таким законам гостеприимства?

Как все, в самом деле, устроено: в Москве у одного сопляка-мальчишки украли в раздевалке часы, а через много лет в далеком Сталегорске прораб, от которого ушла жена, получает в челюсть, и его тут же увозит милицейский «газик»... Наверное, мир полон такими странными связями, которые не так-то просто и проследить, — или эту связь я придумал тогда себе в оправдание?

И мне снова до боли жаль было этого бедолагу прораба, горе свое заедавшего килькой под майонезом, и жаль его до сих пор, и до сих пор за весь тот вечер мучительно стыдно. Я очень любил, а теперь, кажется, еще больше люблю этот город, Сталегорск, и на него мне тоже грех жаловаться, но тогда, когда появился Динкович, между нами словно промелькнула серая тень предательства — пусть не весь он, но что-то из него, из Сталегорска, меня предало. И я тоже предал — пусть не этот город целиком, нет, никогда, — но предал что-то ему безраздельно принадлежащее...

А ты, мальчик, не бросай, нет, не бросай свой бокс.

А он вдруг сказал мне, словно продолжая прерванный разговор:

— Мне бы только узнать, есть ли у него грамоты за бокс!

— Н-ну, может, как-нибудь будешь у него дома.

— А у него далеко дом.

— Как это — далеко?

— Да я ведь, дядя, в интернате живу.

— Во-он что! А где твой интернат? — И я назвал городок, откуда мы ехали. — Там, что ли?

— Нет, еще дальше.

— А куда ты так поздно едешь?

— Под Туапсе я еду. В Индюк. Там у меня мама лежит.

— Как то есть... лежит?

— Больная. Вот и лежит.

Этого я, конечно, не ожидал, на первый взгляд он был довольно благополучный мальчишка. И только теперь я увидел, что и пальтишко на нем совсем худое, и никакого, хотя бы плохонького, свитерка, и верхней пуговицы нет на серой рубашонке.

— А что с мамой, Толя?

— Паралич. Из-за меня и разбил...

— Как — из-за тебя?

— Она, правда, и раньше... Пугливая она очень. За все переживает. А тут приехала в интернат, а у меня как раз такие синячищи... Это мы со старшеклассниками подрались. Двое против шестерых, и директор сказал, там все правильно... Они горбатого мальчика обидели. Ну вот. Она приехала, а я как раз спал на койке. И все лицо в

синяках. А она подумала, как у папы...

— А что с папой?

— Разбился.

Я только повел головой: и неловко его расспрашивать, и как теперь замолчать. Он сам заговорил:

— Насмерть. Два года назад. Он у меня таксист был. По всем этим дорогам ездил, по Черному берегу. Туапсе, Сочи, Анапа.

Мальчишка уже не сидел нахохлившись, он стоял в проходе между двумя нашими сиденьями, приподняв плечи, и, чуть отвернувшись, прятал подбородок, ткнув его в кончик воротника.

Автобус потряхивало, он вздрагивал, скрежетал, и я сидел, вытянувшись к мальчишке, и совсем перестал стучать ногами.

— Да-а, брат...

— Его большая машина сбила. КраЗ. И он упал в ущелье. Когда спустились туда, милиция говорила, дверка была уже открыта, только выпрыгнуть он не успел. Перевязали его всего... Он два дня еще пожил, только в сознание так и не пришел.

Стало вдруг очень холодно, — только сейчас наконец в полной мере я оценил этот морозный ветерок внизу, под ногами.

— А меня как раз дома не было, к бабушке ездил. Мать не сообщила. Приезжаю, а она в трауре. Кто, говорю, мама, у нас помер?.. Та, говорит, дальний родственник один, ты его, детка, и не знаешь. А где папка? Да где? Ездит, как всегда. Сама плачет. Я стану: чего ты, ма? Да так. А потом пасха была, а мне соседи говорят, пацаны: чего, Толян, пойдешь на могилки? Отца своего проведать...

Невыносимо холодно было в автобусе.

Он смотрел на меня, словно чего-то ждал.

— А ты один у мамы?

— Один... И она теперь одна. Правда, сейчас бабушка приехала. Потому что плохо. Она и письмо мне написала. Мне справку дали, я и поехал.

Я сперва не понял:

— Что за справку?

— Ну, чтобы милиция знала, что я ниоткуда не убежал, что к маме еду...

— Ты, я гляжу, совсем замерз.

— Да ничего.

Меня все не покидало чувство, будто я обязан что-то сказать ему...

— Если мама против, может быть, тут стоит подумать?

Он повел плечами.

— А я думал. Я и у врача спрашивал: что, если брошу? Будет маме лучше? А он засмеялся... Значит, не будет. А я брошу. А мне отец говорил: никогда не бросай, Толька! Как бы ни трудно, а ты не бросай.

На каждой остановке все вставали и принимались приплясывать. Две пожилые женщины, обе в цигейковых шубах, попеременно терли друг другу спины.

Я вдруг спохватился, мне стало неловко: разговариваю тут с ним, а он, бедняга, уже и «бублик», что называется, не выговорит.

— Иди-ка ты на переднее сиденье, а? У этого автобуса мотор впереди. Все-таки потеплей, иди, иди...

Он сел там рядом с полной женщиной в синем длинном пальто с хорошей чернубуркой. Она показала ему, что надо сунуть ладони в щель между сиденьями, откуда, видно, пробивалось тепло, и он подержал там руки, а потом снова опустил их в карманы, опять отставил локти, опять затих, уткнув остренький подбородок в грудь, и под оттопыренным его воротником даже отсюда, издалека, видна была голая шея.

Я не мог сидеть, встал, попробовал топтаться на одном месте, поджимал и разжимал пальцы — ноги у меня совсем заледенели.

Было и действительно очень холодно, но мне теперь казалось, что все-таки я не слишком замерз, а просто невольно склонен преувеличивать, чтобы не казаться сейчас самому себе таким чрезмерно благополучным.

Мальчишке этому и в самом деле живется нелегко, но посмотреть, как он держится! Отчего же мы, которым уже за тридцать, тут же расклеиваемся от пустяковой обиды, и выбить нас из колеи может какое-нибудь не столь важное известие?

Каких только страхов не пришлось совсем недавно пережить, а так ли все было плохо?

Опять я мысленно возвращался в прошлое...

Дело в том, что мы с женой начинали на этой стройке в Сибири почти с палаток и, когда пошли ребятишки, хлебнули с ними достаточно. Досталось и обеим бабушкам, — им, может быть, даже больше, чем нам. То одна, то другая — у кого здоровье в ту пору было крепче — ранним летом спешили в Сибирь за внуками, ахали тут и вздыхали, покупая на углу за двадцать копеек тощий пучок черемши, и плакали потихоньку, глядя на безвитаминовую нашу жизнь в этом поселке, в котором снег был уже изжелта-серым от заводской копоти. Потом, провозжая нас осенью с Кубани вместе с детьми, они съезжались в Армавире и рыдали тут в один голос, наперебой жаловались на плохое здоровье, и каждые такие проводы были похожи на прощанье.

А тут у меня работа действительно — сплошные поездки, уедешь и думай, как там они, вдруг кто из ребятишек приболеет, некому с ним дома посидеть, и ладно еще, если ребятишки, — а вдруг жена? Такое однажды случилось, я бросил все дела и срочно вылетел из Иркутска, и хоть друзья наши не дали мальчишкам

пропасть, мы были здорово напуганы... И пошли разговоры о перемене климата.

А в общем-то, у жизни есть достаточно способов заставить человека переехать из одного места в другое, и тут мы должны лишь благодарить ее за то, что к нам она применила, может быть, наиболее милосердный.

Говорят, что в Сибири рубль длиннее обычного. Во-первых, истина эта прямо-таки очень сомнительная, а для нас, во-вторых, куда длиннее оказалась Транссибирская магистраль, по которой бабушки то и дело возили мальчишек. И жизнь тут, на Кубани, была у нас на первых порах не самая веселая, и все приходилось начинать сначала, и то многое, что этому сопутствует, иногда вдруг казалось не только трудным, но и обидным, и в общем не только потому, что секретарша Галя в приемной председателя Сталегорского горисполкома мило улыбулась бы мне там, где эта, здешняя, смотрела на меня, как сквозь хорошо вымытое оконное стекло.

Это была моя родина, вот в чем дело, и я всегда ею гордился, и в трудные минуты припоминал свою кровную связь с казачьей вольницей, и метельными сибирскими вечерами столько рассказывал о ее ковыльных степях и синих предгорьях... А сейчас она меня словно не хотела узнавать, и мне, давно понявшему, что почем, теперь казалось, что взгляды многих живущих тут равнодушны от довольства местом своим под южным солнцем, от чрезмерного благополучия и теплой сытости... С тоскою я вспоминал свой последний день в Сталегорске.

Грузовик с контейнерами уже укатил. В опустевшей квартире я хорошенько вымыл полы и не успел еще переодеться, когда к подъезду подошла другая машина, и ребята из заводского профтехучилища потащили наверх выдавшие виды столы и скамейки. Через две смежные комнаты мы протянули длинный ряд, а в третьей и на кухне поставили столы без скамеек, это было «для работы по секциям», как сказал мой друг Славка Поздеев, начальник участка из цеха водоснабжения.

Себя он в эти последние дни именовал «председателем оргкомитета». Славка был из самых старых, первыми начинавших на нашей стройке комсоров, и всякого рода мероприятий за десять с лишним лет он провел тут больше чем достаточно, но теперь меня так и подмывает сказать, что из всех них это было, пожалуй, лучшее...

На столах, застланных вагманом, стояли неглубокие столовские миски и рядом с ними лежали заслуженные, с гнутыми зубцами алюминиевые вилки, но, боже мой, чего только тут не было посредине — и дорогой коньяк делил компанию с буханкой ржаного хлеба и шматком сала, и пролетарский «коленвал» прочно соседствовал с квашеной капустой и солеными груздями, и магазинная колбаса «Отдельная» без особой надежды ждала своей очереди рядом с кусками копченой лосятины и горкой размороженного хариуса. Это было похоже и на спроворенное снабженцами угощение по случаю досрочной сдачи объекта, и на холостяцкую пирушку в общежитии, и на охотничий ужин, и еще на что-то очень знакомое... Я все копался в памяти и вдруг вспомнил освещенную яркой переноской гулкушу пустоту в громадной топке первого котла нашей ТЭЦ и калькою застеленный стол с такою же нехитрой закуской.

Говорить, все ли сделано, около такого стола уже нельзя, вслух сомневаться не полагалось, но лица у монтажников были сосредоточенные, и каждый как будто все еще продолжал сам с собою вести последний разговор о готовности, и это была словно молчаливая вечеря этих ребят, одетых в пропахшие карбидом да холодноватым металлом брезентовые робы и синие итээровские куртки, а потом их учитель, Виктор Петрович Куликов, плотный и широкоскулый начальник Сибэнергомонтажа, молча повел головою вверх, и по сварной времянке все стали по одному подниматься к люку, а он, оставшись последним, по традиции поджег стол с остатками еды и питья — который уже такой стол в своей жизни.

Я тогда работал редактором многотиражки с названием, которое не выговоришь натошак, и в редакции у нас считалось неписанным правилом: ни с аварий, ни с авралов, ни с незаладившихся пусков не уходить до тех пор, пока «коробочка» не увезет последнего, самого злого до работы прораба. С парюю брезентовых рукавиц в кармане — на всякий случай — мы толкались под ногами у слесарей, и там, где ума не надо, помогали, и коротали потом остаток ночи где-нибудь в углу выстывшего тепляка, умудрившись пристроить голову на перевернутой монтажной каске, и были счастливы и ссадиной на руке, и незамысловатой шуткой в адрес крошечной нашей газеты, и приглашением к алюминиевому бачку с горячими сосисками, в мороз и ветер краном поднятому куда-нибудь на отметку «семьдесят пять», и были счастливы затяжкой от последней, в четыре часа утра по кругу пущенной сигареты «Памир».

То были славные времена, и теперь, глядя на длинный ряд столов с пустыми пока скамейками, я вдруг впервые с пронзительной отчетливостью ощутил, что все это уже — безвозвратно в прошлом.

Вечером стали собираться друзья. Ребята слегка постарше меня и слегка помоложе, приехавшие на стройку чуть раньше меня и чуть позже... Одни из них начинали здесь с новеньким институтским «поплавком», и это они, сами почти ничего еще не умевшие, преподавали мне азы строительного дела, они были первыми моими консультантами и первыми бескомпромиссными критиками. Непокойная жизнь быстро научила их засучивать рукава, и что такое ответственность, они поняли раньше многих своих сверстников. Все приливы и отливы большой стройки выстояли они неколебимо и, бывшие тонкоголосые мастера, теперь давно уже работали начальниками ведущих управлений, и каждый имел уже по десятку выговоров, и три-четыре года не уходил в отпуск — все как полагалось. Для меня всегда было как подарок, если кто-то из них поздно вечером, после какого-либо совсем разбередившего душу совещания, вдруг заезжал ко мне: «Не хочешь на денечек в тайгу?.. Ты веришь, уже на людей стал бросаться. Давай-ка у костерочка поваляемся, на звезды посмотрим...»

Потом, когда из редакции я уже ушел «на вольные хлеба», почти каждый из них считал своим долгом предупредить: «Ты, если что не так, имей в виду: мастером я тебя — в любую минуту... А за хорошим

начальником участка и прорабом потянешь, ты только скажи!»

Другие начинали тут со значком отличника боевой и политической подготовки на порыжевшей от пота гимнастерке, эти чертоломили за пятерых, и вечером шли на занятия в учебно-курсовой комбинат, и шли в техникум, и чудом каким-то успевали отхватить себе в жены такую, что кровь с молоком, сибирячку и нарожать с ней кучу детишек... Теперь они были известные на всю страну бригадиры, и перед поездкой в Москву на какое-нибудь очередное совещание они приходили ко мне притихшие и словно в чем виноватые, и я только вздыхал и садился за стол сочинять очередную речь, а они маялись рядом, заглядывали через плечо и, прощаясь, сдавливали ладонь так, что утром, перед тем как взяться за ручку, приходилось разминать себе пальцы.

А спустя месяц или два кто-либо из них звонил мне и голосом, не допускающим возражений, сообщал: «Сейчас за тобой «коробочка» придет. Я послал. Хоть на стройку посмотришь. А то сидишь там, пишешь бог знает что, — приезжай, тут ребята хоть паутину с тебя снимут, вон слышишь? Пыль, говорят, с ушей ему стряхнем...»

И почему-то виноватым чувствовал себя теперь я... И тут были хлопцы из многотиражки и с телевидения, и земляки из управления механизации и из всех трех наших автобаз, бедовая братва, все, как один, записные «ходочки», и были старики из каменщиков да бетонщиков, и парни, давно перешедшие от них в доменный или прокатный, и врачи из нашей поликлиники, тоже ветераны стройки, будь здоров мальчики, и были все эти большие теперь люди из горкома партии, начинавшие в нашем комсомольском штабе на первой котельной промбазы, и вместе приехали наш отец родной, постаревший за последнее время и совершенно облысевший управляющий трестом Неймарк, и его заместитель по быту Иван Максимыч, щедрая душа и добряк, а там, где требовалось, — и пройда. И все это были ребята что надо.

В одной из комнат Славка поставил на подоконник громадный артельный чайник, в котором был слегка подкрашенный портвейном голимый спирт. К ручке этого алюминиевого чайника привязали тяжелую цепь. Другой конец ее прикрепили к шпингалету на окне. Рядом с чайником стоял с неровными краями стакан, сделанный из зеленой бутылки с отбитым горлом, а повыше висела полоска картона с не очень приличным текстом, призывающим каждого вновь входящего начать со знакомства с напитком в чайнике.

По мысли «оргкомитета», это должно было символизировать неустроенность палаточных времен, и, странное дело, символ этот был принят, что называется, единогласно. Каждого, кто входил, брали под руки и под общий смех вели к чайнику, и это было как приобщение ко всеобщему нашему новостроечному братству.

В ближней от входа комнате на газетах, постеленных в углу на полу, уже лежала гора одежды, и здесь были и замызганные полушубки, и респектабельные пальто из ратина, нейлоновые куртки и синие ватники с желтой эмблемой Минстроя повыше локтя, и откуда-то из-под полы продувного прорабского плаща выглядывал рыжий рукав дохи собачьего меха, а на самом верху рядом с потертой милицейской шинелью разлегся поролоновый мантиль с заграничной этикеткой в половину подклада.

Определяя в угол очередное пальто, я глянул в окно и увидел, что служебный автобус, только что затормозивший у подъезда, пытается теперь задним ходом пробиться через большой сугроб и стать на крошечной площадке рядом с четырьмя или пятью легковыми машинами.

Я представил, как главный диспетчер треста, мой старый друг Никанорыч, подталкивая впереди себя шофера Володю, переступит через порог и с серьезною миной на лице заявит, что теперь-то можно и начинать, дежурный автобус на месте, и если кто-либо переберет, а кому другому не хватит... Потом его возьмут под руки, поведут к артельному чайнику, и это будет, конечно, зрелище, потому что ровно два дня назад Никанорыч, уже в который раз, страшную клятву поклялся, что свой лимит по этому делу на стройке он давно исчерпал, и хватит — не будет больше ни капли!

Они с Володей только поднимались по лестнице, отряхивая снег, топали за стеной — они еще не вошли, а мне вдруг стало до боли ясно: и это, что случится только через три или пять минут, это все тоже для меня — уже в прошлом.

А потом были и дружеские тосты, такие в этот вечер откровенные, словно я уезжал туда, откуда никто не возвращается, и были нарочно веселые слова, от которых комок подступал к горлу, и были шутки, на сей раз не вызывавшие у меня ничего, кроме долгого вздоха, и были руки на моих плечах и крупные, с проступившей к вечеру щетиной подбородки, царапавшие мне щеку. И сам я, ни грамма в тот вечер не выпивший из-за истории с печенью, в конце концов неутешно заплакал, и мне за то несколько не было стыдно.

Утром, когда мы стояли на перроне, я вдруг подумал, что странное получается дело: да, эти ребята остаются в Сталегорске — но разве они и не уезжают вместе со мною? Да, я уезжаю отсюда далеко — но разве не остаюсь я навсегда в этом городе?

И я незаметно повел голову, оглянулся. Около двери молоденькая проводница со скучающим видом зевнула, потом достала из кармашка круглое зеркальце... Разве она могла знать, что в это время мимо нее сплюшным потоком идут в вагон и мои друзья, и знакомые, и спешат, те ребята, о которых я когда-либо еще напишу — подручные сталеваров и хирурги, взрывники и навалоотбойщики, лесорубы, таксисты, пасечники, начальники партий, сплавщики, хоккеисты, дежурные монтеры, охотники. Кого только не было в толпе, которая шла и шла, — и те, с кем успели съесть вдвоем тот самый пуд соли, и те, с кем не собрался еще и парой слов перекинуться, а только обменялся когда-то понимающей улыбкой; и здесь были те, кто когда-либо давал мне ночлег и пищу, и кто ночевал и сидел за столом в моем доме; те, кто рассказывал мне о своих бедах, и те, кому исповедовался я сам; и садились те, кто меня когда-то не оставил в беде; и те, кого поддержал я; спешили те, кто меня когда-то обидел, и те, перед кем я сам был виноват; и торопились тоже и те, с кем я не был знаком, о ком

мне только рассказывали, и они теперь были тоже тут — это просто удивительно, сколько народа могло войти в этот обыкновенный вагон скорого поезда!

Но на маленькой южной станции, где почти единственным признаком зимы был дотаивающий от косого дождя ноздреватый снег, который наш состав успел дотащить сюда на крышах вагонов, я сошел, конечно, один.

И состояние одиночества на многие дни стало для меня тогда обычным.

И в просторных кабинетах с ковровой дорожкой, и у скрипучих столов, отгороженных от остальных невыкрашенным фанерным щитом, стал я чрезмерно тих и, пожалуй, чрезмерно вежлив, и это казалось мне странным, потому что я всегда был не прочь и с кем угодно пошутить, и достаточно громко посмеяться.

С ужасом я обнаружил в себе однажды что-то, больше похожее на раболепие, нежели на простую растерянность.

И тут я вспомнил, что на Кубани я не один, что вместе со мной приехали сюда эти ребята — прорабы и шоферы из Западной автобазы, начальники смен и егеря, бульдозеристы и слесари-сантехники, приехали все — и общий отец наш родной управляющий Неймарк, и его зам. Иван Максимыч, и партком с постройком при полном кворуме, и главный диспетчер Никанорыч с шофером Володей, и молодой замдиректора нового завода Федя Науменко.

Мне перед ними вдруг стало стыдно: и правда, как же это к своим друзьям за помощью и за словом поддержки я не обратился чуть раньше?

Теперь, когда я садился где-либо в просторной приемной, то одни из них спокойно устраивались рядом со мною, другие, поглядывая на меня, разговаривали между собой у окна, третьи подмигивали от двери, и под их взглядами я ощущал, как расправляются мои плечи, как поднимается выше подбородок.

И эти ребята приходили потом и подбадривали меня, когда мне бывало плохо и почему-то не работалось, и сидели у постели, когда я приболел, и вместе со мною, когда я решил, что хватит наконец болеть, они поехали в горы, и они теперь всегда шли рядом со мною по улицам южного городка — и ведущие спецы Сибгипромеца, и вертолетчики, и шел нападающий Каля, который отказался из «Металлурга» перейти в ЦСКА, и водитель тягача Гена Саушкин, который любит в тайге полихачить и которому на откинутую крышку «бардачка» ставят стакан со спиртом, — он мог выпить его только через тридцать километров от буровой, уже в поселке, где все еще досыпала убаюканная мягкой ездой смена. И шел официант Валера, который на телевизионном конкурсе городов, несмотря ни на что, занял первое место.

Через год или полтора в Москве, когда со старыми друзьями мы собрались посидеть в одном хорошем месте, я рассказывал о том, как в незнакомом городе меня спасала вера в сибирское товарищество, и один из нашей компании, человек ума весьма делового и трезвого, с усмешкой проговорил:

— Да, конечно, наши звонки тут были и ни к чему — все дело в этом невидимом простому глазу святом братстве!

А звонки действительно были, и мне теперь стало неудобно, я и благодарил, и оправдывался, а он, коснувшись моего плеча, произнес:

— Ты знаешь, как это называется? Ну, все это вот... узы дружбы, святое рыцарство? Мечта о теплой спине! Понимаешь? Просто человек хочет, чтобы спину ему кто-то грел, чтобы она всегда у него была теплая.

Все ли так, все ли не так — не о том разговор. Сейчас, когда я встретил в автобусе этого озябшего мальчишку, который ехал к своей умирающей матери, мне вдруг подумалось: хорошо, а что «греет спину» ему, который пока не нажил столько друзей и не обзавелся такими связями? В чем такой, казалось, маленький и беспомощный, он черпает сейчас силу?

Положение мое в незнакомом городе было далеко не самое отчаянное. Что ж, если, оставшись без друзей, сам с собой разговаривал я чаще обычного? Если многое оценил как бы заново, и меня, выбитого из привычной колеи, вдруг настигло раскаяние в тех грехах, о которых я уже, казалось, не помнил? Что ж, если чаще, чем когда-либо до сих пор, навевались ко мне те, кто мог надо мной зло посмеяться или посмотреть на меня с презрением, и чаще, чем прежде, в самые неожиданные моменты вдруг приходил ко мне рыжий Динкович и бросал на пыльную траву мне под ноги тяжелые, не просохшие от вчерашнего пота перчатки?

Стоило только вскинуть голову, и все обретало другой цвет, и было ясно, что дела мои не так плохи, что многие могли бы мне позавидовать. Но чего только я, и в самом деле, не напридумывал, чтобы обрести душевное равновесие! А этот мальчик?..

Я пытался составить программу действий. Надо будет сказать ему, чтобы обождал, пока я сдам вещи в камеру хранения. Потом быстренько решим с билетами, а после пойдем в привокзальный ресторан, где сейчас тепло и пахнет борщом, и поедем там горячего, а затем... Сам я раньше ужинать не собирался, но теперь надо будет купить чего-либо к чаю, и мы посидим в купе, и, может быть, мальчишка вздремнет — все-таки в Индюк мы приедем не раньше трех часов ночи.

Когда автобус остановился, подхватив чемодан и сумку, я живо прошел между пустыми рядами сидений и у выхода стал вслед за ним:

— Толя, может, подождешь меня? Я сдам свои вещи... А потом мы хоть чуть погреемся да слегка с тобой перекусим.

Он уже выходил вслед за женщиной в длиннополом пальто с чернубуркой. На улице тут же поежился, и я сказал, догнав его:

— А ну-ка, застегнись, что это ты!

Он сперва поднес руку к горлу, а потом еще глубже надвинул на глаза козырек кепки, и уши его совсем

оттопырились.

У камеры хранения я ему сказал:

— погоди. Одну минутку. И мы сразу пойдем.

Он оглянулся:

— Я все думал и думал, дядя... Как мне быть?

Я замер, ожидая вопросов, ответить на которые наверняка не смогу.

А он слегка повел плечом.

— Надо мне попробовать еще один финт. Финт и потом — ответный удар. Чтобы держать его. А то он меня совсем забудет.

У меня отчего-то дрогнули руки, словно вещи мои разом отяжелели.

— Ты подожди. Я сейчас сдам сумку да чемодан...

Он махнул рукой в сторону вокзала:

— Я вас там, дядя, подожду.

Как водится в таких случаях, сперва у меня не нашлось пятнадцатикопеечных монет, потом выяснилось, что автомат, выдававший чеки, заело. Торопясь, я предложил сам отнести свои вещи на полку, но закутанная в белый шерстяной платок женщина посмотрела на меня с видом вечной мученицы и молча потащила сама сперва сумку, потом чемодан...

Не заходя в кассу, я бросился искать мальчишку. Забежал в зал ожидания, где пахло и человеческим теплом, и пеленками, посмотрел по сторонам, прошел между рядами.

Потом кинулся в ресторан на перроне.

Конечно, он там. Залетел небось, как бездомный воробей в шумный и большой магазин, и сидит робеет, греется...

В ресторане мальчишки не было.

Только теперь я догадался посмотреть, что за состав стоит на втором пути. Это был здорово запоздавший поезд, который должен был идти к морю. Я-то о нем и не подумал, потому что он давно уже должен был пройти, зато мальчишка, может быть, первым делом бросился сюда?

Я посмотрел в обе стороны, решая, куда сперва побежать. И там, и тут никого почти не было видно, но подальше и первые вагоны, и последние пропадали в морозной роздыми, и даже яркие фонари на перроне не могли отодвинуть глухой зимней мглы.

Быстро пошел я к голове поезда, и мне показалось, что впереди, около самых первых вагонов, рядом с толстой проводницей стоит крохотная фигурка...

А поезд тихонько скрипнул, словно за это время, пока он стоял тут, на станции, колеса его успели примерзнуть к рельсам.

Я бросился бегом и успел увидеть, как протянулась из двери рука проводницы, как быстренько ступил на подножку мальчишка, который, наверное, наконец еле объяснил и допросился, чтобы его взяли.

Поезд набирал скорость, потом, взметая снег, рванулся мимо меня последний вагон, и скоро огоньки его сперва смешались со множеством других, которые словно поживались вдали над путями, а потом и вовсе пропали в морозной дымке.

Мне стало и грустно, и отчего-то неловко.

Там, в автобусе, я это представил себе и раз и другой: и как мы с ним сидим за столиком в теплом ресторане, и как пьем горячий чай в уютном купе... Может быть, в голосе моем слышалась ему излишняя властность? Так нет вроде, говорил я с ним очень мягко. Или мама его, которую, конечно же, беспокоят эти поездки, наказывала ему не доверяться чужим людям? Или что-либо во мне его насторожило?

А может, он очень спешил и просто ему было не до меня? Кто я для него такой? Толстый усатый дядька с громадным чемоданом и пузатой сумкой, который разговорился с ним из праздного любопытства.

Тут я подумал: а кто для меня он?

И я уже знал наверняка: если почему-либо — за поддержкой, за советом ли, чтобы помочь кому-то другому — из страны нашей молодости я опять призову своих друзей, крепких, уверенных в себе ребят, преданных нашему товариществу, то вместе с ними придет и этот озябший мальчик, который едет сейчас к своей больной маме...

ОТЕЦ

Сперва, признаться, я сам не понимал, зачем они мне, усы...

Может, всякого поднакопилось в душе, захотелось перемен, оттого-то оно и вышло: сначала сказал, что выкуриваю последнюю сигарету, через месяц отставил стакан с выпивкой, а вслед за этим как-то раз погладил вдруг щетину над верхней губой и впервые ее не тронул бритвой.

Времена для меня настали — не пожелаешь врагу. По ночам снится, будто стрельнул у ребят окурочек и дожигаешь его в единый сладкий затяг. За дружеской пирушкой самые близкие товарищи твои чуть ли не

пальцем в тебя тычут. А ты и без того сидишь как на иголках, платочек не выпускаешь из рук, потому что всякую минуту тебе кажется, что усы сметаной от салата испачкал... Я тогда и сам себя спрашивал не раз: это-то мне еще зачем?.. Тут-то за что страдаю?

Но однажды что-то такое мне приоткрылось...

Было это ранним летом, когда я приехал в родную свою станицу на Кубани. Станица наша лежит в предгорьях, и потому июнь здесь — пора неутихающих гроз. В июне над зреющими полями, над холмами, покрытыми ковылой, уже мреет, уже струится горячая марь, а над вековыми снегами Приэльбрусья в это время еще остро синеют холода... Может, густеющие там гордые тучки вслед за давно отступившей зимой хотят прорваться на север?.. Но над зелеными долинами, где лежат передовые казачьи станицы, уже вступившее в право жаркое лето дает им бой, и тут они проливаются обильным дождем или падают на землю карающим градом... Странная это, в самом деле, пора!

Каждое утро начинается такой тихой и такой ясною зарею, что невольно начинает казаться, будто нынче-то, наконец, обойдется без грозы... Благостное, как на иконах, встает солнце, и длинные его косые лучи вызванивают под росными травами тонким пчелиным гудом. Неслышно летится на теплую со сна землю забытая в больших городах чистая голубизна. Отодвигается горизонт, дали открывает неоглядные — увидишь и розовую в этот мирный час вершину Эльбруса, и белые пики снеговых гор...

Однако к одиннадцати, к половине двенадцатого начнет парить, от влажной духоты оплывет оком, голубизна размоется, и в глубине долины станет погромыхивать, потянет оттуда тороченная блескучим серебром темная синь.

Со сторожевых, обступивших просторную долину холмов одна за другой глухо ударят зенитки, над ними яростно раскатится гром, и два или три часа будет полоскать потом такой ливень, которого в другой какой стороне хватило бы на добрую половину лета, а то забарабанит град — тоже такой, что в ином краю о нем рассказывали бы потом от отца к сыну... А у нас оно каждый день, и каждый день после проливного дождя, после бешеной грозы тут же выглянет щедрое солнце, опять будет без устали сиять, греть в поле хлеба, спелым соком наливать в степи землянику, золотить в садах крутобокие яблоки... Отряхнут крылья пчелы, подсохнет земля, опять полетится над нею тягучий медовый гул, и вечерняя заря будет догорать с таким умиротворением, словно прошедшая гроза была, наконец, и в самом деле последнею.

От обильной влаги небесной да от яркого солнца пойдут по черной нашей земле такие буйные травы, что норовистые ветры-степняки будут колыхать их, будто волны в зеленом, с ковыльной пеною, море. Уж если не поломают в ливни, не выбьет градом, то вымахает в Предгорьях, как нигде, все, что зеленеет и что цветет, и самая пора цвести да зеленеть — это грозовой июнь...

В тот раз, едва я успел поставить на веранде тяжелый чемодан, едва нашел в старом сундуке залатанные свои брюки, как тут же отправился побродить по огороду и палисаднику. Дома я не был давно и соскучился не только по родным, но, кажется, и по каждому растущему в родительском саду дереву, по каждому цветку, по каждой травинке... После дымного, остро пропахшего коксовым газом Новокузнецка, после вялой от сладковато-горьких выхлопов машин летней Москвы у нас дышалось, словно пилося, и я сперва руки в боки постоял между грядками с луком, огурцами, болгарским перцем, только окинул взглядом заросли петрушки под плетнем да зеленую путаницу хмеля, посмотрел, обернувшись, на мамин цветник, который был куда обширнее всех этих вместе взятых грядок, обвел глазами огород, где под старыми деревьями посреди картофельных рядков начинали желтеть обвитые фасолью подсолнухи, а потом подошел к краю палисадника и один за другим начал обнюхивать цветы, все подряд — петунии, табак, маргаритки, настурции, розы... Они были разной высоты, и над иными я сам нагибался, другие притягивал к себе, наклонял, а перед самыми малорослыми становился на колени, и так шаг за шагом обошел я каждую пядь, не пропустив ни кустика жасмина, ни разноцветки в саду, ни в огороде подсолнуха. Носом приикая к разомлевшим на солнце лепесткам, нюхал длинно, вздохнул — на долгую осень впереди, на бесконечную сибирскую зиму, на все времена вдалеке от родного дома...

Когда я снова стал потом посреди двора, мне почудилось, будто все, какие только мог вобрать в себя запахи, не улечутились, не пропали, а продолжали жить в каком-то новом для меня ощущении... Любопытное это было ощущение! И я притих, я прислушался к нему, стал слегка потягивать носом и потом вдруг выпятил верхнюю губу и скосил глаза. Черные усы мои были желтыми от пыльцы, она лежала на них плотно, как лежит на бархатной грудке шмеля, и я в тот миг показался себе этим черным и усатым, все мамини цветки деловито облизавшим шмелем.

Спать я в тот вечер лег там, где спал, бывало, мальчишкой, — на старой двери, положенной около летней кухоньки на двух ящиках, — и, вглядываясь в обновляющее душу скопище звезд, прислушиваясь то к мерному тюрюканью сверчков, а то к шнырянию по картошке и к топоту соседских псов, которых наш Марсик непременно бы днем облаял, а сейчас мирно пропускал мимо, словно соблюдая одним собакам известный закон открытых ночью границ, я вдруг подумал с грустной усмешкой: а что, в этом дворе, где давно уже не копал, не сажал, не сеял, может быть, я сегодня хоть что-нибудь опылил?

На следующий день вернулся из командировки отец, и сперва мы расцеловались, а потом он, пытаясь сделать это помягче, сказал:

— Усы, усы, Чебоксары, захотелось вам в гусары... так, что ли?

Я, конечно, строго прищурился:

— При чем — Чебоксары?

— Так в старину над усатыми пошучивали... Не знаю! Зачем ты их, сынок, отпустил?

Теперь-то я знал зачем. Да только не так просто все это отцу объяснить. И я стал о другом:

— Если не ошибаюсь, отец, на фотографии в нашем альбоме у одного лейтенанта — тоже усы?

— Сынок! — снова сказал он мягко. — Тогда ведь была война!

А мне хотелось раз и навсегда покончить с разговором на эту тему — я был нарочито сух.

— И что?.. Разница-то... Какая разница?

— Да как тебе?.. — развел он руками. — Может, опытней хотел себе казаться. Может, храбрее. А может быть, хотели себя хоть чем-нибудь еще подбодрить... Как тебе, сынок? Это — война!..

Усы я, конечно, не тронул, и в следующий приезд все мои живущие в станице школьные дружки стали вдруг в один голос говорить: зачем они тебе? Сбрил бы!

Единодушие они при этом обнаруживали прямо-таки удивительное, я стал расспрашивать, в чем тут причина, пока не докопался, наконец: оказывается, отец при-случае за рюмкой или так просто, на улице с каждым из них поговорил. Меня, мол, он не слушает, я для него давно не авторитет — так хоть вы бы, ребята, своему дружку посоветовали!

Я переживал тогда трудные времена, и советчики мне были очень нужны, только по другим, конечно, вопросам... А усы — что ж? Теперь они стали будто бы такой же неотъемлемой частью меня самого, как и все остальное, расширив мир обычных ощущений, добавив к ним и некоторую остроту, и словно особую выразительность.

К тому времени я уже уехал из Новокузнецка, жил в тихом и чистом городке на Кубани и, прислушиваясь к самому себе, ловил теперь на усах то сонный аромат спелого яблока, а то домашнего сока из древней пахучей «изабеллы». Ленивый жарким летом ветерок сдувал с них то солоноватый, отдающий нагретыми водорослями запах теплого моря, а то сытый душок пропахшей дымком бронзовой рыбы — копчущики... Но иногда настойчиво шевелил усы прилетевший откуда-то, будто бы очень издалека, упругий ветер, и тогда они вдруг настраивались на прошлое, и словно это они извлекали тогда из памяти другие запахи — и полузабытые, и те, которые слышались так отчетливо, что перехватывало горло... По Сибири я тосковал, приезжал туда часто, и в те счастливые дни в усах моих поселялся то кислотоватый запах остывшего металла, а то смолистый дух таежного костерка. Часто мы с друзьями на прощанье устраивали баньку, и потом, уже в Домодедове, а то и в Краснодарском аэропорту я вдруг задышался от внезапно прихлынувшей густоты, в которой была и легкая горечь сгоревшего на раскаленных камнях медка, и словно еще не остывшая теплынь березовых веников, и терпкость чая, крепко заваренного лесными травами... Все теперь было позади, но эта возможность еще чуточку продлить навсегда ускользающий миг, еще хоть на немного удержать около себя то, что уже стало прошлым, отзывалась в душе и радостью, и светлой печалью.

Тут я почти не коснусь деликатной темы, которая сама по себе могла бы стать и предметом особого интереса, и отдельного, если хотите, исследования... Однажды за дружеским столом, за вольной беседой к жене моей приступили с вопросами, заставившими ее смутиться, и, желая закончить шуткой, она с преувеличенной значительностью сказала об усах всего лишь слово: «Способствуют». К этому мне хотелось добавить только одно: как-то года три или четыре назад, теплым ноябрьским днем, солнечным и паутинным, она поцеловала меня на прощанье в крошечном аэропорту того самого маленького городка, в котором жили мы после Новокузнецка, и, с короткими пересадками пролетев потом часов около пятнадцати — над тихими кубанскими полями, над облетающими под Воронежем дубовыми рощами, над сырым и мокрым Подмосковьем, над замерзающей Волгой, над белыми хребтами Урала, над запорошенными вьюгой сибирскими лесами, над голубоватыми от морозной дымки сопками Забайкалья, — в другом аэропорту, в Улан-Удэ, я прислушался на секунду к чему-то очень знакомому и вдруг уловил сопровождающий меня так отчаянно далеко от дорогой мне женщины тоненький, ускользающий запах любимых ее духов...

Предки мои пришли на Кубань из разных степных краев — с Дона, из-под Орла, с Черниговщины, из Киева, — и под вольными, доносившими черкесские песни ветрами, под жгучим солнцем этот русско-украинский замес прибавил и резкости в чертах, и черноты... Когда же я отпустил усы, стал и совсем кавказцем, — где-нибудь в седом от куржака Красноярске или в домерзающем Кемерове, что-то радостное крича на гортанном своем языке, ко мне бросались грузины, толкали в плечо, громко смеялись, а я только улыбался и с какою-то невольной виной, словно оправдываясь, говорил, что они ошибаются, что я — русский.

Некоторые только разводили руками, зато другие с укором качали головой и продолжали говорить на своем языке теперь уже что-то горькое, я примерно догадывался что... Однажды, когда меня приняли за грузина, я был с друзьями, и громко, чтобы они тоже слышали, маленький и носатый человек, в непрменной этой громадной кепке «аэродром», сказал с плохо скрытой обидой: «Ты, наверное, земляк, так хорошо тут устроился, что забыл даже родной язык, э? И не узнаешь теперь даже кахетинцев?!» Может быть, чтобы сделать людям приятное, стоило хоть однажды выдать себя за грузина, с детства оторванного от родины и потому ни слова не знающего на родном языке? А вдруг тогда мне поверили больше бы и не отказались бы пойти посидеть за стаканом вина, как отказывались всегда, подозревая во мне отступника... На это меня, однако, не хватало, а им нужен был земляк, больше никто, и мы каждый раз так ни с чем и расходились. А ведь как радостны, как искренни были всегда первые возгласы, — у меня потом, когда вспоминал, отчего-то щемило душу, и я готов был и в самом деле пожалеть, что я не грузин. Как это, должно быть, славно — встретиться вот так за тысячи верст от дома, и разговориться на пустынной в холода улице, и пойти потом в старый уютный ресторан, где стоит в углу такая одинокая здесь пальма. И мы бы слегка выпили, и сидели бы рядом, положив руки друг другу на плечи, и

вполголоса пели бы наши задумчивые песни, и вспоминали бы о теплой нашей далекой родине... Эх, думал я, как это и в самом деле, наверное, славно! И думал невольно о другом: а бросались ли мне на шею когда-либо настоящие мои земляки? В далеком чужом краю спешил ли обнять их я?

У этих моих сибирских встреч была как бы и другая, обратная сторона: в Гагре или Сухуми меня почему-то никто никогда не принимал за своего, никто ни по-грузински, ни по-абхазски не заговаривал, и я иногда не без ехидцы думал: вот-вот! В Сибири, выходит, ты им родня, а сюда приехал — как нет тебя! И сам над собой посмеивался: хорош!.. Там ты, значит, отказывался от родства, а здесь теперь его ищешь?

2

Однажды случилось так, что несколько моих друзей съехались на побережье поздней осенью, и мы раз и два перезвонились, а потом собрались в маленьком деревянном ресторанчике в Пицунде. Ресторан был уютный, с настоящим очагом, от которого, перемешанный со сладким, о доме напоминающим чадом, плыл остренький горьковатый дымок, а толстые выскобленные столешницы были так тяжелы и просторны, что придавали крепость лежащим на них рукам и сообщали им какую-то особенную, будто бы вековую силу.

На столе уже появилось сухое вино, сыр из овечьего молока и зелень. Тонкие, древние запахи, еще не утонувшие в изощренном роскошестве восточных приправ, придавали будущей еде и питью какой-то особенный, почти изначальный смысл, делавший каждого мудрей, а наше товарищество — и надежней и старше... Они уже чокнулись, уже выпили по одной, уже, расслабляясь, закурили, и глаза у них заблестели и потеплели улыбки, а я сидел, глядя на них всех сразу, и душу мне начинала тревожно подмывать сладкая волна острой, почти юношеской любви и к ним, и к близким своим, и дальним, и ко всему, что есть вокруг, — от теплого хлеба под рукой до крошечной, почти неразличимой в высоком небе звезды.

С той поры как сделался горьким трезвенником, я себя другой раз очень странно чувствовал за дружеским пиршеством. Видели вы, не знаю, как мчатся по рыжей стерне и быют крыльями домашние гуси, когда раздастся привычный клич их улетающих в далекие страны диких сородичей? Так и я ощущал себя обреченной на то, чтобы остаться на земле, птицею, когда товарищи мои воспаряли.

О чем только теперь мне не думалось — по-осеннему светло и печально!

Чего только не различал я в тугих толчках крови — и солнечный шум прибоя за желтыми соснами Пицунды, и посвист метели в пустых российских полях, и шелест книжных страниц, и полыханье безмолвных взрывов, и голоса троих моих сыновей, и азиатское молчанье курганов... И временами я не мог понять, отчего щемит сердце: от ощущения счастья или от предчувствия бед?

Пал вечер. В темную зелень кипарисов за синим окном елочными гирляндами впечатались огни люстр. И запахло тонкими самодельными свечками с фитилем из суровой нитки. И припомнились плоски с осадками прогорклого постного масла, которые освещали праздники забытого теперь послевоенного детства.

У входа заиграла зурна, послышалось негромкое пенье. Товарищи мои обернулись. Около крайнего стола, вокруг которого с фужерами в руках стояли грузины, остановился седоусый старик в малиновой черкеске и в высокой серой папахе. На узком наборном поясе у него висел длинный кинжал в ножнах из черного серебра, обут был старик в мягкие, чулком, ичиги, которые придавали юношескую стройность и ногам, и всей сухощавой его, молодцеватой фигуре. В правой руке, с которой свисал край широкого рукава, старик держал большой бокал с красным вином и, когда закончили петь, сперва приподнял его, а потом медленно и будто торжественно поднес ко рту, отпил глоток и опять приподнял. Выпил зурнач, которому подали фужер со стола, и все, кто был рядом, тоже сделали по глотку.

Старик с бокалом в руке шагнул к следующему столу, и компания, которая сидела за ним, тут же стала приподниматься. Опять запела зурна, к ней негромко, выкрикнув что-то молодецкое и одновременно грустное, присоединился старик, разом подхватили песню мужчины, повели ее сдержанно и стройно.

Что это была за песня, не знаю, но пели они, как братались, и приподнимали вино с такой истовостью, словно присягали чему-то священному...

Стол, за которым сидела пестрая компания длинноволосых юнцов, старик в малиновой черкеске обошел стороной, потом пропустил еще один и еще. Было ясно, что подходит он только к своим, только к сидящим мужскою компанией землякам.

И мне вдруг до лихорадочного сердечного стука захотелось, чтобы он подошел и к нам, чтобы мои притихшие товарищи тоже встали бы гордым кружком, и приподняли бы подбородки, и распрямили плечи... Хорошо, что я сижу лицом к старику, — неужели на этот раз усы мои подведут?

Я стал глядеть то на старца, а то на зурнача, который иногда скользил по залу глазами.

Новокузнецк не помните, генацвале? Маленький городишко в тайге — Осинники? Ну вот, а теперь я тут. И друзья мои — достойные люди, которые и толк в вине понимают, и знают цену товариществу!

Старик был медлителен и важен, в каждом плавном жесте его сквозила особая значительность, и красноречивых моих взглядов, конечно, он не заметил, зато с зурначом мы уже и раз и другой переглянулись и, кажется, друг другу понравились. Товарищи мои еще ни о чем таком не догадывались, а я взял бутылку и свой фужер, в котором было на донышке, налил почти всклень. Неизвестно зачем откашлялся, расправил грудь и, собираясь встать первым, ладони положил на край столешницы.

Они уже были рядом, но перед самым нашим столом старик приподнял голову, вглядываясь в кого-то, кто

сидел в глубине, за нами, и наш стол остался как бы в мертвом пространстве... Что же вы, отец?!

Или так-таки ничего не значит, что земляки ваши говорили мне в Улан-Удэ и в Иркутске: где бы ты ни родился, усы все равно, мол, наши! И ничего не значит, что где-либо в Красноярске я каждый раз старательно махал им в ответ, когда они радостно вскидывались за окном набирающего ход скорого поезда. Я ведь, отец, придумал такое слово: с о ў с н и к и. Товарищи, значит, по усам. Как братья по духу. Да и вообще, разобраться: разве все мы не родственники, живущие на зеленой нашей и теплой земле? А усы — просто повод подойти или улыбнуться дружелюбней обычного... Или нет?

Глядя на меня, зурнач дунул посильней, повел в мою сторону трубою, и это была словно просьба к старику остановиться.

Старик задержался, очень медленно повел головой, но глянул не на нас — на зурнача. И в тот же миг зурнач покорно сделал шаг за ним вслед, только труба его вскрикнула печальней.

Готов поклясться, что я уловил и обращенный ко мне дружеский взгляд музыканта, и недоуменный кивок над еле заметно приподнятым плечом... Потому-то, наверное, показалось, что это ко мне был обращен теперь пронзительный плач зурны.

О чем она, думал я, плачет? О том ли, что я не грузин?.. Что мне поэтому и не доведется почувствовать тепло плеча, которое больше, чем у многих других, чутко к братству по крови?

Или зурна рассказывала мне, что старец в черкеске мудр, его не обманешь, и одного почти неуловимого взгляда ему достаточно, чтобы понять: а не лукавлю я? А все ли, связанное с грузинскими усами, я принимаю?

Товарищи мои не очень согласно, но крайне решительно затянули «Ермака»...

3

А ранней весной, в самом начале марта, у меня умер отец. Светлая тебе, отец, память! Спасибо тебе за все! И — прости...

До этого никогда и ничем он не болел — болела мать. Сколько раз она собиралась помирать, сколько уже прощалась с нами, с детьми, сколько наставляла, как должны мы будем жить без нее. До сих пор помню этот сладковатый душок, который держался в темной непроветренной комнате, — он казался мне тогда запахом смерти. Помню беспомощно склоненную набок голову на подушке, помню грубую льняную рубашку на исхудалых ключицах матери и пожелтевшие ее руки поверх одеяла. Помню слабый, затухающий голос, заклинаящий меня защищать от злой мачехи младших братца с сестренкой...

Времена вольного студенчества, а потом заботы самостоятельной жизни потихоньку затушевали было память об этих тягостных минутах, которые я провел у постели тяжело больной матери. Сперва мне казалось, что после, когда я уже уехал из дома, со здоровьем у нее стало получше, но потом, уже совсем недавно, спросил у брата: а что, когда он остался дома за старшего, ему небось тоже мама п р и к а з ы в а л а? Валера грустно улыбался: «Перво-наперво отрежешь Танечке косы. Чтобы вши не завелись...»

А Танечка потом прощаться с мамой летала из Ташкента или ночным автобусом приезжала в станицу из Краснодара.

Бывало, мать месяцами не выходила из больницы. Отец пошел в нее только раз — когда отравился из-за самодельной перепелиной дробы, которую станичные наши хитрячки да скупердяи катали из аккумуляторных свинцовых пластин. Вообще же ни лекарств, ни врачей он не признавал, с приобретенной на фронте убежденностью твердо веря, что панацея для русского человека — сорокаградусная. Он так всегда и говорил: встретил старого друга, и выпили, мол, с ним «по рюмашечке панацеи». Рюмашечкой частенько не обходилось, и в словаре у нашей родни давно уже бытовало несколько на первый взгляд странных выражений. Те, кто помоложе, говорили в выходной день, что Степаныч опять, мол, явился с ярмарки «под панацеей». Старшие выражались менее изящно: «напанацеился». Сколько у нас по этому поводу было в семье скандалов!

«Что, отец, ты действительно решил выпить всю водку? Бедная мать! Когда ты наконец ее пожалеешь?»

Он только виновато извинялся: «Все, все, сынок, это в последний раз».

Не было случая, чтобы он свалился на улице, и дома, выпивший, никогда не сделал ничего предосудительного, это святая правда. Но мать «не могла терпеть», если от отца хотя бы слегка попахивало. Как тут все объяснишь... Не то чтобы нашла коса на камень, — наверное, у жизни много и других тупиков, куда она заводит умело и безжалостно. Может быть, матери, часто занятой мыслью о смерти, оскорбительными казались отцовские земные утехи?

Сколько я по ее настоянию провел с ним длинных разговоров! Сколько произнес горьких слов! Сам он за всю свою жизнь не сказал мне, пожалуй, и сотой доли того обидного, что ему, как старший из детей, как материн заступник, сказал я...

Потом, когда уже подросли мои сыновья, когда «воспитывать» отца мне с каждым разом становилось мучительней, я однажды сказал матери: все, больше не вмешиваюсь — мне стыдно!

В голосе у нее послышалась выношенная убежденность: «Отца тебе жалко — конечно, пусть он лучше доконает мать».

Ах вы, стареющие наши родители!.. Из-за ревности ли, из-за чего ли другого как безжалостно губите вы порой сердце взрослых ваших детей! Как жестоко вы испытываете на преданность!..

Случилось так, что за год перед смертью отца я прилетел в станицу, когда он был дома один — мать опять

лежала в больнице у Валеры. Уже в дороге я почувствовал грипп и, едва добравшись до дома, на целую неделю свалился, — никогда еще меня не трепало так сильно, как в тот раз... Отец оказался в роли сиделки, и надо было видеть, как он, привыкший, по словам матери, «чтобы за ним всю жизнь ухаживали», теперь ухаживал сам!

Весь день он или стоял у плиты, или сидел на стуле возле моей кровати: «Ничего, если побуду около тебя? Не устал? Ты, когда захочешь спать, ты скажи... А я, знаешь, о чем думал? Ты как-то спрашивал, почему в станице у нас тот край, где я мальчишкой рос, называли Малахов куток. А еще — Лягушевка. Знаешь почему? Целая история. Я хотел тебе даже написать — а вдруг пригодится? Малахов был казак. Богатый. Много земли имел. А попивал крепко. Надумал один гектар продать, тут хохлы с кацапами и задумались: вот купить бы! Хорошая земля! Да только откуда взять столько денег? Решили в складчину. Собрались человек пятьдесят. Все до штанов попродавали — это дедушка твой, отец мой, рассказывал. Зато наскребли. На полоски поделили этот гектар — кому какой кусок, бумажки из шапки брали. Вся земля стала в заплатках! Сначала повыкопали землянки, а потом хатенки пошли расти. А там уж, известное дело, дети... Вот детей было! По восемь, по девять душ! А на том месте яма в Тегине, неглубокая, — в ней купались. Летом набьются — один на одном! Казаки смеются: хохлацкий лягушатник! Отсюда и пошло...»

На нем был просторный, в полоску пиджак от старого моего выходного костюма, надетый на майку. Длинноватые рукава он подвернул, но потертые полоски подклада все равно почти закрывали пальцы — такой он сутулый стал, такой сухонький. Поседел он уже давно, а теперь начал лысеть, волосы поредели, голова стала и в самом деле что одуванчик, только серые, с выцветающей голубишной глаза лучились, как прежде, а может, и посветлее, и подобнее прежнего, — давно уже он не смотрел на меня с такою лаской.

Поднимался вдруг со стула, долго щупал стенку около кровати — хорошо ли прогрелась? Потом торопливо, с озабоченным лицом шел к своим кипящим кастрюлям, гремел крышками и возвращался снова со щедрой улыбкой, — опять ему что-то припомнилось, опять хотел что-то рассказать. Говорил он тогда, говорил, и все, казалось, не мог наговориться...

Вкусы наши до этого, как правило, не совпадали: если я ему советовал что-либо почитать, он потом долго недоумевал, когда прочитывал; если что-либо пытался навязать он мне — я только морщился и заранее кисло улыбался: мол, знаем!.. А тут вдруг впервые ему понравилось то, что я с собою привез, а я неожиданно стал зачитываться тем, что выпросил он для меня в районной библиотеке, — странно! Может быть, дело и всегда было не в книгах, а в нас самих?

«А ты правильно, что усы не сбрил, — сказал он мне, когда я уже поднялся и собирался вечером пойти посидеть с друзьями. — Мало ли что люди говорят, ты не слушай! Я вот, веришь, так привык, что теперь даже не представляю тебя без усов».

Потом, уже через год, когда все в нашем доме прилегли наконец на часок отдохнуть, а я один остался у гроба и как мальчишка наконец вволю наплакался, я вдруг с ужасом подумал: а что, если бы у нас не было этой недели, когда он кормил меня своими не очень удачными супами, когда приносил эти районными философами зачитанные книжки и даже газеты мне пробовал читать, и верно, как заправская сиделка?.. Меня и так сейчас гнула вина перед ним — а что, если бы не эта неделя?

Вот-вот, часто казалось мне, все у нас наконец-то образуется, вот-вот они с мамой что-то такое поймут, перестанут ссориться, и все мы тогда станем счастливы, и у нас еще будет время обо всем поговорить, и я скажу отцу совсем другие, чем прежде, скажу какие-то очень нужные ему слова и, не боясь материнской ревности, куплю ему наконец путевку в Дом творчества, чтобы там, в уснувшей зимою Гагре, он тихонько пожил бы без забот, и бережком ходил бы по кромке прибоа, и выпил бы маджарки с настоящими писателями, со стариками, книжки которых ему нравятся и которые то же, что и он, пережили и о многом так же, как и он, судят... Солона ты, однако, запоздалая сыновняя благодарность!

Утром снова стали собираться люди, знавшие отца, и каждый, кто входил, сначала не замечал пришедших раньше него, первым делом, словно к живому, обращался к покойнику.

«Что ж ты, Степанович? — дрогнувшим голосом корил высокий, с жилистыми руками на суковатой палке старик. — Обнадеживал, составишь бумагу, чтобы пенсию мне прибавили, а сам, видишь... Эх, ты, Степанович, Степанович!..» Потом чубатый здоровяк, уже, видно, слегка хвадивший с утра, долго стоял с опущенной на грудь головой, а потом вскинулся: «Дядя Лень!.. Думаешь, Витька Зайченко все забыл? Пацан был, после войны, в самый голод, залез на мельничный двор, пол-оклунка отрубей на горбюку, а тут меня — черк!.. Да в акте написали, что перед этим уже стянул у них да продал мешок семян. Привели к тебе, а ты широкий ремень с себя, да по заднице, а писанину эту на клочки да в корзинку... Думаешь, забыл Витька Зайченко?»

Древняя старуха, вскрикнув, точно подстреленная птица, заводила с порога плач, начинала причитать жалобно и стройно, голосила и голосила на простой, как у колыбельной, древний мотив, не то рыдала, а не то пела на одной и той же рвущей душу тонюсенькой ноте, и хоть ты понимал, что это плакуша, для которой заливать слезами — привычное дело, однако захолонувшее от пробудившейся в тебе прапамяти предков сердце горько ныло от благодарности... Спасибо вам, спасибо, добрые люди!

В комнате было тесно от старух, от черных плюшевых кофт, от темных глухих платков... Одни с иконописной скорбью на пергаментных лицах молча сидели вокруг гроба у изголовья, другие тихонько, но деловитыми голосами продолжали распоряжаться.

— Почему платка нет? Надо в руку платок.

— Да ему он не пригодится...

— Все одно надо. Люди будут с платками, так чтобы и у него.

Сгорбленная, изломанная, с неразгибающейся ногой, о колено которой она постоянно опиралась при ходьбе, тетя Даша, родная отцова тетка, принесла носовой платок, бережно вложила в пожелтевшую его руку.

— Лицо на страшном суде утирать.

— Да с им-то господь будет милостив...

— Конечно, раз такую тихую смерть послал...

И тетя Даша будто самой себе негромко повторяла:

— Утром пошел за керосином, а керосин не подвезли... Встретил около лавки друга своего, обратно вместе. Шли, говорит, смеялись, а потом слышу, жестянка загремела... Оглянулся, а он руками за воздух и падает около столба, падает...

— Такая смерть у господа только любимцам...

И тихой, ясной печалью были наполнены смиренные голоса старух.

А чуть поодаль бесплотной толпой стояли товарищи отца — все худые, носатые, с косыми скулами, в старомодных очках, со стриженными под машинку затылками, с вихрами на шишковатых макушках, с тонкими шеями над вытертыми воротниками тяжелых, надетых, как на вешалку, длиннополых пальто... Это с ними, с пенсионерами, которые уже не работали и на собрание теперь ходили в одну и ту же — при стансовете — организацию, отец делился книжками и обсуждал услышанные от заезжих лекторов мало кому известные подробности нашей жизни, с ними решал мировые проблемы или докапывался до истины в районном масштабе. Нет на свете, казалось, задачи, которая была бы им не по плечу... И только над главной загадкой стояли они теперь в задумчивости и в глубоком сомненье.

Опять раздавался в комнате жалобный всхлип: «Да что ж ты, Степанович, надела-а-а!.. Да ты ж было куда ни идешь, всегда спросишь... Меня же все забыли, один ты-ы — нет. Кликнешь, а я думаю-ю... значит, кому-то еще нужно, что жива-а-ая! А кто ж меня теперь остановит да кто спро-осит?..»

И опять по обычаю сказанные над гробом эти безответные слова были так горьки и так безыскусно искренни, что тесно становилось душе, и она куда-то рвалась, горячо куда-то просилась и взмывала вдруг в запредельную высь, откуда можно было не только оглядеть пространство внизу, но и будто бы вернуться назад во времени...

Далеко раскинулись укрытые голубоватой дымкой рыжевато-серые холмы предгорий. Вились между холмами ручейки и речки, петляли дороги. По дорогам этим съезжались, чтобы навсегда потом отправиться за море, последние джигиты непокорного Шамиля, а потом катили груженные крестьянским скарбом брички с первыми переселенцами из России... Медленные быки тащили короба литой пшеницы... Проносились кавалерийские лавы под красными знаменами. Бездорожьем в глубь гор уходили банды. Останавливались заночевать в степи продотрядовские обозы. Соскакивали с телег, чтобы положить в платок горсть земли, высланные в Сибирь кулаки. Неслышно плыли по спелой желтизне первые комбайны. Ползли по ней серые немецкие танкетки. Были «студебеккеры» с нашей морской пехотой. Спешили от поля к полю седые от пыли райкомовские «газики». Неслышными стрекозами, оставляя за собой негустые шлейфы, снижались самолеты сельхозавиации... Или еще выше? Еще на несколько веков вглубь?! Когда ступали по горным тропам первые разведчики Мстислава... Когда еще не родился Мстислав и аланы тут строили первые свои капища? Когда только учились ковать кинжалы меоты?..

Несколько лет назад среди пологих холмов за нашей станицей откопали скелет одного из самых первых здешних жителей — девятиметрового китенка цететерии. Тисячелетья назад над нашими холмами плескалось море... Зачем оно отступило? Зачем потом одно поколение стало сменять другое? Откуда все мы пошли? И куда мы должны пойти? Ради чего? Дойдем ли? И что увидят дошедшие?..

...В дверях посторонились, пропустили вперед нашего соседа, двадцатилетнего Гришу в яркой, петухами рубашке. В белом платье, с накинутым на плечи черным платком рядом с ним стала незнакомая девчонка. Сзади них появилась Гришина бабка, подтолкнула обоих поближе к гробу. Девчонка смотрела, оцепенев; Гриша оглянулся, туда и сюда повел головой, переступил с ноги на ногу. Бабка шепнула: «Ну!..»

— Мы к вам прощения просить, дядя Ленья...

Бабка негромко подсказала:

— Разрешенья...

— Разрешенья, да... Давно еще на сегодня свадьбу наметили. Неделю назад приходил вас звать... Сказали, приду!..

И бабка в голос заплакала:

— Да кто ж знал! Ох-охо-хо!..

— А теперь вся родня съехалась... друзья из Ставрополя...

Бабка торопливо утерлась:

— Ребяты из техникума!.. Директор автобус дал, сказал, чтобы к понедельнику обратно. Да и наготовили, натаганили столько — разве не пропадет? Ты уж, Леонтий Степаныч, прости нас по-соседски... Христа-ради прости!

Отодвинула внука в сторону, проворно стала перед гробом на колени:

— Ты уж, Леонтий Степанович, разреши грешникам!..

Я смотрел в пожелтевшее, с запавшими глазами лицо отца.

— Вставай, Дуся! — попросила отцова тетка. — Он же не скандальный какой. Разве не поймет? Как мы со двора, так вы и начинайте...

И опять томилась, болела вечным вопросом души, опять неслась к горным высям. И снова ей становилось там зябко. Испуганная высотой, падала, возвращалась в осиротевший мой отчий дом, где люди сегодня были так едины в утверждении добра, а значит, и в утверждении предназначения...

Я и раньше никогда от них не отрекивался, от своих земляков. Излишне горячий в юности, нынче я давно уже знаю, что хорошее во мне — все от них, а дурное — только мое. Среди голосов, первыми из которых я научился различать в себе голоса моих предков, я отчетливо слышу теперь и безмолвные речи не только тех, кто жил с ними рядом, корешевал, роднился, соседился, но и тех, кто с ними открыто враждовал или тихо их ненавидел... Но никогда еще не ощущал я такой неотделимости от всех, такой причастности ко всему вокруг, какую переживал теперь, стоя около гроба отца.

Поздно вечером у соседей гуляли, кричали песни...

Наши все потихоньку улеглись. Я взял старый альбом и стал перелистывать тяжелые плотные страницы. Нашел эту фотографию, сделанную в сорок втором, в тылу на переформировке: отец в шинели с лейтенантскими кубиками на уголках воротника и в фуражке. Молодой, тогда ему было тридцать два. Брови чуть-чуть нахмурены, но глаза смеются, и открытый взгляд откровенно радостен и светел. Голова, пожалуй, слегка приподнята — как раз так, словно он, сам над собой посмеиваясь, показывает так идущие ему сталинские усы...

Я перевернул фото. Как же давно я в наш альбом не заглядывал! Или, может быть, не читал этих строчек никогда?

Фотография была подписана мне:

«Как ты поживаешь, сынок? Не скучай за мной и никогда не грусти. Я скоро вернусь и привезу тебе настоящий самолет».

Я почувствовал, как лицо мое стягивает горькая улыбка...

Наверное, это в них самих, давно уже отступавших, смертельно измотанных, потерявших столько товарищей, жила в сорок втором эта мечта — о настоящих самолетах. Что ж, им, и верно, приходилось тогда чем только можно себя подбадривать...

А вернулся он действительно скоро — в самом конце сорок третьего. Дома никого не было, мы с братом сидели на остывшей печке, когда кто-то завозился у нас в сенцах. Долго скребли в дверь, искали щеколду. Потом она открылась, наконец, и вошел обросший, в черных очках и в замызганной шинели человек с тросточкой в руке и с грязным вещевым мешком за плечами. Стоя посреди комнаты, хрипло позвал:

— Тоня?! Дома ты?.. А дети? Вы дома?

Мы замерли, спинами прильнув к холодной, оклеенной картинками из «Мира животных» стенке над печкой. А он услышал, видно, как зашуршала пересохшая бумага, расставив руки, сделал к нам шаг, поискал растопыренными пальцами, и в это время Валера, которому было три года, закричал как резаный.

Отступая на середину, отец звал нас по именам.

— Это я, ваш папа! Не узнали?.. Это папка!

Я верил и не верил — выходит, тоже забыл.

Он опять шагнул к нам, и опять мой брат в испуге закричал.

И тогда отец опустился на стул около стола, снял шапку, снял очки и, взяв голову в ладони, заплакал...

Через год он выбросил палочку и куда-то спрятал очки — не нравилось, когда мы играли в слепых... Из первой группы его перевели во вторую, и о ранении в голову, о контузии, все мы постепенно забыли.

Сперва он долго работал в прокуратуре, перебивал потом почти во всех, какие только есть в станице, этих самых номенклатурных должностях, однако вольнолюбивый его характер — он был мягок с подчиненными и часто резок в разговоре с вышестоящими — так и не позволил ему в конце концов ужиться с районным начальством, больше всего остального ценившим в человеке покладистость — скажем, так... А он не любил кланяться. И уехал работать в город, и вернулся домой уже только тогда, когда вышел на пенсию. Квартира, которую он там снимал, командировки, передачи домой, бесконечные поездки в выходной на попутках... Его хватало на все. Чего там, у него ведь бычье здоровье, недаром никаких болезней не признает, и на все про все у него лишь одно лекарство. И от простуды, и от усталости, и от плохого настроения, и от обиды — одно и то же...

И когда только он упал посреди улицы и загремела эта пустая жестянка из-под керосина, когда у него тут же побавровела шея и посинел иссеченный осколками затылок, все, кто знал его, вдруг припомнили: война!..

И все вдруг ловишь себя на том, что в душе ты еще мальчишка...

И сам спрашиваешь с усмешкой: до каких, интересно, пор?

Теперь тебе не на кого оглянуться — ты в роду старший.

Тебе ли искать человеческого тепла — около тебя давно уже должны греться другие!

И возраст такой, что самая пора за все отвечать. Как говорит мой друг — с о о т в е т с т в о в а т ь.

Не один я небось все чаще об этом задумываюсь. Вот и захотелось мне тем, кому это интересно, что-то такое дружеское сказать, и улыбнуться, хоть мы незнакомы, и, как говаривали в старину, подморгнуть усом.

Вы уж поймите правильно, если улыбка при этом вышла немножко грустная...

ВОЗВРАЩАЙСЯ!..

Раньше я тоже так думал — когда в доме у кого-то только птичьего молока не хватает, когда такой человек начинает, что называется, беситься с жиру, тогда ему однажды приходит в голову: а не завести ли еще и пса?..

И вот он садится в собственную машину и едет на Птичий рынок, на то самое место, где друзей своих люди продают совершенно открыто и при этом, бывает, даже плачут; едет и покупает у какой-либо прожившейся старушки препротивную собачью морду с китайским названием породы и длиннющей родословной... Господи, да кабы так!

Прошлой осенью в начале октября погиб наш маленький сын Митя. Он был добрая душа, перед этим заступился за товарища, с которым сидел за одной партией, не дал его ударить, а потом крепко взял за руку и потащил за собой, говоря, что не надо связываться с плохими мальчишками, — что-то, жена потом рассказывала, такое...

Представляю, какая была короткая, какая воробьиная была у первоклашек эта драка, но жена расстроилась тоже, эти проявления злости в маленьких существах огорчали ее до глубины души, и теперь она шла за двумя ребятишками, как бы прикрывая их от третьего, чуть отставшего драчуна.

На крошечном бугорке перед трамвайной линией, уже за кромкой асфальта, все, кто тоже тогда возвращался из школы, остановились, пережидая, когда промчатся два красных вагона... И как только они пронеслись мимо, двое мальчиков — наш Митя с товарищем — бросились через улицу: он, видимо, все еще волновался за своего друга, все еще торопился подальше его увести...

А навстречу мчался встречный трамвай.

И жена не успела ни руку поднять, ни крикнуть.

Что нам «подарила» судьба — Митю нисколько не изуродовало. Его ударило в затылок, отбросило, он умер в ту же секунду, только долго еще шла горлом кровь, и в осенних цветах он лежал потом с удивительно чистым личиком, тронутым лишь крошечными ссадинками на щеке и над бровью.

Считается, что день похорон — самый страшный день... Ох, неправда! Ведь в этот день он все-таки еще с нами, вот, кроха, весь он — можно макушку погладить, другою рукой придерживая за пяточки... А невыносимо потом — когда ты уже не можешь коснуться лба, не можешь поправить черную «бабочку» на белой, с кружевом рубашонке, не можешь ладонь положить на заледенелые его пальчики. Когда еще потом начнет помогать тебе этот могущественный лекарь — время! А сперва тебе будет хуже и хуже, только хуже и хуже с каждым прожитым днем.

То мы с женою сидели и плакали, прижавшись друг к дружке, а то тихонько, чтобы не слышал другой, глотали слезы по разным комнатам. В такую минуту, когда я прятался ото всех, подошел однажды ко мне наш средний сын — Жора. Теперь он осиротел, пожалуй, больше, чем мы, — ведь это он и возил Митю на процедуры в дальнюю поликлинику, и водил потом в школу... Еще один подарок судьбы: в тот страшный день жена впервые пошла за Митей сама. А случись это, когда Митя шел с братом? Не лишились бы мы сразу двух сыновей? Поняли бы? Хватило бы у нас и ума и сердца простить большего?..

Жора попросил собаку, сказал, что можно купить хорошую. Я машинально стал расспрашивать:

— Что за собака?

— Ньюфаундленд.

— А что она, для чего?

— Ну, водолаз. Спасатель...

Может быть, слово «спасатель» было для меня тогда магическим? Может быть, тут другое: собаку обещал я им с Митей купить давно, только Мите перед этим еще предстояло вылечиться — у него была астма на почве аллергии, которую вызывали и они, домашние животные, тоже.

— А у кого ты хочешь купить?

— У нашей учительницы биологии знакомая с мужем разошлась, ухаживать теперь некому. А щенок хороший, она говорит, первая выбирала, эта знакомая, когда они родились у Татьяны Федоровны...

— У нее собака есть?

— Ну да, Кора ее зовут, знаешь, что это за собака?..

В этом ли во всем было дело? Я дал сыну деньги.

Когда Жора привел его в дом, оказалось, что ростом щенок почти с годовалого теленка. Но и тут я еще не оценил предстоящих нам трудностей — все происходило тогда как в полусне.

Мы оставили щенка одного и пошли с Жорой в магазин купить костей. За это время жена вернулась с работы, и, когда мы открыли дверь, она с ногами сидела на тахте и в голос рыдала, а щенок бегал вокруг и все пробовал достать ее черным носом.

Жена сказала, что он хочет ее укусить и что она вообще не желает видеть его в нашем доме.

— Да Квета тебя лизнуть хочет! — сказал Жора. — Бывшая хозяйка с Татьяной Федоровной боялись, что она к ним еще и не пойдет, выть станет и в дверь царапаться, а ей тут сразу понравилось... Вот она и хочет лизнуть, ну, спасибо, что ли, сказать, что мы ее взяли — ей там плохо было, у старой хозяйки... Зачем ей кусаться — она тебя еще как любить будет!..

Но жена только заплакала еще жалобней.

Потом бывали всякие времена, мы то оживали на миг, если случалось событие, которому раньше все долго радовались бы, а то опять словно впадали в спячку, но присутствие в доме живого существа, о котором, хочешь

не хочешь, надо заботиться, все больше мешало отчуждению. То сын звонил мне на работу, что он задерживается в школе, и просил заскочить домой на минутку, вывести Квету на улицу, то жена, жалея сына, просила меня передать ему, что в обеденный перерыв она уже, так и быть, купила костей, и пусть-ка он в магазин не ходит, а занимается лучше математикой.

Когда мы с сыном по очереди прогуливали щенка, на улице встречались нам опытные собачники, останавливали, долго разглядывали Квету, давали советы, и я по привычке все еще относился к ним так, словно все они маленько «с приветом», но ответственность за живое брала верх, и приходилось, раз уж надо, не только увеличивать время прогулок со щенком, но и, чтобы «поставить ноги», бегать с ним. Бегали мы обычно поздним вечером, я уставал, потому, наверное, впервые стал засыпать без снотворного, и жена заметила это и практически умом своим оценила, как оценила уже, вероятно, многое другое, связанное с появлением в нашем доме собаки... Разве, предположим, еще недавно не засиделся бы с друзьями допоздна, разве не позволил бы в утешение себе лишнюю с ними рюмку?... Разве теперь, когда ушел с работы, не укатил бы тут же в Дом творчества?... А каково им было бы без меня? И каково мне без них: стал бы работать или тайком от своих звонил бы товарищам, просил подкинуть денег все на то же — на убивающие душу размышления о несправедливости жизни?

Меня все больше привязывало к собаке другое — удивительно добрый ее характер. Не было в нашем громадном доме ни одного маленького мальчишки, перед которым она не вильнула хвостом, не было девчонки, которую она не лизнула бы в щеку. Она стала уже довольно большая и сильная собака, да и вид у нее, если не разглядеть морды, стал довольно-таки устрашающий, но вот в том-то и дело, что крупная эта лохматая башка с большими опущенными ушами и преданно глядящими на всех без исключения карими, чуть вытянутыми книзу треугольными глазами, делали ее не только миролюбивой, но даже ласковой, и это было так ясно для каждого в этих карих глазах написано, что малые ребята, которых матери подалеже от большой и страшной собаки тащили за руку, пытались вырваться, чтобы неизвестно зачем ее потрогать... Конечно, тут сказывалась порода, сказывалось это много веков старательно выращиваемое в собаке сознание цели ее жизни — любить человека настолько, чтобы, ни секунды не медля, броситься за ним куда угодно. Но мне казалось, что дело еще и в другом, что Квета каким-то непостижимым образом ощущает: она живет теперь в доме, где очень любили маленького мальчишку, и что в благодарность за доброту и заботу о ней она тоже должна любить всех, какие есть на земле, маленьких ребятшек. И они это словно чувствовали, ребятшки, они к ней буквально липли, и часто вслед за собакой я останавливался где-либо на тротуаре или посреди аллеи и начинал обстоятельно объяснять какому-либо теребящему ее за хвост бесстрашному карапузу, что на ногах у Кветы есть перепонки, что уши такая собака, когда ныряет, умеет плотно зажать, оттого и не страшна ей глубина в четыре-пять метров...

Часто, когда ходили с ней, забирались в такие места, где мы раньше гуляли с Митею... Вот мелькнула знакомая афиша, и я вспомнил, как в один из последних дней коротенькой его жизни мы с ним шли мимо, и он спросил меня: «Скажи, скажи, а что такое «оник»?» До этого я все пытался научить его читать по крупным буквам рекламы, но это никак не удавалось. Удивительное дело, такой смысленный, так жадно слушающий всегда бесконечные мои рассказы, он словно чувствовал, что эта наука — читать — вовсе ему не пригодится... Потому-то, зная, какой из него чтец, я твердо сказал тогда: «Не знаю, что это такое, — такого нет». — «Но я прочитал! — теребил он за руку. — Вон, посмотри!» И я посмотрел на эту доску для афиш, на которую он показывал вытянутой рукой, и увидел крупно: «Кино».

Потом шли мы с собакой дальше, через Ленинградский проспект переходили на Беговую, и тут, когда слева мелькали теплые окна ресторана «Бега», у меня снова сжималось сердце: «Лошадром». Так он назвал однажды, когда мы с ним проезжали мимо в троллейбусе, ипподром. Я потом, смеясь, рассказал об этом одному из своих товарищей, и он написал шуточные стихи про «лошадром» и передал их Мите, чем окончательно укрепил дружеские отношения с ним; Митя мог иногда вдруг сказать: «Давно я не видел дядю Сережу, а давай к нему сходим?...» У него вообще была трогательная и чуть загадочная манера — на равных разговаривать с моими товарищами. Для него это было естественным, что мои дружки — это и его дружки тоже, и он часто подбивал меня: «А давай позвоним дяде Юре Апенченко, почему он к нам давно не приходит?» Два или три дня — это, по его понятию, было очень давно, и мы звонили, и дядя Юра приходил, мы пили чай, разговаривали о чем попало, но чаще всего о вещах очень серьезных, а он сидел себе на диване, помалкивал и только поглядывал на нас — на одного, на другого.

И вот в ладони у меня не теплая его ручка, а жесткий брезентовый поводок...

Наверное, собаке было грустно ходить со мной, занятым теперь бесконечными своими мыслями, и она иногда тыкалась мокрым носом мне в руку или, чтобы обратить на себя внимание, прихватывала зубами поводок. Тогда я пробовал отвлечься, пробовал поговорить с ней, даже пытался что-то объяснить, если перед чем-либо она, бывало, останавливалась в недоумении. В этом своем внимании к собаке я в конце концов преуспел настолько, что однажды, увидев в Тимирязевском лесу молодую женщину, у ног которой, как мне показалось, играл крупный щенок, я вдруг с любопытством подумал: что за порода?..

И ткнулся лбом в сосну, когда понял вдруг, что это маленький, в серенькой шубке мальчик, и безутешно заплакал...

Вскоре старые друзья прислали нам с женою письмо, позвали в гости к себе в Сибирь, в Новокузнецк, где прошла общая наша молодость. Как раз в это время в очередной раз «повышал квалификацию» в Москве бывший мой однокурсник по философскому Стас Кондаков, тоже наш старый товарищ, и мы уговорили его перебраться из общежития к нам, присмотреть, пока нас не будет, за средним сыном, за Жорой.

Вернулись мы из поездки поздней ночью, и я не стал нажимать на звонок, решил открыть сам, но, когда вставлял в замок ключ, услышал за дверью странный тугой стук — это почуявшая нас Квета колотила по чем попало мощным своим хвостом. А с какой радостью она потом к нам с женою бросилась! И обхаживала каждого, и терлась, и, подпрыгнув, пробовала лизнуть в лицо, причем всякая такая попытка завершалась тем, что она — чего с ней давно уже не бывало — оставляла на полу лужу за лужей. До этого у нас никогда не было собак, никто нам об этом еще не рассказывал, поняли сами: от счастья.

Жена сердилась на Квету, не только ворчала, но и покрикивала, но в голосе у нее прорывалась ласка.

А утром она хмуро спросила у меня:

— Что вы с Жорой в конце концов думаете — с собакой?

И я в который раз понял, что она и мудрее меня, и глубже... Что это, может, последняя ее попытка запретить разбитому сердцу привязаться еще к одной живой душе в этом неустойчивом, полном тревог и несчастий мире.

В этот день приехал из Киева еще один наш старый товарищ, Миша Беликов, режиссер, с которым тогда мы работали над сценарием. У него был взрослый боксер, поэтому Миша хорошо знал, что это такое иметь собаку, и вечером за столом опять возник разговор о судьбе Кветы. Настрадавшись с нею, пока нас не было, Стас осторожно начал говорить, что собака, мол, сделала свое дело, помогла нам, как бы там ни было, пережить самое страшное время, это так, но теперь, мол, надо посмотреть правде в глаза: кто у нас будет за ней ухаживать? Жора со своею тысячью поручений постоянно задерживается в школе, жена работает, она не то что собаке — нам, говорит, бедная, не успевает приготовить, а на меня надежда плохая, я, известное дело, — путешественник, что ж, у каждого свой хлеб, и никуда тут не денешься, это ясно.

Раньше я, и точно, проводил в поездках добрую половину года и, отзываясь на речи Стаса, завздыхал теперь и начал потихоньку соглашаться: да, мол, трудное это дело, держать такую собаку в большом городе.

Час был уже довольно поздний, а мы с Кветой еще не выходили, поэтому решили вместе с ней прогуляться все трое и потом, когда шли с собакой по улице, разговаривать продолжали все о том же: лишнее, мол, доказательство, пожалуйста, — нам бы еще хорошенько посидеть за столом, ан нет — вставай, надевай ей ошейник... Да и вообще, начал философствовать Стас, разве это естественно: ньюфаундленд — в московской квартире?... Когда-то они жили на кораблях, и, если корабль выбрасывало штормом на скалы, такая собака с концом каната в зубах прыгала за борт, а рядом, держась за нее, плыл к берегу кто-либо из самых отчаянных матросов — чтобы там, на берегу, привязать канат, по которому переберется потом на сушу вся команда... Это другое дело! Такой собаке надо мчаться в упряжке или доставать с глубины сети — ньюфаундленд! Легендарная собака. Недаром же говорят, будто одна из них спасла в свое время не умевшего плавать Бонапарта!.. И вот, может быть, праправнучка спасшей Бонапарта собаки стоит сейчас перед светофором на грязном, перемешанном с солью московском снегу и нюхает гарь от проносящихся мимо вонючих автомобилей.

— Всё, Квета! — сказал я собаке, когда мы вернулись домой. — Это, в самом деле, не жизнь. Поедешь на Байкал. Простор. Воля!.. Там тебе будет хорошо. А мы станем приезжать к тебе...

Снял трубку и тут же заказал разговор на завтрашний вечер с Иркутском.

— А Жора не огорчится? — спросил Миша.

— Огорчится, конечно, да что делать? Давай поговорим потом вместе. Только сначала выясню, по-прежнему ли нужна собака в Иркутске...

Весь следующий день мы с Мишей просидели у меня в кабинете, обговаривали сценарий, а Квета лежала на полу, распластавшись, вытянув голову меж передними лапами, и все не сводила с меня глаз, пока я не заметил наконец, что они у нее слезятся.

Кивнув на собаку, я спросил у Миши: что это у нее с глазами?

— Как что? — переспросил он. — Плачет!

— А с чего бы ей плакать?

— Ну, ты же определенно сказал, что отдашь ее... Думаешь, она не понимает?

Я не поверил: ладно, мол!..

— А ты не знал, что ли? — Миша, кажется, не шутил. — Это само собой. Перемену судьбы любая дворняга почует, а у этой псины богатая, как говорится, натура — что ты хочешь?

Конечно, я человек внушаемый, предположим, но ведь до этого мы у нее и действительно никогда не видели слез. А сейчас нет-нет да и покатится по черным, смятым о паркетный пол брылам прозрачная горошинка...

Когда возвращался из школы Жора, Квета обычно встречала его у порога, шла за ним в детскую и больше оттуда не появлялась, но нынче она только проводила сына в его комнату и тут же вернулась к нам, снова легла в той же позе. Это было настолько необычно, что Жора пришел потрогать у нее нос: уж не случилось ли чего?

Жена, когда вернулась с работы, тоже раз и другой поглядела на Квету, потом спросила у меня:

— Слушай, а она не приболела?

— Нет, нет, — сказал Миша. И, когда жена вышла, повернулся ко мне: — Вот увидишь, ему нужна собака, этому твоему знакомому из Иркутска.

А я уже не находил себе места.

Говорят, собака выбирает себе хозяина в возрасте от шести до восьми месяцев. Того, кто кормил ее в это время, она запоминает потом на всю жизнь. Это как первая любовь, которой она никогда уже не изменит. Изменяет лишь человек. Так, как собираемся сделать это мы. Всем нам, выходит, собачка нужна была в самый

горький час. А теперь, милая, как хочешь... И станет в мире еще одним предательством больше.

В общем, когда раздался длинный звонок междугородной, я не к телефону шагнул — шагнул к собаке.

— Ладно, — громко сказал, — ты уж, Квета, извини!.. Никому мы тебя не отдадим. У нас будешь жить. Тут будешь. Слышишь?

И она вскочила и завилыла радостно толстым своим хвостом.

Миша уже держал в руке трубку. Я сел в кресло у телефона, услышал далекий голос, поздоровался и спросил, как там у них, в Иркутске, погода. Мой старый знакомый взялся было обстоятельно отвечать, потом рассмеялся и открытым текстом спросил: может, мне чего-либо надо?.. Да нет, говорил я, нет же, не надо мне ничего, просто хотел узнать, как он там. Он спросил: «Может, достал собаку?..» Да нет, сказал я, пока нет. Но договорился железно. Как только будут щенки, так — сразу. Ты не забывай, напомнил он, про собаку. И приезжай, наконец, на Байкал, договорились?

Спасибо, сказал я, конечно, хочу приехать, спасибо за приглашение, договорились.

Лохматая башка Кветы лежала у меня на коленях, собака смотрела на меня внимательными преданными глазами и все махала, без усталости махала хвостом...

Так она у нас и осталась, и мы, как могли, делили обязанности в отношении нее, помогали друг другу и так в конце концов привязались к собаке, что ради нее чем-то жертвовали. Жена целиком взяла на себя кормежку, весь обеденный перерыв простаивала теперь в очередях то за костями, то за мойвой и домой возвращалась с такими сумками, что мы с Жорой, отбирая их у порога, только головою покачивали. Но за все то время, какое жила у нас собака, она ни разу не вывела ее погулять. Мы никогда об этом не говорили, но я понимал ее, да и понимал, наверное, Жора, потому что никогда об этом не просил — нельзя ей было, конечно, появляться с громадной этой собакой на виду у нашего дома, в котором каждый знал всех нас и все о нас знал после несчастья... Гуляли с собакой только мы двое, а чаще всего один я, потому что у Жоры неважно стало с учебой. Как-то очень неожиданно для нас это вышло!

С первого класса у него было прекрасно с математикой, мы не знали забот, и я, расписавшись у него в дневнике, иной раз думал про себя: ну и великолепно! Ну и хорошо! Слава богу, что парень займется потом делом, а не пойдет по этой скользкой дорожке, на которую так неосмотрительно ступил когда-то его отец.

Когда мы переехали в Москву и Жора пошел в седьмой, то молодой, только из университета, учитель математики не мог нарадоваться, что у него появился такой ученик. Жора однажды рассказал нам, что вот уже в который раз Лев Николаевич, так звали математика, обидевшись на записных бездельников, оставляет класс на него, на Жору, и он, мол, сам дальше ведет урок и всё своим одноклассникам растолковывает... Я тогда всполошился, что за эксперимент? Педагогично ли? Но Лев Николаевич, когда я пришел в школу, успокоил меня: ничего, мол, ничего, все в порядке, тем самым он как бы подзадоривает ребят — представьте себе, стали заниматься лучше! За Жору тоже нечего волноваться, он остается на полчаса, на час после уроков, и они со Львом Николаевичем занимаются чуть ли не высшею математикой, только вот с книгами, жаль, неважно — может быть, я для общей пользы поищу?.. И я зачастил в магазин педагогической книги на углу Кузнецкого моста и Пушкинской улицы.

В восьмом пришел к ребятам новый математик — Лия Львовна. Была она из тех, кто убежденно говорит, что на пятерку предмет не знает даже учитель — чего в таком случае говорить об учениках?.. И она скорее всего решила сразу поставить Жору на место. Он принес вдруг одну двойку по математике, другую... Потом у нас случилось несчастье.

Может быть, в другое время я и понял бы, что у них там с Лиею Львовной происходит. Но тут мы с женою промедлили. И Жора сперва перестал заглядывать в те книжки, над которыми они сидели с прежним учителем, а после бросил, как потом уже до меня дошло, открывать и учебники. Математику он возненавидел, разговоров о ней избегал всячески и только уже в конце года вдруг сказал нам с невеселой усмешкою: «Лия Львовна сегодня передо мной извинялась...» Я с сомнением спросил: это за что же, мол?

Он замаялся, подыскивая слова:

— Я, говорит, почему-то чуть ли не одна в школе не знала, что у тебя в начале года случилось... Была, говорит, слишком строга с тобой.

Примерно в эти же дни Жору вдруг избрали комсоргом школы. И я надел костюм, на белую рубашку нацепил галстук, пошел к директору.

Как же, мол, я его спрашивал, так? Мы с женою каждый день пилим Жору за то, что он стал троечником, а вы тут оказываете ему, как говорится, такое доверие — не слишком ли?

Директор улыбнулся чуть снисходительно.

— Не забывайте, — сказал, — что у детей разные таланты. У одних, например, к учебе. А у вашего сына другой талант. К общественной деятельности.

Мне вдруг до зеленой тоски стало ясно, что тут уж ничего не поделаешь: бесполезно что-либо объяснять, бесполезно свое доказывать. И по дороге домой я только приподнимал иногда в недоумении плечи: не слишком ли у нас много, думал, и так этих самых талантов, который директор нашел теперь у моего сына?.. Хоть чуточку побольше бы нам других!

Летом со всякого рода объяснениями — почему да как, с большими нервами перевели мы Жору в другую школу, он снова взялся было за учебу, но тут схватил двустороннее воспаление легких, и целый месяц пришлось ему пропустить, а на зимних каникулах, в те самые знаменитые недавние холода, от которых не одна Москва пострадала, в школе полопались батареи, и ее залило, да так сильно, что пришлось поставить на капитальный

ремонт — она старая и перед этим долго уже не ремонтировалась. С утра до полудня старшеклассники теперь заколачивали, чтобы отправить потом на склад, ящики с оборудованием да с приборами, а после обеда, к половине четвертого, ехали заниматься в другую школу, к черту на кулички, — в общем, и тут нашему Жоре не повезло.

Все последнее время я почти никуда не ездил, и теперь оно словно накопилось — мне надо было и туда, и сюда, и все это обязательно, и почти срочно. И опять нас мучить стал этот вопрос: как быть с собакой?

Чего там говорить, конечно же, мы с женой в последнее время оба издергались и все, что касалось Жоры, воспринимали предельно остро, — хорошо хоть у Сережи, у старшего, который учился в Рязани в автомобильном училище, все, слава богу, шло пока хорошо. Уже немного хлебнувши сам, теперь он без конца писал Жоре, чтобы тот не разгибал спины над учебниками, но вот оно — одно за другим... О том, чтобы оставить Квету на попечении Жоры, не могло быть и речи. Но что оставалось делать? Поздно было отправлять ее на Байкал, поздно идти с ней на Птичий рынок. Доброта собаки и удивительная, если это может быть применимо к ней, деликатность давно уже покорили не только нас, но и почти всех наших друзей, кто хоть раз видел Квету. Конечно, больше всех остальных она любила Жору. И спала около него, положив черный свой нос на его тапочки, и провожала до порога, когда он торопился в школу, и поднималась с пола, шла к двери, когда он только еще поднимался в лифте. Странная, в самом деле, штука: едет вверх и вниз лифт, вот он ходит и ходит, останавливается на нашем этаже, открываются и закрываются двери, но Квета и ухом не ведет, дрыхнет себе посреди комнаты... Но вот она сперва настораживает ухо, потом приоткрывает удивительно глупый со сна карий глаз, приподнимает голову, встает и, не торопясь, идет к двери... Лифта еще не слышно вообще, но я твердо знаю: сейчас он дойдет до нашего двенадцатого, остановится, и из него выйдет Жора.

В первый день нового года она и растрогала нас с женой, и насмешила.

Мы пошли с ней провожать приезжавшего домой на праздники Сережу, дошли до автобусной остановки, расцеловались, а дальше, до вокзала, ехать с ним должен был один Жора. В последнее время у них появилось множество общих дел, они часто секретничали, но мы рады были, что ребята стали друг к другу ближе, и оставляли их вдвоем часто в ущерб себе, ладно.

И вот Сергей помахал нам из набитого автобуса, слегка приподнял руку Жора, дверь за ними сомкнулась, и мы, глядя им вслед, постояли еще немножко и пошли домой. Квета в последнее время слушалась идеально, и я отцепил карабин с ошейника, сказал, чтобы шла рядом, но она вдруг побежала назад и села около автобусной остановки. Сперва я не стал звать ее голосом, просто хлопнул себя рукою с поводком по левому боку, приказывая, чтобы она подошла, но собака отвернулась, сделала вид, что жеста моего не заметила, однако, судя по тому, как перемялась она передними лапами, как слегка приподняла зад и тут же снова уселась, врать она еще не научилась.

Я снова ударил себя ладонью по боку, и она опять дернулась, выдав себя, и опять тут же отвернулась.

На ходу и укоряя ее, и успокаивая, я вернулся к остановке, но стоило мне протянуть руку, как она, мотнув своей лохматой башкой и вскинув передние ноги, и раз и другой отпрыгнула. Меня всегда удивляли эти ее как бы служившие знаком внутренней борьбы странные прыжки — она без поводка на ошейнике, но мечется перед тобою так, словно ты ее крепко держишь. Мне пришлось прикрикнуть: «Сидеть!..» Но она, словно желая стать меньше, стать незаметней, сжалась и виновато шмыгнула за стенку из стеклоблоков. Я шагнул за ней, мы сделали круг, и в это время подошел следующий автобус. Открылись задние двери, и я не успел ничего сообразить, как она, проскользнув между теми, кто толпился на остановке, первая юркнула в салон.

Можно представить, как торопил я тех, кто садился в автобус, как последних чуть ли не впервые в жизни подталкивал, как протискивался потом к передней двери, у которой спокойно сидела себе наша Квета.

Я тут же прицепил к ошейнику поводок, на следующей остановке мы сошли. Она уже пыталась заигрывать со мной, а я голосом как можно более суровым выговаривал громко: это что, мол, за штучки — без разрешенья садиться в автобус?... Конечно, откуда тебе знать, что это не тот номер, что еще через квартал он поворачивает и идет совсем в другой конец города, — куда бы ты на нем, глупая твоя лохматая башка, уехала?!

Мне надо было тоном своим выразить ей недовольство и тем самым отбить охоту к путешествиям на будущее, и я старался говорить как можно строже, но не знаю, удавалось ли это, не ловила ли она чутким своим ухом, что в глубине души я доволен: разве это не проявление любви?

Жора был для нее все, что там и говорить, но у Кветы хватало добра и участия и для остальных в нашем доме, и если, например, она вдруг выходила из детской, шла к сидевшей на диване с вязаньем жене и укладывалась мордой ей на колени, я совершенно точно знал, о чем задумалась в эту минуту жена...

У самого у меня все длился этот мучительный период, когда я запрещал себе уходить в думы о Мите, чтобы не сойти с ума, чтобы где-либо среди тишины вдруг не закричать в голос... Вообще-то я многое за это время успел понять, как понял, например, задним числом свою давно умершую прабабушку, называвшую в старости меня, мальчика, то Кирюшею, то Афоньюю — это были имена зарубленных в гражданскую ее сыновей. И я теперь точно знал, что если господь продлит мои лета, то Митя тоже обязательно вернется ко мне, и мы снова будем вместе, на этот раз уже неразлучно, и будем счастливы... Пока же он потихоньку начал возвращаться лишь ненадолго, и всякий раз наши коротенькие свидания с ним заканчивались тем, что я ронял голову на грудь.

Тогда я еще не писал о нем, еще запрещал себе, но любой маленький мальчик, который встречался в моем рассказе, был конечно же он, Митя, и, когда я сидел над страничками, на которых он незримо присутствовал, душа моя разрывалась.

В один из таких моментов, когда я не справился с собой, когда отложил ручку и закрыл руками лицо, услышал, как собака, тяжело оскользаясь на гладком полу, стала подниматься в прихожей, где обычно лежала около двери. Она грузная, и всегда слышно, как она привстает, как ложится, рухнув на живот, в другом месте, как тяжело шлепает из комнаты в комнату. На этот раз она подошла к письменному столу и села напротив, положив черный свой тупой нос на край столешницы и уставившись на меня карими, будто бы все понимающими глазами.

— В чем дело? — спросил я. — Зачем пришла?

И она привстала, обогнула стол, ткнулась было ко мне, но дорогу ей преграждал стул с книжками, пролезть не смогла, и тогда она попятилась, вернулась на место, рухнула на пол, заползла головой под стол, положила морду мне на тапочки и длинно, взхлеб вздохнула...

Да ну, сказал тогда я себе, конечно же, это воображение у тебя разыгралось, разгулялись нервишки, и все дела.

Но на следующий день, когда я споткнулся на том же месте и снова мне стало плохо, Квета опять поднялась в прихожей и опять пришла, чтобы положить морду мне между щиколоток и прерывисто, как ребенок, длинно вздохнуть.

Да нет-нет, как теперь с ним расстанешься, с этим молчаливым, ставшим грустным, как все в нашем доме, и как будто все понимающим существом!.. Разве вот только отдать на время... И жена бы за эти два или три месяца отдохнула от сумок, Жора поднажал бы с математикой, а я бы прежде всего съездил в станицу, где в доме у матери — несчастье ведь, как известно, в одиночку не ходит — лежала теперь парализованная моя младшая сестра, и съездил бы, наконец, в санаторий хоть слегка подлечиться, и выбрался бы наконец к старым друзьям и глотнуть вольного сибирского воздуха, и заодно кое-что оживить в своей памяти, — зарплата мне ведь теперь не шла, и надо было работать, во что бы то ни стало работать...

Мы стали осторожно советоваться со старыми собачниками, и одни говорили, что лучше уж сразу расстаться с собакой, если начали одолевать такого рода сомнения, другие обещали разыскать старую знакомую, как-то однажды на целых полгода отдававшую на передержку королевского пуделя, третьи давали телефон собачьего тренера, который якобы на два, на три месяца за вполне умеренную плату берет собак домой и заодно их выучивает всяким необходимым премудростям. Это было тоже немаловажно, потому что однажды, когда я получал родословную Кветы в собачьем клубе, одна — да простите мне этот штамп! — модно одетая молодая дама стала рассказывать о том, что вышло из ньюфа, которого они не учили. «Представляете? — спрашивала она, ища сочувствия. — Прежде чем выйти из квартиры, любой из нас берет кусок колбасы. Бросаешь колбасу в дальний угол, и, пока собака бежит туда, надо успеть выйти, иначе она потом не выпустит ни за что!.. А реакция у пса, должна вам сказать, прекрасная, старенькая мама, например, выйти за дверь не успевает, однажды присидела, не смогла встретить родного брата — Артон не выпустил, представляете?..»

Прощаясь, я тогда спросил у нее нарочно грустно: «Так мы с вами больше не увидимся?» — «Ах, почему же? — ответила она, явно кокетничая. — На следующей выставке, в мае!..» Конечно, это было не очень остроумно, но уж больно не хотелось мне примыкать к этим, которые все-таки немножко «с приветом», собачникам, и я сказал убежденно: «Так ведь он вас к этому времени съест!»

Нам это, кажется, не грозило, но ведь были и другие сложности. Есть ведь люди, которые смертельно боятся собак, и представьте себе, что, послушавшись хозяина, к одному из таких людей стремительно бежит черный огромный пес!.. Недаром же говорят, что наводившая ужас баскервильская собака тоже была из породы ньюфов.

И вот я каждый вечер садился в кресло у телефона и звонил, звонил до посинения то по одному, то по другому номеру, но оказывалось, что эта женщина, которая отдавала на передержку королевского пуделя, на этот раз уехала за границу на два года, а у кого она оставила собаку, никто не знает; что у инструктора уже живут дома три собаки и взять четвертую он никак не может, но и отдавать другим инструкторам ни в коем случае не советует, потому что один бьет собак смертным боем, а другой морит голодом...

Не было, вы скажете, у бабы хлопот — купила баба порося!

Странная на первый взгляд наша проблема настолько выбивала меня из колеи, настолько все в нашей жизни осложняла, что однажды мне пришла и совсем сумасшедшая идея: а что, если на время отдать собаку в милицию? Лишь бы только взяли ее в питомник, а там можно будет поговорить по душам с каким-нибудь опытным, влюбленным в собак проводником, все ему объяснить...

«Угу, — сказал мне по телефону один мой имевший отношение к московской милиции знакомый, — угу. Знаешь, кто тут тебе смог бы помочь?.. Это железно — Феликс Бабкин! У него...»

И как я не подумал о Феликсе! А ведь всего недели полторы или две назад сам видел его в ресторане Дома литераторов за одним столиком с молодежью, одетым в милицмейскую форму генералом. Да и вообще, если припомнить ховившие о Феликсе легенды или хотя бы то, что рассказывал о себе он сам... Есть, действительно, судьбы, с самого своего начала отмеченные яркой печатью необычайного, и она, печать эта, на все годы впереди служит потом как бы пропуском в особую, совершенно недоступную кому-то другому жизнь. Если человек, чья судьба такой печатью хоть слегка тронута, даже и постарается, и приложит все силы к тому, чтобы жить как все, случай все равно найдет его среди обыденной суеты и обязательно вернет на крутую тропу почти фантастического.

Отец у Бабкина был известный в свое время дипломат и журналист, и Феликс родился на океанском пароходе, идущем то ли в Соединенные Штаты, то ли оттуда, долго жил потом в разных странах, прилично

изучил несколько языков, начинал студентом Сорбонны, но потом вернулся в Россию, стал военным, чуть ли не летчиком-испытателем, попал в катастрофу, вместе с орденом, еще задолго до тридцати, получил приличную пенсию, и чем только с тех пор не занимался и где только не успел побывать, пока не сделался, наконец, удачливым сценаристом. Он и сейчас легок был на подъем, мчался то к вулканологам на Камчатку, а то участвовал в каком-нибудь сумасшедшем рейсе в Антарктиду, каждый год проводил пару недель в Домбае или в Бакуриани, а если показывали из-за границы по телевизору хоккейный матч на первенство мира, то его можно было видеть и там, среди наших болельщиков, а то и рядом с ребятами. Словом, Феликс знал всех и все знали его, он был, по-моему, образцом того самого человека, которого теперь принято называть коммуникабельным.

Познакомились мы довольно давно, когда я еще жил в Сибири и в каждый свой приезд в Москву считал своим долгом два-три вечера просидеть за рюмкой в писательском клубе. Представивший нас друг другу наш общий знакомый, бывший боксер Динкович, был порядочная дубина, я сперва заскучал, но Феликс, улучив минуту, с улыбкой из-под мушкетерских усов шепнул мне что-то такое: не правда ли, мол, что проблески бывают у всех — Пан Спортсмен, например, подружил двух хороших людей, вот, пожалуйста. То, что Феликс еще до знакомства прочитал одну из моих книжек, меня буквально потрясло: ведь этого часто не дождешься от самых близких товарищей, — посидели мы тогда на славу и с тех пор нет-нет да и обменивались дружескими приветами, а то и встречались все там же, в писательском клубе, причем всякий раз Феликс долго расспрашивал о жите-бытье, предлагал иногда воспользоваться его связями, и, хоть близкими товарищами мы не стали, мне было приятно думать, что вот есть, есть в этом огромном городе симпатично смуглый, все еще, несмотря на то что ему уже далеко за сорок, похожий на д'Артаньяна человек, на уверенное плечо которого я всегда могу опереться.

Я позвонил Бабкину.

Пожалуй, это не проблема, сказал он, — устроить собаку в питомник МУРа. Можно снять трубку, и... Но хорошо ли будет бедной домашней псине среди овчарок, которые, ясное дело, не очень приучены к церемониям?..

Это была, как говорится, голая правда, я тут же скис, забормотал, что положение почти безвыходное, потому я ему и позвонил.

И правильно сделал, сказал он. Что, если мы не станем выручать друг друга? Но давай-ка поищем какой-нибудь более интеллигентный вариант. Могу я дать ему пару дней?..

Да о чем речь, сказал я...

Через пару дней, сказал Феликс, в это же время он будет ждать моего звонка.

До этого, может быть, потому, что очень редко звонил Феликсу, я почему-то не замечал, как быстро всегда он снимает трубку. Знаете по себе: пока оставишь какое-либо дело, пока подойдешь... А тут всего лишь один гудок — как «скорая помощь», как пожарная команда в хорошем городе.

Когда я позвонил на этот раз, Феликс сказал, что он разговаривал со старым своим приятелем, бывшим жокеем, который так же хорошо, как лошадей, знает собак. Старый приятель сообщил Феликсу, что в Подмосковье есть хитрый питомник при открытом совсем недавно НИИ и собак там содержат очень хорошо — он туда устраивал сеттера одного народного артиста. Но делал он это через своего дядю. Дядя сейчас в Кисловодске, но через четыре дня приезжает, и нет сомнений, что он нам поможет.

Я пообещал позвонить через неделю, но Феликс заявил, что такие дела надо решать единым духом, пока никто ничего еще не забыл, — мне надо связаться с ним ровно через пять дней.

И опять он снял трубку после первого гудка: все в порядке, дядя на месте, с ним уже говорили, но ему необходимо разыскать одного известного ученого, который всегда выручает его в подобных случаях. Дядя попросил два дня. Следовательно, я должен перезвонить Феликсу на третий.

На третий день выяснилось, что мы совершенно зазря потеряли почти неделю, но кто знал, что этот самый известный ученый — однокашник Феликса. Но вот теперь они поговорили без посредников, и, хоть дело это оказалось не такое простое, как мы сперва думали, Феликс вырвал у него твердое обещание помочь. Однокашник, правда, попросил не торопить его, звонить своему бывшему сослуживцу, заместителю директора этого самого НИИ, он не станет, а вот в субботу, когда они у дяди жокея соберутся на пульку... Кстати, спросил Феликс, не играю ли я в преферанс? Ах, я гуманитарий, а не технарь — понятное дело. И он, между прочим, не играет, хотя его-то можно отнести и к технарям тоже. Но у него другое увлечение — пасьянс. Надо будет собраться как-нибудь, и он меня научит раскладывать, занимательная штука. При нашем чертовски напряженном ритме надо же как-то расслабляться!

Пора сказать, что разговаривали мы с каждым разом все дольше и дольше: от летающих тарелок переходили к событиям в Иране, от йоги к русской парилке. Что касается этой последней, мы оба, как выяснилось, были заядлые любители и потому договорились, что в первую же субботу после того, как сдадим собаку в питомник, соберемся на даче у Феликса и хорошенько, с домашним кваском и с травками попаримся и попьем чайку из старинного, доставшегося жене Феликса от прабабки-помещицы серебряного самовара.

Казалось, что это уже не за горами — пулька состоялась, и однокашник Феликса в принципе договорился с замом директора, но в последний раз, когда они с Феликсом перезванивались, у него под рукой просто не оказалось телефона НИИ, чтобы окончательно все уточнить, а наизусть он не помнил.

Когда я в очередной раз связался с Бабкиным, телефон, по которому мне надо было позвонить перед тем, как отвезти собаку, был наконец уже у него, но он записал его на листке календаря, а листок этот оставил на столе в редакции. Он предупредил меня, что завтра у него творческий день, следовательно, телефон я получу

послезавтра, когда он появится на работе, а пока, чтобы не терять времени даром, я могу потихоньку собираться, куда мне надо.

Феликс был явно доволен, что все наконец устраивалось лучшим образом, не хотел этого скрывать, и, слушая его уверенный голос, я вдруг впервые ясно представил, как в хитром этом питомнике забирают у меня Квету, как бьется она на поводке уже в чужой руке, как тоскливо смотрит мне вслед... Мне припомнился рассказ одного знакомого старика: у него в тайге пропала собака и вернулась только через три года с металлической, заткнутой пробкою фистулой пониже груди.

Прекрасный сюжет, раскатился в трубке дружеский смешок Феликса, — я об этом еще не написал?.. Нет? Ну, ничего, будем думать, что это от меня еще не уйдет. Однако в нашем случае фистула ни при чем. Это новейший НИИ, который занимается психологией животных, поисками путей общения с ними, да, потому-то там все на самом высоком уровне, а главное, конечно, — совсем иное, нежели в милицейском питомнике, обращение, согласен я? Правда, однокашник предупредил Феликса: надо быть готовым к тому, что собаке придется пробыть в питомнике никак не меньше полугода, и тут уж ничего не поделаешь, попутно их обучают, а это самый короткий курс. Где находится этот питомник?.. Он пока не знает, не вдавался в подробности — об этом я потом сам ему расскажу, когда оттуда вернусь.

Он, видно, почувствовал, что теперь, когда дело оставалось за малым, я слегка загрустил, и стал утешать меня: да ты что, мол?.. Недаром же столько усилий было затрачено — все будет, как говорили у них в авиации, тип-топ!

Мои тоже притихли, когда я передал им этот разговор с Бабкиным. Жена в последнее время все старалась подкормить Квету — мало ли как придется ей в питомнике, хоть он и «хитрый», — а тут, я понял, решила для нее чуть ли не прощальный ужин устроить: чтобы не забывала свой дом. Жора сказал, что вместе с Кветой надо будет отвезти в питомник полевую сумку, в которой хранились поводки ее и намордник и которую Квета часто таскала в зубах по улице, отвезти и попросить их там, чтобы они повесили эту сумку в вольере — тогда Квета иногда будет нюхать ее, и вспоминать о доме, и думать, что скоро она к нам вернется.

А я помчался в кассу у «Метрополя» — покупать себе билет до Армавира...

Обидная получилась история, расстроено говорил мне Феликс через день. Пока его не было в редакции, в соседнем отделе перед концом работы решили скинуться, а чтобы им никто не помешал, открыли его кабинет и устроились, алкаши несчастные, за его столом. И вот он уже полдня ищет листок с телефоном и никак не может найти.

Листок так и не нашелся, пришлось Феликсу снова ловить своего однокашника, но тот успел улететь на симпозиум в Норвегию, благо что ненадолго, всего на неделю.

Мы с женой посоветовались, и я решил сдать билет: восемь-десять дней погоды не делают, зато потом, когда пристроим собаку, на душе у меня станет спокойней, не буду волноваться за Жору и смогу пробыть в станции подольше.

Однокашник Феликса скоро вернулся, но за это время изменилась ситуация в подмосковном этом институте — лег в клинику на обследование заместитель директора, который обещал все устроить, а без него в НИИ нечего и соваться, Феликс ведь говорил и раньше, что дело это, как оказалось, не такое простое. Оставалось одно — ждать, что там, в клинике, решат с замом: будут оперировать или все обойдется. Ну да ничего-ничего, ждали больше. Зато потом я буду свободен как ветер, на все четыре стороны, пожалуйста, — разве Феликс не понимает, что в станции меня уже заждались и что в Сибирь мне тоже надо, что называется, позарез. Единственная ко мне просьба: задержаться потом все-таки еще на пару деньков в Москве, чтобы мы смогли съездить к Феликсу на дачу, хорошенько попариться, попить чайку и поразговаривать не торопясь, — а то все по телефону да по телефону...

Есть люди, которым, пожалуй, все равно, из-за чего терзать себя — лишь бы терзать, и в последнее время я стал думать совершенно определенно, что я тоже из таких людей, это факт, потому что ко всякого рода проблемам, давно не дававшим мне покоя, прибавилась теперь и еще одна: наши отношения с Бабкиным.

Конечно же, я давно уже начал сомневаться в искренности Феликса, но относил это за счет заскорузлой своей, как у старого станичника, подозрительности... В самом деле: разве подал он хоть малейший повод ему не верить? Ведь ни разу мне не ответили по телефону, что Феликса неделю не будет дома, ни разу не слышал я этого неловкого молчания, когда малый ребенок, зажав кулачишками трубку, спрашивает у родителей, что сказать?.. Более того — довольно часто Бабкин звонил мне сам.

Никогда не слышал я от него и этих словечек из жаргона средней руки разбойников: что он-де, мол, вышел, наконец, на Иванова и будет пальцы держать на пульсе, а пока додавит и Сидорова, чтобы они с Ивановым вместе, двойною тягой...

Иной раз я начинал думать, что притормаживать дело таким образом — это просто принятая в этом большом городе среди интеллигентных людей деликатная манера отказа и мне давно бы следовало понять это, но концы с концами не сходились и тут: неужели, когда позвонит Феликс, передать через своих, что меня нет и не будет?

Не раз и не два за это время я решал для себя, что все, больше не стану Бабкина беспокоить, но потом приходил к кому-либо из общих знакомых, и тот мне вдруг говорил: «Да!.. Был у меня сегодня Феликс, рассказывал, как вы пробуете ньюфаундленда в питомник определить, и просил передать тебе... Стоп! Сейчас мы ему позвоним!..»

Странная и запутанная получалась история, и я, когда размышлял о ней, прямо-таки тосковал по простоте,

пусть она будет даже такая, когда тебя без лишних слов просто посылают куда подальше...

Но ведь есть, думал я тогда, и другие отношения... Или только м о г л и быть?

Перед тем как пойти Мите в школу, в августе мы с женой отвезли его в подмосковный санаторий. По дороге все втолковывали маленькому, что скучать не надо, будем часто приезжать к нему, но там вдруг выяснилось, что на этот счет очень строго: всего один родительский день. Зачем, объясняли нам, заставлять ребятишек нервничать — ведь к одному, лишь разреши, приедут и завтра и послезавтра, а другой только в окошко будет выглядывать, только ждать. И мы решили, что это справедливо, и даже в тот день, когда настала моя очередь привезти на всю группу фрукты и овощи, я не стал донимать нянечек просьбами увидеться с Митей, а только хорошенько обо всем расспросил.

В родительский день строго-настрого запрещалось угощать ребятишек, все гостинцы надо было оставить для общего стола, и мы с женой первым делом выложили все до единого кульки и пакеты. Потом, когда мы втроем устроились на одном краешке низенькой скамейки, а на другом, точно так же усадив малыша посредине, расположилась еще пара, я заметил вдруг, что наши соседи по очереди достают из портфеля сливы и суют украдкой мальчонке в рот. Они были моложе нас, эти двое, мы с женой понимающе переглянулись, и я повернулся к соседям спиной, закрыл их от Мити.

Но он вдруг засмеялся, качнул головой, стрельнул глазками напротив:

— Совсем дырявая память у Наташки!..

Неподалеку от нас сидели под грибком тоже трое — худенькая вертлявая девочка с большим красным яблоком в руках, а по бокам двое уже пожилых людей, наверняка дедушка с бабушкой.

— Почему — Наташка? — укорила его жена. — Наташа!

— Наташа у нас другая! — возразил он уверенно. — А это Наташка.

Пока мы с женой переглядывались да разводили руками по поводу этой четкости — кто есть кто, — я забыл спросить, почему так плохи у маленькой Наташки дела, а затем нам стало не до того: почти все детишки вокруг, прячась за прикрывающим их родительским плечом, быстренько жевали, в подставленные ладошки сплевывали косточки, наклоняли мордочки к протягивающей арбузный ломтик руке...

Пожилая нянечка сперва подходила то к одним, то к другим и что-то недовольно выговаривала, издали грозила пальцем, но вскоре ей это надоело — остановилась посреди площадки, где все сидели, демонстративно приподняла подбородок, стала глядеть куда-то вверх деревьев. Тут ее окликнули, она ушла, и началось открытое пиршество, началось обжорство...

— Может, пойдём отсюда? — шепнула мне расстроенная жена. — А то вдруг попросит еще...

Мы взяли Митю за руки, пошли, а он оглядывался, качал почему-то головой, весело смеялся, но так ничего и не попросил.

Потом, когда все еще судорожно дожевывающих ребятишек уже вели к корпусу, он бросился к кому-то из новых своих дружков, схватил за руку. «Олега, Олега, что — и у тебя совсем дырявая память, забыл, что Марья Иванна сказала: будем кушать все вместе, что папа и мама принесут!..»

Лицо у него светилось: сам-то он не забыл!

И вот в самых неожиданных местах все еще находишь припрятанный им смятый остаток жвачки с остренькими его зубками, и над краем книжной стенки под потолком так еще и висит одинокий нос бумажного голубя...

Что, так и остался бы он — святая доверчивость? Или ушла бы она потом — вместе с детством?

Каким бы он был?.. Каким будет этот сидевший с ним за одной партией одноклассник, которого удалось хирургам спасти? Какими будут эти мальчишки, которых тогда без удержу угощали клубникой да сливами?..

Где ты, маленький?!

Увидел я Бабкина в Доме литераторов в субботу. Пробираясь между столиками в верхнем буфете, он еще издали разводил руками, и я уже подумал было, хочет сказать — наконец, что ничего у нас не выходит, однако лицо у него было радостное, а в голосе послышался обращенный ко мне дружеский укор:

— Где ты можешь — с утра до вечера?..

Он уже подошел совсем близко, взяв меня за локоть, наклонился, и хоть я ненавидел эту манеру, целоваться на каждом шагу, тоже ткнулся губами ему в щеку.

— Звоню сегодня, звоню!

Я стал говорить обычное, что целый день, мол, в бегах, он взял меня теперь за другой локоть, молча повел впереди себя в дальний угол. Там за столиком сидели тесной компанией пять или шесть мужчин, среди которых я узнал нескольких завсегдаев.

— Не дадут соврать, мы о тебе только что говорили, — пододвинул Феликс свободный стул. — Вот местечко. Кого не знаешь, познакомишься потом, пока я буду ходить за коньяком. Но сначала вот тебе листок, пиши свой подробный адрес... Или тебе лучше водки, вкусы у нас с тобой как у настоящих гусар, а?

Он еще раз дружески сжал мне плечо и пошел к стойке, а я достал наконец из портфеля ручку и положил ее на осьмушку мелованной бумаги, которую Феликс только что вынул из записной книжки.

— Займитесь сперва делом — пишите! — кивнул мне сидевший напротив неопределенного возраста человек в хемингуэвском свитере и с такой же, как у знаменитого американца, бородой.

— Кончились ваши мытарства.

Я посмотрел на этого, на второго, — русоволосый, со светлым лицом и серыми, с голубизною глазами, он был очень похож на одного моего жившего в Улан-Удэ старого товарища — потомка пришедших когда-то в

Забайкалье староверов из «семейских».

— Вы, наверно, еще не знаете — завтра Феликс заезжает за вами...

И я посмотрел на третьего.

Все дружеские, все такие открытые лица видавших виды ребят, с которыми не пропадешь... И обращаются эти ребята ко мне так, словно все вместе они здесь долго сидели и лишь о том и толковали, как мне помочь, когда, и вот, наконец, совершенно твердо решили: завтра!

Когда Феликс вернулся, я уже все знал, осталось только убедить его ехать в питомник не на его автомобиле, а на машине моего старого друга, всегда меня выручавшего; он прекрасный водитель, да и «Волга» у него не такая, как у Феликса, новая, — если собака где и цапнет, мало ли...

— О чем ты говоришь?!

Лицо у Феликса сделалось на миг такое грустное, что я вдруг устыдился своей мелочности. Он, видно, понял это и чуть-чуть помолчал.

— Поедем на моей, — сказал твердо. — Так надо.

И приподнял рюмку.

Вернулся я домой поздно, и жена стала было ворчать, но стоило мне заявить, что завтра мы отправляем наконец Квету в питомник, как она тут же переменяла тон.

— Позвонил бы! — упрекнула почти виновато. — Я бы велела Жоре искупать ее, ты ведь видел, грязь на дворе... Тем более повезете в чужой машине.

А я все еще настолько плотно был окружен атмосферой дружеского общения, этим кислородом братства, которым вволю мне посчастливилось подышать вечером, что я если не сурово, то во всяком случае очень строго спросил ее:

— Почему это, любопытно, — чужая?!

С утра я сел со свежим номером журнала у телефона, стал ждать. Отложившая все заботы жена приделась и с вязаньем устроилась неподалеку. Жора хорошенько расчесал Квету и в который раз сложил в полевую сумку ее пожитки.

Разговаривали о том, стоит или не стоит вместе с нами ехать в питомник и ему. Нет, решали, пожалуй, не стоит... Пусть уж собака думает, что единственный из всех нас злодей — это я. А Жора потом придет, чтобы забрать ее. И Квета привяжется к нему еще больше.

Бабкин не звонил.

Может, около гаража сломался автомат?.. Может, висит без трубки? И Феликс подумал, что дольше будет искать телефон, решил подъехать так, без звонка.

Я стал выскакивать на балкон, глядеть вниз, искать глазами белую «Волгу».

Жена с каждым разом все заметней поживалась.

Сыну позвонили мальчишки из его класса, позвали в кино на две серии. Он сперва отказался, потом мы уговорили его, и Жора торопливо собрался, присел перед собакой: «Давай с тобой попрощаемся — а ну-ка, дай лапу!...»

— Ладно, ладно, — сказала жена, — ты еще успеешь вернуться.

Я промолчал. Только вдруг подумал про себя: а бывают ли серебряные самовары — у кого бы спросить?..

Квета проводила Жору до двери, потом вернулась, грохнулась около дивана, вытянула морду между передними лапами, закрыла глаза и почти тут же длинно всхрапнула...

Жена посмотрела на меня и непонятно усмехнулась.

Сын и в самом деле успел прийти из кино, а белой «Волги» под балконом все не было. Мне вдруг стало как никогда в жизни обидно. Так, наверно, и бывает в тот миг, когда человек, переживший что пострашней, готов потом застрелиться из-за того, что на ботинке у него лопнул шнурок.

Жена отложила вязанье и встала, чтобы надеть кофту.

— И долго мы так будем сидеть? — спросила потом не то чтобы насмешливо, спросила с какой-то совершенно уничтожающей ноткой.

Она всегда была добрый человек, с характером справедливым и спокойным, но в последнее время — я это замечал уже не впервой — в нее, случалось, словно вселялся неукротимый бес, который приплясывает обычно под чутким ухом нашего брата, и тогда ее начинало нести по всем правилам, как опытного какого-нибудь клейменого прощельгу из ЦДЛ, — а то она за столько лет рядом со мною, бедная, не наслушалась!

— Одно мне непонятно: собака в глаза твоего Бабкина не видела, но совершенно точно знает, что он врет как сивый мерин. Никуда она с ним и не собиралась, посмотри, какая спокойная!.. Дрыхнет себе, и все дела. А ты?! Ты нам уши прожужжал с этим твоим Бабкиным, а так ничего и не понял, — кто из вас, интересно, больше психолог: ты или Квета?..

Она, конечно, понимала, жена, что я не стану больше откладывать свою поездку на Кубань, но и появиться в станции с этой громадной черной собакой тоже не появлюсь; понимала, что с Кветой скорее всего совсем рано утром, чтобы ни одна живая душа не видела, или совсем поздно вечером придется, если мы не предатели, выходить на улицу ей...

— А возьми другие дела, го-осподи! — нараспев говорила она, как плакала. — То он бросает все на свете, думает, что в самом деле поставят его пьесы, — да кому они только нужны!.. То он хочет в Сибирь, верит, что в самом деле найдутся дураки, которые подпишут-таки договор на эту книжку, — на что она сдалась тут, эта твоя Сибирь с твоею книжкой вместе!.. Кормить такую собаку! Да ты бы хоть как-то приспособился с ней

советоваться — где что у тебя и правда возьмут, а где только пообещают, да тут же забудут. Один Миша Беликов, бедный, с ним возится, потому что сам — недотепа!.. А еще туда же, го-осподи! Держали бы лучше поросят — больше пользы!

Ушла она наверняка затем, чтобы вытереть слезы.

А во мне перестала разом звенящую высоту набирать душа, непонятно отчего задышал спокойней. Бросил на пол журнал и отключил телефон. Сполз в кресла пониже, положил одна на другую, вытянул ноги.

А ведь и верно, подумал, усмехнувшись: это надо быть совсем идиотом, чтобы иметь такую собаку и позволять себя на каждом шагу обманывать!.. Вот оно что, эге! — темнят, конечно, опытные собачники, когда не говорят, что с помощью своих ротвейлеров или русских гончих на самом-то деле спокойненько обтяпывают самые разные делишки! Все при встрече — мол, шерсть вычесываете или нет? — а о самом главном, жучки, ни слова. Как будто свитер из собачьей шерсти нужен мне больше всего на свете!.. Не озябну, глядишь, и без него, коли пойдут дела мои поживей! Ну да все, теперь-то остановка за малым — придумать, и верно, способ с этой лохматой зверюгой советоваться, а там уж нас никто не обманет!

И заживем мы с женою тогда хоть чуточку веселей.

И станем счастливы, может быть, еще до того, как насовсем вернется к каждому из нас маленький...

ДОЛГАЯ ОСЕНЬ

Свет небес высоких,
И блестящий снег,
И саней далеких
Одинокий бег.

А. Фет

1

Черное безмолвие, которое тяжело обступило его со всех сторон, умирающий Котельников ощутил теперь и в себе самом, оно стремительно разрасталось, готовое заполнить его целиком, и он вдруг понял, что, как только это произойдет, он сольется с тем бесконечным, что было сейчас вокруг него, и растворится в нем навсегда.

Жить ему оставалось считанные мгновенья, но страха он не испытывал и краем успел отметить, что его и не должно быть — перед тою жестокой неотвратимостью, цену которой осознал он только сейчас.

В оцепенении подумал, что вот как это, оказывается, бывает, когда тебе приходит конец, и тут вспышка сознания, необычайно яркая из-за того, что была последнею, сделала для него вдруг ясным и смысл готовой оборваться его жизни, и загадку всеобщего бытия, и все тайное тайных, куда не мог он проникнуть прежде. Теперь открылось, что постичь это можно только на грани, которую переходил он в эти секунды, и оттого, что возврата уже не будет, его захлестнула горькая обида.

С нарастающей жадностью ему захотелось остаться и жить дальше, он сделал отчаянную попытку удержаться перед чертой...

Оцепененье пропало, Котельников перевернулся на спину и только тогда открыл глаза и проснулся.

Пришедший задним числом испуг начал теперь отпускать его, лишь сердце билось чаще обычного, и он лежал притихший, ждал, пока оно успокоится.

В избе держался призрачный полумрак, но синеватый свет сочился из окон у него над головой, зато в двух других, справа, темь оставалась еще неразмытою. Котельников не услышал ни похрапыванья, ни даже дыханья, только стенные, с кукушкой часы постукивали неторопливо, и он подумал, что, может быть, он кричал, и дед с бабушкой теперь не спят, а прислушались.

Правда, такого с ним не случалось, чтобы кричал во сне. Да ведь и умирать так, как умирал он сейчас, ему не приходилось, и даже сразу после травмы, в самые тяжелые дни беспомощности, когда жизнь его и в самом деле висела на волоске, смерть не представлялась ему такою отчетливой, как нынче...

Может, это был теперь сгусток тех расплывчатых ощущений, которые мучили его раньше, когда ему было плохо? Или случилось другое: тогда к нему было трудно подступиться, потому что жил, стиснув зубы, днем и ночью настороже, и смерть отошла и затаилась, чтобы выждать и напасть на него теперь, когда он решил, что самое страшное все-таки уже позади, и позволил себе расслабиться?

И умер бы, благополучно прожив больше полугодика после травмы, умер бы не в больнице и не дома, а в этом глухом таежном селе, откуда тело его повезли бы по реке на моторке... Или ребята сообразили бы вертолет?

Ладно, сказал себе уже не без издевки, оставь им эту заботу твоим друзьям, — что у тебя, мало забот своих?

В темноте попробовал и раз и другой насмешливо улыбнуться, потянулся, закладывая руки за голову, поправил на груди одеяло и улыбнулся опять, но скулы по-прежнему были твердыми, и от этих улыбок,

которыми он учился подбадривать себя да поднимать настроение, осталось такое ощущение, словно на правой щеке у него флюс.

Сразу переключиться Котельников не смог, опять ему представилось, как смотрит на него, мертвого, маленький Ванюшка, как ничего не понимает... Или Вика не даст ему и взглянуть, и все произойдет без него, без Ванюшки, и лишь потом, очень нескоро станет вдруг выросший без родного отца Ванюшка настойчиво копаться в памяти и расспрашивать мать да старшего брата, начнет выискивать в себе черты, которые вдруг покажутся ему отцовскими, — так же, как казалось это Котельникову, который сам был послевоенная безотцовщина.

«Вот чтобы с Ванюшкой этого не случилось, — сказал себе Котельников и торопливо добавил: — И с Гришей тоже... Ты это брось».

Затем он уснул, остаток ночи спал хорошо, но перед утром ему опять приснилось, будто подъем этой машины, «груши» да опорного кольца второго конвертера, прошел без него, — он, как и договаривались, приехал к началу смены, а Гиричев с Алексеем Ивановичем смеются: ты извини, мол, Андреич, мало-мало опоздал, осталось тебе только принять работу, все уже на месте, как тут и было...

Он тихонько проснулся, подумал опять: неужели, и верно, в тот раз он переусердствовал, когда руководить установкой взялся сам? У них велось, считай, уже несколько лет: любой «пор» на сложный подъем они с Гиричевым сперва проверяли по отдельности, потом садились рядом, звали Алексея Ивановича и все уточняли да обговаривали.

У Гиричева, несмотря на молодость — студенческие штаны едва небось успел доносить, — монтажной хватки хоть отбавляй: и башковит и напорист. А если к этому прибавить опыт да смекалку их лучшего бригадира, прибавить расторопность за долгие годы вышколенных им отчаюг да умельцев... За спиной у Алексея Ивановича и бездельнику бы жилось как у Христа за пазухой, а с толковым прорабом были они пара, каких поискать. Потому и повелось: с вечера договаривались обычно, когда начать — все при этом чуть ли не сверяли часы, — а потом Гиричев с Алексеем Ивановичем или оставались в ночь, или вместе со слесарями на несколько часов раньше приезжали на аварийной... И к тому времени, когда трестовское начальство подъезжало, чтобы застать начало подъема и еще раз отдать «цэу», все уже было позади. Котельникову оставалось заодно со всеми удивляться, и для порядка он, конечно, журил хлопцев и громким голосом строго предупреждал, чтобы это в последний раз, а они каялись и обещали, что да, больше такого не случится, но при следующем трудном подъеме все в точности повторялось, и это была не то чтобы уступка суеверию, не то чтобы игра в фарт, — просто и Котельников, и прораб его с бригадиром считали, что каждый должен заниматься своим делом и успешнее всего люди занимаются им тогда, когда никто их по мелочам не дергает, над душой у них не стоит, под ногами не болтается.

Может, надо было и сумасшедший этот подъем тоже целиком доверить Гиричеву, хотя как тут, конечно, передоверишь, если бумага такая специальная была: разрешается только под персональную ответственность главного инженера монтажного управления Котельникова. И тут уж ничего не поделаешь, мудрецы все стали — глядишь, в случае чего такая бумага и сгодится, кого-нибудь да прикроет.

Этот сон, такой умиротворенный в самом начале, снова разбередил его... И неужели, подумал он, все было зря?..

То, что на его кафедру в институт отдавали просчитать, выдержат ли «грушу» проушины опорного кольца, Растихин не стал от него скрывать, сказал, что в заключении он так и написал: считает, что созданное недавно в Москве специальное конструкторское бюро по конвертерам необоснованно изменило старый проект, предусматривавший для проушин запас прочности побольше нынешнего. Все это, может, было бы в порядке вещей, если бы краем уха Котельников не услышал другого разговора: будто приезжавший недавно на стройку представитель того самого завода который перед этим один в стране выдавал документацию на конвертеры, ненароком, уже при прощании в ресторане, обмолвился, что у них на заводе знают о промахе москвичей. Представитель этот так вроде и сказал: ничего, ничего, пусть, мол, разок обожгутся, для начала всегда полезно — глядишь, столичной спеси и поубавится...

Естественно, что попортивший ему столько крови конвертерный был теперь особенно дорог Котельникову, — он, когда услышал об этом, задохнулся от возмущения: неужели так далеко зашла межведомственная распря, что участники ее забыли о главном — о тех, кто будет на этих конвертерах работать?

Позвонил Растихину, сказал, что немедленно приедет, они почти тут же встретились, и Растихин, этот опытный психотерапевт, все сразу, конечно, понял и мгновенно почти, как он умеет, перешел на другую тему, стал сыпать анекдотами, а потом, когда Котельников попробовал вернуть его к разговору, хитренько рассмеялся: «Да ты никак всерьез?... Я думал, шутишь!»

И он поверил ему, и верил до тех пор, пока отличающийся простодушием зам. главного инженера треста недавно не сказал ему: «Хотел было снова о проушинах, да Растихин сказал, запретная для тебя тема...» Он спросил в упор: почему это, интересно, Растихин должен решать, что ему, Котельникову, можно знать, а что — нельзя? «Вообще-то в какой-то мере это его право, — сказал зам. — Это он ведь тогда в ресторане бывшего спеца по конвертерам — по морде, а тот очухался да чуть не на колени: простите, братцы не подумал, оно и вырвалось — пусть останется между нами!..»

Конечно, Растихин щадит Котельникова, не хочет, чтобы он увяз в размышлениях, как оно у нас порой происходит: ясно, что в проекте ошибка, а поворачивать поздно, ничего, будь что будет, строим дальше, потому

как стать нужна позарез, чтобы загнать очередную дырку в планировании!..

Ладно, с Котельниковым, предположим, ясно. А что сам Растихин? Он ведь не такой человек, чтобы промолчать только потому, что кто-то там стал перед ним на колени... Что он для себя-то решил?

Ну, ладно, подумал Котельников, оставим это пока ему одному, оставим до тех времен, когда можно будет поговорить с ним об этом в открытую и всерьез, без скидок на состояние его, Котельникова, здоровья... Но будут ли такие времена? Скоро ли?..

Эти свои грустные, в полусне пришедшие размышления Котельников тоже решил было заспать, но уснуть ему больше, как ни старался, не удалось, в чуткой дреме он слышал, как вставали и дед и бабушка, как потихоньку переговаривались:

— Ты-ко не поднимай Андреича. Оставь зоревать.

— Пусть, однако, зорюет...

К рассвету горница выстыла, и край тулупа, который выбился из-под матраца и которого Котельников касался щекою, был прохладен, от пола и самодельных половинок исходили запахи старого жилья, в котором испокон сушили травы, проветривали кедровые орехи, били шерсть, пряли, мяли кожи, делали всякую другую работу, а из кухни приносило теплый дух свежего хлеба, уже доплывал оттуда сытый мясной парок, и Котельникову уютно было лежать в полудреме и слушать, как поскрипывает дверь, как скребут по чугунной плите конфорки, потрескивают в печке дрова и сипит, закипая, чайник.

И он уже хорошо вылежался, когда дед, немного постоявший в проеме двери, глядя на него, неторопливо сказал:

— Спишь, Андреич? А там рябки топчутся, аж спины у самочек трещат...

Котельников улыбнулся:

— Так ведь не весна...

— От и мы им с баушкой то докажем, — оживился дед. — А им все одно.

— И то, — сказал Котельников. — Чего им? Воздух тут свежий...

— Водки они не потребляют, — поддержал дед.

— «Калиновку» еще не приспособились?

— Да вот с городскими поведутся, те быстро научат.

— Которые с Авдеевской новостройки?

— Станут эту «Калиновку» потреблять...

— Бормотуху.

— Так выводки небось сразу до того истошшают, что ты его, рябка, днем с огнем...

Котельников сказал:

— Это да.

Он уже натянул синие трикотажные брюки и теперь, скрестив руки на груди, сидел на своей постели на полу, а дед примостился на небольшом сундуке, у двери, снял и пристроил на коленке старую, с потертым кожаным верхом шапку.

В кухне за его спиной еще горела лампа, от печки на стене возникали блики, опали и снова начинали полыхать, озаряли крепкую и гладкую, как яйцо, макушку деда, и светлыми были его широкий лоб, косматые брови и хрящеватый кончик большого носа, однако зрачки под крутыми надбровьями поблескивали как бы из полумрака, и темною казалась сейчас его изжелта-белая, почти да пояса борода.

— Ты мне вот что, Андреич, скажи. Почему так?

Замолчал и наклонился пониже, словно всматриваясь в Котельникова, и тот, отвечая тоже внимательным взглядом, уже в который раз подумал о жадности, с которою дед был готов вести разговор хоть вечером, а хоть утром, — пять дней живет у него Котельников, а дед все еще не наговорился.

— Вот у тебя двое. Так? И ты по нынешним временам, считай, многодетный. А у нас с бабушкой восемь человек. И мы, считалось, середнячки. Не мало, однако, но и не много.

На кухне перестала глухо постукивать мешалка, и Котельников представил, как приподняла голову Марья Даниловна.

— Толку-то? Уже свои дети, внуки у некоторых скоро будут, а до сих пор — с нас тянут.

Дед живо обернулся:

— А зачем ты их, баушка, рожала? Или не для того?

— Знатъ бы, дак не рожала.

— На ком бы остановилась?

— На ком бы — это-те нельзя. Грешно. Вообще говорю.

Дед снова наклонился к Котельникову:

— Вот теперь и скажи мне: почему?

— Некогда нам, дед. Все некогда.

— Мы и то с баушкой радио слушаем: дак, а когда?

Мешалка снова перестала стучать:

— Сказывают, все на этой-те... вахте.

— Тут и действительно рябку другой раз позавидуешь, — прищурился дед. — Свистнул — она тут же летит...

— Ты что, однако, пристал к Андреичу? С утра пораньше.
— Ну, давай, Андреич, за стол. Баушка нам ельчишек поджарила.
— А может, сперва сетешки глянем?
Дед согласился:
— Давай сетешки.

Но прежде Котельников зашел за печь, подождал, пока Марья Даниловна кончит размешивать пойло, потом подхватил ведро и вышел на улицу.

Утро было студеное, гальку под обрывом укрыла изморозь, и темная река стыла меж поседевших берегов, а дальше чернела тайга, лишь кое-где крапленая темно-рыжими островками осинников, синеватый туман зыбился над ближнею согрой, густел у подножия сопок, а над ними, неровно высвечивая зубчатую кромку леса, растекалась ярко-желтая полоска зари, и нижние гривки были уже оплавлены солнцем, сквозили те, что повыше, а самые верхние еще блекли в размытой просини.

Из будки вылезла Найда, выгнулась, прошла мимо Котельникова, плотно задевая боком его сапоги, ударила хвостом и ткнулась в руку на дужке, и он взял ведро в левую, а правую положил ей на голову, и собака подняла внимательные карие глаза и посмотрела на него так, словно этого она и хотела — чтобы он погладил да потрепал за ушами.

Он нагнулся, пытаясь разглядеть щенят.

В глубине конуры щенята жались друг к дружке так, что невозможно было понять, где там чья голова, и он улыбнулся, глядя на этот символ теплоты отношений, а Найда благодарно лизнула его в щеку — будто давала понять, что ей ведомо, о чем задумался погрузневший Котельников.

Плотный коротконогий бычок, пригнув голову, стоял на краю поскотины, уже ждал его и, увидев, нетерпеливо взмыкнул. Отталкивая его твердый, пока с завитками шерсти на месте рогов лоб, Котельников поставил ведро с той стороны прясла и тут же просунул руку вниз между слегами и взялся за край, придерживая, а бычок тут же сунулся мордой и зацедил взахлеб.

Прислушиваясь к длинным его затяжкам, Котельников опять вернулся к далеким дням детства и припомнил бабушку, у которой каждый год жил летом, и выгон за городишком, где он пас телят вместе с другими огольцами, и темный, и, как тогда казалось, бескрайний лес. Над выгоном в сторону леса часто пролетали маленькие «кукурузники», и оттого, что проносились очень низко и тут же пропадали за кромкою, всегда казалось, что они стремительно снижаются и садятся где-то совсем рядом или падают, и каждый раз, обгоняя один другого, мальчишки мчались через лес, бежали иной раз очень долго, за лето он отбил себе ноги, но самолета вблизи так ни разу и не увидал, улетали они куда-то за лес, куда-то, казалось тогда, очень далеко.

Готовое улетучиться, это воспоминание было светлым и как будто слегка печальным, Котельников был рад ему и, придерживая ведро ладонью, пальцами опять потрогал лоб с крутыми завитками. Бычок тут же боднул, измазав Котельникову руку, потом посмоктал еще немного и слегка отступил. Вытягивая шею, стал поддавать лбом, словно хотел приподнять ведро, и Котельников убрал руку, отдал долизовать почти пустую посудину.

Пока бычок погромыхивал ведром, ожидавший Котельников притих, ему подумалось, что дома в это время проснулись его ребятишки, и Ванюшка, обеими руками придерживая просторную пока, от брата доставшуюся пижамку, босиком пробежал к Грише, залез на кровать, пытается забраться под одеяло, а тот подоткнул его себе под спину, делает вид, что спит, и Ванюшка начнет обоими кулачками колотить его по плечу, и с кухни прибежит Вика, уложит их рядом и каждого шлепнет, каждого поцелует и попросит не ссориться...

И тут же Котельников как будто очнулся, стал, нагибаясь, доставать ведро, пытаясь подтащить ближе к пряслу, чтобы поднять потом через верх.

В последнее время он запретил себе всякий раз, как придет на ум, вспоминать о своих отношениях с женою и подозревать ее мимоходом. Не потому, что боялся свыкнуться с мыслью, будто она ему изменяет, — просто был он гордый человек и был, как привык считать, человек трезвый, и ему, во-первых, казалось недостойным ворошить это без конца и теряться в догадках, а во-вторых, он был убежден, мгновенные вспышки ревности все только запутывали. Другое дело, когда Котельников возвращался к этому вечером. Тогда, среди ставших теперь обычными для него размышлений и о прожитом дне, и о всей своей жизни, думал он и о них с Викой, и то ли оттого, что в этих его ежевечерних рассуждениях присутствовала некая заданность, они были несколько отвлеченными, и это устраивало Котельникова, ему казалось, так лучше — и честнее, и, пожалуй, надежней.

Когда сидел на корме и греб, припомнил, как ночью почудилось, что умирает, но он только усмехнулся, и это откладывая на потом, поднажал веслом справа, и лодка легко вынеслась на стрежень, нос стало заносить, и он поднажал опять.

Дед, боком стоявший в носу с шестом в руках, обернулся к нему, слегка повел бородой:

— Однако потёплело в верховьях.

Вода вскипала тугим буруном, на миг светлела и с глухим шумом снова уходила под борт, в черную глубину. Котельников напрягся еще, пытаясь обогнуть узкий мысок и заскочить в курью с ходу. Отозвался, когда уже развернулся в курье:

— Думаете, теперь пойдет?

Дед с сомнением прищурился:

— Да, если осталось кому идти...

И Котельников понимающе кивнул.

Лето отстояло погожее, без дождей, вода в Терси падала, как никогда, и машины по бродам да перекатам пробирались далеко, поднимались выше обычного. К обмелевшим ямам и омутам, где гулял хариус да от сталегорских фенолов отполаскивался в горной воде таймень, царапались на подвесных моторах, скреблись на водометах, которых и в городе, и на новостройке развелось невидимо.

Там, где раньше темнела лишь холодная глубина, рыбу, говорят, видать было глазом, и, сколько можно добыть, прикидывали заранее. Выбирали потом неводами, на ночь ставили сети, а напоследок, «для плана», лучили и выбивали острогой, долавливали «японскою удочкой», тончайшей сеткой на длинном шесте. В верховье рыбу коптели, вялили и солили, везли в город мешками и бочонками, все лето среди будок с моторами на берегу шел за бутылкой водки посреди рыбьих костей, за бидончиком пива разговор, кто чего сколько взял, а к осени вдруг возник прочный слух: все, выгребли Среднюю Терсь, ничего не осталось. Нету.

— Ты мне, Андреич, вот что, — громко сказал дед, шестом помогая Котельникову развернуться вдоль сети. — Вся эта трепотня про акулогию, как баушка ее по неграмотности называет... Она не затем, чтобы умные люди сообразили, что у природы все не сегодня завтра издержится, да успели бы напоследок попользоваться? Ты не думал?

Сеть была почти пуста, и потом, когда она лежала посреди избы в цинковом корыте с высокими краями и среди запутавшейся в мокрых ячеях рыжей листвы, лишь кое-где серебрилась мелкая рыбешка, Котельников с усмешкою подумал, что в просторной сковороде на столе ельцов, пожалуй, побольше. Вверх вспоротыми брюшками они торчали плотными рядами, и распаренные на коровьем масле их белые бока не хотели отлипнуть один от другого, а с ребрышек их можно было снимать одними губами и не жевать — они таяли, стоило только слегка прижать языком. Рыбьи спинки оставались на сковороде прилипшими к ней ровными рубцами, и Котельников соскребал их металлической ложкой, отправлял в рот и тоже как будто к чему-то прислушивался. Снова глянул потом на пустые сети и нарочно вздохнул:

— Так мы скоро себя не прокормим, дед. Придется переходить на кильку в томате.

Тот отер о хлеб испод замасленной ложки:

— Или на «завтрак туриста». Там у баушки есть, она в поход собиралась, дак запасла...

Марья Даниловна отвернулась от стола, чтобы тихонечко просмеяться, потом сказала нараспев:

— Бывало, увижу другой раз, идут с мешками без ружей. Бездельники как есть. А летом это-те завтрак отпробовала, они угостили, дак жалко стало: ежели, думаю, так питают их, а оне все же идут — может, нужда какая?

— Сто лет такого не ел, — перевел дух Котельников.

— А ничего лакомей и нету, — подтвердил дед. — Горная рыба.

Марья Даниловна разулыбалась, довольная:

— Тебе, Андреич, жена любит стряпать небось. И хорошо ешь, и подхваливашь.

— Да ей-то и готовить особенно некогда...

— Вот и наедайся тут.

Изба лепилась у подножия крутого взлобка, притиснувшего к реке подворье с постройками, а за ним начинался пологий и длинный косогор с просторной залысиной, раздвинувшей тайгу почти до вершины сопки.

С ружьем на плече Котельников медленно шел краем этой залысины, и слева от него уже остались позади черные кресты над оплывшими холмиками совсем крошечного и потому особенно одинокого кладбища, а впереди были одна над одной приподнятые увалами, хорошо обкошенные поляны, на которых там и тут рядом с рыжими березовыми колками стояли аккуратные светло-серые стожки. Трава под ногами тоже была светло-серой от инея, но тонкие из-за утренней стужи ее запахи казались еще совсем летними, и обломки мерзлых стеблей выстреливали из-под сапог, словно выпрыгивали кузнечики.

Он все поглядывал то на стенку пихтача справа, а то на колки и на стожки, но ни разу не обернулся, и только тогда, когда почти вывершил сопку, Котельников остановился и посмотрел назад.

Теперь ему открылась вся долина — полукругом подступившие с боков пихтачи, серебристый склон, далеко внизу темные сосновые островки, где прятались три или четыре укрытые дымком кержацкие избы, а дальше, уже на равнине и очерченные неровными квадратами изгородей, редкие постройки, и серый каменистый берег с черными дольками просмоленных лодок, и рябая на перекате речная излучина с пестрою поймой, за которой опять уступами поднималась сизая от тумана и еще глухая, несмотря на высокое солнце, тайга... Но подробностей он как будто не замечал, никакая из них не занимала Котельникова — ему нужен был весь этот густо расцвеченный осенними красками, почти безбрежный окомом, над которым тонко голубело тихое и ясное небо.

Поднимался он медленно и почти не устал, но ему захотелось посидеть, и он шагнул к невысокому пню, на котором отдыхал тут и вчера и позавчера.

Ружье он положил на колени и сперва только ощущал под руками острый металлический холодок, а потом посмотрел на него и, продолжая глядеть, задумался.

Купить его помог Котельникову дедов сын Михаил, служивший в прапорщиках у ракетчиков. Это он ему однажды сказал: «Старинная пушка есть у одного нашего лейтенанта. Почти сто лет ей. Восьмой калибр. Батя у него ружья собирал, а ему — зачем? Хочет себе хороший транзистор...» — «И сколько он за него?» — «А полторы сотни».

Подогретый рассказами о красоте ружья, Котельников наконец поехал к ракетчикам, и по дороге туда начальник участка механизации Уздеев, старый его товарищ и признанный на стройке охотник, подтолкнул его плечом и протянул руку: «Давай сюда гроши». — «Это почему?» — «Ты торговаться не умеешь, Андреич, — я тебя, брат, по оперативкам давно понял. Какой срок на тебя ни взвали, такой и прешь... Так дело не пойдет. Кто его знает, что там еще за невидаль».

Он усмехнулся, отдал деньги, и Уздеев, пока лейтенант ходил за ружьем, все поглядывал на него будто свысока, все шурил узенькие глаза: наблюдай, мол, пока я живой — учись! Но потом, когда Котельников достал из потертого, толстой кожи чехла стволы и приклад, когда не очень умело собрал ружье, всегда спокойный Уздеев заволновался и сперва взял в руки набитый пузатыми гильзами патронташ из такой же, как и чехол, грубой кожи, на плечо себе повесил ягдташ, который лейтенант давал в придачу, а потом на доминошный столик в беседке выложил деньги, прихлопнул по ним пальцами и тут же взял Котельникова за руку, потащил за собой: «Надо нам, брат, спешить, а то, я гляжу, ты на процедуры на свои опоздаешь...»

И ружье они рассматривали, сидя в «газике» рядом позади шофера, то и дело отбирали его друг у друга, поворачивали стволами то в одну, то в другую сторону...

Стволы были витые, дамасской стали, темно-серые, с коричневатыми разводами; тугие, словно только от мастера, курки с красивой насечкой напоминали откиннутые в стремительном порыве конские головы; на щечках с той и с другой стороны ярко рыжела только чуть потертая с краев позолота — два вспугнутых, готовых взлететь с воды гуся, замерший на ветке глухарь и бегущий заяц. Шейка приклада у ружья сперва казалась излишне тонкою, но тугая путаница узлов и извивов, которые прятались в глухой, потемнее орехового цвета, полированной глубине ложа, говорила о вековой крепости дерева, которое поддалось времени меньше, чем тонкая костяная планка на тыльной стороне или металлический кругляшок с монограммой на гребне приклада, — этот был истерт до того, что буквы на вензелях, как ни пытались, разгадать они так и не смогли.

Штучное это ружье сделано было в 1880 году в Бельгии, на планке между стволами, поближе к замку, стояла фамилия владельца: И. Пруша, Ростов-на-Дону; и сперва Котельников подумал, что оно пришлось ему по душе только из-за того, что любил всякую искусную и добротную работу, и только потом, когда долгими осенними вечерами он и не раз и не два подержал его в руках и хорошенько к нему присмотрелся, ему вдруг стало чудиться другое... Он пытался представить первого владельца ружья. Был ли это богатый помещик, благополучно почивший еще задолго до революции? Офицер ли, сложивший голову в четырнадцатом? Сельский ли учитель, которому оно было подарено в складчину?..

Вот он, этот неизвестный Котельникову соотечественник, в ясный полдень с ружьем через плечо идет по жнивью... Вот останавливается около золотистой копейки, бросает около нее измазанную кровью сетку с дробью, снимает с себя патронташ, такой тяжеленный, что его должен поддерживать на поясе еще и перекинутый за шею ремешок... Вот он ложится на теплую солому, раскидывает руки, глядит в глубокое небо.

О чем он думает? Какие проносятся над ним ветры? Какие идут облака?

И как далеко еще до атомной бомбы, сверхзвуковых скоростей, перенаселенности, загрязнения, стрессов!..

Котельников впервые стал так ясно ощущать это ушедшее навсегда великое, несмотря ни на что, спокойствие прошлого века, и бывшее свидетелем его старое ружье до сих пор как бы хранило в себе частицу этого спокойствия, и не только хранило — оно, казалось, могло его отдавать.

И теперь, когда сидел на пенке и глядел на свое ружье, Котельников словно ждал, когда к тишине вокруг прибавится и другая тишина — та, которая живет в нас самих.

За нею и приезжал Котельников к деду. За нею каждый день уходил в тайгу...

Второй раз он отдыхал, когда перевалил через несколько сопок и был уже на вершине самого высокого в этих местах Глуховского разлома.

Пенек он опять выбрал с таким расчетом, чтобы видеть долину, которая стала теперь еще глубже не только из-за высоты хребта, но больше из-за прозрачности воздуха — к полудню он набрал такую ясность, от которой на душе у Котельникова было и светло, и отчего-то печально.

Казалось, достигли предела и мгновенное осеннее тепло, и безветрие, — даже на молодых осинах вокруг листья не шелестели и не подрагивали, они только падали и падали, словно деревья собирались облететь за какие-нибудь пять или десять минут, пока Котельников будет сидеть на пенечке, и он, притихнув, следил за косым их летом и слушал, как они еле слышно постукивали о пустеющие ветки, как слабо шуршали потом, когда с разгона касались травы...

Котельников подумал, что, может быть, это какой-то пик листопада, — серая поляна на глазах у него стала пестрою от желтизны и багрянца.

На поваленном дереве рядом он увидел бурундучка. Тот смиренно сидел на сломке, черными глазками глядел на поляну, словно тоже наблюдал листопад.

День вдруг померк, и Котельников прищурился и посмотрел вверх.

Сперва ему показалось, что у него опять кружится голова — приплюснутое снизу солнце стремительно неслось по краю плоского облачка, и, только когда оно нырнуло в плотную, косым парусом нависшую над долиной синь, он понял, что это набежавший верховик принес тучку.

Разом потемнело и стало холодно; запахивая воротник на куртке, он увидел на руке разлапистую снежинку, и тут же закружились, замельтешили крупные хлопья, сизовато-белая пелена закрыла долину вдаль, загушевала ближние деревья, и это превращение всего вокруг было неожиданным и было мгновенным, как

перемена судьбы.

Он всматривался в неслышное мельканье белого с желтым, ему казалось, что листьев летело сейчас заметно больше, и Котельников понял, что теперь они обламывались еще и от прикосновенья снежинок.

Он так и сидел на пеньке, когда белые хлопья перестали падать так же в единый миг, как и начали, — словно поляну кто-то прикрыл ладонью.

Выглянуло солнце, снег заискрился, тут же стал таять, и листья сперва только кое-где проступили сквозь него, а потом цветастые островки стали стремительно разрастаться, и через какую-то минуту от зимы ничего уже не осталось — как будто это роса поблескивала на матовых стволах деревьев, на палых листьях, на жухлой траве.

Котельников тихонько улыбнулся, наблюдая за этим преображеньем.

«Это она пробует — и так и этак. Краски свои, — подумал он, — пробует. Осень...»

Ему показалось, что на поляне он не один, что кто-то наблюдает за ним исподтишка, и, обернувшись, Котельников снова увидел маленького бурундучка. Бурундучок тут же перестал косить своими бусинками, и по тому, как тихонько он сидит на том же сломке, Котельников понял, что зверек так никуда и не уходил, а тоже смотрел на этот неожиданный среди ясного полдня снегопад.

— Эй! — негромко позвал Котельников.

Но бурундучок не пошевелился.

Тогда он нашел под ногами обломок ветки, несильно кинул его в сторону зверька, и на этот раз бурундучок живо обернулся всем тельцем, с любопытством уставился крошечными глазками.

— Привет!

До травмы Котельников охотился мало, и никогда почти никто ему не попадался, — это сейчас, когда он как будто заключил со зверьем мир и ружье с собой носил больше для вида, зайцы стали выпрыгивать прямо у него из-под ног, и копалухи спокойно дожидались его на кедре, и рябчики встречались обязательно выводками... Это нравилось ему и не нравилось. Котельникову хотелось, чтобы неписанные условия этой игры соблюдал бы не только он, но и всякая птица — иначе, и верно, зачем же ему ружье? И сегодня он был доволен, когда старая белка, уже с хорошим мехом, как дед сказал бы, д ó ш л а я, никак не давала подойти к ней на верный выстрел, удирала от него что есть мочи, отчаянно взмахивала хвостом, перелетая с одной пихотки на другую, пряталась в ветвях, и он находил ее и шел снова, пока она не вывела его на ту гривку, где стояла старая триангуляционная вышка.

Ружье, не раздумывая, он прислонил внизу, по сторонам опять пытался не смотреть, а на верхушке сперва стал лицом к солнцу, но тут же вспомнил, что смотрит туда, где Сталегорск, и тогда осторожно перешагнул через лаз в днище вышки, стал глядеть в противоположную сторону, на восток.

И этот громадный завод, который они построили, и поселок, и больница, где он лежал, неоконченные споры, сомнения в верности жены — все это он оставил за спиной, а впереди, в долине, сколько охватывал глаз, опять были полыхавшие осенним золотом, яркие среди зеленой темноты пихтача березнячки да осинники... Захватившие внизу почти все вокруг, они постепенно отрывались один от другого все дальше, постепенно гасли, совсем пропадали за холмами, за пересечением хребтов, окончательно растворялись, наконец, среди черной тайги, над размытою зубчаткой которой в прозрачной сини стыли вдалеке ледяные шапки гольцов.

Котельникову стало зябко, он только теперь почувствовал, что перед этим вспотел, — здесь, на вышке, не то чтобы подувал ветер, просто веяло иногда каким-то особенным, казалось, поднебесным холодком.

Внизу ему захотелось есть, но он решил добраться до первого ручейка. Бабушка, считавшая своим долгом каждое утро собирать для Котельникова рюкзак, кроме краюхи домашнего хлеба да куска зайчатины, опять положила ему и сахар, и закопченный чайник, но возиться с костром он не стал, а только зачерпнул кружкой из ручья и начал медленно жевать посыпанный солью ноздреватый хлеб и, не торопясь, запивать его холодной, такую, что ломило зубы, водой.

Простая эта трапеза что-то напоминала Котельникову... Или послевоенное детство, когда на свете не было ничего дороже и не было ничего вкуснее краюхи, посыпанной крупною серою солью? Или другое, тоже теперь далекое время, в самом начале стройки, когда Вика еще не приехала, жил он еще один, опаздывал после работы в магазин, а потом находил дома корочку и также посыпал солью...

Теперь он хорошенько устал, и оттого, что гудели ноги, что влажное тепло ощущал под мышками, что неторопливо, но с жадностью откусывал от горбушки, был Котельников счастлив.

Он завязал шнурок на рюкзаке, стал было примериваться, чтобы пристроить его под головой, но потом бросил рядом, сцепил руки на затылке и медленно, словно потягиваясь, опустился на спину.

Острая травинка немного ширнула его в лицо, но он не стал ломать ее щекой, а только слегка отогнул.

Глядя на сквозившие кроны берез над головой, он лежал, не думая ни о чем, а словно пытаясь наполниться про запас этим благостным ощущением светлого и ясного осеннего дня.

Мир и покой царили у него в душе, все было хорошо, но ему вдруг почудилось, будто все же чего-то недостает, он к самому себе прислушался, и что-то еле уловимое шевельнулось в нем сладко: журавли!

Не хватало их тонкого клика над прозрачной тайгой, не хватало мягко реющих крыльев и этого, из двух подрагивающих строчек состоящего клина...

И тут он понял, что это его желание увидеть над собой покидающих родину птиц было каким-то чудом угаданное им предвестие их появления, что они уже летели и были скорее всего недалеко, — он приподнялся и сел, опираясь на руку, стал ждать...

Вечером дед принес в избу круглую, плетенную из прутьев корзину, на дне которой жались щенята, поставил на половики посреди комнаты. Котельников отложил неисправный фонарик, присел перед корзиной на корточки, а дед сходил на кухню, пошуршал там, что-то пересыпая, вернулся с пустым лукошком. С подоконника на край швейной машинки переставил лампу и слегка прибавил огня.

Потом появились на середине комнаты три табуретки, на одну дед сел, другую пододвинул Котельникову. Марья Даниловна стала снимать с вешалки у двери шубейку, и дед обернулся к ней:

— Ты нам, баушка, принеси-ка потом мешок.

Котельников все держал руку на дне корзины, и щенята медленно елозили по ней теплыми брюшками, переползали с места на место.

— Все в середину хотят...

Дед живо откликнулся:

— А кому оно хочется — с краю?

Вернулась Марья Даниловна, кинула на пол сложенный вчетверо пустой мешок.

— А не рано-те?

— А самая пора! — И дед оторвал взгляд от корзины со щенятами, посмотрел на Котельникова. — Будем с тобой, Андреич, испытание проводить. Вроде судьбу решать...

— Ты смотри мне, пестренького не забракуй, — попросила Марья Даниловна.

И дед нарочно удивился:

— А ты, баушка, разве не ушла еще?

Котельников сел и придвинулся поближе.

Дед взял из корзины щенка и положил его на середину пустой табуретки. То ли от холода, то ли оттого, что остался один, щенок мелко подрагивал. Приподнимаясь на коротеньких лапках, туда и сюда повел лобастенькой головой, покачнулся, медленно пошел, заплетаясь, и тут же чуть было не свалился вниз, но каким-то чудом остался на табуретке, слегка отступил, повернулся, медленно пополз в другую сторону и тут едва не сорвался, но опять удержался на самом краю и тихонечко взвизгнул.

Двумя пальцами дед взял его за загривок и опустил в пустое лукошко.

— Ну и что? — приподнял голову Котельников.

Дед развел руками:

— А смотри! Я не запрещаю.

Другой щенок тут же шлепнулся с табуретки. Котельникову показалось, что сильно ударился, и он протянул было к нему руку, но дед опередил его. Подержал на раскрытой ладони, будто взвешивал, покачал головой, а потом приподнял с пола мешок, слегка тряхнул, расправляя горловину. Сунул щенка внутрь и еще раз тряхнул, провожая его на дно.

От мешка этого, только что лежавшего в темной кладовке, повеяло пустотою и холодом, Котельникову разом все стало ясно, и он смотрел, как под ногами у него на грубой мешковине тихонько шевелятся складки.

А по табуретке уже ползал третий собачонок.

Под конец в лукошке оказалось четыре щенка и два в мешке, и эти опять лежали не поймешь где чья голова, жались в кучку, а те двое все путались в мешке, никак не могли найти друг друга, и это казалось Котельникову самым горьким.

Дед порылся в лукошке и одного из щенят вытащил оттуда за хвост. Собачонок повизгивал, изгибался, приподнимал мордашку и взмахивал передними лапками, — Котельникову казалось, норовит цапнуть деда за пальцы. А тот подергивал бородой.

— Ишь ты... ишь ты!

Щенок изловчился, почти достал.

— Молодец! Молоде-ец!

— Пестренький?

— Он самый.

Так и продолжая держать за хвост, опустил щенка не в лукошко, а в корзину, которая только что пустовала, и Котельников посмотрел на деда.

— Еще не все?

— А тебя в институт принимали, ты токо один экзамен держал?

Дед был, видно, в настроении, и Котельников тоже улыбнулся ему и покачал головой.

Теперь отправился в мешок тот щенок, который провисел вниз головой, почти не шевельнувшись, — он только поскуливал жалобно, будто всхлипывал.

Котельников не выдержал, приподнял мешок и подержал его за угол, подождал, пока щенята скатятся в кучку.

Потом они с дедом по очереди держали в руках то одного, то другого из оставшихся, и он тоже каждому заглядывал в пасть, смотрел, черно ли небо, потом потихоньку совал меж зубами палец, пробовал сосчитать на нем еле ощутимые рубчики.

— Лучше всего, если семь рубцов, — говорил дед. — Девять — это уже плохо, такого не надобно...

И учил Котельникова находить на затылке «охотничью» шишку — ту самую, от которой зависит собачий

талант, ее таежное счастье.

Когда подошла Марья Даниловна, в корзине оставалось только двое щенят, и это они теперь то и дело сталкивались, но продолжали лазать, так и держась порознь, — наверное, каждый из них искал остальных.

— А ты, баушка, недаром в тайге живешь...

Марья Даниловна тоже присела:

— Это-те почему?

— А остался твой пестренький. Наш будет.

И она попробовала нахмуриться, но по глазам было видно, что довольна похвалой:

— Ну! Я же говорила, что Пеструнька молодец.

— Второго кобелька Парфену Зайкову, — решил дед. — Давно просил.

Котельников опустил руку к полу.

— А этих, что в мешке?

— Этых таймешка съест.

— Всех?

— Я не знаю. Как у него получится, у таймешки. Тут я ручаться не могу, если шука раньше поспеет...

Котельников качнул головой.

— Не потому, что дедушка с баушкой такие. Такой, Андреич, закон. И так по тайге кругом хорошей собаки днем с огнем не найдешь. А почему? Да потому — любителей держать собак много, а найди промеж ними знающего? Подсунут ему, а он потом другому, третьему, и пошел. Работать не работают, а только плодятся. Любую породу можно испакостить...

— А просто так, на шубу держать, так это-те, пока выкормишь, они тебя без штанов оставят...

— Толковые, эти сами себя в тайге прокормят. к как — без ума?

Он снова качнул головой: да, мол, ничего не поделаешь, а Марья Даниловна поднялась, взяла с пола мешок, положила горловиной в корзину. Стала потихоньку вытряхивать из него собачат:

— Пусть-ка все пока поживут, раз Андреичу нравятся. Подкормим Найду, она никого не обидит. А как уедет Андреич, тогда уж и утоплю.

Дед вскинулся:

— Да зачем же ты, баушка, при нем сказала?

— А что?

— Да он же жалостливый, Андреич. Вот и станет у нас жить.

— А ничего, хоть и останется. Места не проживет.

Дед уже надел шапку, стоял у двери с корзиной.

— То-то на полу Андреича и держишь...

— Дак он сам. Любимое, говорит, место.

Котельников все смотрел на корзину, и дед тоже скосил на нее глаз, потом поставил на пол, сел на табурет у двери — тот, на котором обычно сидели гости, когда забегали ненадолго.

— Рассказать, Андреич, какой у меня собак был? Такого собаки... да что там! Булькой звали.

Марья Даниловна присела тоже, поправила платок, руки сложила на груди, слегка наклонила голову, и Котельников понял, что дед часто небось рассказывает про Бульку, а бабушка всякий раз так и сидит, так и слушает.

— Родился без хвоста. Лаечка. Щенком был, вроде смеяться научился. Играются с ним детишки, вместо кусочка хлеба сунут в пасть камушек, а он выплюнет, и рот до ушей... Так щериться умел, вроде улыбался, как человек. А что сообразительный, что хваткий!.. Что там лося задержать — мишку один сажал. То за одну штанину, то за другую — тот не успевает отмахиваться. Так и не выпустит, пока на выстрел не подойдешь, пока не стрелишь — ничего не боялся. А потом пропал.

Дед замолчал, словно давая сказать Марье Даниловне, и она согласно кивнула:

— Пропал.

— Сколько его, баушка, не было?

— Три года, однако.

— До-олго! Является потом. Утром проснулись, лежит у порога. Только вроде нерадостный, хмурый какой. Ну, дети давай трепать его, то за ушком почесать, а то брюхо подставляй, перекинулся он на спину, глядим, а пониже груди трубка никелированная вставлена...

Котельников удивился:

— Фистула?

— Фистула эта самая, — согласно кивнула Марья Даниловна.

Дед свел в кружок большой палец с указательным.

— От такая в аккурат. И пробкой заткнута.

— Потом-то уж, погода, узнали, — подхватила Марья Даниловна. — Попался в петлю, а они на его намордник да студентам и продали за три рубля в эту самую в ихнаю...

— В лабораторию?

— Смеяться перестал, — опять вступил дед. — Да и в еде стал больно разборчивый. Баушка что себе, то и ему давала. Поест, а после лежит день до вечера, как будто об чем все думает... Потом один раз на покосе были, а детишки дома одни. К протоке подходим звать, чтобы переплавили, они сидят кучкой на том берегу, а лодки и

близко нету. Что такое?.. Гляжу, Алешка, старший, рубашонку снимает, пошел саженками. Хоть убей, говорит, батя, а что делать?.. Не успели отвернуться, Иван, ему тогда четыре, отвязал лодку, шестом толкнулся, его и понесло. Хотел еще шестом, а глубоко, он его и уронил. Нагнулся за ним да и перекинулся. Плавать не умел еще, кричать давай, а они не слышат, за избой заигрались. Тут Булька в воду и кинулся. Иван наш вцепился в него, что клещук, на берег выплыли, тут собак наш стряхнул его с себя и опять в воду — за лодкой, значит. Так вниз и унесло — ни лодки, ни собаки!.. Я тогда быстренько соседскую лодку от берега, Алешка запрыгнул, побежали на шестах. До устья проскочили — нету! А дальше куда — вода в ту пору большая была, догнать не на чем. Думали — и все. Нет-ка!.. Приезжает на лошади один человек, некто Мазаев, — мы с ним когда-то и вместе раскулачивали, и сенцо для Кузнецкстроя заготавливали...

— А зачем — сенцо? — не удержался Котельников, и дед словно чему-то обрадовался:

— А как же! А для лошадок, на которых грабари земельку возили. Это подсчитать, сколько тогда лошадей. А мы, выходит, как бензозаправщики... да. Приезжает. Беги, говорит, сам забирай свою лодку, а то бесхвостый твой сидит в ней, никого и близко не подпускает. Я тоже на коня. Прибегаем, Булька наш лежит в лодке на боку и весь вытянулся. Торкнулся рукой, а он как дерево. Или надорвал что, или от голода — считай, неделю не евши, пока ячменюхинские мужики на лодку в курейке не наткнулись...

— Если бы не Булька, может, и не было бы нашего Ванюшки.

— Спас Ваньку. Истинная правда, спас.

Котельникову уже давно хотелось подойти к деду, все ждал, пока они закончат вдвоем рассказывать. Встал теперь, шагнул к плетеной корзинке.

— Оставьте мне, дедушка, одного, а? Из этих, что не нужны? — Он просунул пальцы под брюшко самого маленького, осторожно приподнял. — Вот его... можно?

— Да ведь самый худой, Андреич! Я как раз глядел — лежит с краю, пролезть в середину кучки даже не пробует...

Дед глядел на Котельникова с укором: да что ж ты, мол? Говорил тебе, говорил, а ты как есть ничего не понял!

— Ничего, ничего! — почему-то радовался Котельников, держа щенка на ладони и поглаживая. — Пусть в серединку не лезет, хорошо. Отдашь, дедушка? Когда чуть больше станет?

И дед плечами пожал:

— Считай, твой.

После ужина, когда Марья Даниловна убрала со стола, дед принес чистую тетрадь в клеточку и шариковую ручку и то и другое пододвинул к Котельникову, а сам надел очки, сел, заложив ногу за ногу, строго откашлялся. Бабушка устраивалась неподалеку с веретенем и куделью.

— А зачем тебе гляделки, ежели писать Андреич собирается?

— А вот следить буду, — нашелся дед, — чтобы пряжа у тебя, баушка, была ровная.

— Да, а попервах всегда неровна в начале зимы. Пока не приноровишься.

А дед уже успел построгать:

— Роспись-то на документе моя будет.

— Так мы куда все-таки? — Котельников раскрыл тетрадь и еще по школьной далекой привычке краем ладони провел посередине. Он так делал и вчера и позавчера, когда они тоже собирались писать, и оттого на внутренней стороне обложки уже виднелся прочный рубец, а белый лист слегка зашершавел. — В редакцию? Или в народный контроль?

Дед положил на стол раскрытую пятерню.

— Вот ты и подкажи, где мне искать управу. Я так думаю, что в леспромхоз, да на них же самих и жаловаться — это без пользы. Директора на лодке и туда и сюда плавил, сколь медовушки у баушки выпил? И раз и другой ему сказывал, а у него одно: примем меры! А когда? Они ведь по-хорошему — как? Срубил лес, а после тут же раскорчуй площадку и молоднячком засади. А они, вишь ты, нашли выход — за счет Монашки прокатываться. Зачем корчевать, когда и так можно? На нашей кошенине посадят, а галочку себе — столь и столь, мол, угодий восстановлено...

— Савелий-то попервах оставлял сосенки, обкашивал, это сколь труда, считай...

— А другие-то все одно режут. И я уже вроде выслужиться хочу... Вот тебе наши монашеские покосы: я, да Парфен Зайков, да десять делян кержачьих. Двенадцать человек. Одну двенадцатую по арифметике я спасал, так выходит? Много ли? Да и потом, хорошо спасать, если у людей совесть, а этим хоть ты в глаза плюй. Восьмой год эти сосенки на одном и том же месте, на покосе на нашем, садят, а монашеские восьмой год режут! — Дед разгорячился, снял очки, выпрямился и крупную свою руку с толстыми и длинными пальцами все двигал по столу — то словно что-то перед Котельниковым раскладывал, а то разом вдруг подгребал к себе. — Посчитай, на сколь же это они за все время обманули государство? Сколько, выходит, по своим бумажкам лесных-то угодий восстановили? Ты веришь, Андреич, я уже в этом году чуть в драку не кинулся! Не потому, что я хороший, а другой плохой, нет — просто душа иначе не позволит...

— Это-те хорошо, что я его увела, — опять включилась Марья Даниловна. — А то еще как побил бы... первый раз ему, Савелию, что ли?

— Ты, баушка, скажешь... Андреич подумает — правда.

— Однако, в каком это году? Когда он кучу малу под обрыв спихнул. Тут тогда еще участок был на Монашке, людно... Это сейчас мы крайние, а тогда и контора около нас, и клуб — на бою жили. Вот и задрались

около клуба. В праздники. Человек, однако, двенадцать, кабы не больше. Да еще ладно бы парнишата, а то мужчины взрослые. Это-те чуть подалее отсюда, где теперь наша банька... Савелий им раз крикнул, два, а они не слышат, так увлеклись. В кровь дерутся. А он тогда ворота из лиственки с петель снял да как ударит по всей-то драке, так они под обрыв и посыпались. Это в ноябре, однако, в самом начале, ледок тогда еще не толстый, раз они его проломали...

Котельников, поглядывая на деда, улыбался, а тот смотрел на него, готовый руками развести: а ничего, мол, не поделаешь — было!

— Он же здоровущий тогда, это где какое гулянье, водку только ему давали разлить, потому что кто другой из одной только четверти льет, а Савелий — из двух сразу...

Котельников сперва не понял, переспросил: это как же, мол?

— Водка-то раньше в четвертях. До войны еще. Прямо из четверти и лили. А двумя руками держать вроде неловко — какой же это мужик? А удержи одною попробуй! Этот, кто льет, и ладонь хорошенько оботрет, чтобы не потная. А Савелий-то, бывало, и правой, и левой по четверти сграбастает — и давай на обе стороны лить...

— Баушка только стаканы успевай подставлять.

— Дак уж переживала за его, когда левая рука-то побаливать стала.

— Вот радио послушашь, дак вроде нет, а я тебе, Андреич, скажу, что все равно раньше народ здоровей был. Потому что тяжелее жили, не панствовали. О болезнях поменьше знали. Вот я тебе случай один, у нас до войны в конторе уборщица...

— Это Феня-те? Чернобаиха?

— Из дому идет в пимах, а в конторе их снимет и весь день — босиком. И полы мыла, и в стайку за дровами — через весь двор. У нас тогда бухгалтером работал некто Щербаков. Из старых специалистов. Острый такой, все ему, бывало, интересно. Взял да и остановил ее посреди двора, когда с дровами шла, заговорил с ней: а сколь, мол, интересно, на снегу босиком-то выдержит? А она как пошла с ним ласы, как пошла, он уже и не рад, никак не отцепится, стоит, ежится в одном пинжачишке... Это он уже сам рассказывал, когда простудился да слег, да наши, монашеские, проводывать его забегали. Вот чертова баба, говорит, чуть было совсем не застудила... Ты чего это, баушка? Или плачешь?

Марья Даниловна нагнулась еще ниже, повела головой, и по голосу было слышно, что давно уже борется со смехом.

— Вспомнила-те... Какой грех с ею был.

— Да разве то грех? — удивился дед. — Если Сорокин тогда — сорок девять раз, а она — только один?

Лицо у Марьи Даниловны было строгое, лишь в глазах поблескивали слезинки.

— Скажешь, однако! То мужчина, а то — женщина.

Глядя на деда, Котельников тоже посмеивался, ждал.

— Некто Сорокин был у нас. Лесоруб. Мастер пукать.

Бабушка отложила пряжу и, закрывшись рукою так, словно поправляла платок, заспешила на кухню.

— Вот в воскресенье один раз зашел спор около клуба. Сможет он, значит, полста раз подряд — или не сможет? Сперва одни мужики были, а потом собралась чуть не вся деревня. И тут у его чтой-то заело...

— А он же такой настырной да бессовестной, — с кухни подсказала Марья Даниловна.

— Судьи, значит, сорок девять насчитали, а дальше выдохся, хоть ты что. Феня эта, Чернобаиха, мимо шла, а баба — зда-ровая! А он тогда к ней да пальцем в живот: а займи раза! А она не ожидала, да: пук!

— Нежданчик у ее получился...

Котельников, просмеявшись, отнял руку от лица, поправил волосы.

— Засчитали ему?

— А засчитали. За находчивость.

Марья Даниловна вернулась грустная. Поправила в кудельнице шерсть, взяла в руки веретено, но сучить не стала, а так и сидела, пригорюнившись.

— Это-те когда во время войны прислали к нам немцев из Поволжья... Стали на квартиру и к ней, к Фене. Отец и три девочки у него, без матери, одна другой меньше. Он на участке хлеб возил, отец-то их, а потом весна, он ехал через Терсь, а она под им тронулась. Он со льдины на льдину, да спасся, а лошаденка с санями так вниз и поплыла, понесло ее, а в санях ларь с хлебом. Он, бедный, до того перепугался, что на конюшню прибежал да тут же на вожжах и повесился... А льдина к берегу подплыла, лошадь выскочила, и сани целы, и ларь вынесла. Все как есть. Да тоже в конюшню, да стала перед им и голову, сказывают, опустила, ровно все понимает...

Котельников смотрел то на Марью Даниловну, а то на деда. Тот сидел молча, крупною своею рукою разглаживал вмятины на старой клеенке, потом замер и голову слегка наклонил, словно к чему прислушался.

— Дак она, Феня, что? Немцы-те, земляки, хотели девчушек по семьям разобрать, а Феня упростила у нее всех вместе оставить. Жалостливая была. У самой еще двое младшеньких, а за старшего уже бумагу получила, и за мужа бумагу. А какая там пенсия — простой боец? И у немцев у этих, у девчущечек, — ни пензии, ничего. А не выходила? Не вырастила? Только и того, что с сумой не видели. Только с ее здоровьем и можно, что она с ими пережила. Ох, она и правда здоровая... Это маленькая, что в Осиновой живет за Петьюкой Гулявиным, рассказывала. Она ее, Феня, все Лидой, а она не Лида, а по-ихнему — Линда... Сейчас Фене пора болеть — это ей, считай, сколько? Все на русской печке дома лежит. Слезет, говорит, и пошла себе по снегу босиком, а потом обратно влезает, становится на раскаленную плитку, и хоть бы что. Лида эта сказывает: мама, кричу ей, мама!

Так и ноги спалить недолго. А она: да уж память, детка, плохая, уже и не помню, давно ты либо нет истопила?

Дед повел бородой на черное от теми на улице, выходявшее на реку окно.

— Лодка, однако.

Марья Даниловна выпростала из-под косынки ухо, и Котельников тоже притих и насторожил слух, однако не уловил ничего, кроме ровного тиканья настенных часов в другой комнате.

— Не слышно вроде.

— А перестал.

— Кто сейчас станет ночью скрестись?

Помолчали, и Марья Даниловна, опять запустившая веретено, негромко начала:

— Федя Богер, сказывают, «немтун» — новый мотор себе на лодку купил. Совсем тихонечко тукат...

— А ты не знаешь, Андреич, как он зимою нынче мишку взял?

И опять слышались медленные голоса, кружилось неслышно веретено, изредка шлепали в таз тугие капли из рукомойника, ровно тикали ходики, помаргивала иногда лампа, из-под полушубка, накинутаго на низкую и широкую дежку, кислотовато пахло опарою, сытно несло из кухни бродившей медовушкой, пареною калиной, вяленой рыбою, и теплый душок подсыхающей на печке обувки словно дополнял все эти мирные запахи уютного осенним вечером тихого жилья.

Котельников давно уже закрыл тетрадку и отложил ручку, прихлебывал настоянный на душице да на лесной мяте бабушкин чай, легонько пошевеливал под столом ногою, о которую терлась и терлась кошка, — и кто только не перебивал в избе, пока они так сидели втроем: и лесорубы, и кержаки, и геологи, и солдаты с прошлой войны, и городское приезжавшее на рыбалку начальство, и старые купцы, утопившие на здешних порогах набитый золотом карбас, и вербованные, и знаменитые на всю округу браконьеры... Каждый был со своим характером, со своею загадкой, с правдою своею или своею неправдою, с радостью, с кручиной, с добром, — Котельникову отчего-то любопытно было обо всех слушать, будто всякий из них, знакомый и незнакомый, живой или давно умерший, был участником какой-то общей и для них для всех, и для самого Котельникова истории, тайну и значение которой еще предстояло ему открыть...

Отхлебывая пахучий, еще исходивший парком чай, он все кивал, поглядывал на деда с бабушкой, улыбаясь отзвучиво или тоже хмурясь.

Только недавно стихла толкотня в доме у стариков, у которых все лето жили внуки да, сменяя друг друга, отдыхали то сыновья с невестками, а то дочки с зятьями. Тогда не успевал дед командовать на покосе да на той делянке, где рубили дрова, а бабушка не успевала стряпать, но вот опять все разъехались, увезли детишек и только перед ледоставом, по самой малой воде пробьются сюда на «зилке», чтобы забрать для всей обширной родни приготовленные в зиму запасы — и подмороженное мясо в мешках, и фляги с медом, и кадки с груздями, и коровье масло в эмалированных ведрах...

А потом снега надолго отрежут Монашку от остального мира, и тогда дед каждый день будет ходить туда и обратно — через реку, через согру, через тайгу, — каждый день будет торить тропинку до зимника, чтобы по ней можно было добраться к избе; и бабушка каждую ночь будет оставлять на подоконнике лампу с прикрученным фитилем — а вдруг кто-либо из детей припоздал в дороге? Вдруг увидит слабый огонек какой-нибудь застигнутый непогодой отчаянный пешеход или заплутавший охотник? В стужу здесь и незнакомому рады, точно родному.

Котельников понимал: и дед и бабушка, наверное, уже успели почувствовать приближение одиночества, и оттого им хочется словно наговориться впрок — на всю метельную зиму.

А почему так уютно сидеть со стариками ему самому? Отчего ему хочется, чтобы неспешный разговор в избе длился и длился?

До этого десять лет он знал стройку и только стройку, в ней, настырно вырастающей посреди разверстых котлованов, грохочущей металлом, пронизанной машинным лязгом и грубыми человеческими окриками, в ней, пропахшей выхлопами дизелей, долгие ночи напролет озаряемой марсианскими вспышками электросварки, он видел главное содержание жизни, ради нее он торопил время и, казалось ему раньше, иногда обгонял его, и после ни разу на отлетевший день не оглядывался, — попробуй кто-либо скажи ему всего лишь полгода назад, что самая малая капля из того, что давно ушло, — это всего лишь часть в с е г д а с у щ е г о.

Только сейчас он стал понимать, что и в ясные часы тихих вечерних закатов, и под шум бескрайнего ветра в полдень, и хмурыми беззвездными ночами — во всякий миг — неслышно реют над ныне живущим миром тени былого, и, для того чтобы им опуститься с высоты, надо так мало и так много: чтобы хоть кто-то единственный на земле о них вспомнил.

До этого Котельников любил размышлять исключительно о будущем, любил эти захватывающие дух завиральные прогнозы и яростные вокруг них споры, и лишь недавно он вдруг понял, что все это можно отдать за один бесхитростный рассказ о простом житье на обыкновенной, еще не взятой в асфальт, теплой и зеленой земле... Мы ее, подумал он, не жалеем, но, случись с нами что, к ней потом, неразумно обижаемой нами, припадаем, принимаем, как малое дите к подолу матери, и у вековечного спокойствия ее просим силы, у мудрой тишины ее ищем забвения и защиты...

Бабушка уже стелила ему на полу, по привычке не то легонько отдувалась, не то постанывала, потом нешумно, но очень ясно вздохнула, и вздох ее был такой же однотонный, как и ее голос, когда она о чем-либо стародавнем рассказывала, и в нем не слышалось ни жалобы, ни сожаления, а только легкая горечь. Всем в жизни она, казалось, была довольна, все принимала, как оно есть, устала только, может быть, от работы, и

ничего не хотелось ей в прошлом ни изменить, ни поправить... Было в ней терпеливое спокойствие, которого так не хватало сейчас Котельникову, не хватало, наверное, многим другим, и, может быть, в том числе рядом с ней живущему деду, который, несмотря на годы, не отвык еще ни спорить и доказывать свое, ни горячиться. Он и сейчас глядел на Котельникова так, будто ему очень важно было проверить на молодом собеседнике все то, что сам он понял задолго до него и чем он словно считал необходимым поделиться.

— Вот ты сам суди, — опять положил на стол крупную свою пятерню, будто снова что-то раскинул перед Котельниковым. — А я тебе всего один факт. Приехал в том году на Монашку уполномоченный из энкеведе. Некто Карюков. Дал председателю Совета список. Обеспечить, говорит, явку, чтобы в такой-то день такие и такие-то были у карбаса на берегу... Всего тридцать человек. Для Монашки много. И все будь здоров мужики, один к одному. Председатель и рад стараться. Всех предупредил, обо всех побеспокоился, одного только не нашел — я в ту пору шишковал, да еще, спасибо баушке, не вернулся... В этот день, что уполномоченный назначил, собрались все на берегу, он выкликает по бумажке, провожает на карбас, а потом, а где тридцатый? Тридцатого нет. Он тогда председателя Совета — цоп за плечо! Ну, ты будешь за тридцатого! На лошадей шумнул, и поплыли. И только трое вернулись уже после войны. И все, говорит, на строительстве работали... У меня теперь, бывает, набьется полная изба городских, да еще слегка подопьют, ну, тогда и пошел: один так рядит, другой этак. А я тебе скажу: он и был — самый настоящий оргнабор. Мужики нужны были. Работники. Как, понимаешь, Андреич, — при Петре...

Ночь была ясная, с тихим, лившимся с высоты призрачным светом, и Котельников с телогрейкой на плечах постоял на обрыве, глядя на серую, уже подернутую изморозью гальку и на темную реку. Не виделось на ней ни ряби, ни отблесков, катилась неслышно и незримо, и только отлетавший от воды, почти незаметный, как спокойное дыхание, холодок давал знать об упругом ее и стремительном беге.

Низко чернела согра на той стороне, неслышным сияньем была наполнена за нею долина, и над синей зубчаткой стылой тайги зыбко лучились и знакомо подрагивали звезды.

Где-то очень далеко почудился Котельникову комариный звон лодочного мотора, тут же лопнул, и снова все обложила вековая таежная тишина.

За кончики бортов он придержал пахнущую сеном и коровью дедову телогрейку и задрал голову.

Он смотрел на звезды до тех пор, пока ему не почудилось, будто темная и глухая земля у него под ногами медленно начинает плыть и вращаться. Где-то он недавно читал: для душевного равновесия, для согласия с самим собой надо человеку как можно чаще смотреть на звезды...

И он тихонько улыбнулся и глянул еще.

В избе он и раз и другой окликнул бабушку, но она сидела на краешке сундука, отвернувшись, так и не посмотрела, и дед поманил его пальцем, негромко сказал:

— Погодь, Андреич, пусть пошепчет... У нее — зубы.

Он уже лежал, глядя вбок, на черное окно, когда Марья Даниловна все тем же ровным голосом сказала:

— Это-таки... перестали. Слава богу, не разучилась еще.

— Это куда же тебе, баушка, разучиваться? Когда как раз теперь к нам с тобой в гости — все болезни?

Котельников приподнял подушку под головой:

— И помогает?

И она присела на край постели неподалеку, слегка нагнувшись к нему и положив руки на юбку между колен.

— А почему нет? Если веришь.

Он качнул головой, будто согласился.

— Мама, покойница, говаривала: учи! А я тогда молодая была, зачем, думаю? Почти все из головы выскочило, вот только это-таки да еще кровь жильную могу останавливать.

— Это как?

— А как? Просто. — Все тем же спокойным и чуточку монотонным голосом она стала тихонько говорить, слегка покачиваясь в такт словам и глядя на Котельникова светло. — С верою говоришь про себя: «Есть остров. На острове стоят три сосны безверьховых. На этих трех соснах безверьховых сидят три красных девицы, оне же мне сестрицы. Ту руду берут, ту руду перехватывают. Ты, ниточка, урвись, ты, руда, уймись. Вот мои слова: ключ и замок. Аминь».

— Угу, угу...

— Три раза это сказать надо. И безымянным пальцем правой руки вот так вокруг раны поваживашь...

— Угу.

— Это кого ты, баушка, однако, спасла? Когда это было?

«Есть остров, — медленно повторял при себя Котельников, лежа потом на спине и положив руки под голову. — На острове стоят три сосны безверьховых. На этих трех соснах безверьховых сидят три красных девицы, оне же мне сестрицы...»

И улыбался Котельников, особенно его отчего-то трогало это старательное бабушкино: о н е.

И когда дед уже в исподнем шагнул к лампе, приподнял над стеклом ладошку козырьком, дунул, и стало

темно, когда они поговорили еще чуток и замолкли, — тогда ушли от Котельникова все эти сплавщики, водители тягачей, пасечники, инвалиды, охотники...

Медленно, но упрямо начал он возвращаться в ту жизнь, которая торопливо текла за сотню километров отсюда и где, как он теперь временами был яростно убежден, прекрасно обходились и без него, обходились все, кроме, может быть, двух его ребяташек, которые по малости своей тоже не очень-то по нем тосковали...

Получилось так, что незадолго перед травмой они с Викой и раз и другой поссорились, и после, когда Котельников уже лежал в больнице, его все еще не покидало чувство то ли вражды к ней, а то ли какого-то отчуждения, которое потом, уже придя в себя окончательно, он отнес за счет вполне понятного эгоизма: совсем беспомощный, он впервые в жизни, целиком и полностью, казалось, зависел от Вики и словно никак не хотел ей этого простить... И после он как будто спохватился. Все ее бессонные ночи около него, в шоковой палате, все то, что она приняла на себя в те дни, стало для него теперь доказательством Викиной любви и доказательством надежности их выдержавших проверку бедою отношений...

Может быть, тогда он впервые так ясно понял, что опасность уже позади, и его целиком захватило это жадное чувство возвращения к жизни, — временами он ощущал тихий восторг, когда думал о том, как тепло и уютно жить на земле, когда у тебя не только много друзей, но и такая, как Вика, преданная жена. Тогда он впервые понял значение этих слов, которые повторяли иногда люди постарше него: т ы л ы.

И бесконечная энергия Вики, и бескрайняя вера в его выздоровление без всяких последствий словно вытаскивали его из болезни, и, обнимая вечером взбравшихся к нему на колени ребяташек и поглядывая на жену, он испытывал временами такую благодарность к ней, о существовании которой в себе он раньше даже не подозревал.

А потом вся эта история, в один миг лишившая его и спокойствия, и мира в душе...

Весною, в самом начале мая, он собрался на Монашку, рано утром попрощался с Викою и с детьми, и «газик» из управления отвез его на пристань. Он уже отпустил машину, когда пришел бригадир Масляков, на чьей лодке они собирались плыть: «Ты понимаешь, Игорь Андреич, свояк вчера поздно вечером появился, девочку в интернат привез, болела у него дома. Может, давай так: он ее сегодня отведет, потом в городе то да се, а завтра раненько утречком мы все трое...»

Дома уже никого не было, в квартире стояла тишина, и, когда он, еще не сняв охотничьей куртки, присел на краешек дивана в своей комнате, у него появилось странное ощущение: будто нет здесь и его самого, будто уехал-таки, уже уплыл, и лодка мчится сейчас мимо шорской деревеньки на пологом берегу, мимо тугим соком налитых тальников, над которыми поднимаются вдалеке окутанные дымком полосатые заводские трубы.

Разбирать рюкзак он не стал, а только втащил к себе в комнату, рядом прислонил к стенке ружье, поставил на газету грязные сапоги. Пошире распахнул дверь на балкон, и так, в старых брюках и в свитере, улегся на диван, стал читать.

Никто ему ни разу не позвонил, ни Вика, и ни друзья, — знали, что его уже нет, — и, поглядывая на часы, Котельников представлял: вот они с бригадиром Масляковым уже оставили позади широкое Осиновое плесо и заскочили в старицу. Вот уже вошли в устье Средней Терси...

Из школы вернулся Гриша, отомкнул замок, но не успел Котельников окликнуть сына, как тот уже хлопнул дверью — в коридоре остались лежать его ранец да сумочка с кедами. Он вспомнил, что у мальчишки сегодня экскурсия в городской музей, оттого и убежал, не поевши, — догадается хоть купить на улице пирожок, есть ли у него деньги?

Потом он все ждал Вику с младшим, улыбался, воображая, как оба они удивятся, когда, по обыкновению, сразу же откроют дверь к нему в комнату. Но Ванюшка у порога закапризничал, Вика, не раздеваясь, повела его в туалет, и тогда он встал с дивана и вышел в коридор. На полу стояла раскрытая большая Викина сумка, и он, никогда раньше не имевший такой привычки, тут вдруг машинально приподнял лежавшие сверху чертежи.

Под ними была бутылка коньяку.

— Так папочка наш, оказывается, не уехал! — громко говорила Вика, продолжая возиться с сыном. — А мы-то думали, он уже... господи-и! Да что это за такой ребенок?!

Они поцеловались, Котельников помог ей раздеться, потом повел Ванюшку смотреть рюкзак да ружье, а Вика взяла сумку, пошла на кухню.

Котельников оставил Ванюшку, отправился следом. «Так-так, — приготовился ей сказать. — Значит, не пьем, но лечимся?»

Потер ладонью о ладонь, приподнял чертежи...

Коньяка в сумке уже не было.

Вика перестала переключать в холодильнике продукты, выпрямилась и обернулась. Тылными сторонами ладоней взялась поправлять прическу, потом засмеялась, вытерла руки, обеими пригладила волосы и так и оставила на затылке, словно слегка потягиваясь:

— Представляешь, у нас сегодня — история...

Улыбалась ему, рассказывала, потом стала доставать из сумки кульки и пакеты, а ему все сильнее хотелось перебить ее: «Погоди-ка, что это еще за чертовщина, только что была тут бутылка с коньяком...»

Но он почему-то все молчал, а потом наступил момент, когда он вдруг понял, что уже и не станет говорить, — будто время, когда все это можно было сказать запросто, ушло и вопрос этот прозвучит у него теперь фальшиво...

Двойственность эта мучила Котельникова, и, как он ни старался, Вика заметила, что настроение у него

переменилось.

— А может, ты от меня скрываешь? — Руки у нее опять были испачканы, и она задела его плечом — то ли погладила Котельникова, а то ли сама о него потерлась. — И не поехал потому, что плохо себя почувствовал? А, Котельников?

Когда-то еще давно они с Викой договаривались избегать недомолвок и при всяком недоразумении объясняться немедленно. Как знать, не забудь тогда Котельников об этом договоре, и все, глядишь, стало бы на свои места, они посмеялись бы, да и только, и не пошло бы у них, как тогда: дальше — больше...

Ночью, уже за десять, когда Котельников опять лежал с книжкой на диване в своей комнате, в дверь к ним негромко, но настойчиво постучали, и он проворно поднялся, пошел открывать.

Было ли так на самом деле или ему показалось, но потом, когда не раз и не два мысленно возвращался к этой истории, все уже принималось как истина, — ожидавший за дверью Смирнов, увидев его, смутился:

— Ты, оказывается, дома?..

Потом все пошло, как всегда — он помог Смирнову снять накиннутую поверх белого халата темно-коричневую «болонью», определил ее на вешалку рядом с Викиным пыльником и, пока тот возился со шнурками, снял около него и, нагнувшись, пододвинул поближе тапки, в которых был, а сам под полкой для обуви нашарил ногою и надел старые, давно стоптанные шлепанцы.

— Вот молодец, что заехал.

Смирнов на миг подался к зеркалу, тронул пышную, с красивой проседью шевелюру:

— Дежурю нынче. А это ехал с вызова, дай, думаю, заскочу. Звонить не стал, чтобы детишек не будить.

Вышла Вика, весело поздоровалась, спросила, приготовить ли поесть или они только выпьют чаю, а Котельников дружески взял его за локоть, повел к себе:

— И правда, молодец... А то целый день скучаю.

Смирнов уже позвонил в «Скорую», назвал телефон, на котором в ближайший час будет находиться, уже откинулся было в кресле, но потом приподнял голову, наклонился, и в сочном его баритоне, который всегда так нравился Котельникову, послышалось легкое беспокойство:

— Что это у тебя, милый, видок... или ничего? Расстроился, что не уехал? Н-ну, ну!.. Не сегодня, так завтра, не беда!

И такая дружеская забота слышалась в его мягко рокочущем голосе, что надо было свиньей быть, чтобы на эту заботу не откликнуться.

Котельников сделал отчаянную попытку повеселеть, попытка удалась, и он словно позабыл обо всем — и тогда, когда с чистым полотенцем стоял в ванной, где Смирнов долго, как у себя в операционной, мыл руки, и когда втроем с Викторией они сидели потом в зале за столом, пили крепкий ее, хорошо заваренный чай с домашним пирогом и с вареньем.

Лишь после того как хирург ушел, Котельников почувствовал вдруг такую пустоту и такую усталость, которых не ощущал он уже давно. Сунув руки в карманы брюк, стоял у темного окна, бездумно пока глядел на потухающие окна противоположного дома. Сзади подошла Вика, обняла, прижалась грудью.

— Вы сегодня — с горячо любимой женой? Или прикажете постелить на диване?

Ясно, что накануне отъезда он должен побыть с Викторией, это разумелось как бы само собой, но его захлестнула вдруг такая горькая обида, что справиться с собой он не смог, даже не сказал ничего, только повел головой на диван: здесь, мол, постели.

Участливо дохнула в ухо:

— Плохо тебе?

— Так что-то... не поймешь.

— Может быть, отложить эту поездку? Никто не гонит...

Он молча покачал головой.

Это была первая ночь, которую Котельников пролежал без сна, думал, и к утру, когда ему надо было уезжать, размышления его приобрели такую стройность, словно они не возникли только что, а были выношены годами... Как будто на пустом месте за одну недлинную, уже весеннюю ночь выросла вокруг, заключила его, взяла в плен особой прочности крепость, гладкие и глухие стены которой он месяцами потом не мог ни обойти, ни разрушить...

Странная штука: причиной его мучений стали эти два человека, ближе которых во всем белом свете у него сейчас не было, может быть, никого — Вика и Смирнов.

С Викторией у них до этого всегда было хорошо: сперва, еще в студенчестве, не то чтобы смотреть на других — они и себя не помнили от любви, потом юношеский этот святой пыл счастливо сменился ровным супружеством, и за детьми, без которых они оба себя не мыслили, за отнимавшей столько сил у обоих работой они просто не замечали многих одолевавших другие семьи сложностей. Измена, ложь или даже вранье по пустякам — все это было словно не для них, ощущавших друг в друге и глубокую искренность, и готовность жертвовать только своим ради их общего, и всякое отсутствие мелочности. О шумных скандалах с бросанием посуды они не имели понятия, и обе недавние ссоры произошли у них, пожалуй, из-за пустяка... Или с них, может, все и началось?

Вика любила, чтобы в доме у них все блестело, но времени у нее часто было в обрез, и Котельников иной раз там или здесь в дальнем закоулке вдруг обнаруживал до лучших времен, до генеральной уборки припрятанный мусор. Ему никогда это не нравилось, сам он как раз любил вылизывать по углам, это была его

страсть, в управлении хорошо об этом знали, и, когда начальник участка Мизгилев подсунил ему машзал с идеально сделанной мелочевкой, Котельников каким-то чутьем угадал: хочет надуть, потому что не сделал чего-то главного. И он, конечно, нашел что, — с Мизгилевым они тогда сцепились, и после тот опять стал безбожно оставлять за собой те самые так раздражавшие Котельникова «хвосты».

Он понимал: эта неряшливость Мизгилева была не от хорошей жизни. Попробуй-ка сократи втрое сроки монтажа, как потребовали от них на втором конвертерном. И все-таки даже в самую запарку Котельников не перестал спрашивать за недоделки — эта их ссора с Викой скорее всего и была отголоском замотанной, напряженной до предела жизни в те, пусковые дни...

Как-то, уходя из дома рано утром, он случайно задел носком сапога край влажной тряпки, которую она обычно стелила у порога, и под нею опять увидел бумажки и стружки от разноцветных карандашей, и даже шкурку от колбасы, — эта шкурка почему-то больше всего остального возмутила Котельникова.

Вика подошла к двери поцеловать его, и тут он ей вдруг и выдал:

— Давно уже хочу тебе сказать, чтобы ты об этом как-нибудь на досуге... Ну, как так? Кругом у тебя как будто порядок, а под тряпкой чего только нет. Чужой человек так и подумает: чисто как! Но тебе-то самой известно, что сор не вымела, а только припрятала? Известно! И тебя это... никак?

Вика поцеловала его, не дослушав:

— Нет, Котельников, абсолютно никак.

Ясно, что предназначено это все было Мизгилеву, но по обидной какой-то случайности досталось Вике.

— А тебе не кажется, такого заботит лишь то, чтобы другие не видели, что там у него внутри? А сам он готов держать в себе и обман, выходит, и грязь!..

Котельников накалился; Вика, у которой на работе в те дни не ладилось, тоже не удержалась, и между ними пронеслась короткая, как серия электрических разрядов, перепалка, в которой главную роль играли уже не слова, не смысл, а только интонация: «Ты так думаешь?» — «Извини меня, именно так!» — «Ну что ж, дождалась — спасибо тебе!» — «Ничего не поделаешь — пожалуйста!»

Или тут важнее остального все-таки был смысл?

Вообще-то, если на то пошло, Котельников, твердо убежденный в неопровержимости этого своего вывода, в глубине души всегда верил, что к Вике он не имеет ни малейшего отношения, что она-то как раз и есть то самое подтверждающее правило счастливое исключение...

Так просто Вика не могла ему изменить. Для этого нужен был такой человек, как Глеб Смирнов.

Для самого Котельникова Смирнов был сперва дружеским голосом...

Согретый какою-то особенно, будто бы сокровенной человечностью, этот мягко рокочущий голос настойчиво звал его из темноты, и Котельников сразу привык к этому голосу, его ему стало не хватать. Потом он увидел выплывшие из тумана пристальные глаза, которые смотрели на него со счастливой надеждой, но готовы были сделаться и строже, и укорить в слабости, и приказать ему во что бы то ни стало держаться... Была широкая и уверенная ладонь, — когда она лежала на похудевшей руке Котельникова, ему казалось, что вместе с теплом исходит от нее, проникает в тело и в душу спокойная животворящая сила.

Как раз в это время Глебу стукнуло пятьдесят, он был на четырнадцать лет старше, но, несмотря на возраст, в нем было что-то от мальчишки, и они с Котельниковым быстро и откровенно горячо подружились. Потом, когда ему уже можно было ходить, сколько долгих вечеров провели они в ординаторской, и им никогда не было скучно, и никогда не надоедало ни говорить, ни просто молчать.

Войну Котельников не помнил, помнил только послевоенную разруху, но все, что пережили другие, постарше его, было для него свято. Книжной правде о войне он всегда предпочитал бесхитростные и часто резкие, как треск рубахи на груди, рассказы фронтовиков, и в этом смысле повезло им обоим: Котельников любил расспрашивать не меньше, чем Смирнов вспоминать. Было так, словно издалека, из сегодня, оба они теперь внимательно всматривались в того мальчишку, который семнадцати лет пошел в летную школу, а в двадцать, уже в чине капитана, имея за плечами полторы сотни боевых вылетов на «бомбере», был сбит над Эстонией и больше года потом провел в одном из самых страшных концлагерей.

— А ты знаешь, что докторский стаж мне надо начислять еще оттуда? Потому что я там уже начал практиковать. В немецком лагере.

— Так уж п р а к т и к о в а т ь?

— Не придирайся! Если хочешь — просто лечить.

— Тебя взяли в лазарет?

— Мне нравится твоя наивность! Откуда лазарет? От сырости? Просто сам. Я тогда молодой был. И очень верил, что надо только захотеть, и все будет возможно. Я просто стал присматриваться к людям: все получают одинаковую пайку, но на одного глянешь, и сразу по глазам видать, что человеком остался, а другой вроде и телом поздоровей, а на человека, слушай, уже не похож. Я и стану говорить: что это ты, дружок, совсем голову-то повесил? Давай-ка с тобой по душам поговорим. Я слово знаю — увидишь, станет легче!

— И что это за слово?

— Вот и он тоже: какое слово? Обыкновенное, говорю, наше доброе слово. Русское.

Котельников улыбался — он припомнил, как однокашники Глеба, тоже хирурги, рассказывали, с чего начиналась врачебная карьера Смирнова здесь, на Авдеевской...

Тот, совсем еще молодой капитан, с группой таких же, как он, отчаянных, веривших, что все возможно, надо только захотеть, бежал из лагеря и после всяких проверок еще полгода снова летал на «бомбере» и до

конца войны успел еще получить и очередное звание, и боевой орден, но в сорок шестом где-то в штабных немецких архивах обнаружили его штурманскую карту — ту самую, по которой он пробирался к своим, когда около эстонского села его схватили жандармы... И десять лет потом Смирнов валил на Севере лес, а в медицинский поступил, когда ему было давно за тридцать. Потом их, нескольких однокурсников, из которых он был самый старший, распределили сюда, в больницу на Авдеевской площадке. Чуть ли не в самый первый свой рабочий день вслед за старыми, давно уже работавшими здесь хирургами они обходили больных, и вся большая их группа надолго задержалась около старика, которого вот уже какой день всем миром уговаривали согласиться на операцию желудка — в этом случае его еще можно было спасти. В тот день старик этот — из кондовых таежников — опять отказался наотрез, и тут, когда все уже двинули из палаты, к нему наклонился Глеб: «Почему вы, отец, не хотите? Скажу я вам — зря!» — «Тебе — дамся», — коротко сказал старик. «Да, но я...» Старик не дал ему договорить: «О-от, видишь! Тебе со мной, значит, сразу некогда. А почему, скажи, я доверяться должен любому — какому неопытному? — И повернулся к заведующему отделением: — Вы слышите? Вот этому доктору, пожалуйста, — пусть режет!»

И на этот раз Глеб ничего не стал говорить, потому что сзади ему уже обдергали халат: соглашайся!

Ассистировал ему потом доцент из города, хирурги всего отделения были в болельщиках, и операция прошла хорошо, дед на редкость быстро поднялся, а так как был человек благодарный, то вскоре вся округа уже знала, что на стройке среди хирургов появился наконец спец, каких поискать. Люди шут-те куда едут, за тридевять земель спасителя ищут, а он, оказывается, под боком!

И многие больные потом первым делом заявляли: хочу, чтобы резал Смирнов.

Он и сам рассказывал Котельникову, Глебу: «Доходило, другой раз на полном серьезе принимался размышлять: или, пока не поздно, убежать? Иначе может случиться, что однажды у меня кто-нибудь не встанет из-под ножа... Однако бог миловал! Зато опыт, скажу я тебе, — опыт! Иногда я думаю, что тут-то я свое и наверстал. С такими случаями ко мне шли — практика, слушай, была как у профессора!»

Внешность у него, и верно, была профессорская: высокий и статный, слегка уже начинающий полнеть, открытое, с крупными и правильными чертами лицо, кустистые брови над остро внимательными глазами, высокий, с мощными надбровьями лоб, волнистая его и густая, с серебряными прядками шевелюра... Сперва Котельников думал, что этот дружелюбный, с первого взгляда внушающий бесконечное доверие облик — это от пережитого. Но вот, выходит, ему верили, когда он был почти мальчик...

— И многих ты тогда — добрым словом? — дружески посмеиваясь, спрашивал его в ординаторской Котельников.

И, он отвечал запросто:

— Мню-огим! Очень многим помог. Бодрей стали. Вера к ним вернулась. А это, сам понимаешь, главное...

— Но ведь сам посудил: в двадцать лет...

— Нет, никакой теории тут не было, я тогда был от всего этого далек. Просто иногда мне было обидно смотреть на моих земляков. У меня ведь отец был историк, он много со мной всегда говорил... Знаешь, что для меня это было — русский? И я просто напоминал другим, кто они такие, откуда.

— Значит, ты просто беседовал.

— Одного я, слушай, вылечил медикаментозно.

— А где ты взял медикаменты? Передали?

— Ну, это я только так говорю медикаментозно. А на самом деле я ему ровно месяц отдавал свою пайку.

— А сам?

— Я тебе говорю: я ведь тогда молодой был. Я на одной ненависти жить мог хоть год.

— И все было хорошо?

— У-у, вылечил. Мы вместе потом из лагеря бежали, он снимал часового. Тоже летун. Подожди, подожди, ты его еще увидишь. Мы потом, конечно, все потерялись, а недавно вышла книжка, с нами один товарищ в концлагере был, он теперь известный писатель. Написал книжку, там и моя фамилия, и этого летчика, его Петр... По этой книжке я его и разыскал. Оказывается, рядом живет. В Новосибирске в аэропорту диспетчером работает. Мы с ним списались, он скоро приедет. Хочешь, я тебя потом позову?

Однажды рано утром он позвонил из дома: «Хватит спать, приходи-ка, у меня радость — приехал Петр!»

Как-то потом, уже не раз и не два размышляя об одном и том же, Котельников подумал, что, кроме всего прочего, Смирнов сам, может быть, того не сознавая, пригласил его, чтобы показать старому своему товарищу: вот, мол, тот самый парень, которого недавно я спас. Это он уже успел хорошо усвоить, Котельников: спасение его было удачей Смирнова — крупной, несмотря на легкую его руку, удачей... И в этом-то, в общем, не было ничего предосудительного, если ему хотелось посидеть в компании двух людей, которые оба обязаны ему были жизнью.

Думал Котельников и о другом: встреча эта, могло быть так, понадобилась Глебу, чтобы поднять свой авторитет в глазах Котельникова, — Глебу надо было, чтобы Котельников верил ему безгранично, это входило в комплекс тех не совсем обычных средств, которыми боролся теперь Смирнов за его, Котельникова, полное выздоровление...

О чем говорить, он простил бы Глебу и обычное тщеславие. И ничего страшного, если его присутствие было запланировано из соображений чисто практических. И все-таки он готов поклониться, что ничего похожего не было, что у Смирнова он тогда сидел на правах друга — так он тогда это все почувствовал.

Жена Смирнова уже ушла на работу, в садик увела сыновей, и мужчины остались в доме одни. Втроем они

сидели за небольшим празднично накрытым столом, который жался к громадному, занимавшему добрую половину зала старому роялю. «Летний состав» разместился на диване, а Котельников устроился в удобном кресле напротив.

— Ты правильно пойми, нам рядом надо быть, — рокотал Глеб, разливая по рюмкам фирменную свою самодельную настойку. — Мы ведь русские люди, мы сейчас с Петром начнем обниматься.

Петр, совершенно седой, маленький и очень худой, как будто с застарелой язвой человек, в новеньком, с орденскими планками аэрофлотовском костюме, снизу вверх влюбленно глядел на Глеба, и глаза у него влажно поблескивали.

Вылили за встречу, и тут он откровенно, по-мальчишески всхлипнул и пятернею вытер глаза.

— Чего нам, дружище, плакать? — засмеялся Глеб. — Мы с тобой нынче должны радоваться!

Вспомнили, как в концлагерь приезжал Власов, вербовал в добровольческую армию. С ним был портной, и с нескольких, на которых указал адъютант, заключенных сняли мерку, а через несколько дней им привезли ладно сшитую офицерскую форму, — они должны были носить ее, так сказать, для наглядной агитации.

— Помнишь, Петр, меня в этой форме?.. Гвардейцев отобрали, как в императорский полк. Усы велели отпустить... даже подкормили.

— Очень она тебе шла. Как у нас раньше в деревне говорили: л и ч л а.

Смирнов нахмурился нарочно озабоченно:

— Не продешевил я тогда, что отказался?..

И с такою это было сказано будто бы доверительно интонацией, что все трое они долго смеялись: а в самом деле, не прогадал ли?

Вот такой это был человек, Глеб Смирнов, его нельзя было не любить, и теперь, когда Котельников лежал без сна в темноте, глядя в едва различимый потолок старой избы, он вдруг подумал: а может быть, это ты сам так действительно любишь Глеба, что невольно думаешь, будто и Вика для него готова на все? Откуда, послушай, ты это взял? Пусть Смирнов прекрасно знал, что в тот вечер тебя уже не должно быть дома. Но разве такого не могло в самом деле случиться: ехал человек мимо, в окна кабинета увидел свет и подумал — а вдруг Котельников дома? Или в том случае он не смутился бы, не с той, кольнувшей Котельникова фразы начал разговор?

Хорошо, а давай по-другому: ведь то, что он так, без всяких, сказал — это, может быть, главное доказательство его искренности. Потому что не такой Смирнов человек, чтобы так вот, запросто растеряться, и опыт у него в таких делах, слава богу, немалый... Или как раз это и смущает тебя больше всего — его опыт?

Жена у Смирнова была немка, и, когда он однажды заметил, что Котельников подавил в себе желание о чем-то спросить его, сам сказал: «Ты небось, дружище, подумаешь: как же так? Воевал с ними, воевал, и вот — на тебе! Но в том и дело, что немцев я знаю лучше, чем кто-нибудь другой, и кто, как не я, должен был им простить?.. К тому же она из наших ведь, из поволжских, а они из-за своих соплеменников тоже знаешь как пострадались? Это раз. А во-вторых, скажу тебе, они ведь прекрасные матери и прекрасные жены... Думаешь, Ванда мне устроит скандал, если узнает, что я куда-то с кем-то пошел? Она этого просто не заметит».

Сам Котельников был, вероятно, однолюб, и к таким обезоруживающим рассуждениям жизнь его просто не успела подготовиться. Или, выходит, нынче-то и начала потихоньку?

«Скорая» в этом смысле, — откровенничал Глеб, — очень удобная штука. Шофер тебя высадил, поехал дальше, а через часик вернется или будет ждать тебя на углу...»

Предположим, Глеб увидел свет в окна кабинета, но почему, высадив его, машина и в тот раз тут же ушла?

Выпили бы с Викой чаю? Посидели бы, поговорили о Котельникове?

Когда они оставались втроем, упрекнуть Вику было не в чем, она вела себя так, что любой бы сказал: эта женщина знает цену мужским отношениям. Но то, что друг к другу Вика и Глеб относились с явной симпатией, было фактом не только для Котельникова, — даже хладнокровная Ванда, на которую Смирнов возлагал такие надежды, как-то, когда они в компании рассаживались, сказала, показалось Котельникову, нарочито заботливо: «Моего Глеба и Викторину давайте посадим рядом, я знаю, им будет приятно...»

Конечно, у Вики есть все основания симпатизировать Глебу, и, хотя она всегда умела вовремя отступить на задний план, у них со Смирновым была одна объединявшая их общая цель... В том-то и дело, что цель эта — твое спасение, Котельников, и как это низко с твоей стороны — подозревать!

Однако, почти взмолился он, поймите и меня, давайте-ка будем реалистами: если эта жадная и темная штука во мне возникла и от нее никуда не деться, теперь-то я знаю это слишком хорошо, значит, мне нужно время, чтобы себя преодолеть, чтобы все расставить по местам, чтобы не ошибиться, чтобы все решить верно, а пока это смутное только во мне, — разве хоть единым поступком, словом, взглядом я кого-либо из вас двоих упрекнул, скорее наоборот: сколько раз, лишь бы доказать, что вам верю, я сам придумывал причину без меня, потом, когда уеду опять, вам увидеться, хотя знали бы, чего это стоит, тогда в таком, как это, деле, решаешь: достоинство прежде всего, и только — достоинство!

В который уже раз он то медленно брел, а то торопливо бежал по этому до каждой крошечной мелочи изученному кругу обычных размышлений, но стены и в самом деле были глухи и гладки, и не с чего было начать ломать, не за что было зацепиться, чтобы попробовать выскочить.

Иногда ему казалось, что так, оставляя все втайне, только у себя на душе, он все дальше и дальше уходит и от Смирнова, и от Вики, и вообще от всех, всех людей, и все-таки знал наверняка, что будет себе это твердить

всегда: прежде всего остального — достоинство!

...Неслышно пронесся к большому и темному лесу крошечный «кукурузник», над макушками стал снижаться, и, забыв обо всем на свете, стараясь позабыть, Котельников бросился за маленьким самолетом...

4

Рано утром, едва рассвело, на той же ноте, на которой накануне затих, тоненько возник вдалеке комариный звон лодочного мотора...

В печи пока не гудело, а только тихонько потрескивало, выстывшая за ночь изба еще стерегла каждый наружный звук, и все трое, настраивая слух, замерли, потом дед первый оборвал тишину:

— Однако, Матюша Хряпин...

Марья Даниловна тут же ревниво откликнулась:

— Откуда знаешь?

— А вот потом, баушка, увидишь.

О лодке тут же словно забыли, продолжали справлять свои утренние дела, но Котельникову было видно, что старики жили ожиданием, — казалось, и на улицу они выходили теперь только затем, чтобы лучше прислушаться. Иногда они переговаривались, и тогда в голосе Марьи Даниловны была неуверенность, зато в дедовом слышалось торжество.

— А Никита Кожин ни у кого не мог мотор одолжить?

— А кто ему, баушка, одолжит, ежели он со своим обходиться не умеет?

— Да ведь Иван Костырин свояк ему...

— А, думашь, он со свадьбы уже вернулся? Думашь, там всю медовушку уже выдули?

Когда звук вырвался наконец из обнимавшей его глухоты и ровным стукотком рассыпался над ближним плесом, Марья Даниловна о фартук торопливо вытерла руки, и Котельников невольно глянул на висевший сбоку этажерки бинокль, — не вытерпит сейчас бабушка, выйдет с ним на крыльцо.

Бывший прапорщиком у ракетчиков, Михаил привез его, чтобы высматривать копалух, но дома удавалось ему бывать редко, и теперь бинокль верой и правдой служил Марье Даниловне. Станет в дверях, проводит биноклем мелькнувшую среди тальников на той стороне набитую, как сельдями бочка, машину и полвечера потом будет рассказывать деду, какую кто из мутненских ребят привез себе из города жену или что в промтоварном магазине в Осиновом давали по блату.

Бабушка прошла на чистую половину избы, принялась убирать с пола постель. Котельников стал было помогать, но она остановила:

— Сама, Андреич, сама... Пусть бы пока лежало, да что люди, если войдут, подумают? Держат, в самом деле, гостя своего на земли — оне ведь не знают, что тебе нравится, а скажешь, так могут не поверить, на старости лет еще в бреховки запишут...

Когда они оба вышли из избы, лодка, невидимая пока из-за пристроек, была уже совсем рядом.

— Думашь, никака забубена голова, кроме его, на ночь глядя не пустится?

Дед, который шел мимо с навильником сена, только коротко сказал:

— А увидишь.

Лодка описала короткую дугу, чтобы стать носом против течения, мотор захлебнулся разом, деревянное днище прошуршало по кромке галечника, зашелестела, причмокнула догнавшую корму волна. Сидевший на моторе человек, в черной, застегнутой наглухо «болонье» и в зимней, с опущенными ушами шапке привстал было, но тут же, покачнувшись, опустился на место, а на берег спрыгнула низкорослая, похожая на таксу собака.

Дед поставил вилы около порога, тоже теперь ждал.

Человек вылез наконец из лодки и, сильно припадая на самодельный протез, заскрипел по мерзлому галечнику. Издали еще вытянул руку, простуженной хрипотцою крикнул:

— Не, ты, Константиныч, скажи, скажи ты, б-бабка Марья, — разве можно с такой змеюкой подколодную жить?!

— Это чем же она тебя опять не попраснодала? — с готовностью отозвалась бабушка.

А он остановился под обрывом около взбегавшего к порогу избы деревянного, с поперечными перекладами мостка, стащил с кудлатой головы шапку и зябко передернул плечами:

— Добро ночевали!

— Да мы-то добро, — качнул бородою дед. — Ты, Матюша, как? Совсем, поди, замерз?

— Ок-коло собачки, Константиныч, перебился...

Дед глянул на низенькую, с инеем на рыжей шерсти собаку:

— Оно и видно. Что она у тебя давеча так лаяла?

— А ничё. Это я ей: шумни, говорю, что мы здесь...

— А чего тебя леший на Змеинку занес?

— Туман, Константиныч, рано пал.

— А ты позже не мог выехать?

— Т-так вот жа!

Матюша и раз и другой попробовал перенести свой самодельный протез через ближнюю перекладину, потом повернулся к мостку здоровою ногой и шагнул боком. Котельников наклонился и поймал твердую его, речным холодом обжегшую руку.

В избе Матюша первым делом определил на вешалку шапку, потом долго стаскивал с себя тесную «болонью», и Котельникову опять пришлось помочь ему, придержать рукав.

— Подростковая, — благодарно заглядывая Котельникову в глаза, объяснил Матюша и опять пристукнул зубами. — Д-дочкина...

Под плащом была только латаная фланелевая рубаха, и Марья Даниловна всплеснула руками:

— Ты б еще на майку надел, это беды! А обувка-то, гли-ко, — модельный тувель! Да кто их в лодку берет! Или, думашь, пропасти на тебя нету-ка?

Матюша вытянул к бабушке посиневшую руку:

— О! О!.. А я чё говорю? — и повел ладонью куда-то на дверь. — Это ты ей, бабка Марья, змеюке этой, скажи! Кинулся вчерась ехать, а она ни в какую. Я уже с ней и так, и сяк, и побил было слегка, и лаской было потом попробовал, а она все чисто попрятала, меня замкнула в избе, а сама к соседям... Хорошо, что штаны нашел!

Бабушка уже собирала на стол, то и дело обходила Матюшу, который стоял теперь, плотно прильнув спиной к стене рядом с печкой.

— А тебе край было ехать?

— Значь, край...

Он то отлипал от горячей стенки, поводил плечами и встряхивался, а то, приподнимаясь на цыпочках, опять приникал, жадно топырил на ней крючковатые свои пальцы и тут же обмякал, словно начинал плавиться; худая его, в загорелых морщинах кадыкастая шея длинно вытягивалась, и только кудлатая, с ушами торчком голова оставалась запрокинутой.

— Хух ты!.. А где Константиныч? Мне ему два слова...

— Знаю я, каки это будут слова.

— Не, бабка Марья, боже сохрани, и не думай! Хочу сказать, рыба сверху пошла, — и наклонился к скрипнувшей двери. — Слышь, что говорю, Константиныч?

— Просит стакашек ему налить.

— Да уж плесни ему, баушка, а то пропадет ни за понюх табаку...

Матюша опять елозил спиной по стене, и голос его захлебывался то ли от блаженства, которое он уже испытывал, то ли от того, которое только предстояло, он теперь знал это, испытать.

— Рыбка, говорю... хух! Рыбка, Константиныч, поперла!

— Да я вот только хотел сказать об этом Андреичу. Сегодня сетки полные будут.

Матюша теперь всматривался в Котельникова:

— Андреич тебя... Слышь, Андреич? Рыба, говорю, скатываться начала. Змеинку знаешь? Бывал? Вот тут ниже, в начале курейки, кержацкие сетки, я для интересу приподнял одну... Слышь, Андреич?

Выпил он жадно и в конце как-то странно сложил толстые губы, власть причмокнул, словно вбирал в себя все до капли. Повел над столом расплюснутым на конце утиным носом; хотел было выбрать, чем закусить, да так и не выбрал ничего, только виновато глянул на деда.

— Ты-ко хоть поешь сперва, — укорила Марья Даниловна.

— Уважила ты меня, бабка Марья... Слышь, Константиныч? Можно сказать, спасла...

— Добрые люди сейчас сетки ладят, а ты из дома с гармошкой!

Дед все вроде бы насмешничал, но в голосе у него Котельникову послышалась жалость.

Матюша значительно откашлялся, и вспотевшее от одного питья лицо его сделалось торжественное:

— А мне, Константиныч, товариство дороже!

— При чем твое товариство?

— А при том. Ивана Лукьяныча, покойного, помнишь? Талызина. Дак вот. Может, не знашь... Мы с ним всегда обувку на двоих покупали. У него левой нету... не было, одним словом. У меня правой. А размер одинаковый. Мы с ним всегда одну пару на двоих. Он же в школе директором, всегда ха-рошие брали! А потом с ним бутылочку, да посидим. Смирно да хорошо, он же какой человек... Эх! А перед ледоставом всегда в город ладили, там у него товарищ. Он, было, на моторе, а я с гармошкой посередке, да песню!.. А это уже год, как его нету, купил я туфли один, а в душу вдруг взошло: кому второй-то? Взяло и не отпускает: пора в город плысть! Жинке своей говорю: пора! Она понять толком не поняла, Константиныч, — баба!.. А мне плысть надо...

Пока Котельников слушал, где-то вторым планом возникла у него мысль о детях, о семейном тепле, и теперь, когда сердце ему колнуло жалость к будто осиротевшему без умершего товарища Матюше, ему вдруг мучительно захотелось домой...

— Так вы в город?

Матюша опять вывернул ладонь, ткнул ее куда-то в сторону двери:

— Рази она поймет?... А мне все одно — поплыву!

— Меня возьмете?

— А веселей будет... чё не взять? Мотор знаешь?

Котельников покачал головой.

— А на гармошке?

— Тоже нет.

— Ну, не переживай... ладно! Это на реке без этого жить нельзя, а в городе... Так, Андреич? Поплывем с тобой.

— Андреич, однако, шутит.

— Нет, правда, бабушка, — поплыву!

— И я сперва думал, смеешься. — Дед приподнял голову, а плечи опустил, глядя на Котельникова исподлобья, всегда так смотрел, если чему-либо удивлялся. — Далось тебе, Андреич, по такой погоде — на лодке? Машина за тобой через два дня придет. А к этому времени ты с рыбой будешь... Самая, считай, пора!

— А я подарков никаких ни Вике твоей, ни детишечкам не успела приготовить...

— Ничего, спасибо.

— Где-ко ты, спросят детишечки, был? У каких таких добрых людей, что без подарков они тебя из тайги отпустили?..

Старики заметно пригорюнились, голоса их еле сдерживали готовую прорваться обиду, и Котельникову было жаль их, и жаль было уезжать, но вместе с тем так хотелось домой, что начини его тут удерживать — казалось, встал бы, ушел пешком...

— Надо, бабушка, ехать. Савелий Константинович, надо!

— Тогда давай, баушка, и Андреича корми, — решил дед. Хотел было сказать еще что-то, но потом только приподнял над столом крупную ладонь. — Эх, право!

Матюша во время разговора как бы между прочим все пододвигал к бабушке пустой стакан, все глазами заискивал и, когда она сходила за дверь, вернулась с небольшим бидончиком, налила, сказал свойски:

— Да ты, тетя Маня, поставь тут...

— Хитрущий какой! Человека повезешь.

— Все, Матвей, — строго сказал дед. — Тебе хватит.

— Точно знаешь?

Дед прищурился:

— Однако, точно.

— Счастливый ты, Константиныч, человек... Эх, мне ба!

— Меру знать?

— Вроде того что...

— Учись давай.

— А я так думаю: поздно!

Пока Котельников складывал вещи, бабушка и раз и другой сходила в кладовку, сунула ему в рюкзак сперва холщовый мешочек, сытно пахнущий сухими маслятами, потом связку вяленой рыбы.

— Куда, Андреич, банку с вареньем определишь? В мешок свой или так лучше, в лодке поставишь, чтобы видно, да не разбить?..

— Не надо, бабушка!

— Про что другое не говорю, а тут я получше тебя знаю, — выговаривала Марья Даниловна. И вскинулась: — Да не прячь вторую-то свитру, не прячь — все, что есть, на себя сдевай!

Дед в это время принаряживал Матюшу. Одолжил ему заношенный овчинный полушубок, который тот надел поверх подростковой своей «болоньи», дал старый, с галошей из автомобильной камеры валенок, такой громадный, что Матюша натянул его прямо на лакированную туфлю.

— Это да! — Оглядывая себя, Матюша туда и сюда водил утиным своим, расплюснутым на кончике носом. — Теперь хоть в Антрактиду.

Он уже сидел на моторе, а Котельников стоял с шестом на середине лодки, отталкивался, когда дед что-то вспомнил:

— Погоди, Андреич, попридержись-ка!

Быстро пошел в избу, вернулся с небольшим медным колокольцем. Старинный этот колокольчик Котельников позавчера выцыганил у деда, решил коллекцию собирать.

— Цацку-то свою позабыл!

Он сунул колокольчик в карман монтажной своей телогрейки, сильно налег на шест.

— Ты-ко приезжай, не забывай нас, Андреич! — и бабушка понесла к глазам край платка.

Лодка уже проходила слив, слегка покачивалась на ломких волнах, а Котельников, сидевший к носу спиной, все смотрел на сизый от изморози берег, где стояли старики, иногда приподнимал руку, помахивал в ответ, вытягивал, чтобы не дуло, концы воротника, поправлял на шее толстый бельгийский свитер, шапку покрепче нахлобучивал, стягивал на ногах полы старой телогрейки, которую дала ему бабушка, чтобы теплее сидеть, и ему было сейчас уютно, и было хорошо поглядывать и на Матюшу, который всякий раз подмигивал ему — плывем, мол! — и на рыжую его собаку, свернувшуюся под тем сиденьем, где лежала старая Матюшина гармошка, и на быстро скользящие по обеим сторонам поросшие тальником берега с отлетающими назад громадными осоками, и на те нависшие над дедовой избою покатые, с залысынами посреди пихтача холмы, которые становились все ниже, ниже...

Он представил, как в этот совсем еще ранний час тепло и полусонно у него дома, на Авдеевской, и ему поскорее захотелось в это пахнущее Викиной кожей и детскими макушками тепло, ему показалось опять, что

дороже этого тепла и важнее нет ничего на свете, и он вытягивал шею, глядя на оставленный берег, приподнимал над головою ладонь...

Впервые с год назад привез его к старикам Уздеев, хорошо знавший все таежные деревеньки вокруг Сталегорска. С тех пор Котельников приезжал к ним и весной и летом, и вот, гляди-ка, уже провожают его совсем как родного... Хорошо здесь!

День брал свое, на душе у Котельникова окончательно посветлело, о горьком он больше не вспоминал, ни о чем не волновался, все ему нравилось, и даже о травме своей он вдруг подумал: а что?.. В каком-то смысле это даже хорошо, что она как будто сдвинула его с однообразной, в общем-то, и временами, если вдуматься, до чертиков скучной точки... Жил в Сибири, а что он до этого знал? Заваленный чертежами свой кабинет; продутые сквозняками монтажные площадки; душно пахнущие подсыхающими кирзовыми сапогами тесные тепляки; инструменталку, которую прорабы называли «офицерским собранием», потому что сбегались тут иногда наскорях обмыть удачный подъем или другое в этом же плане событие; прокуренный зал для оперативок у генподрядчика; иногда ресторан «Сибирь» — с Викой или без Вики; иногда — вечер в кругу друзей... Все.

Он и не подозревал, что где-то рядом есть совсем другой мир — с вековой тайгой, с грозными перекатами, с неторопливым сибирским говором, с клекотом лодочных моторов, с неожиданными попутчиками, с какими-нибудь сумасшедшими, вполне закатами, с посвистом птичьих крыльев и еще с чем-то, что от всего этого рождается у тебя в душе и заставляет ее непонятно отчего тонко щемить. Очень странный сперва для Котельникова и такой родной теперь ему мир!

Подумалось, как летит время: вот и кончится скоро пенсионный, определенный врачебной комиссией год, и все у него будет нормально, опять пойдет на работу к себе в управление или, если захочет, перейдет в институт, к Растихину, а в выходные дни будет забирать ребятишек, Вику, и — на волю, в тайгу! Нет, хорошо, хорошо!..

Матюша что-то крикнул собаке, и она поднялась, перелезла через скамейку рядом с Котельниковым и стала, наострив уши, в самом носу. Хозяин крикнул еще что-то, но за мотором не было слышно, и тогда он выключил его, в наступившей тишине приказал:

— Рюдак!

Собака кинулась обратно, схватила зубами лежавший под сиденьем большой мешок Котельникова и, приседая и мучаясь, стала дергать его поближе к носу лодки.

Котельников придержал его:

— Там у меня варенье, дядь Матюша!

— Фу! — громко дохнул Матюша.

И рыжая собака ткнула мордой в мешок, словно хотела подвинуть его на место.

— Молодец она у тебя...

— А это всегда перед перекатом... Крикну — она бежит в нос. Все корме легче, осадка меньше. Умная!.. Слышь, Андреич, все понимает!

Собака глядела на Котельникова грустными, навывкате глазами.

— Как ее, дядя Матюша?

— А Тайга, как же еще!

И дернул за шнур.

Котельников посмотрел на часы. Шел десятый, но на реке было по-прежнему сумрачно, и, приглядевшись, он даже сквозь клекот мотора ощутил, какая вокруг замерла тишина.

Слева теперь тянулись отвесные скалы с чахлыми, уже облетевшими березками да кривыми сосенками кое-где на каменных уступах, а низкий берег направо покрывал пихтач, черным сплошняком уходящий к подножию одна над одной теснившихся сопок. Небо висело безоблачное, но такое однотонно хмурое, такое пустое...

Откуда-то из этой высокой пустоты прилетела одинокая снежинка, упала Котельникову на руку, и он долго смотрел, как медленно, словно нехотя, она тает.

За высоким берегом, на котором стояла крошечная деревушка Глинка, впервые помело острым холодом, а потом, когда из устья Терси они выскочили в Томь, сильно стегануло колючим ветром, задудло беспрерывно, и уже через минуту от того зыбкого тепла, которое до сих пор окружало Котельникова, не осталось и следа.

Матюша горбился, все ниже клонил голову, выставляя против ветра вылинявший верх старого треуха, скрюченными пальцами вытирал слезы, и, когда сбоку уже потянулся пустынный галечник с первыми ткнувшимися в него лодками, он круто повернул к правому берегу, к тому пригорку, на котором стоял знаменитый «Голубой Дунай». Преданно глядя на Котельникова, разом растянул толстые и длинные свои губы, нарочно выкатил глаза и головой качнул: и не хотел бы, да надо — вот, мол, какое дело!

Они пристали между двумя новенькими, заваленными рыбацкой амуницией, уставленными деревянными бочонками да алюминиевыми флягами «стационарами», на одном из которых сидела закутанная в шаль, с перевязанной щекой пожилая женщина, а на другом — две похожие одна на одну молодые лайки. Котельников подтянул голяшки сапог, ступил в бензиновые круги на воде, подтащил нос и долго ждал, пока, подойдет Матюша. Перелезая через борт, тот оперся о плечо Котельникова, закричал, потом, тяжело вихляя на каждом шагу, медленно пошел вверх, где стоял похожий на большой скворечник ларек.

— Дядь Матюш, может, я сбегаю? — пожалел Котельников.

Но тот, обернувшись, глянул на него так, что ясно было и без слов: тут просто никак нельзя человеку не

отметиться самому!

Около ларька, рассыпавшись по обе стороны от окошка, стояли человек шесть или семь в охотничьем, с ножами на поясе. Кто держал в руке, готовясь выпить, стакан, кто уже морщился и нюхал огурец, кто покуривал, а в пустое это пространство между двумя группками, куда-то на холодную реку невидящим взглядом смотрела засунувшая обе руки в карманы белого халата, надетого поверх стеганки, пожилая продавщица.

Недалеко от ларька вокруг разложенного на куске полиэтиленовой пленки харюзка да белого эмалированного ведра с крупными, чуть не в кулак, груздями мостилась на толстых неошкуренных бревнах еще одна компания, но разговор там и тут шел общий: неторопливо спорили, сколько зайца взял на Глинке из-под фар городской судмедэксперт Куйко.

— За что, мужики, купил, за то продаю: девяносто семь.

— А тот, у кого ты купил, не брешет?

— А я вам говорю, сто одиннадцать.

— Если одному рубать — это на сколько хватит? Чуть не до конца жизни — с мясом!

— Заяц-то? Под поллитру одного не хватит...

— Да кто говорил-то, кто?

— Ну ясно, не сам же Куйко — шофер с его «газика»...

— Да он тут обнаглел, что не дорого возьмет — и сам скажет.

Котельников все переводил взгляд с одного на другого, а когда посмотрел на Матюшу, тот уже жадно втягивал сложенные воронкой губы, словно все еще продолжал всасывать, а на узком подоконнике перед окошком стоял пустой стакан.

— Ты б хоть закусил, дядь Матюша.

— Да надо ба.

— Ему бы надо закусить еще лет двадцать назад, а, Матюх?

Матюша обернулся на голос:

— О, и ты тут!

Хромал от одного к другому, здороваясь, — того ладонью по плечу, этого пальцем в живот. Около харюзка, где опять начали разливать, присел было, но Котельников, который, чтобы согреться, все поводил плечами, кивнул ему:

— Что, Матюш, может, поплыли, а то так и до вечера не доберемся.

Он поднял скрюченные свои пальцы:

— Счас, счас!

— Дак что, Матюх, это правда, что бабка Пряхина старика своего сожгла?

— А чё не правда — правда!

— Дак говорят люди, а как, как?

— Да так и сожгла. Шишковать полез, а комарье. Он ей: поддай дымку. Она костерочек запалила, пошла травы сорвать, чтобы, значит, дым погуще, а в это время огонь по сухой траве на кедру, а та как полыхнет — что тебе свеча...

— Д-да, пошишковали...

«Ну, вот, — подумал Котельников, когда они шли с Матюшей к лодке. — И проблемы тебе, и новости... Хорошо, что хоть с собой он не взял!..»

Опять Котельников провожал глазами серый галечник с ткнувшимися в него разноцветными лодками, кучки людей около «Дуная», приземистые, за высоким забором, крытые дранкой орсовские склады, а там дальше, в сумрачной хмари, — изгороди, избы с витыми дымами, баньки на отлете, телевизионные антенны, стайки, стога...

Он еще обдергивал монтажную свою телогрейку, пытался подоткнуть под себя края, на ноги натягивал бабушкину, когда посреди широкого плеса, которое обступали с обеих сторон плававшие золотом, несмотря на холод, осины, Матюша вдруг заглушил мотор.

— Слышь, Андреич? А потому и лавочка ему тут, судмедэксперту, потому и поблажка, что неправильно живем! — Матюша торопился, ему хотелось поговорить. — Сегодня жинку побил, а завтра сам развязал мешок с кулаками, — я правильно, Андреич?.. И в тайге друг дружку не жалеем. Как что, так за ружье. А если бы миром да ладом? Нужен ба он тут?

Котельников приподнялся, гармошку переложил на свое сиденье, а сам стал моститься поближе к Матюше.

— Ты не останавливай!.. Это чтоб слышно было.

Опять качнулись по сторонам в сырой хмари догорающие осинки.

— Ты сам сто одиннадцать зайцев съешь? — наклонялся к Котельникову Матюша. — Съешь? От то-то и оно. Я тоже не съем...

— Да ты, я вижу, вообще не ешь!

— А он съест! Понимаешь, Андреич, съест! Значит, кого-то кормит... В ком нуждается. Иначе бы разве стали его держать?

— Многовато вообще-то... Может, врут?

— Эх, Андреич!.. Половина правды!

И опять вдруг заглушил мотор.

- Ты чего? Слышно ведь!
- Садись на мое место. Ну, садись, садись...
- Да я ведь говорил, не умею.
- Ну, не переживай! Это, кто на реке, надо... Тальянку тогда мне дай.

Передавая гармошку, Котельников впервые к ней присмотрелся: потертые мехи, исцарапанные планки, медные пуговицы местами позеленели.

— Что ж не бережешь ее, дядь Матюша?

Тот не ответил, молча ладил гармошку на коленях, потом слегка приподнял острый подбородок, и лицо у него разом стало такое, словно решил Котельникову на что-то безысходно-горькое пожаловаться.

Как тонко уколола — хрипнула забыто гармошка:

А двадцать второго... июня!
А ровно... в четыре часа!
Киев бонбили!.. нам объявили!

Голос у Матюши, несмотря на хрипотцу, был красивый, совсем не по его дураковатому облику, но не в красоте было дело, а в том, жила в этом голосе до сих пор не выплаканная жалость — та, что хватала за сердце тогда, после войны... Или пацанами они не понимали ее до конца, и кажется так только теперь — издалека?..

В первое лето после войны мать отправила их с братом к бабушке, чтобы слегка подкормиться. Дед тогда еще работал в кузнице, а другие карточки дали бабушке за пятерых убитых сыновей, и с этими карточками они ходили за хлебом. Брат был старше Котельникова, ему тогда шел четырнадцатый, и он вставал затемно, шел занимать очередь, а сам он приходил уже потом, когда магазин открывали, приносил брату старую печеную картофелину или молодое, еще зеленое яблоко.

Как раз в это время приходили в магазин инвалиды... Не обращая внимания на давку, шагали вперед, в толпу, и каждый им должен был дать дорогу, а они куда попало ставили тяжелые костыли, наступали на ноги.

В тот раз брат стоял уже у самого прилавка, когда молодой парень без ноги, — Котельников до сих пор хорошо его помнил, — мордастый и рыжий, дернул мальчишку за плечо, чтобы выкинуть из очереди, но брата не так просто было отодрать, цеплялся изо всех сил, и тогда этот приставил к руке, которой брат держался за край прилавка, костыль и всем телом надавил на него... Брат ударил его в живот головой, они сцепились и оба упали, барахтались на полу магазина среди кричавшей толпы; с разных сторон через людскую массу к ним с руганью продирались другие инвалиды, а маленького Котельникова оттеснили, зажали в толпе, он ничего не видел, и это казалось самым страшным.

Потом раздался жуткий, сдавленный крик брата, и в наступившей на мгновение тишине дряхлый, с длинными, опущенными на концах усами старик — его Котельников тоже отчего-то запомнил хорошо — громко сказал:

— Дожила Расея — калеки с сиротами дерутся!

Матюша все задирает подбородок, все захлебывался, и прерывающийся его голос заходил от жалости:

Стукнут... колесья вагона!
Поезд... помчится стрелой!

Где-то на середине реки... холод собачий... берега медленно возвращаются обратно, и всех, кто воевал, кто погиб, кто в тылу голодал, жалко. Странно, подумал Котельников, странно! Сколько уже все живет и живет это в человеке? Сколько еще будет жить?..

Матюша передал ему тальянку, зашарил рукой где-то сбоку, и Котельников подумал: ищет рукоятку мотора. А он, оказывается, карман искал... Достал четвертинку, зубами отодрал край металлической головки, и не успел Котельников удивиться ловкости, с какой Матюша это проделал, как он уже снова, оторвавшись от горла, жадно шевелил губами, засасывал...

— Так ты не пил на берегу?

— Почему это я не пил?

— А зачем опять пьешь?

— А зачем ее люди пьют? Затем и я.

— Ну, хорошо, — усмехнулся Котельников. — А зачем — люди?

— Это наши-то? Русские? Потому что совести много...

— Это как же?

— А так. В других нациях, если что не так сделал, тут же забыл, как будто ничего и не было, а мы помним... все помним!

— Послушать тебя, так это медали надо вешать, что пьют. Чем больше пьет, тем больше, выходит, совести?

— Не-ет, Андрейч! Не так. Слышь? Значит, есть что помнить. Этого много!

Раньше, когда был помоложе, Котельников любил эти разговоры, считал, что временами вот так вот, ни с того вроде бы, ни с сего услышишь в них ту самую сермяжную правду... Но теперь-то его не так легко было провести, всему этому битью в грудь уже узнал цену...

— А ты мне вот что скажи: ты вообще-то собираешься в город?

На первом после Осинового плеса перекате надо было прижиматься поближе к пологому берегу, идти по спокойной воде, но Матюша взял вправо, их закачало почти на стрежне, раз за разом сильно положило на борт,

и только когда он до конца поддал газу, лодка сильно зашлепала днищем и вырвалась наконец из быстрины... Обоих обдало водой, сидели притихшие. В душе у Котельникова кипело: что ж он, Матюша, — первый раз тут, что ли? Мало на этом перекаате народу перевернулось?

Прошли еще немного молча, и Матюша начал сперва позевывать, потом откровенно заклевал носом.

Котельников тянулся, постукивал по колену:

— Матюш! Ты что это?

Тот мычал что-то непонятное. Еще сильнее тряс:

— Матвей! Не выспался?

— А где ты там, на острове, интересно, поспишь?

— Так, может, не надо было и плыть?

— У-у, нет! Поплывем.

Малость вроде бы оклемался.

Он вообще-то уже стерег, Котельников, когда Матюша опять соберется отхлебнуть, но тот достал бутылку из кармана полушубка и приложился к ней так стремительно, что тут бы и любой не успел.

— А ну, дай четок!

Матюша усердно работал своим всасывателем.

— Ладно, ладно.

— Дай, кому говорю!

— А ты мне его покупал?

Тоже резонно.

— Ну, дай, пусть пока побудет у меня...

— Тихо сиди, а то первернемся!

Второй перекаат лежал посреди разлившегося и потому мелководного плеса, и тут все обходилось обычно просто, если успеть вовремя сделать зигзаг, с одного еле заметного гребешка уйти на другой.

Матюша не успел, шпонку у них, конечно, срезало, и, чтобы удобней было снова выйти на перекаат, им пришлось долго спускаться вниз.

Со шпонкой Котельников возился сам, Матюша лишь подавал советы, а под конец затих, и Котельников увидел, что он неловко повалился ничком, уже спит. Может, пусть чуток отдохнет?

Ветер сделался тише, но теплей не стал. Холодом дышала темная река, над скалами за ней тяжело ползли черные тучки, клубились, рвали брюхо об острые зубцы пихтача, оставляя на нем густые, почти нераздерганные космы, над этим берегом начинало помаргивать мельчайшее сеево дождя, и оттого, что до уступа глиняной, заросшей тальником кручи было далеко, а вокруг лежали только одинаковые, покрытые сырою тиной булыжники, здесь было особенно бесприютно и особенно зябко.

Котельников перестал тереть пылавшие пятерни, надел шерстяные варежки и так, в варежках, сунул было руки в карманы, но в одном лежал колоколец, и тогда он достал его и подержал на ладони, вглядываясь то в узоры наверху, а то просто как бы спрашивая взглядом: молчишь?..

Дождик стал гуще, и он положил колоколец на место, одну руку сунул в карман, а другою пролез за пазуху и так замер, слегка согнувшись и глядя на реку.

Вниз одна за одной прошли три моторки на подвесных. Котельников проводил их глазами и стал смотреть вправо, откуда давно уже доносился густой настойчивый гул. Теперь он уже набрал такой мощи, что поневоле казалось, это от его рокота подрагивает сетка студеного дождя и зыбится угрюмая река.

Когда Котельников однажды впервые услышал этот грохот на реке за Монашкой, по простоте душевной подумал: откуда здесь, любопытно, танк?

Мотор уже ревел так, будто на водомете и впрямь решили не огигать полуостров, а берегом проскочить напрямик: Котельников, усмехнувшись, даже посмотрел на тальники справа, откуда в таком случае должна была выскочить машина. Но она уже показалась из-за поворота, неслась наискосок от одного к другому берегу, и он, присмотревшись, выхватил из-за пазухи ладонь и кинул над головою: Прохорцев!

Стремительный, серого цвета стальной треугольник несся мимо, двое в лодке только посматривали на Котельникова и наклонялись друг к другу, что-то, видно, кричали.

Слева перед шиверой был опять поворот, и водомет уже развернулся к Котельникову клокотавшим у него за кормою тугим буруном, как вдруг этот бурун разом опал, и слышны стали грубые и громкие голоса.

Котельников уже без особой надежды опять поднял руку над головой.

Двигатель на водомете взревел, серый треугольник, круто бороздя волну, развернулся и понесся на Котельникова так стремительно, что он невольно отступил от хлюставшей под ногами воды.

Тяжелый водомет заскрежетал стальным днищем по, камням, и острый нос его выполз на берег. Двое в лодке одинаково качнулись.

— Это Финкель тебя узнал! — кричал Прохорцев так громко, словно мотор все еще продолжал грохотать. — Машет мужик, а чего машет, бес его знает, нам некогда!

Стоял, все еще держась за баранку, — собачьи унты на нем, каких нынче не увидишь и на летчике, меховой комбинезон еле вмещает большой, арбузом, живот. Полы новенького, с длинной шерстью полушубка распахнуты, и под полушубком, словно кольчуга, бежевый водолазный свитер, а в довершение всего теплые, с длинным раструбом краги и кожаный шлем. Из-за этого гладко охватившего голову шлема кирпично-красное лицо его сделалось еще шире, — казалось, будто потому только шлем и расстегнут, что просто не может

сойтись на этих тугих щеках, на мощной и в самом деле квадратной челюсти.

— Ну, что ты тут?

— Да вот! — Котельников кивнул на свою лодку, под кормой у которой все еще пошлепывала поднятая водометом волна.

Прохорцев вытянул шею:

— Кто-то знакомый, подожди... Матюша, что ль? — И обернулся к Финкелю. — Посмотри, Семен, до чего монтажнички дожили!

Маленький Финкель лучился улыбкой:

— Закономерность!

Все ему было велико — подвернуты и валенки, и рукава полушубка, и даже клапаны громадной пыжиковой шапки потому и были, казалось, подняты, чтобы он в ней совсем не утонул.

— Ты сразу с теорией, — улыбнулся Котельников.

— Главный инженер все-таки, — развел руками Прохорцев.

И Финкель весело подтвердил:

— Только так!

— Ну, так за чем остановка? — Прохорцев дернул квадратным своим подбородком. — Где твой мешок? Забирай, и...

Может быть, Котельников про себя надеялся, что они поднимут Матюшу и, не торопясь, пойдут по реке лодка за лодкой? Однако сейчас, когда он глядел на Прохорцева с этой его беспощадно выставленной вперед челюстью, ему вдруг стало ясно, что не стоит об этом и речь заводить, ничего не выйдет. А одному уехать...

— Н-неловко как-то...

— А ну, Сеня, раз ты у нас теоретик, объясни товарищу, что на самом деле неловко!..

— Неловко штаны через голову надевать! — Финкель загнул один палец и смотрел на Прохорцева, готовился загнуть другой. — И...

— ...И делать в почтовый ящик, — закончил Прохорцев. — Все остальное — ловко.

— Как ты его бросишь?.. Еще что-нибудь тут с ним...

— С Матюшкой? — удивился Прохорцев. — Давай на спор. Шапку с него сейчас сьем, а кожух пусть... А потом выедем на середину реки, толкнем в воду, и я его долбану веслом по башке. А через неделю поплывем мы с тобой в Осиновое, а он будет стоять около ларька, водку жрать...

Котельников долго покачивал головой, посмеивался, а Прохорцев все глядел на него твердо: не так, мол, что ли?

— Может, размяться? — предложил Финкель.

Несмотря на большой свой живот, Прохорцев ловко перемахнул через борт.

— Доставай тогда.

На носу лодки они раскрыли полированный, с красивой медной ручкою наверху погребец, который вытащил из багажника Финкель, и Котельников, много слышавший об этом погребце, придвинулся посмотреть.

Половина его, разделенная на ячейки разной величины, обклеенная зеленым сукном, служила для приборов, в другой было устроено что-то вроде походного холодильника.

— Попили за углом, хватит! — Прохорцев достал оплетенную черным серебром, с вогнутыми стенками посудину с чем-то зеленоватым, на крышке погребца расставил тускло блеснувшие, тоже серебряные, стопки. — Зубровочка. Сам делал. Люблю травки собирать...

Финкель на крышке холодильника на тонкие ломти резал темно-бордовое копченое мясо.

— Тебе наливать, Игорь? Или все еще — сухой закон?

— Сухой закон пока.

— Ну, я тебе усы помочить. Чтобы запах не забывал. — Прохорцев нагнул бутылку, и за коваными цветами из серебра, за дорогим стеклом опять колыхнулись тонкие светло-зеленые стебельки. — А тяжело не пить? Скажи честно? Я б, наверно, не вынес... Вот сейчас выпил бы ты и сразу или бы вместе с Матюшей, обнявшись, в лодке лежал или выкинул бы его к чертовой матери, и дело с концом! А так гляди на его харю, любуйся!..

— Что верно, то верно.

— Ну, на закуску навались. Это тебе не запретили? Хотя это хорошо. Люди добрые лосятилкой поделились, совсем свежая, — и выставил живот так, словно держать крошечную серебряную стопку нужна была большая сила. — Давай, Семен! За то, в самом деле, чтобы нам завязывать не пришлось. Будь здоров, Игорь!

— Спасибо, и ты будь.

— Я тебе советую, навались.

Мясо вкусно пахло ивовым дымком, и он подносил к носу ломтик, дразнил себя этим, с голодных послевоенных лет любимым запахом, но есть почему-то не ел, хоть голод уже давал себя знать. Посматривал на Прохорцева с Финкелем: один, запрокинув тяжелый подбородок, маленькими глоточками пил истово, а другой опрокинул быстренько и снова заулыбался.

— Лось, видно, совсем молодой.

— А кто ж его, старого, будет брать? Старый пусть подышает свою смертью... Ты почему не ешь?

Оба они, облокотившись о высокий борт водомета, стояли спиной к реке и обернулись теперь, глядя, куда это смотрит Котельников.

Сверху скопом неслись семь или восемь лодок. Стука моторов пока не было слышно, но по тому, как взметывалась около носа вода, как одинаково низко клонились вперед сидевшие за рулем, как укрывались от ветра остальные, в молчаливом этом стремлении чувствовался азарт, и все трое, стоявшие на берегу, долго не отрывали глаз от этой гонки.

Теперь вся эскадра шла мимо, и в построении ее уже виделся как бы свой, особый порядок. Когда лодки уже пронеслись дальше, ветер донес до берега напряженный гул, и Финкель с восхищением сказал:

— Как скоростные истребители идут, черти!

Проخورцев уже складывал стопки в погребец:

— А так и есть. Скоро все истребят. Нам с тобой ничего не оставят.

Котельников кивнул вверх, где из-за поворота вынеслась еще одна точно такая же эскадра:

— Бедная рыба!

— Обогащаться идут! — Проخورцев продолжал скагивать свою самобранку. — Значит, пошла рыбка вниз.

— Быстро они разнюхали!

— А что ж, телефона на Мутном нет? Двадцатый век! — Проخورцев захлопнул крышку погребца и осторожно подвинул к Финкелю, который уже взобрался на нос. — Давай, прячь. Поехали. А то, пока обернемся, и в самом деле только на разбор шапок и успеем. — И опять повернулся к Котельникову: — Понимаешь, забыл подписать одну бумаженцию, а завтра в банк... Ну, так ты что решил?

— Д-да нет, пожалуй. Спасибо.

— А то смотри. Через час ты на пристани, а еще через четверть — уже дома, там машина ждать будет. — Проخورцев стоял напротив Котельникова так, словно только что сильно ударил его большим своим животом, и по глазам было видно, что он такой, да, он и еще посильней ударит. — Ну, наше дело предложить. Сосед как-никак! Смежничек! — Глаза у него не то чтобы потеплели, а только слегка оживились. — Я вот Финкелю только что рассказывал, как однажды продал смежничку елку за сто тысяч... Не веришь? Это когда впервой с ними прижали, рубить запретили. Приезжаю к нему тридцать первого, а он сидит грустный. Ты чего? Без елки, говорит, остаюсь. А подкинешь, говорю, на план? Будет тебе сейчас елка! Гляжу, ожил. Сколько? А давай — сто! Сам за телефон: так и так. Елку, что у меня в кабинете, — срочно к такому-то! Что ты думаешь — с премией были! — и перекинул свой живот через борт. — Будь здоров, Игорь!

Котельникову мучительно хотелось домой.

Зачем он с этим алкашом, и в самом деле, связался?

— Будь, Петр Андреич!.. Счастливо!

Ему захотелось тут же подойти к Матюше, тряхнуть за плечо... Но он только смотрел, как в грохоте и брызгах стремительно уходит от берега стальной треугольник Проخورцева. Интересный человек этот Проخورцев! Все у него, как всегда, крепко сбито, все подогнано, все четко, на всех наплевать — и ни в чем никаких сомнений... Такой счастливый характер? Или дело в другом — в том, что любое из этих сомнений он может тут же запить своею зубровкой?..

Он был начальник управления сантехников, и кто-то на Авдеевской пустил о нем: главный хам-техник.

И люди у него были под стать, это передается. Когда они приходили на площадку, ухо надо было держать остро: или все к шутам тебе покорежат, или засыпят землей — лишь бы только сделать свое. Начальник электромонтажа Ведерских как-то недавно сказал Котельникову: «Знаешь, сколько нашего добра Проخورцев похоронил на конвертерном? Я подсчитал: одних электромоторов — двадцать два...» А если подсчитать все?

А странно, подумал Котельников: сперва где-то перетряхивают планы, берут дополнительные обязательства, из кожи лезут, чтобы собрать эти электромоторы, потом получают за них премию наконец, а тут Проخورцев, который тоже принял обязательство — построить конвертерный в три раза быстрее, — сталкивает электромоторы в траншею, засыпает землей и тоже получает премию, а как же — за досрочный пуск!.. Богато, подумал Котельников, живем!

Прежде чем растолкать Матюшу, он достал у него из кармана бутылку, сунул под клапан своего рюкзака, и это незначительное само по себе событие стало предметом почти незагигающего разговора, который они вели потом, когда опять плыли.

— А ты, Андреич, аккуратно ее поставил? — в который раз уже, близко наклоняясь, кричал Матюша.

Котельников кивал, но это Матюшу не успокаивало:

— Не перевернется?

— Да нет, нет!

Матюша вздыхал и тянул шею, вглядываясь в реку, но через минуту опять приступал с допросом:

— А ты давно на ее глядел?

— А чего б я на нее глядел?

— Ну, как? Чтоба не перевернулась... Она хорошо стоит?

— Чудак человек! Чего волнуешься?

Матюша замолчал, но внутри у него, видно, что-то так и не утихло ни на миг, так и бродило, не давало ему успокоиться. И его опять прорывало:

— А ты, Андреич, интересный, я и не знал... Чего ты, грит, волнуешься? А?! Это еще надо в таком разе поглядеть, кто из нас чудак, а кто не чудак!

И глядел на Котельникова так, как будто тот обижал его в лучших чувствах... Нет, прав, что там ни говори, тысячу раз прав Проخورцев!

Проплыли мимо большой когда-то деревни Ерунаково, около которой выходит к воде толстый угольный пласт, и Котельников долго глядел на этот черный обрыв, добро людям! Ерунаковцы дров на зиму никогда не запасают, зачем — топливо у них всегда под боком. Кто за ним ходит сюда, на реку, а некоторые, говорят, копают потихоньку прямо у себя в подполье... Персональная шахта у каждого, вот что значит Сибирь-матушка!

Правда, и это не удержало людей в деревне — вон сколько по взлобку заколоченных домов... Да только небось и это ненадолго: придут и сюда строители с шахтерами, начнется тут иная жизнь.

— Слышь, Андреич? А может, пока ты смотрел, было хорошо, а закрыл рюкзак, она и первернулась?

Он взмолился:

— Матюш! Ты можешь о чем-нибудь другом?

— Ну, об чем другом-то?.. Об чем? Я тебя как человека, а ты...

Ветер опять усилился, пошел снег. Сперва мелкий и жесткий, он на глазах становился все крупней и пушистей, и Котельникову любопытно было на это смотреть — таких разлапистых и полновесных снежинок, пожалуй, не видал он давно. В круженье их было что-то от праздника, от Нового года, и он, вконец продрогший, опять вспомнил о своем теплом доме... Подумалось вдруг, что самое лучшее в этих его поездках — возвращение, первые часы после него, первые минуты, когда ты с влажными волосами, распаренный, выходишь из ванной, и к тебе бросается терпеливо ожидавший за дверью Ванюшка, за палец ведет тебя к тахте, усаживает, устраивается у тебя на коленях, а ты сидишь в толстом халате, вымытый, прихлебываешь душистый Викин чай, а рядом она сама и рядом Гриша, рассказывает, как там у них, в планерном кружке, дела, телевизор что-то показывает, но никто его не смотрит, сегодня он сам по себе, а им хорошо и без него...

За спиной у Котельникова что-то далеко и глухо ударило раз и другой, он обернулся, и лицо его обожгло ледяным ветром, залепило снегом. Впереди стало ничего не видать, только в непрерывном мельтешенье словно наметился какой-то свой порядок, каждая снежинка летела теперь не сама по себе, а была нанизана на длинную нить рядом с такими же другими, и эти туго натянутые гудящие нити сплошным потоком стремительно неслись над рекой.

Матюша теперь то держал ладонь козырьком, шурился, то покачивал головою и вытирал глаза, и лицо у него впервые за время пути стало не то чтобы потрезвевшее, а даже, кажется, озабоченное.

— Что, Матюша, совсем зима? — подбадривая, прокричал Котельников.

— Заряд!.. Слышь, Андреич? Как бы нас...

Вверх по реке опять словно хлопнул гигантский парус, тугой и тяжелый удар тут же повторился, и гулкий поток метели сломался раз и другой, бросился было вбок, но тут же восстановился опять, еще более прямой и стремительный.

Где-то неподалеку раздался треск, Котельников невольно вскинулся и посмотрел на Матюшу.

— Дерево сломало! От так еще в воду с кручи швырнет...

Только теперь Котельников различил вблизи затаенный пеленою высокий берег, это его обрадовало, но Матюша уже отворачивал от него.

— Придется напересек!

Котельников чувствовал, что они проходили большое плесо, что была середина реки, когда в борт около носа так стегануло, что лодку крутнуло, подкинуло и за кормою на миг слышны стали холостые хлопки винта...

Сердце у него ударилось, забилося чаще, и он сидел притихший: этого еще не хватало, чтобы опрокинулись на середине реки. Подсознательное чувство тревоги, которое невольно поселяется в каждом, кто садится на такой реке в лодку, прорвалось теперь; ему стало тоскливо, и, когда под ногами у него шевельнулась собака, он вздрогнул и только потом, когда понял, в чем дело, благодарно положил озябшую ладонь ей на голову.

«Не ограничивай себя, не лишай прелести поддаться порыву или какому желанию, все взвешивай, но никогда не думай долго о последствиях — ты здоров, ты такой же, как все». Плыть на этой старой посудине с нетрезвым Матюшей он решил, в общем-то, вовсе не потому, чтобы выполнить эту заповедь Смирнова, но такое было — ему хотелось что-то самому себе доказать... Или рано — такие эксперименты? Держись, сказал он себе, теперь держись!

Их опять ударило ветром и резко качнуло.

— Токо одна собака и выплывет!

Подняв глаза на голос, Котельников увидел, что Матюша смеется.

— Слышь, Андреич? Одна, говорю, Тайга!

Котельникову давно хотелось сказать ему, что стоило бы пристать к берегу, подождать, пока промчится заряд и над рекою утихнет, но он ведь теперь был как бы с двойным дном в душе, Котельников, — то, что, будучи здоровым, решил бы раньше, не задумываясь, теперь он слишком тщательно взвешивал и часто подходил к себе, пожалуй, со слишком строгими мерками.

Лодка обо что-то ударилась, и он опять вздрогнул и напряг спину.

— Ну йё к черту! — весело кричал Матюша. — Куда нам, Андреич? Обождем!

Они причалили к берегу.

На крошечной опушке рядом с невысоким обрывом тяжело поскрипывали вековые осокори, ветер остро свистел вверху, и сквозь метель видны были подрагивающие, все в одну сторону загнутые кроны.

Около одного из деревьев Котельников сложил весь их скарб, рядом бросил телогрейку, и они с Матюшей сели, прижавшись друг к другу мирно, словно дне озябшие птицы.

— Холодюка, Андреич?

— Да не сказал бы, что жарко.

— Жаль, что тебе выпить нельзя. А мне дай чуток? Оно, знаешь, как на моторе мерзнешь...

И таким это было сказано мягким, таким задушевым тоном, что Котельников только вздохнул:

— Ты немножко.

— Капельюшечку!

— А то ветер уляжется...

— У-у, протрезвею! Это мне раз плюнуть... О!.. О!.. Да тут и осталось-то! Совсем маненько. На донушке.

Как раз на один раз.

Котельников сидел, глядя, как белые нити пурги прошивают пустеющий лес, только невольно чувствовал, как поднимает Матюша бутылку, как жадно шевелит потом толстыми и длинными своими, похожими на воронку, губами.

И вдруг метель упала, все кончилось, только ветер еще затихал вдали, уносился, как скорый поезд. Сверху, кружась, падали листья, ложились на заметенную снегом траву. Как трещины на старой картине, чертили светлое небо черные ветви осокорей, и по напряженной голубизне его было видно, что вот-вот брызнет солнце.

В белых нетронутых берегах глухо катила темная река, и каждая пихта за нею на крутизне была с одного бока облеплена снегом.

— Я, пожалуй, костерок разведу, — глянул Котельников на Матюшу.

— Ага, чуток погреемся...

Посреди поляны он сделал шалашик из сушняка, запалил и чуткая тишина вокруг стала потрескивать, в продуктом, хмельном от осенней свежести воздухе остро запахло горьковатым дымком.

Матюша подошел к костерку с гармошкой, сперва, приподняв протез, наклонился, положил ее на землю, сел сам и одну ногу, чтобы удобней было, просто подвинул, а другую переложил руками.

— Хоть бы что-нибудь, дядь Матюша, подстелил...

Матюша не ответил, только ладил гармонь, опять задирает подбородок. Знакомо хрипнула гармошка, опять ранила:

А двадцать второго ж... июня!
Ровно... в четыре часа!
Киев... бонбили, нам... объявили!
Что началась война!

Котельникову почему-то показалось, что пойти за телогрейкой неудобно, он тоже опустился у дымившего костерка так, без ничего, обхватил руками колени.

Увы, друг мой!..
Пишу я вам левой рукой!

А он ведь уже и забыл было, Котельников, что есть у этой песни и такой припев:

Бонба упала! Кись оторвала!
Почерк испорти-ла мой!

И в том, как Матюша под хлопающие звуки тальянки старательно коверкал слова, тоже будто была своя, особая боль.

Опять Котельников вспомнил старшего брата. Микробиолог с плечами грузчика... Как он там? Только недавно, уже как будто заново оценивая все в жизни, Котельников вдруг понял, как это непросто: сперва без всякой помощи закончить институт в Москве самому, а потом, когда у тебя уже есть семья, помогать младшему брату. Перезнакомил его тогда со всеми бригадирами на товарных станциях и в Южном порту, и у Котельникова-младшего к пятому курсу тоже была шея борца... А брат, бывает, грузит до сих пор — вместе со своими студентами. «Понимаешь, Игоряха, сейчас есть много способов заработать в одиночку, но хочется, чтобы хлопцы уважали именно этот — артель!»

Вика молодец, матери ничего не сообщила, зато брат приезжал, пробыл около Котельникова неделю, — жаль, что он тогда еще не пришел в себя. Вика спрашивала потом: «Это что у него за такая блатная поговорка: дожиди Расея... Почему Расея?.. Дожила Расея — калеки с сиротами дерутся!.. И почему — сироты?» — «Ну, так она звучит, — улыбался Котельников. — Никакая не блатная... Наша с ним».

Значит, до сих пор тоже помнит брат; наверное, без стыда уже и без гнева, а так вот — сердцем, раненным когда-то войной, памятью, в которой главное — не личная твоя беда — беда общая...

Вздохнувший Котельников снова почувствовал острую свою вину, в которой несколько лет назад мягко укорил его брат: почему он ни одного из сыновей не назвал именем погибшего их отца?.. У самого у него, у старшего, были три дочери.

Матюша оборвал песню, сказал так, словно давно уже собирался, и вот его наконец прорвало:

— Все перед Иван Лукьянычем виноваты... все-е!

Котельников очнулся.

Голос у Матюши звучал вызывающе, и он невольно спросил:

— Почему — все?.. Почему — виноваты?

— И Алекса Байдин, и Серега Маханов, и Никола Севергин, его, правда, самого потом убило, — положив кисть на мехи тальянки, Матюша загибал пальцы. — Костюшка Чернопазов... Кто там еще был? Да все наши! Кто тогда хреновину эту придумал?

Котельников только плечами пожал: не понимаю!

— Всех вместе брали, — Матюша разогнул крючковатые свои пальцы, выставил худую руку. — Землячество... Так и служили. Минометчики... Ну, мы помоложе, вроде еще ребята совсем, а Иван Лукьяныч, Ванька тогда... Ваня. Он постарше был, у него тогда уже два сына... Ну а мы каждый раз смеяться с него. Не то чтобы он прятался, слышь, Андреич?.. Он и не прятался никогда. А так, вроде зря не хотел рисковать. Лишний раз не подымал голову, когда били... А потом сидели в обороне, скучно... В карты играли. Молодые... Он на двор вышел, приспособился подальше, за кустиком... А ночь лунная, все как на ладони. Мы тоже вышли, а кой-то из нас... вот, бог его знает, и в самом деле — кто? А стреляли потом Никола Севергин да Серега Маханов, а я только мину им подал...

— Куда стреляли?

— За кустиками видно же... Так, метров, не знаю, сколько, ну, рядом. А давай его попугаем?.. А оно, видишь, как назло, всегда бывает... всю жизнь без ноги.

— Да ты что, Матюш? — Котельников даже привстал.

— Я тебе говорю, — Матюша всхлипнул. — Д-ду-маешь, самим потом не жалко?..

— А он узнал?

— Не-а. Кто ба ему сказал? Договорились сразу... Ну, и кто остался живой, помогали ему всегда. И по хозяйству, и так... Незаметно вроде. Серега Маханов, правда, с Мутной уехал, а я, видишь... то детей много, а то... Он любил меня, туфли всегда покупали вместе, а это вот в душу как взошло... Надо плысть!

Снизу шел холод. Разом ощутивший его Котельников перевалился на бедро и оперся на руку, а когда опять взглянул на Матюшу, тот пил уже из новой бутылки.

— Откуда у тебя?

— Хо! — Голос у Матюши опять был дурашливый. — А ты думал, это уже и все? Не-а! Слышь, Андреич? Мне тут подвезло. Не было бы несчастья, дак... Штаны искал, да и нашел деньги, что от меня змея эта прятала!

Котельников встал, пошел к обрыву.

Долго стоял на берегу, смотрел на реку. Когда он обернулся, Матюша спал у догоравшего костра, а рядом с ним, вытянув морду на передних лапах, лежала рыжая собака, смотрела на него большими, навывкате глазами.

Котельников опять глянул на пустынную реку, потом обернулся, повел глазами по кронам почти облетевших осокорей, с которых продолжали неслышно падать последние листья, посмотрел в небо, едва заметно окрашенное на том берегу размытою предзакатной зеленью, потом снова увидел качнувшуюся на черной воде старую, с лужицей около кормы мокрую лодку, глянул на этот холодно застывший, одинокий на ней мотор, и ему, как это иногда бывает, стало вдруг удивительно: зачем он тут?.. Как он сюда попал? Почему не уехал с Прохорцевым?.. И кто для него Матюша — этот жалкий пропойца? Почему они вместе?

И откуда-то из глубины, когда он так спрашивал себя, медленно явилось высокое и отчего-то горькое для него сейчас старинное слово: с о о т ч е с т в е н н и к.

К заводу они подплыли, когда уже стемнело. Закат догорел в ясном небе, но луна еще не взошла, и в этот первый после сумерек час кругом было особенно беспросветно, почти черно.

С берега уже накатывал тошнотворный запах очистных. Выхватывая из кромешной тьмы то серый бок бетонного корпуса, то графитную, в переплетении конструкций стальную тушу, здесь и там возникали неслышные сполохи, поднимался иногда, облизывая закопченные крыши, багровый, с языками пламени дым, потом игра этих отсветов с тенями прекращалась, и одинаковым кроваво-красным цветом рдели и полоски неостывшего шлака на отвале, и дальше за ними, выше, — гроздь сигнальных огней на трубах.

— Слышь, Андреич? — наклонился Матюша в темноте. — Это сколько еще переть до города? Так мы сегодня не дойдем, не видно ни черта...

— А если оставить лодку да на автобус?

— А где ты ее оставишь? Людей знакомых нету. В Шороховой есть свояк. Давай в Шороховую?

Шорохово не устраивало Котельникова, потому что было на другой стороне, — как потом оттуда домой?

— Нет уж, давай тогда до Авдеевской пристани. Там и лодку можно оставить сторожу...

— Можно-то можно, а как туда доплывешь? Где-нибудь к черту повернемся...

— О чем раньше-то думал?

— Дак вот! — Матюша замолчал, но не выпрямился, все смотрел на Котельникова, словно хотел хорошенько разглядеть его в темноте, а когда заговорил опять, голос у него был задушевно-мягкий. — А ты, значит, для Матюши заначил бутылочку?

Котельников не распространялся — уже надоело.

— Где?

— В кармане топырится. Четок.

— Колоколец!

— Колоко-олец?.. А на черта он?

— Нужен.

— А я думал, решил под конец пути уважить... везу все-таки!

— За тобой не поспеешь. Уважить тебя.

— Ну, слышь, Андреич, давай ночевать в Шороховой?

Великий человек этот Прохорцев!

Река вдруг до предела сузилась, с обеих сторон потянулись высокие, одинаково ровные берега, и Котельников, приглядевшись, различил бурты гравия.

— Ты куда?

— А спрямим... тут ближа!

И раз и другой повернули в кромешной тьме, вода стала спокойнее, а темные бурты по бокам еще выше, потом за острым хребтом одного из них посветлело, сквозь стук лодочного мотора Котельников различил где-то рядом пофыркиванье экскаватора.

Лодка круто повернула, их залило ярким светом, рокот экскаватора ударил рядом. Матюша что-то заорал и выключил мотор. Котельников схватился за шест, лодку качнуло с борта на борт на маслянистой, залитой прожекторами воде, и он, резко нагибаясь, успел и раз и другой оттолкнуться, а потом рядом что-то тяжело плюхнуло, их обдало водой и подкинуло, и, приседая и хватаясь за борта, Котельников понял: ковш!

Экскаватор тоже смолк, с берега понеслась яростная ругань.

Матюша судорожно дергал за шнур:

— Гребись, гребись! Уходить будем!

О борт что-то глухо стукнуло.

— Ты брось кидаться! — крикнул Матюша в темноту — Не видишь, люди случайно!

Мотор наконец затарахтел, они медленно уходили за поворот.

— Понарыли! — орал Матюша, словно кому-то грозя. — Ишь...

Потом они выбрались на простор, пошли мимо каких-то стоящих в воде бетонных опор. Слева и справа низко над водой полз туман. Котельников ощутил, что заметно потеплело. Или потому, что поработал шестом да веслом, что поволновался?

Лодка ткнулась в берег.

— Ну, вот, посиди, Андреич, а я сбегаяю. А то не догадался для меня взять.

Тяжело опираясь на Котельникова, перелез через скамейку, покачиваясь, пробрался на нос, долго возился, пока вылезал из лодки, и, вихляя, заспешил в темноте наверх, где слабый свет поднимался над углом рубленого дома.

Сволочь, думал Котельников. Мучитель. Как дать сейчас, в самом деле, шестом по башке. Или плюнуть на все да и уйти сейчас, пока его нет?.. Это Мокроусовские карьеры. Около магазина есть остановка поселкового автобуса. Наверняка стоят машины, в которых пригнали за водкой со стройки, тут все ее берут — ближе, чем до посёлка... Закроется магазин, можно будет дойти до поворота, уехать на любом самосвале, который пойдет из карьеров... да ведь не в этом дело. Или эта сволочь знает, что Котельников его не бросит, потому и пьет?.. Обоих чуть не прибило ковшом. Или он один держался бы? Черта с два он держался! Но теперь поздно, надо было уйти днем, надо было с Прохорцевым уехать на этой сумасшедшей его машине... А куда он теперь, этот алкаш, — один?

Стало жарко, он снял варежки и расстегнул пуговицу под горлом, приподнял толстый воротник свитера.

Над заливом курился плотный влажный туман.

Ему захотелось маленько ополоснуть лицо, он опустил руку за борт. Вода была теплая, почти горячая... Водосброс! Он не знал, что в Томь идет такой кипяток. Или у них опять что-нибудь не клеится? Горит план?

Он снова наклонился, пошевелил в воде пальцами, повел ладонью, и рука его наткнулась на что-то вялое, но живое. Отдернул руку, но потом снова опустил, пошарил в воде, взял под брюхо большую рыбину, приподнял.

Щука была! Медленно и слабо, словно последним усилием, она выгнулась у него в руке, и он бросил ее обратно, пополоскал пальцы, вытер о полу телогрейки.

Это, с рыбой, так потрясло его, что он еще издали сказал спешившему с пригорка Матюше:

— Тут рыба, слушай!

— Заплывает! — ласково сказал Матюша. — Мы же заплыли? А почему ей-то не заплывать? — Долго опять пробирался на свое место и, пока Котельников отталкивался шестом, все говорил, говорил, опять задушевно, дружески. — Они на заводе, бывает, какую-то гадость выпускают, знаешь, тогда ее сколько, рыбы? У меня другой свояк — ниже живет, уже проехали. Дак он уже ждет. Как увидал, вверх брюхом плывут, на лодку, и давай. Какую сеткой, какую сачком, а то и так, руками прям. Полну лодку! Свиной кормит, знашь, Андреич, они её едят!

Снова стучал мотор, поворачивались горы гравия, фыркал за ними экскаватор, глухую темноту над острой хребтиной высокого бурта остро резал опущенный вниз конус безжизненного света, безмолвно помаргивали вдалеке холодные слепые сполохи.

К запаху очистных прибавился теперь тухлый дух коксохима, и к измученному долгой дорогой Котельникову опять пришло ощущение нереальности всего вокруг... С кем это происходит? Зачем? Где?..

Душа потихоньку ныла не только от тоскливого сознания, что, переверни Матюша лодку, ему придется тащить его из воды, — к ней уже тревожно подступали обычные для него ночные раздумья... Куда он, Котельников, так стремится?

Ему показалось, поймал в себе что-то тайно промелькнувшее... Может быть, в самом деле? Потому только

и поплыл он на лодке, что Вика его сегодня не ждет? Потому и к Прохорцеву не пересел, с Матюшей тащится, чтобы прийти домой уже ночью и, может быть, тут-то во всем и убедиться. Ну, нет, сказал он себе, нет, этот номер у тебя не пройдет!

— А до Шороховой, говоришь... далеко?

— Да ну, с полчаса еще. По темному.

— Давай в Шорохово.

Они уже вышли на реку, и луна над подступившим к берегу лесом бросала на воду бледный и ломкий свет. Где-то там, в непроглядной тьме, где-то позади, уже будто в прошлом, осталась эта фантастическая граница, где, как два начала, каждую минуту, каждый миг борются построенный ими стальной завод и этот пульсирующий вокруг него живой мир...

Белая, с синими тенями луна напомнила Котельникову, что недалеко есть другая земля, там, где живое пока непобедимо.

Он вдруг подумал, что из-за того, что он уехал, бабушка, наверное, уже утопила остальных щенят...

Мотор стучал ровно, и, кроме него, ничего не было слышно, кроме него, была тишина.

Душа у Котельникова ныла... Зачем он тут? Зачем поплывет в незнакомую эту деревню?

Маленький зеленый самолет из детства опять неслышно снижался над темным лесом...

Котельников побежал за ним, проводил, и проводил затем другой точно такой же фанерный самолет, и ждал, пока над верхушками деревьев станет снижаться третий...

Неслышно раздвигалась, отлетала назад вспоротая моторкой тугая и темная гладь реки, и он подумал, что так же стремительно уносится — секунда за секундой — неумолимое время. Безмолвно останется позади, как эта река, и ни единый миг не вернется потом, не повторится... А может, подумал он, ничто не исчезает бесследно, все остается, все остается в нас навсегда, и каждый отлетевший миг переходит в другое состояние, в память о былом, и прошлое лишь обращается в наши будущие раздумья?.. Матюша что-то буркнул, но Котельников промолчал, и тогда он буркнул еще.

— Что-то сказал?

— Не-а! — наклоняясь, Матюша радостно растянул свои длинные губы. — Пою!

5

И были потом совсем другие места, и был другой день...

Остальные еще ставили в угол ружья, еще снимали рюкзаки, расстегивали патронташи, а он уже вошел в избу, остановился, раздеваясь, у вешалки.

В проеме двери, ведущей в горницу, и раз и другой мигнула керосиновая лампа, потом показался двумя полотенцами размахивающий пасечник, и Котельников перестал стягивать резиновый сапог, выпрямился.

— Ты что это, Василь Егорыч? Никак мух?

Боком стоявший к Котельникову пасечник перестал размахивать и, держа полотенца на весу, слегка наклонился, отчего светлая его, аккуратным клинышком бороденка отделилась от серого, в полоску дешевого пиджачка и тоже повисла. Повел ею, глянул на Котельникова искоса:

— А ты, Игоречек, ничего не чувствуешь? А ну, шмыгни-ка носом, шмыгни!

В просторном пасечниковом доме, в который он перешел уже в конце лета, все еще пахло свежей краской и подсыхающим деревом, но эти запахи еле угадывались за другими — за прочными, за густыми запахами теплого, сытого жилья.

Котельников перестал принохиваться и покачал головой:

— Зайца ты, Василь Егорыч, готовишь... Тебе в ресторан надо — талант пропадает!

Тот затряс головой, будто его душил смех:

— Ой, Игоречек!.. Уедешь, как без тебя останусь? То хоть пошутить с кем...

— Какие ж тут шутки?

— А кроме... ничего? — посерьезнел пасечник.

— Вот те крест!

— Ну, значит, выгнал дурной дух. — Одну за другой он захлопнул в горнице форточки, полотенца повесил на дверь, а потом подошел к Котельникову сбоку, и тот, знавший уже об этой повадке пасечника говорить в самое ухо, не стал поворачиваться к нему, а только слегка наклонил голову. — Представляешь? — совсем негромко спросил пасечник, и в тонком его голосе прибавилось доверительности. — Я тут отлучился, захожу потом — что такое? В избе хоть топор вешай, да еще не какая-нибудь вонь, понимаешь — особенная... Гляжу, а в уголке — Пурьскин. Без меня пришел и спит в потемках, как домовый...

— Это кто такой?

— Не знаешь его? Ну, чтобы побродяга, сказать — не побродяга, а так — путного мало. Зряшный старикашка. Без фундаментов. Всю жизнь по тайге. То охотился, то геологов водил, а бумажек никаких не сохранил... Пора на пенсию, а стажа нету — только тогда и кинулся. Заключил с промхозом договор да ходит теперь, вот уже лет десять, по здешним местам, соболует. Все пенсию себе заработать хочет, думал, так оно ему просто... Настасья моя его привлекает, вот он тут и толкется... Я теперь — нюх-нюх. Ты что это, говорю? А он: а рази слышно? Чего ж не слышно, если дверь, говорю, воню было не вышибло! А он прошлым летом сусликов

наловил да в земле целый год гноил их, приманку готовил. За соболишкой теперь собрался, в бидончик этого добра отложил, а бидончик возьми да потеки... В мешке все перепачкал, а потом и на телогрейку, и на штаны. А он, старый пень, хоть бы тебе что. Рази, говорит, слышно?

Котельников снова принялся и пожал плечами: да нет, мол, запаха — и в самом деле.

— Ну, вот, а я чуть с ног не пал, когда вошел — пожаловался пасечник. — Давай-ка, говорю, Пурыскин, отсюда! Давай. Ко мне люди, понимаешь, такие приехали — большие, можно сказать, люди. Один управляющий треста. Другой профессор. Академик, можно сказать. Не хватало им, говорю, в компании — смердюка...

За дверь глухо забубнили, застучали сапогами, потом она открылась, впустив разом и гвалт и гогот:

— Неясная фамилия, слушай, — Погорелов, нет, неясная!..

— Надо так прямо и указывать, на чем — Погорелов.

— Ну, да: предположим, Погорелов — на выпивке!

— Братцы, и зачем только Котельников вперед рвался? Говорил, на стол собирать, а теперь стоит себе, лясы точит...

— Я думал, он тут успеет сообразить быстренько закуску, да каждому у порога — по стопочке!

Пасечник подмигнул хохотавшему Гаранину:

— А хоть есть, Порфирыч, за что?

— У-у-у! — загудел Гаранин, и длинное лицо его еще больше вытянулось. — Много у тебя рябка — не ожидал. Можно сказать, уважил.

— Был бы он, если бы не Василь Егорыч. — Уздеев стаскивал свитер и, вынырнув из него, опять поглядел на пасечника. — Так, Егорыч? Два дня небось с лошадки не слезал, табунки сбивал...

— И зайцев привязывал, — добавил Гаранин.

— Зайчишек, да, — затряс аккуратною бородкой Василь Егорыч. — Зайчишки в этом году страсть в наших местах, нынче можно попривязать.

— Ты, Егорыч, давай мне сохагого! — нарочно строго, как на оперативке в тресте, потребовал Гаранин.

— Да что ж? И его можно, если поднатужиться...

— Вот и поднатужься, — словно разрешил Уздеев. — Что ж ты, зря, что ли, каждый день тут мед пьешь и медом закусываешь?

— Беда! — вздохнул пасечник громко. — Не берет меня, Славик, мед! Не в коня корм, как говорится. На других пасечников поглядишь, голый на снегу переспит, луженую спанку после себя оставит, и хоть бы что — ни воспаленья тебе, никакой другой хворобы... Так мед в нем играет.

Уздеев приподнял ладонь:

— Медовуха!

— А я как был смолоду скелет... Вот загадка! Не дает он мне сил, да... В чем дело?

Котельников выбрал момент:

— Так вы куда — деда?

— Пурыскина?.. А в зимовейку наладил, пусть там ночует. Печурка есть. Сидит в исподнем, штаны сушит...

Все в компании были старые приятели пасечника, знали его лучше, чем знал Котельников, но теперь он прожил тут почти неделю, а остальные, как и договаривались, приехали нынче утром — на субботу да на воскресенье, — и потому Котельников был сейчас как бы за старшего, всех опекал и обо всех заботился.

Погромыхивал сосок рукомойника, падала в таз вода, и друзья его из рук в руки передавали мыло, отбирали друг у друга полотенце, кто с расческой, а кто без нее теснились напротив висевшего на стенке небольшого зеркала, поправляли воротники измятых под свитерами да под телогрейками рубашек, ладонями приминали вихры, растопыренною пятерней оглаживали слежавшиеся под тесною охотничьей шапкой волосы, а Котельников то и дело спешил мимо них то с железной чашкой отборных, с детский кулачишко соленых груздей, а то с налитой янтарем четвертью медовухи.

Они, конечно, не могли не задевать его:

— Дождемся мы, в самом деле, когда этот тип накроет, или нет?

— Сразу видно, в ресторане товарищ не работал — не та сноровка...

— Да он и на конвертерном не больно торопился.

— Ну, как же, а говорят, даже особое понятие родилось: эффект Котельникова.

— Так это совсем не то!

— Ты думаешь, товарищ Котельников, мы шутим? Жрать хочется — страсть!

— Ничего-ничего, — он оборачивался на ходу, — выделайте-ка сок, выделайте!..

Сам он тоже порядком проголодался, но поскорей сестра за стол ему хотелось больше из-за того, чтобы собрать наконец вместе эту братву, по которой он тут соскучился, чтобы не торопясь на всех посмотреть да со всеми поразговаривать. Утром не до того: все заядлые охотники, спешили в тайгу, а там как разошлись, так и проходили порознь до вечера; близко Котельников видел одного Гаранина, в паре с которым охотился...

Но вот они наконец расселись за просторным и прочным круглым столом посреди горницы. Плотно потирает ладонями крупный, с серыми глазами и с заметно поредевшей за последнее время шевелюрой блондин — управляющий «Сталегорскпромстроем» Саша Гаранин. Чинно замер с ним рядом скуластый и широкоплечий Алешка, верный шофер и верный его оруженосец. Совсем невысокий и тоненький, мальчишка

мальчишкой, Толя Растихин, заведующий кафедрой из металлургического, профессор — тот самый, можно сказать, академик, — протирает очки, смотрит на стол, близоруко прищурившись, и от этого очень правильные черты его лица кажутся еще мельче, еще игрушечней. Ладно сбитый, всегда с уверенным и будто чуть насмешливым взглядом Уздеев глядит сейчас в потолок, всем своим видом показывает, что терпеливо ждет, пока ему поднесут, но он-то, великий любитель деревенских яств, как раз все уже давно разглядел — и обложенный крепкими, в пупырышках огурцами, на четыре части располосованный тугой вилок квашеной капусты, облитый запашистым подсолнечным маслом, и глубокие миски с творогом, влажным и ноздреватым, с густеющей, комками сметаной, с домашней кровяною колбасой, с только что вырезанным из рамки, еще не успевшим стечь сотовым медом... Рядом с Уздеевым горбился над краем стола Витя Погорелов, тоже начальник участка, из монтажников, — может быть, хотел стать хоть чуточку меньше? Роста Погорелов громадного, худой и мосластый, большое лицо его по-детски открыто, и стрижка у него странная, тоже как будто детская, но руки, руки... Когда подвыпьют да опять начнут над Погореловым подшучивать, Уздеев небось обязательно расскажет, как пасечникова жена, которая сейчас лечится в городе, однажды за столом попросила: «Ты, Витя, убери-ка пятерню, я, однако, тазик с пельменями поставлю...»

Прекрасная эта минута перед началом мальчишника где-то далеко от стройки, от надоевшей городской суеты, на утонувшей посреди глухой тишины таежной пасеке!

— С чего начнем? С медовухи или с беленькой?

— Давай с городской.

— С казенки... чтобы медовушка потом лучше легла.

— Она и так ляжет, не волнуйся!

Уже плеснули всем по половинке граненого, когда из кухни появился Василь Егорыч. Двумя руками держал просторный поднос из нержавеющей стали, на котором лежали ровненькие, по локоть, малосольные щучки.

— А ну-ка, люди добрые, найдется место?

— Фирменная! — Гаранин опять плотоядно потер ладони.

Уздеев снизу вверх глянул на пасечника, спросил вроде бы равнодушно:

— Добить хочешь?

Русая борода у пасечника торчит клинышком, но аккуратный клинышек этот — только один из многих, из которых как бы составлен Василий Егорыч. И голова у него клинышком, и рот, и даже глаза с опущенными посредине нижними веками, и вся фигура его — тоже неширокий, но острый клин.

На слова Уздеева откликнулся еле слышно:

— Да ну там, Славик... по бедности!

В руках у всех замелькали ножи. У кого на поясе не было, сбегал за персональным на веранду, где лежала вся амуниция. Лег перед каждым слегка погнутый с краев кружок белого щучьего мяса.

— За что, братцы?

— За удачную охоту!

С охотой им в самом деле повезло, Котельников тоже был доволен и до сих пор словно ощущал в себе какой-то неутраченный трепет. У них с Гаранниным все было, как в учебнике: тот оставался на месте, когда они вспугивали выводок, а Котельников шел загонять, и ни единожды не ошибся, всегда выходил точно там, где надо, но, удивительное дело, все рябки летели потом только на Гараннина, садились так, что стрелять было удобно только ему, а Котельников, с бьющимся сердцем, столько птиц проводил горевшими от азарта глазами, но выстрелить так и не выстрелил — не потому что не хотел, просто всякий раз было не с руки.

Правила игры таким образом были строго соблюдены: Котельников и отвел душу, и никого не убил.

— За удачу само собой, но давайте-ка сперва — за сюрпу!

И за нее, конечно, стоило выпить.

Сюрпою Василь Егорыч называл нехитрое, в общем, сооружение, при помощи которого он целиком перегораживал бежавшую под взгорком, на котором стояла пасека, крошечную речушку. Состояло оно из старых панцирных сеток, что привезли пасечнику со стройки, да громадной, метра на четыре длиною, верши, которую потом, когда в нее набивалась рыба, приходилось тащить из воды лошадкою.

Василий Егорыч признавался, что рыбалку не любит, на тех, кто ходит по берегу с удочкой, поглядывал всегда насмешливо, но плести морды из лозы был большой мастер, пору, когда начинала рыба скатываться, угадывал всегда безошибочно, и несколько крепких бочонков были у него всегда к этому времени готовы...

— Дельное предложение. За сюрпу!

Уздеев вдруг посмотрел на Котельникова, как будто что вспомнив, поставил свой стакан, быстро прошел на кухню и вернулся с чашкой молока.

— Шеф-повара своего чуть не забыли!

И каждый конечно, посчитал своим долгом с Котельниковым чокнуться, а потом они выпили, и кто стал заедать малосольной щучкой, и в самом деле отменной, а кто уже захрумкал огурчиком, захрустел тугою пилюсткой, все задвигали челюстями, замолчали сосредоточенно.

— Тихо, братцы! — поднял палец Уздеев.

— За ушами трещит? — откликнулся гаранинский Алешка.

— Точно!

И снова они навалились на эту некогда очень простую, но ставшую нынче божественной еду, а когда самый нетерпеливый закурил, Котельников решил, что все пошло своим ходом и ему теперь можно и

отлучиться...

Ночь наступала ясная, было еще довольно тепло, но залитые призрачным лунным светом низины, в которых уже плотно синел туман, дышали близким морозцем, стлыли за темной, студеной речкой ярко очерченные гребни разломов, и даже в тихом мерцании мелких поздней осенью звезд угадывалось приближение холода.

Котельников окликнул вынырнувших из темноты и ткнувшихся ему в ноги собак и медленно пошел к горбившейся невдалеке зимовейке. В единственном ее крошечном окошке плавал размытый свет, и он сперва грякнул цепкой, вроде постучал, и только потом толкнул тяжелую, давно осевшую дверь.

Печка горела ярко, и через трещины в раскаленной плите пробивались горячие отблески, помигивали на темном потолке. Напротив полураскрытой дверки, тоже игравшей широким отсветом, стояла просторная, крытая рядом лавка, а на ней, до пояса укрыв себя старым тулупом, сторбившись, сидел щупленький, в исподней рубахе дедок.

Котельников поздоровался, присел на край лавки:

— Не холодно, дедушка?

Тот сперва качнулся, пошевелил губами, только потом мягко сказал:

— Если бы всегда так, жить еще долго можно...

Среди запахов пойла, которое обычно варили в омшанике, да конской сбруи Котельников уже различил резкий, ни на что не похожий душок.

— Как же вы, дедушка, не увидели, что бидончик прохудился?

— А-а, это ничего. Попахнет, да и перестанет. Я вот думаю, другое плохо...

Дедок перестал покачиваться и замер, задумавшись.

Его густые, с частой проседью волосы и такого же цвета борода с усами были одинаково короткими — ничего он, видно, нарочно не отращивал, а просто равномерно зарос после давнего бритья и давней стрижки. От этого казалось, что и брови у него такие же густые и длинные, крошечных глаз под ними почти не было видно, и кротким, чуть таинственным обликом старики в самом деле напоминал домового.

— Ружье на меня обиделось.

Котельников переспросил от неожиданности:

— Ружье?

— Хорошее было. Не подводило никогда. А тут стал промахиваться. Один раз. Другой раз. Почему? А потом понял.

Котельников терпеливо ждал, пока он опять перестанет покачиваться.

— Старые люди говорили: никогда нельзя собаку из ружья бить. Испортишь. А я уже седой, а все думал: мало что болтают! Какая тут может порча? Я его хорошо знаю. И оно меня хорошо знает. Я пахну совсем как оно. А его понюхать — как я. Столько лет вместе... Оказывается, старые люди ничего зря не говорят.

Он снова надолго замолчал, и Котельников не вытерпел:

— Застрелил, дедушка? Собаку?

Он слегка повел головой:

— Воровать стала. Соседи говорят, я не верю. Чтобы моя собака по стайкам да по кладовкам? Не может быть. У меня честная собака. Чужого никогда... гордая. А сосед: приходи, сам увидишь. Взял ружье. До-олго сидел. Вижу, лезет. Моя собака.

Голос у него под конец стал такой тихий и такой горький, что Котельников, когда старик опустил голову, невольно крякнул:

— Вот ведь... может, ты ее, дедушка, плохо кормил?

Тот не поднимал головы, Котельникову видна была только серая, словно старый одуванчик, дедова макушка. Потом дед уже погромче спросил:

— Почему плохо? Что сам ел, то и ей. Все пополам.

— Лайка была?

— Лайка.

— И что с ружьем?

— А ничего. Все целое, все на месте. А никуда не годится. Попадать перестал. Обиделось.

— И как теперь?

— Мне еще, однако, лет восемь надо охотой жить. А как тут проживешь, если до барсука десять сажень, прям вот он, рукой взять можно, а оно пух — мимо.

— Новое покупать?

Старик приподнял с тулупа высохшую ладошку:

— Где я — такие деньги?

Котельникову стало неловко, но и остановиться, советчик несчастный, уже не мог.

— А это — продать.

— Оно же плохо бить стало. Как теперь продашь? Однако, грех.

— Я вам сейчас поесть чего-либо принесу, — приподнялся Котельников.

— А я ел. В сумке у меня хлебец был.

— Да что ж — хлебец? Я чего-нибудь... мяска кусок, молока.

— Не надо! — зрачки под косматыми бровями старика зажглись, и голос сделался строже. — Не приноси.

Котельников немножко постоял в тишине посреди двора, посмотрел, задирая голову, на звезды, слегка продрог, и горница показалась ему теперь еще уютней. Над столом уже дым стоял коромыслом, пламя в лампе помигивало от хохота. Котельников думал, опять принялись за Погорелова, но они на этот раз начали с Гаранина.

— Он тебе не рассказывал, Егорыч, как у него персональную «Волгу» на лом чуть было не порезали? — лениво поглядывал на пасечника Уздеев, и лицо у него было непроницаемое. — Не рассказывал? Ну, давай, Порфирьевич, засвети, как было дело...

Все уже приготовились смеяться, но Гаранин насутился, щеки у него пошли тяжелыми пунцовыми пятнами.

— Ничего, ничего. Я бы ему тоже устроил, этой сволочи. Если бы не интересы, понимаешь, дела...

Шофер Алешка тоже помрачнел, то и дело поглядывал на Гаранина, словно ловил в глазах у него всякую, даже самую малую перемену.

— Он-то думал об этом небось меньше всего — об общем деле? — все так же невозмутимо продолжал Уздеев. — Наш общий друг. Прохорцев?

— Ничего, ничего, — все больше мрачнел Гаранин. — Будем надеяться, живем не последний день...

— Зря вы тогда меня с разводным ключом задержали, — укорил Алешка.

Это на конвертерном было, тоже в запарку, в самые горячие дни. На рапорте Крестов, начальник главка, приказал срочно очистить от оборудования территорию около отделения подготовки ковшей и для пущей важности Прохорцеву, который должен был начинать там работу, дал команду: то, что будет на площадке забыто или почему-то оставлено, разрезать и сдать на лом. Этому, главному-то «хам-технику», только скажи. И все было мигом растащено. К тому моменту, с которого вступало в силу грозное предписание Крестова, рядом с отделением подготовки ковшей было пусто, но Прохорцев увидел тут гаранинскую «Волгу», махнул газорезчику: сюда, мол! Алешка тоже куда-то отошел, остановить их было некому. Говорят, газорезчик только и спросил, с чего начинать, — ничего не поделаешь, школа Прохорцева! «Сперва правое крыло давай, потом — левое!» И тот преспокойно зажег горелку.

Алешка, когда прибежал да увидел свою «Волгу» без одного крыла, кинулся в драку, самого Гаранина, рассказывали, чуть инфаркт не хватил, а с Прохорцева как с гуся вода. Знал, бестия, что Крестов с Гараниным были в ту пору на ножах, потому и решился, ясно!

Котельникову стало жаль Гаранина, хотел переменить тему, но Уздеев все гнул свое.

— Видишь, Егорыч, как он, Гаранин-то, закусил удила? А все отчего? Я тебе по секрету скажу. Оттого, что дело было в субботу, а они с Алешкой в воскресенье, несмотря ни на что, хотели на часок выскочить. Это единственный раз за последние десять лет, когда они дома остались, — без крыла ГАИ остановит. Ну, так, Порфирьич, скажи?

И Гаранин вдруг улыбнулся по-доброму, часто-часто заморгал и, явно польщенный, протянул:

— Эт то-очно! Первый раз дома остались!

За работою не знал Гаранин отдыха, не давал спуску ни себе, ни людям, но воскресенье считал днем священным — тут хоть камни с неба, он ехал на охоту.

Гаранин был чуть старше Котельникова, командовать любил и на Авдеевской площадке начинал уже начальником управления. В те годы новенького своего «Москвича» променял на разбитый «газик» и всю неделю ходил пешком, лишь бы только Алешка успел подремонтировать машину к воскресенью. Забирались они бог знает в какие глухие места; целого дня непрерывной езды между пнями на лесных полянах да по крутым логам старенький «газик», как правило, не выдерживал, и в понедельник Алешка снова ложился под машину, а Гаранин опять шел пешком или пристраивался с кем-либо из смежников.

Как оно у нас устроено: сначала Крестов до белого каления доводил Гаранина на своем рапорте. Бывало, тот не выдерживал, хлопал дверью, — ему, почти единственному, это почему-то сходило с рук. Потом Гаранин распекал своих, — сколько раз видел его Котельников орущим, с побелевшими от гнева глазами... А ведь он был лирик, Саша Гаранин, и на охоту ездил вовсе не потому, чтобы поесть дичины. Он ее, в общем, и не ел никогда, потому что известная строгостью и не очень уравновешенная его жена приносить домой что-либо из охотничьих трофеев запрещала категорически. Все, что они добывали, забирал выросший в тайге и хорошо знавший цену ее дарам шофер Алешка.

Сейчас глаза у Гаранина были ярко-голубые, длинное лицо его подобрело и расслабленно вытянулось.

— Все у тебя на пасеке, Василь Егорыч, хорошо. Место чудное. Одного не хватает: если бы на твоей горке еще церквушка небольшая стояла.

Сидевший с ним рядом пасечник покорно наклонил голову:

— Да-да, маленькая такая... А зачем?

— Купола люблю! — Гаранин расстегнул рубаху, положил на грудь руку. — Бродишь где-нибудь по тайге, бродишь, потом сопочку вывершишь, устанешь и вдруг он блеснет золотом. Зелень бескрайняя, увалы, тайга, а вдалеке — маковка... И чем-то тебя таким... так за душу возьмет.

— Да ведь ободраны кругом, — возразил реалист Уздеев. — Одни ребра.

— Я, когда на пенсию выйду, знаете, чем займусь?.. Я маковки буду реставрировать. Потому — красота. Деды понимали, где строить.

— На пенсию! Где ты тогда — денег? Ты сейчас.

Толя Растихин поправил очки на тоненьком и прямом носу:

— Какая у тебя, Александр Порфирьевич, нынче программа?

— Четыре миллиона на этот год.

— Другой разговор, — подхватил Уздеев. — Представить только, сколько маковок можно покрыть да сколько божьих храмов отремонтировать! Ты, Порфирьич, на досуге подумай.

— А что, если и в самом деле заняться? — похохатывал Гаранин. — Снять в понедельник все управление с прокатного, и — в тайгу... А потом: куда вы, товарищ Гаранин, дели такие средства? Да как куда? На божьи храмы! Надоела мне эта черная металлургия, вот где она у меня — в печенках!

Котельников, который принес из кухни чистую алюминиевую миску, положил в нее большой кусок колбасы. Хотел было творога насыпать и остановился сложной в руке, улыбнулся Гаранину:

— Хотел бы я, Саня, присутствовать на том бюро, на котором будут тебя чихвостить.

— А что, мальчишки? — веселился Гаранин. — Такого в Сталегорске еще не бывало!

Уздеев, так и не выпускаящий из рук вилки, на секунду перестал жевать:

— Все прожекты, прожекты... А ты начни действительно с малого — построй на пасеке колокольню. Вон эксплуатация. Помогла же Егорычу избу поставить?

Пасечник согласно закивал:

— Что верно, то верно. Без ремстройцеха я бы еще ой сколько в старой избе сидел. Ой сколько! А они взялись, и... Правда, и мы — чем можем. Когда директор завода болел, сколько мабочек погубить пришлось, чтобы молочко взять.

— И помогло?

— Да вроде пока полегче.

— Это завод, — приподнял вилку Уздеев. — А что, стройка свой вклад внести не в силах? Они — избу, а ты — маковку...

На творог Котельников положил кусок меда, и пасечник наклонился теперь к нему, качнул свою аккуратной бородкой:

— Не будет он.

— Думаешь, не будет?

— Только у Настьки еду берет. Нашли, понимаешь, друг друга. А я ему не родня.

— Одного хлебца, говорит, поел... Разве дело?

Теперь стали разливать медовуху, и, когда Уздеев наклонил было четверть над стаканом Василия Егорыча, Витя Погорелов придержал его руку:

— Хозяину беленькой.

— Свою он, так сказать, в рабочем порядке, — опять потирал руки довольный Гаранин; нравилось ему, расслабившись, сидеть за этим столом, хорошо закусывать, смеяться вволю, валять дурака.

— Первый сорт, Егорыч? — прищурился Уздеев.

— Слеза!

— Все-таки я ему отнесу, — глядя на пасечника, решил Котельников. — А вдруг съест?

— Эту за что пьем?

— Как это — за что? — удивился Уздеев. — За то, чтобы Гаранина не очень крыли на бюро, когда он четыре миллиона пустит на маковки!

— Да, по-человечески отнеслись бы...

— С пониманием!

Когда пересмеялись и уже готовы были выпить, Толя Растихин низко наклонился над столом, подався к Котельникову:

— Ты видишь, я тебя не тороплю. Но вообще-то думаешь иногда? Варится это у тебя?

Великое преимущество пьющих! Котельникову захотелось, чтобы они с Толей сидели рядом, чтобы он обнял Растихина, толкнул бы плечом, может быть, слегка боднул головой... Но он только, улыбнувшись, сказал благодарно:

— Варится.

С Растихиным они познакомились, когда Котельников задумал этот свой сумасшедший подъем второго конвертера. За несколько месяцев перед этим удалцы Прохорцева свернули ночью распределительный колодец и преспокойненько себе уехали. Вода хлынула на площадку, где лежали двигатели конвертера. Их потом вскрывали один за другим, и каждый требовал перемотки. Электроцех завода уже взялся было за эту муторную работенку своими силами, но тут Прохорцеву каким-то чудом удалось доказать, что залило во время аварии только семь двигателей из двенадцати, — почему, в таком случае, отказываются работать и остальные? Создали авторитетную комиссию, которая определила заводской брак, и началась длинная-предлинная тяжба... Первый конвертер со всеми своими механизмами давно уже стоял на фундаменте, по нему уже почти все акты были подписаны, а вот что касается второго... Тут-то и окрепла окончательно эта идея Котельникова собрать все на монтажной площадке, перевезти потом на мощной чугуновозной платформе и за единый подъем поставить все сразу.

При таком варианте чистый выигрыш времени составил бы три, а то и все четыре месяца, и руководство стройки скрепя сердце согласилось, предупредив, однако, Котельникова о персональной, в случае неблагоприятного исхода, ответственности.

Вся эта махина вместе должна была весить больше семисот тонн, а мостовой кран рассчитан был только на

триста, и Котельникову, конечно, пришлось-таки поломать голову. Проект организации работ отдали просчитать на кафедру к Растихину, и через несколько дней тот сам разыскал Котельникова: «Догадываетесь, что это не первый случай, когда мне приходится консультировать строителей? И я уже, признаться, привык, что все решения принимаются, исходя из того самого знаменитого русского принципа: или одно пополам, или другое вдребезги. И вдруг впервые — строгая инженерная мысль... Что меня, кроме всего прочего, греет: при сборке на площадке вы, может быть, приблизитесь к решению проблемы соосности... В общем, так: я знаю, что вас предупредили об ответственности. Будем надеяться на лучшее. Но если что-либо не получится и у вас будут осложнения, заранее имейте в виду — буду рад предложить вам место на кафедре...»

Во время подъема он ни на шаг не отходил от Котельникова, словно делил с ним опасность, и в мучивших его потом кошмарах Игорь так и видел Растихина в явно большой для него черной монтажной каске.

Это надо было слышать — как потрескивала под неимоверной тяжестью осевшая до предела двенадцатисная платформа, как нагужно поскрипывал мостовой кран, впервые отдавший в дело свой десятикратный запас прочности, как, словно струны, напряженным гудом отдавали стальные тросы. Котельникову иногда казалось, что работавшие через систему блоков на вектор два гусеничных крана могут в один момент опрокинуться и корпус конвертерного, еще не окончательно окрепший, рухнет словно карточный домик...

Но ничего не случилось, подъем прошел без единого, что тебе называется, сучка, без единой задоринки, и только потом, когда эта махина окончательно стала на место, когда взмокший от напряжения Котельников снял каску и рукавом отер лоб, сверху рухнула задетая шлангами питания крана сварная металлическая стремянка... Это и назвали потом «эффектом Котельникова»: ты придумываешь выручивший всех черт знает какой сложный производственный ход, а сам потом получаешь по башке из-за махрового нашего родного разгильдяйства...

Когда Котельников через месяц очнулся, одним из первых около себя он увидел Растихина. Тот и раз приходил, и другой, и третий, говорил о пустяках или сидел молча, только дружелюбно, словно были они старые товарищи, поглядывал, а потом, когда Котельникову стало самую малость легче, сказал: «Я тебе, пока тут никого, по секрету... Думаешь, зачем я хожу? Все жду, когда с тобой можно серьезно сглазу на глаз. Помнишь, я тебе о кафедре говорил? Так вот, у меня вакансия. И оклад, и все прочее, об этом можешь не волноваться, в проигрыше ты не будешь. Ректор навязывает мне одного деятеля — на него горком давит. Но я сказал ему, что у нас с тобой железный договор. Можешь не торопиться — думай. Только имей в виду: я тебя жду».

Тогда еще вообще неизвестно было, вытянет Котельников или нет, а он сидел около него мальчишка мальчишкой и улыбался из-под очков какую-то очень понимающей улыбкой; спокойная эта и ласковая улыбка еще не раз потом и внушала веру, и успокаивала Котельникова.

— Ну и прекрасно, — сказал теперь Толя Растихин, глядя на Котельникова с тем же дружелюбным спокойствием. — Пусть оно там пока потихоньку зреет. Пусть варится.

«Хорошенько закусит, — подумал Котельников, — сходим с ним потом к старику».

Пока он пошел один.

Пурьский все так же сидел на лавке, только колени под тулупом были приподняты, и он поддерживал их иссохшими руками. Круглая, как одуванчик, голова его медленно взад и вперед покачивалась, и в темных глазах под косматыми бровями Котельников угадал тихую улыбку.

Поставив миску с едой на подоконник, он снова присел в ногах у старика, глянул на Пурьскина, словно желая удостовериться, и в самом ли деле тот улыбается, и старик перестал покачивать головой:

— Над собой смеюсь. Как я завонял.

Так это было сказано, что Котельников невольно рассмеялся, притронулся к тулупу на коленях у старика:

— Ничего, дедушка. Бывает.

— А я смотрю в этой, в электричке. Что за напасть? Сядут рядом, а потом поглядят на меня, поглядят — и уходить. Один в пустом вагоне ехал. Как большой начальник, однако.

— А соболь, дедушка, хорошо идет? На этот запах?

— Идет соболишка. Хорошо.

— Я вам тут слегка перекусить... вдруг захочется.

Пурьский слегка повел головой, и голос у него опять стал насмешливый:

— Какой я, однако, старик непутевый стал.

— Случается, дедушка.

— У нас в селе один дьячок был. Любил охотиться. Стрелок так себе. А прихвастнуть любил. Один раз на голицы себе наклал, да так и пришел в село. Встречает мужиков и говорит: эх, если б вы знали, что я несу. А они ему: если б ты, Василь Парамонович, сам знал!

Котельников смеялся, опять притронулся к колену старика:

— Ну, вот, видите, с кем не бывает.

Пурьский согласился вздохнув:

— Человеки!

— Это когда, дедушка? С дьячком-то? Давно небось?

— Я еще ребятенком... давно!

— А сколько вам нынче?

— На спас было восемьдесят три.

Котельников вспомнил, как говорил старик, что надо ему еще восемь лет тайгою кормиться.

— Н-нда...

Но Пурьский утешил:

— Не горюй! Я крепкой ешо!

Посидели, глядя на затухающий в печке огонь, и старик слегка приподнял руку:

— Зачем из компании ушел? Иди к товарищам. Я посижу один. Ты иди.

В горнице разговор шел на очень животрепещущую тему: Растихин рассказывал, что в Японии появились таблетки, с помощью которых можно ограничивать себя с выпивкой.

— Значит, как говоришь, Толичек? — тянул к нему аккуратную бородку Василь Егорыч. — Как, бес его, как?

Толя Растихин опять начал в строгой академической манере:

— Просто спрашиваешь себя: сколько мне нынче надо? Сто пятьдесят — глотаешь одну таблетку. Триста — две. А потом предположим, принял не триста, а триста пятьдесят — тебя тошнит.

— Перебор, значит? — радовался пасечник. — Ай, япошки!.. Это додуматься, а?

— Дайте мне этот препарат, — стукнул по краю стола Гаранин, — я вам вдвое увеличу производительность по тресту.

Уздеев спросил с невозмутимостью снабженца:

— Тебе сколько надо вагонов?

— Чем тряпье у них покупать... шмутки! — Он опять стукнул по столу так, что вздрогнули стаканы. — Дайте мне этот препарат!

— Чего это вы сегодня — стучать? — почти неслышно для остальных заботливо спросил Алешка.

— А я говорю: дай!

— Да блажь это, Порфирьич! — Уздеев по-прежнему размахивал вилкой. — На сколько там эта импортная таблетка? На сто пятьдесят? Ладно. Значит, Вите Погорелову, чтобы захоронить, чтобы пить-то не зря, надо съесть их целую пригоршню. Хотя бы штук шесть-семь. Так, Витя?

Погорелов только медленно повел плечом:

— Н-ну, если...

— Ему и семь мало. Недаром я тебе о вагонах!

— Ну, до абсурда все можно довести. — И Растихин обернулся к Погорелову: — Извини, Витя, это я не на твой счет — на счет Уздеева.

— Д-дайте!

— Да что это ты, Порфирьич? — наклонился к Гаранину Котельников.

— Сейчас я его отведу.

Алешка встал, обнял сзади сразу обмякшего Гаранина.

— А трест тебе за вредность доплачивает? — поинтересовался Уздеев.

— Вообще с ним такого не было! — обиделся Алешка.

— Оно и видно.

— Да что ж это такое? — привстал Василь Егорыч. — Не поели как следует, не выпили... Еще и зайчика из духовки не попробовали... Или у вас весь день и маковой росинки во рту? Дак маслица бы... Давай, давай на диван!

— На полу любит.

Уздеев улыбнулся и стал побыстрей дожевывать — торопился с шуткой:

— С дивана он упадет.

Котельников помог пасечнику раскатать на полу матрацы, накрыл их простынями. Гаранин упал, не раздеваясь, и повалившийся вслед за ним Алешка сперва приподнялся было, а потом мотнул кудлатой головой и лег рядом.

Прикрывая ладошкой рот, Уздеев зевнул:

— У него была.

Растихин тоже зевал:

— К-кто?

— Д-да что это такое? — словно чему-то в себе удивился Уздеев, опять зевая. — Т-таблетка.

— Ипонская, — уточнил Погорелов.

Через минуту Толя Растихин встал и, заплетаясь ногами, медленно вышел на середину горницы, остановился, покачиваясь, и Котельников шагнул к нему, успел подхватить.

Уздеев пытался пошире раскрыть соловеющие глаза:

— А-андреич?.. Теряем к-кадры?

— Люди добрые! — стонал около Растихина Василь Егорыч. — Ты был с ними, Игоречек, видал. Ели они в тайге?.. А то по стакану водки да медовуха. Она ить крепкая! Витюня, дружок! Славик! И эти уже сумные сидят, ты глянь. Или пропасть какая?

Один только Витя Погорелов, уронив тяжелую голову на грудь, еще сидел на стуле, обеими своими громадными пятернями цеплялся за край стола.

Расстроенный пасечник ходил вокруг:

— Что ж за наказание такое, Игоречек?.. Это ж где видано, чтобы так сразу все мужики-то напились. Или

еще из города? На старые дрожжи?

Поглядывал на середину стола, где стояла начатая бутылка белой, и Котельников налил ему полный, почти до краев, стакан.

— Выпей, Василь Егорыч... Чего ж теперь?

Руки у пасечника тряслись, кулак, в котором он держал стакан, стал мокрый от водки. Выпил наконец, не стал закусывать, а словно крякнул — горько сказал:

— Ай-яй-яй!.. Посидели кучечкой! Поговорили!

Котельникову стало одиноко, есть расхотелось, и он сидел, глядя, как на глазах у него пьянеет, — или, показалось ему вдруг, делает вид, что пьянеет, — пасечник. Во дворе постоял, опять глядя в ночное небо...

С севера на темные увалы натягивало жиденькую, словно раздерганная кудель, серую хмарь, но над головою было чисто, и, запрокинувшись, он смотрел вверх, и смотрел до тех пор, пока звездная картина перестала казаться ему плоскою, и в этой затягивающей куда-то в бесконечность, сосущей сердце бездонной выси он теперь словно различал глубину каждой звезды в отдельности — какие поближе были, какие дальше... Может быть, подумал он, потому и мало нам глядеть только перед собою или слегка вверх, может, потому и тянет нас, задирая голову, устремлять свой взор обязательно в зенит, что так мы проникаем во что-то наиболее тайное и там, вверху, и — в себе?

Еда на подоконнике в зимовейке стояла нетронутой, старик смотрел на огонь. На Котельникова не глянул, и он собрался было уходить, когда Пурыскин шевельнул заросшим ртом:

— Пригорюнился?

— Так что-то... Скучно одному.

— Ребята где?

— Спят.

— Рано, однако.

— Крепкие вроде хлопцы. А тут и выпили помалу...

— Опоил должно.

— Кто?

— Да кто? Васька. Токо с виду Исусик. А так варнак варнаком. Три медовушки держит. Какую сам пьет. Для здоровья. Какой друзей привлекает. Это все равно что вода. Ни пользы от ее, ни вреда. А какая — непуть отваживать...

— Какую непуть?

— Мало ли? Тайга! Всякие люди шатаются. Один с добром. Другой с худом. Худому поднесет стакашек, и ровно обушком. Хошь, у тебя в стайке пусть день или два лежит. Хошь, на лошадку, да куда подальше, чтобы и дорогу забыл, когда проспится...

Котельникову хотелось головой тряхнуть, но он только поднес к лицу руку, провел по глазам.

— Откуда, дедушка, знаешь?

— А ты поживи с мое. И ты знать будешь.

И пока Котельников, все еще и веря и не веря, раздумывал, пока закипала в нем, поднимаясь до краев, не то обида на пасечника, не то злоба, старик продолжал все так же неторопливо:

— Свояк у его. Рестант. Скиталец. Когда проживется, одни портки, сюда прямым ходом. Пришел, говорит, братка. Хошь, так угощай. Хошь, зелье свое испытывай. Васька тогда травку варит да в медовушку, а энтот, скиталец, пьет. Очухается, рассказывает. Как было: совсем худо или не шибко? Какой снадобы добавить.

— Ну, может, в самом деле, бывает — край! — громко и горячо сказал Котельников. — Если кто-нибудь с ножом к горлу. А ребят-то? Этих ребят — зачем?

— Большие, сказывал, люди.

— Какие, дедушка, большие? Обыкновенные. Хорошие хлопцы. — Котельников встал. — За что?

— Может, покуражится. Раньше поговорка. Мужик богатый что бык рогатый. Богатых теперь нету, а...

Котельников взялся за ручку двери и постоял еще, глядя в пол, но он был уже не здесь...

Пурыскин, словно закончив наконец размышлять, поправился:

— Есть, однако, богатые...

Котельников дернул за ручку.

— Постой! — негромко позвал старик. — Тебя как?

— Игорь.

— Садись сюда.

Он сел. Старик подался к нему слегка и легонькую ладонь положил ему на руку.

— Посиди. Посиди... Ну, вот. Теперь иди, если хочешь. Поглянь на товарищей. А с варнаком этим ничего не надо. Ты молодой. Надо знать. Что старые люди знают. А рукам воли не давай. Знать надо.

Котельникову отчего-то стало легче. Он встал, сказал грубовато, но растроганно:

— Спасибо, дед.

— Я еще долго буду. Приходи.

В горнице пасечник, стоя на одном колене, за волосы удерживал на другом запрокинутую голову Гаранина, в полураскрытый рот лил из кувшина молоко, и одна щека у Гаранина вяло подергивалась, он то захлебывался, а то глотал судорожно, и в горле у него хрипело и булькало молоко, поднималось, выкатывалось на лицо, бежало по шее, рубаха у него на груди была мокрая и слиплась.

Котельников цапнул пасечника за плечо:

— Отпаиваешь? За что ты ребят?.. За что, сука?

Пустой кувшин с глухим стуком покатился по полу. Гаранин, сникнув, повалился на матрац. Пасечник выворачивался, становясь на колени.

— Перепутал я, Игоречек!.. Видит господь, перепутал! Чем хочешь...

— А ну, встань!

Он потянул за воротник дешевого пиджака, и пасечник, шатаясь, привстал.

Котельников нагнулся к столу, схватил с пола четверть с медовухой, плюхнул в пустой стакан.

— А ну-ка, бери!

Пасечник, проваливаясь в пиджак, повисая у него на руке, опять бухнулся на колени, его повело, но он выпрямился, задрал вверх враз налившиеся слезами, странные свои, с опущенными на середине нижними веками глаза.

— Игоречек! Нельзя, не выдержу! У меня сердце... Даром что с пчелами, а здоровьем и правда господь обидел. Грех на душу возьмешь — помру я!

— А ребята?

— Молодые, им ничего!.. Проспят. И, право, перепутал. Близко держал... Ты в шкуре моей, Игоречек, побудь, тогда скажешь! Правду говорят: это покой пьет воду, а беспокой — мед! С год назад пришли нахалюги с патлами... У кого ружье, у кого гитара. Собаку застрелили. Все выпили. А я под стволами простоял...

А Котельников и так уже зачем-то смотрел на свою кисть, куда положил свою сухонькую ладошку старик Пурьскин.

— Встань!

— Я тут, Игоречек, тут!.. Тебе нельзя волноваться, мне сказали...

— Да это уж не твоя забота!

Держась за край стола, пасечник дернул шеей и скосил глаза. Котельников отвернулся.

О край стакана позвякивало горлышко, торопливо булькала водка. Хрустнул жадный глоток.

Он еще ниже склонил голову.

Пасечник осторожно обошел его, вытянул мокрые, близко обросшие русыми волосенками бледные губы.

— Еще на колени кинуть! Просить буду, Игоречек, как ангела! Не говори им. Видишь, я плачу... А ты чего? Игоречек?!

— Уй-ди!

Руку с вытянутым пальцем он кинул к двери, и пасечник, начавший было спускаться, как на пружине подался вверх, выпрямляясь, боком шагнул к порогу.

Котельников долго сидел на диване, и глупая, какая-то горькая и нелепая фраза неотвязно вертелась у него в мозгу. «Нет счастья трезвому человеку, — думал он, глядя в пол широко открытыми глазами и замечая только расплывающийся свой кончик носа да кружочек взъерошенных усов. — Нет счастья. Трезвому человеку. Нет!»

Потом он встал, подошел к ребятам, вповалку лежащим на полу, постоял около них, разглядывая, из-под кого-то вытащил неловко подвернутую руку, у другого поправил в головах. Сходил за полотенцем и отер Гаранину лицо, шею, промокнул рубаху на груди, а затем сложил полотенце вчетверо и положил на влажное от молока пятно на подушке.

Вытянутое лицо Гаранина было спокойным и даже как будто значительным... Эх, Саня, Саня! Маковки он будет крыть на старых церквах — вот чем он хочет заниматься! Черная металлургия, говоришь, у тебя в печенках, да только тебя ведь от нее краном стотонным не оторвешь, от этой черной металлургии, потому что ты верный человек, вот в чем дело, Саня Гаранин, ты первый после выпуска стали приехал в больницу, сиял, как новый полтинник, смеялся: «Поверишь, за первым ковшом бежали, как дети!.. Бригадир бежали, горкомовцы, управляющие!» И повлажневшие голубые глаза подрагивали от смеха, когда, будто сам себе не веря, повторял опять: «Бежали, как дети!..» Еще до аварии подобрал Котельникова ехавший без Гаранина Алешка, разговор пошел. Как шеф? Да как. В пять утра садится в машину: поезжай, Алешка, нижней дорогой, там на озерке около дробфабрики крякаши стали гнездиться, хоть одним глазом посмотреть. Поехал, а когда поднялся чирок, глянул на шефа, тот спит себе, — будить, что ли?.. Но ты потом на охоту с Алешкой, а после пуска большие премиальные, тринадцатая зарплата в конце, о море в Гаграх, ничего, что купаться уже нельзя, черт-те что это такое — фейхоа, продают на базаре, купил газету в киоске, а там указ, и телеграмма из треста на следующий день, с орденом тебя, Альсан Порфирыч, много не пей, а то этой братве был бы повод, на следующий год ты лучше возьмешь круиз вокруг Европы — Стамбул, Рим, Марсель, в Лондоне посмотришь кое на кого в музее мадам Тюссо, я давно с тобою хотел поспорить: а твой прораб, у которого нету персональной машины? А мастер? А бригадир? А плотник? Кто их на охоту повезет, а может, они вообще не охотятся, где тогда им душу на Авдеевской отвести, нам некогда, мы всё домны и домны, а дал мне адрес, чтобы к старому другу в Ставрополе зашел привет передать, тоже большой строитель, можно сказать, глава всего дела, а были в одной группе, в студенческой столовке хлеб да чай, а после стипендии гусарствовали, дружки, что ты, вместе ходили по девкам, и я к нему еле прорвался, а он сидит за громадным столом весь такой причесанный, кудряшки на ранней лысине словно французским лаком, серый, с искоркой кримпленовый пиджачок отдельно на спинке стула, жара, кто, говорит, это — Гаранин? Вместе учились? Даже из одной группы? Любопытно. А карточки с собой нет? Может, на фотокарточку глянул, узнал бы. А мне от него ничего не надо было, ни билет достать, ни тем более номер в гостинице отремонтировать, просто в чужом городе взгрустнулось, может быть,

духом опереться хотел, просто посмотреть на старого товарища своего, хорошего друга, потому что к товариществу в Сибири привык, к братчине, как наши деды говорили, к братству, да только где там, обопрешься на них, как же — по девкам вместе ходили, а теперь он не помнит! Сказал тебе, что не нашел его, был в отъезде, неправда, извини, Саша, соврал, мне стыдно стало, а он был тогда, он не помнит, у тебя в одном управлении программа больше, чем там по краю, зато у него юг, солнце, туда из министерства приезжают арбузы есть, нарзан пить, дышать вдвоем горным воздухом, это мы тут с нашими хлопцами, каким цены нет, построили этот громадный, от которого в речке засыпают щуки, черный завод, от него теперь бежит и бежит по России упругой речкой крепкая сталь, а люди уже не так живут, Саня!..

На улице дождило. Где-то за темными стайками пьяно, в голос, рыдал пасечник. Миром манил еще теплеющий огонек в крошечном окошке зимовейки.

— Проходил тут Левка с верхней пасеки? — спросил Пурьскин.

— Вчера... нет, позавчера.

— Третьеводни.

— Только он не стал заходить...

— Знамое дело. Потому Васька бешенствует. Думает, наострился Настю проведать. А и проведает. Худо ли?

— Он ведь молодой совсем.

— И я про то. Человек добро помнит. Провалился о ту зиму под лед. Настя вытащила. Отогрела. Спасла, можно сказать. А Ваське измена мстится. Побегал бы подсмотреть, да пасеку бросить боится. Оттого и лютует. С той стороны пошарили по двери, потом она открылась, и, сгорбленный, вошел пасечник. Длинно шмыгнул носом, сказал севшим голосом:

— Не прогоняйте, люди добрые. Как собаку...

— Ты, однако, хозяин.

Пасечник сдерживал слезы:

— Похозяйновал, хватит! Брошу все. Кержачить пойду.

— Кишка, однако, не тонка ли?

Пасечник, слегка пригнувшись, поискал растопыренной пятернею чурбачок, присел около печки. Пламя заиграло у него на лице, одна щека окрасилась алым.

— Не-ет! — сказал потвердевшим голосом. — Нет, дед!.. Не тонкая. Уйду в кержаки. И там жить можно.

— Притерпишься, однако, и в аду хорошо.

Котельников не смотрел на пасечника, но и так, на слух уловил в лице жадность:

— Рассказывали, под гольцами деревня кержачкая... поселение. Шешнадцатая республика. На склоне сопки избы, около каждой — ручей свой. Сами никуда, только соболевать, а в мир ни ногой, один старшой их и может... по всем делам, да. Они верят!.. А он соболя сдаст первым сортом, а им: обиды в миру — третьим приняли! Деньги себе на книжку. Кооперативную квартиру купил в большом городе. Дети его, сказал, у других кержаков, на Севере... как вроде искушение какое одолевают. А у самого в институте все, одеты-обуты...

— Был я! — впервые слегка повысил голос старик. — Ключи видел. Воду из их пил. Вкусная вода. В каждом ключе своя... Только про старшого не так! Брешешь ты. Это твоя думка. Рабов приобрести! — опустил слабо приподнятую руку и опять, словно смилив себя, сказал почти неслышно: — Ненажора! Против бога, считай, идешь, а у него же помощи просишь.

Пасечник приподнял зад над чурбачком, покачнулся к старику, протянул трясущуюся ладонь:

— Да где он, твой бог?.. Где?!

Старик не глядел на него.

— В глазах человеческих.

— Э-э, в глазах! — Пасечник неловко опустился на чурбак, и щека его снова ярко запылала. — Глаза боятся, а руки делают, — и медленно, тягуче скрючил пальцы на обеих пятернях, — вот где он у меня, бог-от!

— Эти, что бог в руках, без разума. Гондобят!.. А куда? С собой возьмешь?

— Детям оставлю!

Старик приподнял слабую ладонь, словно от чего-то хотел отгородиться:

— В глазах бог. Если добрые. Покой душе дают. Утешают. Чужую боль понимают. О пропащих скорбят. А если бесстыжие глаза... Лукавые. Манят. Лестят. Играют. Сперва обещают, а потом приказывают. Покорить хотят. В таких — дьявол.

Котельников неотрывно глядел на Пурьскина, как будто ему обязательно надо было и хорошенько запомнить его, рассмотреть, какие глаза у самого старика...

В ноги ему мягко повалился разомлевший у печки пасечник. Послышался тихий, но настойчивый храп.

— Пойдем, дедушка, в избу, а он здесь.

— Зачем? — спросил старик мирно. — Мне и тут. Только его долой. Спать не даст. Помочь тебе? Или один вынесешь?

Когда он уложил пасечника, помыл руки, уже наполовину разделся и вышел на крыльцо подышать, над темною заимкой сеял бесконечный осенний дождь, и в его шелесте уже не слышалось шороха листьев. Пахло гольми деревьями, студеной водою, поникшими травами и только от просторной стайки, где отдувались сонные коровы, молчаливо толкли друг дружку овцы да одиноко переминался конь, наносило иногда живым и теплым.

Он собрался было уходить, когда справа под бугром увидел вдруг низкий, бьющий по-над землю свет.

Сперва он замер и постоял, не двигаясь. Попробовал приподняться на цыпочки, но ничего не увидел, только чуть шире стала бледная и косая полоска.

Машин здесь быть не могло. Или, когда им было не до того, бесшумно пробрался какой-либо вездеход?.. Почему тогда молчали собаки?

Шепотом он позвал:

— Буран!.. Буран! Милка!

Может быть, собак уже нет?

Оставив дверь открытой и все время посматривая в черный ее проем, он зарядил на веранде тяжелое свое ружье, потом положил его на пол рядом с собою, на босу ногу надел сапоги.

Свет, включенный на дальний, бил из-за пихтача, который плотным курешком стоял около тропинки к реке. Прижимаясь к стене амбара, постоянно оглядываясь, Котельников стал обходить широкое его желтоватое пятно, потом остановился и постоял, сжимая в руках мокрое ружье. Тоненькая струйка разбивалась о приподнятый воротник брезентовой куртки, и он, успокаиваясь, слышал на щеке мелкие уколы от брызг.

Опять он думал о том двойном дне, которое он ощущал теперь иногда в мятущейся своей душе...

Это ясно: собаки забрались под крыльцо и спят себе под дождичек мертвым сном.

Медленно, стараясь оглядываться пореже, пошел он обратно. Разрядил ружье и патроны сунул сперва в карман, но они были слишком тяжелы, и тогда он, не торопясь, аккуратно засунул их в гнезда старого своего патронташа. На кухне взял лежавший обычно на столе около двери круглый фонарик, с высокого крыльца спустился во двор.

Прищурившись и помигивая фонариком, он шел посреди широкой, словно дымящейся полосы яркого света, сквозь которую сеялись и сеялись тонкие иголки дождя.

— Эге-эй! — позвал потом как можно дружелюбней. — Эге-эй!

Машина стояла посреди курешка.

Посвечивая себе под ноги, он обошел огражденный высокими, с частыми жердями-пряслами мокрый пихтарник, навывлет прошитый стремительным тихим светом.

Начиная догадываться, он перелез через изгородь. За плотною стенкой еще молоденьких пихт, посреди крошечной вырубки стоял на колодках новенький, еще в заводской смазке ярко-синий «Жигуль».

Промокший Котельников взялся за холодную ручку, открыл дверцу, осветил внутрь. На резиновом коврикe внизу было нагоптано, сиденье около спинки топорщилось еле заметным полукругом... Полчаса или сколько там, час назад — куда, интересно, в этой стоящей на колодках машине мчался пасечник?..

Оборачиваясь, он осветил позади машины, но просвета, по которому можно было заехать в курешок, нигде не было видно... Какая занесла ее сюда нечистая сила?

Усмехнувшись, Котельников выключил свет и коротко хлопнул дверцей.

— Там, в пихтаче, легковушка! — сказал он Пурьскину.

— Ево, — коротко согласился старик. — Васькина.

— Как же он ее сюда? Без дороги?

— А так. На санях. На тракторе. Тракториста опоил тоже. А сам где по краю мочагов, а где речкой.

Котельников только покачал головой.

— Говорю ему: зачем дорогую вещь ржа ест? Продай, однако.

— А он?

— Продам, говорит. «Волгу» куплю. Или как ее? Которая дороже.

Котельников вдруг припомнил:

— Да, дедушка!.. А как с лукавыми-то глазами? В которых дьявол?

Пурьскин пожал плечами, и латаная его, перелатаная исподняя рубаха слегка приподнялась на худых ключицах:

— А никак. Главно, головой перед ими не никни. Засмеялся да пошел. А пропасть они и сами найдут.

— А не долго придется ждать?

— А коли и долго?.. С богом в глазах, эти ладят. Льнут один к одному. А с дьяволом, они друг дружку жрут. Много их. Оттого и длинно. Да было бы чего ждать. Как сказывали? Бог долго терпит, да больно бьет.

Странно провел он день!

Укладываясь спать, Котельников подумал, что день этот не оставит времени для обычных его ежевечерних размышлений, однако они пришли тут же, стоило ему заложить руки за голову и притихнуть...

Или что-то заподозрившая Вика разговаривала-таки со Смирновым?

— Давно собирался предупредить, — сказал ему Глеб, когда они сидели вечером дома у Котельникова, пили чай. — Черепные травмы имеют такую особенность: после них возможен невроз... Страхи всевозможные начнутся, неуверенность.

И, пока Котельников глядел на отхлебнувшего из чашки Смирнова, пока сам потом клонился над чашкой, пронеслось: вот он запросто отвечает Глебу, что да, и с ним, пожалуй, случилась такая штука — запало, видишь ли, в голову, будто у них с Викторой что-то есть, будто они обманывают Котельникова, и он теперь никак не может

от этой мысли избавиться...

«Вот видишь, — участливо скажет Глеб, — хорошо, что я с тобой заговорил». Подойдет к двери, позовет негромко: «Виктория!» И, когда придет она, скажет тоже очень обыкновенно: «Игорю кажется, Виктория, что у нас с тобой интрижка, что мы обманываем его. После травмы черепа это бывает, понимаешь, какая штука. А пусть-ка он посмотрит нам в глаза, да и выбросит это из головы. Что это ты, в самом деле, дружок?»

В голосе у него опять не будет ни обиды, ничего такого, а только дружеская забота, а Вика подойдет сзади к сидящему Котельникову, положит руки на грудь, скажет в самое ухо: «Ты что, Игорешка?.. Спятил?»

«Ну, извините, — скажет он, — братцы!..»

И встанет, и обнимет обоих, прижмет к себе двумя руками, а назавтра ему уже на работу можно выходить — по-прежнему станет здоров как бык!

А если будет совсем не так?.. Если он, Котельников, первый не сможет сказать это без фальши в голосе, и его интонация невольно вызовет ответную неискренность Глеба, и все запутается еще больше, и будет не по-мужски.

— С тобой не бывает такого, дружок? — поднял от чашки глаза Смирнов.

— Д-да как тебе, — улыбнулся Котельников и сам обрадовался искренности, с которой звучал у него голос. — Бывает, конечно, кошки на душе и поскребут...

— Эко ты! — такую же дружелюбной улыбкой ответил ему Смирнов. — Это в порядке вещей. Тебе ведь, милый, уже не двадцать. Бывает, и поскребут. Что ж тут?

— А больше вроде бы...

И Котельников плечами пожал: да нет, мол, пока бог миловал!

— Вот и хорошо, — согласился Смирнов.

На крошечный поднос на журнальном столике поставил пустую чашку, откинулся в кресле и поднял палец:

— Относительно кошек. Чтобы они ловили мышей, а не скребли... Не давай себе заскучать. Серьезным делом пока тебе лучше не заниматься, а так... Читай что-нибудь легкое. Ходи в кино. Девчонку себе заведи... А что?

Он, наверное, поймал дрогнувший взгляд Котельникова, оттого так и спросил. А Котельников просто глянул на приоткрытую дверь за спиной у Смирнова: ему не хотелось, чтобы слышала Вика.

— Только не такую, с которой потом хлопот не оберешься. Начнет еще шантажировать... Нет! А такую, чтобы все понимала. Партнершу, если хочешь. У нас недавно лекция... По данным всемирной организации здоровья, наиболее продолжительная активность наблюдается у тех мужчин, которые не ограничиваются только супругой. Да это и естественно: и в смысле психологии — смена впечатлений, и в биологическом смысле — постоянная приспособляемость, обновление организма.

Котельников все-таки встал, прикрыл дверь.

— Я и не заметил, — голосом, запросто простившим себе эту рассеянность, сказал Глеб. — Ну, это мелочи. Пусть Вика слышит. Я ведь ничего такого. А она у тебя образованная женщина... должна понять.

— Сомневаюсь! — качнул головой Котельников и опять себе удивился: очень бодренькая, должно быть, вышла у него улыбка.

— Если сомневаешься, другая статья, — не торопясь рассуждал Глеб. — Тогда жестокая конспирация. Подполье. А если и тебя самого, может быть, смущает простота, с которой я тебе это говорю, тогда пойми: эта твоя девчонка... или одна, или две, сколько их там будет, они не имеют к Вике никакого отношения. Ты ведь не собираешься ей изменять?

— В смысле?

— Уйти к другой... оставить ее с ребятами.

— Д-да нет вроде.

— И славно. А остальное — вопросы мужского здоровья, в которых она, как не чужой тебе человек, тоже должна быть заинтересована. Знай, что это полезно для вас обоих, и пусть это служит тебе оправданием в собственных глазах.

— Индугенция.

— Да, если хочешь.

«К чему был весь этот разговор? — как и в тот вечер, думал опять Котельников. — Или и в самом деле подозревающий о чем-то Глеб хочет примирить его с тем, как оно все это в жизни устроено? Или, чувствующий невольную вину, хочет, чтобы он, Котельников, не остался бы без своей доли украденной этой любви? Все мы одним миром мазаны, мол, — вот видишь!..»

А может быть, он, искренний друг Котельникова, и больше него проживший, и столько успевший повидать, просто делится опытом, просто говорит о том, что сам понял, о чем сам только недавно узнал?

«Всемирная организация здоровья все-таки!» — сам себе в темноте грустно улыбнулся Котельников.

Тот их вечерний разговор за чаем, пожалуй, подлил масла в огонь, и несколько дней потом Котельникова опять одолевали мучительные раздумья. А что, если и Вика рассуждает точно так же: эти самые дела с кем-то другим не имеют, мол, к Котельникову никакого отношения... Ведь не собирается же она ему действительно изменять? В том смысле, который вкладывал в свои слова Глеб Смирнов.

Виктория и всегда следила за собой тщательно, но до сих пор Котельников как-то не придавал этому значения. Может быть, дело было в другом — раньше он ведь только ночевал дома, почти всегда торопился, у

него просто не хватало времени что-либо особенно замечать. К той поре, когда приезжал он, вконец уставший, со стройки, Вика, уложившая детишек, уже успевала с книжкой в руке или у телевизора посидеть с какой-нибудь там медовой или молочного маской на лице, а утром, когда они оттесняя один другого, заглядывали в зеркало, каждый из них торопливо глядел только на себя... Теперь же вся эта мощная индустрия женской красоты обрушилась на Котельникова во всем ее удивительном разнообразии, и он, сидевший дома и вечер, и утро, с невольной грустью думал, что видит, в общем-то, только сам процесс преобразования Вики... Процесс этот длится до той последней минуты, когда она уже стоит у порога, а там ее, уже совершенно иную, видит не Котельников, остающийся дома в продранных на коленях спортивных брюках да в стоптанных шлепанцах, — видит кто-то другой...

Возвращаясь к разговору со Смирновым, он подумал: хорошо, а если, предположим, возьмет он, да и махнет на все рукой, да и заведет себе действительно зазубу?.. Гаранин, которому в этом смысле, кажется, не очень везет, иногда под настроение, приняв молодецкую позу и подкручивая несуществующий ус, изречет: куда, мол, нам, гусарам, завлекать — нам бы только отбиться! Так вот, предположим, перестанет Котельников отбиваться... Не начнется ли тогда у них с Викой та самая банальная история: она — в одну сторону, он — в другую. Сколько его друзей или хороших знакомых давно уже так и живут: потихоньку прощают женам, потому что жены прощают им.

Заранее зная, что не в том он сейчас состоянье души, чтобы за кем-то волочиться, Котельников, тем не менее помня разговор свой со Смирновым, чаще теперь посматривал и на сверстниц на своих, и больше, разумеется, на девчат гораздо моложе, — посматривал, как бы спрашивая себя: а мог бы ты, в самом деле, с кем-то из них утешиться?

Однажды, когда он был в городе и, покончив с делами, уже неторопливо шел по проспекту Metallургов, в толпе, которая вывалила из набитого трамвая, Котельников увидел молодую женщину... На секунду приостановившись, чтобы дать кому-то дорогу, она медленным и плавным жестом поправила пышные волосы и одновременно словно стряхнула с себя что-то, мешавшее ей там, в тесноте трамвая.

Котельников увидел с особенным каким-то достоинством слегка приподнятый подбородок, увидел шею и край щеки, потом она отвернулась совсем, пошла по улице, и в свободной ее, не без гордости осанке, в четкой, словно подчеркивающей красоту классических ног походке было тоже столько достоинства, что Котельников на миг перестал дышать, невольно вытягивая шею и вглядываясь...

Бывает, мелькнет в толпе женское лицо, только на миг остановятся на тебе задумчивые глаза, однако ты каким-то чутьем поймешь: та женщина, с какою ты был бы счастлив, та самая, увидев которую впервые, ты можешь, однако, поклясться, что знаешь ее всю жизнь, и всю жизнь любишь, и ждешь.

Но тронулись поезда, разминулись автобусы, захлопнулись двери...

И ты, раздумывавший на какую-то секунду дольше, чем надо бы, не увидишь ее, — может быть, и в самом деле единственную на свете — больше нигде и никогда.

Прибавивший шаг, обогнавший и одного и другого Котельников судорожно решал, что бы ему такое сказать, когда он догонит женщину. Об остальном он сейчас раздумывал меньше всего. Это была женщина, за которой он пошел бы на край света, и обо всем другом сейчас он просто забыл.

Сердце у него стучало, под кожей на висках что-то словно приподнялось, и он ощутил в себе шумящий ток тугой и горячей крови. Прочищая горло, и раз и другой он глухо кашлянул, прибавил шаг еще и тут, когда женщина мельком посмотрела направо, увидел ее лицо...

Вика была.

Сперва он приостановился, и за этот миг, пока он широко открытыми глазами смотрел ей вслед, у него не только странно дрогнули ноги, но и что-то случилось с горлом.

— Девушка! — позвал он громко, как бы желая теперь превратить все в шутку. — Вас можно?

И не узнал своего голоса.

Вика тоже не узнала — она только выше приподняла голову, и походка ее сделалась еще независимей... Будет она, действительно, оглядываться. Много чести!

Сейчас, глядя в темный потолок, он снова припомнил, как пораженный стоял тогда посреди улицы, и ему опять стало и чуть стыдно, и стало радостно. Причем тут, в самом деле, всемирная организация здоровья и все другие комитеты ООН, если он горячо любил только эту женщину, только Вика? Свою жену.

Но разве это значит, что он и дальше будет терпеть обман? Вика, Вика!..

А Глеб? Раньше Котельникову казалось, Смирнов из тех, для кого неписанные законы дружбы превыше всего остального на белом свете... Или всякий их толкует по-разному? Или когда-то приходит срок, когда, разуверившись во многом, человек снимает с себя и эту последнюю обязанность — не предавать друзей?

Когда Котельников возвращался с юга, из санатория, то в Толмачеве разыскал Петра. Тот обрадовался, пообещал выкроить минуту, чтобы вместе пообедать, они пошли в ресторан, и там за служебным аэрофлотским столиком тот вдруг задумался, надолго затих, грустно потом сказал Котельникову:

— Какая, слушай, беспощадная штука — жизнь! Ну, ты обо всем, что называется, из первых рук... Я ведь тогда, в лагере, ни о чем таком не просил Глеба, на коленях перед ним не ползал. Просто помирал потихоньку. Ни сват и ни брат ему. Незнакомый человек. Только и того, что русский. И он месяц не ел, все мне отдавал... Ты только вдумайся: месяц! А в тот вечер, когда меня провозжали в Сталегорске, ты помнишь? Дай мне, говорю, пожалуйста, рубля три. Вдруг придется такси... Мало ли! Он покопался в кошельке, жмет плечами: не могу, говорит, тройки нет — у меня только пятерка...

Котельников, уже оставивший тогда их одних, видел, как, что-то говоря, наклонился с подножки Петр, как порывшись в карманах Смирнов, как потом, когда поезд уже тронулся, один протягивал из вагона ладонь, а другой, торопясь по перрону следом, все только разводил руками...

— Так и не дал?

Щуплый, седенький Петр сгорбился над столом, стал, кажется, еще меньше:

— У меня только пятерка, кричит... Тройки нет!..

Ну что ж, подумал теперь Котельников, жизнь и в самом деле жестокая штука, это простоты никак не хочешь понять, вот в чем дело, ты пенек увидишь ночью в тайге обочь дороги, фары выхватят на секунду, а тебе потом кажется, это мальчик просил подвезти, тянул руку, и если в «газике» битком, и вы вдруг и в самом деле оставите кого-то на холодной зимней дороге, ребята через минуту забыли, а у тебя сердце щемит неделю, это потому, что ты — подранок, со своею этой застывшею от натуги улыбкой, которая должна тебя подбодрить, жалкий подранок, с этим фанерным самолетом, который никуда не летит... Может быть, и достоинство твое — это штука, которую ты выдумал, чтобы хоть чем-то себя утешить?

Зеленый самолет стоял на полянке около пасеки и не хотел улетать. Молодой пилот сидел на нижнем крыле, шлем лежал у него на коленях, ветер трепал волосы, и лицо у него было безразличное...

Но ведь недаром же он прошел войну и многое научился понимать. И Котельников наконец уговорил-таки, пилот надел шлем, прыгнул в кабину и поднял руку, только глаза у него отчего-то были грустные.

Маленький самолет опять понесся над кромкою бескрайнего леса, и Котельников бросился за ним вслед.

7

Проснулся он поздно, долго еще лежал, искоса глядел, как свисавшею до пола тюлевой занавеской играет котенок, слушал голоса в горнице и не слушал...

Ребята были уже за столом, но раскачаться, видимо, еще не успели, разговор то и дело прерывался.

— Ну, крепачка ты вчера выставил, — глухо бубнил Гаранин, и Котельникову казалось, что он поглаживает при этом опухшее свое лицо. — Крепачка-а...

— Не скажи, Порфирьич, — извинялся пасечник. — Не удалась!

«Предатель, — равнодушно подумал Котельников. — Иуда».

Привстав, он убрал из-под головы телогрейку, подвинулся к стенке, оперся спиной и руки сложил замком на колене.

Прямо перед ним за столом, обнявшись, сидели Гаранин с пасечником, и глаза у обоих были уже маслянистые.

— Давай-ка, Андреич, за стол, — кивнул опять уже сидевший с вилкой в руке Уздеев.

Пасечник отлип от Гаранина.

— Игоречек проснулся! Ну, как тебе спалось, Игоречек? Храпели тут небось, крыша подымалась...

Он вдруг подумал, что сидит так, как сидел вчера ночью старик. Встал, взял с табуретки одежду, пошел на кухню.

Дверь в зимовейке была открыта. Печка не топилась. То, на чем спал старик да чем укрывался, аккуратно лежало свернутым на краю лавки, а самого Пурыскина не было, и не было в зимовейке ничего, что осталось бы после него, даже запаха.

Котельников остановился посреди двора и долго смотрел на выставившие, с прихваченными морозцем верхушками синие валы...

В комнате он спросил, где Растихин. Гаранин перестал доказывать пасечнику, какую можно рядом с избой поставить на взгорке красивую церковь с колокольней, глянул на Котельникова:

— Профессора, они, брат, не похмеляются...

Уздеев к этому времени уже успел прожевать:

— В академии им не велят.

— А где Алешка?

— Пошли вдвоем. Побродить.

Пасечник положил руку на плечо Гаранину:

— А оно, ежели хорошенько подумать, какая это опохмелка? Такой медовушкой-то... Первый сорт. Высший, можно сказать.

— Таковую не пить! — многозначительно начал Уздеев.

И Витя Погорелов, склонивший нос над пол-литровой кружкой, радостно поддержал:

— Только целовать!

— Для самолучших друзей, что ты... Свояк у меня. Когда придет... Ну, говорит, братка, угощай!

Котельников отвернулся. Припомнилось, как сидели они вчера друг против друга, пасечник и старик охотник, вели этот спор, и он подумал, что спору этому куда больше лет, чем пасечнику, больше, чем старику, что начался он давно и продолжается сейчас, когда один из них уже шагал по тропе, а другой, обнявшись, сидел за столом, и будет продолжаться еще много лет, когда не будет уже старика, не будет пасечника, не будет его, Котельникова, ни сыновей его не будет, ни внуков, ни может быть, правнуков...

— Мы когда трогаемся?

- А все в наших руках.
- Поброжу до обеда.
- Перекусил бы, Игорек! — приподнялся пасечник. — Маковой росиночки...
- Вчерашним сыт.

— Что было вчера, то там и осталось, — хитренько подмигнул ему пасечник. — А нынче бог дал новый день — должен дать и пищу!

Накануне приезда друзей Котельников купил у пасечника ведро меда и заранее упаковал в большом своем рюкзаке: обвязал поверх крышки полиэтиленовой пленкой и, чтобы не давило, подложил под спинку все, какие были не нужны ему, мягкие вещи. Теперь, когда бродил по тайге только для того, чтобы не сидеть в избе да не видеть хозяина, он все раздумывал, как быть ему с этим медом. То, что он не возьмет его, это факт. Однако выставь при всех, и начнется: зачем да почему... Может быть, вытащить потихоньку, оставить где-либо в уголке, и черт с ними, с деньгами, пусть эта сволочь потом найдет мед, и хоть этим ты его не проймешь, бог с ним, спасибо, уж как-нибудь и без вашего меда!

Вернувшись на пасеку, он первым делом направился к своему рюкзаку, однако на веранде, где оставлял его, рюкзака не было и не было нигде.

В горнице то ли еще не вставали из-за стола, то ли успели засесть опять. Стол был заставлен грязной посудой, завален рыбьими косточками, среди которых виднелись раздавленные окурки, залит медовухой, и все сидели, отвалившись от него, даже Уздеев уже не жевал, а подкармливал Алешку, который, видимо, только вернулся.

Котельникова тоже стали усаживать, пасечник отыскал чистую тарелку и, прижимая к измазанному сажей пиджаку чугунок с остатками зайчатины, стал накладывать.

— Профессор не вернулся?

— По-дался! — терся около Котельникова пасечник. — Рюкзак я ему помог надеть — побежа-ал!

Он не удержался, спросил:

— Какой рюкзак?

— А твой. С медком.

Котельников и раньше, когда им приходилось бывать вместе, замечал, как вроде бы между прочим, вроде с шуточкой, Растихин постоянно заботился о нем: то отберет что-нибудь тяжелое, то пересадит на место поудобней.

Котельников повернулся к Уздееву.

— Давно ушел?

Пасечник все выскребал чугунок:

— А с полчаса.

Котельников глядел на Уздеева:

— Ты пробовал поднять? Он же тяжелей самого Растихина!

— Андреич? — возмутился Уздеев. — А кто видел? Только сейчас вот узнал. Не догонять же!

— Ладно, братцы. — Котельников поднялся из-за стола. — Буду вас тоже около «газика» ждать...

— Не догонишь ты его! — Уздеев вышел вслед за ним на крыльцо. — Он теперь знаешь где? Да оставь тогда ружье, оставь, забери...

Спускаясь с бугра, Котельников поглядывал вокруг, словно жалея, что в эти места он больше, пожалуй, не вернется...

По-прежнему держался над тайгой мороз, стлы дали, в синих распадках копилась хмарь, но поседевшие за ночь серые травы слегка отволгли, отсырели остекленевшие деревья, потемнели озябшие кустарники, и смерзшаяся грязь на тропе еще больше почернела и маслянисто поблескивала.

Как только опустилась за бугор новая, рубленая в лапу пасечникова изба, как только пропала поникшая над ней старая ветла, Котельников побежал, и матовый, похожий рисунком на птичьи перья ледок, затянувший ямки от человеческих следов да от копыт, густо захрустел у него под сапогами.

Остро ощущая в груди морозный воздух, входя в ритм, он то глядел по сторонам, где среди потемневших трав, среди покрытых крупной порошей истлевающих листьев подрагивали и медленно отступали назад голые ветки тальников, белые, с кружевом черных трещин стволы берез, по-прежнему темно-зеленые ели, а то смотрел на тропу, взглядом отыскивая следы Растихина, и крошечные эти следы и умиляли, и разом огорчали Котельникова, он чувствовал, как с каждым его мерным прыжком, с каждым вздохом в нем словно прибавлялось нежности к этому недавно совсем еще незнакомому человеку...

Рюкзак, и верно, тяжелее небось его самого; ишь ты, думал, нашелся помощник, что ж, ты думаешь, Котельников и это уже не в состоянии? То на кафедре, к нему, видишь, когда толком и в себя еще не пришел, а то он за тебя и мед потащит, черт с ним, с этим медом, черт с ним, с пасечником, а хорошо, что где-то там ты ковыляешь сейчас с этим мешком, что я за тобой бегу, посмотреть бы со стороны, так быстро, пожалуй, не стоило бы, ну да ничего, нагрузки повышать пора, не каждый день бежишь за профессором, чтобы отобрать у него мешок с медом, пора нагрузки, пора, нечего тебе сиднем, осень какая в этом году стоит, какая долгая осень, неужели ты так и не останавливался отдохнуть, по следам не видно, ах ты, профессор, профессор, как тебе вчера плохо, а сегодня пить не стал, потащил, будь он неладен, этот рюкзак, это моя бабушка так всегда говорила, надо было еще утром выставить из него ведро, — где ты там, почему не остановишься, где?

Растихина он увидел, когда перебрался наконец через мочаги и вышел к речке. Опираясь на толстую палку,

наклонясь вперед, тот на одной ноге стоял на середине длинного переката, а вторую, согнутую в колене, приподнимал над водой. Светлый бурун поигрывал около палки, другой бился около колена, зато второй сапог у Растихина оставался сухой.

— Так и прыгал на одной ножке?

— Пробил на неделе, а заклеить не соберусь...

Он взялся за лямки на плече у Растихина:

— Давай!

— Ну во-от! — Светлые глазки Растихина моргнули под очками, детские губы обиженно вытянулись, но он тут же улыбнулся, обнажив мелкие и ровные, словно фарфоровые зубки. — Думаете небось: Растихин недомерок, и куда ему с рюкзаком? А мне, может, самому себе хочется доказать...

— Ладно, ладно, — ворчал Котельников, одну за другой надевая лямки и освобождая Растихина. — Комплекс у него! Не прикидывайся.

Он первый шагнул к берегу, и Растихин тихонько рассмеялся у него за спиной. Котельников обернулся, спросил кивком: что, мол?

Растихин перестал прыгать, опять оперся на свой посох.

— Боялся, обратно пойдешь.

— В том и дело, — Котельников помрачнел, — надо было тебе!

Опять пошел к берегу, и галька грузла у него под потяжелевшими сапогами, шумела внизу вода, раздавался негромкий плеск позади, когда, повисая на палке, прыгал, как мальчишка, Растихин.

Он поправил резавшие лямки:

— Может, обопрешься?

Растихин все смеялся позади, детское личико его так и лучилось светлой, любимшей Котельникова улыбкой.

«А что, если так прямо и спросить? — пронеслось у Котельникова. — А правда, что эти, на старом заводе, знали о просчете московских спецов с проушинами? И промолчали!..»

— При чем, скажи мне, цветы? — смеялся Растихин. — При чем травы?

И Котельников приподнял подбородок над оттягивающей плечо ляжкой, глянул искоса: не много ли тот знает?

— При чем, скажи, Зосима и Савватий?

Он опять обернулся, глянул недоверчиво:

— А это еще кто?

— Покровители пчел.

«Расскажу ему сейчас о старике», — подумал Котельников, ступая на берег и оборачиваясь.

Зябли на другой стороне голые кустарники, безмолвно стыли меж ними заострившиеся на морозце пики елей, а внизу торопливо неслась река, и от черной стремительной воды ее несло холодами и близким снегом...

...И снова потом теплый городской дом оставался для него лишь воспоминаньем, а вокруг были уже иные места...

Гусиный гурт чернел на середине поля.

Осторожно приподнимая голову, выглядывая из-за низенькой, оплывшей копны, Котельников уже хорошо различал среди серебристой от изморози стерни выгнутые серые шеи и красно-желтые, короткими морковками, клювы, видел дымчатые крутые грудки и плотные темноперые бока...

Птицы привставали, переходили с места на место, присаживались, покачивая боками, опять потом в глубине стаи какая-то коротко гагакнула, и этот мирный нутряной звук остро напомнил ему вдруг бабушкин дом, как она зарезала на праздники гуся. Котельников помогал его ощипывать, и бабушка, когда достала потрошки, отдала ему горло, он целый день потом дудел в эту гибкую, из хрящеватых колечек трубку... Мгновенное это воспоминание, до того отчетливое, что он, кажется, ощутил даже горячий дух кипятком ошпаренных перьев, наполнило Котельникова чем-то не только давним, но будто древним, и, опять опуская голову и приникая к подножью копны, он жадно вдохнул колкий запах мерзлой земли и умерших, опустевших в середке стеблей.

Глаза пощипывало от пота, и, опять собираясь ползти, он потерялся горячим лбом о руку в шерстяной варежке, туда-сюда провел по ней носом, и крошечная капля упала на прокаленный холодом ствол ружья...

Когда заметил, что стая снижается, Котельников сперва побежал, потом кустарники закончились, и он долго полз от одной копешки к другой. Опуская голову, всякий раз боялся увидеть в следующий миг, что гуси поднялись, но они все оставались на земле, еще с десятков метров, и можно бить.

Около последней, какую он себе наметил, копны Котельников полежал, осторожно поглядывая одним глазком, прикидывая расстояние, потом повернулся на левый бок и так, схоронясь, прикрывая замок ружья варежкой, чтобы приглушить тихий, но очень четкий шелчок, взвел тугие курки.

Теперь оставалось только прицелиться, и, еще не поднимая головы, он поерзал, чтобы поудобней

устроиться, слегка разбросал ноги, боком поворачивая ступни, прижимая пятки к земле, и в том, как, основательно и не торопясь, он это проделал, был как бы залог удачи.

Стволы поднимал он медленно и сперва на всякий случай нащупал центр стаи, но гуси мирно продолжали сидеть, и тогда он туда и сюда повел ружьем, выбирая птицу покрасивей и покрупнее...

Все было сделано как надо, Котельников наверняка знал, что попадет. Старинное его ружье недаром называлось «гусятницей», из восемнадцати картечин в газетный лист за сотню метров он всаживал обычно половину, и он имел право на этот выстрел — вон сколько всякой животины пощадил перед этим.

Гусь, в которого он целил, приподнялся на лапах, туго забил крыльями, и миг, когда эти два с исподу белых крыла широко раскинулись посреди темно-серой стаи, был самый удобный для выстрела, но Котельников пропустил его. Сердце у него толкнулось, он вдруг и радостно и грустно подумал: где только не носили птицу эти два крыла — над всей Сибирью, над Монголией, Гималаями, Гангом, а потом с опрокинутой на полу длинной шеей будет она лежать в прихожей у Котельникова, и Ванюшка с Гришей станут растягивать крылья и удивляться длине, а после Вика вытащит гуся из духовки, понесет к столу, и, глядя на истекающие жиром, поджаренные бока, гости начнут хвалебные слова говорить удачливому на охоте хозяину...

Он уже потихоньку нажимал на тугой крючок, когда будто против его воли раздался громкий, похожий на тот, с каким откупоривают бутылку с тугой пробкой, щелчок, — когда-то, еще в студенчестве, Котельников умел прищелкнуть губами так, что друзья оборачивались за два квартала.

Гусиный сторож раздельно и пронзительно ударил через нос: «Къ-эгек!..»

Стая отчаянно загоготала, забила крыльями, залопотала по стерне, и вскочивший с земли Котельников кинулся вслед за ней, в правой поднимая ружье, взмахивая руками.

Гуси полетели на него, но тут же стали ложиться на крыло, косо разворачиваться, забирать вверх и понеслись обратно — прямо над собой Котельников услышал тугой мах, и разгоряченного лица его коснулось разбавленное холодком высоты живое птичье тепло.

— Прилетайте, ребята! — заорал он, опять поднимая руки с ружьем. — Прилетай-ай-те!

Когда они были далеко, когда уже, наверное, огляделись и пересчитали друг дружку, он дважды выстрелил вверх, и тяжелое ружье раз за разом рванулось у него в руке.

Из опустевшей, сразу притихшей после выстрелов осенней высоты медленно пронеслось к земле легонькое белое перо. Разгоряченный Котельников успел подставить руку, поймал и долго, отрешенно смотрел на него, словно хотел понять что-то в самом себе.

Снег повалил вечером, густо лепил сутки, и, когда наконец прояснилось, деревенька лежала притихшая, вся в горбатых сугробах. Белым были засыпаны постройки, поленицы, собачьи будки, стожки, и в сумерках, когда они с хозяином пошли за вениками для бани, Котельников замер посреди двора и долго так стоял, глядя на высокие, столбами, витые дымы над мирными избами, на теплые огоньки в редких окнах.

Хозяина он увидел, когда тот нырнул под жердину в прясле на дальнем конце огорода, заспешил за ним следом.

Между огородами и окраиной тайги тянулись белые, в ровных стожках поляны, и тут Котельников снова оглянулся, чтобы увидеть разом и всю небольшую деревеньку, сокровенно тихую в этот синий вечерний час, и подступавшие к ней глухие леса, тоже теперь засыпанные бескрайними, сказочными снегами...

Хозяин стоял около стожка, глядел на глубокий развал, который тянулся за ними следом:

— За один снег так убродно. Ровно лоси прошли.

Котельников ему улыбнулся:

— Ты говорил, за вениками?

— А за вениками и есть.

Голой ладонью стал огревать бок стожка, и Котельников, еще ничего не сообразивши, тоже снял варежку и принялся осыпать снег.

— Из тебя, Андреич, добрый крестьянин вышел бы.

Он остановился, вглядываясь в широкое, с косыми скулами лицо хозяина:

— Это, интересно, почему?

— А ты никогда без дела рядом не стоишь. Помогать сразу хватаешься.

Краем он вспомнил стройку, вспомнил этого волкодава, бригадира высотников Шишкарева, который новичков так испытывает: велит всем шабашить, а когда уже сидят, курят себе, прикажет кому из своих монтажников что-нибудь перенести либо передвинуть. И если ты при этом плечо подставить не бросился — вся любовь. Пусть даже мама родила тебя на отметке сто, разговор у Шишкарева короткий: этого не возьму — не свой.

Котельникову легкая и как будто очень далекая грусть тронула душу:

— Это у меня от монтажников, Филиппович.

Сказал между прочим, но тот поднял голову, и в задумчивых глазах у него мелькнуло любопытство:

— Говоришь, от монтажников?

И то, что уже готово было остаться позади, вдруг вернулось к Котельникову, на миг сжало сердце, а когда отпустило, то с тугим толчком он ощутил обвалом нарастающий шум большой стройки — лязг, скрежет, грохот, стук, сип, жужжанье, пофыркивание, шипенье... С верхних конструкций сыпанули брызги огня, на бетонном полу заискрился кабель дернулся под ногами, чиркнул по куртке на плече электродный огарок, — у каждого специально для огарков мешочек на поясе, бригадиры проверяют, чтоб был, — нет, швырнули опять, узнать,

интересно, — кто?!

Видение пронеслось, как проносится мимо по асфальту обдавшая разорванным воздухом машина, и Котельников стоял, будто прислушиваясь к затихающему вдали шелестению...

Филиппович глубоко вогнал в хрусткое сено костыль, обеими руками стал приподнимать верх стожка.

— Доставай потихоньку!

Сперва Котельников различил только перевязанный шпагатом пучок прутьев и только потом, когда осторожно приподнял его, увидел весь веник — разлатьй, совершенно расплющенный, но, несмотря на это, тугой и толстый.

Крепко запахло увядшими березовыми листьями, свежим сеном, и Котельников приподнял веник, невольно подался к нему лицом, стараясь уловить еще какой-то, словно бы скрытый в глубине знакомый запах:

— Хороший у тебя пресс!

Филиппович, присмотревшись, снова приставил костыль к боку стожка:

— Пресс — это одна статья...

Опять стала клониться заснеженная верхушка, и Котельников заранее протянул руку:

— А другая?

Подпирая край костыля еще и плечом, тот повел подбородком на второй веник:

— А пусть-ка он тебе в баньке сам...

Баня у Филипповича была в чести — об этом Котельников подумал еще накануне, когда вместе с хозяином ходил поглядеть на жар. Ладно срубленная, просторная, примыкала она к большой летней кухне, очень чистой и даже как будто уютной — от цветных, наполовину раздернутых занавесок на окнах, от аккуратно постеленных на крашеном полу домотканых половиков.

Теперь Филиппович освободил и пододвинул поближе широкую и длинную лавку, свел вместе верхние да нижние концы занавесок, и Котельников стал не торопясь раздеваться, а он еще сходил в сенцы, принес большой ворох золотистой, спелой соломы, растряс его, разбросал между лавкою и той стенкой, где густые малиновые полосы очерчивали дверцу на топке бани. Опустившись на одно колено, долго разравнивал подстилку, приминал ее ладонью, щупая, мягко ли, потом вышел в сенцы и принес соломы еще.

Во всех этих приготовлениях, смысл которых не сразу доходил до него, словно была своя тайна, и разгадки ее Котельников ожидал и терпеливо, и отчего-то празднично.

Он уже разделся, ждал хозяина, и тот нагишом сходил к подоконнику, принес Котельникову толсто вязанную шапочку, а сам, огладив светлые волосы, надел темно-синий колпак из фетра.

— Вот это, Андреич, что осталось от города. Шляпа, и то не вся...

В голосе у него не было сожаления, и Котельников только улыбнулся — тоже, пожалуй, чуть-чуть насмешливо.

Историю Филипповича узнал он еще в первый вечер, когда привезший его Уздеев уже укатил, а они все сидели и сидели за столом втроем — он, Котельников, да хозяин с женой.

Котельников невольно поглядывал на косой, в синеватых крапинках рубец, который рассекал край белесой брови и прятался под прической на виске у Филипповича, и тот дружески спросил:

— Что, Андреич, на прописку на мою смотришь?

Жена его, Таисия Михайловна, полная, с румяными щеками и певучим голосом, стала рассказывать, что жили они тоже в Сталегорске и Филиппович работал на шахте, передовик был и получал хорошо, уже машину собирались купить, но тут случилась авария, сломало его под землей, и год или два потом он все ходил по врачам, надоело, мочи нет, и толку никакого, — тут он и вспомнил, что и дед, и отец его были всю жизнь лесничими... На те деньги, что отложили на машину, купили они в деревне хороший пятистенок, да и пошел Анатолий Филиппович егерем. С тех пор одиннадцатый год, как живут не тужат, детей вырастили, остался только один, последний, в городском интернате, в этом году десятый заканчивает... А Филиппович ничего, отошел, на здоровье сейчас грех жаловаться, и сам себя вылечил, и кого другого, если возьмется, поставит на ноги, потому что характер у него такой — лесной, упрямый...

При последних этих словах Филиппович все чаще кивал, широкоскулое лицо его стало очень серьезное, даже как будто значительное, но потом вдруг зажглось молодой улыбкой, и, посмотрев на Котельникова так долго, будто хотел убедиться, что тот запомнит все правильно, сказал мягко:

— Она меня спасла!

Таисия Михайловна вскинулась так, словно впервые это слышала:

— При чем тут, Анатолий Филиппыч? Ты сам!

И он, чему-то тихому, одному ему, пожалуй, известному, улыбнулся, поглядел теперь долго на нее, обнял за плечи и седеющие волосы на виске тронул косым своим подбородком:

— Сугревушка моя теплая!

Сколько ни присматривался потом Котельников, все у них было добром да ладом, он вскоре стал замечать, что ему нравится быть с ними — около них словно отдыхал душой, словно набирался и спокойствия, и веры...

— С медком, Андреич? Париться будем. Или с квасом?

Он чуток подумал, ничего при этом не вспомнил и только пожал плечом:

— Может, с квасом?

— Ну, полезай, погрейся.

Банька хорошо выстоялась, в ней держалось ровное и сухое тепло, которое здесь, на верхнем полке, плотно

охватило Котельникова, нагрело сперва кожу и разом проникло сквозь нее — плечами и спиной он вдруг ощутил этот сладко кольнувший миг... Замер, к самому себе прислушиваясь, а внутри у него еще что-то отогрелось, отомкнулось, ослабло, и благостное это тепло шевельнулось уже гораздо глубже, стало копиться там, ступило дальше.

Сперва он обеими руками вцепился было в толстый край горячей лиственницы под собою, но теперь плечи у него уже одно за другим опустились, расслабилась спина, разжались пальцы — весь он словно оплывал и подтаивал...

— Как ты там?

Он только протянул нараспев:

— Филип-пови-и-ич!..

Веники уже распластались в двух широких тазах на выскобленной добела скамейке, над ними послушно вис тонкий парок... Из потемневшего, чуть подкрашенного зеленью кипятка Филиппович вытащил один, положил на полок рядом с Котельниковым, и тот не удержался, взял. Веник ярко отсвечивал щедрым весенним цветом, каждый его острый листок был упруг и словно еще продолжал жить на разбухшей от тугого сока земли светло-коричневой веточке; всякая из них, казалось, только что была сломлена и мокрая лишь оттого, что не просохла после шального дождя.

Котельников сунулся лицом, ловя кутающий веник еле заметный парок, и ему захотелось закрыть глаза, он закрыл, нетуго зажмурился, снова окунаясь носом, щеками, лбом в жаркую, мягко липнущую листву, и ноздри ему опять обжег горячий дух летним зноем распаренных трав, что-то такое пронеслось, ярко осветившись на миг: буйная от разноцветья, от шевеленья солнечных пятен поляна под раскидистой белой березкой... густой шмелиный гуд... теплый ветер.

Филиппович, выливший в таз кваску, теперь помешивал ковшиком, чуть исподлобья глядел на Котельникова с дружеским, внимательным любопытством:

— Ну как?..

Не отвечая, тот опять зарылся лицом в разомлевшее нутро веника.

— Принимай, Андреич, парок!

Отступив от печки на шаг, Филиппович коротко махнул ковшиком, и каменка отозвалась глухим пыхом, сухая и жаркая волна толкнула в стенку напротив, по кругу пошла под деревянным потолком, разом накатила, и Котельников сперва чуть пригнулся, но тут же ему, уже поймавшему жадными ноздрями густой ржаной запах, захотелось выпрямиться, и он осторожно поднял голову, ощущая, как тонко палит внизу крылья носа и самый его кончик, вытянул шею, открывая рот и сглатывая этот обжигающий, похожий на полыхнувший из духовки с прокаленными сухарями воздух...

Подбросив еще ковшик, Филиппович присел рядом.

— Гуси твои, Андреич, из головы не выходят...

Задохнувшийся Котельников уже хотел было скользнуть вниз, но эта мирная интонация, с какою заговорил хозяин, невольно остановила его, он только пошире расставил ступни и угнул голову, попытался искоса глянуть снизу.

— Больно поздно для дикарей... Может, все же — домашние?

Выпрямляясь, он прикрыл ладонью огнем горевший сосок:

— Филиппович?!

Тот сидел еще совершенно сухой, только мелкая испарина проступила на выпуклом лбу у края фетровой шапочки:

— Ну-ну... Значит, что-то важное задержало их... Крайность какая... Так они на Никиту-гусепролета, это больше месяца назад, в сентябре. Что их такое могло?

— И разве бы домашние взлетели, если сделать губами?..

— Как бы не накрыли где холода.

— Ну я, Филиппович, напереживался! Сердце до сих пор не отошло.

— Попаришься, все как рукой... Как тебе парок?

Чуть растопырив локти, Котельников положил руки на колени, так что ослабевшие кисти остались висеть между расставленными ногами, уронил голову и только шевельнул ею слегка.

— Ты, если что, не стесняйся вниз, необязательно наверху, а сюда потом, когда веничком тебя буду...

Котельникову нечем стало дышать, был миг, когда ему показалось, не выдержит жара, провалится в обморок, упадет с полка, но, странное дело, за этой добровольно принимаемой мукой он словно угадывал впереди освобождение не только от нее, но еще и от чего-то другого, от чего ему давно уже очень надо было освободиться, и он упорно продолжал сидеть, все накаляясь, все набирая телом этого благостного ржаного тепла...

— Ну-ка, Андреич, ложись!

Голос дошел до него с опозданием, словно очень издалека, он начал медленно привставать, и раз и другой к полку примерился и только потом лег, слегка попятился на горячей доске, подался от края назад, в угол пятками и, невольно напрягши спину, затих.

Филиппович положил ему руку между лопаток, пониже шеи:

— Думаешь, бить буду?.. А ты не жди. Ты, Андреич, поникни... Совсем пропади.

Мягко повел по спине рукой, и что-то такое в Котельникове ослабло, разжался главный, вбиравший в себя

всю волю его, комочек, и вслед за ним доверчиво, там и здесь, разжиматься стали, слабеть и мякнуть мышцы, словно их лишили вдруг напряжения, разом отключили.

Краем глаза Котельников уловил замах, но веник пронесся над ним, не коснувшись, а только обдав его, разом опалив тугою волной проникшего сквозь кожу тепла. Сладко прошли тело тысячи мельчайших иголок, замерли в нем на миг, от следующего взмаха проникли глубже, кольнули и мучительней, и вместе нежней...

— Совсем, Андреич, поникни...

А его уже будто и не было совсем, были только мигом живущие, тут же таявшие, подмывающие душу мурашки...

Он долго потом приходил в себя, лежа на соломе, постепенно возвращались к нему силы, из таинственной, дающей отдых и спокойствие глубины неспешно выплывало сознание, делалось яснее и четче, и, приподняв голову, подставив под щеку ладонь на подрагивающей, грозившей съехать набок руке и глядя из-под полуприщуренных тяжелых ресниц на цветные занавески, на темное, с отпечатком электрической лампочки над ними стекло, Котельников вдруг невольно улыбнулся тому, что, выпавший из стремительных, как скорый поезд, будней стройки, развалился тут нагишом на полу посреди летней кухоньки, блаженствует в крошечной этой, тихой и чистой деревеньке, в которой не слышно ни железного лязга, ни дробного рокота моторов, ни подташнивающего запаха горючки, — последнюю, какую он тут видел, машиной был привезший его сюда управленческий «газик»... Мир вокруг опять вдруг потерял реальность, и странным ему показалось и собственное житье здесь, и неторопливые, за вечерним чаем рассказы Филипповича... Что, и правда, будто самая горячая пора начинается тут у людей поздней осенью, когда городское начальство средней руки едет сюда бить из-под фар зайчишку? Филиппович говорит, председатели двух-трех соседних колхозов организуют тогда летучие отряды на мотоциклах да на «козликах», браконьеров ловят за трудодни, ведут в поселковый Совет, где Советская власть дежурит по этому поводу круглосуточно, составляют здесь протоколы, увозят в сельский райком, и туда потом начинается паломничество, смысл которого для района в некотором отношении важней, чем уборка, предположим, картошки... «Нехорошо, Пал Максимыч, получается, очень, как видите, нехорошо!.. Что ж это выходит? Разорять село все мы мастера — это вот коснись дело помощи... Третий год ферму не можем достроить, молокозавод стоит, нет металла для монтажа, — думаете, кто помог? Вы, говорите, помочь нам могли бы?.. Что ж, тут надо подумать!»

Хитрую эту игру с вымогательством стройматериалов для села завел будто бы один здешний председатель, мужичок до крайности оборотистый, а всячески поддерживал ее Прокопенко, бывший секретарь Сталегорского сельского райкома. После громкого персонального дела два года назад его сняли и вместе с молодой женой, из-за которой он пострадал, Прокопенко переехал на Авдеевскую, пошел к монтажникам заместителем по быту. Дело было для него незнакомое, осваивался Прокопенко с трудом, но держаться с первого дня пытался уверенно. Снабженцу, спросившему, будут ли они дополнительно заказывать пропан-бутан, ответил рассудительно: «Будем-то оно будем, да только что именно? Пропан в самом деле? Или лучше — бутан? Давай-ка так: что дешевле, то на этот раз и закажем...»

До того как он пришел в управление, Котельников сталкивался с ним только однажды. Как-то на краю поля в подшефном колхозе, когда монтажники убрали капусту, произошел между ними короткий и злой разговор. Котельников тогда потребовал, чтобы вернулся с утра уехавший домой на «Беларуси» с тележкой тракторист, и Прокопенко, сделав руки в боки и натужившись, хрипло выкрикнул: «Ты что ж, мил друг?! Ты думаешь, что у селян нету никаких других забот, кроме этой капусты?» А в прошлом году, когда они с Уздеевым шли по гаражу, Котельников увидел странный какой-то механизм и молча поглядел на начальника участка: а это, мол, что за чудо! «У зама-то у нашего башка варит, — рассмеялся Уздеев. — Давай-ка, говорит, приобретем пару картофелекопалок, да и дело с концом. Нам тогда на все эти воскресники-ударники наплевать. За день выпахали — будьте покойнички. На селян-то надеяться нечего — мне ли, говорит, не знать этих бездельников!..»

Пытаясь потверже определить на соломе руку, что была под щекой, Котельников лениво улыбнулся, глянул на исходившего паром, красного как рак Филипповича, который, ткнувшись в солому лицом, пластался рядом.

— Так он тебе что — Прокопенко? Выговором грозил, говоришь?

Филиппович, повернувшись, сперва только замедленно подмигнул ему, словно просил обождать, когда он чуть-чуть отойдет, потом, поставив косой подбородок на сложенные одна на одну крупные пятерни, слегка боднул воздух фетровой шапочкой.

— Н-ну!.. Он же как? Одного вроде за браконьерство наказывал, заставлял работать на себя, а другому, кто с ним уже по корешам, кто порадел для села, — тому браконьерство — как награда. Этому, значит, уже можно зайчишку шарить... Я, значит, — как же так? Фермы построим, а зайчишку последнего изведем. За что выговор? А за это, говорит, ты не волнуйся. Это мы сами найдем за что! Подберем, говорит, формулировочку...

Все опирающийся на ладонь Котельников еле раздвинул челюсти:

— Пр-ропан-бутан!

Филиппович разомкнул веки, приоткрыл плывущие по-куриному глаза:

— Что, что?

— У нас его так...

— Окрестили?

— Пропан-бутан.

— А вообще, хоть он и с норовом, люди на него не обижались. Потому что, Андреич, село любил. Его ведь

мало знать — еще и любить надо. А он и сейчас не забывает.

— Наведывается?

— Нет, не о том... В райисполкоме как-то недавно разговор слышал. Другому оно зачем бы? Тем более ушел с такою обидой. А он пообещал купить две, три ли картофелекопалки — добился... Теперь с копнителями грозится помочь, достану, говорит, силосорезок...

«Вот тебе и Пропан-бутан! — тихонечко смеялся Котельников. — Это во что же он, интересно, нашу базу механизации превратит, дай ему волю?..»

— Еще полежим? Или начинаешь уже — во вкус? Уже тянет?

На этот раз Котельников сперва посидел внизу, подождал, пока хорошенько отходит себя легший на спину, ноги к потолку задравший Филиппович, а потом, когда пару чуть поубавилось, на полке опять растянулся он... Теперь Филиппович не стал помахивать веником, а раз и другой мягко провел им по спине, по ногам. Котельникова, и от загылка до пят вся кожа, вся плоть его чутко отозвалась ожиданием новой радости.

— Потерпи!

Загривок ему обжег один веник, тут же на него опустился второй, а потом, перехватив руку, Филиппович сильно припечатал сверху ладонью, поигрывая рукой, надавил, и все, что было Котельниковым, опять стало растворяться, исчезать, превращаясь в одно сплошное ощущение знойного, бегущего по жилам тепла... Ощущение это возникало то у одного плеча, то у другого, потом прожигать его всего целиком начало между лопатками, на пояснице и ниже нее, потом на связках под коленями, на икрах, на сухожилиях щиколоток.

— Пятки, Андреич, вверх!

Он согнул ноги, и тот, махнув веником, откуда-то сверху, из-под самого потолка, захватил жару и хлестко ударил им по ступням, накрыл их жгущей листвой, навалился на них, словно запечатывая наконец все то тепло, которое вошло в Котельникова до этого.

Затем он перевернулся на спину, и когда таким же манером оба веника прошлись по нему еще спереди, когда он лежал уже совсем обессилевший, погруженный в легкое, полудремотное забытье, из которого его ненадолго выводил только этот вспыхивающий на теле, долго не затухающий жар, Филиппович опять поймал под потолком какого-то особенного, густого тепла, тихонько прилепнул вениками по щекам, соединил их, закрыл лицо, прижал руками, и Котельников задохнулся от этой пахнувшей и горячим хлебным мякишем, и чуть подгоревшею корочкой густоты, благодарно застонал в голос, замычал что-то нечленораздельно-радостное, будто бы очень ясное и без слов.

Из бани он вышел, пошатываясь, его уже повело над соломой, когда егерь около подмышки твердо взял его под руку, повел дальше, щелкнул на стенке выключателем, толкнул дверь, и оба они очутились в прохладной, прокаленной легким морозцем темноте...

Обжигая ступни, Котельников вслед за Филипповичем пошел по слабо натопанной тропинке, свернул на целину и, глядя, как падает, раскинув руки, хозяин, присел на корточки и неловко повалился на бок.

Снег был мягкий и тихий. Котельникова лизнуло острым холодком, и, перекатываясь на спину, он ощутил почти мгновенный возврат сознания, сделавшего четкими и краски, и запахи, и звуки. Иглились, неслышно сияли в густеющей сини крохотные, будто еще подслеповатые звезды, пахло талой водой, горячим и чистым телом, доносило издалека хриплый собачий лай, и каждая эта подробность окружающего мира казалась Котельникову отчего-то сейчас особенно дорогой и значительной. Он снова лег на живот, захватывая и подгребая под себя пухово-легкий снег, и снова, ощущая в себе приближение чего-то, похожего на легкий озноб, перекатился на спину и замер на миг, глядя, как падает звезда...

«Приникаю, — подумал, — к земле... Знать бы: неужели только затем, чтобы набраться сил застраивать ее дальше?..»

Он еще усаживался на полке, когда Филиппович поддал парку, плотная волна хлебного тепла снова накатила, окутала, особенно приятная после холода, после острого морозца. Тело опять было легким и послушным, все словно только начиналось, но ко всем уже знакомым Котельникову ощущениям теперь прибавилось еще одно: жадное ожидание блаженства...

Крылья носа снизу опять горячо пощипывало, но он не раскрыл рта, все не мог оторваться от запахов, — хотелось и поточней определить их, и запомнить, и надышаться впрок. Глядя на Филипповича, севшего рядом, Котельников только покачал головой, и тот, видно, понял по глазам, потому что, улыбаясь широким лицом, припомнил:

— Младший сынишка, когда маленький... Читаешь ему сказку, а он: что такое — русским духом запахло? Что это такое — русский дух? А как же, говорю. А разве не знаешь? А банька березовая — это тебе и есть!

Котельников, тоже улыбаясь, кивнул понимающе, а Филиппович наклонился поближе:

— Я давно хотел... Колокольчики старинные. Зачем ты их?

— Как бы тебе... — Начавши, Котельников чутко помолчал. — На Авдеевской когда-нибудь был?

— Да как-то ездил, дочке пальто хотели купить...

— Ну, тогда представляешь. Все новое. Будь они неладны, эти коробки. Возраст всему, что кругом, — десять лет. Чему-то чуть побольше, чему поменьше, но так, в среднем... И поселок, и сам завод. Все это на голом пяточке, все на твоих глазах выросло. Другой раз покажется, что до этого вокруг ничего и не было... Ни старой крепости в Сталегорске, что казаки еще при Екатерине построили...

Он опять замолчал. Филиппович попробовал подсказать:

— Вроде того — корень ищешь?

— Пожалуй, так!

Тот стал было надевать влажные холщовые рукавицы, потом стянул, чтобы пока просыхали, положил около ног.

— Я, когда сюда переехал... С чего начинать? Крестьянин из меня, считай, никакой. Десятилетним парнишкой к дядьке в город поехал учиться, это и все мое крестьянство. Что помню? Да вроде ничего ровным счетом. Сперва один сосед что-то подсказал, другой, третий, гляжу, Таисия моя, даром что городская, стала соображать, дальше — больше, а потом и сам. Откуда что взялось!.. Казалось бы, навек забыл, а оно — краем, краем... и выплывает. И с этой банькой вот. И построил сам. И порядки потом — свои. Это дед мой, бывало, соломки настелет, а потом упадет на нее в предбаннике, чуть-чуть отлежится, а тут ему бабушка — чаю. Ну, чайников тогда не было — в чугунке... И кусочек рафинаду. Маленький такой. А чай был вкусный, Андреич!.. Помню, из какой-то травы. Даже не запасали ее, а так — пойдет, из сена надергает... А что за трава? Мучился я, мучился. Вот надо вроде узнать — прицепилось. Вроде как зуб болит — нет покою. А потом однажды проснулся, у Таисьи спрашиваю: это что за такая трава — светоянка? Она не знает. А на дальнем участке был, зашел к одному старичку древнему... Батя, говорю, а вот светоянское зелье — это какая такая трава? Повел он меня на лужок, вместе пучок насобирали. Потом-то я узнал: зверобой это! Никогда не пил? Эх, Андреич! С такою, как у нас, работой, оно и не то забудешь... А сколько всякого доброго наши деды-то знали, прадеды. Потом про травную баньку вспомнил. Не знаешь, что за чудо? А ты ко мне ранним летом. Когда полевые цветы цветут. Это так значит: копают на краю лужка ямку такую, поглубже, чтобы лечь в ней можно в полный рост. Разводят в ямке костер. Пока он горит, траву косят — она как раз в цвету быть должна, в самой зрелости. А потом костер из ямки выбросить, а на горячую землю — траву. Ложись на нее и грейся. Трава распарится, разомлеет, тут из нее весь дух целебный, все запахи... А тебя пот прошибет, вся гадость, какая в тебе есть, с потом с этим и выйдет. А эта благодать, что в цветах-то, она вся — в тебя.

— Полгода потом — как забудка!

— А ты не смейся! С травы встаешь — как на свет родился. Другим человеком. Не то что болезнь уйдет, а и сам по себе... И доброты в тебе прибавится, и спокойствия. Ровно природа тебе чего-то своего, заветного — из рук в руки...

И так горячо, с такой верой в голосе Филиппович это рассказывал, что Котельников невольно вздохнул.

— Да ты приезжай ко мне летом. В самый цвет. На себе испытаешь, как хорошо! И детям потом своим, и внукам будешь рассказывать. Если цвет к тому времени у них настоящий сохранится, если химия эта, что с самолетов посыпают, все кругом не задушит... приедешь?

Опять он потом, словно в забытии, лежал на соломе, ничего не знал и ничего не помнил, целиком отдавшись этой тихой минуте, когда ты настолько легок, будто тебя и нет вовсе — остались только живущие сами по себе тугие толчки крови...

Филиппович уже привстал рядом, завозился, тронул его за плечо:

— Давай-ка, давай... чайку!

Только тут он увидел на широкой скамейке голубой эмалированный чайник. Рядом стояло блюдце с горкой колотого рафинада, а около него уже дымились две большие, тоже эмалированные кружки.

Котельников медленно протянул подрагивающую руку, и с того мига, как приподнял кружку, все для него сосредоточилось на одном — как бы только ее не уронить... Раскаленная посуда клонилась так, словно исходивший густым парком, цвета червонного золота отвар был слишком тяжел, и Котельников не подносил его ко рту, а наклонялся над ним, краем кружки обжигал нижнюю губу, потом крутым кипятком ошпаривал обе сразу, горячо было, кажется, даже кончикам волос на усах, нутро обдало жаром, запыхали и лоб, и щеки, но, странное дело, он все тянулся к этому терпкому, с еле заметной горчинкой питью — отхлебывал, отдувался, прикладывался губами опять...

Подумал — как оно!.. Когда-то очень давно один лесничий, старый человек, так же вот обжигался после баньки крутым, на зверобое настоящим чайком, и вот она, через много лет, не умерла эта привычка, живет!..

Кружка уже опустела, на дне покачивались только несколько совсем крошечных, распаренных цветочных головок. Котельников поставил ее на скамейку, и она, отобравшая у него столько сил, все занимала его внимание, — снова закрывая глаза, он вдруг увидел ее, эту стоявшую на ладной скамейке большую кружку с рыжими цветками на дне, и увидел бревенчатые стены вокруг, и всю набитую ржаным теплом баньку, и прохладные вокруг нее, чистые и безмолвные, укутанные вековой тишиной глухие леса...

Чаепитие утомило его, он опять не ощущал самого себя, лежа на соломе, и лишь раскованное, словно освобожденное от земной оболочки сознание бесшумно реяло над ним на своих мягко помаргивающих крыльях...

Я не возразил тебе, Петр, подумал Котельников, только оба мы тогда, сидевшие за аэрофлотовским столиком в ресторане, судили несправедно — а не грех нам? Помнишь, я еще спросил тебя, и ты потом после войны был на Севере или нет, и ты ответил, что тут тебе повезло, у нас не сидел, я тогда не знал, зачем это мне, понял только сейчас. Ну и что, что он несчастную пятерку эту зажал, ему сейчас, как ребенку, машину хочется, — знаешь ли, ему, пожалуй, до сих пор не хватает многого, чего тогда был лишен, что ж они, врачи, разве не люди, разве нет у них тоже комплексов — думаешь, почему он все навязывает мне девчонку? Да потому, что и тут сам когда-то был обделен... Но почему мы теперь должны ему ставить в строку мелочь или какой житейский заскок, а не то проявление величия — разве его не было, а, Петр? Ты сам тогда сказал о победе, что заплачено за нее дорогой ценой, все так, и кто-то лег в землю, а другой душу свою замутил, оставил

на войне лучшее, а как иначе — это, мол, у Котельникова невроз, а разве не было его в сорок шестом у того мордатого и рыжего парня, который в очереди за хлебом прищемил костылями пальцы моему брату?

Потом ушел Петр, остался один сидеть, задумавшись, за аэрофлотовским столиком, а Котельников сказал уже своей жене, Вике: ты прости! Разве я такая уж сволочь, разве не понимаю, что ты тогда пережила, и что сделала для меня, и чего тебе стоит твое сегодняшнее спокойствие, а как же — ты только такую и ходи, такая красивая и такая гордая, а я тут как-нибудь перебыюсь, и все у нас будет хорошо... Сугревушка, сказал он ей, моя теплая! Конечно же, ты тут ни при чем, я палец, руку готов на отсечение, — это просто бывают у человека такие моменты, когда не поможет ему ни родная жена и ни местком, не помогут ни толковые врачи и ни лучшие друзья — он должен спасти себя только сам, и вся надежда его на собственную душу, чего в ней больше — добра? Зла?.. А обо мне ты не беспокойся, я тут на зеленое гляжу, на лучший цвет на земле, поднаберусь кислорода, и, если что чутко и разладилось, снова скоро закрутится, как всегда, потому что запас прочности у нас будь здоров, и это, что мучает меня, все рассеется, ты знаешь, надо мне будет, пожалуй, с Растихиным потолковать, с профессором, он мудрый мужичок, знает про Савватия и Зосиму, и у него есть американская счетная машинка, купили за золото, жаль только, что я к нему работать не пойду, — это что ж, станем мы с ним сидеть на кафедре, станем над великими проблемами размышлять, а на Авдеевке все так и будет идти по тому самому знаменитому российскому способу? Да и потом, куда мне, дед любил говорить, Котельниковы испокон веков по металлу, уйти грех, а вот только надо мне точно насчет опорного кольца, выдержат проушины «грушу» или не выдержат, это надо знать, что стараешься не зря, позарез надо, или и тут тебе тоже остается пока только одно: достойно делать свое дело, а там — как выйдет?.. Растихин меня бережет, об этом он сейчас ни за что не станет, ну что ж, мы с ним пока о другом, мы пока обо мне с ним потолкуем, мы все разложим по полочкам. А потом эта импортная машина выдаст решение, хотя я и так все знаю наперед: просто такое случается, когда однажды тебя вдруг клонет тот самый петух, и ты вдруг разом поймешь настоящую цену всему живому, и сердце тебе, как пуля, навывлет, пробьет любовью, и оно станет сочиться и сочиться, и захочется, чтобы все мы лучше были и чище, — потом-то ты привыкнешь к этому своему состоянию, но сперва, когда уловишь, как тоненькой струйкой сочится сердце, такую чувствуешь боль... Ничего, сказал он ей. Что-то потом пройдет совсем, а к чему-то другому я скоро совсем привыкну, станет, как так и надо, и, может быть, потом оглянусь и спрошу: и как же это я жил, пока оно не было пробито любовью?

Филиппович теребил его за плечо:

— Ты как?.. С банькой, что и с едой. Нельзя перебарщивать. Надо, чтобы уходил, и хотел вернуться... хватит тебе! Или последний разок?

Они сходились еще, отлежались, потом не торопясь оделись, погасили за собой свет, вышли молча, стали во дворе постоять...

Бескрайняя лежала посреди голубых снегов тишина. Небо совсем очистилось, посветлело, ярче и крупней сделались звезды...

Оттуда, из бесконечной глубины, тонко повеяло вдруг тающим на холоде теплым березовым духом... Котельников еще потянул и краем глаз увидел под носом полукруг своих натопорщенных, еще хранивших травный запах усов.

Филиппович, тоже задравший голову, повел подбородком, и Котельников снова посмотрел вверх, на звездное сево Млечного Пути.

— Слышишь, Андреич? Отчего его — Батыева дорога?

— Наверно, оттуда они шли...

— От Китая?

Они опять помолчали, все задирая голову, и Филиппович словно почувствовал, что Котельникову надо сейчас побыть одному.

И раз и другой тихонько хрупнуло, и снова сомкнулась тишина. В теплом, распаренном телом нагретом через рубашу полушубке, в лохматой заячьей шапке, в громадных, разношенных валенках Котельников все стоял и стоял, глядя вверх, и его, такого маленького под большим и высоким небом, такого одинокого, сладко томило приближение чего-то, похожего на разгадку непостижимого... Казалось, вот-вот он должен был ответить себе наконец: кто он? Вот-вот, казалось, должен понять: зачем?

И раз и другой он уловил, что звезды еле заметно помигивали, все одинаково пульсировали, пульс этот словно был всеобщим и совпадал с тугими толчками, которые он ощущал и в себе самом. И он, чутко прислушиваясь, будто влился наконец в этот древний, дававший жизнь всему, что вокруг, единый ритм, который вращал звезды и гнал в человеке кровь, который хранил вечный порядок в небесах и давал краткий миг благостного умиротворения человеческой душе — под ними...

В полдень он услышал нарастающий в снегах за деревней танковый рев и вышел за калитку. В конце широкой и чистой улицы выпрыгнул на санный след легковой «газика», за ним, покачнувшись, выбрался тяжелый «уралец», и только потом, наконец, через обочину плавно перевалил тягач.

Зачем это, подумал он, Уздеев собрал столько техники?

Однако из «газика», когда тот остановился у двора, вылез Прохорцев. Выставив туго обтянутый

водолазным свитером большой свой живот, словно собирался прижать им Котельникова к забору, насмешливо говорил на ходу: «Не ждал, а?.. Что, брат смежничек, не заскучал тут?»

Показавшийся вслед за ним Финкель помогал выйти из «газика» каким-то незнакомым людям в одинаковых пальто с шалевым воротником и в шапках пирожком.

«У нас гости из главка, — тяжело давил руку Прохорцев. — Решили им Сибирь показать да заодно мяском в тайге разжиться. Стал у твоего Уздеева тягач, а он: если поедешь в Ельцовку, привезешь шефа, — дам. У заводчан авария, они там все сидят на срочном ремонте, твои монтажнички».

Вышли трое из кабины «уральца», стали выпрыгивать из тягача спереди и сзади. Прорабы да бригадиры сантехников, народ все дебелый, как на подбор, и краснолицый. Котельников с невольной шевельнувшейся обидой подумал: могли бы хоть водителя своего прислать, ведь был же, кроме прочего, такой разговор: без своего водителя тягач из гаража — никому... Но он подавил в себе эту мелкую обиду, поднял руку, со всеми остальными здороваясь, опять улыбнулся Прохорцеву, стал помогать Филипповичу раскрывать ворота...

Уже минут через десять они полукругом стояли посреди пахнувшей овечьим нутром стайки, смотрели, как Прохорцев будет резать барана. Баран был крупный, с крутыми рогами и чистыми, навывкате, как у кавказца, глазами, и Прохорцев оседлал его, придавил тяжелым своим животом, одною рукой цапнул за нижнюю челюсть, задрал шею, а другою коротко полоснул блеснувшим узким ножом. Придерживая за рог, обождал, пока на заледенелом, с клочками сена полу разрастется густая алая лужа, потом привстал, повалил тушу набок, и подвернутая голова барана тоже перевалилась, выставив остекленелый глаз на другой, напитавшей крови стороне. Быстрым движением Прохорцев повел ножом у барана в задних ногах, потом обеими руками сунулся к Финкелю, разбойничьим взмахом словно что-то отрезал пониже живота — и тут же из левой руки выкинул под ноги этим, из главка, сморщенную мошонку, грозно и деловито спросил: «Кто следующий?..»

Котельников вышел из стайки и раз и другой глубоко вздохнул, но повсюду, ему показалось, воздух уже пропитан был тепловатым, парным запахом мяса...

Там и тут по дворам загравленно огрызались собаки, предсмертным визгом исходили свиньи, беззащитно и коротко взмывали бычки, раздавались окрики и слышался хохот, повсюду стали гуще над избами дымки, запылала высокая, из соломы костры посреди огородов, и снег вокруг уже был истоптан, забрызган кровью, залит желтою, словно моча, водой, в которой полоскали кишки да мыли желудки, и чисто белыми остались только неровные островки свежеспущенных, только что вывернутых на изгородях около стаяк еще не застывших шкур.

За окнами густо краснел закат, когда в избе у Филипповича тоже загуляли сытые, душноватые запахи поджаренной свеженины... За столом разливали спирт, пробовали тугую, с хрустом капусту. Хозяин не пил, рюмку поднесли Таисье Михайловне, и она чуток посидела, послушала, о чем говорят, побеспокоилась, чтобы все хорошо закусывали.

К столу подошла доживавшая свой век любимица хозяев собака Рыжка, задрала седую морду, виновато посмотрела на Таисью Михайловну, и та всплеснула руками: «Рыжка!.. И тебе не стыдно? Ух ты, бессовестная!..» И Рыжка потупила понимающие глаза, шмыгнула под кровать.

«Умная собачка, — одобрил Прохорцев, тяжело работая мощными челюстями. — А ну-ка... Рыжка, Рыжка!..» Собака вылезла из-под кровати, подняла морду, и он, наклонившись над ней налитыми свинцом глазами, густо сказал: «Тебе не стыдно?! Ух ты, бессовестная!» Собака спряталась опять, но теперь пристыдить ее захотелось Финкелю, потом поочередно срамили ее оба эти, из главка, потом опять Прохорцев, шофер и опять Финкель, пока Рыжка в конце концов не перестала вылезать из-под кровати.

Котельникову стало жаль собаку, опустил на колени, наклонился, чтобы достать за ошейник и вывести, и на глазах у нее увидел крупные, горошинами слезы.

По всей деревне нестройно пели, уже стояли у крылечек без шапки, в одних рубашках неторопливо проходили по улице. Пришел один из прорабов Прохорцева, сказал, что на другом конце гуляют и приглашали всех. Котельникову не хотелось идти, но он подумал, что стоит, пожалуй, увести гостей, дать Таисье Михайловне хоть чуть опомниться, и он пошел.

Изба была новая и большая, народу в просторную горницу набилось много, гомон стоял и смех, крепко пахло самогоном и куревом, дымилось в мисках вареное мясо, в руках у мужиков и баб подрагивали граненые стаканы, то там, то тут начинали песню, заглушали аккордеон, обрывали вдруг, что-то кричали носившейся за спинами у гостей дородной хозяйке, и она с еще большим жаром принималась распоряжаться такими же дородными, похожими на нее дочками...

Один из них, из главка, перегнулся за спиной у Финкеля, спросил Прохорцева негромко: «А кто хозяева? И по какому поводу сбор?»

«А не все равно? — с тяжелым безразличием откликнулся Прохорцев. — Рюмка у тебя полная?..»

«Не так ли и на пирю жизни? — горько усмехнувшись высокому стило, подумал Котельников. — Один пытается все-таки узнать, кто же это его пригласил на пир и зачем, а другому — набить бы брюхо!..»

Из-за другого конца стола на него то и дело поглядывала круглолицая, с пышными, сердечком, губами соседка Филиппыча, двадцатипятилетняя разведенка, которая, говорили, приехала неделю назад, чтобы оставить у родителей годовалого мальчика, потом к ней с двух сторон подсели сантехники, водитель «уральца» с прорабом, но она все постреливала спрашивающими о чем-то глазами в Котельникова, и тогда прораб, проследивши взглядом, кивнул ему: садись, мол, ты!

Он улыбнулся и пожал плечами, глянув на Прохорцева: как же, мол, вашего начальника оставить?

Попробовал больше не замечать взглядов, но потом, уже поздно, когда расходились и крепко подвыпившие сантехники, покачиваясь во дворе, держали ее за обе руки, тянули каждый к себе, она попросила жалобно: «Не бросайте меня!..»

Он отобрал ее почти силой, пошел проводить, у самой калитки она подвернула ногу, пришлось поддерживать ее, во двор вошли вместе, и тут она, прихрамывая, заспешила мимо окон вглубь, к стайкам, он, все еще помогая ей, невольно загоропился следом, и тут она откинулась на низенькой копешке, увлекая за собою Котельникова, схватила его ладонь, подержала в своей, пока другою что-то жадно расстегивала, потом под пальто, под блузку сунула к себе за пазуху, и он вдруг ощутил под оробевшей своей рукой теплую, с мягкой кожей, тугую грудь...

Позади заскрипела, отворяясь, дверь, и громкий, kloкочущий гневом и обидою женский голос донесся из темноты: «Што, Нинка, еще этого пашенка, лярва, не сбывла с рук, уже другого собираешься исделать?!»

За калитку он вылетел как побитый, на улице его поджидали сантехники: в руках у обоих были колья, но они только спросили Котельникова, во сколько утром откроется магазин...

Назавтра длинно и тяжело раскачивались, долго похмелялись, потом искали по дворам водителя тягача, которого увел с собой кто-то из деревенских, и выехали наконец, когда стемнело.

Было морозно, подувал порывами ветер, через дорогу несло колючий и сухой снег, и, сидя четвертым в уютной, набравшей пахнущего резиной тепла кабине «уральца», Котельников глядел на помигивающие красным глазки «газика», которые мягко покачивались в серой полутьме впереди.

Перед машиной вдруг появилась женщина с чемоданом, вытягивая руку, заступила дорогу. Шофер затормозил, но она бросилась сразу к правой дверце, Котельников ей открыл, и она стала на подножке, подалась в кабину лицом: «Возьмите, мальчики!..»

Котельников близко увидал непросохшие, заметно припухшие глаза, увидел некрасиво закушенные губы, и что-то в нем обреченно шевельнулось.

«У меня комплект!» — тон, каким ответил шофер, ясно давал понять, что вчера она сделала непростительную ошибку, выбрав не его, а Котельникова.

А Котельников уже начал потихоньку подвигаться к краю сиденья.

Голос у этой дрогнул: «Ну, мальчики, родные, хоть наверх!»

Когда Котельников уже выбирал себе место в кузове, шофер перегнулся через передний борт, спросил, стараясь перекричать грохот почти вплотную подкатившего тягача: «Может, впятером как?!» Он тоже повысил голос: «Есть шуба!» У шофера на ярко освещенном лице обозначалась забота: «А лук не померзнет?» — «Возьмешь в кабинку, если что». И тот опять сыграл голосом: «Вас понято!..»

Вытягивая повыше настывший воротник, укутывая шубой плечи, он поерзал, распахивая пятками мешки с замерзшим мясом и ящики, попробовал опереться обо что-то справа, потом приподнял брезент и в неярком свете, который помаргивал теперь высоко над кузовом, увидел темно-красную, с белыми пестринами свиную тушу.

Он попробовал отодвинуть ее, потом отсел сам, отгородился тяжелым, с тугими капустными вилками мешком и сверху определил на него свой рюкзак.

Щеку ему ожгло колючим снегом, и Котельников подумал, что они теперь уже за деревней и что здесь, в поле, метель сильнее. Выдержит он, не застучит по кабине?..

Надо выдержать.

Машина стала, и он собрался было повернуть голову, думал, что окликнут, но кругом было тихо, и тогда он неловко повернулся, вытянул шею из воротника шубы, поглядев в окошко за спиной. В кабине горел свет, девчонка сидела теперь посредине, держала полную, с краями пластмассовую рюмку, и такая же рюмка была в руке у соседа, они медленно, чтобы не расплескать, тянулись навстречу друг дружке чокнуться, и лицо у этой, у Нины, было радостно-беззаботное.

Ну вот, подумал Котельников, и утешилась...

Когда машина тронулась наконец и опять отставать от них начал то умолкающий, то взрывающийся тягач, он услышал где-то рядом слабенький, словно чем задущенный звук, туда и сюда повел ухом и вдруг улыбнулся во все лицо, сдернул рюкзак свой с капустного мешка, потащил на колени, стал, торопясь, развязывать шнур.

Среди путаницы жестких ремней старого патронташа нашел колокольчик, поднял над рюкзаком, и тот повисел молча, а потом, когда их качнуло, тихонько, но звонко ударил, отозвался освобождение и радостно.

Котельников подумал: хорошо, что они с Филиппычем успели приладить бильце — славный вышел у этого колокольца голосок, тоненький, чистый!..

Надо будет, подумал он, забрать с Монашки своего собачонка, подрос уже небось. Пора!..

Щеку ему опять царапнуло, сыпануло, прошуршало по шубе мелкой крупой. Машина пошла на взгорок, и в призрачном свете тяжело подрагивающих, выпученных от натуги фар тягача, словно слепо чего-то ищущих среди белых снегов, он увидел, как дымом дымится, катится над застывшей землей низкая сплошная метель.

В войну сидели без дров, подумал Котельников, а как уютно было у бабушки, когда за окошком вьюга... Как она говорила? Метуха! Метуха тогда была. Вот и кончилась осень. Теперь зима. Метуха, она говорила. Потащица.

РАССКАЗЫ



РАССКАЗЫ

ПУСТОСМЕХИ

Мы подходим к дому, а мама стоит у калитки, плачет...

Увидала нас, глянула сперва как-то странно, как будто на незнакомых глянула, а потом глаза у нее потеплели, словно теперь признала, — бросилась нам навстречу, всплеснула руками. Обнимает Ленку, всхлипывает, говоря что-то такое совсем непонятное, и в голосе ее мешаются и осуждение, и тревога, и радость.

— Значит, моя детка, постриглась? И волосы покрасила? Ну и хорошо! А я-то, дура!.. На порог ее теперь не пушу! Ах, она, чертовка, ноги ее в нашем доме больше не будет!.. А тебе идет, правда... И кофточка эта идет... Не поправилась, моя детка, и не похудала. А она? От чертовка!

Я уже поставил чемодан, снял рюкзак, руками двигаю, выгибаюсь, чтобы размять затекшие плечи, — автобусная остановка, считай, о край станицы, а дом наш — уже за центром, — а мама все никак успокоиться не может.

— Да что такое, — спрашиваю, — ма?..

Только теперь она ко мне и оборачивается — может, это Ленка ей родная, а я — зять?..

— Да что-что!.. Перед тем как прийти вам, забегает ко мне бреховка эта, Семеновна. «Ой, — кричит, — Тосечка, только сейчас я видела твоего Гришеньку — с автобуса слезили!.. Он да женщина с ним какая-то молодая, незнакомая... Я, — говорит, — спрашиваю: «Хто это, Гриша?» А он отвечает: «Жена!..» Наверно, — говорит, — Тосечка другую привез, дак ты не пугайся да в обморок не падай. У той же, — говорит, — у Леночки, волос-то был длинный да хороший, разве не помню, — как у меня самой в девках. А эта ну как есть парень и парень!» — Мама виновато смотрит на Ленку. — И как я, моя детка, не подумала, что ты постриглась?

А я теперь припоминаю: и точно, Семеновна видела нас на станции. Только сошли, еще и оглядеться не успели, она — словно из-под земли. Поздоровалась и на Ленку кивает:

— А это ш хто, Гришенька?..

— Как, — отвечаю, — кто? Жена...

И Семеновна тут же исчезла, словно сквозь землю провалилась. Теперь-то ясно: сразу кинулась маму предупредить. Знаете, иногда говорят: по сообщению «обээс»... «Обээс» — это «одна баба сказала». Так вот Семеновна на нашей улице — та самая баба.

— В следующий раз, мама, буду обязательно писать, что покрасилась, — обещает Ленка серьезно.

— Да-да, — я поддерживаю, — обо всех изменениях — в письменной форме.

— От бреховка, дак бреховка! — не унимается мама.

А мне смешно: не успели мы появиться в родной моей станице, и вот уже эта Семеновна с вечными ее *приплетушками*... И мама, тут же готовая поверить. Тихая наша, бурьяном заросшая улица, которую беспокойное время давно уже обходит стороной. Где-то возникают новые миры, распадаются старые. На нашей планете все несется волчком: великие открытия, потрясающие скорости, безумные идеи... А здесь все, как ну, чтобы не соврать, как десять-пятнадцать лет назад, когда бурьян этот был нам еще выше головы, и мы прятались в нем, если играли в войну, и боялись друг друга искать, а только кричали издали: «Да выходи, ну все

равно ты убитый!..»

— А я ее знаю, эту Семеновну? — спрашивает Ленка.

— Да, а то не знаешь!.. Вон через улицу и живет.

— Расскажи-ка, — говорю, — ма, как она в Армавире с гаишниками ругалась?

— Ну да, — мама удивляется, — от как хорошо!.. Вы с дороги, не пивши, не евши, а я тут *распотякивать* буду, на Семеновну время тратить!

А я уже стащил рубаху, солнце припекает, жжет плечи, и сбросил сандалии, сижу на ступеньках, шевелю пальцами босых ног, я уже отдыхаю, борщ да блины потом, и Ленка вон щурится, пригибает к себе головку бледно-желтого георгина — он почти с нее ростом, — хочет понюхать, и оттуда с недовольным жужжанием срывается и косо летит вбок черный шмель. Мы отлично доехали, и теперь дома, и это очень хорошая минута, когда, не заходя еще в прохладные комнаты, сидишь во дворе, и осматриваешься, и видишь мамины цветы, и за ними грядки помидоров и болгарского перца, и невысокое пока дерево грецкого ореха, а дальше — пожухлые султаны кукурузы, да путаница виноградных листьев, да белое от солнца тихое небо.

Около нашего колодца негромко стукнули о сруб доньшком ведра, шелкнули зацепкой о дужку, и я оборачиваюсь, чтобы поздороваться.

А, это Семеновна пришла за водой.

Стоит около сруба, смотрит куда-то словно бы вверх, головой покачивает, губами шевелит, будто про себя напевает, и лицо у нее отрешенное, будто Семеновна уж очень сама собой занята. И вдруг она смешно косит на нас глазом, и в это время мама говорит нараспев:

— Семеновна-а!.. А ну-ка, гляди сюда... Где ш оно тут, к шутам, незнакомая женщина? Леночку она, видишь, не узнала! А ты посмотри, посмотри сюда, бесстыжие твои глаза, — до сих пор в себя прийти не могу — разве шутка?

Руки у Семеновны замирают над срубом, лицо вдруг становится испуганное и в то же время какое-то очень внимательное, словно она прислушивается к чему-то такому, что слышится только ей одной.

— Тосечка, — говорит она негромко и вкрадливо, — а ты ничего не чувствуешь?..

И мама заранее готова испугаться.

— Не-а, — отвечает уже совсем другим тоном. — А что такое?..

— Горелым пахнет! — говорит Семеновна значительно и быстро тащит из колодца пустое ведро, которое она так и не успела опустить до воды. — Это ж я пирожки сожгла!..

Выхватывает из сруба ведро и торопливо бежит от колодца, потом останавливается, словно что-то вспомнив.

— Я тебе, — кричит, — Леночка, пирожков принесу!.. С рисом да с яйцами — любишь?.. Вкусныи-и!..

И побежала дальше.

А мама идет прикрыть калитку, которую мы *расшагакали*, когда входили, смотрит Семеновне вслед и вдруг удивляется:

— Гля, а чего ж это она мимо своего дома пошла? Пошла мимо двора... — И тут мама догадывается, и в голосе у нее слышится зависть. — От чертовка, да это ш она опять меня обдурила, лишь бы только я ее не ругала!.. Да разве ш тут можно услышать, как эти пирожки-то ее горят?.. Што это — дом, што ль, горит?.. Ну точно, обдурила — пошла вон к другому колодцу!

— А испугалась она вас, — утешает Ленка.

— Спугалась? — удивляется мама. — Да ничуть! Это она, моя детка, артистка такая — про пирожки вон придумала. Ну разве нормальный человек так вот сразу придумает?.. А спугать ее, черта, ничем не спугаешь. Вон в Армавире тогда... Встретились мы там, ну и пошли вместе: Андрей Иванович, учитель Гришеньки, она да я... Вот идем...

— Ага, — прошу я, — расскажи, ма!

— Ну вот, подходим мы к перекрестку, а впереди этот же — семафор. Андрей Иванович меня вот так и придержал за руку — он же вежливый, другого такого в станице нету, как он. Я и остановилась. А Семеновна — *хоть бы хны!* По-ошла себе. Андрей Иванович кричит: «Евдокия Семеновна!..» Она ноль внимания... А тут эта машина, что с рупором. «Гражданка, — кричит, — в клетчатом платке! Вы куда?» А она остановилась напротив, да себе: «Какого, — говорит, — черта кричишь?! Что я тебе — теща? Так я тебе и сказала, куда иду. Тебе не все равно, что ли?» Тут снова из машины: «Гражданочка!.. Уйдите с дороги, не мешайте». — «Ах, — она кричит, — дак я тебе мешаю? Ну подожди, паразит!..»

Мы с Ленкой смеемся, а у мамы лицо остается серьезное. Зная маму, я отлично представляю, как она и там стояла с таким же лицом, ей и смешно-то не было вовсе — она боялась за отчаянную Семеновну.

— Тогда Андрей Иванович побежал, берет ее под руку да и говорит ей... Как он там ей говорит?

— Мне Андрей Иванович рассказывал, — объясняю я Ленке. — Он ей пытается втолковать, что это за машина, ну и говорит: «Они — ОРУД, им положено...» А она...

— А она ему и договорить не дала, — мама подхватывает. — «Значит, — говорит, — они *орут*, дак им положено, а мне что?.. Ишь, городские, — платок мой им, видишь, не нравится!..» Андрей Иванович ее держать, а она кидается на машину, да и все. Милиционер по рупору по своему говорит: «Не обижайтесь, гражданочка, если что, извините, служба у нас такая». А она — думали, фары поразбивает. Милиционер видит тогда, что не на таковскую напал, да повернулся, да уезжать... А она кричит вслед: «Была б у меня эта радио, я б вам тут весь ваш город переговорила, а то ишь ты — у него радио, а я так ругайся!..»

— Так что Семеновна, — говорю я, — наша — палец в рот не клади!..
— Ну будет, будет! — спохватывается мама. — И так из-за нее!.. Вносите вещи, да на речку скоренько пыль смыть, а я пока разведу керогаз...
Мы берем вещи и идем в дом.

* * *

И вот потянулись жаркие, ленивые, тихие, неторопливые дни...

У нас теперь только два занятия: валяться на солнышке на берегу речки да сидеть за домом в тени и потягивать пиво. На речке мы бываем обычно вдвоем — Ленка, мой друг Жора и я. Потом, когда приходим домой, Ленка отправляется на кухню, чтобы поучиться у мамы хорошенько фаршировать перец или шпиговать кролика, а мы с Жорой валяемся в тенечке на вытертом плешивом тулупе, покуриваем и приподнимаемся только затем, чтобы из пятилитрового бидона, который опущен в колодец, долить в кувшин, стоящий на шубе, холоднющего — такого, что колет над переносицей, — пива.

В любой из больших кубанских станиц вам расскажут историю о том, как здесь построили громадный пивной завод, но дело не пошло, пиво получалось плохое, никто его и не пил, брали свиньям, потому что они от этого пива здорово поправлялись, а потом директор этого завода где-то разыскал пожилого пивовара — самого настоящего чеха.

Чеху этому построили домик, и вот он живет в нем один, пьет себе вечерами свое пиво — пожалуйста, и ты к нему приходи, — но секретов он никому своих не раскрывает, и на работе все главное делает только сам, и пиво идет теперь с завода такое, что от кружки за уши не оттащишь, теперь его везут только в Сочи; и когда привезут, все тут же бросают очередь у других бочек и немедленно выстраиваются здесь, и все прохожие спрашивают: «За чем это такая громадная очередь?» — «Как, — им отвечают, — разве вы не догадываетесь? Это за пивом из станицы такой-то!» — «Да, да, — виновато говорят прохожие — как мы, и в самом деле, не догадались?!» Бросают все дела и становятся тоже.

Это, я вам говорю, расскажут в любой кубанской станице, где есть свой пивзавод; да только в том-то и штука, что все это было у нас в Благодатной, это у нас в собственном домике живет чех-пивовар, а в соседних станицах повторяют эту историю уже из зависти.

Как бы там ни было, а пиво у нас действительно великолепное. Оно, пожалуй, чуточку крепче, и чуть потемнее цветом, и горчит, пожалуй, чуть-чуть, ну на самую малость больше, но как оно пахнет, когда под носом у тебя пузырится и опадает пышная пена!..

Хорошо попивать себе потихоньку такое пиво и неторопливо рассуждать о судьбах цивилизации...

— А что, если мы все-таки предположим, — лениво говорит Жора, — что некий (у него это получается — *нэкий*) высший разум... или как его?.. Все равно: мы только можем давать ему названия, но понять пока не можем. Так вот, предположим, что он, в самом деле, пробует на земном... э-э... шарике... пробует одну за другой модели мира?

Я интересуюсь:

— От и до?

— Да, начинается разумная жизнь, человек развивается, познает окружающий мир...

— Потом придумывает небольшую такую

— крохотную *совсэм*, — говорит Жора.

— ...атомную бомбочку... и все летит вверх тормашками — начинай сначала?

— Да, и потом этот высший разум... Главный конструктор, если хочешь...

— Творец всего сущего...

— Да, он устраивает небольшой потоп, чтобы смыть следы разрушений...

— А Ноя он предупреждает до атомной войны или после?..

— На разных моделях по-разному...

— А-а-а!..

— Тогда можно было бы объяснить, почему в горах...

— В Кавказских?..

— Отстань — в самых высоких горах... В Андах!.. На Тибете... Где люди находят остатки древних цивилизаций...

— Куда водичка не достает...

— Конечно!

— Жаль, что Кавказские горы меньше... Совершенно ясно — здесь каждый раз приходится начинать сначала.

Жора соглашается, наливая пива из глиняного кувшина в большую эмалированную кружку.

— Ясно, тебе наука дороже...

— Но ведь есть в этом логика — разве нет?

— А что, если... — не спеша начинаю я, — что, если мы предположим как раз другое? Что возникновение разума — чистая случайность... Помнишь, есть такая теория?..

— Буржуазная теория...

— Ага, вредная...

— Что все люди были здоровы как бык!

— Тогда уж — как быки...

— Да, как быки...

— Просто все люди были тогда как люди, рядовые ребята среди остальных животных. И вдруг один заскучал, сел в сторонке...

— И стал думать о судьбе своего племени...

— Да, и каким-то чудом мы пошли все-таки не от этих здоровых ребят, которые ни о чем таком, кроме как о поест, ничего не думали. А пошли как раз от этого шизофреника...

— Тогда все, что мы построили, все, чего мы добились, выходит, — плод больного воображения?

— В какой-то степени...

— Не нравится мне эта *тэория*, — говорит Жора.

— Я тебе не говорю, что мне она нравится...

— Лежи, моя очередь доставать, — говорит Жора.

Поднимает из колодца бидон, и слышно, как тот постукивает о стенки колодца... Потом пиво, булькая, льется в кувшин, а бидон глухо шлепает о воду — от одних этих звуков и правда становится прохладней.

— Тебе налить?

— Плесни...

Потом мы слышим, как на улице Семеновна здоровается с нашей соседкой, и та, видно, подходит к плетню посудачить, и они говорят неторопливо и громко:

— Ох и кричали, Андреевна, твои петушки на зорьке! Я к колодезю шла, а они заливаются...

— Да вот зарезать не соберуся. Сама крови, не дай бог, не переносу, а Люську никак не могу допроситься — как завьется с утра, так до ночи...

— А ты прикажи ей, а то старые станут, мясо тогда не въешь...

— Да какие они старые — только завела!

— Када — только?... Ну када? Второй год ты их держишь?

— Да ты што, Семеновна, господь с тобой!.. Сарайчик-то Федя сломал, а новый сделать не сделал. Где б они у нас зимовали?

— А это я й не знаю где. Только они у тебя второй год — прямо точно.

— Подожди-подожди... Вот када бабушка Ениха померла? В марте?... Или в апреле? Дак она говорила еще: «Ты, моя дочка, думаешь, курицы это, а они у тебе петушки».

— А Никифоровича ты звала на Октябрьскую петушка зарубить? А в этом году Октябрьская рази была?..

— Да нет, Семеновна, то я звала его гуску прирезать. Невестка ш мне дала, рази не помнишь? Када Колька пьяный был, да на машине задом на курник наехал, да всех гусок попередушил да перекалечил...

— А она тебе одну принесла?..

— Да нет, двох... Это ш в тот день еще, помнишь, когда у Грибанюковых теленок попал в колодезь, чего его туда черт занес... Я Никифоровичу через дорогу кричу: «Гуску иди зарубать!» — а он: «Сичас телка, — говорит, — достанем, потом до тебя прыду» — ну, не помнишь?

— Мальчик у Грибанюковых такой хороший «Сколько ж тебе, — спрашиваю, — лет?» А он говорит: «Сем, тетя, будет».

— Да не сем ему, а шесть.

— Да как же, Андреевна, шесть?... Ну ты все прямо перепутала, да еще спорышь — не нравится вот мне, что ты спорышь!

— Да чивой-то я спорю?... Я правильна, говорю, они с моей невесткой вместе лежали, я еще яблоч принесла — хороших таких достала, аш на той край за ними ходила, — даю и ей. «Каво ш ты, — говорю, — Ирочка хочешь?» Она говорит: «Да дочку», — а вечером мальчик у ей и родился, он же как Юрочка наш, а Юрочке нашему только шесть.

— Да своими ушами слышала: «Сем, — говорит, — тетя, сем». Я еще переспросила, а он опять: «Сем!»

— Да он еще не соображает, дак и говорит.

— Ага, «не соображает»!.. Да они больше нас с тобой! Это мы думаем за них, что маленькие да маленькие, а они тут, на улице посмотришь другой раз: черта низя выпускать, рога ему сломят.

— А все равно ему... О!.. о!.. Пришла, барыня, и легла под ногами!

— Да какая ж это барыня?... Это кобель... Гречухиных собака? Ну кобель, я тебе говорю.

— Да какой же это кобель? И кличут они ее Найда. Сучка самая настоящая!..

— Да бабушка, жишь, Гречушиха слепая, чего ты хочешь? Она до них прибудилась, ну бабушка и давай: Найда и Найда. А он кобель... Я вон дак и отсюда вижу!

— Вот ты тоже спорыть любишь! Ну прямо, ей-богу, аж интересно... Да не вертись ты... Укусит еще!

— Да чего он там тебе укусит!

— А ну-ка, стой, Найда, стой!.. Ну стой, кому говорю... Гля, и правда кобель!

— Да а я тебе што и говорю! — громко говорит Семеновна, и в голосе у нее слышится превосходство. — И это не сучка, я тебе говорю, а кобель, и мальчишонку Грибанюкову не шесть, а сем, и петушкам твоим по два года!

Соседка наша Андреевна молчит, потрясенная, видимо, бесспорностью доказательств Семеновны, а та уже

идет мимо палисадника, где мы лежим, и нас не видно за кустами сирени да жасмина, а мы за ней наблюдаем через штакетник, держась за животы и друг другу показывая: «Ну, тетка!»

Скрипит калитка — Семеновна идет к нам.

Со двора нас видно хорошо, и тут она здороваается издалека и так же громко спрашивает:

— Отдыхаете?.. Пиво пьете?.. От хорошо, что пиво, а не водку эту проклятую, кто ее прямо выдумал, задушила б тово вот этими руками, и все бабы мне б только помогли да потом спасибо сказали... А мама, Гришенька, дома?

Я говорю, что дома, и Семеновна идет в глубь двора, на летнюю кухню.

С мамой они уже помирились.

Несколько дней назад отсюда же, из палисадника, я слышал их разговор.

— Семеновна, ты женщина пожилая, — убеждала мама. — Ты ж не девочка уже... И пора б тебе уже перестать *побрехушки* свои по улице разносить.

— Тосечка-а, от тебе крест, — божится Семеновна, — царица небесная не даст сбрехать — не разглядела...

— Ну с Леночкой ладно, а другой какой случай каждый раз?

— Ой, Тосечка, да такая жизнь наша скушная, — простосердечно объясняет Семеновна. — А тут придумаешь што — и аш другой раз сама рассмеёшься...

— Дак вот ты рассмеёшься, а другому — слезы!

— А я потому и не говорю кому другой раз, чтоб слез не было — надоели уже они, ну их к черту!.. Вот придумую про ково-нибудь, а другим не скажу, промолчу. Вот учера или позаучера... Идет Володька Дрыжикин, а я спрашиваю: «А чевой-то ты, Володя, один?» А он говорит: «Да не усё ж, тетя Дуся, удвоем!..» Прошел, а я гляжу ему вслед и уже вроде так спрашиваю: «Володя, да а чевой-то ты без жены?..» А он вроде говорит: «Ой, да надоела она мне уже, тетя Дуся, хоть веревку на шею!..»

— Ну разве хорошо вот придумала? — упрекнула ее мама.

— А скажи — она не зараза, Володьки Дрыжикина жена? — Семеновна возмущается. — Зараза одно ей название!.. Такой мальчишоночек был, а теперь пьет и пьет — она его довела... Только он со двора — она на танцульки, только со двора — она накрадется, намажется — на танцульки!..

Теперь моя очередь доставать пиво, я берусь за веревку, и темная вода под бидоном в колодце опять глухо чмокает и долго плещется потом, слегка серебрясь, а я доливаю кувшин, плавно опускаю бидон обратно в уже затихшую воду, и теперь я спрашиваю у Жоры:

— Плеснуть?

Из-за дома выходят мама и Семеновна, идут к нам, и я вижу, что глаза у мамы смеются.

— Дак Семеновна не ко мне, а скорей к вам, — говорит она, улыбаясь. — Я ей: «Ребят проси, а я чего это буду их с места на место переключивать, у меня он — гости!»

— Да чиво их тут — переключать? — удивляется Семеновна. — Да если хотишь, Тосечка, мы сами, бабы, придем да и переключим урас...

Мы с Жорой встаем с тулупа.

— Да ребята сделают, ты их только попроси хорошенько...

— От молодцы, сделаете?

— Дак ты покажи им сначала!

Вслед за Семеновной мы идем через грядки и останавливаемся перед нашим глухим забором, под которым лежат, прикрытые сверху толем, с почерневшими торцами поленья — мы с младшими братом кололи их еще несколько лет назад, но мама почему-то все оставляет да оставляет их про запас.

— Вот отсюдава убрать о-от столько! — говорит Семеновна, останавливаясь около штабелька и широко растопыривая руки. — Чтоб три-четыре бабы поместились со стульями.

— А ты ничего не путаешь, Семеновна? — спрашивает мама.

И Семеновна говорит горячо:

— Вот тебе крест, Тосечка!.. Царица небесная не даст сбрехать — Шурка из посудного сама сказала. «Сто стаканов граненых, — говорит, — взяли. Да пятьдесят люминивых вилок...» Ну ты сама вот так раскинь: зачем бы им столько стаканов, если б не свадьба? — Семеновна оборачивается к нам с Жорой. — Ну так жишь?..

Я вспоминаю голенастую девчонку, которая несколько лет назад на высоком мужском велосипеде носилась по улице и кричала еще за километр от тебя: «Ой, отойдите в сторонку, а то наеду!..»

— Это Люся, — спрашиваю, — невеста?

— Да, а то ш хто? — говорит Семеновна горячо и, вытягиваясь, поглядывает за забор, словно боится, что нас услышат. — Люська — невеста, а жених, жишь, оттуда, со Спокойной, где они раньше жили. И гостей небось оттуда и ждут — я ж вам говорю, только сто стаканов граненых... Сваты там такие казаки, по-старинному небось играть будут. — Семеновна снова тянется через забор, и голос у нее становится тише. — Только они ж такие нахальные — рази пригласят, думаешь, ково со своей улицы?.. Да никада!.. Стыд не дым, глаза не выест — и вся гута!.. Ой да и не надо — ну их от-то к черту!.. А мы тут дрова уберем, щелки в заборе продделаем, если дырок в ем нету, да и сядем с бабами, как у первом ряду, да и будем сидеть, как у-то из райкома!..

Мы с Жорой не в силах сдержатъ смех и смеемся сначала тихонько, потом погромче, и нам немножко неловко, и оттого мы покачиваем головами: ну и придумает же, мол, эта тетя Дуся!..

А Семеновна упрекает:

— О! О-о!.. Смешно им! Да вам-то, конечно, чего — в Москве-то!.. То в цирк, то за цирк, то на Райкинова — на одного его небось зарплаты не хватит... А мы-то тут с бабами от век изжили. От повидали!.. Дак хуть ут-тут посидеть, да на невесту у фате посмотреть, да поплакать — ну рази не так, Тосечка!..

И мама тоже отчего-то вздыхает.

В тот же вечер мы перекладываем дрова, и нам смешно, что мы это делаем, — мы, два современных парня, два только что окончивших факультет журналистики молодых спеца... И в то же время это поднимает нас в собственных глазах: вот, мол, разве мы не шадим слабостей человеческих?

О маленькая наша, тихая станица!.. Это потом уже мы будем тосковать по тебе и с болью будем вспоминать и благодные твои летние вечера, наполненные тихоньким — как будто сокровенным — звоном сверчков, и журавлиный клик над пустою и оттого звонкою степью, и первые заморозки, когда иней оседает на холодных лепестках поздних цветов, и черных галок на таком пушистом снегу, и неторопливый говор, и неприкрашенную лодскую простоту... Но все это потом, потом, а пока мы — два слишком уверенных в себе, два совсем молодых человека, одному из которых через несколько дней — путь на свою старую родину — Северную Осетию, другому — в незнакомую, очень далекую и такую холодную Сибирь. И мысленно мы уже там, а к маленькой нашей станице относимся мы сейчас с легким презрением — только этого, нам кажется, она и достойна, и на жизнь здесь, на то, что тут происходит, мы смотрим как на дурной спектакль, в котором актеры явно переигрывают. Да простится нам это!..

А пока мы с Жорой перекладываем дрова, подмигиваем друг другу; и то один, то другой из нас, бросив на штабелек очередную охапку и отряхнувшись от почерневших щепок да паутины, разводит руками, говоря:

— Н-ну, если сто граненых стаканов!..

А что, тут как раз Семеновне в логике не откажешь, точно, но это нас очень смешит, к этому мы, в очередной раз улыбнувшись, все возвращаемся, и нам приходит забавная мысль: а что, если мы попробуем подбросить Семеновне две-три другие логические задачки, чуть потруднее этой?

И мы начинаем думать, и перебираем один вариант за другим, и в конце концов останавливаемся на таком посыле: старый дед Грибанюк проскакал по нашей улице верхом на красивой лошади.

Если сто стаканов, то вообще-то ясно — свадьба, а вот что бы это могла означать дедова джигитовка, если последние шесть-семь лет он всю зиму лежит на печке, а летом, подперев себя толстым костылем, сидит на корточках у своего плетня и тихонько дремлет — если подойти совсем тихо, можно услышать, как он сопит.

Назавтра, опять лежа за домом на разостланном тулупе, мы ждали Семеновну — не могли дожидаться.

И вот она появилась — идет по улице неторопливо, чуть задирая голову, поглядывает го влево, то вправо, и под мышкой у нее торчит серп, обернутый пустым крапивенным мешком — видно, Семеновна идет за травой для своих кроликов. Кроликов этих раньше держал ее сын Витька, но лет восемь назад он завербовался на Колыму, и с тех пор от него ни слуху ни духу, только кое-когда передаст привет кто-нибудь из земляков, приехавших оттуда в отпуск, а Семеновна все ждет и ждет его самого, и все кормит его кроликов, которых развелось уже видимо-невидимо и из-за которых Семеновна постоянно ругается со своими соседями.

Мы, чтобы обнаружить себя, покашливаем, и Семеновна останавливается у колодца с той стороны и ласково с нами здоровается.

— Так мы, — я говорю, — уже убрали дрова. Принимайте, Семеновна, работу..

— От молодцы, от уш молодцы! — нахваливает Семеновна. — Наберу травы да зайду потом посмотрю. Ну а удобно ш там, чи не пробовали?

— Хорошо видно...

— От уш молодцы!..

— А вы деда Грибанюка не видели? — спрашиваю я как будто бы между прочим. — Пронесся тут сейчас верхом чуть ли не в галоп — куда это он?

— Старый Грибанюк? — удивляется Семеновна. — Митрофаных?.. Да чего его черт на лошадь занес — как он только на ее залез? Интересно...

— А конь — красавец! — добавляет Жора. — Цц-ц-э, жеребец!

— А не обознались вы? Может, другой кто?..

— Да что ж мы, — спрашиваю я, — деда Грибанюка не знаем?

— Интере-есно, вот прямо интере-есно... — растерянно говорит Семеновна. Она покачивает головой, как будто сама с собой рассуждая, и глаза у нее, как у всякого, кто напряженно думает, совершенно отсутствующие; она моргает и руку подносит ко рту — словно затем, чтобы подышать на пальцы. И вдруг решительно рубит воздух и радостно говорит: — Знаю!.. Ну точно, знаю, а то нет, што ли? — Лицо у Семеновны покрывается ярким румянцем, она говорит волнуясь: — От старый, жишь, черт, от черт старый — да когда вже они ее напыются? Это ж он с истребительным батальоном связался!

Тут уж нам приходится удивляться:

— Что за батальон такой?

Семеновна поводит рукой куда-то на центр станицы, говорит небрежно:

— А, да я их так называю, этих стариков, что около ларька с утра до ночи толкуются, роятся, как мухи, не отгонишь. Кто пьянкой да гулянкой токо одну жену свел в могилу, а кто уже две да теперь за третью, да бабы плачут, а им хоть бы хны, и черт их не берет. Все пиво пьют, да еще за ту германскую, да кто казак, а кто нет, да в грудки себя, аж по станице гудёт..

Из своего двора выходит Андреевна с плетеной кошелкой, и Семеновна еще издали кричит ей:

— Да чи ты слышишь!.. Дед Грибанюк тут сычас на лошади *выкаблучивался*, да лошадь под ним такая красивая-ая-я!

— Да ты што, Семеновна! — не верит наша соседка. — Вечно ты выдумываешь, ей-богу!.. Да он в жизни никогда — на коне...

— Дак чиво они, черти, за эту водку не сделают! Бабка денег не дает, дак он на поллитру поспорил! Ладно бы еще молодой, а то...

— Да не может быть!..

— Дак што ш я, брешу, по-твоему?.. Только сейчас видела ут этими глазами! — уверяет Семеновна. — Едет и палку эту свою ут тут, где у меня серп, под мышкой держит. Я кричу: «Да чи ты сдурел на старости, Митрофаныч?..» А он кричит: «Да поспорил!.. Ну как я, еще ничего казак?..» Да чуть и не *бяхнулся*, пока ут это разговаривал. А я тада вслед кричу: «А хто ш тебя с коня ссадит?» А он говорит: «Да помогут». — «Хто ш?» — говорю: «Да дружки!»

— Да какие у него дружки? — все сомневается Андреевна.

— Да какие? Да весь истребительный батальон! Они посадили, они и ссадят...

Лицо у нее теперь прямо-таки пылает, глаза светятся правдой, и голос такой уверенный, как будто это вовсе не мы рассказали ей про деда Грибанюка всего три минуты назад, а и в самом деле это она его видела на лихом жеребце — ну просто удивительно, как это мы ей не верим!

— И конь красивый? — спрашиваю я и сам чувствую, как глупо ухмыляюсь.

— Да что ты — красавец, а не конь! — уверяет Семеновна. — О, жеребец! Я таких раньше и не видала! Либо где достал у черкесов?

С этого все и началось...

* * *

Теперь мы с Жорой целыми днями выдумываем совершенно невероятные истории, а Семеновна разносит их по нашей улице.

Еще перед тем как пойти на речку, мы сидим на скамеечке за домом, отложив газеты, покуриваем, а она спешит к нашему колодцу.

— Ну как жа там, чиво-нибудь слышать? — нетерпеливо спрашивает Семеновна, и щеки ее начинают медленно покрываться румянцем.

А мы бесстрастными голосами сообщаем Семеновне очередную «новость»: что в станичном парке дружинники поймали гориллу, убежавшую из краевого зверинца; что муж старой Микишихи, который ушел с немцами, прислал письмо из Бразилии, просит свою Микишиху выслать ему чесноку и теплые носки; что доярка из колхоза «Рассвет», что на другом краю станицы, родила тройню, все мальчики, и один из них — китаец; что рябая тетка Лукерья Асташкова выходит замуж за киноартиста Рыбникова, с которым она познакомилась, когда ездила в Сочи семечки продавать...

— Што делается, это што ш делается, ай-яй-йя! — покачивает головой Семеновна. — Это што жа... Ну да мне бежать нада, побежала!

Она так и уходит с пустым ведром, даже забывает набрать воды.

Тетушек, которые так же вот, как наша Семеновна, слишком охочи до новостей, на картинках изображают обычно с длинным носом, который им нужен якобы для того, чтобы совать его в чужие дела, и с громадными, как радары, ушами, которыми они якобы слышат сказанное за три квартала от них. У Семеновны ничего подобного не имелось; нос у нее был маленький, даже слегка приплюснутый, и уши под густо седеющими волосами виднелись увеличенные, и старинные сережки висели в них совсем крошечные, а вовсе не громадные, цыганские, которые увидишь все на тех же картинках. Лицо у Семеновны, несмотря на седину ее, молодое, зеленоватые глаза веселые, без хитрости и без тайны. Однако есть в них какая-то словно бы нарочитая многозначительность: вот, мол, а я-то знаю!.. А когда начинает Семеновна вам что-нибудь доказывать, то вместо многозначительности этой в глазах у нее появляется такая убежденность, что вам, если вы еще не согласились с Семеновной, становится просто-таки не по себе.

Но самое удивительное у Семеновны — это ее румянец. Вот вы сказали ей что-то, и кожа на моложавом ее, хоть и с морщинками, лице начинает медленно розоветь, и она покачивает головой, как будто еще не веря, как будто только привыкая к тому, что услышала; потом Семеновна переспрашивает вас, и румянец ее становится гуще; и вдруг она сама уже начинает пересказывать вам то, что только что от вас услышала, и тут уж лицо у нее делается пунцовым, краснеет шея, и от Семеновны прямо-таки пышет жаром.

Иногда теперь она сама наталкивает нас на очередную «новость», и теперь мы имеем возможность познакомиться, так сказать, с творческой лабораторией Семеновны.

— Симка Труфанов бумажки везде расклеил, што хату продает. И чиво б это он иё продавал? — спрашивает Семеновна, с надеждой поглядывая то на одного, то на другого из нас.

— Это который у больничного сада живет?

— Ну да, а то какой жишь!

И мы говорим первое, что приходит в голову:

— Так там ведь, кажется, должны тянуть железную дорогу.

- Дорогу?
- Да, дорогу...
- Железную?..
- Ну да, железную.

— От оно, от оно што — теперь понятно, — покачивает головой Семеновна, и голос ее постепенно набирает решительности. — А он первый, значит, разузнал — это ш такой хитричок! Кто его обдурит, тот и три дня не проживет. Этот везде вывернется, от уж хитричок — да, дак да! Это ш от он кричит везде, что пенсия ему идет маленькая, а он, жишь, вроде пострадал при немцах. Как черт ут это он брешет! Што ш мы, бабы, не знаем? Он, жишь, пока наши отступали, в копне просидел, а при немцах и вылез. Дружки у его эти появились — полицаи. Все самогоном их поит, да песни играют, да пляшут, да матюками кричат. А потом кудай-то на хутор поехали, свинню там — зда-аровава кабана! — у ковой-то отобрали, привезли, да к ему в сарай и загнали — сычас, мол, самогонки еще добавим, да потом у-то и зарежем. Ну, пока выпили, стемнело, да кабан зда-арова-ай, вертится, они ножиком под лопатку попасть не могут. Свиння вижжит, аш у Бухаресте небось слышать. А Симка тада первый рассердился да и говорит одному: «Ты на дворе с обухом стань — за дверью стрячься, а как я иё вытолкну, — ут так же, мордой вперед, — ты ей обухом в лоб». Тот вышел, стал ут так с топором, стоит, и свиння не идет, свиння-то свиння, а чуёт!.. Пихал иё Симка, пихал, а потом разозлился, схватил за уши, да сам задом из сарая попятился... Только задницу это свою наружу выставил, тут ему полицай по ей обухом ка-ак вда-арит!..

Мы громко смеемся, но Семеновна и бровью не ведет, она только разошлась, ей почему-то вовсе не смешно.

— Копчик ут этот он ему и разбил, — продолжает Семеновна. — Дружки его полицаи устроили вроде ево сначала в немецкий госпиталь, а потом же поперли их: видно, и своих девать стало некуда, по хатам прям разносили — ухаживай да корми, дак они его и вытурили обратно домой. А тут наши... Глядим, а к Симке под двор машина, сгружают продукты. Да што ш за черт?.. Глядим, а Симка уже кричит, што это ево полицаи с немцами пытали да били, а кто-то ут это с молодых бойцов стоял на квартире да поверил. И с год почти Симка потом в нашей, жишь, больнице отлежал, а потом пенсию стал себе требовать как пострадавший. Бабы сначала смеялись: «От дасть стране угля!..» А потом он, жишь, сохнет да сохнет, а про немцев вроде уже и забывать стали, уже другое на уме: то холод, то голод... Ну и чего ш: на тебе, Сима, пенсию!.. Дали. Ну рази ут это не хитричок?.. А он теперь про дорогу узнал первый да хочет продать быстренько — опять всех обдурить! Надо будет баб там предупредить, чтоб тоже продавали, пока не поздно!

— Да это еще не точно! — пробуем мы дать задний ход.

— Чевой-то не точно? — удивлялась Семеновна. — Раз Симка продает, значит, уш точней некуда... Кто его, черта, обдурит, тот и три дня не проживет — рази я его не знаю?.. Да меня хучь на этом краю за ково спроси, да а хучь за любова в станице — про всех знаю!..

А знала Семеновна и в самом деле обо всех очень много, и можно было только удивляться ее умению восстанавливать события по какой-то одной, другому ничего не говорящей подробности.

Как-то мы стояли с ней у колодца, когда мимо нас прошел еще молодой, но очень толстый человек в белом льняном костюме, в брезентовых — тоже белых — туфлях и в капроновой кремовой шляпе с дырочками. На фоне всего этого светлого его одеяния ярко выделялся многоцветный синяк под глазом, и Семеновна долго смотрела вслед человеку с этим синяком, а когда он уже порядочно отошел, крикнула, будто спохватившись:

— Вань, а Вань?..

Тот нехотя обернулся.

— Пришел Толик? — крикнула Семеновна.

— Пришел, ну его к черту!..

— А матери, дажно, не было, што не задержала...

— Да кто ее!..

И толстый человек понес свой синяк дальше по нашей улице, а Семеновна еще долго смотрела ему вслед, покачивая головой, а потом обернулась к нам, сказала решительно:

— Так ему ут это и надо!.. Не будет брехать на людей...

— А кто это?

— Да кто, кто?.. Это ж Ванька Ченцов... шофер. Это он с Толиком Дивулиным взялся на энтой сельской лавке работать, что будка-то зеленая на машине, ут тут по улице ездит. Ну, Толик, жишь, как раз больной был, а Ванька растрату сделал, а потом прибегает до Толика да на колени. «Давай, — говорит, — скажем, что вдвоем, тада не посадют, а я потом деньги отдам один». А Толик, жишь, Дивулин такой мальчишка доверчивый. «Да чи мне, — говорит, — жалко?..» А на суде стали Толика первова допрашивать, а он говорит: «Виноватый я, граждани судьби!» А Ванька тада: «Мол, слышита? Сам сказал: виноватый!» И давай все валить на его, на Толика. Тот тада: «Да я ж больной был, как, жишь, тебе, Ваня, не стыдно? Ты ж сам меня и уговаривал, на колени вон становился». А судья говорит: «Представьтя документ, что больной». А документа у ево и не было, он, жишь, дома лежал, он, жишь, не пьет, Толик, а они выпивали, шоферá да начальство, да давай смеяться над им: «Какой, жишь, ты, мол, казак?» Да смеялись, смеялись, а потом и бросили в степу одново, а в декабре, да это ж он всю ночь и шел домой в одном пиджачке, а потом крупалезная воспаление легких... А потом сообразили, что его бросили, да спутались. «Да ты, — говорят, — на больничный не иди, договорилися, тебе так заплатют». Он, жишь, и не пошел. А теперь судья за документ, а ево нету. Два года ему и дали. А он, када

уходил, жишь, с суда, говорит: «Ну, Ваня, спасибо, открыл ты мне глаза на друзей! Приду, дак тебе морду разукрасю, а потом за других возьмуся». А это ж ему срок, а мать его, Гаша, на базаре и говорит: «Упаду, — говорит, — в ноги, дай, скажу, Толечка, честное слово, што гамно трогать не будешь!.. А то ж, — говорит, — так доверчивый да простой, а как сказал што — дак хуть умри». Вот, не успела, видно, и уговорить его, а он Ваньке уже разбил харю, и правильно!..

* * *

Наше с Жорой «агентство» работает безотказно.

Расходясь вечером по домам, мы договариваемся хорошенько подумать и сочинить для Семеновны что-нибудь *этакое*, какие-нибудь совершенно потрясающие «нюс», но думать в одиночку лень, да и потом в этом теряется смысл, когда ты один, — не с кем посмеяться.

Так что утром, когда Семеновна приходит к колодцу, нам приходится врать, что называется, на ходу; иной раз мы и сами стыдимся своих «уток» и смеемся потом, когда Семеновна уходит неестественно бодро.

Немудрено поэтому, что, исчерпав довольно большой запас информации о всякого рода удивительных происшествиях, о которых в газетах и журналах обычно печатают мелким шрифтом, мы докатились наконец и до новостей самых низкопробных.

Однажды утром я равнодушным голосом сообщил:

— Шпиона, говорят, вчера поймали...

Семеновна так и вскинулась:

— Да иде, скажите скорей!

— За станицей тут... на Казачьей Балке.

— Правда? — все еще сомневалась Семеновна.

Мы не постеснялись побожиться.

— А чего его туда черт занес? — спрашивала Семеновна, но в голосе у нее уже не было сомнения, наоборот — в нем звучал сейчас неподдельный интерес: надо же, какая у них, у этих шпионов, работа — и на глухом хуторе Казачья Балка может найтись для них какое-то дело! — Чего ж он хотел там взять?

И мы с Жорой начинаем друг другу подыгрывать:

— Точно пока не установили.

— Да он пока скрывает...

— Скрывает?

— Ну да... на допросах молчит.

— А иде ж его допрашивают?

— У нас в милиции. Юрка Сивоконь и допрашивает.

— Юрка?.. Сивоконь?.. Ай-яй-я!.. Без штанов, жишь, недавно бегал, а теперь... Ут это молодец!.. Да он хороший мальчишка, Юрка. А тот, значит, молчит?..

— Ага, как в рот воды набрал.

— Или прикидывается...

— Ага, чего-то темнит...

— Говорит, будто его послали подсчитать, сколько гороха собрали в этом году на Казачьей Балке. И посмотреть, что это за горох...

— Брешет! — уверенно говорит Семеновна. — Надо ут это и Юрке сказать, што б не верил ему ни черта. Ну вы сами ут так здравым умом посудитя: зачем он им, ут этот горох?..

— Да тут не так просто...

— Шпион-то этот из Республики Гондурас, вот в чем дело. Есть такая республика в Латинской Америке. А интересовался горохом потому, что у ихнего, говорит, президента грыжа...

— Ну да — поднимал жизненный уровень...

— И нажил грыжу.

— Чего-чего?

Ах, сейчас мы с Жорой сами собой гордимся — такие мы находчивые ребята!.. Как мы были молоды, как самоуверенны! Бесхитростные же рассказы Семеновны, в которых трепетала живая душа, вызывали у нас лишь снисходительный смех. Мы были в той поре, когда становятся циниками, не вдаваясь в подробности, часто из лихости и гусарства.

А Семеновна спрашивает горячо:

— Ну дак а горох ут энто при чем, если у ковой-то там грыжа?

— В кубанском нашем горохе обнаружили некоторые лечебные свойства.

— Некоторые вещества.

— Вещества? — искренне удивляется Семеновна. — У нашем горохе?

— Ну да, вещества. — И Жора называет фамилию одного из наших преподавателей: — Посковеры — так эти вещества называются.

— Ага, — подтверждаю я. — Посковеры и раппопорты.

— Ну черт-те чего!.. Черт-те, прямо, чего! — не перестает Семеновна удивляться. — Так и чего энти...

просвирки, чи как? Помогают, правда?

— Да говорят, что правда.

— Это ж нада!..

Семеновна наконец уходит, а мы с Жорой, отвернувшись друг от друга, трясемся от беззвучного смеха.

А минут через двадцать пришла к нам во двор киластая бабка Лихоглазиха. Руки у нее лежали на громадном животе под фартуком, отчего казалось, что она там прячет большую кособокую тыкву.

— Дуська у-то сказала, что мне можно горохом вылечиться. Чи правда?

— Да нет, бабушка, не поняла она...

И мы с Жорой стали объяснять, что все это не так просто, что помогает, понимаете, не сам горох, а некий, понимаете, компонент, который еще надо из него выделить и соединить с другими, да-да, все это не так просто...

— Так я и думала, — согласилась бабка Лихоглазиха. — В носе у ей, у Дуськи, не кругло про грыжу знать... Совсем уже девка забрехалась — ишь, прахессар. С ей уже вся улица смеется — и правда!..

* * *

День или два Семеновна не появлялась на улице, но нам, признаться, было не до нее. Мы добрались наконец до складов районного нашего «Когиза», оставили там с Жорой почти половину своих подъемных и теперь блаженствуем на тулупе, обложившись книгами.

И мы совсем не слышали, как Семеновна подошла к нашему колодцу, и увидели ее, когда она уже вытащила и поставила на сруб ведро тяжело плескавшейся воды.

Голова у Семеновны, словно чалмой, обмотана была мокрым полотенцем, лицо морщилось от боли. А глаза были какие-то уж очень печальные, и взгляд совсем отрешенный, словно то, о чем думала сейчас Семеновна, находилось где-то далеко-далеко, может быть, там, откуда и возврата нет.

— Ы-их, и не стыдно? — спросила она слабым голосом, и не было в нем ни укора, ни обиды, а была только отчаянная грусть. — Пусто-смехи!.. То раньше хучь иногда дуре такой мне верыли, все с кем-ником поговорить остановисся... Все не одна, вроде с людьми — э-эх!..

Она покачала головой, глядя уже не на нас, а снова куда-то будто бы очень далеко, взяла ведро и пошла по улице, сгорбившись, и голова ее, обмотанная мокрым полотенцем, была низко опущена...

Из-за дома подошла к нам мама — не знаю, мне тогда показалось, что она была где-то недалеко, когда Семеновна стояла у колодца, и, наверное, все слышала. Потому что теперь, глядя Семеновне вслед, жалеючи ее, словно не для нас, а так, чтобы самой себе что-то объяснить, мама заговорила негромко и тоже как-то очень печально.

— А то ж не правда?.. Оно и судить тоже — дак сначала подумать. Ей-то на нашей улице бумага за мужа первой пришла... Плачет, бедная, целыми днями, а тут мы к ей: «Да погадай, Дуся!..» А она слезы, бедная, оботрет да и давай... «Живой, — говорит, — и не голодный. Сنيшься ты ему часто у белой фате, но уже вроде и с ребятишками...» А ты и знаешь, што брешет, а все равно слушаешь. Знаешь, што брешет, а все равно легче!.. Живешь потом неделю-другую. Приснится дурной какой сон — опять к ей: «Да погадай, Дуся!» Оботрет она, бедная, слезы... А то и сама когда придет. «Ой, — говорит, — да а тебе-то чего хмуриться?.. Живой твой — бросала я на его карты!..» И всем так: живой да живой, пока уже известие не получат... Это мы ее, улица вся, брехать-то и научили. Оно и нас понять — от жизнь: то война, то голод, то болезни, то еще какой черт... Люди туда, люди сюда едут. А ты до каждой сплетни прислушиваешься: «А может, хуть чуть, да правда?» И все лучшего ждешь... А оно вот теперь — Андреевна рассказала: «Вошла, — говорит, — во двор, а она меня не видит, Дуся, спиной стоит... Стоит, — говорит, — коло загородки с кролями да жалко так, — говорит, — их и спрашивает: «Да кролики вы, мои кролики... Да скажите ж мне: да чи приедет до нас наш Витя, чи уже никогда его и не увижу?..»

СЕВЕРНАЯ ТИШИНА

1

Деревенька была негусто рассыпана на холмах, живописно столпившихся вокруг совсем крошечного озера, и в тот вечер, когда добрался наконец сюда наш отряд, почти над каждым из холмов этих в удивительной северной тишине звучала песня, то ладная, из одних женских голосов, а то с мужскими, пьяненькая, под гармошку, а то уже и вовсе не песня, а так, оторвавшийся, отставший от нее один крик...

Вокруг автомобилей, вокруг наших зеленых ящиков с приборами неровным кружком уже стояли пацаны. Только что прошел дождь, и в телогрейках с родительского плеча, почти достававших до грязи, все они были похожи на горских пастухов в бурках.

Юрка Нехорошев, покачивая головой, остановился перед пацанами руки в боки.

— Чего, мужики, — праздник у вас какой?

Мальчишки закивали дружно, хотя и не то чтобы смело, а один негромко сказал:

— Ага, дядь, праздник... Шпиона у нас пымали!

Юрка присвистнул.

— И часто вы их тут?

— Не-а! — ответил тот же, смутясь. — Первого!..

Потом в деревню прохромал наш повар Никола — купить петрушки.

— Давай по-быстрому! — кричал ему в спину Юрка, который только что вызывался помочь Николе нести эту петрушку, да начальник не отпустил. — Одна нога здесь, другая — там! Жрать хочется!..

— Одна у меня всегда здесь, а другая давно уже тама!.. — издалека отвечал Никола, оглядываясь. — В Белоруссии тама. С сорок третьего!..

И по торопливому и радостному голосу его чувствовалось, что он напьется.

Такое с ним случалось, однажды, рассказывали, на экспедиционной кухне рядом с котлами для первого и второго пристроил он даже самогонный аппарат, и — надо ж тому быть! — приехала комиссия из Академии наук, а он, забежавшись, вместо чая вынес всем по стакану подкрашенного первача...

Злые языки поговаривали, что и ногу ему оторвало вовсе не на войне, а уже после нее, дома, когда Никола испытывал змеевик собственной конструкции, но это, конечно, была неправда — говорили те, кто злился за что-нибудь.

Вернулся он и точно, когда петрушка была уже ни к чему, — пересоленный его суп и сладковатое пюре из мерзлой картошки мы съели и без нее.

Над деревней уже смолкали последние песни, они скатывались с холмов, ослабевая, распадаясь, переходили в недружный говор или затихали совсем, но, словно огонь на не остывшем еще пепелище, нет-нет да и взвивался где-нибудь голос, как будто полный решимости начать все сначала.

Один из таких голосов возник рядом с нами, это Никола в новом нашем лагере, «близко над водой», пытался посеять любимые свои «огирочки», но яростно начатая им песня сникла вдруг и совсем замерла под удивленно вежливым взглядом начальника.

— Что это вы, Николай Федотыч?.. От кого другого, право, но от вас... Мы хотели, понимаете, ваш портрет на Доску лучших...

Только потом, повзрослев, в полной мере оценил я гениальность воспитательного метода, которым пользовался наш довольно молодой тогда начальник Игорь Михайлович Бурсаков по отношению к пожилому, давно уже трудновоспитуемому Николе.

Никогда он его не стыдил, не грозил увольнением — только похваливал.

Сообразит Никола такой рассольник, что и глаза бы на него не смотрели.

— Совсем, понял, обнагел! — начнет заводиться за столом Юрка Нехорошев. — Еще с той подливки живот не прошел, а он опять! Ты чего, пала, поотравить нас хочешь?..

— Тебе отравишь! — быстро скажет Никола. — Тебе отравишь!..

А сам уже поглядывает на начальника.

— Понятно, Нехорошев, вы к «Метрополю» да к «Националу» привыкли, — заговорит Бурсаков таким тоном, словно перед Юркой оправдывается. — Вам соловьиные языки в сметане подавай, крем-брюле! Только вы забываете, что мы с вами в полевых условиях находимся... Николай Федотыч и так для нас разбивается — удивительно вкусный, между прочим, рассольник! — И протягивает повару пустую железную тарелку. — Не осталось ли там случайно еще черпачка, Николай Федотыч?

Не знаю, как уж удавалось съесть ему еще и этот сверхплановый черпачок, но только после этого Никола последним ложился спать, поднимался наутро еще по-темному, и в обед мы получали что-нибудь такое, ну совершенно потрясающее, пальчики оближешь...

Сам Никола чисто выбрит, и вид у него был очень торжественный, когда он стоял у двери на кухню, поглядывая на начальника.

Тот помалкивал, безразлично ковыряя вилкой, поглядывал по сторонам, будто бы рассеян, и Никола отирал лоб, и лицо его прямо-таки поводило от ожидания.

— Добавки! — орал Юрка Нехорошев.

— Отравился! — не глядя на него, громко бросал Никола.

Юрка хватал черным ногтем по золотому зубу:

— Коля, нехай помру, пала, дай еще хоть маненько!

Никола брал тарелку и небрежно, словно бросал, ставил ее потом уже с добавкой, так ни разу и не взглянув на Нехорошева, и говорил в сторону и как будто бы между прочим:

— Тебе и отравишь, дак только спасибо и скажут!..

Потом начальник вставал из-за стола, и Никола торопливо начинал застегивать верхние пуговицы на белой своей куртке.

— Дорогой Николай Федотыч! — проникновенно говорил Бурсаков. — Разрешите от имени руководства Энской геофизической экспедиции объявить вам благодарность за ваш скромный самоотверженный труд...

И с первыми словами Никола начинал растроганно моргать, а в конце — ей-богу! — слезу смахивал. Два дня после этого он кормил нас более или менее сносно...

Нет, что там ни говори, а начальник наш умел найти к Николе подход; и вот теперь, когда повар стоял

перед ним, покачиваясь, и пучок увядшей петрушки на манер букетика был засунут в кармашек его помятого, неопределенного цвета пиджака, Бурсаков смотрел на него без осуждения, и только удивление и забота были в его серых глазах.

— ...Хотели, понимаете, ваш портрет на Доску лучших, а вы... Как же завтра фотографироваться будете с помятым лицом?..

Однако на этот раз метод нашего начальника не сработал.

— Не буду я фотографироваться, не буду, — забубнил, торопясь, Никола. — Ухожу я от вас, Игорь Михайлыч... На расчет!

— Николай Федотыч, это куда?

— Есть одна работа... Зовут. Тута, в деревне...

Вокруг Никола и Бурсакова стали собираться наши.

— И что же это за работа? — вежливо и как будто чуть удивленно расспрашивал начальник.

— Шпионов ловить мы будем, понятно, — диверсантов. — Никола прикрыл глаза и помотал головой. — Тута их!..

— Как грибов?

— Почем я знаю, сколько тут грибов?

— Коля, возьми меня, пала, всех переловим! — дурным голосом закричал Юрка.

— Не подойдет ваша кандидатура, Нехорошев, — серьезно рассудил Бурсаков. — Их ведь надо живыми брать...

— Три тыщи дают за одного, три тыщи! — словно заторопился Никола. — Вот ихний председатель сельсоветский поймал, ему и дали... А он без руки. «Чего, — думаю, — а я не смогу?» Он говорит: «Пойдем, Никола, право дело, пойдем!..»

Его стали подначивать:

— А как же подъемные, Никола?

— Ничего, мы подождем, — серьезно пообещал Бурсаков. — Когда первого поймают — отдаст.

— А еще народ нужен?

— А полевые идут?

— А северные?

— Еще б не шли — это ведь не так себе, государственное дело.

— Можно узнать, — успокаивал Никола, — можно узнать.

— Что ж, Николай Федотыч, рад за вас, поздравляю — хорошо устроились! — сочувствовал Бурсаков, и в голосе его слышалась неподдельная зависть. — Заявление сейчас напишете?.. Или завтра? Пожалуй, лучше завтра... А то и писать его не придется — я вот ночью подумаю: может быть, свернем пока эту нашу лавочку, с афиметрами, и всем отрядом — за шпионами!..

— А что, а что? — соглашался Никола. — Пока шефа нет, пока шефа... А потом он приедет, а мы ему вот: тоже, мол, даром время не теряли, тоже не теряли!

— Три тыщи как-никак, я подумаю, — обещал Бурсаков, и лицо его оставалось непроницаемым.

Мы покатывались со смеху.

2

Я и тогда не знал всех подробностей, теперь тем более не берусь объяснять, что же в точности произошло, но в ту пору рассказывали, будто председатель сельского Совета той деревеньки, где мы только что остановились, и в самом деле поймал шпиона, и ему, и правда, выдали три тысячи рублей вознаграждения.

А тут прошел слух, что был шпион этот не один, пятерых парашютистов сбросили, и тогда все в деревне кинулись ловить остальных.

Когда еще будет картошка?.. Да и какой выпадет год? А диверсанта сдал — и на руки чистыми, без всяких тебе вычетов...

Мы приступили к работе.

В районе предполагаемого месторождения железной руды разбросили петлю из кабеля длиной в несколько километров. В нее идет ток от нашей передвижки. За петлей и внутри ее — профили.

И по ним идем мы, лаборанты, со своими мудреными приборами — афиметрами, которые испытываем уже третий сезон подряд.

Пришел ты на очередной пикет, установил треногу с черным ящиком, повесил рамку — металлическую трубку с кольцами из проводов по краям, надел наушники...

В наушниках то исчезает, то появляется писк, и ты вращаешь верньеры, и в пикетажку записываешь показания: амплитуда и фаза, амплитуда и фаза... Цифры увеличиваются ровно, и вдруг — резкий выброс, и это оно — рудное тело, его-то тебе и нужно, — значит, прибор работает, значит, скоро можно будет искать с его помощью железо так же, как саперы ищут мины, ведь научный шеф экспедиции Андрей Феофаныч Волостнов — один из конструкторов миноискателя...

И вдруг:

— Руки вверх!

В первый раз я здорово испугался, даже боль какую-то почувствовал — словно тебя не очень сильно, да зато ловко ударили по спине.

Гляжу краем глаза: высокий старик с берданкой, прищурился, в меня целит, и седая борода топорщится на прикладе... Парень с курковкой у живота... Потом кто-то, совсем молоденький, с дубинкой в руках, и на плече у него моток веревки.

Руки хочу поднять, а они не поднимаются, будто и не мои это руки, особенно правая, так и падает вниз, подрагивает, а сзади торопливо:

— Ишь, ишь, к карману, гад... Проверь, Митька, что у его в том кармане.

— Даст ешо!..

— Эй, ты, понимаешь по-русски? Ферштей?... А ну, выворачивай карманы!..

Тут я из себя выдавил:

— Т-товарищи...

А за спиной удивились:

— Ишь, как чешет!..

— Их там будь здоров насобачивают!..

— А морда все равно не наша...

Только тут до меня стало доходить.

— Извините, товарищи, вы, наверно...

— Ишь ты, нашел товарищей! — прикрикнул старик и повел ружьем на прибор. — Собирай свою оборулованию — и за нами... Ферштей?..

Кое-как разобрал я рамку, взвалил афиметр на плечо и медленно пошел в деревню впереди конвоя...

В деревне скатилась с пригорка и бросилась нам под ноги резвая стайка пацанов, кто-то крикнул радостно и тоненько:

— Еще одного ведут!..

— Ишь ты, оказывается, уже не перьвый, — с сожалением сказали за моей спиной.

Первым оказался лаборант Женька Ялунин.

У сельсоветовского крыльца стоял «газик» Бурсакова — это Женька попросил вызвать нашего начальника, чтобы тот подтвердил, что Ялунин свой.

Они уже, видно, отсмеялись на Женькин счет, принялись теперь за меня.

— Нет, кому верить? — говорил Бурсаков, поглядывая на меня как на человека, с которым он недавно был еще хорошо знаком, но которого теперь необходимо вырвать из сердца. — Вроде бы скромный парень... С пролетарской биографией — свой в доску... Из старших рабочих в лаборанты его перевел — пусть, думаю, немножко подзаработает. А его, оказывается, рубли давно уже не устраивают — ему подавай доллары... Или фунты стерлингов?..

— Он иенами брал! — вторил ему Ялунин. — Он — японский!

— А как, интересно, вашему брату платят? С выработки? Или прогрессивка идет?

— А ловко он втерся в доверие к шефу, а?

— Да-а! — подхватил начальник. — Теперь ясно, почему в прошлом году у нас не ладилось... Потихоньку портил приборы, показания путал... Мы-то думали, что шеф из ума выжил, — оказывается, все гораздо сложнее...

Мы с Женькой хватались за животы.

А в кабинете у председателя дым стоял коромыслом.

Здесь сидели на скамейках, на подоконниках и даже на полу, стояли кучками посреди комнаты, пересмеивались и переругивались, и в углу уже на повышенных тонах спорили, крепко пахло самосадом и перекаленными семечками.

— Я тя выведу на чисту воду, я тя выведу! — грозя председателю пальцем, обещала толстая тетка. — Я тя на всю жизнь выведу на чистую воду!..

Председатель прихлопнул по столу краем ладони.

— Да тише ты!..

— Чаво тише?! — взвилась толстая тетка. — Ишь, люди тыщи загребают, а он мне... да ишо кулаком!.. В носе у тя не кругло — на меня кулаком! Я што, не могу ловить диверсантов? Тоже небось войну пережили — знаем!..

Председатель морщился, укорчиво качал головой.

— И-и, дура ты, баба, хоть и войну, говоришь, пережила. По мне хоть куда иди да тама кого хочешь и ищи, только не торчи здесь в кабинете перед моими глазами. Посевную, как пить, сорвете... Я отговаривать должен, да ладно, думаю, пусть...

— А я на своих сначала подумал, что сами они какие-нибудь диверсанты, — сказал я начальнику. — Испугался: отнимут еще афиметр.

— Неплохая мысль! — Бурсаков кивнул на стоявшие у двери приборы, которые притащили сюда мы с Женькой. — Если бы эту машинку удалось подсунуть иностранной разведке, мы бы отбросили зарубежную науку лет на десять назад.

— Тише ты, Шурка, слышь вот, что люди говорят! — взмолился председатель и глянул на Бурсакова понимающе. — Надо подумать, а?.. — И подмигнул: — Можно им такую козу заделать... Вон у нас — народ!

Он повел рукой на скамейку, где покуривали приведшие нас мужики, и один из них, пожилой, бородатый, с черными цыганскими глазами, рассудительно подтвердил:

— Отчего нельзя? Все можно.

— Это я вот те — козу! — не унималась толстая Шурка. — Приедет только какое-никакое начальство, я те эту козу — сразу!.. Я те эту козу — на всю жизнь!..

На улице послышался возбужденный говор, потом он стал ближе, но приглушеннее, потому что разговаривали теперь, покрикивали уже в доме, за дверью, а затем дверь эта распахнулась так стремительно, словно ее хотели выбить, и в комнату влетел Юрка Нехорошев.

Сопровождавшие его вошли за ним неторопливо, даже степенно вошли, но по лицам их было видно, что это именно они сообщили Нехорошеву такое ускорение, в результате которого он смог остановиться, только наткнувшись на председательский стол.

Рубаха на груди у Юрки была разодрана, под глазом уже зацвела, наливался багровым большой синяк.

— Сонного вязали, — объяснил длинноволосый дедок в очках. — Ежели иначе, может, и не дался бы — здоровущий, черт.

Юрка взглядом полоумного скользил по лицам, увидел вдруг Бурсакова, и глаза его радостно зажглись.

— Игорь Михалыч, пала!..

— Тоже ваш? — спросил председатель.

У Юркиных конвоиров вытянулись лица. Но Бурсаков в недоумении плечами пожал.

— Первый раз вижу.

— Ага! — сказал председатель и азартно потер ладонь о полу кителя где-то на животе сбоку.

— Игорь Михалыч, пала... Да ты што, начальник! — закричал Юрка отчаянно. — Чернуху такую кидает, понял! Ну, Нехорошев я! Юрка!

— Нехорошев? — повторил Бурсаков, как будто начиная что-то припоминать. — Юрий, говорите?

— А то кто ж, пала?

Голос у Юрки звучал сейчас тонко и жалобно. Юрка обиженно моргал, кривил губы, и было в лице у него еще что-то такое, действительно делавшее его на самого себя непохожим.

— Есть у нас такой, — как будто припоминал Бурсаков. — Только наш Нехорошев — орел! И синяков у него никогда, он сам синяк кому хочешь... И зуб у него золотой... фикса.

— Дак выбили, пала! Вот этот дедок! И поискать не дал. — Юрка начал надвигаться на длинноволосого, картинно хватая его за грудки. — Я тебе, што, пала? Што, мама твоя нехорошая...

— Наш, — сказал Бурсаков. — Теперь вижу: наш.

Женька Ялунин оттащил Юрку от дедка.

— Ежели товарищ и свой, ежели и научный сотрудник, все равно ему суток десять дать не мешает. Мы, можно сказать, при исполнении... А он! За всю свою долгую жизнь столько матюков не слышал и, надеюсь, больше не приведет господь! Тьфу ты!..

— Шестьдесят рублей, пала, отвалил, — отозвался Юрка. — Девяносто восьмая проба. Как я теперь найду?

— Теперь единственная надежда на наши афиметры, — сказал Бурсаков. — Доведем их до ума и попробуем поискать твой зуб... Так что кончай бездельничать и спать на профиле — теперь ты лицо, так сказать, заинтересованное.

— Он золото не будет брать — только железо, — огрызнулся Юрка. — Што, я не знаю?

— Ты подаешь надежды, — сказал Бурсаков одобрительно. — Почему бы тебе всерьез не заняться наукой? Тем более материальный стимул у тебя уже есть — золотой зуб... Андрей Фофаныч тебя любит — всегда поможет...

Мы с Женькой снова схватились за животы.

Когда меня окружили на профиле и потребовали поднять руки во второй раз, я снимал рамки афиметра, давась от смеха.

В деревню шел с большою охотой, предвкушая новые шуточки; и точно, начальник наш, которому волей-неволей приходилось теперь дежурить в сельсовете, выручая своих, встретил меня радостно — неожиданная его обязанность поначалу ему, видно, понравилась.

В третий раз я уже попытался скандалить: не хочу, мол, нести прибор — и точка, а если кому надо — пусть сам тащит афиметр, — мне эта история уже надоела.

— Ладно, — сказал один из моих конвоиров, — понесем по очереди. — Подошел к афиметру и уже приподнял его, как вдруг в спину ему сказали негромко:

— Ка-ак трахнет сейчас, так и кусочков не соберешь...

— Ишь ты! — удивился первоначальный мой доброжелатель, живо отпрянув от афиметра. — А ну-ка, давай сам!

И опять прибор понес я.

А Бурсаков на этот раз сказал, что вообще-то уже хватит, не смешно, пора и делом заняться.

— Товарищи! Дорогие! — говорил я через несколько часов, прижимая руки к груди. — Ну какой же я шпион, граждане? Да разве шпионы ходят с такими громадными приборами? Тогда бы их всех в один день переловили. Разве не так?

— Вот мы и ловим! — неумолимо отвечали мои оппоненты.

Я призывал на помощь все свое красноречие.

— Нет, ну правда, товарищи! Был бы я шпион, тогда бы аппарат у меня был во-от такусенький!.. В пуговку на прорешке был бы вмонтирован. А этот?

— Ну, пуговки на прорешке мы тебе в конторе посмотрим!

— Га-га, правильно!

— Товарищи, вы же мне мешаете работать! У нас в экспедиции...

— Это мы ему мешаем, на своей-то земле!

— Вот гад, по-русски чешет!..

А Бурсаков сказал в конторе:

— По-моему, ты испытываешь мое терпение, а?

А что я мог сделать? Мне не везло, как никому.

Других наших лаборантов уже начали узнавать, по-дружески справлялись, не видать ли где-нибудь поблизости кого-нибудь подозрительного, иных, кто посолонней, расспрашивали уже о работе, о здоровье, о письмах из дому, поили квасом из фляжек или туесков, а меня никто не хотел принимать за своего, меня каждый раз упорно снимали с профиля и препровождали в деревню.

Сначала я думал, что виной тому синяя, порядком уже выгоревшая рубаха с погончиками на латунных пуговках и с желтой эмблемой Союза свободной немецкой молодежи на рукаве — мы, пришедшие в университет в традиционных вельветках на «молнии», с удовольствием потом носили такие рубахи: они были для нас как бы знаком не только нашего студенческого, но и интернационального братства.

Легко представить сцену: по лесу осторожно пробирается группа добровольных охотников за шпионами, и видят: перед какой-то черной штуковиной на треноге — ну, точно, передатчик! — замер нездешний человек в наушниках, вертит черные ручки — ну ясно, что-то передает!..

С великим сожалением свернул я однажды вечером и положил в рюкзак такую рубаху...

Однако ничего не изменилось ни после этого, ни после того, как я, повздыхав, расстался с темными очками и с гордостью моей — кепочкой из черного бархата с крученым синим шнурком и лакированным козырьчком — такие носят шахтеры в Силезии — с кепочкой, которую подарил мне поляк Здишек, тоже мой однокурсник.

Потом-то уже я понял, что есть у меня такая черта — привлекать внимание. Если на остановке толпа, то, давно ли не было автобуса, спросят обязательно у меня, я, а не кто другой, должен объяснять на улице, как пройти куда или проехать и что здесь происходит, если что-то такое произошло, должен объяснять тоже я и дать недостающие пятьдесят копеек на билет небритому человеку, который отсидел двадцать лет и которого ждут не дождутся дома малые, понимаете, дети — опять я...

Может быть, дело было именно в этом, может быть, в чем-то другом, до чего я так тогда и не додумался, но сперва меня забирали чаще, чем других, а потом и вообще стали забирать только меня одного.

Не знаю уж, по какому принципу формировались маленькие добровольческие отряды, может быть, каждый день заново, но только иногда среди тех, кто окружал тебя в очередной раз, попадались уже знакомые, и ты обращался к ним с надеждой, что они выручат, что они-то все сейчас объяснят. Но знакомые эти почему-то всегда отмалчивались, а когда ты сам начинал взывать к ним, глухо говорили: «Я, мол, что?.. Я-то, может быть, и знаю, да остальные как?»

И опять складывай прибор, взваливай его на плечо...

Раза три или четыре забирали меня в присутствии того дедка, который вместе с другими связывал Юрку Нехорошева, и в том, что этот дедок и в самом деле очень вежливый, я имел случай убедиться, потому что уже на второй раз он ласково так поздоровался, приподнял шляпу, а на третий вел себя и совсем по-дружески, но на вопрос, почему же это опять меня забирают, только пожимал плечами.

Теперь уж я думаю вот что: наверное, им было очень скучно ходить по лесу, так никого и не найдя, и они забирали нас, чтобы как-то себя подбодрить — ничего, мол, вот так же поведем, если попадется настоящий, с заграничным клеймом.

А может быть, это была игра, целиком захватившая маленькую, затерянную в лесной глуши деревеньку?.. Просто забавная и чуть странная игра, которая привыкшим к будничному однообразию людям предоставила возможность почувствовать причастность свою к большому и тревожному миру и свою перед ним ответственность?

То с одной, то с другой группой ходил наш Никола, только он обычно отставал, хромал позади и догонял своих новых друзей уже только у сельсоветовского крылечка.

— Если бы вы, Николай Федотыч, согласились опознавать на профиле наших лаборантов, — сказал ему однажды Бурсаков. — Забирают его, а вы: «Наш!» В таком случае я бы решил принять вас на полставку... По совместительству.

— Я и так буду говорить, — согласился Никола. — Я и так...

Однако в тот же день группка, которой командовал он сам, привела с поля Юрку Нехорошева, который громко кричал по дороге, что он поквитается с Николой, выдернув ему и вторую ногу, а наутро такая же, что и Нехорошева, участь постигла и меня.

— Ну ты чего, Коля? — пытался заговорить я с ним по дороге. — Ты ж меня знаешь, слава богу, третий сезон...

— А мне что знакомый шпион, что незнакомый — нет разницы, — бормотал Никола. — Нет разницы — я поважать не люблю!

— Да ты чего, Коль?..

— Ладно, ладно, иди, — ворчал бывший наш повар. Но, проявляя великодушие, предлагал: — Хошь, прибор понесу, а? Понесу, а?

— А вдруг он заминированный? — засомневался кто-то из деревенских.

— Афиметр-то? — удивился Никола. — Да ну! Кто бы его, к чертям, минировал? Кому он нужен?

На этот раз Бурсаков смотрел уже как будто бы сквозь меня. Запас юмора у него, видно, уже истощился, и голос был усталый и мирный, когда он, вздохнув, произнес:

— Ты знаешь, о чем я думаю?

Я вежливо осведомился:

— О чем?

— По какой бы статье тебя уволить, чтоб тихонечко... Как-то так — чтобы по душам...

После этого я решил, что стану работать на профиле в неурочное время: например поздней ночью.

Знаете ли вы эти северные белые ночи?

День, день и день... Потом неземные, почти мгновенные полусумерки, таинственная тишина над бескрайними лесами, доходящая в эти часы до такой пронзительности, что неизвестно отчего забьется вдруг сердце, и потом серая темь, неслышная, как летучая мышь, и короткая, как волшебное помавание рукой.

Как хороша была и мирно спавшая на холмах, просвеченная белым наша деревенька, и замершая рябь озера внизу, и застывшие над ней светлые облака, и удивительные зоревые краски, бесстыдно красивые глубокой ночью!..

Этой порой ребята наши бросали волейбол и тихонько покуривали перед сном, молча поглядывая на запад.

Этой порой я собирался и шел на профиль.

Не потому, что я боялся — Бурсаков уволит, вовсе нет. На то были у меня свои, как говорится, причины...

Одна из них умещалась в шести словах, отпечатанных телеграфным аппаратом: «Работайте прецизионно Григори надеюсь вас Волостнов».

4

Так вот, пора рассказать о Волостнове.

Познакомились мы с ним в мой первый сезон, на Урале, дня через два после моего приезда.

Накануне вечером старший рабочий Уральской геофизической экспедиции Академии наук Юрий Нехорошев, выпив сэкономленного от протирания приборов спирту, пришел к начальнику Бурсакову и, хватанув о край золотого зуба, произнес яркую речь, из которой следовало, что если он, Нехорошев, еще и завтра пойдет по профилю вместе с Черной Бородой — так за глаза называли шефа, — то обратно в наш лагерь, увы, никто из них не вернется. Шеф Черная Борода на веки вечные останется лежать в трясине со стальным «перышком» в боку, а старший рабочий Юрий Нехорошев пешком добредет до трассы, поднимет руку и поедет в Челябинск, чтобы добровольно отдать себя в руки правосудия.

— Я, пала, на Матросской Тишине верхушку держу, а он мне: «Вы, вы, Юрий Егорыч!..» — захлебывался Юрка от обиды. — Нет приказать чтобы — так он, гад, просит, понял, да еще и кланяется...

Начальник экспедиции Игорь Михайлович Бурсаков с беспокойной своей должностью справлялся великолепно. Теперь он вышел из-за стола, протопал коваными сапогами с пряжками на боку по железному полу полевого вагончика и не очень осторожно несколько раз заставил качнуться старшего рабочего Нехорошева с носка на пятку. После этого старший рабочий Нехорошев, не вынесший интеллигентного обращения Волостнова, заявил, что ладно, пусть шеф Черная Борода еще поживет, а пусть умрет он, Юрка, пусть он медленно умрет как личность от употребления спиртного, которое у него припасено на этот случай!

Это было уже ближе к правде, и начальник открыл дверь полевого вагончика спиной старшего рабочего Нехорошева, и когда проем освободился, кликнул меня и сказал, что завтра вместе с Андреем Феофанычем Волостновым, кандидатом наук и лауреатом Государственной премии, на профиль пойду я.

Шефа до того я видел только мельком.

Наутро же он предстал передо мной в нашей брезентовой столовой, когда все спокойненько допивали чай и спокойно покуривали, откашлялся, сморкнулся очень странно в платок — так, словно продували тромбон, — и тихоньким, но невсамделишно звонким голосом спросил:

— Ну-с, мой юный друг?

Все сидевшие за столом посмотрели на меня жалеючи.

Я оставил кружку с чаем и перелез через плаху, служившую нам скамейкой.

— Как вас изволисте величать? — спросил шеф, когда я сбегал за прибором и остановился рядом с ним у машины.

— Вообще-то меня зовут Григорием...

И шеф посчитал нужным уточнить:

— Что значит, извините, «вообще»?

Пришлось рассказывать, как девятнадцать лет назад в бюро записи актов гражданского состояния родной моей станицы Благодатной на Кубани сделали ошибку, забыв написать в имени последнюю букву, и как три года назад начальник паспортного стола, бюрократ такой, не захотел эту ошибку исправить, так что в документах у меня так и значится до сих пор: Григори.

— Ну что ж, — сказал шеф, — мы можем обойтись и без этого «и краткого» на конце... И так — Григори.

Уже из этого можно заключить, что шеф был всецело человеком науки, строгим сторонником фактов, как бы причудливы порой они ни были.

— В порядке любезности, Григори, — продолжал шеф, — оставьте вашу курточку в лагере. Вам она, уверяю вас, не понадобится. Только, пожалуйста, сделайте это как можно быстрее...

Из брючного кармана на животе шеф вытащил секундомер и щелкнул кнопкой.

— Спасибо, Григори, — сказал он, когда я вернулся. — Вы управились за одну минуту сорок восемь секунд...

Сейчас мне смешно, сейчас мне хочется задним числом придумать какой-нибудь достойный ответ на это замечание шефа, но в то время оно у меня — и правда! — вызвало только желание в следующий раз избавиться от курточки, предположим, ровно за одну минуту. А может быть — точно теперь не помню, — я поклялся не брать ее с собой — хоть камни с неба, во всяком случае, тогда меня на это хватило бы, был я тогда положительный-преположительный, не успевший еще обтереться на факультете журналистики деревенский парнишка. В тот день мы с шефом начали работать.

Боже мой, что это была за работа!..

— Тридцать восемь! — выкрикивал шеф неестественно звонким своим голосом: — Семьдесят два!

Я торопливо записывал показания афиметра в пикетажку, а шеф уже снимал рамку — и с этой рамкой в одной руке и с секундомером в другой стремительно мчался в наушниках к следующему пикету, и тяжелые его сапоги глухо стучали по высохшим кочкам, и черная полевая сумка прыгала у шефа на синих галифе...

С афиметром на плече я догонял его в тот момент, когда шеф уже стоял, слегка наклонившись, держа рамку параллельно земле — на том уровне, на каком она крепилась к прибору.

— Мы управились, мой юный друг, за пятьдесят четыре секунды, — говорил он потом быстро. — В порядке любезности: попробуем сократить до пятидесяти секунд ровно.

Не знаю, может быть, шеф считал, что, когда мы бежим, наука тоже не стоит на месте, только в следующий раз мы неслись куда стремительнее, потом еще быстрее, и еще...

А через каждые полчаса — ни больше ни меньше — шеф становился ко мне лицом, вытягивал перед собой руки и звонко выкрикивал:

— В порядке любезности, мой юный друг Григори... Делаем: вдо-ох! Делаем: вы-ыдох!..

И я, немного опаздывая, вслед за шефом повторял комплекс производственной гимнастики.

Он был невысокий плотный мужчина пятидесяти пяти лет.

Старая его велюровая шляпа, опущенные поля которой подпирались торчащими во все стороны клочками седых волос, казалась, в свою очередь, надетой на жесткую какую-то шапку. Громадный лоб, подчеркнутый мощными дугами косматых и тоже седых бровей, и под ними, за выпуклыми линзами очков, — сверлящие марсианские глаза, до того голубые, словно шеф родился только вчера. И щеки у него были совершенно розовые и без единой морщины, как будто он родился только вчера, но от них стремительно бросалась шефу на грудь густоющая черная борода; и странно было видеть эти по-детски голубые глаза и розовые щеки рядом с таким атрибутом мужской зрелости, и странно было слышать его не по возрасту звонкий голос...

Борода у шефа была тугая и жесткая; и когда он почему-либо задира голову, она пластом поднималась вверх, открывая голый клин на груди, — шелковая с отстегнутым воротником рубашка в полоску, казалось, вот-вот должна была затрещать на мощных его плечах. Рукава были закатаны у самых предплечий, и открытые руки шефа, толстые, покрытые волосами, говорили о незаурядной силе.

Только вот голос — никак я сначала не мог привыкнуть к этому голосу!..

— Вдо-ох! — тоненько выкрикивал шеф, и гигантская черная борода его плавно взмывала вверх, открывая белый треугольник на груди. — Вы-ы-дох!

Я дышал. Потом мы бежали дальше...

И каждым моим вдохом и выдохом шеф руководил теперь не только на профиле.

Сначала два или три вечера подряд он объяснял мне устройство афиметра, заявив, что, когда я буду знать его, у меня усилится чувство ответственности. Потом выдал мне новенькую пикетажку и предложил как-нибудь вечером попробовать поработать самостоятельно.

Теперь поздно вечером я по десять минут стоял в наушниках на каждом пикете, перепроверял показания по нескольку раз, боясь ошибиться, а потом наушники брал шеф, тоже стоял в них подолгу, затем сравнивал мои цифры со своими и выкрикивал тоненько и звонко любимое свое слово:

— Прецизионно! — Он закрывал глаза и наклонял голову, ломая о грудь жесткую свою бороду, и словно крепко задумывался, а потом, как бы что-то решив, как бы покончив наконец с мучительной душевной борьбой, поднимал голову, стремительно блеснув при этом очками. — Но можно еще прецизионнее!..

Дни стояли жаркие, после полудня работать было тяжело, и мы с шефом вставали теперь очень рано и уходили на профиль, когда все остальные еще спокойно себе похрапывали.

В это время только Никола уже работал у себя на кухне. Наскоро он кормил нас остатками вчерашнего

ужина, потом совал шефу пакет, в котором были кусок хлеба и четыре сваренных вкрутую яйца, и, словно извиняясь, ворчал:

— Нету, ничего нету!.. Подождать низ-зя? Низ-зя подождать?

Шеф, уложив пакет в черную свою полевую сумку, каждый раз тоненько говорил:

— Мы двигаем науку... Вы, кормилец наш, двигаете нас. Следовательно, вы двигаете науку!..

— Не люблю я от это шуток, — ворчал Никола, моментально краснея и рукавом белой куртки вытирая выступивший на лбу пот. — От не люблю!..

— Клянусь, Николай Федотович, это очевидная истина! — тоненьким своим голоском значительно говорил шеф.

Мы уходили, а Никола тоскливо смотрел нам вслед, и на лице у него было написано страдание.

Через несколько дней меня перевели в лаборанты, но я так и остался работать в паре с шефом. Теперь мы бегали друг за другом на параллельных профилях.

И тут выяснилось, что мне необходимо научиться свистеть.

Вечером на ящике из-под тушенки сидел я около своей палатки, смотрел в круглое автомобильное зеркальце, которое по приказу шефа принес мне наш главный механик Селезнев, складывал губы так, как учил меня Волостнов, и противно шипел...

Мимо пропылил «газик» — наши поехали на рыбалку, и Юрка Нехорошев по пояс высунулся из кабины и дурным голосом крикнул:

— Вкальвай прецизионно, кентяра!..

Под старой березой посреди лагеря в складном брезентовом кресле сидел с пикетажками на коленях и с карандашом в руке шеф. Иногда он, взглядывая на меня, морщился, потом подходил ко мне и предельно вежливо говорил:

— Это делается так, мой юный друг, — посмотрите-ка еще раз... И прошу вас, будьте внимательны.

Он слегка кривился, полные его губы каким-то образом совершенно исчезали в бороде, и вид у шефа становился совершенно разбойничий. И свистел шеф — ну точно Соловей-разбойник. Борода его при этом стремительным веером бросалась на грудь и приникала к ней, подрагивая каждым своим волоском. А я вздыхал:

— Не получается, Андрей Феофаныч... Может быть, все-таки в два пальца?

И шеф снова наклонялся как бы в задумчивости и опять потом стремительно встряхивал головой:

— Ни в коем разе! Руки у вас постоянно должны быть заняты делом...

— У Нехорошева это здорово получается — свистеть...

— Да, это единственное, что у него выходит действительно здорово, — соглашался шеф. — Я скажу начальнику, чтобы он приказал Нехорошеву с вами заняться.

Поздним вечером наши возвращались с рыбалки...

Лаборанты — почти все они были из МИФИ — остановились у моей палатки, длинный Женька Ялунин подвигал своими моржовыми усами, спросил:

— Мы забыли, какую вы там с шефом разработали систему сигнализации?

Я начал терпеливо объяснять:

— Короткий свист один раз — «Повторить измерение». Два раза — «Идите ко мне». Три — «Следуйте дальше»...

— И все?

— А что еще?

— Мы тут разработали сигнал, без которого в ближайшие дни ты просто не сможешь обойтись...

— Это какой?

— Как там у вас? Два раза — «Ко мне», три — «Идите дальше». Надо еще: четыре — «Идите к такой-то маменьке»...

И все лаборанты заржали одновременно и одинаково радостно. Видно, это была общая шутка, придумали на озере.

Отношения наши с Волостновым стали теперь поводом для насмешек, о них рассказывали анекдоты, однако прогноз Женьки Ялунина в отношении сигнала номер четыре так и не оправдался до конца поля.

Шеф был мною доволен. И я этим гордился.

За день до нашего отъезда мне пришлось выполнить одно довольно трудное поручение шефа.

Накануне несколько дней подряд шли дожди. Мы отсиживались по палаткам, но у нас, у лаборантов и рабочих, оставалась еще одна нескучная работенка — убрать самую большую петлю.

А настроение было уже чемоданное, везде уже потихоньку праздновали окончание сезона.

Как только дождь прекратился, Бурсаков отправил нас на профили, но то, что мы там увидели, отбило у нас всякую охоту к премияльным. Петля эта в нескольких местах пересекала пашню, а перед этим здесь прошел трактор с бороной, прошел несколько раз, и длиннющий кабель был теперь настолько перепутан и стянут такими узлами, что растащить его и смотать в бухты не оставалось вообще никакой надежды...

Ребята наши отказались распутывать, а пришедший на профиль Бурсаков долго стоял, хмуро поглядывая на нас, потом велел позвать главного инженера и кладовщика. Кабель решили списать.

Не знаю, как уж оно так получилось, — вероятно, шеф был против этого, а Бурсаков спросил: «А кто же, мол, извините, будет работать?» — не знаю как, только вечером в палатку ко мне забрался шеф и, глядя на меня

в упор детски голубыми своими глазами, увеличенными выпуклыми линзами очков, тоненько попросил:

— Не могли бы вы в порядке любезности... распутать этот кабель?.. Э-э... леший его поberi!

Рано утром я вышел на профиль.

Не буду рассказывать, как мне в тот день работалось: не знаю, как бы я обошелся с врагом, но другу, я и правда такого не пожелаю...

В лагерь я вернулся весь перемазанный, еле тащил сапоги с пудами грязи, ноги мои подрагивали, и тяжело было нести свинцовые руки, и болью сводило поясницу.

— В порядке любезности, Григори, пройдите за мной, — сказал, увидев меня, шеф.

В крошечном магазинчике, где я несколько дней назад купил чудом каким-то попавшие сюда американские солдатские ботинки — те еще, от ленд-лиза, — он попросил четвертинку водки и двести граммов глазированных пряников.

Пятьдесят граммов налил шеф себе и граненый стакан — мне.

— Ваше здоровье! — торжественно сказал шеф.

Кинул бороду, выпивая залпом, зажмурился, потом открыл глаза и придвинулся ко мне поближе, внимательно наблюдая, как выпиваю я, — сейчас он тоже был похож на экспериментатора, и мне, ей-богу, показалось очень странным, что в руках у шефа на этот раз не было секундомера.

— Ты где это уже успел? — спросил меня Бурсаков, увидев потом у входа в брезентовую нашу столовую, где Никола в белоснежной курточке уже расхаживал около накрытых для прощального ужина столов.

Я ответил не без гордости, что меня угостил шеф, и Бурсаков полез в карман за записной книжкой.

— Ты дай-ка мне свой адресок, дай-ка... По-моему, он мне пригодится, — говорил, хмурясь, но в глазах у него плясали чертики. — А ты не откажешься потом?

— От чего?

— Не откажешься подтвердить, что шеф поставил тебе четвертинку и... сам тоже выпил? Не откажешься, когда я приведу тебя в лабораторию? Иначе там никто не поверит!..

Бурсакову было смешно, он тоже, видимо, где-то уже успел; он кликнул нашего главного и стал рассказывать ему, что вот-де, мол, произошло небывалое, и тот тоже рассмеялся и начал мне что-то говорить, но я ничего этого не слышал...

В ушах у меня тихой музыкой плавал мальчишеский голос нашего шефа:

— Трудлюбие ваше делает вас одним из самых необходимейших участников нашего отряда... Вы знаете, мой юный друг, что впереди у нас Международный геофизический год? Не могли бы вы в порядке любезности согласиться стать моим попутчиком в Канаде?

5

Шеф, заложив руки за спину, прошелся из угла в угол по просторному классу деревенской школы, служившему теперь Бурсакову кабинетом, потом, стоя к нам спиной, приподнял и опустил плечи, резко повернулся и потряс головой так энергично, что жесткая борода его тихонько заскребла, зашуршала по накрахмаленной рубахе.

— Н-ничего не понимаю! — звонко и тоненько сказал шеф. Достал из маленького карманчика серебряную луковичу и щелкнул крышкой. — Мы говорим уже восемь минут и сорок... гм-гм, пусть ровно пятьдесят секунд, а я так ничего и не понимаю!

Всего два часа назад вернулся он из Ленинграда, с «Геоприбора», на котором делают наши афиметры, вернулся вместе с представителем завода, и шефу, как никогда, может быть, нужны последние данные работы на профиле, и он вызывает лучшего лаборанта, свою надежду, а тут...

— В чем, объясните, дело?

И я, заикаясь, начал рассказывать, как мне не везет: может быть, все дело в том, что сначала я ходил в польской кепке или немецкой рубахе?

Шеф нетерпеливо остановил меня, подняв ладонь, наклонился поближе и очень твердо сказал:

— В порядке любезности, Григори. Зачем вы мне морочите голову ненужными подробностями? Скажите мне главное: шпион вы или нет?..

Голубые, увеличенные очками глаза шефа глядели на меня изучающе — по-моему, шеф не удивился бы, если бы я ответил вдруг утвердительно.

Я приложил к груди обе руки:

— Андрей Феофаньч!..

— Я вам верю! — дрогнувшим голосом сказал шеф, и глаза его потеплели. Но когда он обернулся к Бурсакову, тоненький его голос снова звучал властно: — В чем же, я вас спрашиваю, дело?

— Вы верите, но они-то — нет! — насмешливо сказал Бурсаков. — Это как в анекдоте о сумасшедшем...

— Н-неостроумно, — укорил шеф. — Знаю, слышал... Нам надо работать, а не анекдоты рассказывать... вот с такой, как у меня...

Голос у шефа стал звонче. Он положил раскрытую пятерню на черную свою, как смоль, жесткую бороду и мягко провел по ней почти до пояса. Под ладонью у него слабо прошелестели электрические разряды.

— Что вы хотите этим сказать? — сухо спросил Бурсаков.

Шеф, не отвечая, наклонился ко мне:

— У вас есть маленькая фотокарточка? Два на три... три на четыре?..

— По-моему, есть...

— Не могли бы вы — в порядке любезности — принести ее?

Когда я уже пошел к двери, он обернулся к Бурсакову:

— Теперь я отвечу вам. Извините, я не хотел быть невежливым, но временем надо дорожить. Пока Григори сбегает за фотокарточкой, мы с вами объяснимся...

Вернувшись, я увидел шефа за пишущей машинкой.

В два пальца он довольно бойко стучал по клавишам, а позади него, кусая губы, с чертом в серых глазах, стоял Бурсаков.

— В порядке любезности — подайте ваше фото...

Шеф аккуратно подрезал краешки перочинным ножом и очень старательно стал намазывать клеем оборотную сторону. И это он делал тоже очень тщательно, как бы он сам сказал — прецизионно...

От усердия он высунул кончик языка; и странно и трогательно было видеть его среди густоющей и черной, как разбойничья ночь, шефовой бороды.

Потом он протянул листок Бурсакову.

Тот расписался внизу, подышал на печать и ловко придавил ее ладошкой.

— В порядке любезности, имейте эту бумагу всегда при себе, — попросил шеф, слегка поклонившись.

Я пробежал листок глазами.

«С п р а в к а» — было напечатано крупно. И дальше обычным шрифтом: «Дана настоящая в том, что такой-то и такой-то действительно не является шпионом какой-либо иностранной державы. Начальник геофизической экспедиции АН СССР *И. Бурсаков*».

Подпись. Печать.

— Работайте прецизионно! — попросил шеф.

Бурсаков покусывал губы.

Я рассмеялся уже на улице...

6

Теперь-то вы поймете, почему на следующее утро, стоя на профиле около своего афиметра, я то и дело оглядывался, ожидая, когда снова затрещат кусты, высунутся из них дула двух-трех дробовиков и мужской голос скажет не очень уверенно: «Руки энто... вверьх!»

Но никто не подкрадывался ко мне, никто меня не окружал, и я прямо-таки истомился.

Наконец, уже почти в полдень, небольшая группка с охотничьими ружьями показалась на полянке невдалеке, и я еще раз потрогал справку, которая лежала у меня в нагрудном кармане ковбойки.

Уж не знаю почему, но сердце у меня отчаянно билось.

Вот они посмотрели в мою сторону... Вроде приостановились... Нет, повернули в кусты, скрылись!..

В обед, раньше других выскочив из-за стола, я бросился к своему рюкзаку, быстро достал из него немецкую рубаху с погончиками и надел ее мятую.

Однако и это мероприятие мне нисколько не помогло. Уже перед вечером появились вдалеке несколько человек, но пошли они совсем в другую от меня сторону. И я чуть было не бросился им наперерез...

Назавтра к немецкой рубахе прибавил я польскую кепчонку с лакированным козырьком и снова нацепил черные очки. Посмотрел в зеркальце, подумал-подумал и повязал на шею под рубахой платок, который лежал у меня с самого начала сезона и который я все так и не решался надеть.

Глянул в зеркальце снова: ну точно мафиози какой-нибудь, да и только!..

На профиле я теперь нервничал, работал вовсе не прецизионно и все время оглядывался, а когда увидел наконец вдалеке на тропинке троих, стал кричать и махать руками:

— Эге-гей, сюда!..

Те подошли поближе, гляжу — наши рабочие.

— Чего тебе? — спрашивают.

— Да так, — говорю, — скучно чего-то...

Один удивился:

— А чегой-то ты вырядился как пугало?

— Да так, — говорю, — это у меня сегодня день рождения.

— Так обмыть бы надо?

А после обеда я и вообще уже не работал, а только стоял около афиметра да смотрел во все стороны, ждал, пока ко-мне. подойдет, — странно устроен человек!

И вот показались наконец из-за кустов эти, деревенские, что шпионов ищут, — трое с дробовиками, а один со старой косой-литовкой. Приделал к ней деревянную ручку, и получилась сабля, только выгнута в обратную сторону. Знакомая уже компания, видал я их в сельсовете.

Остановились они, посмотрели-посмотрели в мою сторону, поговорили о чем-то и пошли себе обратно.

— Эй! — закричал я и замахал им обеими руками. — Сюда! Скорей сюда-а!..

Они повернули и неохотно пошли ко мне.

— Чего же вы? — крикнул я еще издали и сам уловил в своем голосе обиду.

— Чо «чево»?

— Добрый день! — сказал я с надеждой. — Чего же вы меня не забираете?

— Чо не забираем?

Из-за кустов, прихрамывая, вышел догонявший их Никола.

— Это наш, — издали еще сказал торопливо.

— Да глаза пока есть, — лениво ответил кто-то из этих.

— Ну нет, так не пойдет, — сказал я. — Мало ли что? Может, я и наш, а все равно шпион...

Этот, что с литовкой, устало махнул рукой:

— В носе у тебя не кругло...

Мне почему-то стало обидно.

— Что ж, по-вашему, надо академию закончить, чтоб в шпионы попасть?

Этот спросил:

— А ты, малый, как думал?.. На дурнячка? Ут такую бандуру, как у тебя, взял, наушники надел — и уже сразу тебе шпион?.. Нет, брат!..

— Да чего ты с ним разговариваешь? — кинул другой как-то совсем уже небрежно. — Пошли, что ли?

А я вдруг подумал, что могу еще, чего доброго, заплакать.

Вид у меня был, наверно, совершенно убитый, не знаю, может быть, поэтому третий сказал, словно посочувствовал:

— А то заберем?.. Ладно уж!

Маленький, ладный дедок с аккуратным, как будто точеным лбом и с седыми прядками на нем, поскреб подбородок и задумчиво сказал, как будто вслух размышляя:

— Отчего не забрать?.. Можно! Заодно уж, если сам желает провериться.

— А вот фигу! — сказал я, боясь упустить момент. — Вот, пожалуйста!

И протянул деду справку.

Он смотрел ее долго-долго, потом передал другому, а на меня глянул с уважением, пригладил на точеном лбу прядки и учтиво сказал:

— Конечно, не будем мешать. Наука — разве не понимаем?.. Нельзя поинтересоваться, что за машинку такую испытываете?

— Да ничего мы не испытываем, — сказал Никола. — Недра ищем!

— Каки таки недра? — спросил другой, невзрачный человек с большим красным носом. — Эт чо за чудо, если не секрет?

— Да ничо, — сказал Никола. — Просто недра — это что в земле и что под землей...

— Не будем мешать, — сказал дедок, поклонившись слегка на манер нашего шефа.

— Идите, я тут побуду, — сказал им Никола и почему-то вздохнул. — Побуду тута.

Он сел, привалился спиной к трухлявому пеньку, и вытянул ноги — протез при этом Никола умасивал на траве гораздо дольше.

Я сложил справку, вздохнул и надел наушники.

— Эй, — услышал я сквозь резиновые прокладки и обернулся. — Ну брось на минутку, брось на минутку, — заговорил Никола. — Одни ученые кругом, понял? А ты посиди с человеком, право дело!.. Ты посиди!

Я бросил на траву брезентовую куртку и прилег рядом.

День был теплый и солнечный.

В очень голубом небе недвижно висели белые с неяркими синеватыми тенями облака. Над вершинами берез неподалеку, над зелеными пиками елей стояла светлая тишина, только рядом в разбухающей от соков траве то там, то здесь путались и недовольно жужжали шмели.

— Вернуся я, наверно, в отряд, — сказал Никола, посматривая на меня так, словно ждал какого совета. — Вернуся. Чего тут зря ноги бить? А там меня уважают. Ведь уважают?

— Что ты, Коля, какой разговор! — сказал я и про себя добавил: «Фотографию обещали повесить на Доску лучших...»

Сказать, не сказать?..

А Никола посмотрел на меня печально и снова, как будто испытующе, проговорил медленно и осторожно:

— Фотографию вот... на Доску... где самолучшие.

— Ну да, — обрадовался я, — фотографию... Я сам слышал.

— А чего мне здесь?

— Конечно, — вслед за ним рассудил и я. — Чего тут?

— Рус, сдавайся! — дурным голосом закричали рядом.

Мы с Николаем повернули головы. Держа лезвие у пояса и направив на нас топориче, со зверской рожей шагал к нам Нехорошев Юрка.

— Когда ты уже перебессися? — осудил Никола. — Сдавайся ему... А по соплям?

— Вот тебя схороним, перебессюсь, — пообещал Юрка.

Я спросил:

— Зуб так и не нашел?
Юрка мотнул головой.
— Жалко. Шестьдесят, ты говорил?
— Да ну, ты придумал! — заорал Юрка. — Копейка ровно! Расплющил — и носи на здоровье! Хочешь, я тебе сделаю?
— Да ну, зачем?
Юрка присел тоже и другим, совершенно нормальным голосом грустно сказал:
— Вообще-то зачем она тебе, фикса? Никто не заставляет.
— А тебя кто заставляет?
— Ну ты, кентяра! — снова заблажил Юрка. — Много будешь знать, пала, скоро, подохнешь...
— А я вот совсем и не потому, что деньги большие, — негромко проговорил Никола, глядя на меня снова почему-то очень печально. — Не потому...

Сидел он, склонив голову набок, тихонечко как-то сидел, как будто к самому себе прислушиваясь. Кепка висела у него на колене; и странно было над смуглым его от загара лицом, над лоснящимся, широким поутину и чуть приплюснутым носом, над коричневыми морщинами на лбу, странно было видеть бледную синеватую лысину с прилипшими к ней полуседыми волосами.

— Не потому, что деньги, — повторил Никола. — Ну что деньги? Что?.. Есть у меня дома сберкнижка? Есть. И кассирка знакомая: когда выпивший, ни за что не выдаст.. «Это, — говорит, трудовой вклад, Николай Федотыч!..» Бог с ними, с деньгами! А вот чего-то вот такого хочется. — Никола сунул руку за пазуху, погладил под рубахой. — Крутит тут и крутит... Чего вот человеку надо, а? Эх, знать ба!..

Мы с Юркой промолчали.

— Ну, придумать там чего, когда ума нема, — рази придумаешь? — продолжал Никола расстроено. — Арифметры там — трофиметры... Пускай их придумывает Борода, раз он такой ехидный! А вот хотелось мне...

Никола наклонился поближе и другим тоном негромко сказал:

— Я б тебя тогда попросил, тебя, понял? Я все уже придумал, что ба мы сделали... Вот приехал ба шеф и утром ба вышел на профиль. Перед этим в столовую ко мне зашли. Тут ба ты и сказал: «А вы не знаете, Андрей Феофаныч, Николай-то наш Федотыч — вон!.. Думали, мол, ему пятак в базарный день цена, а он диверсанта, можно сказать, голыми руками». — «Да ну? — скажет шеф. — Не знал!..» И головой — вот так..

Никола ткнул подбородок в грудь, с любопытством глядя на меня исподлобья, понес к глазам указательный палец, словно хотел поправить несуществующие очки, — на один миг, как это бывает, он вдруг стал очень похож на шефа.

— А тут я сам! — сказал, снова меняя тон, заморгал вдруг обиженно, потом, словно справляясь с самим собой, закусил губы, и на лице его появились горькие складки. — «Не знаете? — спрошу. — А как будто вы хоть что про меня знаете! Варил ба борщ, право дело, да и ладно! А знаете, — сказал ба, — где я вот эту ногу?.. Никто не хотел идти, тот не глядит, отвернулся, у того — дети, у третьего — еще что... А я шаг вперед. Политрук говорит: «Да у тебя ведь, Смирнов, кажется, двое?» Я: «Так точно, двое: одному три должно быть, другому пять лет, тридцать километров отсюда, еще у немца!..»

Он снова закусил губы, и лицо у него стало растерянное.

— Ты веришь, тридцать километров осталось, а вот не чувствовал, ты веришь, что их никого уже в живых нету, — ни их, ни жинки...

Как будто в бутылку дунули или в патрон, громко закричала в ближних кустах кукушка: «Фу-гу!.. Фу-гу!..»

— Спросить, сколько еще проживу? — проговорил Никола, улыбаясь почему-то виновато. — Мало скажет — еще обидится. А хотя, чего обижатца?.. Борщ варить да самогонку гнать — вот делов!.. Или спросить?.. Спросить, может?.. Не-а, не спрошу, ну ее к богу!

Над лесом, уходящим к горизонту, над белыми облаками очень глухо и как будто сердито пророкотал гром...

ТИХИЕ ЗАРНИЦЫ

Дружба с редакцией районной газеты «Красное казачество», выходявшей в родной моей станице Благодатной, началась у меня давно, когда я еще школяром бегал туда с крошечными заметулечками о том о сем да рифмованными строчками, гордо именуемыми стихами, и продолжалась впоследствии, когда я, студент факультета журналистики столичного университета, приезжал летом домой на заслуженный отдых.

Ах, эти приезды — слово о них не ложится в строгую строку!..

Маленькая станция ранним утром, острый холодок после духоты общего вагона, заспанный носильщик, который, не дойдя до влажного от росы перрона, уже поворачивает обратно — увидел, как ты молод, как лихо закатаны рукава твоей ковбойки, как безнадежно легок твой чемодан.

Потом пустынные улицы белого — как будто игрушечного — южного городка, и рано облетевшие листья

акации на асфальте, и другая станция — автобусная.

А здесь уже людно, здесь уже толпятся у окошечек кассы, которая откроется еще бог знает когда, галдят, рвутся домой тетки, вчера приехавшие сюда на машинах, доверху, в раскат засыпанных ранними яблоками, здесь сидят кружком или поодиночке на перевернутых цибарках и уже завтракают чем бог послал жители окрестных станиц; и какая-нибудь юркая старушка в простенькой кофтенке горошком и в черном платочке, старушка, которую ты-то не помнишь, радостно, словно родного, окликает тебя, нараспев говоря, что вот ведь, надо же, вылитая мать, и, надо же, вытянулся как, уже отца перерос, и торопливо выкладывает из мешка малосольные огурчики, от которых даже издали крепкий запах укропа и чеснока, яички вкрутую и старое сало, и все говорит, говорит — последние новости из дому...

Ты благодаришь с некоторым смущением, исподтишка поглядывая на коротко остриженных девчонок в брюках, тоже, видно, едуших на каникулы в какую-нибудь соседнюю станицу — не хватало, чтобы они глазели на тебя, если к этой старушке подсядешь... Благодарить и подмигиваешь девчатам, когда хлопает, растворяясь, первое окошко кассы, и все на станции приходит в движение, и слышится отчаянный родной выговор:

— Ой, да штош ты стоишь, Семеновна?... Билеты дают, а она, главное, стоять!..

Ты подхватываешь чемодан и решительно уходишь от станции, а в спину тебе, покачивая головой, будто все еще удивляясь, что вылитая мать, что перерос, надо же, отца, глядит захлестнутая у кассы толпой старушка в простенькой кофтенке горошком и в черном платочке. Каким-то чудом она доберется до станицы раньше тебя, доберется и, не заходя во двор, бросит через плетень пустой свой мешок и заспешит к тебе домой, чтобы матери теперь рассказать о тебе, чтобы сообщить, что нет, не похудал, и мать будет торопиться по улице тебе навстречу, забыв снять фартук и то и дело заправляя под косынку выпавшую седую прядь...

Ты решительно идешь от станции, идешь через весь город, останавливаешься обочь шоссе на самой его окраине, и потом через несколько минут уже восседаешь на верхотуре в кузове грузовой машины, и под тобой — вся районная галантерея и парфюмерия плюс готовая одежда и обувь.

Солнце высоко, налилось жаром, в лицо тебе ветер, захвативший все запахи летней степи, и теплые эти знакомые запахи щекочут ноздри; закрой глаза — и вот ты на покосе давишь босой ногой переспелое солнышко земляники... вот идешь под пчелиный гуд через море жабрея... вот через коноплю пробираешься за перепелкой... вот забрел на кориандровое поле — сладкий, дурманящий дух густо обтекает лицо...

Слева и справа на взгорьях разноцветные заплаты, все свежо, ярко, все колыхается под ветром, гудящим по долине, и солнечный этот ветер снова закрывает тебе глаза, туго бьет в уши, треплет волосы, сушит во рту, солнечный этот ветер, от которого рубаха пузырем, — все, что есть пока у тебя за плечами...

Денька три потом ты валяешься на горячем песочке у реки, отчаянно пытаешься загореть в кратчайшие исторические сроки, а вечером, обхватив громадную, как кухонный стол, похрустывающую немятым пером подушку, лежишь на пуховиках, уже приготовленной мамой в приданое твоей младшей сестре, а младшая эта сестра, пошвыркивая носом, размазывает по твоим гудящим от жара плечам холодную, только что из погреба сметану. И вот, надев белую рубаху, черные, со стрелкой, штаны и плетеные сандалии, ты появляешься на площади и до поздней ночи просиживаешь потом с друзьями на гнутой скамейке в одной из самых дальних аллей станичного парка...

Убаюканная сверчками, быстро и тихонько, как набегавшийся за день ребенок, засыпает маленькая наша станица. Резче вдруг становится в этот час над ней теплый дух предгрозовым зноем распаренных трав. Над черными деревьями где-то очень далеко коротко и неслышно полыхают мягкие зарницы...

Ах, тихие эти и ясные зарницы долгого деревенского детства! Сколько вы потом, когда мы станем тридцатилетними, будете умиротворять нас бесконечно длинными ночами бессонницы!.. Сколько вы будете неожиданно светить нам в самые темные и холодные, в самые непогожие вечера!..

А пока мы сидим в дальней аллее нашего парка, и сухой ветер чуть слышно перебирает над нами листву старого карагача, и бесшумно снуют над нашими головами черные летучие мыши, и вокруг далекого фонаря на повороте аллеи подрагивает и трепещет прозрачный зеленоватый шар из мошек да мотыльков.

Видел нас этот парк бесштаннкими пацанами, видел школярами, сбегавшими с уроков, вольными «казаками и разбойниками», видел подростками, удирающими от парней постарше, непременно желающих дать тебе по шее за не очень умное слово, сказанное в адрес пышнотелой его подруги, видел такими же парнями — тоже догоняющими свое детство...

Только сейчас мы не вспоминаем об этом, потому что сегодня у нас и других забот полон рот — и свои российские дела, и Америка с Англией, и Суэц...

А наутро за поздним завтраком мать тебе говорит:

— Что ж вчера к Андрею Тимофеичу не подошел?... Передавали, видел тебя на площади. Пусть, переказывал, забежит...

Теперь я собираюсь в «Красное казачество»...

Что там, в «Красном казачестве», меня ждет, я, правда, знаю заранее.

Андрея Тимофеевича Конова, редактора, или главного, как он сам себя называет, редактора, у себя не будет — пропадает на бюро или на каком-нибудь из бесчисленных районных совещаний.

Встретит меня машинистка Аллочка, полная брюнетка с пухлым и белым, как яблоко «белый налив», личиком и очень красивыми голубыми глазами — неземное создание, чудом каким-то живущее в нашей станице.

Несколько лет назад Аллочка училась в геологическом институте в Москве, училась долго и упорно, но

вместо диплома привезла из столицы годовалого сына с такими же, как у нее, кукольными глазами и еще привезла несколько устных рассказов о вероломстве и бессердечии мужчин.

Теперь длинные ресницы Алочки порхнут, будто взлетят две черные бабочки.

— Ой, кто к нам пришел! — всплеснет она белыми ладошками, и тут же откроется дверь в соседнюю комнату, и из нее выглянет крошечная головка заведующего отделом писем Максима Савельевича Прямокосова.

— Дорогой товарищ! — скажет Максим Савельевич очень громко, так громко, будто собирается произнести речь на станичной площади.

Мужчина он громадного роста, широк в плечах, и, глядя на него, каждый раз спрашиваешь себя непременно, зачем его, такой крошечной, почти птичьей голове такое солидное тело, и каждый раз невольно думаешь о каком-нибудь очень маленьком человечке, которому, может быть, трудно носить на узеньких плечиках массивную головушку с квадратной челюстью.

Когда я учился в школе, Максим Савельевич был инструктором райкома комсомола, часто выступал на всяких собраниях и активах и, выступая, стоял боком к трибуне, а так как любая наша районная трибуна была ему чуть выше пояса, то всегда казалось, что стоит он за ней на скамеечке.

Теперь Прямокосов давно уже работает в редакции, но это, наверное, от тех времен осталась у него привычка говорить всем «дорогой друг», «уважаемый товарищ» или «уважаемый друг» и «дорогой товарищ» — уж не знаю, из каких признаков исходя, это у него варьировалось.

— Здравствуй, здравствуй, дорогой товарищ! — еще раз восклицает Максим Савельевич теперь в своем кабинете и уже стучит в боковую дверь. И опять говорит громко, как на собрании: — Объявляется перерыв!..

Из соседней комнаты торопливо, как школьники на перемену, выскакивают Сережа Полсотрудника и Стефан Людвигович Брудзинский, известные всему району соавторы-фельетонисты.

Сережу я хорошо помню по спектаклям районного Дома культуры, на которые бегали мы еще мальчишками. Сережа играл графов, белых, генералов и многоженцев; и самое удивительное тогда для нас, станичных пацанов, было то, что имел он настоящие бакенбарды.

Дядя Федя Капралов, например, директор нашего Дома культуры, всю жизнь играл усагих, до пояса обросших бородой стариков, но на улице ты встречал его обычно только с трехдневной щетиной. А Сережа — ну надо же! — Сережа на улице был при баках, и здесь он тоже был похож на графа, белого генерала или многоженца.

Что касается последнего, то поговаривали, будто так оно и есть на самом деле, но это уже особая тема, и к сегодняшнему разговору никак не относится...

По-моему, в районной нашей станице не осталось должности — помимо, конечно, самых что ни на есть руководящих, — в которой в свое время не состоял бы Сережа, но все они ему, вероятно, надоели, и вот уже несколько лет работает он в редакции «Красного казачества».

Он не мог связать пары слов, не знаю, не разучился ли он даже держать в руке карандаш, но все же человеком для «Красного казачества» был он незаменимым. Всюду у него знакомые, со всеми он накоротке, все он знал и многое, надо сказать, предвидел, так что, как только кого-либо снимали с работы, фельетон об этом несчастном появлялся в газете незамедлительно — он уже давно был подготовлен заранее и только ждал своего часа...

Писал за Сережу никуда почти не выходящий из кабинета и далекий от жизни Стефан Людвигович Брудзинский, маленький, тощий, удивительно непохожий на благодушно-респектабельного Сережу человек, спившийся с кругу преподаватель русского языка и литературы, мятый пиджак которого всегда был так же обильно усыпан перхотью, как штаны с пузырями на коленях — пеплом от сигарет.

Гонорар размечали им поровну, но они каждый раз складывались и с удивительной точностью потом делили все на три части. Одна из них шла Сереже, другую забирал Брудзинский, а третью в тот же вечер соавторы аккуратно просиживали в районной чайной «Кубань», что, несомненно, способствовало еще более тесному их сотрудничеству.

Теперь мы вчетвером сидим в комнате у Прямокосова, и я рассказываю свежие анекдоты, и выдаю старые московские хохмочки, и отвечаю на острые вопросы, и выступаю по волнующим — пожалуйста, по всем подряд! — проблемам современности, совершенно авторитетно рассуждая о вещах, о которых сам имею весьма-а-а отдаленное представление... Но иначе — зачем я живу в Москве?..

Максим Савельевич иногда ерзает на стуле, вертит маленькой своей головкой, в глазах у него мелькают сомнения и испуг, и тогда Сережа Полсотрудника и Стефан Людвигович поглядывают на него снисходительно и чуть насмешливо, и в это время не только Сережа Полсотрудника, но и Брудзинский тоже похож на графа — самую чуточку, правда, самую малость...

— А мы что, дорогой товарищ? — говорит потом Прямокосов, подсовывая мне подшивку «Красного казачества». — Наша жизнь тут... Каждый номер — вроде как протокол нашей жизни...

— Вообще-то, повеселела газетка, — поддерживает Сережа на этот раз без насмешки. — Окинь-ка глазом, старик! Даже версточка... и подача...

Я листаю подшивку, и на одной из полос рвется в глаза заголовок передовой: «Работа с людьми в загоне».

— Ну вот! — начинаю я тоном опечаленного учителя. — Как это так — в загоне? Как будто бы загоняют людей... собирают в загон... а потом с ними работают? Так надо понимать?

— Конечно, мы — что? — с ноткой обиды говорит Прямокосов, несомненный автор этой передовой. — Откуда нам знать... Мы в университетах не учились...

— Запрещенный прием, старик! — снисходительно упрекает его Сережа. — Наша работа не любит скидок... Даже если у тебя один класс церковноприходской на двоих с троюродным братом.

— Ну, ребята, а это вообще — ни в какие ворота, — говорю я, закусывая губы. — Максим Савельич!.. Сережа!.. Вот, смотрите. О майской демонстрации — отчет... Вот: «После того как прошли последние колонны, на станичной площади состоялся многомиллионный митинг трудящихся...» Откуда — многомиллионный?

— Как откуда?.. — удивляется Прямокосов. — Мы и в прошлом году так писали — пожалуйста!..

Он достает старую подшивку. Я листаю — и точно: и в прошлом году — многомиллионный!

— Выходит, и в прошлом году наврала?! Ясно как божий день — откуда же многомиллионный, если в станице всего-то двенадцать тысяч? Да и пятачок перед дэка — ну что он, площадь Тянь-Ань-Мынь?

— Разве дело в количестве, дорогой друг? — спрашивает Прямокосов задушевно. — Все дело в идее. Как мероприятие прошло. А тут такой был порыв!.. Всем людям очень понравилось — даже трактора прошли по улице!.. Понимаешь — энтузиаз!

— ...м! — добавляет Сережа.

— М! — торопливо соглашается Прямокосов.

— Это же разные вещи!..

— Максима уже не переделать, старик! — говорит Сережа грустно. В глазах у него появляется печаль, но она тут же исчезает, когда рука его ложится на фельетон, под которым стоят две фамилии — его и Стефана Людвиговича. — Но есть и у нас кое-что... и выдумочка... и свеженькие заголовки... Как этот, а?

Он убирает ладонь, и теперь я вижу крупно: «Мария Иосифовна Криворучко, лисица и виноград».

Ругать всех и вся нельзя — это вам скажет каждый. И я беру грех на душу:

— Это еще туда-сюда...

— А все наш Стефан Людвигович, старик!..

— Чего там!.. — скромно говорит Брудзинский и сваливает себе на брюки очередную горюшку пепла. — Годы уже не те!..

— Вам надо было сразу браться за журналистику!.. — проникновенно говорит Сережа.

— Человек не может познать себя с самого начала! — значительно говорит Стефан Людвигович. И сокрушенно разводит руками. — Пошел не по той стезе! Да, не по той!..

В кабинете, где сидит машинистка Аллочка, громко хлопает дверь, и лица всех троих моих друзей, как по команде, приобретают другое выражение, меняются позы: громадным кулаком подпирает свою маленькую головку и глубокомысленно морщит лоб Прямокосов; откидывается на спинку стула и устремляет глаза вверх, будто читает на потолке что-то очень интересное, Стефан Людвигович, а лицо Сережи становится гневным, и в голосе звучат обличительные нотки:

— Скупают, понимаешь, у населения яблоки по десять-пятнадцать копеек за килограмм, а потом через подставных лиц — своих же родственников! — продает их, понимаешь, на базаре по сорок! — громко говорит Сережа. — Разве не тема?

И как раз в этот момент, когда он начинает это говорить, открывается дверь в кабинет Прямокосова, и на пороге появляется главный редактор «Красного казачества» Андрей Тимофеевич Конов.

— Еще какая тема! — соглашается Прямокосов. — За ушко, понимаете, да на красное солнышко!..

Андрей Тимофеевич сразу как будто прислушивается, поглядывая на всех троих своих подчиненных по очереди, но вид у него при этом такой, будто он и принимает тоже.

— Знакомые лица! — говорит он нараспев, от двери еще торжественно протягивая мне ладонь. — Молодое поколение! Дай старый газетчик пожмет твою руку!..

Мы здороваемся, и он похлопывает меня по плечу, а другой рукой уже отмыкает дверь в свой кабинет.

— Пойдем ко мне, новости расскажешь, пойдем, молодое поколение, пойдем...

Он пропускает меня вперед, а сам останавливается в дверях, смотрит на Сережу.

— Так о чем вы тут без меня? — спрашивает с насмешливым недоверием.

— Ни грамма! — говорит Сережа, глядя на Андрея Тимофеевича преданными глазами.

Теперь Андрей Тимофеевич переводит взгляд на Прямокосова.

— Звонили, — сообщает Прямокосов.

— Долго?..

— Значительно долго!

— Очень хорошо! — потирает руки Андрей Тимофеевич. — Даже очень отлично!..

И то, кто мог звонить и почему это хорошо и даже «очень отлично», остается для всех загадкой.

— Работайте! — говорит потом Андрей Тимофеевич, и, прежде чем он успеет закрыть дверь, из соседнего кабинета доносится баритон Прямокосова:

— Приступа-а-ем, дорогие товарищи!..

Андрей Тимофеевич усаживает меня в кресло, боком приткнувшееся к его столу, потом садится сам, кладет ладони на край стекла, под которым лежат у него всякие сводки, нагибается над столом и негромко спрашивает:

— Ну как там Москва?..

Голос у него при этом такой доверительный, даже таинственный, и серые глаза на полном бабьем лице такие внимательные, словно я должен сообщить ему сейчас нечто очень важное и, может быть, совершенно секретное; и я каждый раз теряюсь, мне становится стыдно, что вообще-то я и не знаю ничего такого

совершенно секретного — что тут Андрею Тимофеевичу ответишь?..

Но в том-то и вся штука, что отвечать Андрею Тимофеевичу вовсе и не надо.

— Хорошо — Москва, хорошо! — сам говорит он теперь громко и торжественно и проводит рукой по седеющему ежику. — Москва — всегда хорошо!..

Берет со стола круглый, в красный рубец футляр от зубной щетки, который всегда лежит на стекле справа, свечкой держит его в толстых пальцах.

— Колпачок мне так и не привез? — Андрей Тимофеевич открывает футляр и осторожно достает из него старую авторучку без колпачка, смотрит на нее, как будто любясь, покачивает головой.

— Сколько лет со мной — трофейная еще. В войну один капитан подарил. Я потом — в отставку, а она до сих пор как на войне... Все служит старому газетчику, все служит. В огонь и в воду со мной. Только колпачка вот никак не подберу — восемь лет назад раздавили его на свадьбе у одного товарища, когда драку я разнимал... Причем капитан тоже и раздавил. Один капитан подарил — другой раздавил, ну разве не стечение судьбы?..

В который раз я начинаю объяснять, что колпачков отдельно не продают. Может быть, привезти Андрею Тимофеевичу новую ручку? Китайские очень хороши.

— Зачем? — удивляется Андрей Тимофеевич. — Мне новая ни к чему. Пока есть эта... мне только колпачок! Ты поищи хорошенько, а?.. Может, в мастерских, где авторучки ремонтируют, поспрошай, а?.. В следующий раз привезешь...

— Обязательно, — обещаю я, — поищу...

— Буду ждать, — говорит Андрей Тимофеевич, улыбаясь.

Теперь он встает из-за стола и начинает ходить по кабинету.

Андрей Тимофеевич высок, плотен, из белой, в синюю полоску шелковой рубахи, к которой он никогда не пристегивает ворота, тянется борцовская шея, небольшой живот туго обтянут белыми полотняными штанами и туфли на босу ногу — сорок четвертого размера.

Брезентовые эти туфли густо мазаны зубным порошком — не по назначению Андрей Тимофеевич использует не только футляр от щетки, но и ее саму, — и когда он теперь тяжело ступает по кабинету, порошок осыпается, и на полу остаются белые контуры следов.

— Я тебя вот чего, молодое поколение, пригласил, — говорит в это время Андрей Тимофеевич голосом, как будто нарочно приподнятым. — Есть у меня для тебя материал — только ты и можешь поднять. Напиши-ка нам очерк о стригале Еременко!.. Человек он уже пожилой — и в финскую пришлось, и с немцем... Так можешь и написать: стриг, мол, почему зря фашистов, а теперь, мол, на мирном фронте — тоже стрижет будь здоров! Сделай, а?.. Крепко так, по-шолоховски!..

За раскрытым настезь редакторским окном знойная тишина, только бьется, зудит в плотной шторине явно не туда, куда ей надо бы, залетевшая пчела, да коротко похрустывают, осыпая порошок, белые полуботинки Андрея Тимофеевича, да монотонно звучит его голос...

Первые мои учителя в газетном деле, первые мои наставники — отчего с мимолетной грустью вспоминаю я вас сейчас?..

2

Впрочем, в этот приезд не было у меня ни трех дней на бережку нашей маленькой речки, ни затянувшихся далеко за полночь разговоров этих о мировых проблемах в кругу друзей, ни визита с рассказыванием новостей в редакцию «Красного казачества».

Я еще не успел отнести в комнату чемодан, он так и стоял еще у меня под ногами в палисаднике рядом с маминскими георгинами, когда в калитку вошел мой дружок Жора Черкесов, однокашник мой и теперь однокурсник, вместе с которым постигали мы основы журналистики.

С Жорой мы не виделись перед этим почти полтора месяца — с тех пор, как я поехал на практику в районный городок Галич в Костромской области, а Жора, имевший, как говорится, сердечный интерес в нашей станице, — сюда.

— Хорошо, что ты приехал! — закричал Жора еще от калитки. — Я больше не могу!.. Я на речке был всего один раз! Ты видишь, какой я белый!..

Конечно, определить — белый Жора или нет, было не так-то просто: если бы в учебнике зоологии портрет того самого волосатого человека Андрияна Евтихьева решили заменить портретом кого-нибудь помоложе, то одним из кандидатов наверняка стал бы мой друг Жора.

— Они меня так запрягли, что некогда вздохнуть! — выкрикивал теперь Жора. — Слушай, будь другом, давай вместе сделаем для них рейд по предприятиям торговли? Последняя моя работа. А то они зажали мой гонорар — до тех пор, пока не выполню плана по практике. На танцы пойти не могу!.. Выпить пива!.. Вчера прошу у мамы денег по-осетински, а она мне: «Что, по-русски уже стыдно! Думаешь, приятели твои не догадаются, чего ты у мамы просишь?..»

В рейд по предприятиям торговли и общественного питания мы с Жорой отправились на следующее утро.

Сначала мы попили холодного кваску в пекарне у старого нашего знакомого Ивана Ахазовича Пилина, к которому еще мальчишками с черными дерматиновыми сумками на плече бегали за хлебом, попили кваску и поговорили о том о сем в маленьком его кабинете, куда долетал теплый дух от только что вынутых из печи

булок. Потом обошли немногочисленные продуктовые магазины, отмечая про себя, где все-таки больше мух — на клейкой бумаге, кручеными ленточками ниспадающей с потолка, или на потерявших первоначальный свой цвет бараньих ляжках, висевших на черных металлических крючках. Потом мы выпили бутылку вина в прохладном, пахнущем плесенью подвале пищеторгового склада, и заведующий складом Марк Наумович Шапиро, покачивая головой, пожаловался — только не для печати! — на жену председателя райисполкома, от которой ему прямо-таки нет житья: приходит сюда, как ревизор какой или на худой конец руководящий работник... Потом закусили вкусно отдающей дымком совсем свежей колбаской в коптилке у деда Кабанца и выслушали его жалобы на здоровье: восемьдесят лет — это вам, между прочим, не шутка... Уже не поднимет дед в каждой руке по барану, как тогда, когда работал на бойне, нет, не поднимет... Что ж, что усы у деда Кабанца все еще смоляные?.. Сила, хлопчики, не в усах...

И побывали мы в чайной «Кубань», где только полистали Книгу жалоб, потому что я поиздержался в дальней дороге из северорусских краев, а гонорар моего друга Жоры задерживали по уже известной вам грустной причине.

Назавтра было воскресенье, и мы потолкались меж кипящих базарных рядов, сравнивая выбор в продуктовых магазинах с тем, что было разложено здесь, на серых от времени дощатых прилавках; а еще через день материал рейда был готов.

Главный редактор «Красного казачества» Андрей Тимофеевич Конов, против обыкновения оказавшийся не на одном из очередных районных совещаний, а у себя в кабинете, принял нас незамедлительно.

Мы сидели на стульях недалеко от окна, а главный редактор стоял у стола, впившись глазами в только что отпечатанный текст, и на его полном лице отражались радости и неудачи всей нашей районной торговли. На миг оно становилось то гневным и полным сарказма, то вдруг добрело, расплываясь в улыбке, то мрачнело опять, и мы с Жорой чувствовали себя соответственно то виновниками, а то — героями. Но тут нужно вам кое-что объяснить.

Дело в том, что Андрей Тимофеевич страдал от хронической экземы, и ему были категорически противопоказаны отрицательные эмоции. Поволнуется он чуть больше меры, попереживает, и на лице у него тут же появится короста.

— А мне, понимаешь, с людьми работать! — говорил он, объясняя свое иной раз совершенно непонятное спокойствие. — Что ж это я буду таким лицом их пугать... Нет, брат!

Сохранять спокойствие Андрею Тимофеевичу, судя по всему, удавалось, — я, например, вообще не видел его с экземой. Не знаю, может быть, боязнь отрицательных эмоций, которою был заражен редактор, заметно сказывалась и на содержании газеты: она заведомо грустные факты преподносила иногда с совершенно непонятным оптимизмом.

Андрей Тимофеевич опустил наконец листки на стекло перед собою, левой рукой взял локоть правой, а пальцы правой положил на щеку, постоял так в доброй какой-то задумчивости; в глазах у Андрея Тимофеевича плавала тихая радость.

Само собой разумеется, что радость эту все-таки никак нельзя было объяснить положением дел на предприятиях торговли и общественного питания, и мы переглянулись, относя ее исключительно на счет своих творческих успехов и, решая так, ничуть не ошиблись.

— Шолоховы! — громко сказал Андрей Тимофеевич, и в голосе его послышалась та самая добрая, хорошая зависть. — Ей-богу, Шолоховы — есть теперь на кого нам надеяться!..

Эту фразу Андрея Тимофеевича тоже надо, пожалуй, немножечко объяснить.

Чем, в самом деле, наша Кубань хуже Дона?

Чем она не взяла?

И синий простор — глаз не оторвешь, и золотая пшеница, и старые, с выцветшими глазами деда с Георгиевскими крестами по праздникам, и парни — каштановые чубы, и звонкоголосые девчата... Все вроде, чего душа твоя широкая пожелает, все вроде есть, да только Шолохова своего у нас нету!..

Тут уж — ых, ты!.. — вздохнет любой патриот кубанский...

И как же ему не утешить себя надеждой, что растет, растет где-то в неизвестной пока миру станице острый на слово крепкий паренек!..

А тут — сразу двое!

Мы с Жорой прямо-таки зарделись от такой похвалы, он по своей кавказской нетерпеливости даже спросил:

— Где — Шолоховы?! В каком именно месте?..

— Да вот, хотя бы начало, — с тем же добром в глазах пояснил Андрей Тимофеевич. — Как во вводочке базар описываете — зачитаетесь... Пчелы над кувшинами с медом... Эдакий, знаете, аромат от фруктов. Птица разная... Здорово!.. Но!.. — Он приложил ко лбу пухлый палец. — Есть тут одно ма-а-ленькое «но»!..

Мы смотрели на Андрея Тимофеевича снизу вверх.

Он сделал шаг из-за стола и пошел в задумчивости по кабинету. Чищенные зубным порошком его туфли осыпали белым за следом след.

— Чует, чует сердце старого газетчика, — сказал он потом, прикладывая руку к груди. — Есть здесь одна американская, я бы сказал, строчка, которая работает на империалистов.

— Где — на империалистов? — вскинулся Жора, и в глазах у него промелькнул испуг.

— Полюбуйтесь!

Андрей Тимофеевич подошел к столу и краем ногтя провел по тексту.

Мы с Жорой стукнулись над листком головами.

«Чем объяснить тот факт, — было подчеркнуто, — что в благодатненской чайной «Кубань» в компоте из свежих фруктов были обнаружены черви?..»

Строчка, в общем, как строчка...

Америки, мы, конечно, не открыли, никакого вклада в золотой фонд не внесли, и пафос, надо сказать, не очень...

— А почему она все-таки американская?..

Глаза Андрея Тимофеевича сделались холодновато-серьезными.

— А что, если этот материалчик прочитают где-нибудь... в Нью-Йорке?

— Развы... развы в Нью-Йорке получают «Красное казачество?» — пролепетал Жора, и глаза у моего веселого и всегда симпатичного друга стали растерянными.

Андрей Тимофеевич снисходительно так усмехнулся.

— Не делайте мальчика из старого газетчика! — сказал насмешливо. — Конечно, «Казачество» туда не доходит, это уж наверняка!.. Но что стоит какому-нибудь, понимаете, проезжему резиденту перефотографировать заметочку... или вырезать, скажем, — и в Нью-Йорк?.. Хорошо мы тогда будем выглядеть перед всем миром?..

— Да ну, Андрей Тимофеевич! Из-за вот такусенького червяка в яблоке?..

— А что?..

— Ну а если этот проезжий резидент, как говорите, зайдет в чайную, а его — ну вдруг! — обсчитают на две копейки. Или вдруг — ну вдруг! — хорошо накормят. Откроет он себе книгу жалоб, начнет ее листать, а потом возьмет да и перепишет. Это ж факт из книги жалоб!

— И пусть переписывает! Пусть! — показывая рукой куда-то за окно, громко сказал, как будто предложил, как будто бы даже потребовал Андрей Тимофеевич, и толстые его, мясистые губы расплылись в едкой усмешке. — Напрасный труд, ха-ха, абсолютно напрасный!.. Вырвем из книги лист... вообще ее уничтожим. Как-нибудь отопремся, тут он, — снова жест за окно, — нас не поймает!.. — Андрей Тимофеевич значительно поднял пухлый палец. — Но ведь районная газета — другое дело.

— Какая разница, прочитает он в книге жалоб или в районной газете?

Не имевший привычки волноваться Андрей Тимофеевич вскинулся и вдруг как бы задохнулся от неожиданности, брови его поползли вверх, но тут же он будто справился с собой, только не без горечи покачал головой и проникновенно сказал:

— Да как вы можете, братья? Районная газета — не книга жалоб! Это, скажу я вам, дело... на всю жизнь! Святое, можно сказать... нет, больше того!

— Может, вычеркнуть? — тоскливо сказал Жора, рвущийся к своему законному гонорару.

— Это как же? — пуще удивился Андрей Тимофеевич. — Как так? Грешить против истины?.. Против правды пойти?.. Не-ет, это не в правилах старого газетчика!.. Мы тут для того и поставлены, чтобы против нее не грешить! Не проходить мимо вот таких — острых — фактов!..

— Андрей Тимофеевич!.. — взмолился Жора.

— Одну минуточку! — сказал главный редактор, садясь за стол и вынимая из красного футляра для зубной щетки заслуженную свою, через огонь и воду прошедшую вместе с ним авторучку. — Одну минуточку!.. Нет такого положения, из которого не мог бы выйти старый газетчик.

Андрей Тимофеевич то приставлял ко лбу пухлый свой палец, то склонялся над листком, зажав голову обеими — в одной из них торчала авторучка — руками, то откидывался на высокую спинку стула и замирал, положив ладони на край стола, — в это время он был похож на пианиста-виртуоза, замершего в экстазе...

Мы с Жорой то осторожно переглядывались, то наклоняли головы словно тоже в задумчивости, — как будто в это время и мы мучительно соображали, что делать с этими проклятыми червячками...

Но вот Андрей Тимофеевич вскинул правую руку, высоко над его головой остановилась и тут же спикировала на бумагу знаменитая его авторучка.

Заскрипело перо.

— Вот так! — торжественно сказал потом главный редактор, и глаза его просияли. — Именно, *именно* то, что нужно!..

Мы с Жорой снова стукнулись лбами над злополучным листком.

«Чем объяснить тот факт, что в благодатненской чайной «Кубань» в компоте из свежих фруктов были обнаружены... нетрудно догадаться что!..»

Ме-едленно подняли мы головы и молча уставились на Андрея Тимофеевича.

— Вот так! — еще раз повторил он с какой-то насмешливой гордостью. — Тут в станице, — поймут... Что тут — так не знают? А там... — Андрей Тимофеевич снова показал куда-то за окно, за которым во дворе грелись в лебеду и мирно квохтали куры, показал так значительно, что мы тоже невольно повели головами, — *там*, даже если поймут, то не докажут, что это — черви!.. Попробуй докажи!.. Видит, как говорится, заокеанское око, да зуб неймет!

Андрей Тимофеевич аккуратно сложил листки и на верхнем написал мелко: «В набор». Потом откинулся на стуле, отер лоб, вздохнул глубоко, как после тяжелой работы, и снова посмотрел на нас добрыми, понимающими глазами усталого волшебника.

Мы с Жорой молча смотрели друг на друга... Никому из нас, конечно, не хотелось, чтобы лицо у Андрея Тимофеевича покрылось коростой. Что же это он, в самом деле, будет добрых людей пугать?

Он сказал, снова нам как будто завидуя:

— Хороший получился материал, поздравляю. Боевой, настоящий — орлы! — Повел пухлою рукою на дверь. — Иди в кассу, Георгий, получай гонорар — заслужил!

А вечером сидели мы с Жорой в чайной «Кубань» и пили пиво.

Соседями нашими по столику были Сережа Полсотрудника и Стефан Людвигович Брудзинский.

Сережа щедро делился с нами своими творческими замыслами, и Стефан Людвигович кивал, тоже прислушиваясь, стряхивал на колени пепел и говорил иногда, вытягиваясь к Сереже лицом:

— Оч-чень интересная может получиться штука!.. Оч-чень! — и грустнел тут же, и покачивал седой головой. — Жаль, не по той стезе... К несчастью, человек не может познать себя с самого начала! А когда познает, то почти всегда бывает уже поздно.

В маленьком зале было шумно.

Сквозь папиросный дым строго, будто народные дружинники, глядели со стены Алеша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец.

Сквозь говор и смех, всхлипывая, прорывалась музыка — это в углу, рядом с большим фикусом, склонившись ухом к старому своему баяну с перламутровыми пуговками, играл слепой и безногий дядя Тиша Колесников, друг Стефана Людвиговича, которого обязательно привозили сюда на коляске по тем дням, когда в «Красном казачестве» выдавали гонорар.

3

Неспешно плывет над станицей, жаркими закатами сгорает на горизонте знойный, сухой июль...

С утра и до вечера над садами млеет, струится вверх плотное марево, и теплое дыхание деревьев и трав мешается в нем с истомою русских печек, в которых тяжелым медовым соком исходят переспелые груши. В садах из-под черных от сажи таганков огненные языки лениво облизывают шипящие края медных газов, по которым сочится перекипающее варенье, горьковатый дымок возносит к раскаленному небу горячий дух вишенья; и кажется, дух этот плавится и тоже дрожит над разомлевшей от сладкой дремоты станицей.

В сонное это духмяное царство врывается иногда принесшийся из степи одуревший от собственного бензинного запаха потный грузовик, вздымая пыль, ошалело мчится по тихим улочкам, и в неподвижной духоте, кроме гари, остается потом за ним еще и парной травяной дух, и густой запах размятой пшеницы.

Клейкие эти запахи вместе с шлейфами прогорклой пыли тянут по ночной прохладе за собой из степи райкомовские и райисполкомовские «газики». По центру станицы, который освещен ярко, они катят с притушенными огнями, катят совсем медленно; и кажется, будто после дня суеты люди в них потихоньку засыпают на ходу.

Густою пылью, сквозь которую проступают жирные бензиновые пятна, покрыты в эти дни бока старенького редакционного «Москвича», не сеево зубного порошка, а тяжелую пыль оставляют теперь на полу вслед за собой брезентовые туфли главного редактора Андрея Тимофеевича Конова, и даже плечи Стефана Людвиговича, которого не так-то просто вытолкнуть за редакционный порог, даже его плечи усыпаны нынче не перхотью, но серой дорожной пылью.

Андрей Тимофеевич пытался и нас с Жорой отправить «за хорошим, понимаете, репортажем» куда-нибудь на дальние тока, присылал потом с шофером записку, приглашал забежать к нему вечерком попозже, но мы решили, что с нас, в общем-то, хватит. С первого по десятый каждое лето лопатили мы зерно, иной раз и ночевали на пшенице, сопровождая грузовики до элеватора в Армавир, что-то, а это дело известное; когда наш курс работал потом в целинном совхозе на Алтае, мы с Жорой были как два инструктора: и как на копнителе не зевать, и как на току брать побольше, кидать подальше — пожалуйста!

И мы по-прежнему пропадем на реке в компании бывших своих одноклассников — будущих физиков, философов, юристов...

Река наша обмелела окончательно, и теплая вода в ней пахнет теперь илом, коровяком и утиным пухом. Ивняк по берегам словно привял, и вместо еще недавно упругих листьев никнут на нем белесые их изнанки. На жгучем небе ни облачка. Крошечные кусочки слюды в горячем песке остро посверкивают, солнце ярится и даже сквозь сомкнутые веки бьет в глаза красным тугим пламенем.

Ты лежишь, опустив голову на руки, ткнувшись подбородком в горячий песок. Ты как будто дремлешь, но в то же время по голосам, по всплескам воды, по шорохам очень хорошо представляешь, что происходит вокруг.

Вот неподалеку кричат мальчишки, друг над другом командуют, и ты знаешь, что они побросали на берегу удочки, и ставка у них теперь только на собственные майки — цедят ими перемешанную с илом воду небольшого заливычка... Вот крик: «Митька-а-а-а!» Наверняка сестренка ищет мальчика. И ты будто слышал, что говорила ей мать, отправляя на поиски, и уже знаешь наперед, что и как скажет девчонка братцу, если ей посчастливится найти его до вечера. А пока голоса его не слышно, только с маленького, заросшего кугой островка, словно девчонке в ответ, вскрикивают каждый раз гуси: «Ка-га! Ка-га!»

Вот доносятся издали голоса женщин, то веселые, а то нарочно испуганные, и ты, не поднимая головы, не раскрывая глаз, тем не менее видишь, как друг за дружкой идут они вброд, одной рукою держа над водой

пустые подвойники, а другою — над толстыми и белыми икрами приподнимая тесные юбки... А рядом негромко брунжит в реке обломанная ивовая ветка, и буруны здесь то журчат, а то взбулькивают. И под все эти крики, под гусиный гогот, под тихое журчание реки и брунжанье мысль твоя уносится очень далеко. Странно, под всю эту нехитрую музыку неожиданно ясно думается и о космических загадках, и о тайнах бытия, и о высоком предназначении человека...

Может быть, к этому располагают покой и неторопливость здешней жизни?.. Или по какому-то закону контрастов располагает она сама, кажущаяся нам чуть странной, чуть нелепой, чуть смешной здешняя жизнь, медленное течение которой нарушает иногда только гудок, которым извещает о своем прибытии продавец керосина. Это всегда происшествие, действительно из ряда вон выходящее; и должен сказать, что любая учебная тревога, которую проведет иногда местный военкомат, перед событием этим — просто ничто. В остальном же все катится настолько тихо-мирно, что всякие волнения станичникам приходится изобретать самим, и надо сказать, что в этом деле многие из них высот достигли прямо-таки необычайных...

Знаете ли вы, например, что такое для здешних теток дать телеграмму?

Вроде бы ничего сложного: написал, что надо, сунул в окошко, протянул потом деньги, положил в карман квитанцию — все дела. Однако наша Анастасия Мефодьевна или Матрена Панкратьевна превратит это для себя в сплошной поток тревог и волнений.

Сначала, чтобы заполнить бланк, она зазовет к себе во двор какого-нибудь босоногого сорванца. Потом девочку-тихоню, которая — счастливый случай! — подвернется ей под руку, попросит проверить, не напутал ли чего сорванец, который, как всегда, конечно же, спешил оттрясти яблоки в чужом саду. Но и это еще не все. Отдав бланк телеграфистке, Анастасия Мефодьевна попросит виновато и ласково:

— Ой, да вы прочитайте вслух, чи правильно там написано, а то одних людей попросила, а они спешили.

Потом она будет провожать бланк недоверчивым взглядом и в конце спросит:

— Ну а она сегодня уйдет чи нет?

Все это будет происходить ранним утром, и телеграфистка, естественно, удивится: почему бы телеграмме, и в самом деле, лежать до завтра?

Анастасия Мефодьевна, прикинувшись растроганною, поблагодарит, однако, спустившись с крыльца почты и увидев, что навстречу ей идет адвокат Барадаев, сведущий во всех делах человек и, конечно, станичный дока, остановится в глубокой задумчивости и, поймав на себе взгляд адвоката, как бы невольно скажет:

— Да вот стою, думаю... Телеграмму ударила — чи она сегодня уйдет?

Адвокат Барадаев целую речь скажет по поводу бесперебойной работы почты. Но поздним вечером, когда уже сменится телеграфистка, работавшая с утра, уставшая от собственного беспокойства Анастасия Мефодьевна снова потихоньку доберется до почты, заглянет в узенькое окошко, виновато спросит:

— Сегодня телеграмму дочке отбила, дак не откажите, пожалуйста, — чи ушла?

И, уже засыпая, Анастасия Мефодьевна почувствует вдруг замирание сердца и со страхом подумает: а ясно ли телеграмма составлена? Правильно ли все поймет ее дочка, когда прочтет: «Люба сообщи почем яблоки а то вышло».

Странный-престранный мир тихой нашей станицы! Мир удивительных слухов и доверчивого неведения, мир безалаберного крика и смиренной тишины!

Иногда я вдруг думаю об этом, когда друзья мои рассуждают о тибетских монастырях или о личности Иисуса, спорят то о происхождении Баальбекской террасы, то о загадке Содома и Гоморры... А воображение этих теток из нашей станицы все будоражит другое: дошла ли телеграмма? Положить в посылку яичек или лучше пятерку послать, да и пусть там купит сама три десятка в Челябинске и Салехарде. А думают ли они, зачем каждый из нас является в этот мир? Что оставит в нем после себя?..

Мы не то чтобы стыдились родства с нашей станицей, просто мы считали хорошим тоном над этим родством посмеиваться. Такие, мол, башковитые ребятишки, ты посмотри, и откуда бы вы думали — из этой дыры!..

А что? Кому нынче не известно, что гении рождаются в провинции?

Из Красноярска приехал Юрка Кудасов, наш землепроходец, и мы решили сходить в горы. Сколотили небольшую компанию, наскоро собрались — и в путь. Неделю шли до перевала и неделю потом валялись на черноморской гальке.

Добрались до дому, а тут нашего полку заметно прибыло, и жизнь у нас пошла веселей.

Лето подходило к концу, и к радости от встречи с теми ребятами, которых ты давно не видал, примешивалось уже ощущение близкого расставания со станицей, и сердце начинало потихоньку щемить, когда тебе вспоминались вдруг и шум поезда в метро, и сумрачная прохлада коридоров в нашем общежитии на Ленинских горах, и сонная тишина читалки...

Пока нас не было, в станице произошло печальное событие: умер от сердечного приступа Андрей Тимофеевич Конов. Конечно, нам с Жорой надо было бы сходить в редакцию, посидеть там с полчаса, погоревать, посочувствовать, но сразу мы как-то не собрались, а потом время, когда это надо было сделать непременно, как будто уже ушло, идти было поздно, и вроде можно было уже и совсем не ходить. Ко всему это

настроение последних дней дома — и возбужденное, и одновременно ленивое: ты будто жалеешь себя почему-то, и оттого сам себе многое прощаешь.

В день отъезда к нам пришел Максим Савельевич Прямокосов. Мама приглашала его в дом, но он отказался наотрез, сел на низенькой скамеечке в палисаднике.

Было жарко. Максим Савельевич то и дело вытирал пот на лице, и тогда маленькая его головка совсем не видна была из-за громадной ручки. Чувствовал он себя почему-то неловко, то и дело принимался покашливать, потом вздохнул глубоко и прерывисто, сказал тихо:

— Ты правильно пойми, дорогой друг.. вот. Стефан Людвигович говорит: «Его смерть — это нам всем... как завещание». А он меня на работу брал... советом всегда... Ты там близко, отнеси или в «Рабоче-крестьянский корреспондент», или... выше куда. Только сам посмотри сначала. Очерк о нашем редакторе, статья...

Он протянул мне незаклеенный редакционный конверт и тут же встал, начал прощаться.

— Ты там сам поправь, если что не так... Не для меня, ладно? *Для него.*

Голос у Максима Савельевича дрогнул, он снова стал вытирать лицо, потом как-то странно — как дети, готовые заплакать, — махнул рукой и пошел от калитки, горбясь.

Я повертел конверт, ничего в общем-то не понимая толком, потом сунул его в задний карман брюк и быстро пошел в дом. Там, я знал, решался в это время очень немаловажный для меня вопрос: сколько давать мне до ближайшей стипендии и стоит ли костюм купить сейчас или же зимою, чтобы я не успел сносить его к защите диплома.

Потом нас с Жорой посадили на пищепромовский грузовик, который должен был довезти нас прямо до вокзала, чтобы с автостанции не пришлось нам через весь город тащиться с чемоданами, корзинками да авоськами.

Снова по обе стороны от дороги, как берега, потянулись невысокие наши горы, потом они стали расступаться все шире, оставляя на подступах к себе невысокие курганы да пологие холмы. Потускневшие, потерявшие летний свой цвет поля были прозрачны и пусты, и хоть там, кажется, все еще лежала жаркая истома, ветер, прилетавший из степи, был уже легок и тоже как будто пуст. Только над пыльной дорогой, по которой шли и шли грузовики, все еще висел густой и теплый запах пшеницы.

До Армавира доехали мы хорошо, на поезд тоже сели удачно, и к концу вторых суток были уже в Москве.

В крохотной моей комнате на Ленинских горах я поставил в уголок чемодан, и корзинку, и пузатую авоську с красными яблоками и сел на диван, отдыхая и обводя взглядом и окно, за которым виднелся кусочек неба над крышею противоположного крыла, и книжный шкаф, и прохладную стену из зеленоватого пластика.

Внизу, у проходной в нашу зону, мы с Жорой встретили суданца Абдуллу со второго курса; он разувался, показывая все свои сахарные зубы и, хоть мы не хотели ему давать, отобрал у нас обе корзинки, понес, пытаясь нам что-то объяснить на смешанном своем англо-русском, но мы так ничего и не поняли, потому что торопились с этими корзинами да авоськами, и до меня дошло только сейчас: кивая на наши корзины, Абдулла говорил, что у себя на родине он жил тоже в деревне.

Мне вдруг вспомнилась станица и подумалось о том, что еще одно лето осталось позади, и неизвестно отчего сделалось грустно.

Я снял туфли, давая гудящим ногам отдых, расстегнул на груди рубашку и еще посидел так, приходя в себя и после дальней дороги, и после суеты на вокзале, потом полез в задний карман брюк и достал конверт, который дал мне Максим Савельевич.

Почему-то мне захотелось именно сейчас прочитать статью Максима Савельевича, не знаю, может быть, потому, что она была каким-то звеном, связывающим меня с той неторопливой жизнью, которая снова надолго осталась позади.

Статья называлась «Последний подвиг», и я грустно улыбнулся, отлично представляя заранее, о чем в ней будет написано.

Ну конечно, все, как и следовало ожидать: сначала Максим Савельевич, называя своего редактора «маленьким Андрейкой», определил его от зари до зари батрачить на кулака, потом привел молодого Андрея Конова в красную кавалерию, потом — на рабфак. Но мирная жизнь, естественно, длилась недолго, и вот уже сперва лейтенант, а потом капитан Конов насмерть бьется с врагами своей первой в мире социалистической Родины...

Я читал, и грустная улыбка не сходила с моего лица, как вдруг сердце у меня перебило, что-то сдавило горло: «...он говорил всем, что у него экзема и нельзя волноваться, но это была неправда, — ровным почерком писал Максим Савельевич. — Просто он так издевался над болезнью и подшучивал сам над собой. Никакой хронической экземы не было, а был вражеский осколок у самого горячего сердца, который он принес с собой с фронта битвы... И врачи предупреждали, что в любое время осколок может тронуться с места и прервать жизнь, если крепко поволноваться...»

На секунду я закрыл глаза и вытер со лба набежавший внезапно пот.

«И он не обращал внимания на мелочи и никогда не сердился зря или по пустякам, — ровным почерком писал Максим Савельевич, — но есть факты, мимо которых нельзя пройти, если ты — настоящий сын... Перед этим днем в колхозе имени Ивана Франко Благодатненского района комбайнеры сделали брак, и сотни необрушенных валков золотой кубанской пшеницы остались лежать не на народном столе, а гнить в поле. Но такое беззаконие недопустимо, и товарищ Конов потребовал, чтобы сюда снова вернулись комбайны. На что

председатель колхоза ответил: получено распоряжение из района срочно запахать следы позора, так как едет руководящая комиссия из министерства. И сюда уже послали плуги, чтобы сделать вид, что ничего не произошло.

Товарищ Конов звонил в райком и добивался, но первого секретаря не было, второй болен, а третий не решился взять на себя ответственность. Председатель же колхоза имени Ивана Франко, который считал себя незаменимым, прикрывался именем члена бюро.

Тогда товарищ Конов приказал шоферу редакции т. Петряеву загнать машину на валки посреди поля и сам сел в эту машину, а шофера послал в ближайшую станицу дать срочную телеграмму.

Тракторы пришли и по приказу председателя колхоза стали запахивать следы позора и преступности перед народом, и они постепенно приближались к машине, в которой сидел товарищ Конов, но он не сдался.

Когда тракторист т. Ханогин приблизился к машине на валках, чтобы попросить совета, как быть дальше, товарищ Конов был мертв, сжимая в похолодевшей руке боевой карандаш...

На поле жатвы честно и смело ты погиб, как в бою!.. Память о тебе навсегда останется в наших сердцах. Спи спокойно, дорогой товарищ!»

Я согнулся, как будто у меня болел живот, склонил голову, сидел неподвижно.

Потом я увидел маленькое пшеничное зерно. Не знаю, откуда оно взялось, — может быть, выпало из-под шнурка, когда я стаскивал туфли, может быть, из-за обшлага брюк...

Полное, как будто литое, еще живое от теплых соков летней земли, оно лежало на темном паркете, строго блестящем скупой прохладой и чинной городской чистотой.

Мне казалось, я услышал, как оно пахнет, и запах этот вдруг отозвался в душе нахлынувшей внезапно горечью и будто виной... У горла все еще стоял комок, я чувствовал, как у меня невольно кривится лицо. Вот же, пока мы рассуждали о судьбах мира, в станице нашей потихоньку решалось что-то очень большое и важное для нашей земли, как сотню лет назад, земля эта снова отдала людям хлеб, чтобы они могли жить дальше, и печалиться, и радоваться, и размышлять... И разве мы не есть продолжение отдающей хлеб нашей земли, нашей станицы? И это всем вскормившим нас своими бесконечными посылками теткам принадлежат — если им суждено быть — и будущие наши открытия, и наши прозрения...

В дверь постучали.

Это пришел суданец Абдулла, которого я приглашал отведать кубанских яблок.

ЭТИ МАМИНЫ ПЕРЕДАЧИ

Это единственный поезд, в котором с Кубани до Новокузнецка можно доехать без пересадки, и за те семь или восемь лет, что мы прожили в Сибири, он стал своим не только для нас с женой, но и для всех наших родственников на юге.

Каждый год ранней весной забрать маленького отправлялась этим поездом теща. Мама моя, у которой со здоровьем было похуже, сперва добиралась до Армавира проводить ее да что-либо передать, а потом приезжала из станицы еще раз — поглядеть на внука, расспросить, как мы там, да увезти порожние банки из-под варенья. Возвращать эти банки мы должны были непременно, и всякий раз не знали, чем бы таким их наполнить. Кедровые орехи грызть некому, сахар везти очень тяжело, и обратно они так и путешествовали пустыми.

Когда наступал отпуск, домой мы летели самолетом, а на обратном пути садились в этот поезд, и каждые наши проводы в Армавире были похожи на эпизод из переселения народов. Пока обе матери давали последние наставления да потихонечку плакали, пока мы их, как могли, утешали, мужская половина родни — отцы с дядьями — затаскивала в вагон наши вещи, и их всегда было столько, что успокоить проводницу долго не могли ни многоголосые просьбы, ни подаренный арбуз, громадный и полосатый... Я потом полдороги рассовывал по углам картонные ящики да корзинки и очень удивлялся, когда соседи принимались вдруг горячо доказывать, что мешок, о который все спотыкаются, тоже мой. Кроме запланированных яблок да винограда, кроме того самого варенья да сушеных фруктов, родня наша от собственных щедрот успевала прибавить или тугую вязанку луку, или небольшой и плоский бочонок вина, который поднаторевшие в этом деле дядья хитро маскировали под мирный груз, а в случае чего готовы были перед женщинами поклясться, что это всего лишь абрикосовый сок или свежее подсолнечное масло.

Зимой этот поезд туда-сюда возил наши письма, и бесчувственная стальная дорога была как бы живую ниточкой, по которой в одну сторону торопливо неслись и жалобы, и любовь, и тревога, а в другую неспешно отправлялись бодрые советы, которые тогда нам, конечно, казались очень разумными...

В общем, это был настолько наш поезд, что номера его и названия мы давно уже в телеграммах не указывали, считалось, ясно и так: семьдесят седьмой, Кисловодск — Новокузнецк.

Так было и в тот раз, когда я получил от матери короткую телеграмму: «Встречай тридцатого пятом вагоне передача».

Эти мамыны передачи...

Я начал получать их с тех пор, как впервые в жизни поехал в пионерский лагерь в соседней станице, и получал потом, пока учился в Москве. И они находили меня, когда я был на практике в Костроме или на целине, под Барнаулом. То приехавший искать правды инвалид, которого я потом водил от одной до другой приемной,

вручал мне крест-накрест перетянутую бинтом промасленную коробку из-под ботинок, в которой были домашняя колбаса и пирожки с капустой, то завербовавшийся на Север сосед, от черной телогрейки которого кисло пахло малосоленными огурцами, махрой и еще какими-то теплыми вагонными запахами, отдавал мне на вокзале зимние яблоки в пузатой наволочке, и я провожал его от Курского к Ярославскому, бежал с его тридцаткой в ближайший магазин, и вместе с ним ждал потом поезда, и махал ему вслед с черного, уже ночного перрона...

Люди ехали на заработки, на лечение, к родне, переезжали с места на место. И удивительно, как только об этом узнавала мама и как она всякий раз ориентировалась? Сама она уезжала из дома только однажды, в сорок третьем году, в Ростов, когда отец лежал в госпитале. А передачи ее куда только не добирались, и как-то раз, когда я был с геологами в Карелии, мне пришлось просить у начальника «козлик», чтобы по маминой телеграмме успеть к поезду за две с половиной сотни километров... Станция была крошечная, поезд стоял всего полминуты, и мне почти на ходу сунули в руки похрустывающий целлофановый пакет, в котором оказалась запеченная в тесте курица.

С продуктами у нас в экспедиции вышла заминка, почти две недели все сидели на тухлой рыбе да на мерзлой картошке, и вечером, когда я пытался угостить ребят, никто к моей курице не притронулся. Мне было девятнадцать, многого я еще не понимал, обиделся, и тогда наш суровый начальник вдруг улыбнулся, махнул рукой и послал «козлик» к продавщице на дом, а сам стал разламывать сытно пахнувший каравай и разделять курицу и все раскладывать на равные части. На его столе, на котором перед этим всегда лежала полевая сумка да образцы пород, появилось двадцать крошечных горбушек пшеничного хлеба с ломтиком куриного мяса сверху — мы потом их разыгрывали, строжайше соблюдая неписанный ритуал честной дележки...

Теперь я задумываюсь: куда только не ехали наши станичники и где только не заставляли меня мамыны передачи! Я ничего не получил от нее лишь в Австралии, да и то небось только потому, что полетел туда слишком неожиданно и пробыл там очень недолго...

Весна в тот год стояла в Новокузнецке затяжная, в конце апреля еще не истаяли последние островки графитно-черного снега, лежали неотличимые от асфальта, тоже ноздреватого от истыканной каблукими жирной слякоти. Хорошего дождя пока не случалось, вся комбинатовская копоть, за долгую зиму осевшая на дома да на улицы, еще оставалась в городе, и вид у него был самый безрадостный: ни травинки тебе, ни зелени на неотмытых деревьях, ни солнышка — только низкие глухие дымы над отпотевшими каменными домами.

И все же что-то неуловимо весеннее, что-то майское проглядывало сквозь серый и мокрый облик города — может быть, виделось оно в заметно попестревшей толпе, может, угадывалось в лицах, а может быть, в нас самих возникло предчувствием завтрашнего праздника...

Мы с другом уже бездельничали, неторопливо прогуливались по проспекту Metallургов, и руки у каждого были за спиной — у меня там берет висел на кончиках пальцев, а он придерживал шляпу. Мы то разговаривали, а то шли молча, слегка поднимая голову, щурились иногда на размытое хмарью белесое пятно, ждали, пока солнышко пробьет наконец дым да туман над широкой котловиной, в которой раскинулся город, посмеивались иногда, кивали знакомым, и нам было уютно и хорошо — и жить в нашем коксом пропахшем городе, и жить на земле...

Мы с ним давно понимали друга друга с полуслова, теперь я только протянул другу телеграмму, и он посмотрел на нее с видом нарочно многозначительным:

— Сало?

— Семечки, — сказал я. — А в них — яйца...

— Двести штук.

— Да, две сотни.

— А на базар ты меня тоже позовешь? Постоять рядом?

— Куда я без тебя?

Время у нас еще оставалось, мы зашли в бар при новом нашем кафе-стекляшке, взяли по чашечке кофе, улыбались и неторопливо покуривали.

Друг мой был родом из Новокузнецка, учился тоже в Москве, и ему не хуже меня была знакома система этих передач из дома, но для него она закончилась вместе с возвращением в родной город, а для меня времена студенчества как бы все еще продолжались, и он не упускал случая над этим поиздеваться.

Я представил, как вытащу из вагона тяжеленную корзину, не очень, конечно, новую, аккуратно обшитую сверху белой бязью, как мы с ним развяжем наконец узелок на ручках, для крепости и для удобства обмотанных разноцветными лоскутками, как возьмемся с двух сторон и пойдем по перрону, как независимо будем поглядывать на знакомых, которые увидят нас с этой необычной в центре города ношею...

Где-нибудь в людном месте друг мой нарочно предложит отдохнуть, мы поставим корзину на толстую чугунную решетку, что тянется по проспекту вдоль газонов, оба будем слегка придерживать ее бедром и закуривать, и около нас непременно остановится кто-либо из друзей.

— Что это вы?

— Да вот, — кивнет он в мою сторону. — Специальным решением сельсовета...

И я подниму палец:

— Стансовета!

— Стансовета, да. Человеку выделили пуд старого сала... покажи выписку из постановления...

— Дома.

— Такие документы надо иметь всегда с собой.

— Зачем? Я его в рамку.

— Да, или в рамку! — подхватит друг. — А рядом дарственную казачьего схода. — И обернется к тому, кто к нам подойдет: — Ты не слышал? Земляки ему вырешили коня, но так как с поставками дело худо, пришлось свести на мясокомбинат, сюда — квитанцию, а он тут получит конской колбасой...

Знаем эти старые шутки.

Потом стояли мы на черном и безлюдном перроне.

Попробуй-ка сесть в этот поезд на юге! Но по дороге все потом сходят и сходят, на Волге, на Урале, за Омском, и к Новокузнецку почти никого не остается. Никто не толпится за спиной у проводников, лица в окнах мелькали лишь изредка, и, если бы не большой букет тюльпанов, промелькнувших за мокрым стеклом, заляпанным грязью, этот поезд был бы совсем под стать нашему хмурому и скучному сейчас городу.

Мы не подрастчитали, и нам пришлось слегка пройти вслед за составом. Из пятого вагона никто не выходил, я заговорил с проводницей, и она молча показала рукой в глубь коридора.

Открытым оставалось только одно купе — это здесь стояли на столике те самые тюльпаны, которые промелькнули за окном. Теперь я увидел, что их было много, добрая охапка, они еле помещались в новеньком цинковом ведре — розовато-сиреневые, тугие, все один к одному.

Друг против друга около столика сидели женщина и мужчина, а на полу стояли только небольшой чемодан да кожаная сумка, но вид у нее был явно не тот, не кубанский.

— Извините, это у вас передача из Армавира?

Женщина положила руку на бок цинкового ведра:

— А вот она. Забирайте.

И только тут до меня дошло, и меня разом растрогали и эти проделавшие такой длинный путь мамыны цветы, и это несколько дней поившее их новенькое ведро, и оттого, что не догадался сразу, когда увидел, сделалось неловко — сало ему, видишь, тунеядцу, подавай или яйца!

И друг мой растрогался, мы оба что-то такое пытались сказать, благодарили и кланялись и оборачивались потом, когда мимо закрытых дверей остальных купе шли к выходу — я с цветами в руках впереди, он — за мной.

На перроне все останавливались и долго глядели нам вслед, а потом, когда мы уже шли по улице, друг мой как-то по-особенному засмеялся — так он смеялся, когда был чем-то смущен.

— Ты оглянись-ка!

За нами молчаливо и деловито шли несколько человек, обгоняли друг друга, о чем-то озабоченно переговаривались, на кого-то уже покрикивали, и этих скорым шагом догоняли другие люди, пристраивались позади, поглядывали на передних, вступали в разговор.

Мы остановились, и я только обеими руками придерживал у левого плеча ведро с цветами, а объяснялся мой друг:

— Мы не продаем, братцы... извините, товарищи, — не продаем!

Нас окружили плотным кольцом:

— Куда вам столько?

— А почему не продать? Ради праздничка!

Друг зачем-то стащил шляпу:

— Понимаете, это просто моему товарищу мама передала... Издалека. Поездом.

— Ну хоть парочку — мне в больницу...

— Кто последний? Сказать, чтобы больше не становились?

— И самим останется!

— День рождения у жены...

Из толпы вышел высокий мужчина, полковник милиции, — я его до сих пор хорошо почему-то помню. У него были очень густые и черные, с серебристой сединой усы и светлые, с юношеским блеском глаза. Облик его, и молодцеватый, и одновременно строгий еще долго потом казался мне для человека его несладкой профессии символическим, и все мне думалось: то ли, несмотря на молодость, полковник этот уже многое успел повидать, то ли, несмотря на годы, не собирался пока сдаваться.

— Товарищи! — он приподнял крепкую ладонь и немножко подождал тишины. — Мы ставим молодых людей в неловкое положение. Наверное, у них есть свои друзья и знакомые, которым эти цветы, вероятно, и предназначены...

— Девочка у меня...

Полковник вытянул руку, приглашая из толпы немолодую женщину с печальным лицом. И обернулся ко мне:

— Общая просьба.

Друг мой выдернул из ведра несколько тюльпанов. Женщина раскрыла кошелек, но полковник только глянул на нее, и она смутилась и опустила голову.

В толпе опять сказали:

— Так хотелось на день рождения, эх!

Седой ус полковника дрогнул в легкой усмешке:

— Может, еще одно исключение?

— Ну, если день рождения! — друг снова вытащил несколько тюльпанов.

— От спасибо!

Широкоплечий, с борцовскою шеей парень был в новеньком костюме, но через толпу пробирался так, словно боялся кого-нибудь испачкать, и я подумал, что он, пожалуй, только со смены — откуда-нибудь из мартеновского или с коксохима...

Друг мой отдал цветы, и полковник нарочно строго спросил у парня:

— Не обижаете ее?

— Да ну! — удивился парень и прикрыл тюльпаны растопыренной пятерней.

Мой друг снова повозился с ведром, несколько тюльпанов протянул теперь полковнику, но тот громко сказал:

— С большим бы удовольствием. Только боюсь, тогда меня неправильно поймут.

Поднес ладонь к козырьку, улыбнулся, как мне показалось, и грустно, и чуть насмешливо. Четко повернулся и пошел не оглядываясь.

Друг мой все-таки догнал его, протянул цветы, и тот взял и что-то сказал ему, а потом посмотрел на меня и все так же молодцевато, но без тени излишней лихости козырнул издалека... Хорошее у него было лицо!

И пусть тогда на улице, покажется вам, все происходило как в кино, мне ничего не хочется тут менять — раз так оно и было на самом деле, и если кто говорил о маленькой девочке или о дне рождения у жены, значит, сущая правда — не такой это город, Новокузнецк, в котором про это стали бы врать.

Мой друг жил тогда недалеко от вокзала, и мы решили зайти к нему. Позвонили еще одному товарищу, который работал в «Скорой помощи», и по тону, каким мы с ним, перехватывая один у другого трубку, разговаривали, тот сразу понял, что нам нужна не только машина... И спирт мы потом не стали разводить, втроем за такое дело глотнули чистого, а потом изрядный пучок тюльпанов — для наших жен — переставили в новое ведро, которое нашлось у моего друга, а с маминим спустились вниз, сели в машину, поехали по городу...

Прекрасный это был вечер! На улицах уже зажглись разноцветные огни, сутолока в центре и около магазинов усилилась, машины нетерпеливо сигналили и резче оседали у светофоров, но наша темно-голубая «Волга» шла медленно и как будто торжественно.

У подъезда, в котором жил кто-либо из наших друзей, она останавливалась, мы брали небольшой, в пять или семь цветков, букет и все трое неторопливо поднимались наверх. Кто-нибудь нажимал на кнопку звонка, и мы замирали.

Чаше всего открывать прибежали дети, иногда первым появлялся в дверях наш друг, и мы с торжественными лицами переступали через порог, просили пригласить хозяйку дома.

А они только что местили тесто, мыли посуду, разделявали селедку, гладили рубахи, завязывали галстуки, утирали носы... И по дороге с кухни снимали фартуки, незаметно оглядывали себя и невольно выпрямлялись, тыльной стороной ладоней поправляли прически, брали цветы двумя пальцами, и вид у них, прежде не раз и не два непреклонно заявлявших где-нибудь в общей нашей компании, что мы засиделись, что всем нам пора по домам, сегодня был и слегка растерянный, и счастливый.

Иногда мы останавливались у края тротуара, и тоже все трое выходили с тюльпанами, и отбирали тяжелую сумку, и подхватывали на руки малыша, и провожали до дома...

Несмотря на свою привычку надо всем издеваться да насмешничать, друг мой был человек сентиментальный, и, после того как дал цветок старому своему учителю, которого случайно увидел в толпе на улице, он окончательно расчувствовался. В который уже раз принялся рассказывать третьему из нас, какие мы с ним, понимаешь, сволочи: решили, что мать передаст, конечно, что-нибудь съестное, как же иначе? А она, простая русская женщина, заботилась как раз не о брюхе... И он незаметно смахивал невольную слезу и клялся, что напишет в станицу такое письмо, такое письмо!..

Но прежде я получил весточку от мамы. Корявые буквы в торопливом ее письме то далеко отрывались одна от другой, а то залезали друг на дружку: «Переволновалась, пока отправила, а теперь не сплю, или дал ты цветов тем людям, что довели, или нет? Я им говорила на станции, что ты дашь, а потом на автобус обратно кинулась и в телеграмме забыла, а теперь душа болит, а вдруг да не догадался?»

А ведь и в самом деле, как просто: отделить от тугой охапки тюльпанов небольшой букет — спасибо, это вам!

Помешала нам тогда растерянность или что другое — попробуй-ка разберись! Сколько раз мы, уходя, оборачивались, и благодарно кивали, и кланялись уже издалека, и махали рукой... Но цветов дать мы не догадались.

Не скажу, что я тоже перестал тогда спать. Но на сердце у меня было нехорошо.

Вместе с другом мы сходили на вокзал, потом неделю дожидались, пока из рейса вернутся проводницы, которые ехали с поездом в тот раз. Разыскали их наконец, стали спрашивать: а помните, из Армавира передавали громадный такой букет? А пассажиров, которые согласились его взять, — помните? Не знаете, кто они? Не было разговора — откуда?

Тюльпаны они, конечно, помнили. Людей — нет.

Низенькая рыжая проводница, такая толстая, что форменный костюм на ней вот-вот, казалось, должен был лопнуть, тащила к выходу до половины набитый, гремевший пустыми бутылками полосатый матрац, и мы оба отступали и нагибались к ней, пытаясь хорошенько расслышать. Но она только пожимала плечами:

— Кто их там знает, что за люди? Это кабы кто шумный... А этих не видно и не слышно. Зайдешь убраться, а

они как мыши. Сидят и на букет на этот все смотрят...

Сперва меня не оставляла надежда случайно встретить этих людей где-нибудь на улице, в кино, в электричке... Ничего, что я их не запомнил. Увижу — интуиция подскажет: они!

Ко всем вокруг я теперь присматривался куда пристальнее обычного, но странная получалась штука: временами мне упорно казалось, что эти двое, которые знали теперь обо мне несколько больше многих остальных в городе, очень хорошо меня видят, я их — нет.

Стоило в те дни кому-нибудь на меня внимательно посмотреть, и я начинал лихорадочно прикидывать: он это или не он? Она или не она?

Как-то в трамвае я поймал на себе изучающий взгляд, раз и другой посмотрел сам, и человек, показалось мне, прежде чем отвернуться, едва заметно усмехнулся.

Он стоял на задней площадке, а я впереди, в вагоне было битком, но я упрямо пробрался к нему, тронул за локоть:

— Извините, это вы тогда привезли мне цветы?

И он сперва молча полез за очками, надел их и только потом, приблизившись лицом, переспросил:

— Цветы... Какие цветы?

Я уже извинился, но он так и не снял очков, так и не отвернулся. И я сошел за остановку до той, где мне надо было сходить...

Скажу сразу, что никого я так тогда и не нашел, что острота вины, которую я чувствовал, постепенно притупилась, все стало забываться, как забывается многое другое, что, как мы считаем, нам о себе вовсе не обязательно помнить.

Но вот какое дело: и через год, и через два, и через много лет все вспоминаются мне мамины тюльпаны.

К сожалению, это правда, что мы — не ангелы, и если я успел наошибаться не больше всякого другого, то наверняка и не меньше.

Одним словом, мне тоже есть над чем поразмышлять в минуты самоанализа, но того случая с цветами почему-то до сих пор стыжусь больше, чем многого остального, и часто спрашиваю себя: почему?

Как-то совсем недавно вместе с одним кубанским писателем, тоже моим старым другом, мы поехали на строительство большого химкомбината. К этому времени я уже три года прожил на юге, на своей родине, но память все не уставала настойчиво возвращать меня в сибирские края, в далекий наш город.

Так было и теперь. Стройка только что начиналась, по хорошим масштабам там еще, что называется, и конь не валялся, но в просторном помещении склада, где мы стали примеривать резиновые сапоги, я вдруг уловил холодноватые запахи новенького брезента и рабочей обуви, и вдруг притих, и к самому себе начал прислушиваться.

Который день подряд моросил не очень густой, но студёный дождик. Мы шли по раскисшей дороге, и черная жижа хлюстала под ногами и с тугим шелестом косо летела из-под лоснившихся колес тяжелых машин. Колочий ветер жег лоб и хлестал по скулам, и озябшей рукой я сжимал на горле концы воротника, но все тянул и тянул шею...

В серой мжичке прятались вдалеке оплывшие котлованы да еле различимые полоски фундаментов, но в сыром весеннем воздухе я отчетливо ощущал серный душок, и мне было ясно, откуда этот запах, с какого коксохима он сюда прилетел.

Потом сидели мы в сизом от папиросного дыма тепличке, разговаривали со скреперистами, и кто-то из них посетовал, что на стройке пока трудно купить машину: «Посмотришь, и правда, — у ханских огуречников вон сколько мотается «Жигулей».

Я спросил, что это за «ханские огуречники», и один стал объяснять, что это жители соседней станицы, которые раньше других в округе приспособились выращивать огурцы под полиэтиленовой пленкой, а другой усмехнулся и махнул рукой: «Это уже не модно — огурцы. Как говорится, вчерашний день. Сегодня перешли на тюльпаны. Никакой тебе тяжести, ничего. Нарезал их да пару чемоданов набил — это сколько туда может войти? А потом на самолет, да где-либо на севере стал на углу: пять пара!.. Пять пара!..»

На следующий день утром я шел по улицам городка, рядом с которым строится этот химкомбинат. Многоэтажные здания стоят здесь только в центре, а чуть подальше все как в станице: лавочки у ворот, дома с голубыми ставнями, загородки для кур из металлической сетки, сады, в которых ровными рядами плотно, одна к одной, лежат белые колбасы полиэтиленовых парников.

Холодный дождичек все продолжал моросить, было зябко.

Я глядел на голые деревья с черными и мокрыми ветками, глядел на теснившие их парники, за прозрачными стенками которых будто видны были тугие ростки тюльпанов, и вдруг мне стало отчего-то неуютно и грустно.

Я представил, как где-нибудь на проспекте Metallургов те двое, что привозили мне передачу из Армавира, увидят дородную тетку с оранжевым тюльпаном в крепкой руке.

— Почем цветочки?

— Пять пара.

— С ума сойти!

— Не хотите — никто не заставляет...

И эти двое пойдут мимо, и он, словно оправдываясь, скажет:

— Нет, ну есть совесть — три шкуры!

— Как будто ты их только узнал! — И она качнет головой. — У этого, помнишь, сколько было тогда тюльпанов, а догадался он — хоть один?

— Ну, тот-то вообще жлоб...

И на улице, которую я очень люблю, они припомнят не маму, упросившую их тогда взять ведро с тюльпанами, а припомнят меня...

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ДОМА

1

Солнце висело за спиной у Дранишникова, оно грело рубаху, припекало потихоньку и плечи, и затылок, жгло кожу под волосами на макушке и уши — и он чувствовал сейчас оба своих уха, они были горячими и, наверно, светились розовым.

Под ногами у него лежала бурая картофельная ботва, присыпанная то желтой с прозеленью яблонево-лиственной, шершавой и мягкой, то темно-серыми, свернутыми в трубку гладкими и жесткими на глаз листьями с груши; сад стоял наполовину облетевший, и по краям его в поределых кронах, в голых, с последним листом на макушке ветках держалась солнцем размытая белесая теплынь, но ближе просветы в деревьях уже сквозили чистой голубизной, здесь небо как будто набирало холода, а над головой у Дранишникова в вышине стлыла пронзительная синева, и трепетным белым комочком кувырчался в ней и неслышно бил одинокий голубь.

Сигарета жгла Дранишникову пальцы, а он все смотрел и смотрел вверх и почему-то все не мог оторвать взгляда от голубя и, прежде чем сделать это, вздохнул и оземь бросил окурочек — эх ты!..

Недели этой как не бывало.

Вообще-то, когда ему пришлось в голову выкроить этот коротенький отпуск, он рассчитывал не так его провести...

Тогда, в Жданове, он подумал, что не заскочить домой просто грех, и закинул на этот счет своему шефу, начальнику главка Сандомирскому, и тот посмотрел на него прищурившись и, словно бы что припоминая, сказал:

— Если я не ошибаюсь... человек — кузнец своего счастья...

И Дранишников только усмехнулся.

За горло брать он умел, и уже на следующем рапорте монтажники взвыли в голос, и Хлудяков, старый его знакомый по Череповцу, когда они остались одни, по-свойски спросил его:

— Крест-то на тебе, Сергей Дмитриевич, есть?..

А он и сам знал, что многие из тех сроков, которые они с Сандомирским назначали, были, мягко говоря, нереальными, ему ли этого не знать, но в спорах с самим собой в те горячие дни он оправдывал себя: в Сибири да на Урале, на заводах Новокузнецка и Магнитки, где он сам проходил жестокую школу пусковых, строителям и монтажникам задавали темп еще более сумасшедший, и они принимали его самоотверженно и без ропота. Дранишникову всегда нравилось это молчаливое упорство, с которым работали сибиряки, он и себя считал сибиряком и всегда этим гордился, а теперь, когда хорошенько поездил, понял тем более, что цены нет немеренному энтузиазму тех строек, гордому и пока бескорыстному.

Тут не так. То ли Дранишников выдумал ее, то ли она была здесь и в самом деле — хитровая ленца, с которой работали на юге все, от слесаря в бригаде до начальника комплекса, но только теперь ему пришлось пошевеливать здешних, поторапливать их, занятых, как ему казалось, своими «мичуринскими» садами да «Запорожцами» больше, чем прокатным станом, который вот-вот должны были сдать.

Заставив людей вертеться, он не давал спуска и себе и каждый болт на стане потрогал своими руками, проглядел каждый узел. Бывали дни, когда спать ему приходилось по три-четыре часа, не больше; и тогда в гостиницу он не ехал, забирал у кого-нибудь из бригадиров ключ и где-либо в дальнем тепляке заваливался на пропахших железом, еще не успевших остыть от человеческого тепла брезентовых робах и пытался уснуть среди грохота и лязга; прогоняя от себя оставленные ему суетным днем однообразные видения работы, старался представить: вот он, заложив руки за голову, где-то среди тихой степи лежит на кучке холодноватых кукурузных бодылок и смотрит в синее пустынное небо, по которому тянет в вышине ломаный треугольник журавлей... Вот он, подперев кулаками подбородок, спокойно сидит за самодельным столом в своем саду, греется на солнышке, и вокруг ясная тишина, и слышно, как, опадая, и раз, и другой четко стукнется о дерево, зашуршит по земле косо летящий лист; вот стоит на высоких холмах за станицей, смотрит на покрытые первой изморозью рыжие поля, с которых иногда с тоскливым криком срываются и пытаются полететь вслед за стаей диких гусей раздобревшие к осени на колосках да на семечках домашние их сородичи...

В те дни его впервые так ощутимо потянуло домой, он как будто даже вину какую почувствовал оттого, что не приезжал в станицу уже давно, да и еще вроде бы ехать не собирался.

И в какой-то мере это свидание с осенней своей станицей Дранишникову удалось.

Почти все акты монтажники сдали чуть ли не на неделю раньше, чем рассчитывал Сандомирский, и тот, словно подтверждая справедливость недавно припомненной им мысли и теперь уже несколько не сомневаясь в

ней, сказал Дранишникову:

— А ведь человек — он и в самом деле кузнец...

И это было для Дранишникова как будто приказ по главку.

И за неделю он помотался по осенней степи, и повалялся на кукурузных бодылках, и то здесь, то там постоял на тех холмах да на кручах, на которые любил забираться еще мальчишкой, — и все это было как будто бы так, как он замышлял, и немножко иначе. В степи они бывали компанией, напропалую ухаживали с Чекрыгиным за двумя аспирантками, которые вели какую-то работу в его совхозе. Дранишников так и не понял, какую именно, — о «влиянии научных опытов на качество шашлыков», как говорил готовивший эти шашлыки Чекрыгин.

А получилось так потому, что Юрку Чекрыгина, Юрий Саныча, встретил он еще на автобусной остановке, и они оба обрадовались неожиданной этой встрече — они дружили и два года сидели за одной партой. И вместо того чтобы, не торопясь, походить по степи пешочком да посидеть, прижукнув, под неслышным осенним солнышком, как он хотел, он с Чекрыгиным, главным инженером племенного совхоза, обмотал весь район, где только не побывал — и на дрожащих от реактивного гуда токах, где кукурузу теперь сушили при помощи отработавших свой недолгий век в небе авиационных двигателей, и на пастбищах в горах, где уже лежал снег, и на зональном соревновании стригалей, которое, как ему сказали, вот уже несколько лет подряд проводилось в одном из колхозов района, знаменитом теперь на всю страну. И Дранишников был благодарен другу своему Чекрыгину Юрке за эти странные и суматошные поездки, в которых иной раз трудно было разобрать, где кончается дело и начинается на скорую руку собранный, но тем не менее торжественный, как древний обряд, обед с молодым барашком, благодарен был потому, что неспешную станичную жизнь, над которой он обычно посмеивался, увидел теперь как бы заново: увидел и спорую, такую, какую любил сам, работу, и щедрые ее в этот год на Кубани плоды, увидел тронутые осенними красками дорогие ему холмы и долины, видеть которые безотчетно хотелось ему уже очень и очень давно.

Правда, Дранишников замечал, что каждая из этих поездок словно бы отдаляла его от матери. Провожая его до калитки, за которой ожидал чекрыгинский «газик», она всегда помалкивала; но однажды, когда машина уже тронулась, он выглянул в заднее окошко и увидел, как мать, клоня голову, понесла к глазам край платка.

Время для этих поездок было как бы украдено у нее, это ясно, но Дранишников, словно попавший в знакомую колею, никак не мог из нее выбраться; и так же, как раньше дома, забывая семью, пропадал он днями и ночами на стройке, так где-нибудь в совхозе часами просиживал теперь на разрядке, где непривычно для него пахло не железом, а жареными семечками, и мчался потом с Чекрыгиным на совещание, и после шел в чайную, в которой за плюшевой занавеской начиналась крупная — не без бахвальства — председательская складчина.

И Дранишников, сознавая все это, чувствовал себя неловко, когда они ненадолго оставались с матерью вдвоем, и рад был, если приходил кто-нибудь из родственников или соседей.

Потому-то вчера он и сказал Чекрыгину:

— Ну все, ша, завтра ты рубай своих барашков один!.. Надо же мне хоть последний день побыть дома.

День этот выдался как по заказу, ясный и теплый, и Дранишников то стоял, покуривая, у летней кухоньки, пока мать собирала завтрак, то долго сидел за столом, тоже покуривая, а мать мыла посуду и неторопливо рассказывала ему об одиноком своем житье. Потом, зажав сигарету в уголке рта и морщась от дыма, он помогал ей очищать кукурузные початки, и ему приятно было слушать, как шуршит и поскрипывает, когда обдираешь, как хрустывает потом, отламываясь, еще не совсем подсохшее кукурузенье, и приятно было, будто взвешивая, держать на ладони холодноватые и чуть, влажные початки с белыми гладкими зубками — это были ощущения, знакомые ему с детства, и сейчас они забавляли Дранишникова и, казалось, возвращали его на много лет назад, и он, поддаваясь этой иллюзии возвращения, старался что-то припомнить, и никак не мог, и думал снова, как будто это было очень важно для него, а потом вдруг, перебив мать, сказал обрадованно, приподнимая кочан:

— Так это ж ледянка, ма?..

И мать как будто удивилась:

— Ну а то что?..

— Да у меня вот вертелось-вертелось...

— Ледянка, конечно, а то что...

И она снова стала рассказывать, как болела зимой и думала, что уже и все, хотела телеграмму давать и ему, Сергею, и младшему, Феде, да боялась напугать их, потому и раздумала — и вот ничего, отошла: наверно, помогли пивяки.

Она замолчала, и Дранишников сказал:

— Ма, забыл тебя попросить... Вот бы ты кукурузных оладиков хоть раз испекла, а? Сто лет не ел, а как вспомнишь... Только масла побольше.

Мать удивилась:

— А из чего ж я их тебе испеку?

И он ответил ей в тон:

— Как из чего?.. Из муки. Из кукурузной.

— А где она?

Он плечами пожал:

— Не знаю. На базаре... или где?

— А кто ее на базаре продавал бы?
— Ну на мельнице...
— А кто б ее там молот? Белый хлеб в магазине лежит, черствеет...
— Ну раньше как-то пекли... в войну.
— Да к то на своей рушке... Я ж тебя всегда драть-то и заставляла.

И он вспомнил, как по вечерам на две табуретки ладил широкую плаху с четырехгранным стояком, поблескивающим отточенной сталью, надевал на стояк цилиндрический ворот, ставил под отверстие для крупы большой таз, садился на плаху верхом... Молот на муку — посильней прижимаешь вороток, давишь книзу, а стоит приподнять его чуток за ручку — и пошла дранка покрупней.

— А ведь в самом деле, это же целая индустрия была — военные да послевоенные крупорушки, а теперь и муки этой, выходит, достать негде, никому не нужна, нету...

— Да кабы жил еще в таком месте, чтоб кругом никто не болел, дак, может, и сам бы еще держался, — снова, не торопясь, заговорила мать. — А то посмотреть — вот так ну! — собралось на краю одно старушьё, в каждом дворе то ж да про то ж, то ж да про то ж...

— Ма, — спросил Дранишников, — а где наша рушка?

И мать, не меняя тона, покорно откликнулась:

— Да где?.. Федя ж на металлолом сдал. В шестом или это уже в седьмом классе соревновались же там с кем-то, да у тех больше, а у этих не хватало — гляжу, нету!.. Когда узнала, пошла к Митрофановичу, он же там заправлял. «Отдай, — говорю, — Митрофанович». — «Да мне, — говорит, — жалко, что ли?.. Ищи!» Дак я, веришь, весь склад ему перерыла, вязы неделю потом болели, — нету!..

Он затылок поскреб:

— Жаль...

— Неужели и правда ел бы?

Он отчетливо припомнил и вкус поджаристой корочки и распаренного на подсолнечном масле, чуть сыроватого еще теста, и горячий, слегка приторный запах кукурузных оладьев.

— Свеженькие, — сказал он, — чтобы хрустели...

И даже сглотнул.

— Да это тебе только кажется, что ел бы, — уверила его мать. — Это когда нечего было, так оно в охотку и шло, а сейчас бы — и дурно не нужны... Это ты просто забыл.

Он сказал:

— Так, может, тебе какое лекарство достать?

— Да какое ж? Оно, как наш врач говорит: «От старости, дорогие женщины, лекарства никто еще не придумал».

Дранишников согласился:

— Да, что верно, то верно...

Кукурузу уже всю они почистили. Мать, отряхивая подол, привстала; и тогда он поднялся тоже, и, расправляя затекшие плечи и потягиваясь, пошел по двору, и остановился среди облетающего сада, и надолго замер, тихонько покуривая и как будто прислушиваясь к благостной тишине вокруг.

Где-то в картофельной ботве еле слышно скрипел сверчок.

«Ишь специалист, — подумал Дранишников, усмехнувшись. — Ночью холодно, так он днем приспособился...»

И увидел голубя в вышине, и задрал голову, глядя вверх.

Потом он услышал за спиною шаги и обернулся.

— Ты вот, где рушка спросил, а я снова вспомнила, — сказала, остановившись около него, мать. — Надо б тебе к деду Дранишникову сходить. А то помрет, не ровен час, так и не повидашь...

— Как он там? — спросил Дранишников.

— Совсем плохой стал. То работал же это все, а то уже и работу бросил, сидит, дни считает...

— Так когда это было — работал?.. Ему-то, наверное... Сколько ему сейчас? Небось под девяносто?

— Да девяносто еще несколько лет назад ему было.

— А ты говоришь — работал!

— Да он с год всего как и не работает, — сказала мать, как будто этим гордясь. — А то все и привезут же его в кузницу, и домой потом отвезут — председатель всегда линейку давал. А там же у него, в кузне, эта раскладушка стояла. Поработает да приляжет. Полежит, полежит, да и опять...

— Ты смотри, — удивился Дранишников, — боевой дед!..

Он попытался представить родного своего по отцу деда, но хорошенько припомнить его не смог, как ни старался; тот виделся ему почему-то только таким, каким он был на старинной фотографии — плотный, с пристальными глазами мужчина в высоких сапогах и суконной куртке, бородастый и крутолобый. Ноги чуть-чуть расставлены, и чуть расставлены локти, большие руки лежат выше колен, а развернутые плечи приподняты, и слегка приподнята голова в высокой и косматой папахе.

— Это ж он рушку-то нам и сделал, — начала рассказывать мать, вдруг пригорюнившись. — После немцев уже, как бумагу за отца получили да переплакали, вот он как-то вечером приходит, и что-то плоское у него в крапивном мешке. «На, — говорит, — Нюра, сделал тебе, а то тяжело тебе будет, дак хоть это просить ни у кого не пойдешь, наоборот, у тебя просить будут». И правда, чего, бывало, не займешь, чего не попросишь, а за

рушкой вся улица к нам.

— Смотри ты, а я и не знал, что это дедова.

— Да просто забыл.

— Наверно, забыл.

— Его, а то чья ж? Он-то старик добрый, всегда выручал. А в институт ты разве пошел бы, если б не он?..

Ты тогда собираться стал, а я плачу по ночам, криком кричу. «За какие ж, — думаю, — деньги поедет?» Уже что было и чего не было — все продали! А тут он опять. Гляжу идет. Деньги ж тогда большие были, крупные, дак он ут-такую пачку вынимает. «На, — говорит, — невестка!.. Митя хотел, чтоб Сергей выучился, дак пусть ото мальчишонка едет. Я двух овечек сегодня продал, на, бери». От ты и поехал!.. С год прошло, совсем прожились, хоть по миру иди — шутка ли!.. Я — к нему. Стучусь в хату, он на порог выходит, а я — в ноги. «Папаша, — кричу, — да не оставляйте ж нас!» А тут эта змея Пилипенчиха... «Что, — кричит, — дура, думаешь, он моих детей кормить бросит да твоих начнет?..» И прямо кидается. А он так загородил меня от нее да и говорит: «Приходи ко мне, детка, в кузню, а ее не слушай. Недаром же, — говорит, — пословица есть: «Где черт сам не поспеет, туда бабу пошлет...» От я, бывало, приду потом, а он — он же сильный был! — дровиняку какую-то приподнимет в углу, а под ней коробок железный. Специально для меня стал прятать, к нему люди всегда ж с работой шли — коваль, каких поискать!.. Из коробки все выгребет, и мне пхает в карман. А я реву!.. Один раз пришла, а стыдно, дак я уже что. «Папаша, — говорю, — я все записую, сколько вы мне даете, да, может, еще отдадим, когда, чи я, чи Сережа...» А он заинтересовался. «Да? — говорит. — Ишь ты!.. А ну-ка, принеси, я со своей бумажкой сличу, чи сходится?» Я плачу, несую. Подаю ему, а сама думаю: «Да вроде ж писала все правильно, старалась, может, только по неграмотности что не так, какая с меня писака?» А он взял от так — и не глянул — и в горно! Да как подкачет еще! Дак ее хмылом-то прямо враз, эту бумажку! А он рассердился и говорит: «Грех тебе, дочка, считать!.. И отдавать ничего не надо. Ты не мне, ты, может, кому другому отдашь, у кого нужда будет, а у меня и так, слава богу!..»

Сколько раз слышал Дранишников эту историю и раньше, но никогда она не брала за душу, как сейчас.

«Вот оно как! — подумал он, снова прикуривая и за теми морщинами, которые собрал вроде от дыма, пряча от матери другие. — Вот оно какое дело; наверно, приходит к каждому человеку такое время, когда многие вещи начинает он понимать совсем по-другому, чем раньше. Или это слабеет сердце?»

2

Пилипенчиха сперва не узнала его, но, приглядевшись, хлопнула перед грудью ладонями:

— Сереженька, да чи ты?.. Дедушку проведать пришел. От молодец, что не забыл нас да роднися — так и надо, а как же!..

Дранишников не удивился бы, если бы в голосе у нее услышал фальшь, и, подходя ко двору, он приготовил себя к этому, но теперь не ощутил ни ее притворства, ни собственной от этого неловкости, которую ему пришлось бы скрывать. С подступившим внезапно жадным интересом глядел он на дом своего деда, а память уже услужливо подсказывала ему, что ничего здесь не изменилось, почти все осталось таким, каким помнилось ему еще с давних пор, и он даже слегка удивился тому, что дом этот и на самом деле был и высок и просторен. Материн домишко тоже казался Дранишникову раньше очень большим, но потом, в один из своих приездов, он рассмеялся, когда, не приподнимаясь на цыпочки, ладонью подпер потолок — они всегда потом становятся мельче, масштабы нашего деревенского детства. Однако этот вопреки всему и сейчас был громадный домина, и спереди высокий фундамент приподнимал его вверх как будто чуть больше, чем позади, отчего весь он казался похожим на горделиво заломленную папаху.

— Это мы давно уже вниз, а ты все вверх, все вверх тянесся, — говорила Пилипенчиха, закрывая за Дранишниковым калитку, обходя его и как будто откровенно любуясь им. — Ты глянь, какой ты здоровущий да сбитый — ну вылитый дед в молодые годы! — И всхлипнула вдруг, и дебелое лицо ее разом сморщилось. — А он уже... ох, плохой!..

Дранишников невольно вздохнул:

— Да мне мама говорила...

А она с той же неожиданной быстротой, с которой только что всхлипнула, теперь вдруг простодушно улыбнулась во все лицо, заговорила нарочито грубо:

— Ай, да ну его от-то к черту, нас слушать! Все нам не так, все на старости сопим да охаем... Другой раз подумаешь: может, оно и к лучшему, чем вот так, как мы, в конце века-то жалковать?

Было ей, наверно, уж далеко за семьдесят, но так легко и прямо она держалась, так живо разговаривала да жестикулировала с такой уверенной силой, что Дранишников невольно, поддаваясь ее обаянию, подумал: «А ведь, пожалуй, не ошибся дед, когда после смерти первой жены вторую себе выбирал» — Пилипенчиха до сих пор была похожа на рано поседевшую девку, мосластую и краснощекую.

У порога они остановились под просторным навесом из винограда. Его, видно, только что оборвали, и среди обломанных листьев на растрескавшейся земле еще мокрела расплюснутая ногами иссиня-черная кожа, еще лежали и здесь и там распавшиеся от удара оземь кисти, и в воздухе чувствовался сладковатый дух размятых ягод и сухой запах потревоженной пыли.

— Лена! — крикнула Пилипенчиха, оборачиваясь к двери большого сарая, и в ней почти сейчас же

показалась склоненная набок голова с тяжелым пучком волос: видно, женщина изогнулась, не отрываясь от какой-то работы. — Проводи Сережу до дедушки, а я полезу в погреб, налью вина.

— Может, я в погреб?

— Да ты ж не знаешь, где там хорошее, а где совсем молодое.

Женщина улыбнулась Дранишникову летучей улыбкой:

— Обождите, я мигом...

Дранишников остался один.

Он все неволью принюхивался, уловив, кроме виноградного духа, в осеннем воздухе еще какой-то очень знакомый ему запах, солоноватый и терпкий, припомнил, что так припахивает рыбий жир, и удивился, откуда ему взялся здесь, посреди двора, и вдруг, обернувшись, увидел растянутую между столбов большую низкую вяленой рыбы.

Рыба висела крупная, и распластана она была по хребту, так что ему хорошо были видны и гнутые изжелта-белые ее горбы, как будто тронутые каплями янтаря, и сохлые уже, серые с черным отливом бока в серебристой чешуе.

Он сам был отчаянный рыбак, но в последние годы складывалось так, что ему о рыбалке некогда было и думать, зато вид вяленой рыбы и особый ее запах так и остались для него как бы знаком вольной жизни, простой и счастливой, и сейчас ему показалось тоже, что солоноватый и терпкий этот запах, странно перемешанный солнцем с тонким ароматом винограда, как бы соединял в себе и изысканную щедрость осени, и вольную ее простоту.

Дранишников, слегка засопев, еще раз втянул ноздрями воздух, принюхиваясь, и ему вдруг стало хорошо от какой-то уверенности, с которой будто бы он стоял сейчас на земле... И вдруг ему представилось, как он сидит у постели своего умирающего деда, и видит и почти неживую бледность и немощь, и слышит прерывистый хрип, и ощущает несвежий дух старческого тела. Ему представилось это, и он вздохнул длинно и прерывисто, как ребенок.

Из сарая вышла женщина, они поздоровались, и он скорее догадался, чем вспомнил, что это младшая дедова дочка, которую тот нажил уже с Пилипенчихой.

— Пойдемте, — сказала она, снова улыбаясь ему не то чтобы торопливой, но тут же исчезающей, как будто мимолетной, улыбкой, открыла калитку в сад и пошла первая, потом обернулась на миг, словно приглашая его еще раз, и Дранишников снова увидел быструю ее белозубую улыбку и карие, темного отлива глаза на смуглом лице.

Пожалуй, она была красива как раз той южной красотой, которая припоминалась ему всегда, когда приходилось то ли в шутку, а то ли всерьез, вздыхая, рассказывать иногда, какие на Кубани девчата, и теперь он не без мужского любопытства, почти всегда практического, окинул взглядом всю ее ладную фигуру, замечая и то, как выбиваются у нее из-под прически и выются по смуглой шее черные колечки волос, и то, как чуть ниже подмышек, по бокам туго полнеет платье, и как покачиваются крепкие, может быть, чуть полноватые бедра.

«Наверно, слегка за тридцать, — подумал Дранишников. — Конечно, лет на шесть-семь моложе. Выходит, она мне тетя... А ничего тетя!..»

— Он здесь, в саду, все сидит, — сказала она, оборачиваясь, и пошла теперь как-то боком; по напряженной спине ее Дранишников понял, что она, пожалуй, уже раскаивается, что первая пошла по узкой тропинке, как будто предоставив ему возможность себя разглядывать.

— А вы один приехали?

Он сказал, почему-то торопясь:

— Да, один... У меня ведь не отпуск — так, не го командировка, не то... Заскочил на несколько дней.

И тут он увидел деда.

Дед сидел за непокрытым пустым столом под яблоней, чуть набок склонив голову, как будто задумавшись, крупные его, исковерканные работой руки замерли на столешнице вниз ладонями, и рядом с ними лежал большой желтый лист.

Теперь Лена остановилась, пропуская вперед Дранишникова, сказала громко, словно глухому:

— Папаша, это Сережа пришел, ваш внук...

Дранишников еще не успел поздороваться, как дед приподнял голову и медленно, но с явной насмешкой сказал:

— Да глаза пока есть...

— Присаживайтесь, — сказала Лена, указывая Дранишникову на табурет, стоявший с другой стороны стола.

И дед медленно повел головой, тоже приглашая его:

— Садись.

Дранишников сел, и за спиной у него почти тут же появилась Пилипенчиха, опустила на середину стола маленький пузатый графин с вином, ловко перевернула рядом надетые на два пальца стаканы с каплями на стенках, видно, только что мытые, а Лена уже взяла у нее из другой руки эмалированную чашку с виноградом, тоже определила ее на середину, потом слегка подтолкнула ближе к Дранишникову:

— Угощайтесь, пожалуйста...

Все это время дед сидел, как-то странно перебирая по краю стола крупными своими, слегка скрюченными пальцами, не спеша поворачивал голову, следя за каждым Пилипенчихиным жестом, взгляд его был остер и

цепок, и как только она отняла руки от стола, он подвигал челюстями, прежде чем открыть рот, и сказал глухо, но твердо:

— Все, что ль?.. Ну-ну, нечего вам тут... ступайте!..

Медленно приподнял руку и пальцами слегка шевельнул, отсылая женщин.

И этот неспешный, но властный жест почему-то понравился Дранишникову.

Дед молча начал разливать, рука его, с неловко зажатым в пальцах горлышком графина, легонько тряслась, и розовая струйка то подрагивала тоже, то прерывалась совсем, но дед снова упрямо клонил графин, и вино опять тихонько лилось и булькало.

Казалось, он весь ушел в это нелегкое для него дело, не замечая больше ничего вокруг, и, пользуясь моментом, Дранишников смотрел на деда в упор, с любопытством, пытаясь найти у него на лице приметы глубокого его возраста. Мельком он вдруг подумал о том, что давно уже не видел по-настоящему старого человека — работали вокруг него то молодые ребята, то, как он сам, средних лет; ими он руководил, наказывал их или поощрял, с ними он и выпивал, и праздники праздновал, и хоронил, если случалась авария, тоже совсем молодых или таких, как он сам, только в главке теперь помирали в основном от инфаркта — люди постарше, но тоже такие, каким до пенсии еще будь здоров; у монтажников чуть за сорок — уже старик и тридцатилетнего здоровяка величают дядей Федей, а то и уважительно, но и не без усмешки: папаша.

А тут сидел напротив него очень старый человек, и был он родной его дед, и Дранишникову, давно считавшему себя и как бы сиротой, и вместе как бы родоначальником — у него подрастали двое мальчишек, — было это непривычно и странно.

Он всматривался в матовое, будто налитое воском, лицо деда, что-то в нем казалось ему неестественным, и сначала он подумал, это заострившийся хрящеватый нос и, словно тоже начавшие костенеть, большие уши, но потом, приглядевшись, понял, что необычными были у старика и усы, и брови, и короткий между большими зальсынами ежик. Казалось, все это трудно назвать седым, то был какой-то странный, словно замшелый оттенок серого цвета, волосы и здесь и там росли одинаково толстые и прямые, но и одинаково редкие, такие, что их, пожалуй, можно было пересчитать — и в клинышке на крутом лбу, и в набрякших надбровных дугах, и над желтоватой и как будто бы чуть припухлой верхней губой. «Может, от кузницы, — подумал Дранишников, — от раскаленного металла, от вечного его жара?»

Дед кого-то напоминал ему, матовым лицом своим был на кого-то очень знакомого похож, только Дранишников никак не мог вспомнить на кого.

Теперь он видел, что дед очень стар, но одряхлеть он еще не успел, и в том, как упрямо держал он голову, следя за графином, как, поставив его на стол, расправил мосластые плечи, еще чувствовалась былая сила.

На старике была белая исподняя рубаха, совсем свежая, с блестящими от утюга на грубых рубцах, а поверх нее старая, почти без шерсти безрукавка из овчины; и то, что рубаха эта без ворота открывала грудь, и что полы колушка свободно висели — все это тоже придавало ему вид бодрый и, несмотря на дрожание руки, как будто даже лихой, и Дранишников все смотрел на него, готовый улыбнуться деду, как только тот на него посмотрит.

Он повеселел теперь, потихоньку радуясь и тому, что старик его, против ожидания, еще будь здоров, крепкий еще старик, вон как держится, и тому еще, что ему, Дранишникову, не придется смотреть на немощь, да вздыхать, да говорить всякие жалостные слова — вон, слава богу, чего их и говорить!

Сверху упал, кружась, и лег на виноград большой желтый лист.

Дед посмотрел в сторону дома, как будто еще провожая глазами женщин.

— Не люблю от-то, когда в стакан ко мне заглядывают...

«Ишь ты, — подумал Дранишников, — а и в самом деле боевой у меня дед, я тебе дам, дед с характером!..»

Дед снова подвигал челюстями, как будто прожевал что-то, прежде чем начать говорить:

— Ну давай, пока их нету. Ты молодец! — И качнул головой, глядя на Дранишникова с легкой усмешкой. — Я думал, забыл меня!

Дранишников улыбнулся, поднимая стакан:

— Да вроде нет...

Все это время, пока смотрел на деда, он будто настраивался на благодарный и радостный разговор, и настроился, ему хорошо было сидеть напротив старика под облетающей яблоней, и все его теперь трогало: и эта насмешливая улыбка, и по-дружески ворчливый голос, — и все казалось ему значительным и полным какого-то понятного только им двоим особого смысла.

И, принимая тон деда, как бы давая ему еще повод для насмешки, и признавая и глубокое старшинство его, и покровительство над собою, Дранишников сказал весело:

— Я шел сейчас по саду и, знаете, что вспомнил? Как я с пацанами решил груши у вас оборвать. Только пазуху начал набивать, а тут вы. И все убежали, а я на дереве остался...

Дед, не торопясь, отпил два-три глотка и пятерней вытер усы.

— О-хо! — сказал. — А кто не грешен?.. — И опять посмотрел на Дранишникова насмешливо. — А Замурины тебя в саду в своем никогда не ловили?

Дранишников постарался припомнить.

— А кто это?.. Где живут?

Дед снова пожевал:

— Ты-ка выпей...

Дранишников тоже не стал много пить, только попробовал. Вино было старое и немножко горчило, отдавало бочкой, но за этим привкусом давно намочшего дуба ощущалось жаркое солнце пахучей «изабеллы», самого неприхотливого и по-южному терпкого винограда.

— Хорошее вино...

Дед снова усмехнулся:

— Плохого не держу...

— Очень хорошее вино.

— А меня Замурин поймал один раз, — сказал дед, качнув головой. — Да хитро как поймал. — И посмотрел на Дранишникова, чуть к нему наклонясь. — Ты рази не помнишь его?.. Мельницу он держал водяную...

И Дранишников насторожился:

— Мельницу?

А дед задвигал челюстями чаще обычного, и глаза у него странно заблестели.

— Один раз я только залез к нему, он идет... Я обратно через плетень. А он сорвал две груши — большие такие! — и тоже перелазит. «На, — кричит, — казачок!..» И от так положил зли ног. Я только наклонился взять, а он хуражку с меня — цоп!..

Замолчал, глядя выжидающе, и опять взгляд его почудился Дранишникову странным: казалось, деда ничуть не смущало, что все это было очень давно, — он и сам сейчас переживал и от собеседника своего требовал глазами сочувствия, так что тот, не выдержав, закивал: мол, надо ж такому случиться!..

А деду словно того и хотелось, чтобы заперевивал и Дранишников. Теперь он посмотрел на него с хитрецей, и голос его зазвучал успокаивающе:

— Ну я сначала вроде отстал от его. От он идет, хуражкой моей помахивает, а тут я на его, как шульпек, налетел, как ястребок, цоп тоже! — и нету...

Дранишников опять невольно закивал, как будто удивляясь. А дед вздохнул:

— Н-ну, то давно дело было... Когда, считай?

И Дранишников обрадовался:

— Да, это когда... Лет восемьдесят... Больше!

— Это давно, — подтвердил дед. Молодцеватым, несмотря на его неспешность, жестом приставил согнутую ладонь к боку и над мосластым плечом горделиво приподнял подбородок. — А ты вчерась со мной был... или на свадьбе? А-а, нет, тебя не было, и правда, за балалайкой один я ходил. А когда играл я, ты слышал? Мы сами, понимаешь... Что, если он атаман? Я сам себе атаман — рази нет?

Дранишников уже все понял.

Теперь он смотрел на деда жалеючи, но тот, наклонившись, всматривался в лицо Дранишникова, как будто все ожидал ответа, и Дранишников сказал погрузнев:

— Д-да... это да.

А дед снова посмотрел на него очень цепко.

— Хуть понимаешь, что я толкую?..

Как будто подозревал, о чем думает Дранишников. И тот быстренько сказал:

— Понимаю... Примерно.

— Да ты по глазам толковый хлопец, — проговорил дед, снова всматриваясь в лицо ему очень пристально. — Ты всегда приходи, когда надо... Хуть поговорим маленько. Придешь?

— Ага, приду, — пообещал Дранишников искренне и с внезапной для себя благодарностью в голосе. — За это спасибо...

Дед все не отрывал от него взгляда.

— Бывает, что денег у меня и нету... Да поговорить — оно другой раз дороже денег. Да самое главное я теперь сказал тебе; главно, чтоб ты всегда был сам себе атаман... Тогда тебе никакой черт не страшный. Рази нет?..

Дранишников сказал заинтересованно:

— Да, в общем-то, так...

Дед снова неторопливо заговорил, и хоть смотрел он опять на Дранишникова, в глазах у него не было той настойчивости, с которой он только что заставлял переживать за себя, и голос его звучал как будто задумчиво:

— Если гнесся да ломисся, потом тебе и непонятно, за что достается... Ты вроде и так и сяк, а все одно. Так и проходишь всю жизнь, как тот кисляй, так и не поймешь. А если ты атаман, то рази не ясно?.. А за то и достается, что ты сам себе атаман и за все ответчик! За то и достается, что не гнесся! И знать будешь, и голову будешь держать от так!..

Он снова приподнял над плечом подбородок, но на лице его теперь не было значительности, было оно печальным...

И по дороге домой, и дома Дранишников все возвращался к странному своему разговору с дедом, все припоминал из него ту или иную подробность, и его одолевали самые противоречивые чувства. То все ему

становилось безжалостно ясным, то вдруг начинало казаться, что есть в этом разговоре, как и во всем поведении деда, смутная загадка, есть какая-то неопределенная тайна, которую, может быть, и удалось бы разгадать, сумеи он хорошенько понять, в чем она.

И ему то думалось, что навестить старика он безнадежно опоздал на несколько лет. А то представлялось, что все-таки он успел, что свидание это могло быть тем единственным, ради чего, сам этого не сознавая, рвался он в родную свою станицу. И пусть ему не так просто было дать себе отчет во всем сразу — временами он был яростно убежден, что не реши он в этот последний день проведать деда, и жизнь его впереди навсегда стала бы намного бедней.

И он все думал и думал, стараясь проникнуть в то, что казалось ему загадкой... Что-то вдруг виделось ему неожиданно простым и понятным, но в другом он как будто не улавливал смысла, и тогда старый Дранишников с почти столетней своей жизнью казался ему как будто особым миром — таким, который еще живет, но связь с которым уже навсегда оборвалась, нету ее и никогда больше не будет.

У матери он спросил:

— А так он... ничего?.. Не обидит, не пошумит?.. Ничего... такого не делает?

Мать удивилась:

— Боже сохрани! Спокойный, ты же видал, и важный вроде такой. А что у вежливый, дак и еще больше стал... Только раньше был такой выдержанный, а теперь все это вроде свое доказывает, да верха берет, да чем-то гордится... все гордится!

— А с балалайкой? — продолжал Дранишников с любопытством. — Было что-нибудь? Правда?

— А это правда, еще и мамаша, покойница, рассказывала. Еще ж парубковал он тогда, молодой совсем был. А у атаманова сына свадьба. А они же и друзья с женихом, и с одной улицы, а что вот казаки нечистые, что мать-то у него мужичка... От и не позвали его. А он тогда к себе в хату да за балалайку. Да как по ней ударит, да как запоет — а он такой же придатный был да голос — на всю станицу... Оно все и со свадьбы на улицу, да к нему: «Да, заиграй еще, Ваня!..» А его долго не надо просить. От жених с невестой почти одни да и остались... Тогда ж это атаман да и выходит, и сам его на свадьбу зовет, а он, как его вроде и нету, атамана. Пляшет, да поет, да смеется, девки да молодежь вокруг него — роет...

А Дранишникову почему-то припомнилась вдруг поздняя осень шестьдесят третьего, когда начинался разворот на первой домне Запсиба и у монтажников не хватало людей. До этого его заставили оторвать от себя пять бригад, отправить на стройку цементного завода — там у соседей трещали сроки. Потом эти бригады, не спросив его, соседнему управлению монтажников отдали насовсем, а его склонять принялись на каждом рапорте: Дранишников не успел, Дранишников не обеспечил...

Он скрепя сердце помалкивал, искал выхода, потом в Сибметаллургстрой сам пришел с предложением агитаторами послать своих людей в воинские части, звать на стройку. Ему дали «добро», и люди его поехали, говоруну поехали будь здоров, такие хлопцы, что за ними — на край света; и он только руки потирал, когда получал от них телеграммы, а потом вот-вот уже на стройку должен был прийти эшелон с демобилизованными солдатами, а на совещании в Сибметаллургстрое ему отказали вдруг наотрез: ничего, мол, Дранишников, перебежься — у строителей положение еще хуже.

Узнай он об этом хоть чуточку раньше — успел бы что-либо придумать, связался бы со своим управляющим, с главком бы, наконец, но управляющий трестом как раз в это время был в Москве, отчитывался на коллегии и, конечно, вексель давал министру: сделаем! А как ты сделаешь, если на этих солдат они и рассчитывали?

Он вызвал заместителя своего Конькова, велел подумать, как вырвать для управления хотя бы человек пятьдесят, но Коньков только руками разводил — не заместитель, а тухля, достался еще от Нечипоренки, и он послал за бригадиром Бастрьгиным, тот горлопан был и отчаюга; они посидели вдвоем, все продумали, и на следующий день, когда только что сошедшие с поезда солдаты, еще с вещевыми мешками да новенькими чемоданами, сидели в громадном зале «Комсомольца», ждали, пока перед ними выступит будущее их строительное начальство, Бастрьгин вошел в зал и мимо этого самого начальства, которое все уточняло, кому сколько народу достанется, прошел на сцену, сгреб со стола микрофон и голосом заправского старшины гаркнул:

— Монтажники — встать!.. За мной — на выход!

И сто семнадцать хлопцев, гвардейцы, красавцы, а не ребята, встали, как один, и, стуча сапогами, заторопились из зала, а на улице ждали автобусы, и начальники участков да прорабы подсаживали в них ребят и подталкивали, и машины тут же ушли, скрылись, так что райкомовский «газик», помчавшийся вслед со строжайшим приказом вернуть всех немедленно, не смог их разыскать... В управлении в этот день разбились телефоны, но Дранишников не дурак, туда солдат не повез, отправил их на дальний участок, там у него сидели в этот день и бухгалтерия, и отдел кадров, оформили всех немедленно, и спецовку выдали на руки, и в зубы — аванс, и повезли в общежитие, где уже накрывали столы.

Тут Дранишников сказал короткую речь и поднял граненый стакан с водкой, но пить не стал, у него в кармане уже лежала телефонограмма, ему надо было срочно в райком, на «ковер», и когда тут девчата-монтажницы кричали: «Ой, куда же ты, Ванек, ой, куда ты?!», там шло экстренное бюро, и маленький, с дергающейся щекой секретарь спрашивал вкрадчивым голосом, существуют ли для него, Дранишникова, партийные нормы...

Ему дали «строгий» с занесением в учетную карточку, управляющему трестом было предложено

освободить его от работы, и неизвестно еще, чем бы все это закончилось, если бы как раз в эти дни в Новокузнецк не прилетел Сандомирский, бывший тогда — как он теперь — заместителем начальника главка — по пусковым.

Почему это припомнилось Дранишникову сейчас?

Он сам удивлялся настойчивости, с которой пришло к нему это воспоминание, и невольно начинало казаться, что между тем, о чем рассказывала его мать, и этой историей есть какая-то невидимая на первый взгляд связь — он ощущал ее, как ощущал теперь в себе множество и свойств природы, и черточек, скрытых для него раньше и только теперь открывшихся и как будто роднивших его со старым Дранишниковым.

Раньше, ощущая в себе и порывистую резкость, и прямоту, и нетерпимость ко всякой неправде, он, послевоенная безотцовщина, всегда относил это исключительно за счет самовоспитания и тайком всегда этим гордился, но, странное дело, теперь, когда ему открылся источник и энергии его, и твердости, и прямоты и когда ему, понявшему это, у самого себя как будто пришлось что-то отобрать, он не только не огорчился, но почему-то даже обрадовался, и радость эта была от ощущения в себе корня, от ощущения непрерывности жизни...

Он снова подумал о том, что желтоватым своим и местами как будто чуть припухшим лицом дед похож на кого-то очень знакомого, подумал об этом раз и другой и вдруг понял, что знакомый этот — он сам, Дранишников, это у него было такого цвета лицо, тоже как будто окостеневшие были уши, когда в Новокузнецке он вышел из больницы после аварии на рельсобалке. И верно, это он таким был, теперь он отчетливо вспомнил себя в пижаме, подолгу глядящим в зеркало — он высох тогда, пока лежал, и, как дед сейчас, был — одни мослы.

Об аварии этой Дранишников не любил вспоминать. Самого его тогда ударило обрывком троса, и, падая, он чудом зацепился за металлическую скобу на ферме, висел, теряя сознание (а внизу, метрах в сорока, в котловане распределителя — зубья арматуры), и дергался, и кричал в голос, словно уже сорвавшись, и всякий раз, когда вспоминал об этом, у него замирало внутри, приходил страх, приходила боязнь высоты, и, чтобы доказать себе, что высоты он, как и прежде, все-таки не боится, он потом обязательно проходил там, куда в его возрасте можно было бы не соваться — удивительно, это ему почему-то было очень нужно, когда никто не видит, одному пройти по такой балке, по которой на спор проходили иной раз только эти щенки, зеленые мальчишки из ремеслухи. И для него это было как подзарядка, после он ловил себя на том, что говорит чуть громче обычного и чуть насмешливей, и ходит прямой, и голову держит выше.

О самой аварии вспоминать он не любил, но с удовольствием зато припоминал то время, когда он стал отходить после травмы, когда заново он начал переживать красоту и значительность мира вокруг, и многое переоценивать, и, может быть, впервые начал всерьез задумываться о жизни.

Он припоминал себя в дни после больницы, припоминал, какой он был худерба с чуть одутловатым, словно от голода, лицом, на котором выделялись, будто затвердевшие, нос и уши, — а ведь и в самом деле, сходство его с дедом было тогда особенно заметно, и он понял это только теперь.

До этого он всегда был здоров, счастлив с женщинами и все ему удавалось, а потому у него как бы и не было особых причин задумываться, и только в те дни, когда он будто впервые понял, какое это счастье — с непокрытой головой сидеть на скамеечке в больничном саду и смотреть, как на мокром асфальте дерутся черные от копоти, давно привыкшие в этом городе устраивать себе гнезда где-нибудь под гремящими пролетами цехов воробьи, — только тогда он вдруг стал спрашивать себя: зачем он живет?.. Что им движет?.. Так ли все беспорочно и так ли все кругом просто и бесспорно, как говорили ему об этом и в школе, и в институте?

Дранишников, никогда раньше не любивший оглядываться, очень редко о чем-либо сожалел, но сейчас вдруг почувствовал сосущую грусть оттого, что, приезжая домой всегда ненадолго, никогда не навещал своего деда, никогда с ним не разговаривал.

Скажи кому, будто Дранишникову надо, чтобы о нем думали, чтобы за него болели или гордились им, скажи об этом кому — не поверят, а только ему это нужно, в самом деле нужно, чтобы сопровождал его по жизни не только бесконечный страх матери за его здоровье, не только наивные ее заботы о его семейном благополучии.

Теперь Дранишников был уверен, что даже и его профессия механомонтажника как будто брала начало где-то в кузнечном дедовом ремесле, он теперь так считал — вот как оборачивалось дело.

Он все бродил по двору, покуривая, стоял, притихнув, то здесь, то там, все раздумывая, подходил потом к матери и, о чем-либо спросив ее, снова принимался шагать за домом или присаживался на большой камень из ракушечника, который лежал посреди сада, — говорили, у старых хозяев на этом камне одним углом стоял раньше амбар.

Только что он спросил у матери:

— Ну а с атаманом они как... после этой истории, не знаешь?

И мать удивилась:

— Да как?.. Мстительный был, мамаша, покойница, говорила, не дай господь... Так все и прискипался к нему потом, пока дед его не убил.

— Атамана?

— А то кого?

— Дед?

И мать снова как будто удивилась:

— Ну а то кто? — И спокойным, ко всяким рассказам на своем веку привыкшим голосом начала

медленно: — Это уже в восемнадцатом... Белые вошли — и к нему первым делом, коней ковать, разбили от-то по горам. А еще перед этим они мужиков пороли на площади, а деда и вроде не тронули, но сам атаман плеткой по лицу его стеганул. Он теперь: «Не буду ковать». А тот: «Будешь!» И опять у них на противность пошло. А белые с собой пленных красноармейцев привели, за станицей какой-то отряд поймали. Тогда атаман же и говорит: «Ну что ж, Иван, придется мне опять тебя попросить. Вот, — говорит, — интересно: чегой-то все я тебя прошу, а ты меня хуть бы раз!..» И повели его с красноармейцами на ярмарочную площадь, за маслобойней. Поставили всех от так один от одного в два ряда, а дед — последний... От атамана шашку вынул: «Смотри, — кричит, — Иван, как я просить тебя буду!..» И пошел же от-то красноармейцев рубать, как лозу на скачках. Они, бедные, все молодые были ребята, мамаша, покойница, рассказывала. Валются на обе стороны, не успевают и крикнуть. А последний же дед. Только атаман к нему, да шашкой уже намахнулся, а он как крикнет на коня: «Турка!..» А конь у атамана был — черкесы подарили, — такой конь, что никто и не подходит, это ж один дед и мог с ним совладать, когда ковал, дак вся станица сбегалась посмотреть. Только деда и признавал. Вот он как крикнет на него: «Турка!..» А тот над ним дыбки, а дед атамана за ногу, да с коня, тот шашку выронил, да за наган, а дед его кулаком в темя, а у него ж кулак, не дай бог! Мамаша, покойница, рассказывала: был пьяный да посуду побил, а она взяла да купила тогда железные чашки. А он снова пришел с ярмарки выпивши да говорит: «А, бодай тебя черти, думаешь, железные, дак и все?..» Перевернет чашку, да по дну кулаком. Так и побил все.

— А как же он живой-то остался? — спросил Дранишников.

— А, да как?.. Он же на этого Турку — да и пошел! Два раза ранили, а догнать все одно не догнали...

Удивительным это казалось Дранишникову: встать, выйти со двора, и через пять минут он будет уже за маслозаводом, на старой ярмарочной площади, где стоял когда-то ожидавший смерти его дед, и между двумя рядами мальчишат в красноармейском с окровавленной шашкой неся на сумасшедшем коне озверевший казак...

Что он, дед, уже попрощался тогда с жизнью?.. Почему он не передумал, не согласился ковать?..

К вечеру стало прохладно, в синем воздухе тонко запахло горьким дымком — где-то сжигали бурьян.

Камень из ракушечника стал набирать холодка, и Дранишников вдруг почувствовал, что озяб, но уходить из сада ему не хотелось; и тогда он пошел к сараю, снял со стены и накинул себе на плечи старую телогрейку, потом поискал еще что-нибудь из тряпья, нашел сшитый из разноцветных лоскутов тонкий ватник, бросил его на камень в саду и снова сел, сложив руки на груди и опустив голову.

Интересно, подумал он, а нынешнее состояние деда — это что: напасть, черные провалы, и пустота, и призрачная белизна, как это бывает при беспамятстве? Или мир, в котором он живет теперь, — совсем другой, безоблачный и, как зеленые долины, покойный; и он сам создал его, этот мир, взяв туда с собой только то, что может утешить, чем можно гордиться, и оставив за чертой и горечь прожитых лет, и поражения свои, и неудачи?

Разве и мы, подумал он, сорокалетние, уже не создаем — всяк себе — такой мир, в котором жились бы нам удобно и достойно? И какие-то черты в самих себе — каждый в отдельности, — и какие-то явления вокруг нас — сообща — разве мы не называем теми или иными именами лишь потому, что считаем нужным поддерживать странную игру в собственную значительность или в общую нашу непогрешимость? И разве мы не перестаем постепенно замечать то, что нам меньше всего хотелось бы замечать?.. Да мы и помним большей частью лишь то, что нам хочется помнить, и пытаемся навсегда забыть то, чего всю жизнь надо в себе стыдиться, и говорим только об успехах своих и удачах. А с какой настойчивостью выпроваживаем мы из своей памяти друзей, перед которыми виноваты?.. Или женщин, которых мы предали?..

А деду, слава богу, за девяносто, и жились ему труднее, чем нам, и жились, конечно, далеко не всегда так, как ему хотелось бы, и, может быть, только теперь, в мире, который он сам для себя незаметно создал, зло всегда бывает наказанным, и всегда торжествует справедливость, и это мир, в котором он всегда — победитель...

И снова проживший долгую жизнь его дед увиделся Дранишникову как будто добровольно ушедшим со связи старым радистом или забывшимся в одиночестве усталым пилотом.

И Дранишников уже в который раз сегодня спросил себя: успел он или все-таки опоздал?..

И тут же он вдруг подумал о старой своей матери, ему вспомнилось, как заплакала она, как понесла к глазам край черного платка, когда очередной раз уезжал он с Чекрыгиным, оставляя ее одну.

Среди ночи Дранишников вышел во двор и остановился, притих.

Над садами еще держался прогорклый запах осенних костров, но он уже был разбавлен зябким морозцем.

За серыми деревьями синеватыми тенями прятался туман. Стылое небо светилось бледным, призрачным светом.

Дранишникову показалось вдруг, что через дым и туман скачет к нему по спящим садам неумолимый всадник на сумасшедшем коне.

Но Дранишников только слегка повел головой, и всадник безмолвно осадил коня и повернул послушно назад.

Станица спала.

Он услышал вверху тоненький переклик и поднял голову.

Где-то очень высоко летели гуси, и тихие их, словно холодные звезды, под которыми они летели, слабо мерцающие голоса звучали жалобно и печально...

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ

1

Сидела чинно, как на смотринах, а потом легонько мотнула головой и снова рассмеялась без единого звука, понесла к глазам ладошку, чтобы прикрыться.

Дементьевна спросила:

— Ты чо?..

Она тихонько сказала:

— Да ты и придумашь... Значит, ложку салфеткой обтер, думал, вилку она ему уже и не даст?..

И Дементьевна, обрадованная, что рассказ ее понравился, снова негромко начала:

— А правда... Вот так же вот, как нас сейчас привезли... Только в область. А мы с им с одного села, как по животноводству, пастух он — старый уже, под семьдесят, но из себя еще бодрый... И в ресторане в этом вместе ж и сели. От он съел борщ, а потом салфетку берет, а она ж это красивая да накрахмаленная — прям хоть на свадьбу!.. Берет ее и ложку обтирает, да так это важно, еще вроде и песню про себя играет, как профессор какой. Накомкал от так — на полстола... А официантка пришла — как глянет на его! А это потом уже домой ехали, дак он говорит: «Я чо?.. Тут город, думаю, все культурно — на то оно и салфетка, чтоб языком-то ложку не облизывать, аккуратно обтер — и еще дальше...»

Она все покачивала головой, поглядывая поверх ладошки:

— И придумает же!

Дементьевна отозвалась:

— А то нет?.. Нас таких только и пускать в город.

И она сказала печально и жалостно:

— Го-осподи!.. Да разве от-то много увидишь, если, как мы, работать? Хоть я, возьми. Чурбак чурбаком и есть!

— От то-то и оно!

А она вспомнила, как нынче в обед подошла к дежурной по этажу, и та сунула ей ключ от комнаты, почти на нее не глядя, и она потом билась-билась, а ключ все не подходил, хоть плачь! А она тогда нахальства набралась да и вернулась: «Гражданочка, может, вы мне не тот ключик дали?» И дежурная, все так же молча и так же не глядя на нее, протянула руку за ключом, дала другой — этот подошел тут же.

— Неужели ж она нарочно — ключ?

Дементьевна, знавшая об этой истории, поддержала:

— А то долго ей?

— Ага, думает небось: «Пусть эта деревенская помучается, да из нее хоть чуть дурь выйдет...»

И Дементьевна согласилась:

— А то как?

Сама она уже поела, сидела, поджидая теперь Дементьевну. Та, молодец, не стесняется, ест, как у себя дома: и куриной косточкой власть похрустела, и стакан из-под сметаны хлебушком вымазала, и чаем теперь из блюдца хлюпает, хоть бы что! А ей при людях и еда не еда. Все кажется, что из-за соседнего столика на нее смотрят, да в рот заглядывают, да, друг другу показывая на нее глазами, моргают: «Хоть посмейся с этой деревни!» Она и утром не наелась, и в обед тоже, да и сейчас только червячка заморила — да и все. Ну ладно уж, надо будет как-нибудь купить в магазине колбаски да булочек взять, и вечерком от-то никуда не ходить, а сесть в комнате да хорошенько покушать. Она бы так и делала, так и питалась бы, да это Дементьевна таскает ее везде за собой: «Привыкай», — говорит.. Ей-то повезло, конечно, что попала с Дементьевной в одну комнату. Дементьевна — баба-ухо, вот смелая! И правда, ничего не боится. В комнате сразу все пооткрывала, везде заглянула да все потрогала, а что на улице дорогу спросить — любого тебе остановит, и в очереди с кем хочешь разговорится, и с заседания с этого, захотела — поднялась да и пошла, а сегодня еще и ее с собой сманула. А она и пальто свое с вешалки спросить боялась: вдруг кто из женщин из этих, кто там работает, возьмет да и спросит: «А почему это вы уходите?» И мимо людей этих, седых да вежливых, что около стеклянных дверей стоят, шла — не дышала: вдруг да остановят, да отберут все бумажки, а потом с трибуны кто-нибудь да скажет: «Пригласили, мол, ее как порядочную а она — вон тебе!..» Пока на улицу вышла, так хуже, чем на работе в плохой день, перенервничала, а Дементьевна смотрит на нее да смеется: «Да брось ты, Анастасия, переживать!.. Это кто здесь, в Москве, и вывелся, ему тут уж и неинтересно. А мы хоть по магазинам мотнемся, а то что бабам рассказывать будешь?»

Может, оно и так, да только она зареклась больше уходить — это смелому кому другое дело, а ей, так себе дороже.

— Так ты, Дементьевна, думаешь, что никто и не заметил, как мы ушли? — спросила теперь в который раз.

— А то! — снова удивилась Дементьевна.

И снова принялась чаем хлюпать, три стакана полных взяла — вот бой!

А она опять стала смотреть на очередь около буфета — какие люди в ней чистые, да хорошо одетые, да

культурные; тут даже не отличишь, кто наш, кто не наш, разве только разговор услышишь чужой, а так — нет... И опять она разглядывала дебелую буфетчицу в белом переднике да накрахмаленном высоком кокошнике. Вот у кого работа!.. В коридоре чисто да светло, столики какие аккуратные, а под ними — как будто ковер. И сам буфет — как игрушка, все никелем блестит, а буфетчица — хоть и пожилая сама — и губы накрашенные, и глаза синие, и на руках маникюр. «Вам что?.. Пожалуйста! А вам что?» На тарелочку положила, да подала, да денежками позвенела — и вся работа. Там дальше, за занавеской, ей и тарелки помогают, и вилки с ложками, а она на глазах у нее два раза туда заглядывала — один раз конфетку в рот кинула, другой — яблоком хрустнула да в зеркало посмотрела — от работа! И сама небось вся пряниками да конфетами пропахла, а гладкая — как что на ней сходится. А довольная! Отстоял тут, да и пошел домой не клятый не мятый — это мы, дураки!

Очередь около буфета дошла до лысого толстяка в очках, и буфетчица посмотрела на него, спрашивая сначала как будто только глазами, потом заговорила не по-нашему, наманикюренным пальчиком стала показывать что-то с той стороны витрины.

Лысый толстяк поправил очки, как будто повнимательней вглядываясь в лицо буфетчицы, а потом вдруг захохотал, засипел громко и резким, что-то очень страшное напоминавшим голосом хрипло сказал:

— О, я, я!.. Ест карашо — курка, млеко!

И у нее вдруг ноги отнялись, сердце стало, что-то тугое и резкое поднялось вверх, закрыло горло. Сама себя не слыша, прошептала:

— Дементьевна, гля-а!.. Да это ж он!

А та стаканом о стол пристукнула, спокойно поинтересовалась:

— Да кто он-то?

Она чуть не вскрикнула:

— Да ты тише!

— А то? — удивилась Дементьевна. — Чегой-то я буду тише?

Повернулась и смотрит.

А лысый толстяк все слова коверкает да хрипит, подмигивает буфетчице, а буфетчица — вот баба тоже бедовая! Руки в боки сделала и стоит, пухлые свои накрашенные губы скривила, смотрит, как он деньги подсчитывает. Брать у него из рук не берет, поджидает, пока на стойку положит, а потом поморщилась и одним пальцем в сторонку их отодвинула.

А она все глядела и глядела и на буфетчицу эту, и на немца — и как будто все замечала, и разом как будто не видела ничего, и как будто была она здесь — и ее не было, и сердце, секунду назад как будто вконец остановившееся, рванулось, как с привязи, и в голову теперь ударило; и ей вдруг захотелось заплакать от жалости к самой себе и от какой-то очень старой обиды, которую она никак не могла забыть.

— А ты чего это? — удивилась, всмотревшись, Дементьевна. — На тебе лицо куда делось!

Она попросилась:

— Ой, можно я пойду? Ты докушивай, а я да и пойду потихоньку.

Дементьевна пожала плечами:

— Да иди.

Она встала из-за стола, покачнувшись, и по коридору пошла не своей, а какой-то ломающейся походкой, ноги у нее подкашивались, и сама думала: «Ой, а какой похожий на того!.. А вдруг тот и есть?.. Не дай бог, как он!..»

В комнате хотела присесть на кровать, спиной к стеночке прислониться, да нехорошо небось покрывало мять, и она села в мягкое кресло, откинулась и вольно вздохнула... На миг ей стало хорошо и удобно, так хорошо, что лучше и не надо, да только уж больно непривычно было ей так сидеть, да и Дементьевна войдет, что скажет? «Ты, — скажет, — как барыня!»

И она, даже слегка закряхтев от жалости, что приходится бросать удобное место, привстала и пересела на стул, который стоял около длинного да узкого столика, придвинулась к спинке боком, руки сложила на груди и привычно закаменела так, расслабляясь не до конца, а будто наполовину.

«Как же так? — снова подумала растерянно. — И правда — гансы!..»

И к незнакомой усталости, что взвалил на нее к вечеру огромный и многоликий город, прибавилась вдруг еще и та давняя тяжесть, которая вот уже много лет всегда была где-то рядом с ней и наваливалась на нее сразу, стоило ей пожалеть себя или почувствовать себя одинокой или растерянной.

«Да не может быть, чтобы тот, — сказала она себе, пытаясь успокоиться. — Того, может, убили где. А это другой... Да мало ли! И война когда кончилась, и люди давно все забыли...»

А Дементьевна вошла вдруг очень тихая, как будто чем опечаленная. Села на край постели и грустно сказала:

— Вот видишь. Ты так сразу небось мужа своего вспомнила, а я нет. А у меня тоже хороший был... первый. От хороший!.. А ты поминаешь свово?

Она сказала:

— Да помнить, оно и не забывала, а поминать... Как помянешь?

— А мне сон один раз. Увидела я свово, кинулась к нему, а он смотрит на меня и молчит. Я говорю: «Петь! Да чего хоть слова не скажешь?» А он тогда и говорит: «А ты помянула меня хоть раз?..» От я днем бутылку взяла в магазине да на стол ставлю. А муж — этот, что сейчас, — смеется: «Наверно, — говорит, — в лесу что-то сдохло». А он тоже инвалид. Так я уже не стала говорить ему ничего, а про себя думаю: «От и поминаем мы

тебя, Петя!»

Она сказала:

— И мой тоже хороший был... Трое детей — разве шутка!.. Разве бы позволила, если бы плохой?..

— А давай поллитру возьмем, — сказала Дементьевна. — Да и помянем и твою и мою.

— Да, а не грех?.. Чем хорошим, а то поллитрой. Мой и не пил ее совсем.

— Да и мой не пил.

— Ну вот: они не пили, а мы будем!

Дементьевна сказала:

— Ой!.. Да они мальчишатами и погибли. Они еще и попробовать ничего не успели, да не успели разбаловаться. Сколько было твоему?

— Да двадцать восемь в сорок втором.

— А моему в сорок третьем двадцать шесть, он от меня на год моложе. Разве не мальчишата? Другой раз подумаешь: да они ж такие и остались, и ничего потом такого не видели да не пережили, что на нашу-то долю... Он же небось погибал, думал: «Хоть меня не будет, зато они заживут, как немца прогоним!» А попробуй потом с детьми проколотишь... Тут не то что пить! Мой другой раз скажет: «Я выпью!» А я себе за стакан: «Или мне не с чего?..» Я сегодня устала да чего-то перенервничала...

И то, что боевая Дементьевна так запросто призналась, что и ей в городе не очень сладко, вдруг растрогало ее, и ей тоже вдруг показалось, что можно было бы хоть по капельке выпить — может, и в самом деле будет полегче: мужики, видать, это дело давно поняли.

И тут она вспомнила о цене.

— А ты видала, почем она?

Но Дементьевну этим не испугать.

— Да, а то не видала?

— Это ж сколько?.. Это ж почти... да почти семь ползуночков на эти деньги!..

Дементьевна встала и подбоченилась:

— От вот это я не люблю!.. Ты детей своих вырастила — тебе помогал какой черт?.. Да никто не помогал!..

А ты им теперь все пхаешь и пхаешь, они давно больше тебя получают, а ты пхаешь! А на себя посмотри. Он как одета. И то, говоришь, председатель купить заставил, потому что в Москву. Да сколько ж можно — все на них? Что ж, ты на себя уже пятерку несчастную не можешь потратить?

Дементьевна говорила, а она только соглашалась про себя: все правда! Всю жизнь только о них и думаешь, а теперь вот еще о внуках, а о себе, и правда, никогда, все боишься копейку какую на себя, да все как будто за тобой следит кто: что это я буду себе — как будто мне больше некому!.. И опять им.

И в душе у нее поднималось странное какое-то чувство: она и правоту Дементьевны сознавала, и вместе с тем гордилась собой — не все матери такие! — и тут же думала о другом: неужели она, в самом деле, не имеет права хоть на маленькую самостоятельность? Нет, имеет, и надо и себе это доказать, и как будто бы им, детям, тоже — ведь не только радость была от них, но и обида, еще поди посчитай, чего больше; и теперь она хотела как бы оградить себя внутренне, хотела дать себе хоть самую маленькую возможность припомнить иной раз, что не только для них жила — для себя тоже.

И, согласившись уже, сказала:

— Только пойдешь, Дементьевна, ты.

Но Дементьевна уже почувствовала, что верно слабое место нащупала, и это ей понравилось; а кроме того, она совершенно искренне хотела, чтобы новая ее подруга была хоть чуть побойчей, чтобы в городе она одна не пропала, ведь баба какая хорошая, — потому твердо сказала:

— Нет, ты-ко пойдешь, а не я! Я что? Я тебе хоть поллитру куплю, а хоть черта рогатого — и не заикнуся.

А вот ты давай учись — это другое дело.

И она поняла, что Дементьевна не отступится, что ей самой придется идти, и сердце у нее забилося еще только от предчувствия того страха, который, она знала, предстояло ей пережить, и она только попросила упавшим голосом:

— А хоть постоишь рядом?

Дементьевна, так и быть, согласилась:

— Рядом, ладно, постою.

— Как ты думаешь... а яйки эти, гансы?.. Оттуда ушли?

Та удивилась:

— А то!

Около буфета не было вообще никого, и Дементьевна сказала разочарованно:

— Прямо подвезло тебе.

Она промолчала, но эхом откликнулось в ней: «Да где ж подвезло? Где ж подвезло?.. Как скажет еще: «Ишь пьяница!»

Буфетчица стояла, сложив руки на груди, глядела куда-то прямо перед собой, и лицо у нее было как будто закаменевшее.

А у нее ноги снова стали словно чужие, и чужим тоже, неслышным для самой себя голосом попросила:

— Дайте бутылку, подружка... Посидеть решили чуток.

«Ой, — сама думала, — что я плету?.. Что я от-то плету?..»

Буфетчица посмотрела на нее, потом на Дементьевну, и лицо у нее сделалось простое и доброе.

— Ой, бабы, — сказала им, как своим. — А я чего-то задумалась... Водки, говорите? Вы тоже! Не могли в магазине, что ли, купить — у меня такая наценка. Тут пусть тот пьет, у кого деньги бешеные.

Она обрадовалась:

— Да вот вы правильно говорите, не подумали.

— Захотелось, знаете, — объяснила Дементьевна. — А оно ведь дорого яичко ко Христову дню, как говорится.

— Да я сама иной раз, — сказала буфетчица, улыбнувшись. — Набегаешься, перенервничаешь, так оно потом лучше всякого лекарства.

Она все улыбалась, глядя на них, и лицо у нее становилось все добрее и проще, теперь и помада, и краска как будто сделались на нем совсем чужими и совершенно нелепыми, и казалось, что они вот-вот сотрутся, неизвестно куда пропадут и под ними откроется самое обыкновенное бабье лицо, горькое и очень усталое.

— Да вот и мы набегались, — призналась Дементьевна.

Буфетчица повернула голову к двери, которая была у нее за спиной:

— Поля, у нас там осталась беленькая?.. Наша? Ты дай бутылочку.

Из-за ширмы вышла пожилая женщина в мокром переднике, двумя пальцами поставила на стол бутылку водки, молча ушла.

Буфетчица сказала:

— Четыре двенадцать с вас, бабы. Как в магазине.

— Ой, вы нас поважаеете тут...

А Дементьевна предложила:

— А может, выпьете с нами?

— Да я б не отказалась, да некогда. А может, вы — со мной? — Она снова повернулась к двери за спиной. — Поля, побудешь минутку, а то я что-то...

Сунула руку куда-то под прилавок и бросила на тарелку несколько конфет, потом достала оттуда же квадратную, желтого стекла бутылку с выдавленными на стекле нерусскими буквами, кивнула им:

— А ну-ка, три стаканчика возьмите.

Они с Дементьевной тоже сели за крайний столик, который стоял уже как бы за линией, отделяющей буфетную стойку от коридора, и буфетчица отвинтила металлическую пробку, налила каждой чуть меньше половинки, и они сначала поотказывались чуток, а потом Дементьевна выпила первая и, трудно передохнув, сказала:

— Чистая полынь!

Она обрадовалась:

— Ну тогда и не страшно, выпью. Я уже привыкла полынь... от головы. Прямо как чай.

Поплотней сжала губы и начала цедить свою порцию потихонечку. Внутри у нее загорелось огнем, на глазах выступили слезы, и она бояласьдохнуть.

— Да ты конфет, конфет бери! — тянула руку Дементьевна.

Она наконецхватилавоздуху, и кончики пальцев обеих рук приложила к глазам, как будто останавливая слезы.

— Ну как ее люди пьют?!

— А небось еще и подхваляют, — сказала Дементьевна. — Это нам...

— А я чего-то так сегодня устала, — вздохнула буфетчица.

— А то — целый день на ногах!

— Когда вроде и не так устаешь, а иной раз... Она осмелилась наконец спросить:

— А эти вот... «яйко!.. млеко!». Это же немцы?

— У меня уже два выговора есть, что я с ними грубо, — грустно сказала буфетчица. — А вот не могу!.. Ну хоть уходи, бабы, отсюда — не верите?!

— О-хо-хо! — вздохнула Дементьевна.

Она сказала:

— А я бы так и совсем не смогла...

— Вот и я. Меня на работу в Германию угоняли, вот с тех пор и не могу. Хоть убей!

— Да тут же не было немца?

— Да я не тут жила. Я смоленская. Это потом уже, когда наши освободили, а я встретилась... Вот парень был, бабы! Сколько лет, а я до сих пор... Да мы и живем, правда, с его матерью.

— А сам?..

— Сам погиб.

— А с матерью, выходит, живете?..

Из кармана передника буфетчица достала сигареты.

— Освободили нас, а тут часть, где он был, на отдых. Вот мы две недели... Он потом взял мой адрес и свой дал: «Жди, — говорит, — письма». Я к себе приехала, а моих никого. Мама, оказывается, через месяц померла, как меня угнали. А потом дед. А больше у меня никого. А тут в Москву на работу брали: я сюда. Написала ему письмо, а ответа нет и нет... А я чувствую, ребенок будет. Пошла к его матери: «Нет ли, — говорю, — каких известий от Коли?..» А она как заплачет: «Нет, — говорит, — уже Коли в живых...»

Она крепилась-крепилась — и вдруг тоненько всхлипнула и понесла ладошку к глазам. Дементьевна мягко спросила:

— Ну ты чо, Нюр?

— Го-осподи! — сказала она, еще всхлипнув. — Да разве ж не жалко?

К стойке подошли несколько негров, стали неумело объясняться с женщиной, которая осталась вместо буфетчицы, и та беспомощно посмотрела на буфетчицу.

— Ладно, пойду я, бабы, — сказала буфетчица. — Посидела бы с вами, да...

— А может, в комнату к нам придете, когда тут закроете? — пригласила Дементьевна.

— Сегодня — ну никак!

Потом буфетчица уже стояла за стойкой и наманикюренным своим пальцем указывала то на одно, то на другое, а они шли мимо, и она держала бутылку под кофтой, прижимая ее к боку, чтоб негры не увидели, а то подумают еще: «Вот эти русские пьяницы — что мужчины, что женщины...»

А Дементьевна подошла к буфету, оттерла чуток переднего — вот бой! — влезла между ними, спросила громко:

— А вы так и не сказали: был же ребеночек, чи не было?

Та вздохнула:

— Пришел на днях, вся рубашка в помаде, а она увидела. Подает мне. «Вот, — говорит, — пусть мамочка твоя полбуется...» И две недели уже чертуются, а я внучку и в садик, и из садика...

— Сынок?

— Сынок.

— Маленькие дети — маленькое горе, — сказала Дементьевна.

А буфетчица снова наставила палец на бутерброд с икрой, снова заговорила не по-нашему, и лицо у нее стало чужое...

2

Дементьевна выпила полстакана сразу, покраснелась вся, глаза у нее заблестели, и волосы с одного бока выбились из-под гребешка — по ней сразу видно, что выпить любит.

— Нюр, — говорит, — а может, мы с тобой теперь песнячка?

Она даже руками всплеснула:

— Придумает!..

— А мы потихоньку, — сказала Дементьевна. — Вот при оккупации — бабы в хату ко мне набьются, семечки тогда еще были. Поплюем-поплюем, пошепочемся, а потом: «А давайте, бабы, споем!..» И кричим от-то потихоньку, глазами ворочаем, душимся — и аж слезы.

А она думала, когда выпьет, — ударит в голову, да и все заботы пройдут, все печали снимет, все страхи забудутся, да то ли выпила совсем каплю, а то ли еще почему, только сумное настроение ее не пропало, что-то все так и держало ее за сердце... А теперь, когда Дементьевна про немцев напомнила, ей вдруг снова стало жаль себя и снова захотелось заплакать.

Дементьевна туда-сюда повела головой по спинке кресла, гребешок ее приподнялся и съехал набок, и волосы с одной стороны совсем рапатлались. Она закатила глаза и широко открыла рот, набирая воздух, потом вытерла губы и заголосила вдруг тоненько:

Глу-хой не-ведо-май тай-го-о-о-ю

— А я тебе за войну скажу, — проговорила она, подвигаясь еще ближе к краю кресла и наклоняясь к Дементьевне. — У нас только заняли станицу, калитка открывается — от он!.. Заходит. Здоровый такой мужчина, автомат на грудях, рукава закатанные, нас же летом заняли, в августе... Посмотрел так, посмотрел по сторонам, потом говорит: «Матка, матка, а где ж, мол, детишки?...» У меня от тут все оборвалось. А он дуло наставляет: показывай где — и все! В хату зашли, они сидят, беденькие, все трое, прижукли. От он на маленького посмотрел, потом на среднюю. А потом на дочку, на маленькую глянул, и аж его вроде передернуло всего. «Юда?» — спрашивает. Я испугалась. «Да нет, — говорю, — какая ж она юда, русская самая настоящая, а что рыженькая, так у нее отец такой. А мой же Женя рыжий был, прямо красный!.. Я засмеюсь когда: «Как, — говорю, — хата наша не загорится!» А он: «Чем рыжей, тем дорожей — вот как!»

Дементьевна глаза завела и рот приоткрыла — или так внимательно слушала, или о своем о чем думала.

А она передохнула в голос и кофточку на шее расстегнула еще на одну пуговицу. Ей вдруг стало жарко, как будто водка только сейчас дала себя наконец почувствовать.

— А он опять: «Юда?» А я схватила ее да на колени перед ним бух! «Да какая ж она, — кричу, — юда?.. Да хоть у соседей спросите, хоть у кого! Да чем хотите клянусь, какая ж она вам юда?» От он щелкнул там чем-то, вроде прицелиться, — я умерла!.. А он автомат обратно на живот, говорит: «Кушат!..» Я сама не своя, дочку бросила, то на нее гляжу, то на стол, все валится из рук. Собрала все, что было... От он поел, обтер губы, глянул еще раз на девочку и пошел. Я в плач: да слава ж тебе, думаю, господи! Да обнимаю их всех да плачу. «Ну, — думаю, — пронесло!..» А завтра собака наш загавкал, я глядь в окно: опять он! Прямо в хату уже идет, и автомат на маленькую с порога: «Юда?...» Я опять на колени. Опять плакать да молить. А он: «Кушат!..» На третий

раз я сама уже: он — только на порог, я — «Пожалуйста, — говорю, — кушать!» И стал от-то приходиться он к нам каждый день... А аппетит был, Дементьевна, милая!.. Тарелку борща поставлю. Только отвернусь, а он — как за себя кинул! Вареников чашку — ут такую! — железную поставлю, только успею отвернуться — как за себя. От жрал, чтоб ему и на том свете, сукиному сыну!..

— Я бы ему нажрала, я б нажрала! — сказала Дементьевна.

— От все, что у меня было и чего не было, уже съел, пошла я по соседям... Плачу навзрыд! От та пару яичек даст, та соседка сала кусочек сковородку помазать да десяток картошек. А у них тоже — откуда? От я не иду уже; и стыдно, и детей жалко, хоть мот на шею! Они сами, кто прибежит: «На, Нюра, бери — ведь убьет еще, ума хватит!..» А он жрет! «Нет, — думаю, — так я долго не протяну. Это где же я ему настачусь?» Стала это вроде экономить, поставила раз одни оладки да чай... От он поморщился, на меня ка-ак глянет! Автомат из-за себя — черк!.. Да в ту комнату, где дети, да опять: «Юда?!» Ве-еришь, не знала уже, что делать. От слез уже опухла, все с себя продала, по соседям уже не хожу, стыдно — ну чего? Убежать с ними — а куда убежишь, младшенькой тогда — два годика, а этим — одной четыре, другому — пять. Ну куда?.. Ни родных, ни знакомых. Мы с Женей только что переехали тогда с хутора в станицу, мать его померла, от мы хату продали, а тут купили. Ну куда!.. Плакала я, плакала, а потом отвела ребятишек к соседям, а сама — на хутор. Там у нас бабушка одна жила, старушка — вроде как знахарка. От я к ней. Упала в ноги, она старенькая — и поднять не может. Послушала, а потом говорит: «Да, моя детка, сроду ничем я таким не занималась, хоть всякое на меня говорили. А отраву знаю, еще моя тетка, покойница, научила. И ни один, — говорит, — врач не докопается...»

— Я бы его давно уже, — сказала Дементьевна. — И потрохов бы не нашли...

— От помогла я ей пирожков с картошкой напечь. Вышла она с ними в кладовку, потом приходит... «Грех это, — говорит, — моя детка, да а малых детей и мать мучить разве не грех? Бог нас просит!» Проводила меня до дороги, вот я и пошла. Хожу потом как неживая, жду его. Детей опять отвела. «А ну если, — думаю, — почувствует? Перестреляет всех. А так хоть одну меня». А его в тот день до-олго не было, я уже сама не своя. А потом приходит, и в руке у него вещевой мешок пустой. «Марш, — говорит. — Марш!..» А я никак не пойму, чего он хочет, трясусь вся. А потом догадалась: уходит он куда-то дальше, пришел за продуктами на дорогу. Закружилась тут у меня голова, что-то говорю ему, а сама схватила эту тарелку с пирожками да из хаты. Прямо с порога — раз пирожки эти в бурьян! А потом пхаю ему в мешок, что еще у меня оставалось, а сама думаю: «Да неужели ж услышал кто мои молитвы?..» От он мешок завязал, на одно плечо лямку накиннул, вышел; а я за ним. От он около калитки остановился да и говорит: «Юда!..» А сам как захохочет!.. И аж себя от так рукой по коленке. И пошел, песню заиграл! А у меня в глазах мушки, мушки какие-сь...

Когда поднялась, пошла в хату; мимо бурьяна иду, а там наша собака, Дружок, мертвый уже лежит, нашел-таки эти пирожки, съел!

— Эх ты! — укорила Дементьевна. — Я думала, ты ему в сумку их — первым делом!.. «Вкусные, мол, пирожки, смотрите, мол, и товарищей своих угостите, по одному всем...»

— Да что ты!.. Рада была без памяти, что хоть так ушел!

— Ну а дочечка, ты не сказала.

— Да чего — у нее теперь свои дочечки...

Дементьевна вздохнула:

— А может, споем?.. Грустную?

3

Когда она вышла из ванной; свет уже не горел, Дементьевна тихонько похрапывала на своей постели, но шторы были раздвинуты, и большое — во всю стену — яркое окно наполняло комнату тихим, как бы предассветным заревом.

Она остановилась перед занавесью из нейлона, стягивая на худых ключицах и запахивая вниз, у колен, давно уже севший, от дочки доставшийся ей халат, словно прячась от невидимого, но следившего за ней пристально чужого глаза.

За окном шел снег.

Он то густо мельтешил на ветру и бил в стекло, то летел медленно и плавно; и тогда крупные его хлопья казались голубоватыми, словно их слегка подкрасили синькой. Глубоко внизу, у подъезда желтый свет был придавлен козырьком, и около него неслышно сновали темные, с отблеском на боках и белыми крышами легковые машины, спешили облепленные снегом люди, дальше текла в одну сторону сплошная пурга, среди которой парами катились, расплываясь и подрагивая, круглые огни, а за пургою, как за рекой, вставала в дымной вьюге ярко подсвеченная снизу кремлевская стена со знакомой башней, поднимались в белой метели выхваченные электричеством из черной пустоты золотые маковки церквей, как яичный желток, теплые и тугие.

На миг ей стало страшно, показалось вдруг, что кто-то, не знающий жалости, снова стоит за ее спиной, и она похолодела... Но все было так, как было, и от страшного ее отделяли и тихий храп Дементьевны, и стук чьих-то шагов в коридоре за дверью, и мягкий среди метели блеск маковок на кремлевских церквях, и еще многое и многое другое, чего могло для нее не быть, но что было и что разом наполнило ее теперь ощущением хрупкости жизни, каждого ее часа и каждого мгновенья, наполнило ощущением печальной, как будто очень поздно пришедшей радости.

«Ах ты, господи, — подумала она, — господи, как хорошо кругом да чисточко, и дай бог всем счастья!» Молодежь теперь все по городам, и вроде правильно, оно сравнить: или какая здешняя женщина идет, как свежая булочка, только из печки, и духами от нее, и кремом, и чем только нет, или, возьми, она — ей и на заседании нет-нет да и покажется, что пахнет от нее теплым телячьим духом, и вот уже один кто обернулся, глядит на нее, вот другой... Господи, да а как не пропахнешь — весь век! Это по городам ни животиночки, младшенькой дали квартиру в Гукове, так она из дома в корзинке им кошку везла, чтобы в двери-то ее пустить прежде хозяев, по старой примете — к счастью... Так, нет ли, а посудить, и точно, когда живое рядом, все легче на душе — там кошка залезла на стол, на нее крикнул, там собачонка погладил, и все не так одиноко, все веселей. А они-то в Гукове как надуются друг на друга, так на целую неделю, и приласкать некого, чтобы отойти, и голос поднять не на кого, душу отвести, а потом инфаркты тебе, а потом сердце — нет, другое дело в деревне! Нахального какого она оттолкнула, а слабому помогла, сумного какого или больного погладила, а веселый да здоровый сам ей лбом в живот ткнулся: и уже кругом тебя все будто миром да ладом, и правда — вот она, и никто не обижен — а они разве этого не понимают?! Она заболела, третий день не встает, еще и из соседок никто не пришел проведать, а она слышит — мычат, насилу поднялась, в окно глянула: матушки!.. И как только дорогу нашли, стоят у ворот все как есть, и Зорька ее выше других шею тянет: она привела, ясно, — после того как откормила ее, как травами да сахарком отпоила, та и к правлению за ней убежала с фермы, и к магазину пришла один раз и стоит ждет! И среди людей не все так добро помнят! Оттого и бросить не бросишь, и уйти от них не уйдешь. И разве можно доверить этим, что председатель на вокзале в городе подберет да в станицу привезет в своем «газике»: «Поработай хоть месяц!»? И аванс ей сразу, и кормить в столовой бесплатно, а они только краситься да мазаться; и трактористы к общежитию гужом... А бабы за тяпки да к председателю: «Что хочешь, Дмитрия, увози это добро, а то до плохого дело дойдет!» А председатель молодой, да из ранних: «Просите Анну Панкратьевну! Снова телятницей пойдет — сейчас прикажу всех на бортовую да обратно в город». Оно и этих, из города, понять можно. После них в подсобке все стенки картинками из журнала мод завешаны. Все девки красивые да хорошо одетые, то руку выставит, то ногу — и так и так! А рядом с кроватью стоят сапоги резиновые, и на них грязи пуд, сколько сама ее на ногах перетаскала! Потому и решила: хватит! Она и теперь бы не вернулась, ни за что бы не поддалась, да ночью лежала и вдруг вспомнила, как начинала работать в колхозе после войны, как билась тогда, колотилась... Или не полежала бы она утром, если бы было за кем? И полежала бы, и позоревала, как другие бабы, у кого муж с фронта вернулся, и, как они, попанствовала. А она — сама да их трое. Она, чтоб только прокормить, а про нее: «От труженица!..» Были и такие — тащили живым и мертвым. И ей тоже кто, бывало, шепнет: «Чего не возьмешь?..» А ей страшно!.. Другие сядут в тюрьму, у них есть детей на кого оставить, а куда ее денутся — по детдомам да с сумой? И она никогда ни стебелька тебе какого, ни зернышка, а про нее: «От честная!» Сколько в президиумах сидела, так глаз и не подняла ни разу: одно дело, что одежда на ней была — пострее глянь — разлезется, а другое — боялась, что кто-нибудь побойчей встанет, да ни с того ни с сего вдруг и заявит: «Чего это мы ее по президиумам держим? Какая она труженица? Какая честная? Да она просто забитая размазня и дура несмелая, вот она кто!.. А теперь попросил ее молодой председатель вернуться, и кланяться пришли ей бабы, чьи мужики с городскими шлендрами загуляли. И она потом лежала без сна, и все припомнила, и ей стало ясно, что не откажет, пойдет, хоть детей теперь ей не надо кормить. Петя, слава богу, подполковник, сам кого другого прокормит, и дочки замужем — одна за учителем, а младшенькая за врачом по женским болезням, — чего их кормить? Но только поняла она, что все равно вернется, и у нее вдруг заныли пальцы в суставах, руки повело, и она заплакала в голос — так ей не хотелось идти, так она уже нарабаталась...

Сама с мужем почти не жила, пусть хоть люди теперь спокойно поживут, пока хорошо да мирно! И кого только живого не жалко?..

«Ах ты господи, — сказала она, — да дай бог всем счастья и каждому, а я как-нибудь...»

За окном билась метель, и ей нужна была эта метель, и нужны были золотые маковки в черном вьюжном дыму, и нужна была эта минута. И она стояла и плакала...

АНГЕЛЫ ГОСПОДНИ

И мстится ему опять: как будто и здесь он, а вроде его и нет...

Вот она, зажелтевшая по краям, топорщится борода на кромке лоскутного одеяла, и нестираным тряпьем да головами пахнет холодноватая подушка, и кот лежит в ногах да потихонечку: мур-ры-мур...

А только перестанет старик на себя глядеть, и нету его — уже вон облокотился на подоконник и смотрит, как близко под обрывом прет стылая глухая вода... Или вот он, стоит около ведра с ковшиком в руке, задрал голову, пьет жадными глотками... А то уже и совсем он шут его знает где — пониже кладбища чуток сидит на просохлом косогоре под солнышком, шапку вывернул, на колено надел, и она сушится, исходит теплым парком, а чего, упрел, пока сюда забирался...

И вот он сидит, тепло ему да хорошо, и рядом прошлогодними травами пахнет, и талой землей, и еле слышным весенним гревом, а высоко над головой нет-нет да и потянет выскочивший из тайги знобкий верховик...

Река еще в берегах, в светло-зеленых, налитых желтым светом тальниках, на той стороне то здесь, то там

поблескивают на солнце еще не совсем истаявшие льдины, темнеет дальше черемушник, высоко над ним ясно сквозят серые кроны осокорей, а за ними уже начинается до черноты зеленый сплошняк пихтача, пробитый иногда разлатыми кедрами, тянется по согре до разлома и на пологом склоне будто редееет, там север, там еще снежок рябит кое-где, и рябит островки голого березничка, но по горбату гребню снова идет зубчатка пихтача да ельников, далеко-далеко за которой стыннут в холодноватом мареве белые верхушки гольцов...

И до сладости хорошо тихо смотреть на тайгу, до комка в горле хорошо и покойно, но переморгнет старик, вниз глянет... и борода тут, и серая рубаха от нее по бокам, и старое одеяло на груди лоснится, а на животе под ним — ямка, и весь он тут, хударба, можно вон выпростать из-под одеяла хоть ту, хоть другую ногу, чтоб видно было латанные на больших пальцах носки, да не надо, и так ясно: здесь он.

А что, подумал старик, может, это душа моя учится уже без меня самого обходиться, сама по себе привыкает, — может, ей и правда одной жить дальше?..

Так нет — зачем бы душе ледяную воду из ковшика хлобыстать? Зачем бы вывернутую шапку сушить на коленке?..

Да и нету ее потом, никакой души... а может, все-таки есть?

«И-их ты, — подумал он, — бляха-муха, чего воротить-то стал...»

Раньше только тогда и поминал о душе, когда матерился.

А может, все дело в том, что хочется старику встать да пойти, а он себя нарочно в постели удерживает, знает, что идти-то ему как раз не надо... нельзя... а хочется пойти посмотреть, и страшновато ему становится, когда он об этом думает, и страшновато и любопытно — уж больно чудно!..

Что он там видел, в самом деле, покойный Мокей-то Иваныч Шестаков, когда подходил к тем овражкам, что режут тайгу за невысоким горбатым взлобком? Ходил он туда другой раз по два-три раза на дню. Неужель так-таки никого-ничего там и не было? А вдруг да было?

Э-э, да нет, блазнится это старику!

Просто он совсем уже остарел, дело к смерти, вот и обхаживает она его, и напускает на него морок, вот ему всякое и мстится...

И то — пожил, пора ему, в самом деле, и честь знать!..

Сначала-то он, когда из госпиталя вернулся, жить себе просил только до пятидесяти, и то нахальства для этого надо было набраться. Домой-то его, считай, помирать отпустили, слышал он, как промежду собой говорили потихоньку об этом врачи, да что врачи, на него тогда любой глянь — и все ясно. Был он кожа да кости, а в голове все звенело да лопалось, на улицу по нужде сходит — на постель потом упадет жогом, глаза прикроет, и понесло его, завертело, будто щепку в речном бучиле...

— Мне б еще годочка три, а, Марусь? — говорил он старухе своей в те дни. — Чтоба полста — без сдачи...

Зиму-то первую он еще кое-как одолел, перемогся, но весной с постели уже почти не вставал, жрать-то в ту пору совсем нечего было, а у них — пятеро, и старшему — четырнадцать, они с Марьюшкой-то за детишек только после тридцати принялись, до этого она женской болезнью мучилась, а когда вылечилась, тут-то они на радостях нарожали.

Самому меньшему, Егорке, было тогда три всего-навсего, и Марья у него, считай, изо рта брала, чтобы мужа накормить, да он-то, Степан, что ж, не понимал разве, что ли, он на постели ел — хлеба кусочек под подушку, картофелину вареную — и ее туда, а то и чашку хоть с похлебкой, хоть с кашей оставит в головах: после доем...

Марья со старшим на работу уйдет, средние в школу, и только они за порог, Егорка уже бежит к бацьке и рот раскрыл, как галчонок... Конечно, его не так просто напихать, он дите военное — только подавай, все умнет... И одного только очень боялся тогда Степан: что вот умрет он, а Егорка так и забудет по малости своей, как бацька ему последние кусочки отдавал, так и забудет, потому что никто ему про это не напомнит — никто не знает...

Возьмет, бывало, Егорку за худенькое плечишко, спросит:

— Помнить-то хоть будешь, как папка тебя кормил?.. Будешь?..

— Буду, ага, — серьезно скажет Егорка, жадно ведя хитроватыми глазами, — знаешь, как буду, еще — дай?..

А весной крепко их выручила Марьюшкина сестра Настасья.

В воскресенье было, он пластом лежал, а Марьюшка к своему кросну присела, потянулась потом от него к окошку, сказала удивившись:

— Гля-ко, женщина на той стороне... То ли скотину каку ведет?

Все глядела, не отрываясь, потом узнала:

— Анастасия никак?! Чой-то ее с коровой леший носит?.. Сдавать ли, чо ли?.. Дак у ее все вроде сдаде-но, сама прошлый раз была, дак хвалилась...

Побежала встречать сестру, он долго слышал голоса, потом услышал — плачут, испугался: может, беда какая?..

А эти вошли, висят одна на другой, рыдают, как малые дети, идут к постели его, и Марьюшка пытается пригнуть сестру поближе к нему, а сама голосит:

— Цалуй, Степа, сестрицу, — это ее сама царица небесна!.. Цалуй, Настасьюшка корову нам дорит!..

А та еще ватник не сняла, только платок размотала да на плечи бросила и давай сквозь голос рассказывать:

— Я вон Марьюшке говорю-те: зарок я себе давала... Придет мой Михаил — отведу ей свою Февральку, у

вас детей против моево больше!.. А он же по первопутку, считай, пришел, я поплакала: надо вести!.. А после-ка думаю: куда-те в зиму?.. Овна у них ни травиночки, чем кормить?.. Ить забьют, а рази ее не жалко — всю войну, считай, на ее молоке... Зиму, думаю, покормлю-ка, телочку принесет — тут и отдам, не согрешу... Телочку она принесла, думаю: да пусть молочком ее выпойт. А тут-ка мне плохой сон: приходит будто странник какой, весь в старое одетый, как раньше, да строгой... И мне будто говорит: обманываешь бога, Анастасия!.. Михаила-те он вернул с войны, а ты — отвела ли сестре корову?..

И снова режут в голос да обнимаются, распатлались обе, по щекам слезы ручьем, и Настасья концом своего платка то себе подбородок оботрет, а то Марьюшке... А на улице корова ревмя ревет, недоеная, — шутка ли, тридцать верст по такой дороге, в самый, считай, распар...

Это уже потом он часто задумывался: чудно все же как-то выходит! Вот лежишь ты, с голоду помираешь и не помышляешь уже ни о какой такой милости, а кто-то в это время сам себя уговаривает и сам себя пристыжает, и снится ему строгий сон, — и вот, на тебе корову, — и в самом деле, как с неба!..

Крепко их выручила тогда Настасья, ох как крепко!.. И то ли с парного Февралькиного молока, а то ли с новой заботы, с того, что первую травку носил ей сперва щепотками, а потом доглядывать ее пошел — не дай бог, медведь! — да так лето за ней потихоньку и проходил по лесным травам да по опушкам. То ли с того, а то ли с этого, кто его теперь разберет, да только поправился он вдруг в одно лето, в зиму уже на работу пошел.

Когда стукнуло ему полста, он же полдеревни мужиков позвал на Марьину самогонку и сам пил, только наливай, а раздухарился, кричал пьяный:

— А-а, бляха-муха, а мы не таковские, чо ли?.. Запиши-ка там, Марья, беру, значит, обязательство все семьдесят пять отмантулить... а хрен с им!

В это время он уже в леспромхозе, как и до войны, чертоломил за пятерых, и пенсию у него давно уже отобрали, да не как у людей, от комиссии до комиссии постепенно, а отобрали сразу, еще при нем и поудивлялись: такой амбал — и первая группа? Как так?

И десяток лет с пилою да топором отмотал он единым духом, да и дальше бы, может, работал, да тут участок, что у них на Монашке был, закрыли, а перебираться вверх по реке он не захотел, рассчитался.

Эти десять он скотину держал, ходил за пчелами, потихоньку охотничал да рыбачил, внуков баловал: зимою — одного, редко двух, а летом — девятерых, всех сразу... И сыновья с невестками да дочки с зятьями каждое лето толклись дома, то косить помогают, то избу поправить, потом грибки начнут солить, варенье варить из ягоды... Осенью по последней воде на лодках да зимой на машинах и грибы увозили бочонками, и мед флягами, и битую скотину в мешках, чтоб в городе с ней удобней, и жир топленный кругами, и сбитое масло...

Нельзя сказать, чтоб он не болел это время, нет, желудком прибалывал, но каждое лето смотрел его доктор Крепаков, который всегда рыбачит на первом плесе за деревней, на Моховом, прописывал ему лекарство, а привозил его потом управляющий городскими аптеками Часовников, который за Моховым всегда стоит, на Гусином.

И в семьдесят он был крепкий старик, со старшими сынами еще сходил летом на шестах в верховье, и ничего, в тягость им не пришлось.

Но в тот год померла зимой Марья, легла и не проснулась, легко отошла, без единого стога, и он остался один, и тут вдруг начал сдавать...

И не то чтобы болезнь его забрала, нет, на здоровье сейчас ему как раз грех было жаловаться, а случилось с ним что-то такое, отчего он против своего обычного нрава разом вдруг присмирел, потишал, сник...

Как оно все меняется; бывало, дурное слово завернет он так заковыристо, что бабы, раньше чем по горбу стукнуть, все-таки притихнут на миг, как будто восхищаясь про себя: а спец, мол!..

А он скажет:

— Хух ты, случайно вырвалось — на смерть берег!..

А нынче и смерть эта небось где-нибудь совсем рядом ходит, а дурные-то слова у него как будто кончились, вышли все, нету — одни жалостливые остались...

То утром на крыльцо выйдет, первым делом надо ему голос подать. На краю деревни много ли найдешь с кем поговорить, а ему об этом не думать.

Увидел на березке рядом с избой скворца, задрал бороду:

— Здорово, Никита-путешественник!.. Прилетел?.. Ну, шшолкни, шшолкни, как оно там, за морями?..

Увидел, как его Кучум соседского кобелька обхаживает — рот раскроет, что и на том берегу слышать:

— Что ты его нюхашь, что нюхашь, Кучумка?.. Глаз нету ли, чо ли?..

А теперь вот весной увидел первый раз скворца на березке и притих.

«Бедный, — подумал, — птах!.. Как далеко ему до дома лететь, а — летит, машет!..»

И стало ему вдруг отчего-то так сумно да тоскливо, что ткнулся он вдруг бородой в грудь и заплакал, как малое дите...

Кучум к нему теперь подойдет, голову на колени положит, вытянет шею, смотрит в глаза ему — не мигнет, а ему кажется, хоть убей, что карие зрачки у собаки грустные, что печалится он, Кучум, видать, понимает, что скоро останется один без друга своего, без хозяина...

И крепится он, крепится и нарочно толкнет морду с колена, прогонит собаку — чтобы опять не заплакать...

Бывало, раньше охотников городских набьется в избу, вечером как задымят после бутылки, как начнут спорить!.. Тому то не так, другому — это, а третий кричит, что оба они ничего не понимают, пусть-ка вот послушают хорошенько, что он скажет, а старик сидит да на ус мотает, а потом кто-либо из давнишних его

друзей-то скажет:

— А ну, рассуди-ка ты, Степан Савельич!..

— Ага, скажи ты, дед!

И он такое, бывало, завернет, что городские только руками разведут да затылки почешут:

— Ну, ты, дед, — философ!.. Мыслитель!

А он наклонится с сундука с серьезным лицом:

— А нет?.. Что я, что Маркс, токо у меня борода длинней, а у его ума будет поболее — кака разница!..

Теперь заведутся, и кто-нибудь опять: ну, скажи ты, дед!.. А он только вздохнет, да и пошел на темную половину за печкой воды выпить.

А чтоб он раньше по деревне прошел да кержаков не задел — такого не было сроду.

После того как перевели участок, Монашка моментом пустеть стала. Контору, да клуб, да магазин разобрали по бревнам и зимой тракторами утащили вверх, избы тоже — кто зимником вверх, а кто по воде — вниз самосплавом, так и расплылась Монашка, разъехалась, остались только двенадцать кержачьих дворов да его.

Знакомый кто увидит его, обязательно пошутит:

— Ну что, Савельич, от пенсии еще не отказался?.. Не сагитировали тебя кержаки в свою веру?

А он прищурится хитро:

— А ты у их спроси, токо у каждого отдельно, а то вместе совестно-те им признавать, что они давно уже у меня в ячейку ходят!..

Между собой-то они, кержаки, плотней, но с ним тоже соседятся, дружат, тем более что с Парфеном Зайковым на фронте были они в одном дивизионе, только в разных орудийных расчетах, а Парфен у них сейчас как бы за старшего.

Какой праздник — и Степана с Марьей всегда зовут, а у него что — и вы все приходите...

И придут каждый со своим стаканом, и у кого он черною пряжей перетянут, чтобы заприметить, значит, получше, а у кого зеленою или красной.

А как только подопьют, тут Марьюшка, бывало, и начнет стаканы эти ему передавать, и он и ну пряжу на них менять. Поменяет на всех, кричит:

— Те-те-те!.. Чой-то мне блазнится, что гости мои все осквернились!..

Или срамную какую песню затянет сам первый, а те подхватят, только начни, и рвут глотки, а он тут ладонью по столешнице — хлесь:

— Да чой-то!.. Рази не великий грех — мне, беспартийному, между вас и то совестно, а вам хоть бы хны!..

По деревне идет, напротив Парфеновых соседей Шишиговых всегда останоятся, дождется, пока на собачий лай сама выйдет, крикнет:

— Слышь-ко, Мотък, — опять спутник!.. Ракету, передавали по радиу, запустили...

Мотыка голову в глухом платке клонит, прячет глаза, вроде смирно так говорит:

— Значится, благоугодно было нашему госпуду всеединому разрешить энто... И ангелы господни вознесли на небо тую ракету и того путника.

Скажет — и на небо потом посмотрит, но глаза у нее при этом такие, что всякому ясно: не спутник хочет на небе увидеть, но — господа...

И все, чему такому ни случиться, что веру подрывает, Мотыка тебе так обернет, будто это божьих рук дело: было ему, видать, угодно позволить людям — а пусть-ка тешатся!.. И ангелам своим велел еще и помочь, чтоб все обошлось-то по-хорошему: пусть думает человек, что силен, — когда-то он все равно поймет, что силен он только одним: верою в господа своего...

Чудно это старику слушать.

Увидит Шишижиху в другой раз, кричит:

— Слыш-ко, Мотък, проезжал Гриша Богер, сказывал, Федьку Мордюкова, может, судить будут...

— Ай натворил чего?..

— Да и твору того немного. Отметчице в глаз дал, а та в суд...

— За что ж он на ее — руку?..

— Она ему пять ходок записала, а он захурдыбачил: смеется?.. Если только одну сделал, дак ты на людях изгаляться? Она ему говорит: дак ты жа пьяной был, ты жа не помнишь, а я те говорю — пять!.. А он; а, туды твою растуды — и в глаз...

— Он и десять ходок, дак не протрезвится, — поддержит его Шишижиха.

Она до кержачества до своего тоже в леспромхозе работала, объяснять много не надо, все знает. Федька Мордюков что: четыре хлыста погрузили, толкнули в плечо — пошел, Федя!.. Он и пошел. Дорога среди двух снеговых хребтин — куда он денется? А там на складе разгрузили, тоже гонят, чтоб не мешался, — пошел, не стой!.. И подался Федя обратно. Как будто так и надо, и ездит, и встретишься ты ему на дороге, руку подымеешь, машину остановит, посадит, да только скажи ему завтра спасибо — думаешь, вспомнит?..

Все это Шишижиха знает, но у него все в рассказе-то впереди, колючка у него глубже запрятана.

— Дак ты что же думаешь, ЗИЛа-то своо он в сам-деле-те сам вел?..

— А кто за его, за хулюгана, другой станет?

— А ангела господня рядом с им в кабине видали — вот те крест!.. Сидит за баранкой, заруливает, от сивушного духу морщится... Федька сваливается на его пьяной, а он его от так!.. от так плечом — крыло-те

неумытой харей испакостишь!

Но Шишижиха уже бежит в избу, оборачивается на пороге, открешиваясь, кричит:

— Беси в тебе!.. Беси!.. В языке в твоём и во чреве...

А разве не так?.. Послушать ее, так выходит, в самом деле, что у каждого из нас по собственному ангелу, как их только господь на нас, дураков, настачится, и у Гришки Суразакова — свой, и у Митька Кривошапова — тоже свой, и вот Гришка со своим с утра до вечера чертоломят, а Митька своего давно пить приучил, на пасеку к деду Митькиному завернут да медовуху по пять ден-то втроем и хлещут!..

А совсем недавно Шишижиха сама пришла к нему в избу, проведать по-соседски, чего это на улице не видать, не заболел ли, и он с кровати не встал, только подушку под спину подоткнул, будто присел.

Шишижиха кивнула на старый приемник, спросила:

— Ты своё балабона-те слушаешь?.. Сказывают, потешил господь мериканцев, допустил на луну...

А он сидит да молчит.

— Ангелы господни, сказывают, путника-те мериканского осадили на ее с человеками!..

А он молчит себе, потихоньку улыбается, и вроде видится ему, как ангелы окружили стайкой ракету, хлобыщут крыльями, чтоб не выронить, чтоб опустить ее на луну-то помягче...

А Шишижиха еще посидела, посмотрела на него, и вдруг лицо ее смялось, скукожилось, только толстый и какой-то будто мужской нос остался на месте, а большой рот приоткрылся, и она заморгала обиженно, захлопала:

— Чо молчишь, чо молчишь-то?.. Ежли я неправильно плету, дура-те, дак скажи!..

И плачет, швыркает носом в просторной да тихой избе, и от нее долетел до старика медовушный дух — неужель с горя прикладывалась?..

Чудно!.. Там где-то около луны американский спутник вертится, плывет в синей пустоте, а Шишижиха сидит да из-за этого плачет, за сколько тыщ верст, в заброшенной деревеньке, в глухой тайге...

А ему ни с того ни с сего нет-нет теперь да и представится вдруг, как это все на земле господними ангелами управляется... Шишижиха говорит, что без них и самолеты бы не летали, и пароходы не плавали — каждая железина ангелами поддерживается, это они ей не дают упасть или потонуть... чудно!

Выходит, какой ангел господень, может, заленился, другой заболел — не вышел, третий недоглядел чего, четвертый оплошал где — вот оно самолеты и бьются. Тот станет взлетать да тут же на землю и шлепнется — никто не поддерживает... С другим уже в небе что-либо плохое случится: зазевался ангел, может, куда не туда посмотрел, рассеянный какой либо какой халтурщик.

А сколько нынче на земле тех самолетов? пароходов сколько?.. ракет?

Работенки-то у господя бога да у его ангелов!..

Давно уже небось обтрепались, в машинном масле, да в угле, да в гареве самолетном изгваздались, а облатать себя да постираться, поди, и некогда — работы-то все боле и боле, куда там!

Господь уже небось и сам давно не рад: зачем тешиться-то позволил?!

А вот — вдруг как однажды да прекратится разом вся божья помощь, что будет-то?..

Но когда размышлял старик об ангелах да о тяжелой их и грязной работе, то выходило, что и воевать-то должны были тоже они. Чудно!..

«Значит, под Кинисбергом немецкой-то ангел ка-ак звезданул миной!.. Мой-то меня еще в сторонку чуть оттолкнул, успел, а остальные-то четверо вместе с ангелами своими и накрылись!..»

Потом он о госпитале вспоминал, о первой зиме дома...

А что, корову отдать надоумил Настасью тоже ангел?.. А чей? Самой ли Настасьи?.. Марьин ли?.. его ли он был, Степанов?.. а может, меньшого их — Егорушки?.. Знать бы!.. Потому что не было бы того ангела — и отдал бы старик богу душу еще в сорок шестом, как пить дать, сюда не дожил бы...

А еще он теперь все время вспоминал, кто из знакомых стариков как помер.

Чудней всех, может, — монашеский Филипп Иваныч Курнаков, царство ему небесное...

Лет пятнадцать назад было. По последней воде сам на своей моторке подался он в Осиновое плесо, пришел в сельсовет. Председателю и говорит: так-то, Семен Палыч... Надо на бабу на мою пенсию переписать, не то я вот помру, а она будет потом в распутицу туда-сюда грязь месить, будет с бумагами по начальникам бегать... А давайте-ка все заране. Я вот и заявление сообразил, где, говорит, обсказано все честь честью...

Председатель ему: да что ты, Филипп Иваныч! Никаких таких заявлений я тебе не подпишу... Ты-то живой, а пишешь уже, что мертвый, да разве можно?.. Что это тебе в голову зашло? Ты еще больше меня проживешь!

А старик Курнаков уперся: Христом-богом прошу — подпиши.

Председатель, тот, конечно, заявление в руках вертит, плечами жмет: непонятно.

А Курнаков говорит:

— Я тя, Семен Палыч, обманывал когда?.. И тут не обману. Я сразу помру, об этом не беспокойся и в подозрении ничего не имей...

А он и на самом деле был не болтун какой, на слово на свое крепкий.

Тут телефон у председателя зазвонил.

Председатель взял трубочку — из города ему, из райисполкома. Вот пока там то тебе да другое, да погода как, да как план, да весь ли скатился таймешек или еще идет, ла-ла-ла, кто там знает, да только когда положил председатель трубку, отвернулся от окошка да на Филиппа Иваныча глянул — а тот уже и синеть начал...

На сельсоветовской лодке в гробу обратно на Монашку его и привезли, вторая-то лодка, самого Курнакова,

на буксире, и книжку старухе, уже на нее переписанную, тут же отдали, вот, говорят, Филипп-то Иванович о вас позаботился. А она и не знала, зачем он ездил, думала, засиделся в избе да четвертинку на берегу около «Дуная» собрался выпить!..

И один, и другой раз, и третий вспоминает теперь об этом старик — непонятно!.. Есть тут какая-то загадка, и правда, есть тут смутная какая-то тайна, есть — только какая?..

Или как Тимофей Семеныч Гридин скончался.

Тот при смерти был уже какой день, жинка сидела около него, вдруг дверь в избе возьми да отворись...

А Тимофей Семеныч-то жинку схватил за руку, вцепился, она потом недели две еще когти-то его бабам показывала.

— Не отходи, — шепчет ей, — не бросай меня одного — это смерть моя за мной пришла!.. Только ты отпустишь — она возьмет, разве не видишь?

Та успокаивать: да нет, ветер или собака, может, толкнула, а может, телок, мало ли, — а он руку не отдает — не отходи!

Так с утра и до вечера она и просидела с ним рядом, как вдруг на улице выстрел да крик, а ей показалось, вроде сын кричит, приехал из города, телеграмму давали, и выскочила, а это туристы, дураки эти, по табунку уток ударили, шел над деревней...

Вернулась она в избу, а Тимофей Семеныч уже холодный лежит.

Жинка-то его рассказывала потом:

— Я как глянула, дотронулась до лба — как столбняк хватил! Стою и себя не чувю. И вдруг дверь снова-то: скри-ип!.. И растворилась. Тут-то у меня уж мороз по коже... Неужели и правда так: то пришла она, его смерть, а то душу-то взяла да и вышла?..

Когда вспоминает теперь об этом старик, то на дверь на свою невольно поглядывает... А что, если тоже так: скри-ип!..

Ему и руку протянуть-то теперь некому!

Звали его в город и сыны и дочки, звали, да только он не поехал, и правильно сделал. Он так рассуждал: тут-то он их то одного, то другого ждет, тут-то ему крепиться надо, чтобы без них не помереть — вот он и будет крепиться, вот он еще и поживет!.. А там что? И дети, и внуки рядышком, все — вот они, только и остается тебе — ложись да помирай, да пусть обратно везут, на кладбище на монашенское, в городе он не хочет лежать среди шума да лязга, он тут, на взгорке, откуда и речку хорошо видать, и тайгу, и синие горы...

Не поехал он, и правильно сделал, да только одному-то уж сказано — одиноко. Да и страшновато оно, когда подумаешь, что дверь вот так потихо-онечку: скри-и-ип!..

Хотел он сперва сменить на притолоке войлочную набойку, чтоб прикрывалась дверь поплотней, а потом раздумал. Если так она скрипнет — то можно еще ему будет подумать: ветер, мол!.. А если при новой набойке — тоже?.. Тогда уж нечем будет глупому старику себя успокоить.

И о том, как Тимофей Семеныч Гридин помирал, старается старик думать поменьше и совсем уж себе не позволяет вспоминать об этом на ночь... Только краешком начнет это выплывать, только он это почувствует, сразу же сам себе: «Хух ты!.. А не попадали угли-те на пол?.. А то сгорю!»

Печка-то уже неделю нетопленая, да не в этом дело. Подумаешь о чем-либо другом, вроде таком же страшном, и другую думку, которая еще страшней, — отпугнул...

Уж не потому ли старику больше нравится вспоминать Мокея Иваныча Шестакова — тот легко отходил, уж как просто да терпеливо, потому небось, что память-то ему в последний год отшибло.

Мокей Иваныч был еще царский офицер, из рядовых дослужился, из простых сам. В Осиновом однополчанин его раньше жил, тоже старик, тот рассказывал:

— В шестнадцатом-то увидит ково свово, земляка, и виду не подаст, не то что руки... А потом ординарца за тобой пришлет, заходишь к нему в землянку, тут он обнимает тебя: ну, здрасьте!.. Извините, говорит, земляк — он со всеми только на «вы» — извините, говорит, но я иначе не мог. И так надо мной их благородия белая-то косточка смеются... кто я для них — выскочка!..

А было у него два «георгия», и тот же однополчанин рассказывал, что командира добрей да заботливей, чем Мокей Иваныч, вряд ли можно сыскать.

И жил он у сына на Монашке тихонько, старый уж очень был, а как финской войне начаться, надел вдруг старик оба своих «георгия» и заспешил по деревне, да с таким озабоченным лицом, что первый встречный и остановил:

— Мокей Иваныч, куда это?

А он вежливо так да спокойно:

— Извините, видите, вон — косогорчик?.. Так вот за косогорчиком рота моя расположилась в буераках... Пойду гляну, как ребятки...

И каждый день, а то и два-три раза на дню по любой погоде за свой косогор частит — и лето и зиму...

Слух об этом чуде Мокея Иваныча прошел по реке, и раза два или три потом монашенские видели, как вслед за стариком крался уполномоченный НКВД из Осиновой, боялись, заберут Мокея Иваныча, но ничего, бог миловал, уполномоченный, говорят, только головою покачивал, когда Парфен Зайков отвозил его на моторке обратно...

А старику, видать, нравилось, когда его расспрашивали — куда? — оттого и сам он, Степан, тоже, бывало, частенько вопросом таким его остановит.

И Мокей Иваныч грудь выпятит в стареньком-то колушке, а голову чудно так держит: и поклонится тебе вроде, и вместе как будто чуть свысока на тебя смотрит. И тихеньким да вежливым, но очень твердым каким-то голосом одно и то же всегда:

— Извините, видите, вон — косогорчик?

Монашенские часто потом вспоминали Мокея Ивановича с этой его рогою, и он сам, Степан, тоже припоминал иной раз, но никогда раньше не задумывался: а что же дальше-то было, когда скрывался Мокей Иваныч за косогором, когда подходил он к своим-то буеракам?.. Стоял он там либо прохаживался? А может, мерещилось ему что?.. И он разговаривал там, а может, и покрикивал, командовал?..

И через столько-то лет задним числом вдруг поругивать себя начал старик: а что бы подглядеть хоть бы раз за Мокей Иванычем — разве не любопытно?..

..Сейчас, лежа в постели, в который уже раз снова подумал об этом старик, и ему сделалось и страшновато и томно, нет, лучше обо всем этом и в самом деле не вспоминать, лучше полежать тихонько, на улицу не выходить, куда ему идти-то, старику, вон ему, и правда, лежать надо, бок у него болит, колотье...

И старик снова прикрывает глаза, но как только прикрыл — опять ему: то у окошка он сидит, то на пригорке над своею избою... а то на ступеньках пристроился, на солнышке жмурится, как кот, а рядом Кучум лежит, тоже пригрелся, уснул, повизгивает во сне, может быть, зверь ему снится, а может, сука — ворчит вроде не очень-то злобно...

А боль в боку у старика давно затихла — и правда, как назло.

«А куда и не пойду, все равно нельзя, — думает старик, — вот если только на крыльчке посидеть, в самом деле, на ступеньках — вон солнце какое. Что это я, бляха-муха, зимой в избе не замерзся?..»

И радостный оттого, что разрешил себе это наконец, торопливо откидывает старик одеяло и начинает вдруг суетиться, то одно искать, то другое, и спешит побыстрее одеться, и томится, и беспокоится, потому что это у него не выходит, и все так, будто не на ступеньки собирается — на край света.

А на крыльчке и в самом деле хорошо.

Солнышко печет совсем жаркое, светлое, и запах сейчас на улице какой-то чудной. Будто летний дух с зимним встречается. На припеке-то уже и сухим смольем пахнет, и прогретым сенцом, и теплым скотским нутром, а из углов-то, из тени все еще тонким морозцем тянет, несет холодом да пустотою.

Река против вчерашнего вроде повеселей стала, просветлела, а около того берега под желтыми тальниками кажется она светло-синей — наверно, от чистого светло-синего неба.

Старик посмотрел, прищурившись, вверх — вот где свету-то да простору! — и вдруг услышал вдалеке тонкий гусиный гогот, и прижук...

А гогот будто носился из края в край над рекой, то пропадал вдруг где-то за излучинами, а то возникал уже совсем рядом, звонкий, отчетливый, потом послышался враз тугой мах сильных крыльев, и потревоженный воздух как будто донес до старика и слабое птичье тепло, и запах живых перьев.

Неплотная стая пронеслась не выше осокорей.

Над стылой рекой, над начинающими оживать уже зелеными кое-где берегами дальше понесла она свою радость от встречи с родимой землей.

Старику опять стало тоскливо, но странная это была тоска, она словно бы сладко засасывала, она не хотела отпускать, и ему захотелось сейчас же встать и пойти со двора и взобраться на солнечный склон за избой, посидеть там, отдохнуть, неторопливо пойти дальше...

И ему и боязно снова было, и тревожно, и его опять словно что-то томило, и он знал, что стоит ему пойти — и это перестанет его томить, отпустит, да уж больно чудно как-то все получается, он сознавал, но поделаться с собой уже ничего не мог, очень хотелось ему этим теплым весенним днем пойти со двора...

«А Парфена-то нету на взгорке? — подумал старик. — Сено остатнее он стаскивать должен, а мне с им поговорить — все легче...»

И он сказал себе, что дойдет только до Парфена Зайкова, с ним постоит, поговорит чуток по-соседски, да и повернет обратно домой.

За избой, за стайками было сумеречно и зябко, и он поспешил отсюда, выбираясь на склон, заоскользался на раскисшей глине у самой его подошвы, потом ступил на тропку, этой весною еще не хоженную, потихонечку стал забираться вверх...

На бугре он остановился отдохнуть, положил на палку обе ладони, приткнулся к ней грудью.

В светло-зеленых, налитых желтым светом тальниках на той стороне и в самом деле то здесь, то там поблескивали, покалывали глаз еще не совсем истаявшие льдины, темнел дальше черемушник, высоко над ним ясно сквозили серые кроны осокорей, а за ними начинался до черноты зеленый сплошняк пихтача, пробитый иногда разлатыми кедрами, тянулся по согре до разлома и на пологом склоне будто редел, там север, там еще снежок рябил кое-где, и рябили островки голого березнячка, но по горбатуму гребню снова шла зубчатка пихтача да ельников, далеко-далеко за которой стлыи в холодноватом мареве белые верхушки гольцов...

И сладко было смотреть старику окрест, и тревожно — ему будто вспомнилось сейчас, что есть у него неотложное дело, которое давно ждало его, которое томило, после которого должно было старику стать проще да легче.

Торопясь, он повернулся и, сторонкой обходя кладбище, пошел к невысокому стогу, возле которого ходил с веревкой в руках Парфен.

И чем ближе подходил к нему старик, тем сладостней было у него на душе и мучительней, и сердце,

которого он — и на гору взошел — не слышал, шевельнул вдруг теперь какой-то тихий червячок, оно толкнулось сильнее, забилося.

Парфен глянул на него, медленно сказал усмехаясь:

— Чтой-то... растопорщенный весь?.. Будто рябок на маночек.

Старик, прокашлявшись, сказал:

— Весна-те!.. Она и человека, и зверя, и птицу!..

Сердце у него билось где-то под горлом.

А Парфен снова взялся за свое сено.

И тогда старик еще кашлянул, на этот раз будто виновато, и бочком пошел мимо. Парфен спросил уже в спину:

— Ты... далёко?

И у старика совсем захватило дух, он мучился и от страха, и от манящего предчувствия легкости, которая, он знал, должна к нему прийти потом вместо бесконечной тревоги этих последних дней...

Дрожащими пальцами он повыше подтолкнул шапку, расстегнул еще одну пуговку на груди, ему было жарко.

Каким-то нарочно веселым голосом, будто совсем не своим, спросил:

— Ты Мокея Иваныча-то помнишь?..

Парфен словно подумал чуток:

— Как не помнить?

— Рота-те у его была...

И опять вроде о чем-то подумал Парфен — торопиться-то он никогда не торопится.

— Ну, да... за горушкой там... в буераках...

Старик сказал радостно:

— Дак вот!.. Сколько-те лет, а...

Он как будто бы запнулся и виновато развел руками:

— Шуть его, чо там есть... как там... пойду!..

И заторопился, покачивая на ходу головой, тоже будто в вине какой или неловкости...

Парфен рот приоткрыл да так и стоял...

А старик уже спешил дальше за малым взгорком, шел быстро, и ног его не было видно, и весь он был и рядом, и будто пропадал в легком весеннем мареве, отчего казалось, что не идет он вовсе — летит...

ОПОЗДАВШИЙ

В. Мазаяву

История получилась в общем довольно простая... Когда утром — за три часа до отлета — я покупал билет в городской кассе Аэрофлота, мне сказали, что самолет на три часа еще и запаздывает. Три да три — шесть, несложная арифметика подсказывала, что впереди у меня целый день. Я позвонил друзьям и тут же отправился по делам, которые ждали меня в этом городе, а в полдень мы собрались в ресторане и хорошенько отобедали. Когда друзья поднимали очередной тост за благополучный полет, я не выдержал, вышел к автомату и в который уже раз позвонил в Аэрофлот, но симпатичный голос снова уверил меня, что ничего не изменилось, что я по-прежнему могу не торопиться.

И мы не торопились — и когда ожидали такси, и когда, лениво покуривая, удобно расположились в машине, и когда уже в аэропорту спокойно себе стояли в очереди к справочному бюро.

А в справочном бюро вдруг сказали категорически:

— На рейс сто шестнадцатый посадка уже завершена.

— Как то есть завершена?

— А так!

Мы бросились к стойке. Мы показывали на часы и возмущенно говорили все разом. Пожилая сотрудница Аэрофлота еле успевала кивать:

— Да-да, самолет пришел на час раньше, да, а вылетное запоздало...

— А может быть, еще удастся успеть?

И она вздохнула и печальным голосом обреченной на вечное терпение стала объяснять: в Братске пассажиров и так взяли на борт сверх нормы, да сам экипаж сегодня на два человека больше обычного. Конечно, может быть, командир и согласился бы посадить лишнего человека, да только вряд ли, на борту как раз — проверяющий... Все тридцать три несчастья сразу!

И все-таки мы бросились к самолету.

В Ил-восемнадцатый еще грузили вещи, по трапу тянулась цепочка пассажиров, внизу, чуть поодаль от толпы, стоял средних лет человек в форменной аэрофлотской шинели, с кремовым шарфом и в каракулевой шапке с кокардой.

— Простите, вы не командир?

Он только оторвал сигарету от губ и молча повел ею вбок.

Там около другой двери к борту самолета приткнулась крашенная ярко спецмашина с подъемником, а на площадке подъемника, широко расставив ноги, стоял другой летчик.

Он был высок и широкоплеч, но когда я подошел к машине поближе, то снизу он показался мне еще выше и плечистее. И правда, он был как памятник Покорителю пятого океана — даже в чертах лица у него была сейчас и монументальная решительность, и монументальная строгость, — и я, стоящий внизу, у пьедестала, вдруг понял, что не смогу договориться, — мне это разом стало ясно до тоски. Голосом, уже заранее неуверенным, тонушим в аэродромных шумах, не своим, каким-то тонким чересчур голосом я крикнул:

— Товарищ первый пилот!

И он только повел глазом.

— Товарищ первый пилот!.. У меня билет на этот рейс, но такая штука произошла...

А он уже не глядел на меня, он только головой покачал: нет-нет.

— Товарищ первый пилот!.. Мне и в самом деле необходимо, поймите, я не стал бы из-за пустяка беспокоить вас.

А он, как и полагается памятнику, спокойно смотрел вдаль.

У меня сорвался голос, и я почувствовал испарину под шапкой на лбу, и мне стало вдруг невыносимо жарко в теплом моем свитере, и я вдруг услышал, как пощипывает натертую твердым задником ногу... И вообще, я вдруг ощутил себя совершенно никчемным человеком... Я как бы посмотрел на себя со стороны и удивился совершенно серьезно: как эта жалкая личность захотела вдруг полететь на *этом* белоснежном лайнере который поведет *этого* пилота?!

На мне было новое пальто, которое, я знаю, мне идет, и в руке я держал элегантный портфель хорошей кожи, и в другой — великолепные перчатки, и я был совершенно трезв, но, ей-богу, сейчас я почувствовал себя так, словно стою внизу, неряшливо одетый и совершенно расхристаный, а в руке у меня раздувавшаяся от кое-как сложенных и прорвавших газету вещей авоська, и я слегка пьян и потому смешон и неловок.

Часто ли вам приходилось кого-либо уговаривать, убеждать, попросту говоря — просить?.. Меня, например, всегда подталкивали вперед, если надо было о чем-либо договориться, и еще в школе, а потом в институте считалось почему-то, что я беспроектный парламентар, надо ли говорить с нашим деканом или с тем бригадиром, в чье подчинение мы попали на картошке. Пожалуй, меня и сейчас еще числили в записных книжках, но сам-то я давно знаю, что все обстоит не так просто.

Бывает, что тебя ждет тяжелый разговор, но вот между тобою и твоим собеседником безмолвно, словно солнечный зайчик, проскакивает благословенный дух понимания, и все уже вдвое проще. Зато бывает, что тебе достаточно приоткрыть дверь и только взглянуть на того, к кому ты пришел за помощью, — и тебе уже ясно, как дважды два: номер твой, что называется, не пройдет... Ты можешь интеллигентно улыбаться, ты можешь горячо спорить или тихонько лежать в обмороке: здесь доказывать что-либо — все равно что пытаться пройти сквозь стену. Не знаю, у кого как, но у меня всегда все решается только эта самая первая минута.

Теперь она уже была позади, и я проиграл.

Всегда придает уверенности, если не о себе ты заботишься, а отстаиваешь общие интересы; и гораздо легче бывает и заступиться, и попросить за кого-то, нежели за себя самого. Теперь я подумал было, что с пилотом, может быть, найдут общий язык мои друзья, но то, что он стоял очень высоко над нами, лишило вдохновения, видно, не только меня. Друзья мои, покорно глядя вверх, стояли исправными истуканами; и, посмотрев на них, я понял, что сам я, протянувший руку, невразумительно вдруг замолкший, выгляжу сейчас, наверное, и совсем жалко.

Может быть, я тоже походил сейчас на памятник, на скромный, мягко говоря, памятник опоздавшему?

— А если с этим, что на земле, поговорить? — предложил один из моих друзей, кивнув на летчика, который все еще стоял около трапа.

И мы пошли от машины.

— Простите, а вы не могли бы помочь?.. Билет у меня на этот рейс, вот, взгляните, пожалуйста, вот...

Он как-то очень по-дружески сказал:

— Я все понимаю, ребята... Я знаю. Тут с билетами такая петрушка вышла, продали больше, чем надо, да что теперь делать?.. В Братске — не поверите — перед самым вылетом заявляется начальник дороги с телеграммой из министерства... Надо его взять, вот так, что называется... Так там уж на что пошли? Дежурная, что в самолет пускает, к одному из пассажиров придралась... Он — ну один запашок, говорят, был, а так совсем трезвый... Придралась, а тут и милиционер уже стоял. «Пройдемте», — и будь здоров! А начальник дороги вместо него — в салон...

— И так и полетел... без всяких?

— Виталий Ивановыч! — крикнул из той двери, около которой стояла машина с подъемником, коренастый летчик с большими залысынами. — Я тебя жду!

Наш на секунду обернулся.

— Сейчас я! — И сказал так, словно убеждал больше, себя, чем нас: — Так вот, а что ему оставалось делать?.. У них там лимиты, говорит, режут... Да вон он, тон он пошел — с усами!..

Мы еще успеваем заметить, как скрывается в двери плотный горбоносый грузин в нейлоновой куртке и в ушанке из пыжика.

А коренастый летчик снова:

— Виталий Иванович!.. Да кончай ты с ними!

А с трапа вдруг оборачивается к нам толстенная тетка — дежурная, кричит так, словно мы давно уже вывели ее из себя:

— Не видите, что нету места, ну нету!.. Болтаются тут, болтаются под ногами!

Летчик говорит:

— Извините, ребята, я пойду...

— И болтаются, и болтаются!..

— Да мы ведь не с вами разговаривали!

— А я б, думаешь, посадила?

— Да ничего мы не думаем!

— Не думают, а болтаются!..

Тут прорывает моих друзей:

— Ну нет, хватит!.. Там они, видишь, пьяного снимают... Тут они совершенно трезвого человека с билетом брать отказываются!.. Пошли к начальнику аэропорта!

— Да ну его! — говорю я вдруг и сам себе удивляюсь. — Чего ходить без толку?

— Что значит — да ну его?! Что значит — без толку?..

— Примерно одно и то же...

— Нет, ты посмотри на него!

А со мной что-то такое интересное произошло, как бы объяснить... Короче, мне расхотелось лететь, как-то вот механически расхотелось — как будто бы меня взяли за плечи и повернули от самолета, и вот я со своим портфелем хорошей кожи уже спокойненько тащусь в другую сторону.

Нет, не подумайте, что мне не очень надо было лететь.

Как раз надо.

Мне необходимо было попасть в Москву именно сегодня, пусть сегодня ночью, пусть рано утром завтра — не позже. Иначе мне вообще потом нечего лететь — все решат без меня. Нет-нет, мне очень надо было лететь именно этим рейсом!

И вот я спокойно иду от самолета. А может быть, так надо?.. Неизвестно, какой выпадет рейс, и судьбе угодно поставить у трапа жесткую ладонь ради меня, дурака. Или наоборот. Этот будет совершенно благополучный рейс, а мне сегодня предназначен как раз другой. И вот судьба ставит передо мною жесткую свою ладонь, и на лице ее дьявольская усмешка...

Как бы там ни было, а я не улечу — это ясно. И мне ни с кем не хочется из-за этого ссориться. Перепишу билет на другой рейс. Буду ждать.

Мы подходим к справочному; на этот раз тут никого, и я здороваюсь, и спрашивать не тороплюсь — это один из моих друзей решительно говорит:

— Девушка!.. Нам целый день отвечали, что сто шестнадцатый летит в четырнадцать по Москве. Еще нет и тринадцати, а... Вы не могли бы дать адрес: кому сказать за это спасибо?

В справочном сидит удивительно милое существо — вон и по телефону какой симпатичный у нее голос. И существо это виновато улыбается, моргает длинными ресницами и говорит очень мягко:

— Говорите мне, что ж, это я отвечала... Меня так ориентировали, вот я и отвечала. А вылетное задержалось — говорите мне.

И я ее утешаю:

— Вы же не сами это выдумывали, правда?

Она благодарно улыбается:

— Ой, вы знаете, сегодня такой день!..

— А есть ли места на следующий рейс?

— Конечно, будет для вас — мы же сами виноваты!

Она сначала куда-то звонит, потом берет билет и что-то пишет на обороте большими круглыми буквами.

— Через час он вылетает из Москвы. Пять — пять двадцать в пути — через шесть с половиной часов вы полетите.

— Нет, почему все-таки так получается: билет у человека на этот рейс, — начинает один из моих друзей, — а ему... Непонятно!

Ничего не поделаешь; провожатым бывает, вероятно, обидно ничуть не меньше, чем тому, кто должен был полететь, да не полетел. На самом деле, вот посидели мы хорошенько, сказали все, что положено, слова. Один потом при мне позвонил жене на работу, а она как раз вышла, и он попросил передать ей, пусть она не волнуется, Мишку из садика он сам заберет. И вслед за ним позвонил другой, тоже позвонил женщине, только, судя по глазам, которыми он поглядывал на нас, — не жене, позвонил и тоже попросил не волноваться.

Я сказал:

— Знаете что, ребята. Теперь моя очередь провожать. Посажу-ка я вас в автобус...

— А ты?

— Пожалуй, я не прочь бы вздремнуть. Пойду в гостиницу, прилягу, а если самолет запоздает, то в гостинице и хоккей посмотрю — в час ночи по местному наши должны играть с чехами.

Все трое моих друзей, как и полагается друзьям, предложили по очереди:

— А может, ко мне?..

Но ведь я как будто уже улетел. И сквозь смыкающиеся двери автобуса мне прозвучало напутствие:

— Если что — приезжай!

Мест в гостинице, разумеется, не было. Телевизор здесь третью неделю не работал — меняли кинескоп.

Удивительно, это меня почему-то ни капельки не расстроило — больше того, в настроении моем появился элемент какого-то грустного торжества.

И понес я по аэровокзалу туда и сюда свой портфель хорошей кожи.

Женщины в аэрофлотском за стойками, продавщицы в киосках казались мне сейчас удивительно добрыми, уставшими от работы и чуточку грустными — я их почему-то очень жалел.

Походив немного из одного угла в другой, я носом к носу столкнулся с толстой дежурной, которая накричала на нас около улетевшего Ила. Уступая ей дорогу, я улыбнулся, и на ее простоватом лице эхом отразилось подобие улыбки. Из-под клетчатого ее платка предательски выглядывали бигуди.

Я обернулся, провожая взглядом трещащую по швам аэрофлотскую шинель и короткие ноги в сапогах, на которых «молнии» безжалостно застряли где-то на середине; я смотрел вслед толстой дежурной, и сердце мое обливалось жалостью...

Потом я разделся, прошел в ресторан, сел за пустой столик и попросил принести бутылку минеральной.

Одна стена в ресторане была — сплошное стекло, оно выходило на аэродром, и сквозь него очень хорошо было видно и покрытое снегом поле с накатанными черным бетонными полосами, и небольшие самолеты, праздным рядком стоящие на нем в сторонке поодаль, и спящие туда и сюда машины — ту, оранжевую, с подъемником, и другую, у которой борт был — шахматная доска, и темно-зеленый легковой «газик»...

Там, за окном, один самолет сел; и скоро с поля потянулась негустая цепочка, прошла потом совсем близко внизу и исчезла где-то у меня под ногами. Потом к черным поручням, отделявшим территорию аэровокзала от поля, близко подрулил другой самолет; и уже другая цепочка выкатилась из вокзала, откуда-то снизу, и вслед за дежурной неторопливо пошла на посадку.

В зрелище в этом не было ни горя, ни радости, но сейчас оно мне показалось трогательным и почему-то немножко печальным.

Симпатичная девушка с крашенными под розового фламинго волосами принесла мне бутылку воды, и уже над самым столом бутылка словно выскользнула у нее из рук и ударила о столешницу.

Конечно, я мог бы подумать, что девушка с волосами цвета розового фламинго просто не очень довольна тем, что я буду пить боржомом, а не молдавский коньяк, что боржомом она почему-то не одобряет; но сейчас мне показалось, будто эта милая девушка просто расстроена какими-то своими неприятностями, и ее я тоже искренне пожалел.

«А чего это ты вдруг всех взялся жалеть?» — сам себя спросил я потом напрямик.

А может быть, это реванш за проявление комплекса у машины с подъемником, на котором стоял первый пилот? «Смотрите, смотрите! — кричало теперь все во мне. — Разве я такой уж плохой человек? Вон я какой добрый и все понимаю... Надеюсь, теперь-то вы видите, как плохо вы поступили со мной, не посадив меня в тот самолет?»

И мне вдруг стало ясно, что я давно жалею себя, и теперь мне больше нечего было от себя это скрывать, и я пожалел себя уже совсем откровенно, и тут мне стало очень грустно и одиноко...

Знаете, бывают такие минуты, когда с какой-то странною тоской думаешь о том, что где-то есть тихие, засыпанные чистым снегом города с уютными огоньками в окнах... И эти люди, которые вокруг тебя сейчас пьют вино, зажигают сигареты, незаметно поправляют прически, громко говорят или тихонько смеются, люди эти потом вернутся к тем домам с уютными огоньками, и их радостно встретят, и они разденутся, в прихожей оставив уличный холод, и снимут сапожки или башмаки, и будут сидеть с ногами на старой тахте, пить чай и слушать метель за окном. И это кажется тебе таким несбыточно-дорогим... Как будто у самого тебя нету теплого дома, куда ты потом вернешься... как будто бы тебя некому встретить... как будто сам ты будешь скитаться вечно...

Или это и есть то самое щемящее чувство дороги, о котором поется в песне?

Я снова вспоминаю о той жесткой ладони, которую поставила перед трапом судьба, отделив меня от остальных. Чего там, ведь мы думаем об этом в аэропортах, мы думаем об этом потом, когда сверху посмотрим на подернутую синеватой дымкой такую далекую — оттуда — землю.

Раньше для меня вообще как-то само собой разумелось, что самолеты могут разбиваться, автомобили врезаться один в другой, моторные лодки — переворачиваться и тонуть.

И только потом я понял, что авария — это не правило, а трагическое исключение из него, которое, как водится, лишь подтверждает правило; только потом я понял, что самолеты, автомобили и лодки должны лететь, мчаться и стремительно нестись по воде, поддерживаемые сумасшедшим запасом прочности и крепостью человеческой работы, ведомые мастерством и волей, которые борются до конца.

Странно: понял я это после аварии на одной из причерноморских дорог, когда вдвоем с таксистом, известным автогонщиком, шадя другую машину, мы по всем правилам врезались в бетонный столб и повисли над морем на одном колесе...

Правда, самолеты все-таки — статья особая.

Потому что многое хранит нас на земле — инстинкт, чувство тревоги и утроенные опасностью наши сообразительность и ловкость. Я могу накрепко вцепиться в сиденье и вовремя упереться ногами; я смогу выплыть, если вдруг повезет... А входя в самолет, все возможности своего психофизического «я» ты как бы

оставляешь на земле, и среди провожающих остаются и предназначенный тебе Добрый Случай, и почти всегда рядом с ним остается твой Шанс...

Конечно, самолеты должны лететь... Но что меня сегодня ждет?

И вот сижу я, притихший, а боги словно бы спорят обо мне над моей головой. И, твердо полагаясь на них, все-таки я пожалел себя еще и про запас, на всякий, так сказать, случай, но долго жалеть — это очень трудно, даже если ты жалеешь себя самого, и тогда я сказал себе: «Ну, ну, не скисай! Ладно, парень, не такой уж ты и несчастный!..»

Мне вспомнился рассказ летчика о том, как в Братске не пустили в самолет самую малость подвыпившего человека, как вместо него полетел другой...

Тому парню из Братска сейчас, пожалуй, немножко похуже. Ведь для того это какая большая обида... Начнет доказывать, что он прав, и раскритичится в милиции. Или потом напьется уж обязательно и будет размазывать по лицу пьяные слезы: в самом деле, за что?

Это ведь смотря на какой характер, а то обиды и на полжизни хватит, и на всю жизнь.

Интересно, знал ли начальник дороги, у которого могут срезать лимиты, каким образом для него выгадали место? Сказал ли он: «Вы поосторожней там, вы помягче с тем человеком — я потом прослежу...»? И вспомнит ли его, когда, отстояв свои лимиты, он выйдет из министерства, вздохнет полной грудью и чуточку постоит, глядя на суету и мельтешенье вокруг?...

А дежурная — вспомнит ли она вечером этого парня?.. Пожалует ли его? И — шепотом — извинится ли перед ним? И вспомнит ли его милиционер, скажет ли другу: «Ты знаешь, как-то сегодня нехорошо получилось...»?

Вечер за окном уже начинал синеть, снег теперь не блестел ослепительно, а стал серым и подернулся дымкой, и по черной бетонной полосе маленький «газик» прокатился уже с огнями.

Вылетел ли из Москвы мой самолет, тот самый, на который я хочу сесть ночью?

Первым делом я подошел к справочному, и там была уже другая девушка, тоже совсем молодая и очень милая, и она сказала мне, что вылетной из Москвы пока нет.

Я снова потолкался по аэровокзалу. Дневные полеты, видно, уже закончились, и он теперь обезлюдел и затих.

Снова поднявшись наверх, я сел теперь в холле спиной к ресторану, глядя в такое же, как и там — от пола до потолка, — двойное окно. Толстые стекла совсем уже потемнели, в них двоились рыжие плафоны, а за ними замерзал уже совсем густой зимний вечер, простроченный цепочкой убегающих вдаль фонарей.

Сначала из города пришел автобус, потом на площади развернулась легковая машина, на обе стороны ее крыльями распахнулись и беззвучно потом захлопнулись дверцы, и на лобовом стекле сбоку светлячком зажегся зеленый огонек.

Сейчас можно спуститься вниз, сесть в такси и поехать к другу, к тому, у которого есть телефон. Снять башмаки, и на толстом ковре вытянуть ноги под низким столиком, и выпить чашечку-другую крепкого кофе. И мне надо будет только руку протянуть, чтобы позвонить в аэропорт, а потом мы включим телевизор и посмотрим хоккей, этот матч нельзя не посмотреть, а потом позвонят, что выезжает такси...

Можно спуститься вниз и поехать — это мы всегда выбираем, так легче ждать, и жить так легче и проще всегда.

Интересно, почему мы не очень-то любим оставаться наедине с собой?.. Что — такие уж мы сами для себя неинтересные собеседники?.. Или нам, знающим о жизни нечто большее, чем хватило бы для того, чтобы просто жить, знающим не только то, что нам полезно, но и другое — то, что нам и знать не надо бы, неужели нам просто-напросто нечего сказать себе же? Или нам и подумать-то особенно не о чем?

Вроде бы нет...

У меня в последнее время как раз одно за другим неважные пошли дела, я стал задумываться... Все чаще я ловил себя на том, что раньше, например, я всегда был убежден: будет лучше, будет интереснее, то есть как бы это объяснить?.. Ну, предположим, если раньше я ловил довольно большую рыбу, то после, когда проходила радость, я обязательно думал: «Это что, я потом поймаю еще бóльшую!» Я всегда в это верил. А теперь мне вдруг начало казаться, что бóльшей-то как раз и не будет. Что самую большую свою рыбу я уже поймал — и, может быть, уже давно...

Или вот — я всегда помнил места, в которых мне было хорошо. Цветущий сиреневым озерный камыш на Южном Урале... Ржавые болота Карелии, низкий над ними туман, и стремительный из этого тумана гусиный лет, и резкий посвист упругих крыльев... И журавлиный крик над утренней изморосью кубанского бабьего лета.

Мне всегда казалось, что когда-нибудь я обязательно вернусь в эти места и мне там будет так же хорошо, как хорошо было несколько лет назад; но вот однажды я вдруг понял, что все эти места — уже в прошлом, и встреча с ними, и разлука были последние, — вот что я стал понимать, и еще многое-многое другое...

Неужели тридцать три — это перевал, откуда уже невозможно обманываться насчет многих из тех вершин, которые еще так ослепительно сияли для тебя всего лишь три-четыре года назад?..

Глухая ночь темнела за окном. Я спустился вниз и снова подошел к справочному бюро.

— Сегодня еще будет рейс из Братска в Москву?

Девушка удивилась так, словно я спросил ее о чем-то заведомо ясном.

— Это еще почему? — Она скосила глаза и странно прищурилась, будто прислушиваясь сейчас к своему голосу.

— А когда?

— Что — когда?..

— Когда из Братска в Москву полетит очередной самолет?

Она отложила книжку и пододвинула к себе справочник. Она листала его и улыбалась чему-то, и из глаз у нее никак не уходила веселая и чуть хитрая доброта.

— Семь сорок Москвы по всем нечетным дням недели, включая субботу.

Я немножко подумал, переваривая.

— Значит, завтра он не улетит?

— Сегодня у нас среда... Нет, завтра — нет!

— Жаль парня, — сказал я.

Она спросила:

— Что такое консоме?

— По-моему, суп... Во всяком случае, что-то жидкое.

Она дернула плечиком:

— Я думаю — жидкое, если она его облила...

— Наверное, он заслужил?

— Как раз нет!

Герои у нас с ней были явно разные.

— А как вылетное из Москвы?

— Вылетного пока нет, но я думаю, что он вылетел.

— Отчего бы ему и правда не вылететь?

— Вот именно! — И она улыбнулась.

Да, этому парню из Братска крепко не повезло...

А вдруг ему тоже, как мне, например, надо появиться никак не позже самого раннего утра завтра — в четверг? Думаю, что его об этом не спросили, перед тем как увести с поля.

Теперь впереди у него еще почти двое суток. Интересно, как он вернулся домой?

А вдруг он не из самого Братска? Вдруг это какой-нибудь незадачливый дедок из дальнего сибирского села?..

Кто бы он ни был, ему здорово не повезло...

На втором этаже я снова опускаюсь в низкое кресло напротив окна, выходящего на пустынную сейчас площадь перед зданием вокзала.

Неподалеку от меня, запрокинувшись на спинке, надвинув на глаза шапку со звездой, спит молоденький солдат. Приткнувшись головами друг к другу и одинаково держа на коленях сумочки, обе, словно матрешки, в ярких платках, тихонько дремлют девчата. Положив на клюку обе ладони, а на них подбородок, смотрит куда-то перед собой усатый старик в пенсне.

Справа от меня, в углу под фикусом, разбросалась в кресле девчушка лет четырех, а над ней замер торжественно-влюбленный профиль ее молоденькой мамы... Она смотрит и смотрит со счастливой улыбкой — будто бы девчушка, проснувшись, первым делом должна обязательно увидеть счастливую эту мамину улыбку.

Я долго гляжу на свой отпечаток на черном стекле, похожий на плохой негатив, потом киваю ему, и он отвечает мне тем же.

Это я его спрашиваю: «Ну а тебе-то везет?»

Вообще-то я не скажу, чтобы мне не везло. Пожалуй, «да» и «нет» сочтались тут в равной мере, а может быть, «да» и преобладало — конечно же, преобладало, чего там! — но только сейчас мне почему-то казалось, что везло мне всегда ровным счетом настолько, чтобы, вкусив от везения, но полностью его не изведав, я потом только большее почувствовал, как на самом-то деле мне не везет; чтобы я осознал как можно острее, что такое, когда тебе повезет на все сто...

Говорят, что для человека поражения нужнее побед, что только они укрепляют душу, только они делают нас мудрыми и терпеливыми.

Или это придумано всего лишь в утешение тем, кому не везет? На часах одиннадцать, Значит, в Братске уже час ночи.

Странная получается штука: я все думаю и думаю о том парне здесь, за полторы тысячи километров от Братска, — и он никогда не узнает об этом, а я так никогда и не узнаю, кто он и чем там все у него закончилось.

А ему там небось так нужен был сегодня кто-нибудь, понявший его, утешивший его, а может быть, и все объяснивший...

Странно, но, может быть, точно так же кто-то незнакомый очень просто мог бы объяснить что-то из того не очень понятного, что иногда происходило со мной?..

Я смотрю в тот угол, где под фикусом, разбросавшись, спит маленькая девчушка. Все так же улыбаясь, неотрывно смотрит на нее мама.

Есть мысли, которых мы бежим... Но встаю я как будто бы только затем, чтобы немножко размяться. Я зеваю — наверное, немножко картинно, — поглядываю, как в зеркало, в черное стекло.

Из поколения в поколение смысл жизни мы связываем с детьми — и все-таки в конечном счете в чем он?..

Пожалуй, в разные годы ты об этом думаешь по-разному — может быть, и верно, многое тут зависит только от тебя самого...

Прошлым летом я начал писать повесть о человеке, который стал крепко над всем этим задумываться, а прообразом этого человека стал тот самый автогонщик, с которым мы попали в аварию, таксист, и в повести по ходу дела он должен услышать в машине позади себя примерно такой разговор:

«Человеку даются три попытки оставить след на земле. Первая предоставляется ему самому. Да только понимать это мы начинаем слишком поздно — тогда, когда да-авненько уже идем не по той тропе и возвращаться назад вряд ли имеет смысл. Вторую попытку ты получаешь, когда у тебя рождается сын, — воспитав его, в нем ты еще долго останешься жить на земле... Да только и это ты начинаешь понимать слишком поздно, иной раз только тогда, когда вдруг увидишь, что след мог бы быть и лучше... И третья попытка тебе дается вместе с рождением внука. Не оттого ли так и добры, и терпеливы бывают дедушки, что они-то знают хорошо: эта попытка — последняя?..»

Летом я все думал и думал о том, как отнесется мой герой к этим словам, которые услышит позади себя во время рейса, и однажды, когда один из моих друзей провожал меня на поезд и мы вели глубокомысленный разговор о жизни и смерти, я сказал:

— Понимаешь, по-моему, человеку даются три попытки утвердить себя на земле...

Друг мой выслушал и сказал:

— Ерунда и злой вымысел. Зачем? Человеку дается только одна попытка, и нечего тут темнить. Только одна!.. И за это время он должен успеть все. А если сам я не улыбнусь вон той — нет, ты посмотри на нее, нет, ты посмотри!.. Если я не улыбнусь вон той хорошенькой девчонке, то кто за меня ей улыбнется? За меня — никто! — И словно сформулировал: — Я — только за себя, за меня — никто!

Потом он улыбнулся той — она была и в самом деле довольно симпатичная девчонка, — улыбнулся раз, и другой, затем подошел, и скоро она уже сидела за нашим столиком, и на перрон мы вышли уже втроем, а потом поезд отошел, и я стоял напротив черного окна и посмеивался: «А может быть, друг мой прав?.. По крайней мере, на сегодняшний вечер он с этой хорошенькой устроится чуточку интересней, чем я со всей всеобъемлющей философией...»

Я снова подхожу к справочному бюро.

— Скажите, а сто шестнадцатый уже долетел?

— Да, конечно, — говорит девчонка, не отрываясь от книги.

— А вы получаете подтверждение... или как там?

Она удивляется:

— Я же вам сказала!

— Спасибо.

А она ставит на строчку перламутровый коготок:

— Что такое адюльтер?..

— Грубо говоря, измена... флирт, может быть.

— Зачем ему было ей изменять?

— Наверное, он никак не мог забыть, что она облила его супом?

— Нет, это уже другой, — очень серьезно говорит девушка и сидит, словно бы задумавшись, потом убирает коготок со строки и снова склоняется над толстой книжкой.

Я отхожу, и мне становится стыдно за мои мысли о сто шестнадцатом... Что делать — очень часто они нам неподвластны; и как хорошо, что голова наша — это тайное тайных, что доступ туда открыт только приходящему нас исповедовать нашему сердцу!

«Самолеты должны лететь, — говорю я себе, — автомобили — мчаться, а все остальное — пустое, — говорю я себе, — все остальное — это ночные страхи, которые живут в аэропортах — и в переполненных, и в опустевших — все это только страхи. А ну-ка, подними голову!..»

За черным стеклом я снова вижу, как разворачивается и замирает на площади машина, как горит крошечной звездочкой зеленый ее огонек...

И я круто поворачиваю и бегу вниз, и ботинки мои глухо стучат в пустой тишине аэровокзала; и мне уже заранее становится обидно — на тот случай, если машина вдруг уйдет без меня...

Но я успеваю, я сажусь, еду в город — мы чаще всего выбираем движение для того, чтобы убить растревожившее нас раздумьями время...

Способ этот сработал безотказно, и сейчас, и дальше вдруг все пошло очень быстро, понеслось так, что думал я лишь об одном: как бы не опоздать.

Не успели мы выпить по чашке кофе, как я на всякий случай позвонил в справочное, и девушка сказала, что пришло запоздавшее сообщение из Москвы, что самолет вылетел оттуда четыре часа назад и через час будет в аэропорту.

И у меня тут же пропала охота пошутить насчет консьержки и адюльтера, и я поблагодарил, уже вскакивая с дивана.

Потом хмурый пожилой таксист, словно от холода втянувший голову в плечи, вез меня обратно, и самолет уже стоял, но посадку пока не объявляли, и я сбегал наверх, к автомату и позвонил другу, и он сказал, что наши уже ведут один — ноль.

Пока самолет делал круг, я все глядел на стынущие, окутанные морозной дымкой огни внизу, и мне снова вдруг подумалось о том человеке из Братска, подумалось, что ему ждать еще больше суток.

Мне вдруг представилось, как, сделав свои дела, я нахожу в министерстве начальника дороги из Братска,

поджидаю его у выхода, потом иду за ним по Москве, шагаю всюду, захожу в троллейбус, сажусь в ресторане за соседний столик. Я все поглядываю на него незаметно, ловлю момент; и вот когда по лицу его видно, что в эту минуту он доволен собой и совершенно счастлив, в эту минуту я оборачиваюсь к нему и спокойно говорю, глядя в глаза:

«А ведь в Братске с тем парнем, знаете, нехорошо получилось!..»

«Ты долети сначала, ты долети, — сказал я себе насмешливо. — Сначала ты долети, приговоренный!..»

Потом стюардесса сказала по радио, что чехи сравняли счет, Кохта забросил шайбу, и все сначала обрадовались тому, что она это объявила, а потом уже заперезживали, многозначительно поглядывая друг на друга, покачивая головами: вот, мол!..

Потом я уснул, чего в самолете никогда со мной не бывало, уснул хорошо и крепко и проснулся, когда буквы на табло уже горели и самолет, пробивая сизые облака, шел на посадку.

Через бешено отлетающее назад серое сеево внизу показалась голубоватая земля, медленно и косо завертелись седые перелески, то здесь, то там замелькали, робко иглясь, бледные предутренние огни.

Самолет садился, он должен был сесть — я теперь как будто бы знал это наперед, как знаешь, что будет дальше, если заранее перелистаешь книжку, — и тут я словно бы оглянулся на себя вчерашнего, и улыбнулся насмешливо, и подмигнул, и сказал дружески: «Да, да, в конце концов мы терпим поражение, финал всегда одинаков, но в том-то и штука, черт возьми, — какую композицию разыграешь ты перед этим!..»

Вот ведь: все же я не опоздал. Пока я успевал, вот в чем было дело.

Потом почти все уже встали, столпившись в проходе.

Я пока сидел.

Мне казалось, будто я знаю нечто такое, о чем другие и не догадываются... Вон как печально все могло кончиться, но пока вроде бы обошлось.

И я сидел, радуясь и про себя произнося хвалу богам, которые там, наверху, обо мне и о делах моих пока договорились добром да ладом, и хвалу тем летчикам, которые вели наш Ил, и всем летчикам вообще, и хвалу крепким рукам строителей самолетов, и хвалу еще многим и многим людям, и недругам моим, и друзьям, и хвалу голубому небу и белой сейчас земле, и всему тому, что называется жизнью, и от ощущения чего иногда тревожно и тоненько защемит сердце...

Было совсем раннее утро... Гигантский зал в Домодедове походил сейчас на большую и хорошо прибранную общественную спальню, в которой почти все места были заняты. Недавно вытертый пол темнел просыхающей влагой. Где-то далеко в глубине зала еще гудела уборочная машина, и тонкий и еле слышный ее гуд словно подчеркивал замершую над спящими тихую пустоту.

Аэропорт готовился к новому дню. А меня вчерашнее мое поражение вдруг легко тронуло за плечо — показалось, будто убирают после шума и суеты вчерашних встреч.

Меня-то самого не должны были встречать. А казалось, что подождали — и ушли.

«Ладно, ладно, — сказал я себе, — будешь еще на что-то жаловаться!..»

Долетай-ка ты, парень из Братска!..

Долетай!..

ХОККЕЙ В СИБИРСКОМ ГОРОДЕ

1

Не знаю, как оно вышло — скорее всего проговорились девчата с междугородной, — но уже рано утром весь город знал: когда после игры, уже глубокой ночью, позвонил жене из Саратова капитан «Сталеплавильщика» Витя Данилов, трубку взял ее хахаль и по дурацкой своей привычке спросонья брякнул: «Хоменко слушает».

Телефонистка попыталась было спасти дело, закричала Вите, что по ошибке набрала не тот номер, но он только помолчал-помолчал, да и положил трубку...

Слух был как гром среди ясного неба.

Никто тут не застрахован, это так, однако, наверняка есть счастливицы, которых бережет сама судьба, — разве наш Витя не из них?..

Витя Данилов, Даня...

Стоит это произнести, и сердцу вдруг станет радостней, и ты как будто снова на ярком празднике: ослепительно сияет испещренный белыми завитушками голубоватый лед, над ребятами в красной форме и в белых шлемах мелькают разом победно вскинутые клюшки, с полутемных трибун обрушивается вниз счастливый рев, все на секунду замирает в едином крике, только стремительный игрок в красном, низко пригибаясь, все еще мчится по площадке, словно не может никак остановиться, — он, Даня...

А был ли случай, чтобы не пришла на стадион поболеть, пусть там любой мороз, его Вика?.. Или, может, в машине у Дани кто-нибудь видел хоть раз другую женщину?

Белую его «Волгу» трудно было представить без Вики, без выглядывающих из каждого окошка детских

мордашек, любая из которых — Даня вылитый... При чем тут, люди добрые, скажите, Хоменко?

Грустно, конечно, что этот скандальный слушок в пять минут разнесся по всему Сталегорску. Но тут уж ничего не поделаешь. Может быть, это в вашем городе если не пятнадцать, то, по крайней мере, восемь театров, с пяток концертных залов и дюжина уютных кафе, где можно посидеть, не торопясь, — у нас хоккей. Может, это у вас, чего доброго, старинный собор с лучшим в Европе органом или хотя бы православная церковь, из которой убрали, наконец, гнилую картошку и где теперь по вечерам поет хор, это у вас дискуссионный клуб и пустующие пивные бары с редким перестуком из кегельбана — у нас хоккей. Может, у вас по вечерам невзрачный карлик с летающей тарелки, тоскливо окидывая взглядом лишь на треть заполненный зал, уныло читает лекцию о тайнах далеких миров — не знаю. У нас хоккей. Правда, какой хоккей!.. Был.

Три года назад, когда «Сталеплавильщик» вопреки всем прогнозам не то что вышел — ворвался в высшую лигу, почти все сначала подумали, что это счастливая случайность. Тот самый старинный сибирский фарт. Погодите, рассуждали, приедут-ка из столицы взрослые дяди — уж мальчишек наших высекут! Но вот и мощное «Динамо», и грозный «Спартак», и беспощадное ЦСКА — все у нас побывали — и ничего!.. Если москвичи и выигрывали, то с таким потом, что ой-ёй; бывало, и ничьей, как дети, радовались — так молодой да ранний «Сталеплавильщик» старичков мастеров уматывал; а бывало...

Нет, это надо, конечно, увидеть: как «проваливалась» вдруг у ворот «Сталеплавильщика» тройка каких-нибудь знаменитых на всю страну нападающих, как не поспевала обратно, и наши ребята, стремительно обходя не менее знаменитых, раскоряченных сейчас, и клюшку и свободную руку по бокам выставяющих защитников, молниеносной перепасовкой обманывали заслуженного вратаря и закатывали вдруг шайбу такую трудовую и красивую, что трибуны стонали от восторга, а на наших находил стих, как будто удваивали скорость, казалось, их подпитывало теперь, заряжало сумасшедшей энергией то пульсирующее, дрожащее над стадионом силовое поле, которое вобрало в себя душевный порыв всех до единого болельщиков.

Стадион вокруг «коробочки» старый был, деревянный, на семь тысяч, но набивалось сюда до девяти — куда до нас той самой сельди из бочки!.. В одиночку повернуться, индивидуалист несчастный, и не думай, больно самостоятельный, ишь, если надо — все вместе повернемся, весь ряд. Случалось, во время самых злых матчей чуть ли не на всех ярусах люди стояли боком — один край поля у тебя впереди, а другой за спиной, ну да ничего, через плечо посмотрим — и не к тому привыкли, мы такие. Иногда в самую напряженную минуту людская стенка не выдерживала, где-нибудь на слабинке ее выпирало вбок, и с полсотни человек, а то и больше вываливались из своего ряда, сбивали соседей ниже, а те следующих, и людская волна сперва опадала, а потом, уже гораздо медленней, поднималась обратно, когда нижние подталкивали выпавших, подпирали их, поддерживали, подсаживали, а те, кому удалось устоять наверху, тащили их за руки, а то и за воротник — нечисто увидишь, чтобы русский человек соплеменника своего так трогательно вытаскивал!..

О том, что все это под открытым небом, под звездами, я не говорю, стоит ли — не каждый вечер мороз под пятьдесят. Да и какой мороз, если со всех сторон так давят, что косточки хрустят, это во-первых, и если чуть не у всякого имеется с собой ха-рошее средство против холода — во-вторых. Лишь бы только в этой всеобщей тесноте до собственного кармана добраться. Лишь бы вытаскать. Лишь бы отсчитать двадцать капель. Лишь бы соседи потом в самый ответственный момент случайно, не дай господь, не толкнули...

Зато каким — не осудите! — слегка хвастливым довольством звучали потом на улицах голоса, когда расходились наши болельщики после выигрыша, какая благодать бывала даже не на самых добрых, не на самых симпатичных лицах написана!.. Недаром городские социологи тут же обнаружили: в те дни, когда наши побеждали, в Сталегорске начисто прекращалось хулиганство. Да что об этом — стыдно, право, и поминать! Лучше о другом: день-два, а то, глядишь, и неделю на шахтах давали такую выработку, что ахнешь, и сталь на комбинате шла исключительно первым сортом, и даже лесорубы в окрестной тайге — вон докатывалось куда! — творили чудеса, да и только.

Поди разберись, отчего это: то ли обычное, всем понятное «ай да мы!», а то ли что-то другое.

Тут меня можно будет в пристрастии обвинить, можно будет, конечно, пословицу насчет куличка и родного его болотца припомнить, но только, сдается мне, штука еще и в том, что в нашем Сталегорске испокон хорошо знали цену всякому мастерству да удали — вон еще в какие поры славились здешние кузнецы да рудознатцы!

В конце двадцатых годов, когда приехали сюда две сотни иностранных спецов да две сотни тысяч ни уха, ни рыла в металлургии не понимающих российских лапотников, повидали в этом городе всякого, но уже через год, через два заваска взяла свое, перестали французы да бельгийцы друг с дружкой об заклад биться: заваяются заводские цехи сразу или постоят хоть маленько?

Каменных домов тогда было один, два и обчелся, остальное — продувные бараки да промозглые «землескребы», но кто-то, увидавший сизый дымок над первой домною, восторженно закричал: «Сибчикаго!..»

В проклятом сорок первом, когда еще не знавшие почем фунт лиха удалыцы из «Центра» маршировали по обломкам старинных заводов Украины, здесь, в Сталегорске, за несколько бессонных недель научились прокатывать броню, успели-таки заслонить Россию-матушку. Недаром теперь перед комбинатом в Сталегорске стоит на гранитном постаменте прошедшая огонь и воду тридцатьчетверка...

Те, кто помоложе, расскажут вам нынче о крановщике, который железобетонную плиту на четыре граненых стакана поставит, пообещают показать экскаваторщика с разреза, который десятитонным, полным угля ковшом спичечный коробок, не повредивши, закроет. Правда, это баловство одно, пыль в глаза. Другой, допустим, табак, если операторы в прокатном, когда план горит, на всю смену автоматику, чтобы вручную поднажать, отключают. Это еще куда ни шло. Это для дела, выходит, быстреей.

Так или иначе, а есть, есть в нашем Сталегорске и седоусые старики-умельцы в сшитых на заказ — чтобы все их честно заработанные ордена уместить — пиджаках, и чернобородые, с единственной пока медалью мальчишки, которым тоже палец в рот не клади... Почему же все они разом сняли, как говорится, шляпу перед хлопцами из «Сталеплавильщика»?

Была ли это, и верно, дань уважения мастерству? Или, может быть, неосознанная благодарность была за то, что из холодного молчания темных сырых забоев, из жаркого гула горячих стальных машин чуткую живую душу каждого они забирали потом с собой на яркий праздник страстей человеческих, где кипело все вместе и все на виду — случай, воля, жестокость, азарт, разбитые надежды, хитрость, мужество, удача, слава, позор...

Стоп, однако. Минуточку.

Ловлю себя на том, что начал все больше о мастерах, чуть ли не о героях... Но разве города вроде Сталегорска, с односторонним их, словно грыжа, извините, развитием, не плодят заодно не нашедших себе места около угля да около стали, а о чем-то совсем другом постоянно размышляющих неудачников?

И сколько их, пришедших на стадион не в стоптанных пролетарских пимах, а в щегольских когда-то ботиночках, в странных, где-то далеко от нас, за Уралом, только-только входящих в моду шапчонках, сколько их, виновато протирающих стекла запотевших на морозе очков, так же, как и все остальные, бестрепетно вручали свою душу этим крепким, ладным ребятам, этим всемогущим, одетым в кожаные доспехи — как там дальше? — конечно, ледовым рыцарям.

Но это не затем, чтобы поддержать их, до седин оставшихся мальчишками, не затем, чтобы заставить их в который раз начать все сначала, спускался между вторым и третьим периодом в раздевалку к хоккеистам пожилой, с задумчивыми глазами директор комбината Коняев. Затихали в раздевалке споры, смолкал разговор, и директор, которому вездесущий начальник команды тут же подавал стакан крепкого и горячего чая, говорил в тишине, нарушаемой лишь домашним позвякиванием серебряной ложечки: «Что-то вы того, молодцы... Вы не скисли? Надо выиграть. Надо... Там кое-что из моего фонда еще осталось. После выигрыша — всем по транзистору».

И ледовые рыцари, слегка избалованные уже не только славою, глядели на отхлебнувшего наконец чаю директора и с пониманием, но вроде бы заодно и с некоторым смущением: мы-то, мол, сознаем, что конец квартала, еще бы, но как же это Борис Андреич забыл, что транзисторы у всех уже есть: еще в прошлом месяце — тоже, естественно, в конце — подарили.

Начальник команды делал знак, обещая маленькое это недоразумение уладить, и настроение у ребят, когда они выходили на лед, делалось веселей, и стадион, подбадривая их, ревел, и они выигрывали, и комбинат вырывал квартальный план...

Нет, нет, забавное то было время, в одночасье сделавшее героями не только самих хоккеистов, но даже многих других, не заимевших, правда, имен собственных, а ставших как бы приложением к знаменитым теперь на всю округу фамилиям: «дядька Зюзюкина», «сосед Спицына», «теща Прохорьяка». И они как-то сразу к этой своей новой роли привыкли, и, кроме всяких мелких подробностей из жизни тех, благодаря кому они стали людьми заметными, где-нибудь в длинной очереди за зеленым горошком охотно и доверчиво предсказывали уже не только исход будущего матча в Сталегорске, но и возможную расстановку команд в таблице чемпионата страны, и даже судьбу мирового первенства.

Верьте, в общем, не верьте, но в тот год наш полумиллионный — со всеми остальными соответствующими его рангу прилагательными — город коллективно сошел с ума.

Видели бы вы, как поздней весной, когда наши ребята закрепились-таки в высшей лиге, бульдозеры раскатывали старый стадион!..

Думаете, нам подкинули денег на новый? Эге!.. Это расщедрились, раскошелились, устроили складчину отцы города — директора заводов да начальники шахт. Проектировщики теперь задаром сидели ночами — удешевляли типовой проект и привязывали к местности. Вырастали, словно грибы, списанные по всем правилам, как брак, совершенно целехонькие железобетонные конструкции. С заказами стадиона хитрили в многочисленных мастерских — выполняли в первую очередь и за так.

И к ранней зиме посреди Сталегорска красовался новенький хоккейный стадион для десяти тысяч зрителей.

Правда, его не успели накрыть, ну да разве это беда? Без крыши, оно для нас даже как-то привычной, да-да, уверяю вас!

Порадевшим родному городу добрым людям благодарная администрация стадиона выделила лучшую трибуну и отпечатала бесплатные пропуска: приходи, болей, радуйся.

И приходили и радовались.

Должен, правда, сказать, что из всех трибун эта, «руководящая», была самая тихая — куда им, благодетелям нашим, еще и здесь кричать, бедным?.. И перенесшие уже по второму инфаркту, и совсем еще молодые, они успевали за день до хрипоты накричаться на разных рапортах да оперативках, и теперь только тихонечко, как бы невольно, но все-таки сладко поскуливали, всякий, даже мельчайший, успех «Сталеплавильщика» относя, наверное, на свой особый с Москвою счет, который до сих пор никогда не бывал в их пользу — пытались ли они отстоять денежные средства по титульному листу, воспротивиться ли принятию встречного плана либо доказать несостоятельность какой-либо очередной, выращенной в столичной колбе инициативы сталегорских трудящихся...

Но недолго, однако, играла музыка...

Приглядевшись за первый сезон к нашим ребятам, московские тренеры потащили в столицу одного за другим, и еще летом уехали пятеро. Шестого увезли с собою из Сталегорска зимой — сразу после игры... Что тут скажешь? Москва, она есть Москва. Тем более, когда тебе только самую малость за двадцать и когда ты прямо-таки яростно убежден, что сборная страны без тебя ну никак не обойдется. Разве не об этом говорили сталегорским мальчишкам приезжавшие к нам со своими командами опытные, всего на своем веку повидавшие родоначальники нашего хоккея?..

И стал наш «Сталеплавиельщик» отдавать одну игру за другой.

Уже не жаловались москвичи, что нету крыши у нас над стадионом, уже не требовали остановить игру посреди периода, чтобы расчистить площадку. Обыгрывали и так — и в сильный снегопад, и в метель.

Болельщики начали сперва потихоньку, а потом все громче роптать, на заметно поредевших трибунах шли теперь бесконечные разговоры о том, что команду растащили, что середь бела дня наш город, считай, ограбили...

Обиженная в лучших, как говорится, чувствах околоспортивная братия разговорами не ограничивалась, а пробовала, как могла, помочь делу — только что сошедших с трапа самолета москвичей затаскивали в ресторан, заговорщически официантам подмигивали, приглашали к столу не очень, надо прямо сказать, дороживших репутацию своею девочек, горячо толковали им на ушко о чувстве городского патриотизма, и этот нехитрый провинциальный механизм иной раз да срабатывал, и на первой игре гости еле-еле стояли на ногах, и наши побеждали, как правило, с сиротским счетом два — один.

Однако на следующий день, как будто малодушия собственного устыдясь, как будто желая примерно наказать за предательство, москвичи закатывали двенадцать, а то, чего доброго, и четырнадцать безответных шайб, и в такие горькие для всего города вечера публика начинала потихоньку расходиться еще задолго до окончания матча — обычно после того, как вошедшие в раж гости закатывали десятую.

В эти дни нависла над погрустневшим «Сталеплавиельщиком» еще одна грозная туча. Мало того, что москвичи нас под монастырь подвели, по нашим косточкам твердо решили пройти в высшую лигу соседней новосибирцы.

Был у нас прекрасный защитник Коля Елфимов. В девятнадцать лет рост — сто восемьдесят, вес — девяносто, а главное — скорость, какой нет и у иного нападающего. Коля не работал — учился в техникуме, и по всем законам была ему дана отсрочка от армии, да что ты будешь делать, если командующий сибирским военным округом не только ярый болельщик, но и сам спортсмен, мастер по лыжам, в кроссах до сих пор с солдатами рядом бегают, и если теперь он кровь из носа решил собрать классную команду. Нашли они там какой-то хитрый параграф, и приехал из Новосибирска подполковник за нашим Колей.

Это ли для простого защитника, еще не ставшего мастером спорта, не честь? Да нам-то от этого не легче.

И так уговаривали подполковника, и этак — хоть бы что. Личное поручение командующего — и точка. Единственное, на что он в конце концов согласился, — лишний денек пробыть в Сталегорске, чтобы Коля последний разок сыграл в родном городе.

И это была его, подполковника, роковая ошибка...

Мне в тот день позвонил мой друг-медик: «Будешь сегодня вечером?»

А среди болельщиков уже стало хорошим тоном отвечать теперь на такой вопрос не сразу. Ведь знаешь же, что не утерпишь, прибежишь как миленький, куда денешься, но непременно надо помяться в разговоре, повздыхать: а чего, мол, там делать вечером?.. Или будет на что посмотреть?

Я и тут стал так, а друг мой и говорит: «Ты это брось. Сегодня — как штык. Сегодня Коле Елфимову сотряс будут делать».

Спрашиваю: «А что такое «сотряс»?»

«Как, — отвечает, — что? Сотрясение мозга! Команда сегодня всю тренировку бросок на борт отработывала. Создадут момент, и... Со «скорой» уже договорились. Тут же на носилки — ив травму. И Коля своему подполковнику — ручкой...»

Голь на выдумки хитра — права пословица! Да только что нам и в самом деле оставалось?

Конечно, я в тот вечер не сводил глаз с Коли Елфимова: когда же, думал, когда?.. Да и все остальные на стадионе ждали, сдается мне, того же. Насчет сотряса не знал, по-моему, только порученец-подполковник.

Это как-то неожиданно произошло: Коля был без шайбы, стоял себе, выжидал, а тут его промчавшийся мимо торпедовец — играли с горьковчанами — задел плечом, слегка развернулся. В это время срикошетила шайба, ударила Коле в коньки, и тут на него все и бросились, и горьковчане и наши — только борт затрещал.

Ну, свалка, свисток, все как обычно, только потом все встают, а Коля лежит, разбросав руки, и головою туда-сюда потихоньку, вроде бы с великою болью, водит — артист!..

Стали около него игроки собираться, судья подъехал, наклонился и выпрямился почти тут же, сделал знак уже привставшему со скамейки дежурившему от «скорой» врачу в белом, натянутом поверх овчинного полушубка халате, и тот с чемоданчиком в руке засеменил по льду.

Видно, он там сперва нашатырь нюхать давал, все по науке — осматривал сперва, ощупывал или что там, только тоже вскоре поднялся с корточек, помахал рукой санитарам — а те уже только того и ждали.

Стадион гудел, все шеи повыкручивали, провозжая глазами лежавшего на носилках молодого защитника.

Тут же, как только вынесли Колю из «коробочки», появился около носилок новосибирский подполковник, но Коля, говорят, даже взглядом на него не повел, а санитарам, тем что, быстренько пошли себе с носилками дальше, навстречу уже распахнутой задней двери белого с красной полосой «рафика», — горячий привет вашему товарищу лыжнику!

На следующий день утром я позвонил своему другу медику, спросил, посмеиваясь: «Ну и как сотряс?»

А он вдруг вздохнул: «С сотрясом-то все нормально, ничего нет, а вот плохо, что нашему Елфимычу ключицу сломали и два ребра... Не по сценарию у них, понимаешь, вышло — не успел, говорит, мобилизоваться».

И не успевший мобилизоваться богатырь Елфимыч почти два месяца каждую игру стоял потом на «руководящей» трибуне и, облокотившись о металлический поручень, мрачно смотрел, как добивают его любимую команду.

И добили — куда ты денешься.

Мало того, что «Сталеплави́льщик» со свистом вылетел из высшей лиги, на следующий сезон его в классе «А» стали дотаптывать. И кто, подумать?.. Какой-нибудь там «Прядильщик» — и смех, ей-богу, и грех.

Старые болельщики еще хорошо помнили, как три года назад этот самый «Прядильщик» на нашем стадионе опростоволосился. Он тогда тащился чуть ли не позади всех и мог очень даже запросто из класса «А» вылететь, ему очки позарез нужны были, а мы свое в тот сезон досрочно взяли, нам уже было наплевать, и ребята из «Прядильщика» перед игрой чуть не на коленях упросили наших «подлечь», попросту говоря, поддаться. Наши в раздевалке посмеивались: придется помогать мужикам, если такое дело, а то, говорят, домой хоть не возвращайся!

Решить-то решили два очка отдать, но потом заигрались, вошли, что называется, во вкус и между делом набросали хлопцам из «Прядильщика» полную шапку. Потом опомнились, неловко стало, что дружеский договор нарушили, и стали шайбу потихоньку гостям подсовывать: нате, мол, действуйте!

А оно как назло! Не идет к ним шайба, хоть плачь!

Потом наконец одному нападающему, шустрому с виду пареньку, выложили прямо на клюшку, а сами вроде замешкались, приотстали... И вот мчится он впереди всех и чуть не от синей линии нашему вратарю орет в голос: «Гера, ну ведь договорились же, Гера!..»

Гера потом рассказывал, что он уже для верности и глаза закрыл, чтобы реакция, значит, не подвела, чтобы, грешным делом, не поймать шайбу случайно.

И тут вдруг этот самый шустрый с виду нападающий «Прядильщика» на ровном месте споткнулся, плюхнулся на лед и на животе въехал мимо Геры в ворота, а шайба прошла метра на два левее.

Стадион тогда со смеху помирал, как он Геру-то на бегу уговаривал. А теперь, пожалуйста, увозит из Сталегорска четыре очка из четырех — этот самый «Прядильщик» занюханный! Это ведь надо перестать себя уважать, чтобы до такого докатиться...

И переставали потихоньку. Уважать.

Ну в самом деле, смотришь, замерзший, на эти жалкие потуги «Сталеплави́льщика» забить шайбу и чувствуешь, как лицо твое поневоле кривится в грустной такой усмешечке: да что они, в конце концов, могут?..

Стадион пустовать начал, целые ряды не заняты, и на остальных свободных мест сколько хочешь. Болельщики бродят от одной кучки к другой — там огоньком разжиться, там стопочку хватить, а там душу отвести, поразговаривать. Кто-нибудь знакомый тебя затронет:

— Ну, как тебе?

Ты вздохнешь нарочно:

— Да не говори.

— Они уже совсем перестали мышей ловить.

— Эт точно.

Тут кто-либо из друзей, стоящих рядом, взорвется после очередной оплошности нашего защитника:

— Нет, ты только погляди! Этот пижон Стасик приходит сюда с клюшкой только затем, чтобы бесплатно смотреть хоккей! Шайба летит рядом, а он стоит, чего-то ждет.

Разговор себе дальше:

— Да, а Стасик и никогда не играл.

— Гнать бы, да...

— Вот в том и дело: кем заменишь?

— Да что ты с ними — бросились опять впятером, а ворота оставили... должен же какой-то порядок!

— А где он в нашем городе, порядок?.. Чего искать вздумал!

И кто-нибудь, мыслящий глобально, скажет чуть ли не со слезою в голосе:

— Нечего ждать. Нечего!.. Как были мы, братцы, Азия...

И тут уж — переход к другой теме:

— А слышали, вчера на комбинате? Один крупный специалист, видать, вырезал посреди стальной площадки круг в четыре метра диаметром... Посредине сидел и резал. Ну, и выпал потом вместе с этим кругом — хорошо, что ниже еще одна площадка, отделался легким испугом.

— Ну, мастера!

— Что ты — артисты.

— А на стройке — не слышали? Сейчас там такой бенц идет. Тоже сварщик. Скруббера же к нам скатанные на платформе приходят. Стальными полосками заварены. Их, когда разворачивают, сперва накинут петлю из троса, бульдозер трос этот натягивает, не дает сразу развернуться — он же как стальная пружина, этот скруббер. А они догадались: петлю еще не накинули, а уже почти все стальные застежки посрезали. Ну и кэ-эк даст!..

— А сварщик?

— Да он как раз прикурить отходил.

— А бульдозерист?

— Да он как раз у бульдозериста и прикуривал.

— И бульдозер целый?

— И бульдозер. Только газоход рядом снесло. Вырвало метров сорок. Вчера полсмены вся химия простояла на коксовом, сегодня весь день — комиссия.

— Ну, работнички!

— Спецы, не говори.

Игра на площадке — глаза бы не смотрели. Тут и сам не выдержишь, подольешь масла в огонь:

— Да бросьте, братцы! Все бы они ворчали. В самом деле, что ль, мастера перевелись? Летом летал к геологам. Вертолетчики говорят: на базу не полетим, подбросим в один хитрый распадок — там у геологов тягач сломался, мы для него колесико повезем. А тягач починят, вы вместе с механиками — дальше... Опускаемся у тягача. Как-то странно стоит, на крутизне. Рядом двое механиков. Что, спрашиваем, случилось? Да ничего, говорят, просто поспорили, выскочит на крутяк или не выскочит — видишь, там сосенка мешает? Ударил, говорит, по этой сосенке, правое ведущее под траками и сломалось... Ну, вертолетчики улетели, починили эти ребята тягач. Что, спрашиваю, теперь поедем? Один момент. Вот только, говорят, доспорим. Включил на полную, и вперед. По сосенке ударил, сломалась она, выскочил вездеход на горушку. Водитель глушит мотор, высовывается из люка в кабине: ну, что я говорил?! С тебя, второму кричит, пол-литра — с тебя!

В общем, приходили теперь на стадион уже не болеть, а так — нужного человека увидеть, среди знакомых потолкаться, с друзьями посплетничать, узнать новости. Мужской клуб, да и только.

Единственный, кто по-прежнему играл хорошо и на кого еще ходили смотреть, был неизменный капитан «Сталеплавильщика» Витя Данилов — Дания.

Пора, пожалуй, к нему вернуться, и так мы слишком надолго оставили его наедине с грустными думами.

Был Дания коренной, сталегорский, с Нижней колонии, из тех бараков, в которых с недавних пор не живут и где теперь то обувная мастерская, а то прием стеклопосуды. В городскую команду взяли Даню еще школьником, помогли потом устроиться в металлургический институт, но он тут же перевелся на заочное и пошел работать в мартеновский. Работал там и играл, пошел в армию, там тоже играл, окреп и поднатаскался. Когда, вернувшись, выпрыгнул впервые на лед, на трибунах загудели дружно — был Дания тот и уже не тот. Вроде и не подрос, и в плечах не раздался, но появилось в нем что-то особенное — то ли уже свой законченный почерк, своя игра, а то ли пока только уверенность, что эту свою игру, свою манеру найти ему уже удалось.

Он и раньше был с характером парень... Стоит, правда, написать такие слова, как многие тут же подумают: значит, своенравный паренек, ого-го, такого только затронь! Так вот, ничуть не бывало. А характер Дани в том состоял, что он всегда, в каждом матче, до конца выкладывался. Он всегда играл, мало сказать, хорошо, играл прекрасно, как бы из рук вон плохо ни играли при этом остальные.

Не могу представить его стоящим на льду неподвижно! Как только он, почему-то пригибаясь, как бы складываясь в прыжке, перелетал через борт, как только делал какой-то странный — словно шашкою — круговой взмах клюшкой, начинался стремительный Данин бег, который иногда ускорялся настолько, что был похож на полет, а иногда слегка утихал, но не прекращался уже ни на секунду до тех пор, пока он не запрыгивал обратно. Во время вбрасывания — если не участвовал в нем сам — Дания медленно кружил, переваливаясь с бока на бок и кося глазом, а когда его подзывал судья, неторопливо кружил вокруг судьи. Сам же он, несмотря на то что был капитаном, никогда к судьям не подъезжал, никогда не спорил. Дания считал, что его дело прежде всего — хорошо играть.

Бегал Дания по-своему, почти никогда прямо, а обязательно наклонясь набок, как бы уже падая, но удерживаясь на последнем, одному ему доступном пределе. На сумасшедшей скорости он вдруг играл ногами, переваливался на другую сторону, и этот косой — всегда по дуге — полет продолжался, пока он был на площадке, бесконечно. Дания мчался, оставляя за собой тут же исчезающую из твоих глаз, но постоянно ощущаемую каким-то уголком памяти странную, но красивую вязь, которая заканчивалась или неожиданным на первый взгляд прорывом через линию защиты, или почти невозможным по сложности броском... Только не заключите из этого, что Дания из тех самых хитрых паучков-одиночек, которые ткут себе свою паутинку, а на остальное им наплевать, — как раз нет! Даже когда он мог почти беспробитно ударить сам, он отдавал ударить другому, если этот другой был в положении хоть на самую малость выгодней, и все самые острые комбинации начинал всегда он, и первым бросался кому-либо помогать или поправлять последствия чужой оплошности тоже он. Партнеры Даню часто не понимали, но он не обижался, не вспыхивал. Я думаю, что это неустанное движение его по площадке, эти бесконечные, как бы порою скверно ни складывались дела, предложения коллективной игры часто команду и выручали: это просто невозможно ведь — играть спустя рукава, если кто-то рядом постоянно на сто процентов выкладывается.

Он был как неутомимый дирижер, он постоянно втягивал в игру, он зажигал остальных, все прибавляя и прибавляя темп, пока на площадке не закручивалась вдруг всеобщая и в самом деле похожая на музыку вдохновенная карусель.

Нет, нет, потому-то и оставался Дания железным капитаном, что был он коллективист. Но как, не удержусь повторить, катался он, сукин кот, сам!

Бывало, среди самой средней игры на отбой или среди всеобщего напряжения — как когда — в нем словно

начинала стремительно разворачиваться вдруг невидимая пружина, и он бросался к шайбе, забирал хоть у своего, хоть у чужого, и его уже ничто, казалось, не могло остановить — из любого конца площадки он мчался, ложась с бока на бок, обходил всех и забивал свою неперемнную в каждом матче, которую все так и звали: Данина шайба. К этому настолько привыкли, что, если игра не шла и кто-либо из болельщиков произносил неопределенное — да, мол, пока что-то ни шиша не выходит, — другой тут же откликнулся: «Одна-то будет!»

Имелась в виду — Данина.

Скажите, что я нарисовал почти законченный портрет игрока экстракласса. Но ведь именно такой игрок и был Даня! Всего лишь третьим — после двух именитых москвичей — вошел он в клуб «трехсотников» — хоккеистов, забивших по триста шайб, а в Москву его звали еще тогда, когда этих мальчишек, которые от нас теперь уехали, и близко не подпускали еще к дворовой команде. Звали, да только Даня не ехал. Одни говорили, что он хитрит, что парень он, несмотря на простецкий вроде характер, все-таки себе на уме. Зачем ему быть вторым в Риме, если в Галиции он первый?.. Тут у него и хорошая квартира, и «Волга», и маленькая дача за городом, и в любое время — путевка на всю семью в однодневный дом отдыха в Сосновом бору.

Другие говорили, что дело вовсе не в этом, он бы давно уехал, да жена против, а Даня был семьянин.

Роста он самого среднего, и лицо самое обыкновенное, даже простоватое лицо, к тому же все в шрамах, однако видели бы вы, какой был Даня красавец, когда с женою под руку он шел по проспекту Metallургов следом за тремя своими маленькими мальчишками! Куда его шрамы девались. У него не лицо было — тихим счастьем светившийся лик. Иногда, правда, лик этот делался слегка виноватым, когда Даня, не спускавший глаз с ребяташек, не отвечал вдруг на чье-либо приветствие и жене приходилось толкнуть его в бок...

А жена у Дани что ж — она всегда была настоящая красавица, ослепительная и рядом с Витею, и без Вити. И он ее, конечно, любил.

Не стану вслед за некоторыми повторять, что это из-за любви к своей Вике Даня не пил и не курил, скорее всего он верил в себя как спортсмен, знал, что играет хорошо, и ему хотелось играть еще долго. Дело не в этом. Не знаю, может быть, надо было посмотреть на них на улице, когда они шли вдвоем, без детишек. Тогда почти с такою же счастливою улыбкою посматривал Даня на свою Вику, и снова она подталкивала его локотком, если он не замечал вдруг кого знакомого...

Спросите: что он, дома на нее не мог насмотреться, на свою Вику? Да ведь у нас выходит так, что дома видим мы своих благоверных, когда они стоят у плиты или стирают, или когда в косынках, покрывающих бигуди, как будто на голове у нее патронташ, и с каким-то невероятным кремом на лице, с маскою из яичного желтка на минуту присядут рядом с нами у телевизора.

Собираются куда-либо вечером, мы их торопим, нервничаем, и только уже на улице, когда они при полном, как говорится, боевом, и в самом деле вдруг замечаем: а ведь давняя твоя любовь еще ничего!

Учтите при этом, что Даня видел свою Вику куда реже, чем видим мы с вами своих жен, у него ведь и горячий цех, и тренировки, и матчи в Сталегорске, и спортивные сборы за городом, и дальние выезды...

Можно было об отношениях Дани с женой судить и по тому, что Вика не пропускала ни единого матча, в одном и том же месте на той самой «руководящей» трибуне стояла со старшим из мальчишек или с подружкой, и где-то среди игры каждый раз бывал момент, когда делающий на площадке бесконечные круги свои Даня вдруг вскидывал вверх руку в рыцарской этой громадной перчатке, и в ответ тотчас же вскидывалась над трибуною белая шерстяная варежка.

Теперь-то, правда, доказательством привязанности Вити Данилова к своей Вике было то, что звонившие домой или товарищам наши хоккеисты рассказывали невероятное: Даня перестал играть.

Поездка у ребят только началась, впереди были самые трудные матчи, а вести из разных городов приходили самые неутешительные. Счет, с которым наши проигрывали от игры к игре, становился все крупней и крупней, иногда они продували всухую — впервые в жизни Даня перестал забивать ту самую, в которой все были всегда на сто процентов уверены, — Данину шайбу.

Конечно, разговоры среди сталегорских болельщиков пошли самые грустные. Все почему зря костерили Хоменку — надо же было ему и в самом деле попасть под руку!

Жизнь — сложная штука, это все знаем, давно не мальчики, поди разберись, как там и что, но зачем же в чужой квартире, мил человек, за телефон хвататься?.. Тебе, что ли, звонить туда будут среди ночи? Ты и днем-то, Хома, никому не нужен!

Тут, наверное, пора хоть чуточку сказать о Хоменке.

Он тоже коренной сталегорский, с Даней росли на одной улице, учились вместе, говорят, даже сидели на одной парте. Это Даня его в «Сталеплавильщик» и притащил, да только дела у Хома тут не пошли. Хоть играл он и хорошо, а временами, надо сказать, прямо-таки здорово играл, ребятам его манера не понравилась, потому что, как говорится в одной поговорке, Хома «тащил одеяло на себя». Ни паса никогда не даст, ни подстрахует, ни выручит, но глотка зато — ого!.. Начнут разбирать игру, и вся команда, оказывается, не права — один Хома прав. Вернутся с выезда, и все ребята, вы понимаете, на комбинат, а Хома — в поликлинику за бюллетенем. В мартен приходил, считай, только первого да пятнадцатого, и то после обеда, когда открывалась касса.

И ребята однажды сказали Хома, что они, пожалуй, обойдутся и без него. И Даня не стал его защищать.

Может, тут-то черная кошка меж ними и проскочила? Теперь дорожки у друзей пошли врозь. Даня вскоре ушел из института, простосердечно заявив, что ему жалко бедных преподавателей: так они с ним маются, а толку чуть. В городе посмеялись с одобрением: ну разве это плохо, если человек понимает, что наука — это не для него, и если своим положением решил не пользоваться?..

Хома же в институт вцепился, как клещ в теля, и хоть тянул на заочном лет восемь или девять, диплом в конце концов получил-таки и на собраниях в мартеновском стал теперь об одном и том же: нельзя, мол, зажимать молодых. Капля, известное дело, камень долбит — сделали его мастером. И начали тут его, как эстафету, от печки к печке, из смены в смену. А когда все эти, какие только были возможны, перестановки закончились и все Хому раскусили, приняли мартеновцы мудрое решение: чтобы около печки под ногами не болтался, двинуть Хому по общественной линии.

Тут-то и получил Хома отдельный кабинет с телефоном, тут-то и стал, поднимая трубку, через губу говорить: «Хоменко слушает». И вот — договорился!

Однажды пронесся по Сталегорску слух, что накануне поздно ночью примчался Хома в центральное отделение милиции, требовал немедленно послать к скверику, где памятник Бардину, патрульную машину. Оказывается, когда он шел через сквер, окружили его несколько хлопцев с гитарой и один спросил: «Сколько время?» Хома ответил как можно вежливей: без четверти, мол, двенадцать. «Не-не, — дружелюбно рассмеялся который спрашивал, — скоко время тебе, Хома, жить-то осталось?..»

Ну, судя по хитроумным выкладкам социологов, этой очень немногочисленной — и говорить-то стыдно, и право! — прослойке сталегорских граждан сейчас, когда матчей в городе не было и наши проигрывали на выездах, жилось, конечно, тоскливо, и она себе, ясное дело, искала какого-нибудь такого занятия... Так что, по всей вероятности, Хома сущую правду в райотделе рассказывал. Только зачем же ты, парень, рассуждали в городе, напаскудивши да в милицию? Неужели хотел бы, чтобы тебя и к чужой жене и от нее на «черном вороне» отвозили?..

Но Хома и сам, пожалуй, вскоре до этого докумекал. Потому что однажды прошел он по проспекту Металлургов, сложенной газеткой прикрывая синяк под глазом, но комментариев по этому поводу, как ни пытались что-либо выяснить самые заядлые болельщики, ни от кого не последовало.

Но шут с ним, с Хомой.

С Даней, говорят, было плохо.

В толстяках он никогда не ходил, это ясно, а теперь, долетали слухи, стал и совсем кожа да кости, и лицо сделалось черное. Предлагали ему, начальник команды в завком звонил, сходить в больницу в Омске, но он сказал, все в порядке, пойдет, если что, дома, а какой же порядок, если парня как подменили?

Приближался день возвращения «Сталеплавильщика», и в завкоме решили на всякий случай отправить пока Хоменко в командировку — подальше от греха. Тут как раз случилась оказия, и по профсоюзной линии поехал наш Хома на шестимесячные курсы.

Не Хома, а парень-удача.

2

Приехали наши поездом.

Встречающих, как всегда, было много, даже, пожалуй, чуточку больше, чем всегда, — кроме родных да друзей пришли еще и те, кто хотел хотя бы одним глазком на Даню взглянуть: как он там?.. Держались эти последние скромней некуда, стояли поодаль, готовые ко всему: и кинуться, если что, к Дане поближе, помахать ему, крикнуть дружеское словечко, а то и по плечу похлопать и простоять в сторонке, не выдав себя, будто пришли они на вокзал совсем по другому случаю. Но все они, конечно, неотрывно глядели на хоккеистов, молча ели глазами Даню и больше были похожи на провожающих траурную процессию. Да так оно и было, как чувствовали! Хоронили сталегорский хоккей...

Даню встречали трое его мальчишек, которых привела на вокзал теща, и встречал старик отец. Вики не было.

И не было ее потом на стадионе, когда игры начались у нас.

Вообще-то, громко сказано: игры...

Не знаю, каким словом назвать то, что происходило теперь у нас на хоккейной площадке. Кошмарный сон... Балаган самого дурного пошиба.

Наши играли настолько плохо, что приезжавшие в Сталегорск команды тоже были не в состоянии показать хороший хоккей — любое мастерство, любая стратегия тонули теперь в царившей на площадке безалаберщине.

И хуже всех, пожалуй, играл наш капитан.

Теперь, выходя на площадку, он больше не перескакивал через борт, а мешковато, поникший заранее, вываливался через калитку и медленно, опустив голову, ехал на свое место к центру. Кончился этот стремительный его косой полет — он не ходил больше кругами, не вертелся, как раньше, волчком, когда неожиданно тормозил, бежал неловко, еле полз, опираясь теперь носками коньков, или стоял, когда игра шла поодаль от него, как в воду опущенный. И падал он теперь некрасиво, и вставал со льда тяжело, и, кажется, впервые, подолгу не поднимался, если сносили его особенно резко. А доставалось ему теперь тоже как никогда, потому что есть, есть, что там ни говори, в спорте, скорее всего, невольная, но злая манера мимоходом «приложить» того, кто явно не в форме, — наверное, затем, чтобы себя почувствовать и сильнее и неукротимей.

Единственное, что в нем еще осталось от прежнего Дани, это терпеливое спокойствие, с которым он принимал все, что с ним только ни происходило на площадке. Он не взрывался, не орал на весь стадион, не разбивал об лед клюшку, как это почти постоянно бывало с другими, но теперь это все меньше было похоже на

знаменитую выдержку капитана «Сталеплавильщика» и все больше смахивало на обычную понурую покорность — на Даню жалко было смотреть.

Он и раньше был не ахти какой говорун, а сейчас и совсем замкнулся, по улице ходил, сунув руки в карманы и ткнувшись в грудь подбородком, и никто его теперь не окликал, не затрагивал, только провожали, оборачиваясь, глазами.

На работе тоже к нему не лезли, только так, самое необходимое — жалели парни, давали время прийти в себя, что-то, может, решить...

Вики не видно было, говорили, болеет. Детишки гуляли с тещей или с Даниным стариком. Как там у них дома, никто ничего не знал, соседи говорили: в квартире тишина мертвая и повес головы.

Зато какие громкие разговоры шли теперь на трибунах!..

Слышали бы их бедные наши жены.

Вот, говорили, до чего довела Даню баба! Да если бы не она, его давно уже на руках носили в Москве. Из-за нее остался в забытой богом нашей дыре, и вот, пожалуйста, результат. Чего ей, Вике, собственно, не хватало... Так не-ет же, и тут распроклятая их натура взяла свое — ты ей и чего-нибудь остренького подай... И разве все они, бабье, не такие?

Это не шутка: я думаю, что в те дни, возвратясь со стадиона, а то и так, после разговора где-нибудь в курилке или за кружкой пива после работы, не один из сталегорцев, будто бы ни с того ни с сего повышал вдруг голос, разговаривая со своею половиною, а то и припоминал вдруг ей какой-либо старый — она надеялась, давно позабытый — грешок, и недоумевающая половина терялась в догадках: это с чего бы?.. И не один, я это совершенно серьезно говорю, сталегорец сложные какие-нибудь запутанные свои отношения с дамою сердца вольно или невольно поставил теперь в зависимость от того, как и что решит со своими делами Даня.

Бедный Даня!..

Такие раны каждый лечит по-своему, это так, но разве не лучше было бы для тебя забиться куда подальше, чтобы ни одна живая душа не знала, где ты, только какая-нибудь бездомная псина рядом, и побродить в одиночестве, а может, посидеть у раскаленной печурки, отлежаться, не знаю, с неделю беспробудно поспать, но только чтобы в спину тебе ни единого взгляда... Или не дали бы тебе отпуск?..

Да ты скажи только слово, и ребята-охотники на тягушках тебя отвезут в какую-нибудь одинокую зимовьюшку рядом с Поднебесными зубьями!.. А может, стоило бы уехать в другой город — хотя бы на время?

Пронесся вдруг слух, будто старый товарищ Дани, работающий на Шпицбергене, прислал ему письмо, а через несколько дней оттуда пришла и телеграмма с вызовом — заместитель управляющего Арктикуглем тоже был свой, из Сталегорска.

Даня не полетел.

По какой-то там причине календарь уплотнили, игры шли чуть ли не одна за другой, и каждый раз он неизменно появлялся на площадке, сопровождаемый участливыми взглядами всего стадиона... Разве он не чувствовал на себе эти взгляды?

Правда, болельщиков вокруг ледовой площадки лепилась теперь горстка.

Вспомнить былые времена — сколько народу стояло тогда вокруг переполненного стадиона на улице — подняв одно ухо на шапке, слушали, по реву болельщиков или по наступившей вдруг мертвой тишине определяли, кто там кого. А теперь примерно выше пятого ряда уже было пусто — только здесь и там посреди заиндевшего, давно не топтанного никем железобетона горели маленькие костерки, около которых в минуты особой скуки на стадионе болельщики стояли спиной к площадке — а на что, мол, скажите, пожалуйста, там смотреть?..

Сперва сюда ломались поглядеть, как наши выигрывают, потом, когда перестали выигрывать, любопытно было иной раз взглянуть, в какой форме находятся москвичи — так ли сильны перед чемпионатом мира, как пишут в «Советском спорте»?.. Затем, когда скатились в класс «А», приходили посмотреть на Даню...

Теперь, когда Даня сломался, смотреть стало больше не на что.

Они появились в городе почти неожиданно. Там, в столице, только что учредили новый кубок, и какая-то добрая, видимо, душа вдруг вспомнила о блиставшем еще недавно «Сталеплавильщике» и решила в розыгрыш включить и его.

И вот москвичи неторопливо, словно прогуливаясь, по два, по три человека рядком шли далеко растянувшейся вереницею по проспекту Metallургов, и среди них шагали два бывших наших игрока — тоже теперь столичные жители...

Они пришли на стадион и стали, осматриваясь, у борта. Кто-то открыл дверцу и в меховых высоких ботинках с «молнией» на голяшке вышел на лед, не вынимая рук из карманов, попробовал слегка прокатиться, другой носком потыкал, третий просто понимающе кивнул, и все они вертели головами, поглядывая и на только что расчищенное, с еле заметными полосками снега поле, и на пустые, такие неуютные здесь трибуны, будто целиком сделанные из бетонных лестничных маршей, и на низкое, заметно подкрашенное комбинатовским дымком хмурое небо.

А на них, знаменитых москвичей, с грустным любопытством поглядывали еще не успевшие уйти с

площадки, разом переставшие шоркать метлами служители стадиона — сухонькие дедки в облезлых кожанках да в телогрейках, в ватных, пониже спины оттопырившихся теперь, когда дедки разогнулись, штанах, в разношенных валенках... ах ты, эти дедки!.. В далекой молодости терпеливо кормили в холодных бараках вшей и отбивали себе ладони на жарких митингах около первых сталегорских дымов, по двадцать пять, по тридцать годков отстояли потом рядом с кипящей сталью, а на склоне лет, переживши случайно столько своих товарищей, открыли вдруг совсем иной, словно малых ребят потянувший их к себе сверкающий мир... Собираясь на стадион проситься на работу, надевали пропахшие нафталином шевиотовые пиджаки со всеми регалиями, строго подкручивали усы, значительно посматривали на отражение свое в зеркале, а потом с директором, совсем еще по сравнению с ними мальчишкой, разговаривали подрагивающими голосами и отмахивались отчаянно, когда речь заходила о деньгах — или не хватает, мол, пенсии, в том ли дело?!

С какою торопливой охотой со скребками в руках выбегали они потом на лед в перерывах между периодами, какой сплоченной шеренгой катили все вырастающий перед широкими совками лопат снежный бурун, с какой тщательностью заматали случайные огрехи, как поспешно убегали с площадки, когда выкатывался судья; если, случалось, при этом оскользались и падали, стадион пошумливал дружелюбно, шуточно покрикивал, а они, поднявшись быстрехонько, отмахивались и тут — экая, мол, беда! Лишь бы выиграли сынки.

О сталегорском хоккее, да и не только о нем, знали они теперь всю, что называется, подноготную, и, как никто, пожалуй, другой, страдали душою за своих; но непросто прожитый век не отучил их уважать чужое достоинство, и потому сейчас, когда приезжие пробовали лед, кто-то, стоявший к гостям поближе остальных, спросил приветливо:

— А что без б́уторишка?.. Или кататься не будете?

И один из этих одетых в дубленки и пыжиковые шапки красавцев, щедро улыбаясь, ответил:

— А стоит ли, дед?.. Зачем!

Пораженный старик бочком-бочком отошел к своему товарищу, и вдвоем они постояли, озябшие, пошвыркали носами, постучали нога об ногу пимами, поахали, тут к ним третий подошел, а дальше дело известное, в общем, вечером, когда стал собираться народ, эти трое стояли сразу за контролерами у входа, рассказывали завсегдатаям, которых всех знали в лицо, одну и ту же историю — о том, как москвичи не захотели-таки перед игрою «покататься». И грустные голоса были похожи на те, какими обычно старые люди приглашают пройти к столу на поминках.

Им в ответ понимающе головами покачивали: мол, ясное дело, дожили!.. Они и «Сталеплавильщик» только затем небось и включили в розыгрыш, чтобы кое-кому дать слегка отдохнуть!

Перед самым началом игры у наших случилась заминка, четверо полевых никак не могли дожидаться пятого, судья настойчиво свистнул еще раз, и тут, низко пригибаясь, через борт перемахнул Даня, лихо, как в былые времена, взмахнул клюшкой и, заваливаясь набок, по дуге пошел к центру. Судья нетерпеливо бросил шайбу, еще не дождавшись его, но Даня, потянувшись, каким-то чудом отнял ее, отдал вбок, бросился вперед, получил пас, одного и другого обвел, третий подставил ему подножку, и, падая, Даня сильно и коротко успел пробить — за воротами у москвичей мигнула красная лампочка.

На трибунах ударили в ладоши и замерли, не поверив: что за новости?

Москвичи головами покачивали и улыбались друг другу и снисходительно на наших поглядывали: некоторым — не станем уточнять, кому именно, — всегда, мол, везет — факт известный.

Теперь они захватили шайбу прочно и, казалось, надолго, опять наши стали ошибаться, занервничал вратарь, которого уже и раз, и другой спасло только чудо, но тут Даню, ходившего кругами, будто толкнула вдруг та самая, неудержимо распиравшая его изнутри пружина, он прыгнул к шайбе и с нею, все круче заваливаясь набок, бросился сломя голову через все поле, все только заоглядывались, и вот она вдруг — вторая!

Та самая, почти забытая теперь Данина.

Теперь хлопали подольше, но все же как бы с опаскою: разве не знаем, как оно тут, на нашем стадионе, всегда бывает? Загорисься, поверишь в них, понадеешься — тем горше потом будешь переживать поражение... Не в первый раз — мы ученые!

А Даня, затормозивший так резко, что крутнулся, как встарь, бывало, волчком, на один момент замер, бросил вверх руку в громадной этой кожаной перчатке, и тут же над полупустыми рядами метнулась ласточкой белая варежка.

И заоглядывался, зашептал стадион...

И что-то, нечаянно щипнувшее у многих глаза, отразилось потом на лицах.

И стало очень тихо. И стало вдруг очень за что-то ничем не защищенное тревожно.

Коротко похрустывало под тугими ударами резины промерзшее дерево, потрескивал лед, чиркала, разрезая его, сталь, глухо одно в другое впечатывались тела, с густым шорохом, распростертые, мчались по льду, плющились о поскрипывающие борта. Шла упрямая, изредка нарушаемая лишь прерывистым дыханием да неожиданным чьим-то хеканьем немая борьба.

Странное дело: казалось, что Даня не принимает в ней никакого участия, что он постоянно занят чем-то известным только ему одному, чем-то имеющим целью выиграть не только у чужих — у всех сразу.

Это был прежний Даня, с него уже не сводили глаз, и когда он совершенно неожиданно, издав всадил третью, и радовались без удержу, и хлопали уже без оглядки: да пусть там потом хоть что, вы видели, человек заиграл?!

А гости после третьей начали грубить, стали друг на друга покрикивать, а стадион, всегда очень тонко чувствующий даже самый незначительный сбой в настроении чужих, хором начал свою жестокую борьбу, которая очень часто ранит куда больнее, чем сам соперник.

Прежде всего сталегорцы взялись дружно освистывать «изменников».

Сколько произнесли мы до этого горьких слов, вспоминая вас, но и как мы всегда любили вас, братцы!.. И искали ваши фамилии в коротеньких спортивных отчетах, и в ожидании встречи с вами, бросив остальные дела, усаживались прочно у телевизора, ловили каждый взмах клюшки и расплывались в счастливейшей улыбке, если кто-либо из вас попадал на скамью штрафников и его вдруг крупным планом показывали, и, приезжая в Москву, шли на стадион, где болельщики дали вам уже свои, уже иные прозвища, и, не обращая внимания на соседей по ряду, кричали вдруг как оглашенные то, с чем вы бегали еще в дворовой команде: «Сю-юня!..»

Но нынче, ребята, другое дело. Нынче — в родном-то городе — похлебайте!

И не только при малейшей ошибке — при одном появлении «изменников» возносился над стадионом беспощадный унижительный свист.

С москвичами не было старшего тренера, наверное, не посчитал нужным ехать. Два его молодых помощника сперва перестали бывших сталегорцев выпускать на площадку, а потом велели им и вообще — с глаз долой. И болельщики поняли, что это почти победа.

Может, это были звездные часы в жизни Дани, может, одна из тех почти невероятных случайностей, которыми так богата любая игра: четвертую шайбу он забил почти в точности так же, как первую, — в самом начале второго периода, на четвертой или на пятой секунде. И восторженный стон, каким откликнулся стадион, не прекращался уже ни на единый миг до самого конца матча.

Не знаю, с чего это началось, но трибуны вдруг стали заполняться. Кто-то, наверное, прогуливался неподалеку по улицам и вдруг услышал знакомые победные звуки, кто-то другой позвонил на стадион узнать, как там дела, и тут же постучал соседу.

Снова открылось окошечко кассы, потом другое, и кассирши хлопотали за ними так торопливо, словно пытались вернуть все упущенные за долгий сезон барыши. Затем около касс столпилась длинная очередь. Затем стали стучать во все двери и требовать директора.

Сам бывший хоккеист, директор не оторвал взгляда от площадки, только, приказывая открыть все какие только можно входные двери, повел рукою у себя за спиной... И к концу игры на стадионе давились так же, как тогда, когда «коробочка» была еще деревянной.

Говорят, что люди прибежали в пальто, накинутом на пижамы, а то и на теплое китайское белье. Не знаю, не стану врать. Но я своими глазами, когда уже расходилась потихоньку толпа, видел под ногами утерянный кем-то растоптанный шлепанец.

Но ведь было в тот вечер из-за чего чуть ли не босиком стоять на раскаленном бетоне!..

Даня после четвертой заиграл вдруг совершенно иначе — он снова стал капитан и снова стал дирижер. Опять он был в центре событий, опять распасовывал, помогая, подстраховывал, опять отдавал, как отрывал от сердца. И в конце концов ему удалось раскатать даже тех, кто и в самом деле давно уже приходил сюда с клюшкой только затем, чтобы бесплатно смотреть хоккей.

Во втором периоде наши забросили еще две.

Отдыхать в раздевалку перед третьим они не пошли: кто потихоньку катался, изредка побрасывая по воротам выехавшему запасному вратарю, кто стоял, окруживши посреди поля первого, кто, облокотись о бортик, переговаривался со знакомым на гудящих трибунах... Как знать, может быть, всем в команде очень давно уже так нужны были эти редкие минуты всеобщего тепла и дружеского участия.

В последнем периоде было тоже три сухих.

Девятую в буллите прямо-таки затащил в ворота сбитый перед этим вратарем гостей самый молодой игрок «Сталеплавильщика» — парнишка с виду совсем тщедушный, эдакий одетый для смеха в чужие доспехи сиротинка — и это и до колик потешило напоследок сталегорцев и окончательно взвинтило гостей.

Когда под небывалый свист шагали они гуськом по черной резиновой дорожке, то последний походя, срывая зло, шлепнул клюшкой пониже спины стоявшего боком рядом с дорожкой Володю Минаева, и тот, обиженно моргая, сперва секунду-другую смотрел в спину уходящим, а потом сделал шаг и легонько хлопнул обидчика по спине. И тот не удержался и шлепнулся, и вслед за ним, так же как стоящие рядом доминошные кости, стали валиться шедшие впереди.

Как он, этот последний, бросился потом на Володю!

Мальчик!.. Да ты хоть узнай сперва, кто такой Володя Минаев. Ты еще проситься не умел, а он уже привез из Мельбурна «серебро», он чемпион мира по классике был. Мальчик, ты домой вернешься, сходи в библиотеку при своем клубе, полистай-ка газетки, ты журналы тех лет посмотри, тогда о нашем Володе много печатали — и как он западного немца положил, и как иранца, и турка, а я тебе пару слов о том, чего не найдешь в газетах: ты знаешь, как наш Володя, этот добряк и выдумщик, и один раз, и два, и потом уже всякий раз бросал на лопатки знаменитого Гамрикадзе, ты знаешь, мальчик, что у Гамрикадзе от Володи началась потом аллергия — это повышенная, мальчик, чувствительность при обонянии, при осязании, при общении, одним словом, с теми или иными явлениями из окружающей нас среды... Так вот о них двоих: Гамрикадзе в своей надменной, как у многих кавказских борцов, манере, проведя прием или просто отпуская противника, поворачивался к нему обычно спиной и уходил к краю ковра, не торопясь и при этом чуть морщась. И вот однажды, когда он уже уходил, но еще не успел поморщиться, Володя быстренько вскочил, сграбастал его сзади и швырнул на

лопатки — он ведь месяц перед этим отрабатывал в Сталегорске свой особый прием, который в кругу друзей назвал: «наказать фрайера».

А потом был следующий чемпионат страны, и Володя, борющийся с Гамрикадзе, сделал бросок, сам повернулся к сопернику спиной и медленно пошел от центра ковра...

И теперь вскочил, словно пружиной подброшенный, Гамрикадзе бросился к Володе, а Володя сделал только одно движение, и тот снова был на лопатках.

Потому что к этому времени наш Володя уже хорошенько отработал изобретенный им контрприем: «наказать хама».

Это тебе только так, мальчик, для затравки, а у Володи вообще и светлая голова, и руки золотые, он бы уже, знаешь, где сейчас — клюшкой бы его уже не достать, — если бы не общая наша беда, если бы хоть чуть поменьше друзей... За что же ты его сейчас? Только лишь потому, что это не сладко, вспыльчивый мальчик, проигрывать? А как же тут мы — всю жизнь, считай, в проигрыше — и живем!

Нет-нет, маленький, надо уметь проигрывать, это, скажу тебе, тоже великое искусство, может быть, еще большее, чем искусство победы... А ты думал, Даня наш окончательно расписался, ты думал, в лед носком канадского ботинка потыкал — и это уже и все?..

Нет, мальчик, ты, наверное, просто не жил в таких, как наш, городах.

Мальчику на запястье руку в перчатке положил стоявший рядом начальник городской милиции в погонах полковника и в высокой серой папахе. Без всякого намека, но очень вовремя негромко сказал: «Вы свободны».

Мальчик паинька оказался, не то что наши болваны — говоришь ему, а от него что от стенки горох.

Но вынесся из раздевалки ушедший первым один из молодых тренеров.

Полковник наш — дядька и правда деликатнейший, но, когда надо, и холодный как лед, — учтиво пальцы поднес к краю папахи:

— Полковник Стрелковский. Позвольте заявить, видел собственными глазами. Придется свидетелем, если что...

И так же учтиво взял тренера под локоть, уходя с ним в глубь стадиона и переводя разговор уже на погоду — он ведь еще и большой дипломат, наш Стрелковский.

Зная, однако, любимый город, которому он отдал не один десяток лет, полковник потом совершенно один — без какого-нибудь хоть завалящего старшины — как бы в глубокой задумчивости, руки за спиной, прогуливался около автобуса, в который садились гости. И ослепительно белая его «Волга» чинно следовала потом за автобусом на край города — почти до самых комбинатовских дач. Но это уж так, больше ради приличия, потому что в тот вечер в нашем городе ну просто не могло ничего такого случиться — разве социологи наши даром едят свой хлеб?

Да тут и академий заканчивать не надо, чтобы понять: до того ли нашим болельщикам в эти счастливые минуты после победы?..

Опять валами по заметным улицам кагили оживленные толпы, над которыми подрагивающим на морозе парком носился радостный разговор и носился смех, опять перестраивались на ходу, чтобы стать один к другому поближе, взять за локоть или просто потереться плечом, опять забегали вперед, чтобы друзей своих увидеть всех сразу и всем сразу что-то такое сказать и всем улыбнуться.

— Ну, эти совсем в конце расклеились!

— Обиделись мужики.

— Что ты — налились!..

— Сталегорск надолго небось запомнят.

— А видели, как Даня своих-то щенков школил?

— Даня — капитан, какой разговор!

— А маленький этот, маленький!

— Серега?.. Куночкин?

— Не растерялся — закатил-таки!

— Это Данина надежда, мужики...

— А слышали, братцы, что Сюня хочет вернуться?

— Чего это он вдруг?

— Да после проигрыша сегодня, после проигрыша!

— Старики, говорит, здесь, а там пацаненка оставить не с кем, в садике, говорит, болеет...

— Взял бы тут молодежную!

— А институтская команда?.. А детская? Или тренировать у нас некого!

— Вот он и говорит.

— Хватилась бабенка, когда ночь прошла, — этот Сюня!.. Чем раньше думал?

— Да нет, он парень ничего...

— А никто не говорит, пускай едет, разговор к тому — зачем уезжать было?

— А ведь можем, мужики, если возьмемся?! Ведь можем же!..

— Да, эти сегодня совсем в кусках были...

— Жалко смотреть.

— Чего там жалко — почаще бы!

— Вот погоди, оклемается наш Елфимыч, срстется у него ключица...

— И тут же заберут его в Новосибирск.
— Теперь не заберут. Этот сезон отыграет.
— Конечно, если бы нас не грабили... какую можно команду!
— Подожди вот, молодежная тройка заиграет.
— А Кряк вернется из армии?..
— Ну вот, а к этому времени и этот пацаненок из детской подрастет... Миронов, как его?.. Мирнев? Видели пацаненка?
— И ты не видел?.. Ну, за такого игрокка!..
— А подожди, Серега Куночкин войдет в силу.
— Если опять не отберут. Думаешь, его уже не заметили? Эге!
— А все-таки уделали сегодня пижонов!
— Наука будет. Думали, тут лаптем щи до сих пор...
— А давай-ка прибросим, мужики, какую можно команду, если всех наших...
И среди всеобщего этого ликования такая вдруг сердце сжала тоска!..
Что ж, что мы выиграли сегодня? Завтра мы опять непременно проиграем, ведь мы обречены на это — проигрывать. Радость эта сегодняшняя как дождь в пустыне. Пьем воду, плещемся в ней, разбрызгиваем, а она уже уходит и уходит в песок. Когда еще бог пошлет?..
Однако нынче наш день.
Ведь если мы у тебя, Москва, не будем выигрывать, кого ты от нас потом возьмешь, что ты от нас получишь, у кого потом выиграешь сама?
Сегодня наш день.
Пускай нам завтра таких навешают, что и с собой не унесешь, не в этом дело — неужели у каждого только затем в руках клюшка, чтобы, и верно, пустили поближе поглядеть, чья возьмет?

4

Следующий день был воскресенье.

Утро выдалось ясное, с крепким морозцем, но то ли ночью опускалась на город летучая, почти мгновенная оттепель, а то ли начали еще в третью смену, сразу после выигрыша, подтапливать мужички на комбинате — деревья по проспекту Metallургов стояли все в куржаке и чугунные решетки были оторочены глубокой пушистой изморозью. Под этими деревьями мимо этих решеток неторопливо шел рядом с женою своею Викою капитан «Сталеплавильщика» Витя Данилов, а впереди них, обгоняя один другого, чтобы первым поспеть к накатанной посреди тротуара коротенькой ледяной дорожке, бежали трое мальчишек. Отец не спускал с них глаз, а маленького иногда и вовсе около себя придерживал, взявши за концы шарфа под воротником шубки, поэтому снова иной раз не замечал поднятых в приветствии рук, но сегодня Вике не приходилось толкать его в бок, потому что все, кто приподнимал руку, тут же дружески окликали: «Витек!..», «Данька, чертяка!..», «Виктор Иваныч!..»

Город все понял и принял все как должное.

Это не шутка: многие из тех, кто вышел в то утро из дома прогуляться один, увидев Даню с Викою да с ребятишками, извинялись перед друзьями, с которыми уже начали было соображать, как повеселей провести остаток выходного, возвращались под каким-либо предлогом домой и там говорили ворчливо не понимавшим, откуда вдруг свалилось такое счастье, своим женам: «Такое утро, а ты, понимаешь, с детишками дома! А ну-ка, собирайтесь на улицу, сидите тут в духоте... Да одень парнишку получше, куда ты за старое пальтецо, или нового нету, все б они сэкономили — нечего, понимаешь, приbedняться!..»

И вышагивали потом по улице с отвыкшей ходить под руку женою рядом, и тоже поглядывали на детишек, и думали о Дане, и думали о себе: мало ли что кому приходится в жизни проглотить, может, в том-то и штука, как ты это проглотишь?

Даня молодец. Он всегда был парень что надо. Просто в этот раз ему пришлось трудней, чем когда-либо.

Но вот он прошелся по улице с Викою и с детишками, как будто ничего такого и не было.

Да, а в самом деле, а было ли?..

Эти, с междугородной, известное дело, — кумушки. Да стояла бы у них к тому же аппаратура приличная, а то так — осталась еще от царя Гороха.

Да, а мы, а мы-то не хороши?.. Рядом в семье у дяди Васи происходит такое, что не только на весь «Сталеплавильщик» хватило бы, осталось бы еще и для половины «Мосфильма». Да только это нам неинтересно, потому как дядя Вася — он кто? Он слесарь, конечно же, водопроводчик. А вот если вдруг что у Дани!..

И думали они о странном своем городе, где почти все устраивают свою жизнь около металла да угля, которые, как вода, как хлеб, необходимы всем вместе и сто лет, если разобраться, не нужны каждому в отдельности.

Но ведь родные города не выбирают, как не выбирают мать и отца.

КОЛЕСОМ ДОРОГА

Ю. Казакову

Среди моих книжных полок есть одна такая, на которой лежит всякая всячина, и Леонид Федорович, когда бывал у меня, каждый раз непременно напротив этой полки останавливался, заложив руки за спину и слегка склонив голову набок, с носка на пятку покачивался, насмешливо говорил:

— Так-та-ак!.. Значит, растет коллекция? А может, все-таки дать пионерам адрес? Утильсырье, скажу я, по, этим цацкам да-авно плачет!

Брал с полки тяжелый, с неровными краями медный пятак, взвешивал его на ладони, и лицо у него становилось при этом такое озабоченное, словно был он не председатель колхоза, а какой-нибудь тебе оценщик, из Вторчермета.

— Граммов под пятьдесят... зачем он тебе?

Я терпеливо начинал рассказывать.

Как-то мне пришлось с недельку прожить в одной казачьей станице. Хозяева мне попались приветливые, большие охотники о том да о сем поразговаривать, и однажды, когда зашла речь о старине, Мария Васильевна, хозяйка, достала этот пятак из шкатулки, положила передо мной:

— Вот, возьмите, если понравится. В огороде нашли, когда картошку копали.

Отчищали монету, видно, без особого упорства, она так и осталась темною, и сквозь прикипевшую к чеканке ржавчину пятнами проступала глухая празелень, но края вензелей на одной стороне и двуглавый орел на другой местами оттерлись хорошо, и медь была здесь такого теплого и густого цвета, что уже одно это, казалось, должно было говорить о древнем происхождении.

— Мы тогда две нашли, — сказала хозяйка. — Вторая еще больше этой, прямо — вот такая! Дочка дома как раз была, помочь приезжала, так она к зеркальцу из своей сумочки приложила — ну точь-в-точь! Кто бы другой сказал, что раньше — такие деньги, ни за что б не поверила!

— Так, а где она у нас? — спросил муж.

— Да Трофимыч забрал. — И снова обернулась ко мне. — Сосед наш. Я как раз на улицу вынесла, показать, а он шел. Дай мне, говорит. Я и отдала. А зачем она ему?

— Может, старинные деньги собирает? — спросил я.

— Трофимыч-то? — удивилась хозяйка. — Да ну! Он, слава богу, ни старинных, ни нынешних не копит — старик веселый. — И как будто впервые задумалась: — А зачем же он, в самом деле, брал?

Небольшого росточка дворняжка во дворе у Трофимыча не только не лаяла, но, вытягивая передние лапы и пригибая морду к земле, пяtilась, повиливая задом, дружелюбно помахивала хвостом, словно приглашала войти.

— Ах ты, моя умница! — ласково сказала Мария Васильевна. — Ну, пойдти шумни своего Трофимыча, пойдти шумни!

Собака перестала пятиться, трусцой побежала мимо крыльца, обогнула дом и только там, в глубине двора, и раз и другой залиvisto гавкнула.

Улыбнувшись, я покачал головой, а хозяйка моя, довольная, объяснила:

— На уши тугой стал, так она, верите, чуть не за штаны его приведет!

Трофимыч выслушал, вытягивая шею, ни о чем не спросил. Мельком посмотрел на меня, а потом снова перевел взгляд на Марию Васильевну, вытянулся перед нею в струнку, выпятил грудь и повернулся нарочно лихо — видно, подчиняться ей он привык и подчеркнуть это было ему почему-то приятно.

Вернулся он с пакетиком из пергаментной бумаги, молча протянул его мне, и я сразу почувствовал: что-то не так. Пакетик был подозрительно легкий.

Развернул я шелестевшую бумагу, а в ней лежит аккуратно отпиленный кусочек от пятака. Край его еще не успел окислиться и сверкал так ярко, словно монету затем и резали, чтобы посмотреть, какая чистая медь внутри.

— А остальной? — удивилась Мария Васильевна.

Трофимыч выпятил грудь в облезлой рубахе, и лицо у него стало значительное. Шевельнул обвисшими усами, и большой красный нос его тоже задвигался.

— Сжавал!

И усы его снова заходили под красным носом. Я припомнил, что говорила о Трофимыче хозяйка, и настроился на веселый лад:

— Это как же?

А он поднял вверх заскорузлый палец с прокуренным ногтем, и лицо у него стало еще более важное:

— А я тебя научу! Перво-наперво квасной гущей — чтобы, значит, даже туск от ее отлетел. А потом так: за лоскуток будет цепляться, дак ты лучше на чистой бумажке. Терпужком по ней: вж-жик! вж-жик! А потом подсыпай да ешь. Другой кто норовит, конечно, с медом, а то на пряник, но это не про нас, а? Наше дело мужское: на горбушку вместо солцы — да за обе щеки!

Я все улыбался, ожидая, чем же шутка закончится, а у Марии Васильевны лицо сделалось растерянное, под конец, видно, готова была руками всплеснуть:

— Что это ты не в ту степь, Трофимыч?

Он вскинулся:

— Это как не в ту? Как раз — в ту! Любой перелом тебе закроет...

— Тебе про Фому, а ты про Ерему! Человек вот стариной интересуется...

Трофимыч сообразил, видно, раньше нас, и глаза его сузились от смеха:

— Во-он оно — ну, дела! Да как ты разве, Марьюшка, не знала, зачем я у тебя медяк брал? Вспомни, когда это было? Ну? Когда я сарайчик заваливал да руку себе и поломал. Так? Так! А ты как будто не знаешь, что медь в таком разе — первейшее дело? Это нынче чего только не напридумывали, а то, бывало, как? Лишь бы фельдшер на место поставил, а срстется тебе само, только медяшку точки да ешь. Лишь бы красная была, — Трофимыч взял из бумаги, которую я все еще держал на ладони, опилочек пятака, повернул ярким срезом. — Как эта, видишь? Корольковая!

— И надо забыть, а? — голос у Марии Васильевны был виноватый. — Меня еще и тетка учила, покойница!

Старик снова выпятил грудь, приподнял подбородок, и вид у него опять стал нарочно лихой:

— А говоришь, за Трофимыча никто уже и поросенка не даст!

Вот и лежит на моей полке только один пятак из чистой меди. Было бы два, да только второй, видите, «сжалал» веселый старик Трофимыч.

Друг мой покачивал головой и, глядя теперь под потолок, усмехался:

— А тот самовар? Что без крана?.. Небось на полке не поместился?

А это был не такой простой самовар.

Дело в том, что внутри у него между трубою и стенками стоят две тонкие перегородки, один бок отделяют от другого. Пожалуйста, в одном боку ты вари, предположим, борщ, в другом — кашу. Первое тебе и второе. Зачем тут кран?

Зато при этом самоваре есть особая лагунная ложка. Черенок у нее длинный-предлинный и загнут вверх, чтобы доставала до дна. А носок очень острый, такой, что в любой уголок тебе заберется.

Этим самоваром я очень гордился, всем показывал, а потом как-то была у нас в гостях одна старушка, увидела его и сама попросила достать со шкафа. Долго рассматривала, трогала сухонькой, в морщинах ручкою, рассказывала нараспев:

— Это я когда еще молоденькая была... Отдали замуж. А бедность! А надел дали в степи тоже рядом с молодыми, только те из богатых. И вот у них два самовара, один обыкновенный, чай кипятить, а другой — как этот, она говорила, *варной*. Обед готовить. Вот он, хозяин-то ее, бывало, косит, а она ему прямо тут и первое и второе, а потом сидят да еще чаюют. А у меня один-единственный чугунок — все хозяйство. И нынче степной суп, и завтра, и послезавтра. Он другой раз ест да в ту сторону, на соседей, поглядывает, а меня не то что завидки берут — за бедность свою обидно. А потом одна старушка мне говорит: да моя детка! Я тебя научу. Холстинка у тебя есть? Сшей себе небольшой мешочек, чтобы чистенький. Помыла крупу, в него засыпала, да и клади в борщ. И будет тебе, детка, каша. И картошку на толченку можно так же варить, и яички — чтоб долго за ними потом половником не гоняться... Так я, вы верите, приспособилась — было бы из чего! А он ест тогда да похваливает, да на меня смотрит и глазами смеется. — И задумалась, и вздохнула. — У меня хороший хозяин был.

И смотрела она на старый самовар, и припоминала, видно, еще что-то, и от немудреного ее рассказа повеяло на меня давно отошедшей жизнью, нелегкими ее трудами и заботами...

Леонид Федорович слушал меня внимательно, но с лица его не сходила насмешливая улыбка. Опять клонил голову к плечу и с носка на пятку покачивался, потом тянул руку, двумя пальцами один за другим приподнимал рядком стоявшие медные колокольцы. Слегка потряхивал, и каждый из них отзывался своим особенным голосом — я мог угадать, не глядя, когда какой он берет.

— Ну а это тебе зачем?

Как тут сразу все объяснишь...

Лет десять назад, когда я жил еще в Сибири, мне надо было побывать в одном таежном селе. Стоит оно далеко в горах, и попасть туда можно только по реке. Летом по ней бегают моторки, а зимой, когда она замерзает да заносит ее глухие снега, по реке накатывают санную дорогу. Обычно по этой дороге мы добирались на лыжах, а погода, когда снег начинал чиреть, ходили пешком. Однако на этот раз у меня был тяжелый груз, пришлось попросить у геологов лошадку.

Ночевал я поэтому в просторной избе у древнего, но крепкого еще старика, который занимал должность с громким названием: начальник конного двора. Любопытный это был старик! Сколько времени с тех пор пролетело, а я все вспоминаю его — не добром, и с запоздалою благодарностью...

К своим обязанностям, видно, относился он до крайности строго, оттого и разбудил меня почти в середине ночи да еще поворачал малость: некоторые спят, мол, себе и сладкие сны видят, когда им давно уже надо быть в пути. Я наскоро умылся и схватился было за рюкзак, но старик повел меня в горницу, усадил за стол и чаевать заставил не торопясь.

Чай был душистый, на травах, с крупитчатым, белого цвета медом да с калиновым вареньем, и пил я с наслаждением, то обжигал губы, а то радостно отдувался, а старик сидел напротив, покуривал и опять почему-то ворчливо говорил, что, не подкрепившись, в дальнюю дорогу пускается в тайге только непуть да нерадельщина — неужели и я такой?

Запряженная одною лошадыю кошева уже стояла у ворот, и мы умостили в ногах мой груз — рюкзак да небольшой ящик, — а потом старик пошел в избу и вернулся оттуда с тяжелым, на великана, овчинным тулупом. Расстелил его на хрустком сене, кивком велел садиться, а потом, бормоча что-то невнятное, помог мне укутаться, поднял высокий воротник и слегка хлопнул по спине: поезжай, мол!

Пока мы укладывали вещи, лошадь иногда перебирала ногами, и я и раз и другой различил еле слышное позвякивание, но что это такое, не догадался и лишь теперь, когда сани тронулись, с удивлением вдруг понял: колокольчик!

В морозной тишине он ударил под дугой тоненько и звонко, и сперва я почувствовал себя так, словно нечаянно обронил что-нибудь в спящем доме, — невольно вытянулся и замер.

И странная случилась штука: прислушивался я к ночному миру вокруг, а уловил что-то в себе самом... Почудилось, будто мне, городскому жителю, это так хорошо знакомо — и залиvistый бой колокольчика, и тугой стук копыт, и острый скрип под полозьями, и простуженный лай, который лениво, будто по надоевшей какой обязанности, перекатывался из одного края деревни в другой. Черные избы со светлыми от снега крышами, редкие, в морозной роздыми огоньки и долетавшие ко мне теплые конские запахи — все, что память тайно хранила с далеких пор, медленно выплыло теперь из глубины забвенья, и, как всегда, когда припомнится сокровенное, на душе стало и светло, и чуть грустно.

За те несколько мгновений, пока лицо мое обжигала колкая стужа, неясная тревога ушла, и, когда я снова спрятал голову в воротник и откинулся на спину, мне уже казалось, что все вокруг так и должно быть и так и было всегда — всякий раз, когда студеною ранью выезжал я из деревни на этой лошади с колокольчиком...

Бывает, ничего такого не произойдет, но ты вдруг почувствуешь удивительное умиротворение, и тебе станет не то чтобы тепло и уютно жить на земле — просто с небывалой дотоле ясностью ощутишь, что на ней ты не случайный гость, а необходимый связной между теми, кто был и кто будет, что ты не сирота во вселенной, а счастливцев уже только потому, что допущен к разгадке тайны и время твое еще не истекло...

И память твоя потом особенно бережно будет хранить то, что видел вокруг в счастливые минуты внутреннего согласия, и все это еще и не раз, и не два припомнится тебе, когда тебе отчего-либо станет горько или заболит душа.

Всегда теперь вспоминаю, как тянулись мимо меня черные, в серебряный куржак закованные леса, слегка приподнятые по обоим берегам призрачными сугробами, как все ближе подступали и выше вздымались таинственным светом осиянные горы, как стыл над ними пронзительно-синий небосвод и высокие звезды иглились и помигивали, и оттого, что лошадка дергала сани, как будто покачивалось мирозданье.

Она бежала неторопливой рысцей, и тогда колокольчик бил старательно, вызванивал весело и бойко, и тоненький его, но настойчивый голосок то возносился вверх, а то рассыпался далеко по сторонам. Потом лошадка, отдыхая, переходила на шаг, звон слышался реже, становился мягче и словно печальнее, спотыкался вдруг, замирал совсем, и мысли мои то старались поспеть вслед за убегающими в бескрайнюю тишину медными переливами, а то замедлялись тоже, на сердце было и грустно и светло, и хотелось, чтобы дорога еще долго не кончалась.

Перед рассветом мороз ярился, и всякий крошечный комочек снега взвизгивал под полозьями, слышалось, будто от стужи поскрипывает лед на реке и потрескивают деревья, но я так и не озяб, и волгая от моего дыхания овчина на воротнике около губ по-прежнему, казалось, тепло пахивала и душистыми травами, и медом, и еще чем-то очень домашним, летним...

Теперь мне видно стало иней на спине да на холке у лошади, и потемневшие от долгого бега ее бока, и легкий парок от дыха. Мне захотелось ободрить лошадку, и я раз и другой ласково ее окликнул, и после этого мне все казалось, будто она как-то по-особенному трянула головой.

Потом она начала фыркать чаще, и обострившимся чутьем я вдруг угадал, что, должно быть, близко жилье, стал вглядываться и вскоре у подножия сопки вдалеке увидел утонувшую в снегу крохотную деревеньку, белые крыши и высокие, одинаково ровными столбами, дымки. В предрассветной сини еще мерцали над ними крупные звезды, висел круторогий месяц, и, может быть, оттого маленькая эта деревенька выглядела совсем сказочной, и мне тогда показалось, что я, пожалуй, нисколько не удивился, если бы вдруг увидел впереди перебегавшую через дорогу Лису, которая за темные леса, за далекие горы уносила бы под мышкой такого же огненно-красного, как сама она, Петуха...

На обратном пути, возвращая лошадку, я поблагодарил старика, занимавшего у геологов эту самую должность начальника конного двора, и похвалил колокольчик.

— Однако, звенючий, да, — сказал старик и посмотрел на меня недоверчиво.

А мне понравилось слово, я с удовольствием повторил:

— Ох, звенючий!

Косматые брови у старика дрогнули и глаза потеплели. Сделал мне знак и молча пошел в глубь конюшни.

На больших крючках, вбитых в бревенчатую стену, я увидел аккуратный ряд хомутов да уздечек и только потом, когда старик протянул руку, заметил вдруг связкой висевшую тяжелую гроздь колокольчиков. Он снял их со стены, и они отозвались разноголосо и коротко.

— Полюбуйся, однако, если понравится...

Колокольцы были на недлинных ремешках, и я перебирал их, разглядывал, и даже так, у меня в руке, каждый из них звякал хоть совсем негромко и глухо, но все равно по-особому.

Я заговорил об этом, и старик вдруг заволновался, положил всю связку на тяжелый, из тесаных досок стол,

начал развязывать поводок, которым были стянуты колокольцы.

— Знать бы! — сказал огорченно и очень дружески. — Я бы тебе рядок целиком повесил — тешься!

Развязал наконец ремень, и мы с ним оба стали перебирать колокольцы, и то он звонил, я прислушивался, а то позванивал я, а он жмурился, поднимал суховатый палец, совсем прикрывал глаза, и лицо у него было такое, словно слышал он при этом не только негромкий перезвон, который раздавался сейчас в полупустой конюшне, но и что-то другое, доступное, может быть, только ему одному.

Отводя звонки на вытянутую руку, я все присматривался к ним со стороны, потом заглядывал в раструбы, а тут вдруг поставил на ладонь и по краю вокруг ушка увидел литые буквы.

— Что-то написано?

— Истинно так! — в голосе у старика послышалась гордость. — Все с паспортом!

И пока я пытался разобрать полуистертые буквы, он называл по памяти:

— Этот из села Пурех, однако, бывшей Нижегородской губернии. Там его родина. Не соврать бы, пурехские мастера не только олово в сплав добавляли, но и серебра другой раз не жалели — а ну, возми-ка на слух!

А я открывал для себя все новые подробности:

— Они, выходит, под номерами?

Лицо у старика было торжественным.

— Истинно так! По голосам были. С подголосками. Под дугой звонцы, а на сбрую шаркунчики. Каждый свой звон по вкусу ладил. Заводские язычки снимали, сами такие била придумывали, что за версту слышать. Старые люди сказывали — уши, бывало, навостришь: Филя, угадывают, едет. Один. Видать, отказали ему в суде. Или там что другое. А это Матвей! Иван ли. И по колокольчику было знать, как в город съездили. Почему купил? Почему продал? Колокольчик, бывало, поперед мужика все расскажет!

— А как же они у вас сохранились?

— Увлечение у меня вышло... Сперва один попался. Починил я его, приладил. После другой. А потом любопытствовать стал, у людей спрашивать. Ботала начал делать. Если у кого на скотине, я ботало ему самодельное, а он — колокольчик. Везде искал. Другой раз, можно сказать, до конфуза доходило, — опять зажмурился и покачал головой. — С цыганами связался, у них на что только не выменивал. А тут ребята наши прознали. Кто куда едет, обязательно спросит: звонцов нету ли?.. Да ты приезжай к нам, однако, на масленицу, сам увидишь. Прокатиться будет такая очередь, что тройки не успеваем менять! — глаза у старика заблестели, он совсем, видно, разволновался и отчего-то растрогался.

Наверное, слушал я его внимательно, что ли, — он вдруг махнул рукой, как будто на что-то решил, и вздохнул, и запербирал похोजие на нераспустившиеся цветы медные кругляши.

— Я тебе дам, однако. Маленький. Гормотун. Шаркунец, выходит. Бубенчик.

С этого и пошла моя коллекция. А потом в разных сибирских селах разыскал я еще несколько колокольцев, и среди них есть даже один валдайский, очень звонкий и с бойкой надписью: «Купи, денег не жалеи, со мной ездить веселей!»

Может быть, для кого-либо это и в самом деле неинтересно — не знаю! Для меня же безмолвно стоявшие на моей полке медные колокольчики были как бы замершие отголоски былого.

Все это я пытался объяснить моему другу, и он внимательно слушал, не перебивал, но улыбка его так и оставалась слегка снисходительной. Что касается старины, общего языка мы с ним так и не находили.

Потому-то я и удивился, когда однажды он позвонил мне из своего села и стал настойчиво звать меня приехать немедленно.

— Ты знаешь, какой я раскопал тут для тебя самовар? — спрашивал громко, и голос у него при этом был такой возбужденный, будто самовар стоял перед ним на столе в кабинете. — Нет, знаешь? Ты такого в жизни не видал и никогда не увидишь, если не выедешь прямо сейчас же!

Я давно уже собирался побывать в предгорьях, и надо ли объяснять, что долго уговаривать меня теперь не пришлось.

В маленьком самолете, который летел до районной станицы, я почти не отрывался от окошка и с улыбкою думал, что если даже Леонид Федорович разыграл меня и вместо старинного самовара готовится показать новую электрооильную установку, ничего не потеряно, и хорошо, что я выбрался, — по крайней мере, поезжу с ним да поброжу пешочком по тем местам, которые мне нравятся и в которых я не был уже давненько.

Очень близко внизу ярко желтели еще не успевшие потемнеть от дождей пустые поля, аккуратно расчерченные рядами лесополос, уже заметно тронутых багрянцем и кое-где поредевших. Далеко тянулись крапленые жухлыми пятнами кустарников рыжие холмы, одинаково ровно освещенные сиянием осеннего полдня, а за ними виднелись ослепительно белые горы, и оттого, что не было дымки, представлялось, будто они совсем рядом. Голубое небо над ними было тихое и высокое, и временами начинало казаться, что все внизу давно уже терпеливо ждет, скоро ли перестанет дребезжать наш самолетик, и когда он сядет наконец, прервет свой рокот и пропеллер его замрет, тишина установится просто небывалая.

На аэродроме меня ожидал «газик». Водитель был знакомый, мы тут же разговорились. Я не удержался, спросил про самовар, и шофер рассмеялся:

— Леонид Федорович как знал. Если, говорит, станет расспрашивать — молчок!

Это еще больше укрепило мои подозрения насчет розыгрыша, и я потом только посмеивался, когда друг мой, который никак не мог вырваться из кабинета, пробовал утешать меня:

— Ну-ну, ничего, сейчас еще одно доброе дело сделаем — и туда! За твоим самоварам.

В колхозные мастерские мы приехали часа в четыре. Председателя во дворе тут же окликнули, и, пока он разговаривал, я все посматривал на громадное здание с широкими окнами, коваными дверями и со стеклянным фонарем над плоскою крышей: какой-нибудь тебе заводской цех, да и только! Уж в чем другом, а в размахе отказать моему другу было никак нельзя. Только чем же здесь, любопытно, хочет он меня удивить?

На бетонном полу мастерских в косой полосе солнечного света стоял громадный самовар.

И правда, мне никогда не приходилось видеть таких больших самоваров — он был никак не меньше иного бочонка, но прямые бока, крепкие и довольно высокие ножки, фигурный верток на кране, ручки, висевшие замысловатыми серьгами, — все это придавало ему вид не только стройный, но как будто бы даже и франтоватый. Одна сторона самовара горела яркою медью, а другая постепенно гасла в тени, и легкая от блеска резная конфорка была на нем словно корона.

Еще издали, почти от порога, я различил повыше крана еле заметные очертания окружностей и невольно ускорил шаг. Наклонился, разглядывая совсем почти затертые профили, и Леонид Федорович сказал за моей спиной:

— А ты как думал? Все как следует быть. С медалями.

А я в восхищении водил по ним пальцем:

— Н-не ожидал, признаться...

Голос моего друга набирал гордости:

— Тульской, скажу я тебе, работы. Настоящий русский самовар. И совсем целехонький, ты только посмотри. Тут, правда, была небольшая вмятина, да наши хлопцы постарались. Ну, и шик-блеск навели...

В мастерских только что скрежетало, било да погромыхивало, а потом шум сделался тише и совсем смолк. Все теперь собрались вокруг самовара.

— Ребята, Федорыч, проверяли. Три ведра входит. Ровным счетом.

— Ага, широкие такие ведра.

— Чтобы такой выпить, надо всю родню собрать.

— И то небось не одолеешь...

— Да, а какая нынче родня? Это раньше...

Народ стоял вокруг самый разный, были и пожилые мужчины, и помоложе, и два совсем юных паренька, почти школьники, но, любопытное дело, все говорили сейчас не торопясь, все рассуждали одинаково степенно и с достоинством.

— И то правда. Нас, братьев, трое да одна сестра, а отец мой девятый был, вот теперь и суди.

— Да он где-нибудь в трактире небось стоял.

— Или на постоялом дворе, а что? Забежишь с морозу, да стаканчиков пять-шесть...

Я уже огляделся и теперь улыбнулся невольно: все-таки странно было видеть этот самовар посреди стоявших вдоль стен новеньких станков, рядом с разобранными тракторами, за которыми виднелись черные, подвешенные на таях моторы.

— Где вы его, действительно, раздобыли? — спросил я у председателя.

— А-а! — протянул он торжествующе. — Говорил тебе: где еще такой? — и почему-то вздохнул. — Ладно, забирай! Твой.

И вид у него при этом стал такой, какой бывает у человека, который решил-таки отдать тебе что-либо, но по глазам его ясно видно, что сам он уже твердо решил собирать то же самое.

Председательский «газик» был восьмиместный, с двумя сиденьями по бокам, и Леонид Федорович попытался было определить меня впереди, рядом с шофером, но я отшутился, сказав, что место это, так сказать, руководящее и что я к нему не привык. Он тоже не остался в долгу:

— Ты теперь небось и спать будешь ложиться, а самовар у постели ставить. Ну, так и быть, посиди там с ним, посиди!

И я теперь легонько придерживал самовар, пока «газик» лихо скатывался с одного холма и поднимался потом на другой. Когда мы выбрались с окраины и поехали по селу, я хотел заговорить со своим другом и тут заметил, что лицо у него сосредоточенное и левая рука слегка подрагивает. У Леонида Федоровича такая привычка: когда он начинал о чем-либо сам с собой рассуждать, ладонь его тут же оживала — то приподнималась чуть-чуть, а то покачивалась, и пальцы на ней туда-сюда пошевеливались.

И я промолчал и из-за плеча его стал глядеть на асфальтовую дорогу впереди и на дома по обе стороны широкой улицы.

Село это, расположенное на самом гребне одного из прикубанских горных отрогов, было старое, но за последнее время очень изменилось. Мазанки исчезли совсем. Тут их, как в некоторых других станицах да хуторах, не оставляли дотягивать свой век рядом с новым жильем, и большие кирпичные дома за штaketными заборами стояли один к одному, виднелись в глубине дворов крепкие постройки, и только сады за ними, уже наполовину облетевшие, оставались еще те же — с громадными раскидистыми деревьями, которым не было конца-краю, потому что выходили они в поля за селом или исчезали за краем гребня.

Я припомнил наши старые споры с Леонидом Федоровичем, припомнил, как он говорил не раз: «Вот ты эти колокольчики — понимаешь — бубенчики знаешь, почему собираешь? Да потому, что в городе живешь со всеми удобствами. А к нам бы переехал, тогда бы сразу узнал, что почем. От всего этого старья, что нас за ноги пока держит, не знал бы, как избавиться. Дай ты человеку, предположим, электрический сепаратор — будет он

тебе держаться за деревянную маслобойку?» Глядя на новые дома, я не без улыбки теперь подумал, что здесь-то деревянных маслоек давно уже не осталось: и где только Леонид Федорович раздобыл этот самовар? И почему так им гордится? Уж не из-за громадных ли его размеров, которые во вкусе любимшего размах моего друга?

Председатель концами пальцев приподнял шляпу на затылке, и она съехала на лоб. Глаза, когда повернулся ко мне, были у него уже беззаботные:

— А знаешь-ка! Я, пожалуй, выкрою этот выходной. И поедем-ка мы куда-нибудь на вольный воздух, попьем чайку из твоего самовара. Уж больно вкусно ты про это дело рассказывал!

И в воскресенье мы высаживались из «газика» около большой скирды соломы, стоявшей на меже у самого леса. Вытащили сумки да корзины с провизией и посудой, достали всякие такие, какие можно постелить на земле, пожитки, а потом сыновья Леонида Федоровича стали выгребать из-под сидений мелко нарубленные чурки.

— Стоп! — приказал Леонид Федорович, когда они взялись было за самовар. — Пусть стоит. Садитесь, будете придерживать. Сейчас мы съездим, нальем воды.

Старший из сыновей, мальчишка лет двенадцати, с таким, как у отца, широкоскулым лицом, тоже лобастый и с серыми глазами, начал уговаривать:

— Пап, ну, дай я съезжу!

Леонид Федорович коротко сказал:

— В другой раз.

— Па, ну ты же обещал, только что говорил, сейчас нельзя, люди, а когда приедем...

На Леонида Федоровича обрушился поток таких горячих слов, что он только головой покачал и вылез из-за руля. Поднял вверх палец, сказал строго:

— Но — смотри!

— Да что, в первый раз? Ты же сам знаешь...

— Слушай сюда! — остановил Леонид Федорович. — Поедешь к этому родничку в Семеновской балке, за старой фермой. Только с этой стороны подъезжай, где лесополоса, потому что та дорога крутая, там самовар опрокинется. Слушай сюда! Не вздумайте надрываться, его вытаскивать. Ведро есть. Только хорошенько вымоешь. Прямо в машине зальете, и все дела, — и опять нахмурился и поднял палец. — Но — смотри!

Младший Леонида Федоровича, мальчик лет девяти, сел придерживать самовар, а на переднем сиденье рядом со старшим устроился его ровесник — худенький и большеглазый сын агронома. На руки к нему стала проситься сестренка, хорошенькая, лет трех или четырех, но ее не пустили, оставили отчаянным ревом провозжать отъезжающую машину.

Место, куда привез нас Леонид Федорович, было чудесное. Около нашей скирды кончалось поле со щетиной стерни и обрывался прозрачный по-осеннему лес, а сразу за соломой начинался густо покрытый пожухлыми травами крутой спуск, волна за волной кагилась вниз порыжелые склоны, темнели от дымки, которая держалась на дне широкой долины. Узкой полоской петляла внизу река, то серебрилась под солнцем и отсвечивала, а то погасала и пропадала за складками, а дальше уже на той стороне, уступ за уступом опять поднимались кверху бурые холмы, окаймленные синеватой цепью далеких гор, за которыми поблескивали остроконечные пики снежников.

Вглядываясь в них, мы долго стояли на краю гребня, а потом принялись устраиваться на соломе около скирды. Первым делом расстелили громадный брезент, вокруг которого тут же засуетились женщины, выкладывая на него из корзин да из сумок всякие вкусные вещи. А мы брали охапки соломы и рядом с брезентом укладывали их, чтобы удобнее было сидеть.

Мне вдруг почему-то захотелось показать, что я, хоть и городской человек, в деревенских делах тем не менее разбираюсь, и я попробовал пошутить:

— Вообще-то непорядок, товарищ председатель! Скирду выложили, а рядом еще целый воз остался!

Утапывая солому, Леонид Федорович улыбнулся:

— Непорядок был бы, если бы я не приказал оставить здесь этот самый воз. Думаешь, одни мы такие мудрые, одни мы красоту понимаем? Захотят тут другие посидеть, вот и начнут, брат, скирду раздергивать. А тут нарочно оставили: толкись!

Мне осталось только руками развести.

Жена агронома, полная, с красивым, но грубоватым лицом, посчитала нужным сделать едкое и, прямо сказать, выдержанное не в изысканных тонах замечание, что такая трогательная забота о ближних не очень способствует сохранению нравственности в округе, и со значением посмотрела на своего мужа, но все дружно пропустили ее слова мимо ушей.

Леонид Федорович прошелся вдоль соломенной гривки, подбил ее сапогом. Застелил потом старыми одеялами и с чувством исполненного долга заявил:

— Мужчины могут пока и отдохнуть!

С буркой в руках пошел поближе к скирде, кинул ее, держа за край, каким-то особым образом, и она раскатилась, косая и черная, как вороново крыло.

— Прошу!

Я не сел.

Приминая рыжие бугры около скирды, я сперва поднялся чуть выше, остановился, раскинул руки и

опрокинулся навзничь... Что ты тут будешь делать! С детства люблю солону, люблю ее цвет, такой солнечный, и запах, такой земной, люблю трогать ее руками, люблю ощущать, как она щекочет шею или покальвает возле уха... Пошевелишься, устраиваясь поудобней, и все примнешь, и, глядя вверх, вдруг притихнешь. И покажется вдруг тебе, что лежишь ты на облаке — потому и нет над тобой ни единой тучки, а есть только голубоватая от беспредельности высота...

Прошло уже достаточно времени, а «газик» все не возвращался. Первая забеспокоилась мать Леонида Федоровича, тетя Даша:

— И где это наши водовозы?

Жена его, Антонина Петровна, тут же откликнулась:

— А то вы их не знаете, мама! Машина будет стоять, а они будут играть.

Сказала это как можно беззаботней, и все же чувствовалось, что успокаивает она не только свекровь.

— Да хорошо, если так, — вздохнула тетя Даша.

На агронома глянула его жена, и он тут же спросил:

— А это какой родник? В Семеновской балке их раньше два было.

Леонид Федорович нарочно сладко потянулся, видом своим давая понять, что все волнения напрасны.

— Я вот думаю, что зря мы сегодня шашлычки не сообразили. Чай чайком, а...

Стал рассказывать что-то веселое о приезжавшей недавно комиссии, и я без конца спрашивал его и первый смеялся, но и у меня на душе было беспокойно, не случилось ли чего, в самом деле?

А потом Леонид Федорович выговорился, и установилось такое молчание, когда ясно, что все думают об одном и том же, да только не хотят понапрасну друг друга волновать. Антонина Петровна все чаще поглядывала на мужа с немым вопросом, но он делал веселое лицо, отворачивался и только потом украдкой смотрел на часы.

Тетя Даша не выдержала:

— Чует сердце: что-то не так!

И заговорили все:

— Может, с машиной что-нибудь, Леня?

— Да бросьте вы паниковать, новая машина!

— Или родника этого не нашли...

— Хуже нет, когда отпустишь одних, а потом думай.

— Ну, как это не нашли? Под землю ушел?

— Ну, за Алешу нечего беспокоиться, не впервой, а вдруг те за руль попросились да стали баловаться...

— Исключено. Не даст.

— Или встречная машина...

— А они ведь народ какой? Им так скажи, а они, как нарочно, все навыворот.

— Да мало ли, это машина, а не конь... чует сердце!

Леонид Федорович притворно зевнул:

— Да что вы, ну куда они денутся! — и кивнул мне. — Пойдем-ка. Без костерка, оно как-то... Поищем дров!

Я чувствовал себя виноватым. Все-таки стоило кому-то из нас поехать с ребятами. Да только ведь тут надо знать Леонида Федоровича: система воспитания у него особая, потому и доверил сынишке «газик».

— Если только раздатка полетела, — сказал он, когда мы зашли в лес.

— Ну а водит Алеша...

Он не дал мне договорить:

— Да что ты! Все лето меня возил, хоть трудодни, ей-богу, начисляй. Знаешь, у него башка на этот счет. Что случится, мой шофер ему: а ну, Алешка! Он лезет под капот... ты понимаешь, талант у парня к этому делу! Прирожденный механик, не то что я! — и усмехнулся, снова переходя на беззаботный тон. — Недавно ехал из района. Один. Вдруг забарахлил мотор — стоп! Я туда-сюда, ничего понять не могу! Навстречу машина, я руку тяну: помоги, друг! Вылезает он, под капот рукой ткнулся не глядя: давай! Заработала. А он мне кричит: ты кого возишь? А мне стыдно стало. Говорю: председателя! А он: передай своему председателю, чтоб он таких шоферов, как ты, — поганой метлой. Взашей гнал!

Мы посмеялись, но обоим нам было не очень весело. А у скирды и вообще царил повес головы.

— А вдруг на самом деле пересох — а бог его знает? — пригорюнившись, говорила тетя Даша, и в глазах у нее стояли слезы. — А они один искать, да другой, а потом вздумают на речку — много ли ума? А там же такие кручи; раньше, бывало, когда на быках ехали, и туда и оттуда с подводы слазили. Одно, что скотину жалели. Кто и не хозяин, и без сердца, все равно не сидел — страшно!

Агрономова жена прижимала к себе притихшую девочку.

— Хорошо, что Мариночку я не отпустила — ну, как знала!

И тут я первый увидел:

— Едут!

И правда, пока «газик» наш медленно подъезжал к скирде, все мы пережили счастливую минуту. Когда он остановился наконец, бросились с обеих сторон, распахнули дверцы.

— Да мои ж вы внучеки! — причитала тетя Даша, и непонятно было, смеется она или плачет. — Вас только за смертью посылать — где ж вы так долго были?

Первым выбрался из-за руля старший, Алеша. Курточка у него на животе и брюки сверху донизу были мокрые.

Леонид Федорович протянул руку:

— Что случилось, Алешка?

Тот приподнял плечом отцову руку:

— Да ничего. А что?

Одежда на остальных тоже была хоть выжимай, и только тут мы заметили, что из «газика» потихоньку капает и что на полу внутри целая лужа.

— Возвращаться пришлось? Самовар перевернулся?

— Да нет, — снова неторопливо ответил старший. — Мы его держали.

И двое других в один голос подтвердили:

— Держали, ага!

— Мыли машину, что ли?

Широкоскулое лицо у старшего оставалось невозмутимым:

— А зачем ее было мыть? Она чистая.

— Так почему вас так долго не было?

Мне показалось, что в голосе у старшего послышался вызов:

— Сам бы, папка, попробовал!

— Да что — сам?

— Как что? Залить его! Дырочка от такусенькая...

— Какая дырочка?

Мы с агрономом уже вытащили самовар, и Алешка ткнул пальцем в отверстие паровичка на крышке:

— Вот эта!

— Льешь, льешь, а она только по нему течет, — пожаловался младший. — А там как было пусто...

Леонид Федорович, казалось, растерялся:

— Так вы что, сюда наливали?

На этот раз в голосе у старшего и точно послышался вызов:

— А куда ж еще?

— Да эта дырочка, чтобы пар шел! Чтобы видно, когда кипит. А крышку снять ума не хватило?!

Леонид Федорович приподнял ее, и внутри самовара слегка причмокнуло — воды было через край, ребята и верно постарались.

— Снял ее, и все дела!

Мальчишки стояли потрясенные, и на лицах у них медленно начинали расплываться одинаково глупые улыбки. А потом у Алешки разом вдруг посерьезнели серые глаза и дрогнули губы.

— Ты что, папка, не мог сказать?

Повернулся и медленно пошел от нас, только плечи у него не обвисли, не опустил головы — наоборот, словно приподнял ее...

Потом пили чай.

Все-таки, скажу я вам, большое это блаженство — с непокрытой головой, сидеть, утонув в соломе, и слушать тишину вокруг, и ощущать в горячих руках железную кружку с крепким чаем, обжигать о край губы, дуть и тут же ловить жадными ноздрями отлетающий парок, в котором чудится тебе и свежий дым от сосновых щепок, и особенный привкус накипи, и даже горьковатый запах разогретой внутри жаровни старой окалины... Смотришь на прогоревший самовар, над которым все еще подрагивает легкая марь, и, оттого, что воздух чист и прозрачен, и уже сквозит лес, и синью вымытая даль за ним обнажена, обострено в тебе не только обоняние, но и что-то еще, отчего тонко щемит душа.

Я не специалист, не знаю — наверное, электрический сепаратор — это и в самом деле здорово. Электрический самовар все же — не то.

И счастливо тебе, и тревожно, когда потянет дымком из твоего детства, из тех далеких дней, когда мама заставляла ставить самовар, и еще откуда-то, что гораздо дальше, из того времени, когда тебя еще не было. И разве это не важно, вдруг ощутить, что когда-то, давным-давно, сидели вокруг самовара другие люди, о чем-то разговаривали, чему-то радовались, и горевали о чем-то, и думали свои думы.

Не знаю, почему притихли остальные, но иногда вдруг все вместе мы начинали посматривать друг на друга, и улыбаться, и покачивать головой. И тогда двое из сидевших отдельной кучкой мальчишек, готовые прыснуть, лукаво отворачивались, и только Алешка строжал лицом и принимался сосредоточенно дуть в кружку.

— Откуда детишкам знать? — в который раз принималась рассуждать тетя Даша, и голос у нее был виноватый. — Это я, грешница! Не сохранила, не сберегла... Надо было мне убрать подальше, хоть за боровок на потолке спрятать, а они прямо тут, около ляды, и стояли, один мамин самовар, а другой еще моей бабушки. А он тогда уже в пятом классе... Вдруг, вижу, бежит, оба за ручки тащит, и только галстук вьется. Ты куда, Леня?! И не остановился! А потом я за хворостину, а он: да ты знаешь, что другой класс был первый, а теперь — мы! Да ты забыла, говорит, что война только кончилась, что теперь восстанавливать, да много меди, а где ее взять? Да еще три дня не разговаривал!

— Осозна-ал! — с нарочитой серьезностью сказал сидевший рядом со мной агроном. — Осознал,

Федорыч! Это вам, можно сказать, повезло, что сразу приехали. Он говорит: если будет раздумывать, или замешкается, мы вот что. Мы ему самовар не отдадим. А поставим-ка в нашей новой столовой, он вам ее еще не показывал? В ином городе такого ресторана нет, какая у нас теперь столовая — даже банкетный зал!

Тут я, конечно, понял, почему это Леонид Федорович так на меня посматривал, когда самовар отдавал: отрывал от сердца! И я подумал: надо будет каким-то образом отказаться от столь щедрого подарка. Да оно и верно: куда он мне? Не с нашим городским жильем паровозы коллекционировать. Другое дело — медные пятаки или, как говорит мой друг, колокольчики — понимаешь — бубенчики...

Что-то вдруг изменилось и во мне самом, и вокруг: почудилось, я различил журавлиное курлыкание, такое слабое, что это был как будто еще не клик, а только далекое его предвестье.

И я сперва посидел неподвижно и только потом обернулся и посмотрел вверх.

Они летели высоко и были еще неблизко, но оттого, что стали видны, слышнее сделалась печаль в их тонких голосах.

Я глядел, как подрагивал неплотный треугольник, как почти незримо реяли крылья, и думал, что, кроме тайны, с которой всегда улетают журавли, у этих есть и еще одна: отчего запоздали? До последнего дня ожидали, пока вернется пропавший? Или окрепнет ослабевший перед дальней дорогой?

Тетя Даша проговорила почему-то жалостно:

— Должно, последние...

Мальчишки наши вскочили:

— Журавли! Вон летят, во-он! Журавли!

— Им надо кричать: колесом дорога! — сказала тетя Даша. — Дорога колесом!

Мальчишки задирали головы и приставляли ко рту ладони:

— Колесом дорога-а!..

И маленькая агрономова дочка покачивалась на упругой соломе и махала ручкой:

— Колесом!.. Колесом!..

Птицы пролетали чуть в стороне, над глубокой долиной как будто снизились, и острое подрагивающей стайки было теперь направлено на далекие пики снеговых гор.

— А почему надо так кричать? — спросил я у тети Даши.

— А чтоб они обратно вернулись. Такая примета. В старину говорили, непременно вернуться, если покричать...

Снова я лежал на соломе.

Странное все-таки время, осень!.. Покажется вдруг, что и листва опадает, и небо становится прозрачным лишь затем, чтобы ты, непонятно отчего, все задираешь голову, все поглядывал вверх: а что там, выше улетевших бог знает как высоко журавлиных криков?

Я вдруг подумал, что журавли, должно быть, счастливы оттого, что их удел — возвращаться. Что журавлю до конца можно верить, будто он еще вернется и в тот раз, который на самом деле станет для него уже последним.

И еще они счастливы, может быть, оттого, что знают заранее, куда и каким путем полетят их птенцы, и знают, что им тоже предстоит всю жизнь возвращаться.

КРАСНЫЙ ПЕТУХ ПЛИМУТРОК

1

Летом Вальке Дементьеву жить стало совсем худо. То и в школе отдохнет, и бабушка Настя, бывало, придет, поможет ему братца нянчить. А теперь и школы нет, и бабушка ни за что во двор не заглянет, если мать или отец дома. Только изредка, когда Валька да Митя одни, тихонько прокрадется она задами, сядет в тени на скамеечке, положит на земле рядом маленький узелок.

Митю возьмет на руки, начнет тетешкать да вкусненько угощать, а Вальке скажет:

— Сбегай пока, детка, искупнись.

На речку Валька несется как на пожар. А там прыгнул два раза с кручи, маленько поплавал и не успел как следует песком на мокрой груди «орла» отпечатать — уже домой возвращаться.

Но ему еще надо добежать до большого болота, которое тянется за дамбой, нарвать там водяного перца — перец этот Валька сушит и сдает в аптеку...

В прошлом году все лето проходил с облупленным носом, мать говорила, что от сырости за ним верба на два метра выросла, а нынче о том, чтобы полчаса поваляться с дружками на берегу, он даже и не мечтал — некогда.

Да что прошлое поминать: раньше Вальку и пальцем никто не трогал, а теперь то мать ему всыплет, а то отец ремень снимет и давай.

Вздыхнул Валька, приспустил трусы и, выгибаясь, попробовал посмотреть себе пониже спины.

Густой, почти до черноты загар обрывала красная каемка от резинки, а дальше все оставалось белым, как и

зимой, и он еще сильнее вытянул шею, скосил глаза и теперь увидел край сизого пятна.

Сидевший в пыли Митрошка заторопился, становясь на четвереньки, приподнял зад и быстро пополз, вытягивая голову, словно черепаха, и с любопытством глядя на него снизу вверх.

Он упрекнул его:

— Ты понял — из-за тебя. Папка: а! — на-на Валью... А! — на-на...

Митрошка снова сел, задрал измазанную мордашу, миролюбиво проворковал:

— Клгы-клгы!

Валька постарался придать своему голосу побольше обиды:

— Конечно, тебе — кылгы! А мне знаешь как было больно?

Митрошка опять радостно запнулся языком:

— Клгы!

Пыль под ним сначала намочила, потом черный островок около трусов разом затопило, хлынуло шире. Валька снова вздохнул и покачал головой:

— Это где ж на тебя настачиться — последние сухие штаны!

И тут он увидел, как на ногу братцу села маленькая злая оса. Подергивая полосатым своим животом, она быстро поползла по лодыжке, а Митрошка тут же погнался за ней рукой, попробовал поймать, да только и раз и другой рыжая оса проскользнула у него между пальцами.

Валька даже не крикнул, а сдавленным горлом прошипел:

— Нельзя, Митечка!..

Схватил братца за руки, а осу хотел сбить щелчком, но малыш, наверно, подумал, что они играют — засмеялся, задергался, вырвал из Валькиных пальцев одну ладошку, накрыл осу растопыренной пятерней и тут же вдруг вскрикнул так пронзительно, что у Вальки по спине пробежали мурашки.

Он отшвырнул мятую осу, вытащил у братца из ноги еле заметное жало с белым, оторвавшимся от полосатого живота кусочком — а тот все только беззвучно закатывался, и, казалось, нельзя было дожидаться, когда он снова и закричит и задышит.

— Больно, Митечка? Больно? Ах ты ж, такая оса!

Валька кинулся, раздавил осу пяткой, потом присел перед братцем, отер ему вокруг посиневшего рта горькие слезы, и тот только теперь наконец снова залился в голос, да так жалостно, что Вальке самому невольно захотелось заплакать.

— Не надо, Митечка, ну, не надо!

Из-за плетня выглянула прибежавшая на голос соседка тетя Даша, крикнула строго:

— Валька! Небось ударил?

Валька хмуро сказал:

— Чего б я его ударил?

— А почему он как резаный?

— Оса его укусила.

— А ты куда глядел — оса!

— Я только хотел, а она...

— Он хотел! Лучше надо смотреть! — И уже помягче тетя Даша сказала: — Мокрую тряпочку приложи, если оса...

Никакой тряпки, как назло, поблизости не было, и тогда Валька приподнял с земли ревущего братца, одною рукою прижал его к ноге, а другою стащил с него трусики — все равно их надо менять. Сбегал за угол дома и намочил их в железной бочке под водосточной трубой.

Митрошка сидел теперь на земле совсем голый, скомканные его штанишки горкой лежали чуть повыше колена, и, то ли из-за несчастного его вида, то ли из-за того, что он все еще безутешно рыдал, неотрывно глядя на старшего полными слез глазами, у Вальки самого вдруг защемило в носу, повело губы, и он почувствовал, как лицо у него жалобно кривится.

Глуховатая бабка Федотьевна, старшая сестра тети Даши, громко спросила за плетнем:

— Чего они там?

И тетя Даша ответила тоже громко:

— Да чего? Отец с матерью чертуются, а детишкам покою нет.

Бабка вздохнула.

— Охо-хо!.. Они думают, наверно, всю водку выпить.

— Да вот же!

— Она работает?

— Да все доказывает ему... Он говорит: не буду пить, дак попробуй на одну зарплату проживи, без моего калыма... А она: проживу. Да она теперь с утра и до вечера работает, а он с утра и до вечера пьет.

— А с мальчишки какая нянька?

— Да вот же! Вчера косточки абрикосовые бил, а этот возьми да сунь пальчик. Да он его чуть калекой не сделал, Вальку, отец.

— Охо-хо!

— Я ему говорю: «Толик, да ты подумай, когда трезвый, — да разве можно? Хоть уже и большенький, а тоже дите».

И Валька вспомнил, как вчера вечером, когда он уже засыпал в саду под яблоней, отец присел на краешек скрипучей кровати, положил ему на плечо тяжелую руку, от которой пахло бензином и пылью, наклонился, задышал табаком да водкой: «Ты меня не ругай, Валюх, а? Я, конечно, того... не подрассчитал.

Седни еду, вдруг слышу, рука на баранке так и зудит. Думаю: чего это?.. А потом вспомнил: да это ж я Валюхе своему врзал... Аж чуть не заплакал, ты веришь?..»

И скрипнул зубами.

Воспоминание это было последней каплей, и Валька раз и другой шмыгнул носом, клоня голову к грязным своим коленкам...

И тут вдруг он вспомнил и сказал себе, чуть не крикнул: «А про петуха ты забыл,?!»

Ах ты, этот петух!..

Как светлое солнышко брызнет вдруг сквозь мокрые деревья да сквозь весенний проливной дождь, так за летучими слезами блеснули у Вальки глаза!

— Митечка! Смотри!

Сколько раз он уже это проделывал!

Слегка разведенные ладони с растопыренными пальцами понес от груди к Митрошкиным ногам: поставил на землю красного петуха. Потом невидимую балалайку ловко подкинул в руке и прижал чуть выше живота:

— Музыка!

И Валька ударил ногтями по звонким струнам, и красный петух подпрыгнул и по-шел, по-о-ошел перебирать большими своими костяными лапами с кривою шпорою сзади.

— А у нас будет петух! — громко кричал Валька, и глаза у него горели. — А у нас будет балалайка!.. А Валя на балалаечке: трень-брень!.. Трень-брень!.. А петух чеботами: цок! цок!

И Валька то наяривал что есть силы на балалайке, а то отплясывал, приподняв руки, словно крылья, задирая подбородок и кося глазом:

— Трень-трень-брень!.. Цок-цок-цок!..

Митрошка затих и смотрел на него недоверчиво, готовый заплакать тут же, как только Валька перестанет плясать.

2

Пока только у горбуна Никодимыча был красный петух, который умел плясать, и была раскрашенная разноцветными полосками балалайка.

Жил Никодимыч в конце улицы, недалеко от лужка, где мальчишки гоняли футбол, и, бывало, иногда он сам приходил сюда с петухом на веревочке и с балалайкой. Тогда мяч оставался лежать где-нибудь посреди поля или за опустевшими вмиг воротами, а вся ребятня, игроки и болельщики, обступала счастливого хозяина ученой птицы.

— Пускай он станцует, скажите, дядь!

И этот Никодимыч ловко подбрасывал тогда свою раскрашенную балалайку, с прихлопом ударял ее о грудь и тонким голосом выкрикивал:

— Музыка!

Он и так смешной, этот Никодимыч, у него всегда такой вид, будто его только что сняли с гвоздика, на котором он провисел долго, — шиворот топорщится, а большая голова — ниже плеч, длинные руки, вылезшие из кургузого пиджачка почти по локоть, опущены и слегка болтаются — так, словно Никодимыч все еще никак не соберется остановить их и выпрямиться.

И когда он одной рукой уже прижимал балалайку к груди у самого подбородка, другая все еще, как маятник, раскачивалась, не хотела работать, и тогда Никодимыч резко дергал плечом, и большая и нескладная его ладонь как будто невольно подпрыгивала и падала на струны... бр-р-рень!

И в это самое время петух торопливо вскидывал голову, перебрасывая с одной стороны на другую большой малиновый гребень, туго бил крыльями, подскакивал и начинал потом быстро-быстро перебирать лапами и с бока на бок покачиваться — как будто пробовал, на какой ноге может повыше вытянуться.

А Никодимыч снова дергал плечом, большая голова его начинала мелко трястись, он хитро подмигивал и тоненько кричал:

— И-е-эх, х-ходи, милай!

И петух тоже вскрикивал, клекоча, и начинал выделять ногами еще чище.

Он и так смешной, этот Никодимыч, а рядом с петухом — и совсем комик. И мальчишки толкались и надрывали животики: вот два друга — и как только Никодимыч его выучил?

Первый раз Валька Дементьев увидел петуха два или три года назад и сразу, конечно, подумал, что такого хорошо бы занять и себе. С ним не пропадешь — стало тебе вдруг скучно или тебя кто-нибудь обидел, а ты балалайку в руки: а ну-ка, Петя, спляши! Ударил по струнам, и кочет уже задирает голову да подпрыгивает, а с разных концов улицы уже бегут к твоему дому мальчишки: взглянуть хотя бы одним глазком.

Валька и раньше об этом думал, но завести ученого петуха он так тогда и не собрался. Но нынешней весной он прямо-таки потерял покой с этим петухом: как только выдавалась у него свободная минута, бежал он к своему другу Андрюшке Мельникову и начинал его уговаривать вдвоем пойти к Никодимычу — не станет же

тот устраивать цирк для одного Вальки. И они шли, и Никодимыч никогда не отказывал, если у него было время, — все равно, он говорил, как всякому танцору, петуху надо побольше тренироваться. За это время они с Никодимычем подружились, и тот пообещал, что выучит и Валькиного петуха — пусть только он найдет подходящего.

Валька с тех пор не отставал от матери, да только мать не хотела его и слушать — ей теперь и в самом деле было не до того.

И тогда Валька решил помочь себе сам.

Всю весну бегали они с Андрюшкой на инкубатор — там на задворках есть яма, куда выбрасывают задохликов да калек. Другой раз в этой яме можно найти и хорошего птенчонка, мальчишки с их улицы сколько раз и находили и выкармливали. Два года назад Валька и сам подобрал здесь маленького слепого гусенка, и еще какой гусак из него потом вырос — ну, да это ведь всегда так: когда ты не очень-то хочешь — пожалуйста, а если тебе надо позарез — то поищешь! И Вальке теперь не везло, как никогда: цыплята попадались ему все больше белые, а из тех цветных, что ему удалось-таки раздобыть, выжил один-единственный хромым цыплек, из которого выросла рябенькая курочка...

Конечно, Никодимыч говорит, что по крайности можно и курицу научить, и утку можно, если хорошо постараться, да только всякому ясно: интерес, конечно, уже не тот.

И по двору вслед за рябенькой хромоножкой бегала стайка белых кур, одна из которых была совсем слепая, а другая волочила крыло, — но Валька на них уже и не смотрел.

Он решил, что красного петуха придется ему купить, и давно уже собирал для этого деньги.

Как получается: он и раньше, когда не накопил и копеечки, не раз пытался себе представить, что за веселая начнется жизнь, если у него появится наконец ученый кочет. До этого дня было еще далеко, а он другой раз думал о нем и сладко вздыхал: здорово! Потом он приносил с болота водяной перец, под плетнем у колхозного сада рвал жигуку. А как-то около автостанции Валька нашел новенький полтинник и с тех пор, куда бы его ни послали, так и ходит, глаза в землю, не разгибается, шея потом даже слегка побаливает. И чем больше было у него денег, тем меньше оставалось терпения: с недавних пор этот петух, которого Валька должен купить да выучить, стал ему даже сниться.

Конечно, если бы у него было побольше времени, но попробуй ты что-нибудь придумать, если с утра и до вечера на руках у тебя младший братишка — только когда уложишь его спать, тогда на часок-другой и вырвешься. И Валька за пятерку тайком продал одному пацану военный бинокль, который подарила ему бабушка, — его забыли у нее немцы, когда была война.

Теперь у него уже хватало денег и на то и на другое, но до воскресного базара оставалось еще целых пять дней, и тогда Валька решил сначала сбежать в культмаг и купить балалайку.

Сперва он разыскал и хорошенько вытряхнул пахнущий бензином старый мешок. Потом положил спать Митрошку. Стоя на цыпочках за дверью, подождал, пока тот уснет, вынул у него изо рта соску, замкнул дом, схватил мешок и галопом помчался в центр.

В культмаге штук семь или восемь телевизоров разом показывали мультик, и перед ними стояли и мальчишки и взрослые, но Валька на всякий случай только краем глаза взглянул, нет ли знакомых.

Пожилая продавщица тоже смотрела мультик, и он не захотел ее отрывать — неудобно, а только локтем на витрину поставил вытянутую руку, в которой держал за кончик трубочкой свернутые трешки.

Продавщица так и не повернула головы, однако почти тут же пошла бочком вдоль прилавка.

— Чего тебе?

— Мне, тетя, балалайку, — негромко сказал Валька, и голос у него почему-то дрогнул.

Она снова боком пошла вдоль прилавка, а он уже развернул и опустил вниз мешок, держа его за край левой рукой, а правой расправляя горловину. Сейчас туда балалайка — хоп! А то каждому на улице объясняй.

Продавщица вернулась и, все так же не глядя, положила на прилавок небольшой барабан с синими боками, а сверху опустила на него и тут же придержала, чтобы они не скатились, две тонкие палочки.

Валька не успел еще и рта раскрыть, а она уже снова не спеша плыла к своим телевизорам.

И ему сделалось и неловко, и почему-то страшно — может быть, потому, что он хотел окликнуть продавщицу, но сразу не окликнул, а с каждой секундой это как будто становилось теперь все невозможнее. Ему представилось и то, как он берет этот барабан, кладет его в свой мешок и одиноко бредет домой. И как дома глупый Митрошка со счастливой мордахой сидит на земле, а барабан лежит у него между ног, и он тоненькими палочками чиркает по шершавой коже и, довольный, кылгыкает, словно журавленок, а сам Валька стоит рядом, понурился: никогда уже у него не будет ни балалайки, ни красного петуха!

У него навернулись слезы, в горле странно булькнуло от обиды, и он заторопился, только бы в самом деле не заплакать.

— ...просил балалайку!

Только теперь продавщица посмотрела на него, но раньше он увидел, как разом обернулись от телевизоров взрослые — наверное, вышло очень громко.

— Так бы и сказал! — укорила продавщица.

Валька прямо-таки мучился от стыда, на виду у всех опуская в грубый и не очень чистый мешок новенькую трехструнку.

На улице он вдруг, торопясь, сунул руку в мешок и с бьющимся сердцем нашупал головку балалайки, потом струны. Все-таки она была здесь, никуда не делась, и тогда он закинул мешок за спину и побежал. Он

домчался до парка, свернул в пустынную аллею, а здесь снова понесся галопом, и на душе у него опять стало вольно и радостно — он даже взбрыкивал иногда, летел снова, а потом вдруг останавливался и кружился на месте, плавно поводя над головой своею ношей.

От мешка отлетал бензиновый дух, но мальчишка сейчас не замечал его: ему казалось, когда он кружится — легкая балалайка тихонько звенит.

Дома он первым делом отомкнул дверь, но Митрошка спокойно спал поперек кровати, и в теплой его головке запуталось перо из подушки.

И Валька вернулся во двор, осторожно вытащил балалайку и на каменной ступеньке бережно приставил ее к стенке, а мешок скомкал и бросил в сарай. Потом он, поднявшись на цыпочках, заглянул в рукомойник, долил в него воды и с мылом хорошенько помыл руки. Поблизости не было ни полотенца, ни тряпки, и он закружился, потряхивая ладонями, проветривая растопыренные пальцы. Ему показалось, что это очень похоже на то, как будет плясать потом петух, и он рассмеялся и покружился еще чуть-чуть, уже нарочно изображая танец.

Но вот он наконец сел на ступеньку и положил балалайку себе на колени. От нее почему-то пахло свежей соломой, и Валька наклонился, специально пригнувшись и одновременно вглядываясь в небольшую круглую дырку посреди треугольника. Рядом с нею под струнами лежала мохнатая нитка от мешка, и Валька приподнял балалайку и дунул что было сил. И белые струны тихонько, совсем еле слышно отозвались: т-з-зиль-нь!

Нет, что там ни говори, замечательную он купил балалайку! И как Вальке повезло, просто удивительно ему повезло, что он в последний момент все-таки продавщицу окликнул... фигушки, зачем ему барабан?!

Очень хорошо жить на свете... эх ты! А то ли еще будет, когда он купит себе красного петуха?

Только Митрошка хныкать, а Валька тут же: «Музыка!..» Дернет, как Никодимыч, плечом, ударит по струнам — тот и рот раскроет, глядя на кочета с золотой грудью и с высоким гребнем, с острыми шпорами и с длинным тугим хвостом. Тогда и нянчить братишку будет одно удовольствие, что ты! И станут они с Митрошкой да с петухом как три друга. Братец скоро уже совсем хорошо будет ходить, а петух к этому времени научится плясать и обвыкнет, тогда можно вместе куда хочешь. Надо ремешок привязать к балалайке или веревочку. Ее за спину, Митрошке сунул маленький узелок с едой и взял за руку, а в другую руку палку на всякий случай, такую, как бабушкин посошок, Петька — следом, и пошли себе и за реку, и мимо стада по зеленым горам, пошли куда глаза глядят, хоть на край света...

3

Вот шли они так и шли, по горам, по долам, и в синем небе над ними заливались жаворонки, с дороги и на дорогу прыгали кузнечики, рядом в цветах путались и гудели шмели, а дальше в высокой траве куцыми хвостами мелькали зайцы.

Митрошке уже надоело нести еду, белый узелок висел теперь на посошке за спиной у Вальки, а братец сжимал в руке подкову, из которой еще не выпал последний гвоздик.

Нигде никого не было, но впереди на повороте дороги виднелась голубая тележка с полосатым зонтиком, а около нее в белой курточке стояла продавщица, и они взяли у нее два мороженных, и Валька так и не понял, заплатили они или нет.

Они только начали обламывать зубами хрустящую корочку, а продавщица вдруг заторопилась, толкнула тележку, и та сама рванулась вперед, как будто ее подхватило ветром, и белое с голубым да полосатый зонтик мелькнули за одним холмом, потом за другим, и все это остановилось где-то как раз там, где им с братцем снова захочется мороженого.

Или не было мороженого? Нет, не было.

Откуда оно в далеких краях, в безлюдной степи.

Им хотелось, а его не было, Митрошка стал хныкать, и тогда Валька сказал, ничего, Митрошка, переживем, главное, что у нас с тобой есть теперь такой хороший петух! А братец уже совсем устал, ноги у него заплетались и не хотели идти. Он даже бросил подкову с последним гвоздиком.

И тогда они свернули с дороги и уселись на бережку совсем крошечного родничка, который неслышно бил под большим черным камнем, обросшим темно-зеленым мхом. Тут они развернули узелок, и Валька очистил для братца яичко, а сам стал хрумкать зеленый лук. Рядом с братцем падали на траву желтые яичные крошки, и Петька тут же подбирал их, а иногда осторожно склевывал у Мити с пухлой его ножонки, и тогда тот смеялся и взмахивал руками.

И они поели и попили студеной воды, наклоняясь над родничком, а потом Валька взял в руки балалайку.

— Ну, что, Петя, — спросил, — может, спляшешь?

Было тихо и хорошо, и Петька тоже не стал торопиться, конечно, спляшет, а как же, но раньше он еще раз напил из родничка, каждый раз задирая красную свою голову с малиновым гребнем, и по золотой грудке катились прозрачные капли.

А затем Валька ударил по струнам, и кочет и пошел, и пошел!

Плясал он так весело да хорошо, что Митрошка сначала дергался, сидя на земле, а потом привстал, и себе тоже, и давай...

Потом они снова пошли, и солнце уже садилось позади них, на дороге впереди двигались длинные тени, и у Вальки из-за спины, как старинное ружье с раструбом на конце ствола, виднелась балалайка.

Вдруг где-то далеко ударил гром, а на дорогу из-за куста дерезы выскочил серый волк. Хищно изогнулся, еще раз подпрыгнул и сел перед ними, наострив уши.

— Попались! — сказал и клацнул зубами. — Сейчас я вас съем, а вашего петуха отдам лисе... эй, лиса!

Между двумя большими клыками опустил волк длиннющий красный язык и стал облизываться.

— Не ешь нас, — попросил Валька, которому было все-таки чуть-чуть страшно. — И не отдавай лисе нашего кочета. Ты знаешь, какой это кочет? Он умеет плясать под балалайку.

— Иди ты! — не поверил волк.

Тогда Валька достал из-за спины балалайку и пожал плечами:

— Смотри, если не веришь!

И он играл, а Петька плясал, серый волк сначала только внимательно присматривался, а потом невольно стал кивать своей лохматой башкой и большим хвостом выбивать за спиной по дороге: стук-стук!..

А когда они с петухом закончили, волк мотнул своей лохматой башкой:

— Вот законно!

— Я тебе говорил, — сказал Валька.

— А это твой братан? — кивнул волк на Митрошку.

— Братишка.

— Хороший у тебя братан, глаза добрые, — сказал волк. И предложил: — Давай корешевать?

— Договорились, — сказал Валька.

А в это время загудел мотор и на дороге показался грузовик. Впереди, держась руками за кабину, стояла мама, и ветер трепал у нее на шее косынку.

Волк неохотно приподнялся, но Валька успокоил его:

— Это мои.

Машина затормозила и остановилась, хлопнула дверца, и с подножки спрыгнул отец с большим ключом в руке.

— Вот я сейчас тебе рога обломаю, — пригрозил он волку.

Валька крикнул:

— Не трогай, это мой друг!

— У него на лбу не написано, — буркнул отец.

Волк посоветовал:

— Ты бы лучше помог женщине слезть.

Но мама уже спрыгнула с колеса и бросилась обнимать Митрошку. Потом обернулась к Вальке и строго спросила:

— А ты хоть покормил его?

— А то нет?

— Да ты, слава богу, такой, что сам поешь, а о нем и не вспомнишь, — с укором сказала мама.

Волк спросил у отца:

— А ты шофером?

Отец бросил ключ обратно в кабину:

— Глаз нету?

— То-то от тебя бензином, — дружелюбно сказал волк. — Да это не беда, что ж тут такого? Мне даже нравится, что от тебя пахнет бензином да теплой машиной. Это не беда. А беда, что от тебя водкой на километр...

— А ты попробуй проживи без калыма! — накинулся на него отец. — Думаешь, проживешь? Нет, брат, никак не прожить!..

— Никак не прожить только без умной головы! — сердито сказала мама.

Отец вспыхнул:

— Тебе не нравится моя голова? Тогда поищи себе другого!

— Постеснялись бы детишек, — сказал волк.

Отец обиделся:

— А ты меня не учи. И так ученый.

А волк кивнул Вальке:

— А ну давай отойдем. — И петуху кивнул: — И ты с нами...

Они отошли на край дороги и стали около куста дерезы, из-за которого волк выскочил. И тот показал глазами на отца и участливо спросил Вальку:

— Тебе небось достается?

— Да что ты! — удивился Валька. — Ни разу в жизни...

И покраснел.

Тут сложная такая штука. Каждый раз, когда отец бил Вальку, тому казалось, что это вышло как-то случайно, сгоряча, что произошла стыдная ошибка, ведь такого не может быть, чтобы большой человек, родной отец, бил своего сына, нет же, не может быть — не было!

— А то у тебя такой вид, как будто ты не хочешь домой, — сказал волк.

А Валька улыбнулся:

— Да теперь у меня Петька!

Волк поглядел на кочета.

— А ты, если что, кукареки — громко-громко... И я сразу. Я за вас за всех буду заступаться. Глянь — зубы.

И показал свои огромные зубищи.

— Ты в гости приходи, — пригласил Валька.

— Скажи адрес.

— Братская, сто пятьдесят два.

Волк покачал головой:

— Ого, и не запомнишь.

— Тридцать разделить на два, — стал объяснять Валька. — Сколько будет?

— Без понятия, — сказал волк.

— Пятнадцать... и два. Сто пятьдесят два.

— Ну, уж как-нибудь найду, — пообещал волк.

И они поехали домой, волк остался, а через несколько дней они с Митрошкой сидели на краю огорода, где на плетне сплошным ковром висит хмель, а под плетнем растет густой хрен да укроп.

Валька тихонько играл на балалайке, а Петька снова плясал, как вдруг на ветках в плетне слабо затрещала сухая кора, и через него ловко перемахнул серый волк.

Митрошка сначала было испугался, но тут же узнал волка и, как журавленок, закылгыкал, а волк снова стал покачивать головой и стучать по укропу хвостом в такт балалайке, а потом сказал:

— Вот законно, а собачья конура у вас есть?

— А что? — спросил Валька.

— Да я у вас буду жить...

На нос волку села желтая бабочка, но он не стал клацать зубами, не съел бабочку, а только слегка скривился, дунул вверх, и бабочка отлетела и прицепилась на хмель.

4

Рассвет едва занимался, над ярмаркой еще синел зябкий туманец, а было уже не протолкнуться. Перед узкими воротами давка почище чем на детский сеанс, а за ними все хоть и расходилось веером в разные стороны, зато навстречу торопились те, кто уже отбазаревал, и толпа кишела кишмя.

Валька спешил.

Вчера вечером он сказал наконец маме, что у него уже есть балалайка и что он хочет купить красного петуха, которого Никодимыч научит плясать. Мама, еще не выслушав, стала кричать, что время валять дурака у Вальки имеется, а как что помочь, так его не дозовешься. Он попробовал было сказать, что если он, Валька, валяет дурака, кто ж тогда братца нянчит, но мама снова не стала слушать. Отобрала у Вальки деньги, положила в верхний ящик старого комода и закрыла на ключ.

Целый вечер проплакал он на своей раскладушке под яблоней. Это он-то не помогает? Он ничего не делает? И в самом деле обидно.

А сегодня мама сама разбудила его чуть свет:

— Давай беги тогда, если хочешь успеть красивого.

И вернула деньги.

Валька обрадовался, не знал, что и сказать, а мама притянула его к себе:

— Пойди, быстренько умойся. Ишь, глаза...

Кто его знает, что такое творится с Валькиной мамой: сперва поругает его, а потом плачет. Раскритится, не разрешит чего, а потом передумает. Да только все ненадолго: тут же она как будто начинает жалеть, что уступила. И снова начинается крик.

Валька и теперь бежал так, словно кто-то уже гнался за ним следом, чтобы сказать: какой там тебе петух? А ну, возвращайся домой, там поговорим!

Ряд, в котором продавали птицу, тянулся далеко, и он побежал мимо, почти не сбавляя хода. Здесь были все куры да утки, изредка попадались гуси или индюшки, но петухов он пока не замечал, а может, на бегу просмотрел? Валька решил, что обратно вдоль ряда он пойдет совсем медленно, будет интересоваться да спрашивать — что, если подходящий петух преспокойно лежит себе где-нибудь в мешке?

И вдруг он его увидел.

Он еще не рассмотрел хорошенько, куда тут издали, только заметил гребень да бороду, но он уже почему-то знал, что это по всем статьям тот самый кочет, о котором он столько мечтал.

Сердце у Вальки ударилось так, будто это оно подтолкнуло его вперед.

Он подбежал и замер возле маленькой старушки, которая держала петуха, обеими руками прижимая его к боку. Ей, видно, было тяжело, и она стояла чуть вскинувшись и отклонясь назад, и петух, выгнув шею над своей каштановой грудью, тоже отклонял назад голову с малиновым гребнем и большою огненной бородой и слегка косил рыжим глазом — как будто хотел рассмотреть изжелта-белые свои серьги.

Пальцы у старушки были широко растопырены на его крутых боках, на тугих крыльях, но она все равно боялась, что петух еще, чего доброго, может вырваться, а потому зажимала ему под мышкой хвост, но он был

такой длинный, что красные перья с черными и темно-зелеными отметинами на концах пучком висели сзади из-под руки — Валька увидел их, когда слегка наклонился.

Он все разглядывал петуха, сразу даже не прислушался к разговору, который его хозяйка вела со стоявшей напротив высокой худой старухой, и только сейчас наконец до него дошло, что они давно уже преспокойно себе торгуются.

— Токо посмотреть, какой он тяжелый, — сказала теперь его хозяйка, слегка приподняла руку, под которой был зажат хвост, и протянула Петьку бабке. — Где ты нынче такого кочета?

Та осторожно взяла его, качнула в руках, как будто взвешивая. Кочет рванулся, вытягивая голову, недовольно закокотал и дернул хвостом. Красные косицы на конце его сильно затряслись.

Бабка, отдавая петуха, покачала головой:

— Ох, тяжеленный!

— А красавец какой! — продолжала нахваливать хозяйка.

И бабка с удовольствием растянула:

— Кра-аса-а-а-вещ!

Валька сжался: неужели купит?

Но бабка снова покачала головой и сама сказала:

— Я б такого ни за что не продала!

У хозяйки лицо и без того было сморщенное, а тут стало и совсем как печеное яблоко.

— А я б, кума, разве решила, если б не молодой хозяин? Да в жизни б не рассталась! А он пристал, хоть убей: он на меня не так смотрит... А Петька этот и правда дюже смелый. Тот выпивший с работы придет, да ногой его, сапогом в бок, а этот нет чтобы убежать. На месте подскочит, грудь вперед и голову от так вверх задерет, как будто подпрыгнет да кинется. Я скажу: Вася, от и хорошо, что он такой боевой, это ж петух, а не голубь. А он прямо с такой злостью: пускай с кем другим, как хочет, а на меня так не смотрит, пускай не кидается, я тут хозяин. Чего он на меня так глядит? А недавно опять пришел да идет прямо на петуха, как не видит. А этот такой боевой — никогда не свернет. А он тогда его — раз! — в бок. А тувель слетел. От он только его поднимать, а петух подскочит да ка-ак клюнет. Чуть не в глаз. А я сегодня встала пораньше да и думаю: лучше я его продам от греха... а разве не жалко?

У Вальки в горле пересохло, пока он с открытым ртом слушал: вот это петух! С таким и правда не пропадешь.

— Бабушка, почем он у вас?

Старушка посмотрела на него, как будто удивившись:

— По деньгам, детка. А ты что, купишь?

— Конечно, куплю, — быстро заговорил Валька. — Мне такой петух нужен.

— А ты его, упаси бог, не в суп?

Валька даже руками замахал:

— Не-а, что вы! Он у нас будет жить.

— А тебя мама послала? Или кто?

— Мама! — с гордостью сказал Валька, и ему стало вдруг очень приятно, что тут он ни капельки не соврал: и в самом деле, ведь это мама разбудила его нынче утром.

А старушка все как будто раздумывала:

— Ты знаешь, какой это кочет?.. Золото, а не птица. А умник! А поет! Зовут его плимутрок, порода такая. Будут говорить, что красных плимутроков не бывает — а ты не верь...

— Он у нас будет жить, — снова горячо оказал Валька.

— А ты чей сам?

— Дементьев...

— Это не Насти Дементьевой внучек?

— Она моя бабушка, — обрадовался Валька. — Так сколько он стоит, тетя?

— Да окажешь своей бабушке, Стеша Софрониха хотела за семь, да потом узнала, что ее внучек... пять рублей у тебя, детка? Да только сам его не обижай и другим не давай в обиду.

Валька как будто даже испугался:

— Да что вы, тетя, не-а!

А бабка длинно вздохнула, одновременно как будто что-то шепча, потом негромко сказала:

— Куда ты его, детка? В мешок?

Теперь Валька по дороге домой чувствовал за спиной живую и теплую тяжесть, ему иногда казалось, что петуху в мешке неудобно или, может быть, больно, и тогда он выпячивал живот и прогибал спину.

Это просто удивительно, как ему снова повезло!

Ему казалось, что точно так бежала с петухом за плечами Рыжая Лиса, и он иногда оглядывался как будто с тревогой, но и с довольством в глазах и как будто слушал, не мчатся ли следом собаки, — чтобы и совсем уж было похоже...

...Вот бежал так Валька с петухом за плечами, бежал, и собаки не успевали и тявкнуть, как тут же оставались далеко позади, и чужие мальчишки с другого края станицы не успевали замахнуться, как тут же с открытым ртом замирали да так и смотрели ему вслед — то ли на мешок, а то ли на семимильные сапоги.

Иногда он перелетал через целый квартал, подпрыгивал и несся над огородами и над садами в росе. По дворам плавно скользила его тень, и куры и утки бросались от нее врассыпную, как от коршуна или от маленького почтового самолета.

Он боялся, что сапоги в это время еще, чего доброго, спадут, шлепнутся куда-нибудь в сырую ботву, но они ничего, держались, и только слегка хлябали, когда он стучался подошвами о землю.

На углу их улицы стоял горбун Никодимыч с балалайкой в руке, и на нем была голубая атласная рубаша навыпуск, и вместо пояса висел витой шелковый шнурок с махрами на боку.

— Я тебя жду! — радостно закричал Никодимыч. — А ну-ка, покажи своего друга, похвались!

Валька достал из мешка красного кочета с каштановой грудью, и тот задергался у него в руках и закокотал, а Никодимыч пригляделся получше и вдруг ударил себя по колену:

— Да он красивей моего!

Они пошли домой, и тут к ним бросились и мама, и отец, и маленький Митрошка, все ахали, хвалили петуха и просили его подержать, а братец, конечно, уже плакал, потому что ему-то ведь как раз и нельзя было дать петуха — пока тот не обвык.

Посреди двора стояла папина машина, и он вдруг бросился к ней, а маме закричал:

— А ну, хозяйюшка, открывай ворота!

— А ты куда это?

— Да подскочу за поллитрой, надо бы...

Нет, не так.

Наоборот, это мама говорит:

— Ты чего, за поллитрой — петуха обмывать?

А папа с подножки смеется:

— Да ну, ты придумашь, еще чего?! Надо уже бросать эту дурь. Я за мамой за своей съезжу, давно она у нас не была, наша бабушка. Пускай она тоже на петуха глянет... как его? Плимутрок?

Мама обрадовалась:

— И устроим пир на весь мир!

Не успел никто еще и оглянуться, а машина уже снова стояла во дворе и бабушка уже вылезала из кабины и нарочно побряхтывала, будто чем была недовольна, а отец уже открывал задний борт. А там весь кузов был уставлен трехлитровыми банками с компотом. И каких только тут компотов не было: желтый — яблочный, коричневатый — из груш, розовый — из черешни и совсем темный — из вишен...

— Уж чего лучше искать, чем этот компот? — смеялась бабушка. — Сядем за стол и будем пить, у меня его еще на сто лет!..

И они с мамой пошли на кухню, Митрошка сидел в пыли и во все глаза смотрел на привязанного к яблоне петуха, который клевал белую кукурузу-ледянку и запивал ее водой из консервной баночки, а отец уже стучал в кузове молотком, пилил какие-то досочки, что-то ладил...

Никодимыч спросил:

— А ты чего там кумекаешь, Анатолий Потапыч?

Отец разогнул спину и отер со лба пот:

— Да ты знаешь, чего я придумал? Сделаю я тут в кузове маленькую такую клетку. Посадим в нее петуха, а Вальку с Митрошкой в кабину рядом со мной, и — поехали. У меня, знаешь, какая машина? У меня машина военная. В кабинке и крючок для автомата есть, ты посмотри. А мы туда балалайку повесим. На кочках да на ямах: трень-брень!

А Никодимыч в это время пощипывал струны на своей балалайке да винты подкручивал. Тут голову слегка оторвал от груди, затряс большим своим подбородком, засмеялся:

— А ты знаешь что? Я вот гляжу на петуха и думаю: а может, его и учить-то вовсе не надо? Ты только посмотри, как он скачет! Да он сам кого хочешь плясать научит — это же плимутрок!

Ударил по струнам совсем тихонько, а петух уже встрепенулся, захлопал крыльями... Дрыгнул лапой, чтобы освободиться от веревки, скинул ее и давай потихоньку приплясывать.

Из кухни вышла бабушка, остановилась, вытирает о фартук руки. Увидела, как пляшет петух, и головой качачала:

— Да будь ты неладно — вот это кочет! У кого ж только ты такого купил?

Валька сказал:

— Тетя Стеша Софрониха хотела за семь рублей, а потом узнала, что я — твой внук, и за пять отдала...

А кочет старался!

Бабушка даже в ладоши стала прихлопывать:

— Ишь ты!.. Ишь ты! — Обернулась к Вальке и строго сказала: — А ты ему воды в банке поставил? А ну-ка, быстренько сполосни ее да влей туда кизилового компоту!

С тех пор как Валька купил красного петуха, прошло уже больше трех месяцев, но плясать его так пока и не выучили — это ведь только сперва кажется, что все просто.

Сначала Вальке самому было недосуг. Только начнет у матери отпрашиваться, а она:

— Опять гулять! Думала, разрешу ему это баловство с петухом, так хоть немножко дома посидит, а он и тут — нет!

И Валька все ходил в няньках: за Митрошкой теперь и подавно нужен был глаз да глаз. И откуда взял такую привычку — каждый камушек тащит в рот. Только ты отвернулся, а он уже губы сжал, и мордочка хитренькая. Значит, во рту уже что-то есть. Только отобрал камушек или комочек земли, только заставил выплюнуть, а он — опять. Рот у него теперь, вытирай не вытирай, весь в пыли; от капустной кочерыжки хоть и не давай откусить — тут же замусолит. Яблоко ему очистишь, оно белое, а он что ни укусит — следок. Как будто перед этим песок жевал.

Валька прямо замаялся.

А потом надолго заболел Никодимыч. Сперва его положили в здешнюю больницу, а затем прилетел за ним санитарный самолет и увез.

Пока его не было, Валька попробовал было сам с петухом позаниматься, да только ничего у него не вышло. Петька не обращал на балалайку никакого внимания, и когда Валька начинал брэнчать, спокойно себе греб да поклевывал. Он привязывал к петушиной ноге веревочку и пробовал его подергивать, но кочет только обиженно кокотал и начинал упираться. Пробовали они так: Валька брэнчит, а Андрюшка Мельников петуха подбрасывает. Давали ему после этого сахар-песок или конфеты «горошек» — нет, и тут бесполезно. Недаром же Никодимыч предупреждал: без него и не берись — тут надо секрет знать.

И Валька, когда им с Митрошкой было невесело, просто выносил балалайку, брэнчал на ней да вздыхал, а на петуха при этом только посматривал.

Иногда около Валькиного двора собирались ребята со всей улицы, и тогда, если дома никого не было, он выносил сюда балалайку и красного кочета. Его привязывали к лавочке, и он тут же начинал грести и вообще занимался чем хотел, а мальчишки по очереди брали балалайку и дрынкали и тоже смотрели на петуха... эх, скорей бы выздоравливал да прилетал домой на своем самолете Никодимыч!

А недавно он наконец вернулся, только не на самолете, а приехал в автобусе. Валька тут же сбегал к нему домой, и тот сказал, что ладно — как-нибудь они денек выберут, петухом и займутся.

И вот долгожданный этот денек настал.

Правда, они хотели прийти с Андрюшкой вдвоем, но Никодимыч сказал, что один хозяин петуха только и должен быть.

Конечно, Вальке жаль было своего лучшего друга, который вместе со своим пятилетним братишкой преданно провожал его сейчас к Никодимычу, и он в который уже раз пробовал его утешить:

— Ладно, я все потом тебе расскажу — в точности!

Андрюшка только плечами пожал:

— Да лишь бы он научил его, Никодимыч!

Они уже подошли, и Андрюшка с братом отстали и спрятались в пожухлом бурьяне у дороги, чтобы подождать, пока Валька докричится, а сам он поставил мешок с петухом у ног и ладошки поднес ко рту:

— Дядя Никоди-и-мыч!..

Хорошо, что мальчишки еще не ушли — Вальке было, пожалуй, немного страшно.

Ему всегда почему-то казалось, что, хоть и работает горбун Никодимыч в райфо бухгалтером, живет он все равно как-то странно, и теперь, заглядывая во двор, Валька снова невольно искал следы этой особой его, как будто таинственной жизни.

Но все здесь было как и во многих других дворах: старый, как будто глухой, дом с застекленной верандой, над которой от карниза до земли чуть наискосок висели на ржавой проволоке засохшие плети вьюнков, такой же старый сарай с односкатной черепичной крышей да загородка для кур, просторный огород, на котором среди облетевших деревьев одиноко стояло вылинявшее пугало в обвисшей кепке.

— Дядя Никоди-и-мыч!.. Дядя!

Сначала он услышал, как клацнула щеколда, потом дверь открылась и Никодимыч встал на пороге. Резковатым, немного похожим на скрип голосом крикнул:

— Чего стоишь, заходи!

Валька открыл калитку и по дорожке, выложенной кирпичом, пошел к дому.

Никодимыч держал одну руку, слегка приподняв ее и растопырив пальцы — будто перед этим чистил сеledку, — и Валька понял, что пришел, пожалуй, не вовремя.

— Давай сюда, — пригласил Никодимыч. — Может, с нами поешь?

Валька только потом представил, как он сидит за одним столом с Никодимычем да с его худющей женой — она в старших классах по химии учит. Но раньше он испуганно сказал:

— Не-а, что вы! Я тут...

Все-таки и правда, Никодимыча как с гвоздика сняли, и он до сих пор еще не привык: большой свой подбородок сперва только приподнял с груди, а потом уже голову повернул.

— Может, тогда сразу к делу? — сказал, взглянув на сарай. — Примус умеешь разводить?

Валька засомневался:

— Да как когда...

У Никодимыча на большом подбородке собрались складки:

— Суду все ясно! Когда не ругаются — можешь. Как под руку накричат — так нет.

И Валька только рот раскрыл: пожалуй, правда! А Никодимыч пошел со ступенек вниз:

— Пойдем, все тебе покажу, а сам пока докушаю... Идет?

Осмелевший Валька улынулся:

— Даже едет.

В сарае Валька первым делом выпростал из мешка петушиную шею, чтобы кочету не было душно, а крылья не стал освобождать — пусть пока посидит. Потом взялся за примус.

Скоро примус загудел, и над раскаленной его горелкой ровным кружком задрожало синее пламя, а Валька, присев на низенькую скамеечку, оглядывал теперь сарай. Да только и здесь у Никодимыча, пожалуй, ничего такого особенного не было.

На давно не беленных стенах поверх пожелтевших газет висела старая одежда, а рядом всякие домашние вещи — то бельевая веревка, а то пила — в одном углу опускались с потолка три или четыре пучка калины да пыльный букетик какой-то сухой травы, а чуть поодаль свисали перехваченные толстой алюминиевой проволокой старые рамки с кусочками воска на деревяшках — Никодимыч держал пчел.

Самого Никодимыча вое не было, и Валька снова подсел к петуху и стал гладить его по тугим перьям на шее.

— Петя!.. Петя!

Раньше кочет и близко не подпускал, клевался, а теперь уже привык, шею под ладошкой так и выгибает — как балованный кот, которому ты только дай руку, а он сам об нее спинку погладит.

— Петя! Тут будет твоя школа...

И кочет мелкими рывками тянул вверх голову и рыжим глазом косил на гудевший примус, на синее его пламя.

Валька думал, что Никодимыч принесет подогреть на примусе еще что-нибудь для своего обеда, но тот пришел уже, видно, поевший.

Рядом с печкой, на которой шумел примус, положил на сундук раскрашенную свою балалайку, потер большие ладони и снова приподнял и слегка повернул к Вальке тронутую неровной сединой крупную голову:

— Говоришь, приступим?

Валька кивнул и даже плечами повел от нетерпения.

Никодимыч достал из-за сундука странную жестяную посудину, похожую на громадную сковородку, поставил ее на глиняный пол. Потом откуда-то из-под стола вытащил большую плетеную корзину, очень редкую и без ручек. Поставил ее вверх дном на жестяную посудину, посмотрел-посмотрел и ладонь слегка приподнял, подержал да и опустил почти тут же — как будто хотел в затылке почесать, да почему-то раздумал.

Приподнял с груди подбородок и на мальчишку опять глянул:

— У тебя нервы вообще-то... как?

А тот подумал, что Никодимыч спрашивает потому, что петух вполне может сразу что-нибудь не понять или заупрямиться, а он, Валька, чего доброго, станет его бить.

— Да не-ет, — сказал, — не беспокойтесь, он все поймет.

Никодимыч почесал наконец затылок и как-то неопределенно сказал:

— Понять-то он, конечно, поймет...

И Валька заверить поспешил:

— Он такой!

— А ну-ка, привяжи к ноге веревочку, да покрепше... есть у тебя? — сдернул со стенки моток шпагата и протянул Вальке. — На вот.

Валька привязывал, стараясь сделать так, чтобы шпагат хорошо держался, но не давил ногу.

Никодимыч перенес гудящий примус на маленькую скамеечку, а по бокам от него поставил две большие табуретки.

— Готово?

— Готово! — радостно сказал Валька.

— Держи веревочку, — распорядился Никодимыч.

Поставил над примусом жестяную свою посудину, взял у Вальки петуха и быстро сунул его под корзину. Тот, оступившись, цапнул по железу когтями и затих.

Валька еще не совсем понял, что будет дальше, но ему вдруг стало не по себе.

Никодимыч это как будто почувствовал:

— Оно, брат, конечно... ему какая радость? Потому и говорил, один приходи...

Петька негромко закокотал под корзиной, забеспокоился, раз и другой переступил с ноги на ногу, сильно цокнув когтями, и Никодимыч быстро взял свою балалайку и подкинул, тоже как будто торопясь. Попробовал улынуться Вальке, собрал складки на подбородке, подмигнул:

— Музыка!

А Петька уже обиженно кокотал, бил крыльями и вое чаще и чаще подпрыгивал. Никодимыч быстрее и быстрее бил по струнам, потом снова дурашливо подмигнул:

— И-ех, ходи, милай!

Как будто Вальку подбадривал.

А кочет то часто семенил по нагретому железу, а то вдруг с криком подпрыгивал и словно оскользнулся, становясь обратно, подскакивал тут же снова и кричал еще жалостней и громче.

В прохладном сарае запахло паленой роговицей.

Никодимыч разом перестал играть:

— Держи хорошенько!

И снял с жаровни корзинку.

Кочет сильно ударил тугими крыльями и рванулся под потолок, так что Валька невольно дернул за шпагат и тут же подставил руки, подхватывая его снизу.

Петух забился теперь у него на плече, одной лапой вцепившись в пиджачок, а вторую сжав на Валькиных пальцах, и тот чуть не закричал — когти у Петьки были очень горячие.

И Валька медленно стащил петуха с плеча, прижал к груди и склонился над ним, ткнувшись лбом в разогретые его крылья.

— Ну-у... ну, вот грех! — Голос у Никодимыча сделался виноватым. — А ты думал, он от большого веселья пляшет? Или... да я вот к вам выйду другой раз с петухом-то... думаешь, оттого, что мне дома от радости не сидится? Ну-ну, не плачь...

Валька и не плакал — только посильнее жмурил глаза.

— Ты маленький... потом-то знать будешь, — торопливо говорил Никодимыч. — Радость да печаль, они всегда вместе. Радость ждешь, а оно печаль — уже тут. Печаль гонишь, а там глядишь — и радость ушла... только не думай, что это я такой злой, петуха мучить!

А Валька вдруг насторожился, и внутри у него замерло: пока он стоял с опущенной головой да с закрытыми глазами, сарай наполнили страхи, они летали вокруг него, как летучие мыши, вились, чуть не задевая его серыми крыльями, и он сжался, спину его тронуло холодком. Он дрогнул плечами и выпрямился.

Никодимыч поймал его испуганный взгляд, попробовал улыбнуться, но улыбка не вышла, только раз и другой дернулась щека:

— Ты знаешь, где я сам-то узнал? В плену, в концлагере... Мне тогда чуть за шестнадцать было, стали эвакуироваться, и мать с меньшим братишкой... под бомбежкой. А меня к себе солдаты взяли, артиллеристы. Я у них почти год, и форма и все — сын полка. А потом взяли нас в окружение. Ну и лагерь в Польше. И холод, и голод, это, как так и надо, — а что всякой обиды! А с нами один бывший клоун... веселый! Никогда не унывал. Потому его больше всех и били. Он только лежал под конец.. А все равно соберет около себя... Это он придумал с петухом, Вольдемар Алексеич. У него было четыре золотых зуба, он говорит одному поляку, охраннику: достанешь петуха? Достану! Козяж его фамилия. А клоун ослаб, уже и снять коронки не может. Этот Козяж сам ему выломал. А потом принес петуха и старую мандолину... Когда он дежурил, выучили петуха... так вот... а потом показывать. Один летчик, он бойкий был, говорит Вольдемару Алексеичу: я буду! А он: нет, пусть Федор Никодимыч — он меня всегда по имени-отчеству. Пусть, говорит, Федор Никодимыч, у него должно смешней получиться...

Валька снова быстро поднял глаза.

Никодимыч возился с верхней пуговкой, расстегнул наконец рубаху, туда-сюда повел головой, и щека его с неловкой складкой внизу, где она касалась груди, снова задергалась.

— А ночью — целый концерт! Вольдемара Алексеича приподняли на нарах, посадили к стеночке, чтоб и ему видно... Народу! А я: музыка! И давай. Кто улыбается потихоньку, а кто, ты веришь, смеется — наверно, у меня вид был... да что мне! Ты веришь, у людей лица стали как до войны. А я потом подбегаю: Вольдемар Алексеич, ну как? А он уже холодный, только улыбка на лице, пока мы людей смешили, а он помер.

Валька снова почувствовал, как у него кривится лицо.

— А петуха потом берегли! А прятали! Правда, горло ему пришлось... немножко... чтоб не кричал. Похрипит только, да и все. Голод — каждый день мерли. А ему крошки несли, ты веришь? А вечером, если дежурит кто похрипит, опять соберутся в круг: давай, Никодимыч! Потом один раз я играл, а петух выплясывал, вдруг охранник-власовец. Фамилия была Бурнашев. Увидел да автомат с себя. Что, говорит, горбатая сволочь, — ты играешь, а он пляшет? А ну-ка, говорит, попляши теперь сам, а я тебе поиграю. И — очередь мне под ноги... ничего бы, может, и не было, людей-то каждый день хоронить привыкли, а вот что петуха он убил! Тут самые смиренные с нар повставали... такая заваруха была, целое восстание. Потому что поляк Козяж, когда на шум прибежал, выстрелил в Бурнашева...

Голос у Никодимыча сорвался, он задышал так, как будто ему было душно. Крупные его ладони не находили себе места — он то ерошил волосы и тут же пятернею вел по лицу, то вдруг начинал тереть грудь под пиджаком, а второю рукой трогал что-либо на стене, как будто поправлял, а потом вдруг боком шатнулся к примусу, сильно и часто стал подкачивать — и кочет, словно что поняв, вскинулся под ладонями у Вальки и задрал голову...

И Валька бросился из сарая, прижимая его к себе, выскочил на улицу.

Он бежал, будто не дыша, будто что-то в себе все сдерживая, и лишь когда стал на колени на краю лужка и опустил на землю петуха с распаренной и местами размятой роговицей на лапах, лишь тогда он бросился на землю и тихонько и жалостно заплакал, прижимаясь щекою к волглой осенней траве.

День был, какие бывают только в середине ноября, когда в станицу на недельку, на две словно возвращается давно ушедшее лето.

Припекает низкое солнышко, на улице ясно да тепло, а тишина такая, что пролети сейчас запоздавшие журавля, и от их тоненького клика вздрогнет и упадет на землю последний листок, который чудом еще держится на самой макушке старого ясеня.

Прозрачными стали сады, кругом посветлело, и сквозь голые ветки теперь хорошо видны и рыжие, с яркой прозеленью холмы вокруг станицы, и дальние горы. Холодком лежит на их белых вершинах синеватая дымка, и на нее почему-то тянет и тянет тебя смотреть, когда ты сидишь под плетнем на толстом ворохе палых листьев...

Валька сидит не один, рядом с ним притулился спиной к плетню Митрошка.

Он тоже смотрит на синие горы и негромко тянет на одной ноте: а-а-а. Тянет, покуда хватает сил, а потом снова набирает воздуха: а-а-а...

Лицо у Митрошки при этом очень серьезное, а взгляд отрешенный, и песня выходит у него такая задумчивая. Хорошо, что у Вальки есть братец! Хоть говорить он пока не научился, зато смотреть умеет так радостно, как никто другой никогда на тебя не посмотрят.

Вздыхнул Валька, глядя на далекие горы...

Опять вспомнил он и лето и вспомнил то, что случилось еще совсем недавно, и ему показалось немножко странным, что все это разом от него отодвинулось и осталось вдруг в прошлом, в таком далеком, что теперь в точности и не различить, что было на самом деле, а чего, может, вовсе и не было, а только хотелось, чтобы оно было...

Собирал он водяной перец? Собирал. Хотели ему вместо балалайки подсунуть барабан? За малым не подсунули. Купил он у бабушки Софронихи красного кочета с каштановой грудью? За пять рублей. И они с Митрошкой шли и шли, а за спиной у него была балалайка и на посошке висел узелок...

И будто бы очень хорошо умел плясать петух плимутрок, из которого сварили холодец, когда Валькины мама да папа наконец помирились.

ПОКАЗАНИЕ ДЛЯ ТЕБЯ ОДНОГО...

«...Может быть, ты отчасти прав, когда говоришь об этом моем решении: финт ушами. Хотелось бы, однако, кое-что тебе объяснить.

Ты представь себе начало этой истории: хорошее воскресное утро летом, переполненный автобус, в котором люди едут за город отдохнуть. И висят на подножке эти ребята, которых потом судили, — три закадычных друга. Хлопцы как хлопцы — давай-ка вспомним и свои восемнадцать... В субботу были на танцах, вернулись в общежитие поздно и потому, конечно, проспали. Заводские автобусы ушли, их уже записали в прогульщики, а они надеются догнать свой цех на попутных.

Мы к тому времени уже приехали, причем активность проявили необычайную. Накануне наш предместкома поклялся, что, если не будет стопроцентной явки, билльярда нам не видать. И заядлые игроки обошли отделы, провели работу, всех сагитировали, и из солидарности вышли даже те, кто уже давно позабыл, что такое воскресник... Правда, тут надо сказать, что в то лето об этом не давали нам забывать. Почти каждый выходной — на стройку. Мало того, что мы водохранилище проектировали — потребовалась еще и мускульная наша энергия. Вот-вот уже собирались пустить воду, а дно подготовить не успели, надо было вырубить кустарник, чтобы деревья потом, как в Красноярске, не начали гнить. Вот мы и ездили, и рубили. Само собой, это будущее море сидело у нас в печенках. Прибавь сюда, что мы по долгу, так сказать, службы очень хорошо знали, каких там понасажали плюх да чего строители напорили уже от себя. А тут еще явно запоздала эта дискуссия в центральных газетах, из которой, в общем-то, очень хорошо было видно, что это самое море, как зайцу стоп-сигнал. Можно поэтому понять, с каким настроением приехали мы на этот воскресник. Митинговать начали с самого утра. Мужчины то и дело покуривали, а женщины озабочены были тем, как бы соблюсти нравственность, получив при этом законную свою, богом положенную порцию загара...

Тут эти мальчишки и появились. Подбежали, запыхавшись: а где, мол, тут работают с такого-то завода, не скажете?

Ну, Хлудякова ты немножечко знаешь. Делает самую серьезную морду, достает блокнот: как фамилии? Эти охотно так и доверчиво: Иванов, мол, Петров и Сидоров.

Что ж это, Хлудяков говорит, дорогие товарищи, вы разгуливаете? А еще небось комсомольцы! Вас троих придали нам в помощь, мы на вас надеемся, а вы только к обеду появиться изволили! И это в то время, когда все труженики края озабочены только одним... Ну, ты его действительно знаешь.

Мальчишки оправдываться, а он уже размечает делянки: эта, мол, Петрову, а эта Сидорову...

Наши, конечно, кусают губы, все потихоньку ржут, а мальчишки ничего не замечают. Стаскивают рубахи, топоры в руки — и пошел!

Знаешь, у меня было, признаться, такое ощущение, что на этот раз Эдик наш хватил через край... Но, с другой стороны, все мы привыкли: штатный хохмач, любимец публики. Никогда не знаешь, что он выкинет в следующую минуту, ну, и не позволяешь себе встречать — сам начал, сам и доиграет... Полезешь со своей угрюмой кондовостью — над тобою же и посмеются!

Ловлю себя на том, что оправдываюсь... Как-то оно все вышло! Теперь я клянусь себя за то, что промолчал тогда.

А они, брат, старались!

Там были заросли облепихи, сплошные эти колючки, недаром в этих краях зовут ее — д е р е з а. Мы от нее уже натерпелись, и без рукавиц, без брезентовой курточки никто к ней теперь не подходил. А этим хоть бы что. Знай себе топорами машут — все поцарапались! Потом подходит один, видно, самый бойкий. А можно, говорит, мы и еще маленько прихватим, только уйдем пораньше? Очень, мол, надо! Ну, и какую-то такую причину — то ли за гитарой к товарищу, то ли еще что. Хлудяков им про встречный план: молодцы, мол!

В общем, половину того, что всему нашему институту отвели, они втроем сделали. Хлудяков их похвалил, пожал руку: буду, говорит, на ваш завод передавать сведения, обязательно, мол, укажу, что работали по ударному... Стыдно, конечно!.. Но что теперь делать: раз было, значит, было. Да и кто, естественно, мог предполагать, что из всего из этого выйдет? Мол, пошутили — и ладно.

А теперь поставь себя на место этих мальчишек. Приходят они в понедельник на свой завод, а комсорт давай им пенять: лодыри, мол! Прогульщики. Те за свое: мол, больше нормы сделали, только сведения, верно, еще не дошли... А та, ну, как бы тебе сказать, не то чтобы окончательная язва, но девица с характером... Из тех, знаешь, что одноклассников своих, с которыми десять лет вместе проучились, зовут только по фамилиям. А может, просто молодая, зеленая, потом поймет — кто знает. Ее вины здесь, во всяком случае, нет. Просто она стала каждый день потом тереть ребят: так где же, мол, сведения о ваших трудовых подвигах?

Почему я все это досконально знаю — мы потом, уже после суда, вместе со следователем выстроили всю эту цепочку, и, чтобы кое в чем убедиться еще раз, я поговорил почти со всеми, кто в этой истории так или иначе участвовал, в том числе и с этой не по летам въедливой особой... До нее и тогда, когда я уже все растолковал ей, не очень дошло, долдонила все про одно и то же: они, мол, всегда вели себя безответственно... Можешь представить, с каким прилежанием взялась она пилить мальчишек до этого!

В конце концов ребята решили: надо им разыскать того самого, с блокнотом. Пусть подтвердит, что они работали. Больше всего им, как ты понимаешь, хотелось, чтобы эта молодая язва «заткнулась».

Шутка ли в таком городе найти человека, которого ты толком-то и не видел! Но мальчишки не отчаивались, составили какой-то свой хитрый план, который не должен был их подвести. Что ты хочешь, для них это была своего рода игра — разбили город на квадраты... А потом неожиданно встретили Хлудякова в летнем кафе. Причем надо же такому случиться: этот пижон стоял у них за спиной с молодой девчонкой и в красках рассказывал, как недавно на воскреснике подшутил над тремя лопухами — некими молодыми энтузиастами... Ты действительно знаешь Хлудякова и потому представишь, как это все могло прозвучать.

Стерпел бы ты? А что бы стал делать?

Потом уже вместе со следователем мы попробовали еще раз «проиграть» эту ситуацию — конечно, она была для парней слишком неожиданной и слишком обидной!

Обернуться и дать в морду? Или затаиться, узнать каким-то образом имя да фамилию и подать затем в наш местком жалобу?

В общем, когда этот лысеющий ухажер допил шампанское, а молодая девчонка, которой он пудрил мозги, доела мороженое, ребята двинулись за ними следом. Шли поодаль, спорили, как им быть, а улица становилась все безлюдней... На следствии Эдик говорил, будто они напали неожиданно. Действительно ли он не чувствовал, что за ними следят? Кто его знает. Этот молодой лейтенант из милиции, к которому попало дело, уверен как раз в обратном. Он говорит, что такая молниеносная драка могла произойти только в том случае, если взвинчены были, так сказать, обе стороны.

Вообще-то, неизвестно, чем бы все кончилось, но на дороге появилось пустое такси, Хлудяков к нему бросился, и ребята, наверно, поняли, что сейчас он с девчонкой сядет — и снова потом ищи-свищи... Крикнули и кинулись к Эдику, кто-то схватил его за рукав, а он, конечно, рванулся, и тут пошло. Девчонка уже сидела в машине, выскочила, чтобы разнять их, бросилась в середину... Ее оттолкнули, а таксист в это время дал газу — ну, и перелом ребра, и сотрясение мозга.

Машина так-таки и уехала — шофер потом утверждал, будто в суматохе не заметил, что он кого-либо сбил. Да и вообще у него была своя твердая линия: все случилось пятнадцатого, в получку, в тот день он работал в две смены, и ему уже пришлось хлебнуть вволю. Вмешался и один раз, и два, а на третий плюнул — и все дела: тут уж у кого хочешь нервы не выдержат... И все железно подтверждалось — до этого он уже был записан в милиции свидетелем. На суде потом он все бил себя в грудь, и понять его, в общем-то, было можно. Определили ему год условно.

Мальчишки, перепугавшись, убежали. Хлудяков постучался в ближайший дом и попросил помочь ему вызвать «скорую». Вот такая грустная вышла история...

Недели через две Эдик уехал в Ленинград, на трехмесячные курсы, и, когда ребят наконец нашли, то с фотокарточками следователь поехал к нему туда: знал ли Хлудяков задержанных до этого или не знал? Эдик сказал: нет.

В общем-то, если он и в самом деле ни о чем еще в тот вечер не догадался, то на фотокарточках, и верно, мог ребят не узнать. Потому что были на них уже другие ребята...

Я вспоминаю, как они тогда к нам подошли: только и того, что волосы как у бабки Махно, а так — хорошие, с доверчивой улыбкой парни... А с фотографии на тебя угрюмо глядели наголо остриженные, с тоскливыми лицами дебилы. И мне тоже тогда невольно казалось, что есть у них в чертах что-то такое

преступное. Потому-то, когда следователь пришел с этими фотографиями в институт, никто из наших, конечно, их не узнал... А у меня, понимаешь, что-то такое шевельнулось... Где-то, говорю, я их видел, только не вспомню где. Следователь и зацепился. Записал мой рабочий телефон и домашний записал — давай названивать: так и не припомнили — где?

Бедная эта девочка, которой не повезло, можно сказать, больше всех, в тот вечер видела их, и в самом деле впервые, и все сходилась постепенно на том, что здесь типичный случай, когда у подвыпивших хулиганов чесались руки...

Видишь, как много всяких «потом». Потом-то девчонка, которая дружила с тремя этими ребятами, рассказала мне, что один бывалый человек научил их держаться неколебимо: были, мол, выпивши — ничего не помним. Нашли их не сразу, время обо всем договориться у них было. Придумали они в деталях эту свою выпивку, хотя на самом-то деле в тот вечер пили только молочные коктейли и заедали только мороженым. Ну, тут уж тоже тот самый бывалый человек постарался: следователь говорил, что эта очень правдивая картина выпивки больше всего его и смущала... Невольно подумаешь: сколько самых разных усилий — вольных или невольных — приложили мы, люди взрослые, чтобы эти не имеющие жизненного опыта мальчишки запутались окончательно... Дали они, в общем, друг другу слово ни в какие подробности больше не вдаваться, и на этом уперлись: выпивка ударила в голову — и все дела.

Следователь, который занимался ребятами, парень и умный, и терпеливый, да только у них ведь свои заботы — гони процент раскрываемости, или как там? А тут история вроде бы совершенно ясная — чего тянуть? Начальство на него поднажало — передал дело в прокуратуру. Только это уж точно: сам он до последней минуты сомневался. Больно все, говорит, гладко. Вечером перед судом опять он мне позвонил: не припомнили? И на суд пришел, хоть это никак уже не входило в его функции. Да и меня туда притащил, это была его идея, сам я наверняка не пошел бы — на что мне?

У следователя, видишь, был свой расчет: одно, мол, дело, когда человек просто посмотрит на фото, а другое — когда на суде посидит. Сердце, если не каменное, подскажет. Так оно, знаешь, и случилось. Глядел я на ребят, глядел, и хоть держались они как будто с вызовом, так мне стало отчего-то их жаль... И тут вдруг стукнуло: да это ведь те самые наши помощники, над которыми когда-то мы подшутили!

Знаешь, захотелось мне встать и крикнуть: погодите, что же мы делаем! Здесь ведь вот такая история!

Лейтенант один раз глянул на меня, другой раз глянул, и я уже, кажется, начал привставать, но тут сидевший со мной рядом Борис Фильчук придержал меня за колено: ты что это, мол?! А у меня сел голос, еле слышно шепчу ему: сам-то вспомнил? Знаешь, что это за хлопцы? А он спокойно так: ну и что?.. Да как, толкую ему, «что»? С этого небось и пошло! А он все держит руку на моем колене: да брось, мол! Ты, говорит, может быть, не знаешь, что у них ножи были? Это родители упросили Эдика, чтобы не говорил о ножах, вот он и промолчал. А если бы сказал? Сам посуди: я ведь не ношу ножа? Ты не носишь. А эти — что? Не одного пырнет, так другого. Не завтра, так послезавтра — какая разница? Ты, говорит, посмотри на эти морды! Думаешь, раскаялись они? Как же, мол, держи карман шире! Так и зыркают. Да его сейчас под стражу не возьми, он тут же после суда подойдет к тебе и первого же тебя и зарежет...

Я ему что-то такое в ответ, а он так спокойно: продать, мол, хочешь? Как же ты после этого товарищам своим в глаза будешь глядеть?

Удивительная, скажу тебе, штука! Вот мне уже скоро сорок. И демагогию вроде этой я за километр чую. И вместе с тем... Посмотрит кто-либо на тебя ясными глазами, скажет что-либо уверенным голосом, и ты неизвестно чего в себе застыдишься... Да почему это мы должны стыдиться, а не они?!

Вот мы часто говорим: душа, мол, болит. И редко, пожалуй, представляем при этом, что это на самом деле такое. Веришь, я это впервые там, на суде, почувствовал: что-то заныло в груди, сжала какая-то вполне реальная боль... И все-таки это самое чувство ложного товарищества — или как там наши школьные учителя это называли? — все-таки оно во мне тогда победило...

Еле высидел до конца! Как будто что-то в себе или кого-то я предал...

Мимо лейтенанта, мимо всех бросился скорее на воздух. Только подошел на миг к подружке этих троих ребят — она все порывалась с места что-то такое сказать, а потом заплакала навзрыд, и ее вывели... Сказал ей, что мне надо ее увидеть, и мы договорились, что вечером подойду к общежитию — она учится в медицинском училище...

Давно ты не был в студенческом общежитии? Я, признаться, давно. А тут вдруг пахнуло на меня чем-то таким...

Подождал ее внизу, подождал, но она все не выходила, и тогда я решил найти комнату. Пропустили меня без всяких, вахтерша только спросила: «Вы, наверно, чей-нибудь папа?» И я вдруг подумал: а правда! Мне сейчас тридцать семь, а им по восемнадцать. И у меня вполне могла бы расти такая дочка. Или такой парень... Ладно!

Пришел я в комнату. Чистота, уют. Все эти вышитые, накрахмаленные занавесочки, как в старые добрые времена нашего студенчества. И все эти зарубежные красавцы над кроватью с высокими, из дома, подушками — у наших девчонок они еще не висели. Но дело не в том и не в другом. Понимаешь... В этой комнате у меня перестала вдруг ныть душа.

Две девчонки, которые были дома, сказали, что Надя вот-вот придет, предложили посидеть у них, и, знаешь, я с какой-то неожиданной благодарностью согласился. Сiju помалкиваю, исподволь все рассматриваю... Приходит еще одна девчонка, соседка этих по комнате. Подсаживается к одной из моих девчат,

потихоньку спрашивает: пойдешь завтра в кино? Нет, денег нету. Та опять: а мы убежим, и на дневной — двадцать копеек. Эта: а у меня и двадцати нет. Соседка: что, давно перевода не было? Ага, мол, что-то задержался. А что ты ешь? А у меня, говорит, еще кулечек конфет остался от посылки — на прошлой неделе сестра прислала...

Я, старый дурак, чуть не прослезился! Такою на меня вдруг повеяло чистотой. Это мы с тобой давно уже по земле, а они еще, как птички, по веткам!

Подумал вдруг: с получки я бы мог все это общежитие в кино повести да еще угостить мороженым. За рацпредложение получил — хватило бы всем на ресторан. Но меня вдруг острая такая тронула зависть...

Посидел я, спрашиваю: когда же Надя придет? Она говорила вам? Нет, мы третий день не разговариваем. Это почему? А потому что, говорят, когда мы в воскресенье суп с тушенкой готовили, то мясо, перед тем как бросить в кастрюлю, не размяли. А зачем его разминать? Тут они хитренько так: а как же, мол? Чтобы всем поровну. А то кому целый кусок, а кому только волоконец от мяса и достанется... Надя, мол, та всегда разминает — это у них, у альпинистов, такой закон. А что она, альпинистка?

Ну и стали мне девчата о Наде. Она, мол, чудная. Ни одного костюма порядочного, зато носков шерстяных — полный абалаковский рюкзак. Бывает, прибегут подружки: в магазине есть хорошие платья! Всем колхозом уговорят ее — она загорится. Соберут ей денег. А обратно придет — еще один свитер принесла...

Ходили мы потом по улицам с Надей. Долго ходили. Она уже вроде бы успокоилась, только вздыхала вдруг иногда, как всхлипывала. Рассказала об этих ребятах... Фонари, слушай! Такие же, как она сама. Все они из одного класса — дружили еще в школе. Учились, правда, неважно, ну да, она говорит, хорошо учиться — это вообще теперь дурной тон, и, если увидишь отличника, знай — перед тобой придурок, забубенный зубрилка или подлиза последняя... Видишь, как оно четко. Жили они в станице, а в город решили поехать только потому, что тут, видишь, большой радиоклуб. Пошли в профтехучилище, потом — на завод, а вечерами все четверо занимались в радиоклубе: была у них мечта уехать на Север, устроиться радистами, и там — через тысячи километров — друг с другом переговариваться. А пока, значит, к холоду привыкали в горах... А ведь когда-то и я был таким! Да и ты даже в институте тоже был порядочный фонарь — ты поймешь.

Спрашиваю: Надя! Почему они, в конце концов, не сказали, из-за чего сыр-бор? Она совершенно серьезно: чтобы над ними еще и на суде посмеялись?

Я сперва ничего не понял. Только потом стало до меня потихоньку доходить, что это примерно из той же оперы: если быть отличником стыдно, то и хорошо работать на воскреснике, выходит, тоже... Как бы там ни было, а хлопцы эти выросли в станице, и, когда их обманули так запросто, а потом еще над ними и посмеялись, заговорило в них самолюбие. А может быть, если разобраться, — гордость?

Проводил я Надю в общежитие, а сам домой не пошел — сел на скамейку в привокзальном скверике и просидел всю ночь...

Как же, думал я, так?

Вот все мы — космические философы, нас хлебом не корми, дай только порассуждать о цели жизни, о всеобщем благе народном, о судьбах цивилизации. Тут мы, взывая к добру и к разуму, ссылаясь на понятие высшей справедливости, готовы все, что угодно, человечеству подсказать и всех, кого угодно, поправить.

Но вот подходят к нам эти мальчишки. Наши соотечественники. Наши современники. Понимаешь?

У меня тогда выходило складно. Покрикивали ночные поезда, и мне думалось: вот едешь ты, предположим, с кем-то в одном вагоне. От станции А до станции Б. Время в пути — какие-то сутки. Но сколько мы, люди незнакомые, окажем друг другу за это время и знаков внимания, и всяких мелких услуг. И полку уступим, и чаю принесем, и у окна с разговором постоим, и что-то такое посоветуем... А ведь объединяет нас всего-навсего то, что мы — попутчики!

Представь себе другую дорогу. Ту, что из глубины веков, из еле различимого прошлого тянется в далекую даль времен будущих... Что там одно купе или один вагон — у нас судьба одна! Сегодняшний день собрал нас, как скорый поезд. Это ли не должно объединять?!

Мелочами тут, правда, не отделаешься. И вежливостью одной не обойдешься. Тут нужны и великая доброта, и великая любовь, и терпение великое... Да ведь на то мы и люди! Вот мы какую-нибудь машину проектируем. Закладываем в нее десятикратный запас прочности. А разве в самих нас нет такого запаса? Наверняка есть. И не надо нам бояться душевных перегрузок. А то ведь как: мало того, что мы сами слишком быстро сдаемся обстоятельствам — с удивительной охотой других мы тоже настраиваем на поражение. Потерявши достоинство, тут же пытаемся лишить его остальных... Не великий ли это грех?

Мы успели всякого хлебнуть, это ясно. И многому знаем теперь истинную цену. С тем большею заботой мы должны бы что-то такое главное растолковать идущим за нами вслед... А мы их вонючим нашим скепсисом — по ноздрям! И будь здоров. И как хочешь, так и живи...

Вот она чем, космическая наша философия, чревата: мы настолько заняты проблемами всеобщими, что на проявление конкретного добра нас просто не хватает. Подавай-ка нам высшую справедливость, и все дела! А что мы кому-то ненароком сделали больно или кого-то обидели?..

У меня тут в последнее время и дома становилось все хуже, и все дальше отходил от здешних своих товарищей. В этом положении особенно нуждаешься в участии, невольно ищешь его у знакомых, и я внимательней обычного присматривался теперь к людям и где-нибудь в троллейбусе, и просто на улице... Дубина стоеросовая! Я впервые стал понимать, что, едва взглянув друг на друга, мы уже как бы вступаем в

отношения, что первый наш взгляд — это целая программа, и от того, как ты посмотрел, зависит и спокойствие тех, кто рядом с тобой, и настроение, и еще многое из того, что молниеносно заряжает атмосферу даже самого короткого человеческого общения... Я понял, что неприязнь может вспыхнуть так же внезапно, как приступ дружелюбия, что в наших силах что-то в самом начале погасить, а чему-то дать разгореться, и от того, чему в себе дадим мы взять верх, в прямой зависимости находится, чего в нашем колеблющемся мире прибавится: ненависти или любви? Я понял, что каждый миг — хотим того или нет — мы что-то отдаем другим и что-то забираем у них сами, и собственная наша ценность, в общем-то, заключается в способности безвозвратно поглощать холод и отдавать взамен только тепло.

Если мы договоримся исходить из этих моих заключений, попробуй себе представить, сколько настороженных, а то и откровенно враждебных взглядов ни за что достается этим длинноволосым мальчишкам! Подумай-подумай, что тут на что влияет... Совсем не хочу сказать, что мы, подсознательно чувствуя свою вину за недостаток внимания к ним, за неспособность подать достойный пример, с первоначальным подозрением шуримся: а что из них, действительно, выйдет? Я тебе о другом. О добром, возвышающем душу человеческом взгляде.

Может быть, оттого, что у самого нет детей, у меня всегда было время подумать над тем, как их надо воспитывать, ведь, когда они есть, времени на это, говорят, не остается. Откуда, часто раздумывал я, наши беды? Может, вся штука вот в чем: слишком уж велика разница между тем, что слышат наши мальчишки в школе, и тем, что потом за пределами школьного двора тут же преподносит им улица — в самом широком смысле...

И в жизни каждого маленького человека наступает момент, когда надо посадить его рядом и что-то умное и дружеское сказать ему о том, что все вокруг не так просто. Что так было во все времена — иначе в жизни и не бывает. О том, что отсюда вовсе не следует, что все мы должны махнуть друг на друга рукой и жить, кому как захочется, как раз наоборот: каждый должен осознать, что от его личного достоинства зависит общая наша человеческая ценность.

Но тут я о другом.

Вот посадил ты рядом сына, положил ему руку на плечо... Где та мера, в пределах которой сказанное тобою будет и разумно и справедливо? Как тебе ее соблюсти? Ведь можно все перепутать, и те невзгоды, которые выпали тебе на долю из-за собственного твоего разгильдяйства, представить следствием пороков общественных. Я тут говорю об объективности по отношению к самому себе... Вот послушай!

Дело тебе хорошо знакомое — курсы повышения квалификации или что-либо такое еще, после чего ты должен побыстрее шевелить мозгами... А что, если бы существовала и другая какая-нибудь форма работы со специалистами нашего возраста, главной целью которой была бы забота о душе?

Часто ли мы вспоминаем о том, какими были мы в юности, какие обеты тогда давали и самому себе, и другим? Только тогда, когда собираемся на двадцатипятилетие выпуска в школе? На двадцатилетие со дня окончания института?.. Приходим на встречу бодрячками и пускаем друг другу пыль в глаза. Выпили коньячку, повздыхали и мирненько так разошлись.

Понимаю, что это невозможно... Но что, если, предположим, на месяц — на полтора собрать бы весь курс и поселить в общежитии в тех же комнатах и в том же составе, как это было двадцать лет назад? И койки, которые уже некому занять, пусть бы оставались пустыми... Опять бы мы стали горячиться и спорить до рассвета? Опять бы стали строить планы истребления всеобщего зла и назначать конкретные сроки, когда окончательно и бесповоротно восторжествует святая истина? Ведь как мы думали раньше: все плохое, что есть на земле, исчезнет почти автоматически — стоит лишь нам дожить, стоит лишь дорасти... Но вот мы уже в том самом возрасте, когда очень многое зависит только от нас. А все как шло, так и дальше идет себе своим чередом... Что же произошло? Или мы были тогда неопытны и слишком самонадеянны? Или стали теперь ленивы и очень многое из того, что обещали когда-то и себе, и друзьям своим, просто-напросто позабыли?

Вспомним ли теперь, когда опять соберемся вместе? Встрепенется душа? Забьется ли сердце? Или, обрадовавшись неожиданному отдыху, ночью мы станем отсыпаться, днем, убегая с лекций, простаивать в очередях за английскими лезвиями или французской пудрой, а все это наше лирическое мероприятие по очищению духа превратится в грандиозный симпозиум на тему, где что можно достать?

А ведь когда-то нас тоже могло бы ранить, если не размяли тушенку!

Два или три года назад, когда я еще не совсем потерял веру в то, что моя подруга жизни не разучилась понимать меня окончательно, я подсунил ей «Былое и думы». Прочти-ка, мол. Через несколько дней она говорит: да, спасибо тебе, действительно любопытно. Так быстро прочитала? А я, отвечает, в основном про «былое», а «думы» я пропускала...

Это я вовсе не для того, чтобы лишний раз осудить ее — бог с ней! Затем, чтобы яснее стала общая наша позиция — разве бывшая моя благоверная в этом своем нежелании возиться с думами одинока? Другое дело — тряпки, мебель, машины, дачи... Я ведь тоже стал потихоньку закисать — я это временами тоскливо чувствовал. А тут нахлынуло! В этом совсем не очень веселом показании для тебя одного я хоть и пытаюсь объяснить все как можно подробней, но разве восстановишь картину водоворота, в котором я в ночь после суда над мальчишками буквально захлебывался? Куда только меня не швыряло! И первая наша стройка, да и вообще Сталегорск — они были как островок, на котором можно найти спасение... Это там, на привокзальной скамейке, я впервые вдруг отчетливо понял: не стройка нас предала лет восемь или десять назад, скорее мы предали стройку... Это — азбука, все, конечно, понятно: домен мы тогда понастроили, а с культбытом безбожно

загянули — вот и поехали многие наши ребята искать, где руководство поумней да где снабжение лучше. Оно понятно: сколько лет таскали глину на кирзачах, разве не хотелось наконец, чтобы маленькая дочка с новеньким футляром для скрипки в руке пошла в музыкальную школу по асфальту!

Сколько жили мы тогда на одном энтузиазме? До первого чугуна, считай. Лет шесть. Но в жизни стройки, конечно, наступает пора, когда с уютом больше нельзя тянуть — потом уже будет поздно. И никуда тут не денешься, это так. И все же: не слишком ли нас обидел приезд вербованных и всех тех, кого прислали на работу вслед за ними? Подумать здраво: не сворачивать же производство! А что оставалось, если добровольцы в то время уезжали со стройки пачками?..

Ты не подумай, нет, я вовсе не осуждаю тех, кто уехал. Причина тут — какой-то общий наш недосмотр: страна в то время стала уже богаче, и где-то уже до архитектурных излишеств дошло, где-то уже хватили через край, а мы все копались то в котловане под конверторный, а то под прокатный, мы все держали сибирскую марку... Не потому ли многие из нас и очутились потом: кто поближе к Москве, а кто и вовсе на юге, как твой покорный слуга...

Но я сейчас не об уехавших — о тех, кто на стройке остался. Сколько наших «старичков» потихоньку тянут лямку еще с палаток! И давай не будем больше ни о чем: они остались, а мы уехали.

...У меня с собой были деньги, и билет до Сталегорска я купил ранним утром, как только открылись кассы.

Заглянул потом в парикмахерскую и пешком пошел в институт.

Наши почти все уже собрались. Хлудяков рассказывал новый анекдот, и меня вдруг поразило, что голос у него ровный и, как всегда, чуть насмешливый...

Я его тронул за плечо, и он обернулся. А знаешь, говорю ему, что мальчишки, которым дали вчера по два года, это те самые, которых мы тогда разыграли?

Думаешь, у него хоть что-нибудь в лице изменилось? Ни единый мускул не дрогнул. Да, говорит? Ты мне открываешь глаза...

Рядом стоял Фильчук. Вздыхнул, глядя на меня, и развел руками: Гречишкин Ваня, говорит, в любимой роли правдоискателя!

И я вдруг понял, что оба они давно все знали и что на суде Фильчук недаром сидел со мною рядом

Но теперь они продолжали как ни в чем не бывало. Хлудяков руку протянул и лоб у меня потрогал: «У мальчишка жар!..»

И тут я его ударил.

До сих пор вижу иногда, как один за другим валятся чертежные столы, как выскакивают из-за них наши девицы...

Потом я написал заявление, отнес секретарше, а сам пошел в милицию. И три дня, которые у меня оставались до отъезда, мы еще распутывали эту историю и ставили все на свои места.

А потом я сел в поезд, и четверо суток проводницы не могли отодрать меня от окна.

Жилье получил на проспекте Первых Добровольцев. Можно было в районе получше, да потянуло, видно, на старые тропы...

Здесь, скажу я тебе, все как было. Вечером после смены по-прежнему не хватает воды. И колотун в квартирах, если подует с севера, точно такой же. Сижу на днях у Иннокентьева Вити — поклон тебе от него! — вдруг он говорит: надевай-ка, мол, свои валенки. И шубу мне подает. Чего это ты меня, спрашиваю, выпроваживешь? Почему, говорит выпроваживаю? Просто пойдем в ту комнату, где телевизор, хоккей посмотрим...

Может быть, помнишь, работал у нас на участке сварщиком парнишка по фамилии Перваков? С ним еще история была — на отметке то ли десять, то ли пятнадцать резал по окружности стальной лист, а сам сидел в середине круга, и так увлекся, что загудел потом вниз и повис на воздушке, его электрики снимать помогали, давали нам вышку — помнишь? Вот он теперь главный инженер управления. Сидели с ним вчера, кумекали, как провести хитрый один подъем. До этого трест уже договорился с вертолетчиками — они тут раза два или три крепко выручили монтажников. Ты действительно представь: действующая, со всеми своими потрохами домна, та самая, наша первая, а совсем рядом с ней, в тесноте невообразимой, — новая печка, по мощности чуть не в три раза больше. Старую потом погасят, и мы ее быстренько разберем, а вместо нее надвинем на пенек эту новую. Идея не наша, на других заводах это уже играли, но надвигка такой большой печки и в такой срок — это и в самом деле впервые, тут поломать голову придется. Вот и пришла мне одна занятная мысль, как на этот раз обойтись без авиации. Посидели с Перваковым, просчитали еще раз, он и сам подписал, и уговорил трестовских специалистов — завтра утром начнем подъем. Нарочно выбрали воскресенье: если уж загремит, так чтобы внизу — никого...

Надеюсь, правда обойдется без этого. Только вот уснуть что-то не могу. Слонялся сперва из угла в угол по холостяцкой своей квартире, а потом сел за это письмо. И не думай, что главная моя цель — это между прочим сообщить тебе, что мне нужен толковый прораб... Дело не в этом. Честно говоря, я и сам боюсь, что попытка повторить молодость — штука довольно рискованная. По крайней мере, до этого я всегда мог сказать себе в грустную минуту: а что? Плюну на все, да и уеду в Сибирь! Это оставалось всегда как запасной вариант. Грело спину. Так же, как у тебя сейчас, а?..

И тем не менее толковый прораб и действительно очень нужен. Разумеется, с перспективой.

Черкни по этому поводу.

МАЛАЯ ПТАХА

Вспоминаю всякую охоту в тайге, но ни одна не вызывает такой щемящей грусти и такого раскаянья, как эта — на рябчика в «спанках»... Время для нее — это полчаса или, самое большее, час: от ранних до поздних зимних сумерек. В эту пору ты обычно уже здорово устал, уже возвращаешься к ночевью, и где-то-на краю опушки среди заснеженных калинников останавливаешься вдруг, снимаешь с плеча тяжелое ружье, и сердце твое замирает от предчувствия какого-то особенного состоянья...

Идешь совсем медленно, под лыжами еле слышно шуршит, поскрипывает, и на потускневшем от предвечернего света снегу замечаешь впереди три или пять недалеко одна от одной разбросанных ямок. Ямки небольшие, величиной с кулак, и по обе стороны от каждой — еле заметные вмятины с рубцами от крыльев. Это вход в «спаночку», а выхода впереди не видно — птицы только что упали в снег, только что замерли в глухой тишине под ним... И знаешь все это наверняка, и ждешь, когда они поднимутся, но выпорхнут рябки все равно неожиданно, и каждый раз ощущение такое, словно взлетели не из-под ног у тебя, а вырвались из-за пазухи — так отзывается душа на тугое и частое хлопанье крыльев...

Они ведь уже дремали себе, пригревшись, и, полусонные, летят теперь ошалело, садятся где придется и, трепеща крыльями, соскальзывают с веток. В это самое время, когда они, судорожно стараясь удержаться, зависают на одном месте, и гремят выстрелы, а кругом уже помутнело, посинело так, что хорошо видеть летящее из стволов пламя, и рябчик, когда подберешь его, кажется тебе, несмотря на покрепчавший мороз, особенно теплым...

Из леса выходишь, когда уже стемнело совсем, за пустыми лугами, за негустым тальником вдалеке умиротворенно мерцает тихий огонек, и ты теперь точно знаешь, что все, уже не заплутаешь, и отступившая было усталость опять наваливается, из-за нее да из-за только что пережитого тобою азарта все в тебе подрагивает, в ушах громко шуршит, ощущаешь в себе хорошо слышные толчки крови, тугой и гулкой ее ток, и в эту минуту особенно сокровенно думается о вечернем умиротворении человеческого жилища — будь то простая изба, к которой ты держишь путь, или каменный, залитый электричеством город, — и думается еще о многом, связанном с мягкими от ковров гостиницами, с шумными, разогретыми питьем ресторанами, с горячими, неукротимо бегущими посреди завьюженной степи поездами, с одинокими на страшной высоте и потому особенно гордыми белыми лайнерами, с просторными аэропортами, с набитыми теплым человеческим запахом вокзалами...

Странная эта минута после убийства тихой, уже уснувшей было в ненадежном своем жилище маленькой птицы — странная!.. Отчего живет в тебе в эту минуту удовлетворенный покой? Неужели от подсознательной радости, что существование твое более прочно, чем существование уже коченеющей в твоём рюкзаке растрепанной гулким выстрелом лесной птахи?..

ЖАДЮГА

Кто его знает, как он догадывался, что мы уже собрались, — может быть, через какую-нибудь щелочку за нами подглядывал? Потому что стоило нам сесть за стол и притихнуть за едой, как он тут же появлялся на горке дров, которые сушились за печкой, устраивался на верхнем полене и замирал, с вороватым любопытством глядя на нас маленькими черными глазками.

Ждали мы его все, но первым по неписаному правилу заговаривал со зверьком наш взрывной мастер Федор Степаныч.

— Ну, здравствуй, здравствуй, Егор Кузьмич! — говорил он неторопливо и ласково и слегка кланялся.

Остальные подхватывали:

— Явился не запылится.

— И сразу меню разглядывать...

— Ага, что Марь Даниловна нынче сообразила...

И тут же начинали разыгрывать мастера:

— Ты спроси, спроси у него, Степаныч, с медведем-то он больше не встречался? Что-то сегодня рев слышался в распадке — никак, он снова трепал его, мишку-то?

Мастер, как будто не чуявший насмешки, отвечал неторопливо:

— Наш Егор Кузьмич не драчун какой, не забияка... Чего б это он стал — на большего?

— Да ты ведь прошлый раз сам говорил!

Федор Степаныч начинал терпеливо объяснять:

— Легенда такая есть. Сказка. Будто мишка рассердился на него за что-то, да — хватить!.. А он зверек юркий да ловкий, выскользнул у него из лапы — только полосы от когтей на спине и остались. Пять полос — сколько у медведя когтей.

— А прошлый раз ты говорил, вроде он сам напал на медведя!

И хоть шутка эта повторялась уже несколько дней кряду, все мы невольно улыбались, поглядывая на крошечного бурундучка, который, не шевелясь, сидел на поленице и все смотрел на нас черными, как спелая смородина, глазками.

А шутники наши, народ все молодой да здоровый, не унимались:

— Ты, кажись, шкуру медвежью хотел заиметь, — говорили один другому, давясь от смеха. — Попроси Егора Кузьмича — мигом добудет.

— А может, у него и в запасе есть...

— Тогда самую лучшую выберешь, где шерсть погуще да подлинней.

— А что, братцы: пришла зима, метель завывала, а бурундучишка лежит себе в тепле на медвежьей шкуре да нашим сахарочком похрустывает!

И опять: га-га-га!.. ха-ха-ха!

Конечно, тут надо прямо сказать, что шутки эти были не самые остроумные, но на душе от них все равно становилось немного легче. Дело в том, что полевой сезон уже закончился, но наш отряд решили задержать еще на полмесяца. Мы должны были заготовить дрова для тех, кто впервые оставался зимовать в крошечном поселке Серебряный Ручей — он вырос этим летом рядом с нашей базой.

Туда сейчас каждый день прилетает большой вертолет, привозит оборудование да продукты, а обратно на нем летят уже получившие расчет бородатые счастливчики. Провожают их всем поселком. У вертолета фотографируются, дают друг другу адреса. Кто помоложе, обмениваются ножами, да поясами, да шляпами. Старички над ними посмеиваются, дают советы... Весело!

А ты знай вали себе целый день пихту да березу, распиливай на поленья, раскальвай, в штабеля складывай...

Оттого, наверное, ребята наши ходили хмурые, на работе почти не разговаривали и только в брезентовой столовой, когда появлялся маленький зверек, все вдруг оживлялись, начинали шутить да посмеиваться.

— Вы пореже, ребята, ложками, пореже!.. А то Егор Кузьмич, бедный, переживает небось, что ему не останется!

— Нужен ему твой суп — это он насчет сахарку тут старается.

Повариха наша Марья Даниловна, обходившая стол с большим черпаком, каждый раз говорила:

— А уж такой вежливый!.. Сам к столу никогда не подойдет. Вот когда скажу ему: ну, давай, теперь твой черед, Кузьмич. Бери что тебе надо. Отойду, сяду в уголке. Тут он и начнет объедки таскать...

— Хорошо пристроился, чего там! — откликались ребята.

— Конечно, думает, повезло. И полевые идут, и северные...

Перед тем как встать из-за стола, мастер Федор Степаныч снова легонько кланялся бурундуку:

— Спасибо за компанию, Егор Кузьмич. Сделай милость, приходи еще — будем рады.

Мастера снова начинали подначивать:

— Это он тебе должен спасибо говорить, а не ты ему!

Федор Степаныч отвечал неторопливо:

— Может, и он говорит, да мы не понимаем — как знать? А я ему говорю за то, что не боится нас, значит, уважает, доверие оказывает, вот что!

Мы выходили из палатки и почти все пристраивались теперь по обе стороны от двери, прячась за спиной друг у друга.

Марья Даниловна говорила приветливо:

— Ну, Кузьмич, теперь твой черед...

Бурундучок еще с полминуты сидел неподвижно, словно выжидал из приличия, а потом быстро сбегал по штабелю дров, ловко поднимался по врытой в землю ножке скамейки, прыгал на стол.

Может быть, он заранее намечал, что сначала возьмет, а что после? Потому что и суетиться он нисколько не суетился, и долго не выбирал. На один миг приседал на задние лапки около огрызка сахара или корочки хлеба. Передними быстро брал еду со стола, подносил ко рту. Крошки да мелкие осколки исчезали у него за щекой, кусочки побольше оставались в зубах.

Бурундучок становился на все четыре лапки, юрко бежал по столу, ловко поворачиваясь среди неубранной посуды, потом прыгал на скамейку, с нее — на земляной пол. Мигом взлетал он на поленицу, где только что сидел перед этим, и тут же пропадал внизу за дровами.

Не было его одну-две минуты, а потом он появлялся снова. Сидел на задних лапках, держа передние на весу, с любопытством смотрел на повариху, потом все повторялось сначала.

Ребята у входа добродушно посмеивались:

— Вот трудяга!

— А сладкая у него работенка, а?.. Сахар таскать.

Рабочий Семенов, длинный, сутуловатый парень с большими оттопыренными ушами, громко удивлялся:

— Ну, куда ему столько? От жадюга!.. Нет, ты смотри, смотри, к какой краюхе примеривается!

Семенова почему-то в отряде недолюбливали и теперь, когда начинали разыгрывать, называли только по фамилии:

— А если у него семья большая, Семенов!

— Или друзей много.

— А может, это приходит каждый раз другой зверь? Одни хорошенько запасется, другому скажет. Тот

разживется, потом — третьему.

Семенов убежденно говорил:

— Не-е!.. Я его насквозь вижу — один и тот. Видишь, хвостик у него на конце — как надорван чуток. Ну, куда ему, побирушке, столько? От жадюга!

Если Федор Степаныч был в это время где-либо неподалеку, он обязательно выговаривал Семенову:

— «Побиру-уша»!.. Зачем так? Просто трудолюбивый зверек, не то что... Для него это такая же работа, как орешки в лесу собирать.

Семенов кривился, говорил почему-то зло:

— Рассказывай!

Вообще-то он какой-то странный был, этот Семенов. После обеда все уходят на делянку, а его от палатки не оторвешь.

— Сейчас, — говорит, — сейчас, ну, подожди! Неужели он и еще вернется? Идет, гля-янь!

Он оборачивался и с каким-то мучительным недоумением в белых глазах вскрикивал:

— Седьмой раз идет, ты гляди, — ну, куда ему!

Вечером, когда мы уже лежали в спальных мешках, кто-либо обязательно говорил:

— Да, Семенов, а сколько сегодня бурундук всякого добра перенес?

И Семенов живо откликнулся:

— А чего ржать? Одного рафинада пять кусков. Да три сухаря.

— Повариха еще рису на стол ему сыпала, а ты и не заметил...

Спальный мешок Семенова шуршал в темноте, голос менялся — он всякий раз вскидывался:

— Я — не заметил?!

Однажды перед обедом я подходил к столовой и еще издали услышал говор и смех. Ребята в палатке сгрудились вокруг стола, что-то разглядывали. Громче других звучал голос Семенова, и в нем слышалось сейчас то ли торжество, то ли превосходство:

— Всю неделю приглядывался, а он — как сквозь землю! А потом гляжу — юрк! Небольшой пенек рядом с палаткой в траве, под ним он и приспособился...

Федор Степанович сказал сердито:

— Увидел, и ладно. Забирать зачем? Подчистую выгреб!

Семенов дурашливо подмигнул:

— Интересно же!

Я приподнялся на цыпочках, заглянул в середину. На столе была насыпана горка из сахара и сухарей вперемешку с вермишелью, да пшеном, да сушеными вишнями.

Рядом продолжали удивляться:

— Надо — целый склад!

— И чего только нету...

— Тут даже конфета в бумажке есть, — сказал Семенов, как будто хвастая. — Где, интересно, взял?

— Ну, теперь-то ты, Семенов, все до точности подсчитаешь, чего тут сколько...

Марья Даниловна, которая, пригорюнившись, стояла около стола, покачала головой, сказала жалостно:

— Как же он теперь, Кузьмич-то!.. Ах ты, разоритель, Семенов, ах, разоритель!

А ребята все шутили:

— Придется ему снова на подножный корм переходить!

— Оно конечно, после сахара не так легко!

Семенов, чувствующий, видно, себя героем, с лихостью произнес:

— Перебьется!

В палатку вошел наш радист, сказал, что на базу требуют отчет по взрывным работам, и Федор Степанович распорядился:

— Пойдешь ты, Семенов, промнешься. А по дороге чуток подумаешь...

Семенов ушел.

Сахар, да сухари, да все остальное Марья Даниловна сыпала со стола на картонку и положила ее на поленище за печкой: пусть бурундучишка заберет все обратно.

За ужином все с надеждой поглядывали на горку дров, но зверек на своем обычном месте не появлялся. Федор Степаныч, первым вставший из-за стола, огорченно покачал головой и только рукой махнул.

Вечером, когда мы уже лежали в своих мешках, он разворчался. Ругал Семенова, который задержался на базе, — конечно, рад, лодырь, случаю побездельничать! Досадовал на себя: как чувствовал ведь, что тот может обидеть бурундучка — почему не предупредил?

Он ворчал долго, всем надоел, и Ваня Бусов, первый наш балагур, сказал ему наконец:

— Ну, хватит тебе, Степаныч! У нас вон тушенки сколько останется, не съедим. Спишем ящик — на всю зиму твоему Кузьмичу хватит...

Остальным лишь бы позубоскалить:

— Ага, только и ножик консервный надо ему оставить!

— Думаешь, так не разгрызет?

— Да зубы он конфетами городскими испортил... Избаловали мы его, точно.

Под эти шутки я и уснул.

А утром разбудил меня Федор Степанович:

— Пойдем, что покажу...

Я наскоро оделся и вслед за мастером вышел. В глаза мне ударил призрачный свет — в лагере лежал снег. Белым были покрыты и наши палатки, и кусты, и ближний перелесок, и покатые холмы, и горы вокруг. На синих зубьях гольцов стыла вдалеке желтая полоска зари.

Я, поеживаясь, сказал:

— С зимою тебя, Степаныч!

Он как-то странно развел руками — как будто в чем был виноват:

— Да вот, видишь!..

Я подошел за ним к невысокому кусту, который рос напротив нашей столовой. Около куста стояла повариха и плакала.

Федор Степанович снова развел руками и горько сказал:

— Эх, беда!..

И тут я увидел: на одном из сучков, неестественно вытянувшись, висел неподвижно маленький бурундучок. Крошечная головка была слегка приподнята зажавшей шею тонкой рогулиной, черные бусинки глаз холодно стекленели. Задние ноги бурундука были слегка приподняты и так заоченели, шерстку на спине залепил снег.

Не хотелось верить, что это был тот самый зверек, который еще вчера сидел на дровах за нашей печкою и поглядывал на нас кротко и дружелюбно.

Я спросил:

— А может, это другой?

Федор Степаныч глухо откликнулся:

— Я тоже сначала засомневался: как так?.. А потом гляжу, хвостик у него, и верно, будто чуток надорванный...

Из палатки вышли наши ребята, стояли теперь с нами рядом, молча смотрели на бурундучка.

— Снег-то его, видно, и доконал, — сокрушенно сказал Федор Степанович. — Зима — вот она, а весь его запас — подчистую. Кроха, а разве не понимает?

Ваня Бусов негромко спросил:

— Думаешь... сам?

— А что ему оставалось?

Федор Степаныч протянул было к бурундучку руку, но Бусов остановил его:

— А ну, погоди, не снимай! Погоди, бухгалтер этот вернется, Семенов. У меня к нему разговор будет.

За завтраком все молчали, никто друг на друга не смотрел.

Я вздрогнул, когда здоровяк Бусов ударил кулаком по столу, сказал зло:

— Ну, ладно!

Отшвырнул чашку и шагнул к выходу.

Семенов вернулся с базы только к полудню. Все еще были на делянке, в лагере оставались только мы со Степанычем да повариха.

Мастер молча поманил Семенова, и тот пошел за ним к кусту, на котором все еще висел бурундучок.

Федор Степаныч ткнул пальцем и только сказал:

— Вот.

Семенов смотрел долго, и на лице его медленно расплывалась кривая улыбка. Хмыкнул, проговорил:

— А я что?

— Ты бы собрал вещички, — негромко сказал Федор Степанович. — А то не ровен час вернутся ребята.

Семенов вдруг побледнел, и оттопыренные его уши стали как будто еще больше.

Я повернул голову туда, куда он смотрел. Там спускались с пригорка наши рабочие.

Федор Степаныч предложил:

— Если хочешь, твои вещички я потом сам... Получишь в городе. Скажи начальнику, что я просил отправить тебя без очереди... Понял?

Семенов молча повернулся и по невидимой под снегом тропе, на которой был один — только его — след, быстро сошел обратно.

Мы с мастером поглядели на пригорок, откуда спускались наши ребята.

Потом мы разом обернулись вслед Семенову. Он уходил вверх по тропе, коротко оглядывался, иногда оскользался, и теперь на ослепительно белом снегу рваной цепочкой тянулись за ним серые следы...

МАНОК НА ШЕЛКОВОЙ НИТКЕ

Из дому вышли мы вместе с Максимом Савельичем, однако в тайге разошлись: манить рябчика старик любил в одиночку. Дома он хоть вечер напролет с тобой просидит: и манок твой отладит, и сам в него посвистит, и тебя заставит — насвистишься. Тебе уже надоест, а он все будет ворчать:

— Нет-ка, парень, попробуй еще разок. А то сперва ровно курочка пискнул, а потом — петушком...

Зато в тайге ты ему не мешай!

Вот я и не стал этого делать: перед заросшим густым пихтачом взлобком, когда старик собирался повернуть налево, я остановился, сам предложил:

— Так что, Савельич, разойдемся? До обеда походим, а сбор — тут.

Он прищурился:

— Критики никак боишься?.. А ты знай, что рябки все равно мне расскажут, какой ты свистун... Не те, что от тебя улетят, а те, что в мешке принесешь, понял?

Я только руками развел: верно, мол! А старик согласился:

— Ну, давай, до обеда.

Я поправил на плече ружье и зашагал вбок, обходя крутую горушку справа.

В тот день мне везло, рябчика попадалось много, и хоть в рюкзаке у меня лежали всего два, никакой досады я не чувствовал. Я и манил, и сам подкрадывался, и столько раз вздрагивал, когда птица, залотошив крыльями, выпархивала у меня из-под ног, и переживал, когда целый выводок ушел на другую сторону глубокого распадка, — в общем, душу отвел, или, как сказал бы Максим Савельич, натешился.

А в полдень я снова подходил к тому месту, где мы расстались. По неширокой седловине вышел на вершину крутой горушки, которую в начале охоты обошел стороной, и остановился на краю крошечной полянки.

Интересная это была полянка: посреднике здесь росла уже поникшая от первых заморозков трава, а по бокам стояли кусты калины, сплошь усыпанные красными гроздьями ягод. Их окружала высокая стенка пихтача.

Я подумал, что зимой здесь будет много рябка — уж очень удобное для него это место. Поклевал мерзлой калины — и лети в пихтач, отсиживайся там в глухую непогоду, подремывай среди густых веток. А пришли сумерки, спально долго искать не надо: слетел на полянку, пробил грудкой снег, немножко прошел под ним — и спи. Высокий пихтач и здесь надежно укроет от злой метели.

Взял я манок, который на короткой шелковой нитке болтался у меня на груди, зажал в зубах. Хотел было стать за ближнюю пихту, а потом раздумал прятаться. Посижу-ка я лучше среди полянки, погреюсь под последним октябрьским солнышком.

Нашел я небольшой пенек и сел, привалившись к нему спиной, разбросал ноги в тяжелых сапогах, снял кепку. Внизу трава была волглая, от нее тонко пахло прелью, но чуть повыше ощущалось полдненное тепло ясного осеннего дня. На чисто-голубом небе не было ни облачка. Стояла такая тишина, словно все вокруг чутко ждало: не послышится ли вдали тугой шорох гусиных крыльев?.. Не упадет ли с вышины на притихшую тайгу тонкий клик улетающих журавлей?

Долго я сидел неподвижно, глядя на светло-зеленые верхушки пихт, четко врезанные в край высокого осеннего неба.

Манок все еще был у меня в зубах. Я поправил его и тихонько вывел несколько колен: пи-и, пи-и... фи-фи-фи-фью!

Никто не отозвался. Я подождал и засвистел еще раз.

И вдруг неподалеку от меня негромко треснул сучок, послышались легкие шаги. Я напряг было шею, вглядываясь, но тут же улыбнулся: Максим Савельич!

Охотится он или нет, старик всегда ходил по тайге так тихо, что услышать его можно было только совсем рядом. Но почему он остановился?

И тут я понял: да он ведь услышал свист рябчика и решил тихонько подкрасться к нему поближе!

Я даже рот ладонью прикрыл: будет смеху, когда старик увидит меня с манком в зубах.

А шаги стихли: видно, Максим Савельич выжидал прислушиваясь.

Тут уж я всю душу вложил в тоненький свист: пи-и... пи-и-и!..

А в двух десятках шагов от меня всю старался Максим Савельич: он подвинулся вперед так тихо, что я не услышал шороха, а скорее всего каким-то чутьем о нем догадался.

И опять: я свистнул — старик тихонько продвинулся.

Меня разбирал смех, но я изо всех сил сдерживался: потом посмеюсь вдосталь! «Ну, что, — скажу, — Максим Савельич?.. Что-то критики вашей я не слышу! Или не так уж плохо я свистел, если даже такой профессор, как вы, обмишулился?! И кого же вы думали, Максим Савельич, увидеть: курочку или петушка?»

А старик будет покачивать головой, будет улыбаться в бороду, побряхтывать: смотри ты, мол, — незадача!

И я снова все свое искусство вложил в призывный свист: пи-и... пи-и-и!..

Едва уловимый шорох послышался теперь совсем близко. Сейчас из-за сломанной ели покажется козырек серой кепки, а под ним — внимательные, хитровато прищуренные глаза старика.

Я голову слегка приподнял, готовый насмешливо улыбнуться Максиму Савельичу...

А над сломанной елью неслышно вырос матерый медведь.

Держа на весу передние лапы, он вытянулся почти по пояс, да так и замер, с любопытством глядя на меня маленькими карими глазами.

Я перестал дышать.

Сколько раз пытался я нарисовать в своем воображении подобную встречу! Сколько я к ней готовился!

И все у меня на этот случай было до мелочей отработано: мигом переламаваю ружье, одним движением выбрасывая на землю патроны, заряженные дробью... Приподнимаю двустволку немного вверх, а правая рука

моя из специальных кармашков, пришитых на манер газырей изнутри куртки, уже вытаскивает два усиленных заряда, поверх которых плотно лежат залитые воском круглые пули. Еще секунда, и я целюсь в мохнатую грудь зверя, нажимаю на спусковой крючок...

По правде говоря, я не раз все это проделывал раньше, готовясь к встрече с медведем, и проделывал, надо сказать, быстро и ловко.

А сейчас ружье лежало у меня на коленях, но я даже не пробовал протянуть к нему руку. Все было так, как будто мне кто-то сказал «замри», и я выполнил это самым добросовестным образом. Страх я не испытывал, а в голове у меня, повторяясь, вертелась одна и та же нелепая мысль: да ведь это не Максим Савельич!.. Да ведь не Максим Савельич, нет!..

А медведь так же неслышно повалился на бок и как будто взбрыкнул — над сломанной елью мелькнула бурая его спина.

Затрещали сучки, громко зашебаршила сухая листва.

Только теперь ко мне пришел страх. Сердце застучало вдруг так сильно, как будто ему наконец удалось вырваться из чьих-то рук, которые крепко сжимали его перед этим. Мне не хватало воздуха, я задыхался. Между лопатками что-то зашепотало, и я почувствовал, что рубашка у меня на спине совершенно мокрая...

Негнуцими пальцами я перезарядил ружье и в полном изнеможении снова привалился к пеньку...

А вечером, когда мы сидели за столом и жена Максима Савельича потчевала нас старой медовушкой, все мои страхи уже казались мне очень далекими и я охотно повторял свой рассказ и сам над собой посмеивался. Лесник хитровато шурился и все покачивал головой:

— Думал, Максим Савельич попался тебе на манок, а оно, вишь, — Михаил Потапыч!

Я шутил:

— А что, может быть, он и не ожидал рябка увидеть? Пойду-ка, думает, гляну, что там за специалист сидит: один раз курочкой пискнет, а другой — петушком?

Максим Савельич снова покачал головой:

— Да нет, чуял человека — не подошел бы. Видно, в самом деле хотел напоследок рябком полакомиться, чтоб было что зимой вспоминать. — Лесник огладил бороду и улыбнулся. — Ты говоришь, думал: если поверил Максим Савельич — значит, сдал экзамен на «хорошо»... Теперь-то можешь считать, что сдал на «отлично»: экзаменатор-то попался тебе строже некуда — сам хозяин!

А мне стало и немножко грустно, и стало неловко.

Выходит, если бы на манок доверчиво прилетел маленький рябчик, я бы выстрелил не задумываясь? А показался зверь, который смог бы постоять за себя, — и я мигом забыл, зачем у меня ружье...

Не знаю, так ли это, да только мне кажется, что с тех пор стал я по рябку все чаще и чаще промахиваться. И никогда об этом не жалею.

ЗАЗИМОК

Однажды в октябре зашел я в городской парк, сел на скамейку, притих.

День был солнечный, но с легким морозцем, и такая же, как он, легкая среди сквозивших деревьев робко замерла тишина.

Пахло холодноватой прелью и еще чем-то неуловимо осенним — то ли сыростью, то ли последними, уже тронутыми инеем грибами.

Я-всласть-дышал этим запахом, опять звавшим куда-то за город, куда-то будто бы очень далеко, как вдруг увидел: на прозрачный ледок, затянувший лужицу на асфальте, с лета сел взъерошенный воробей... И тут же ледок хрустнул — я уловил этот еле слышный тоненький хруст. Крошечный воробей заплясал и заоскользался на белых прожилках, которые медленно прогибались у него под лапками, потом судорожно взмахнул крыльями и стремительно рванулся вбок, а туда, где он только что сидел, стала натекать темная вода.

И мне вдруг стало и отчего-то смешно, и чуточку грустно.

Подумалось о том, какая в наших сибирских краях снова может случиться зима: через речку будут грохотать по льду тяжелые тракторы. Бульдозеры сутками будут урчать в снегах между таежными деревеньками, и опять по бокам дорог встанут такие хребты, что за ними ничего не увидишь даже из кабины большого грузовика. Снова начнут повторять историю о том, как перед одною машиной долго бежал и бежал огромный лось, все никак не мог перескочить на обочину, и шофер, бедный, не знал, что ему делать — и жаль без устали гнать впереди себя уставшего бедолагу зверя, и некогда ждать, пока он наконец отдохнет, соберется с силами.

Для рысей опять настанет в тайге бескормица — попробуй-ка поохотиться, если под тобою больше пяти метров снега, который еще не успел слежаться. И на брюхе выползут рыси к лыжне, по ночным дорогам пойдут в город, к жилью, будут рыскать на задворках столовых, нюхать теплый и сытый парок возле них. Снова их увидят мальчишки, и кто-то отчаянный опять набросит пальтецо или шубейку на голову этого зверя, с которым в тайге лучше не встречаться, и городская газета напишет об этом под тем же заголовком: «Рысь в центре города».

И будут долгие метели, и сугробы под балконы на втором этаже, и морозы, от которых захватывает дух и

от которых лопается железо.

Будет сибирская зима.

А пока этот кроха-воробей сел на ледок, и тот не выдержал, проломился под ним — чудо!

Пока такая пора — зазимок.

ТИХАЯ МИНУТА

Собраться мы договорились у моста в половине пятого утра.

Это была первая моя охота вместе со старыми школьными товарищами, я все боялся проспать и пришел раньше других. Стоял теперь, облокотившись на бетонные перила, и внизу хлюпала и шелестела сонная река.

Потом совсем неслышно возник из темноты щуплый, в громадной заячьей шапке Паша Капустин.

— Один пока?

— Один.

— А ну-ка, где они там?..

Вслед за ним я тоже слегка отошел от моста. Шум воды истончился и пропал.

Откуда-то издалека донеслось совсем слабое пошаркивание, и Паша уверенно определил:

— Сережка топает.

— Думаешь, Сережа?

— А ты не помнишь? Он же всегда, как будто сапоги у него на пять размеров больше...

Опять мы, прислушиваясь, смолкли, и только тут я почувствовал, какая стоит над станицей тишина.

Чуткий осенний морозец сторожил каждый шорох, и черные деревья в ближних садах затем, казалось, и сбросили листву, чтобы беспрепятственно пропустить как можно дальше всякий едва уловимый звук...

Дождавшись четвертого, Сашу Мирошникова, мы перешли через мост, по крутой тропинке поднялись на обрыв, а там опять нашли сделавшую длинную петлю проселочную дорогу и по ней зашагали все вверх и вверх.

Я нарочно не оглядывался, ждал, пока мы вывершим первую грядку, и только потом обернулся. Укрытая синей дымкой, пряталась в долине наша станица, там и тут теплели редкие пока и тихие огоньки, а дальше опять темнели холмы, и над пологими их горбами в светлющем небе еще мерцали голубоватые звезды.

Дорога лежала сухая и гладкая, ноздри остро щекотал холодный запах прибитой морозцем степи. Дышалось легко, и нам хорошо и весело было идти рядом, поправлять на плече ремни от чехлов с ружьями, и говорить обо всем сразу, и вспоминать остальных друзей и товарищей, которые почти два десятка лет назад кто куда разлетелись по белу свету и были теперь, как я сам, редкие гости в нашей станице...

Наверное, нас уже начало волновать предчувствие близкой охоты, и разговор постепенно перешел на ружья, на собак, на то, что с кем когда и где приключилось. А мне опять припомнилась Сибирь, я вздохнул:

— Э-эх, братцы! Милое дело — идти по такой дороге. А когда снег в тайге по шесть, по семь метров глубиной, да еще не слежался, и лыжи проваливаются?.. Что значит не уметь с детства! Сколько прожил, а так и не научился ходить на лыжах по-человечески. У одного моего друга была кинокамера, брал ее всегда на охоту. Так он так: съедет с горы и тут же достает ее, начинает прицеливаться. Знает, что я сейчас непременно упаду и долго буду барахтаться, а потом стану вынимать из ружья патроны да стволы продувать...

Друзья мои охотно поддакивали: Сибирь, мол, это конечно, да!

А я разошелся:

— Или добычу нести. Ну, предположим, два зайца. Ну, три. Да по такой дороге тащить — одно удовольствие. Покряхтывай себе! А что такое — выносить из тайги убитого лося? Пятнадцать раз с рюкзаком туда и обратно по грудь в снегу... Под конец уже и не рад будешь, и сам себя проклянешь!

И друзья опять понимающе согласились: да, мол, ясное дело — Сибирь!

На верхнюю грядку мы поднялись перед восходом солнца. Небо уже выцвело, погасли на нем последние звезды, зато внизу в голубоватой зыби длинно растянувшаяся вдоль реки наша станица, сплошь усеянная теперь крапинками огней, напоминала далекую туманность.

По неширокой седловине мы вышли на равнину, и тут я опять остановился и замер. Над бархатистой от изморози пахотой, которая в размытой полумгле казалась фиолетовой, поднимался темно-синий Эльбрус, и верхушка его льдисто сияла ослепительным холодом.

Мои товарищи торопливо уходили вперед, а я все стоял и смотрел, как светлеет и светлеет далекая гора, и вслед за отступающей к подножью густою синью по бокам ее спускается молочная белизна такой чистоты, какая, наверное, бывает только ранним утром глубокой осени.

Свет, озарявший снеговую гору, все набирал яркости, и уже казалось, будто такое не может длиться долго, будто что-то сейчас произойдет...

И макушка Эльбруса тоненько вспыхнула и загорелась вдруг алым пламенем.

Я побежал догонять друзей.

— Сколько прожил в нашей Отрадной, — стал говорить, запыхавшись, — а такое первый раз видел...

Они держали ружья наперевес, расходились цепью.

— Ребятишками-то на гору так рано никогда не выходили, — негромко отозвался Паша Капустин.

Сергей был уже далеко, зато Саша Мирошников так же тихонько поддержал:

— Это потому, что теперь — с ружьем...

И Паша совсем уже еле слышно отозвался:

— Пуще неволи, как говорится...

Охота! Для меня это слово вобрало в себя и горячий стук сердца, и запахи, которые помнишь годами, и смертельную усталость, без которой ты не был бы потом счастлив. И больше всего я благодарен своему увлечению не за то, что ел копченую лосину и пельмени из медвежатины, и о том, что у рябчика мясо сладкое, а у глухаря отдает хвоей, знаю не понаслышке.

Охота ранней ранью поднимала меня из теплой постели, она не раз и не два толкала из дому в такую пору, когда хороший хозяин собаки не выгонит, и заставляла злую пургу переждать где-либо под разлапистой пихтой или студеную ночь коротать у скупого костра. Но как бы в награду за все за это однажды вдруг ты замечал над камышками сумерки, колдовская тишина которых долго чудилась тебе где-то уже в другом краю... Встречал на пустынном косогоре звонкую от осеннего золота осинку, которая, как свеча, озаряла потом непогожие твои зимние вечера... Видел низко летящий над волглым жнивьем косой клочок тумана, который вдруг неслышно уносил тебя в запредельные дали, — ты или уже бывал в них когда-то, или очень хотел побывать...

Теперь я все оглядывался на облитую золотом снежную гору, когда полумрак разом приподнялся, вокруг посветлело. Четкая линия на краю озимого поля впереди слегка приподнялась и сломалась, и там стала медленно и неровно прорастать, стала выдавливаясь из земли шляпка нестерпимо жаркого солнца. Длинными, чуть провисшими строчками побежали от нее ровные стежки всходов, и каждая травинка в каждом своем рядке стала неповторимо зелена, и у каждой один и тот же правый бочок тонко засеребрился от легкой изморози...

Я шел крайним, и на другом конце нашей цепочки уже не раз и не два гремели выстрелы, но сегодня я к ним относился без зависти. Бывает, придет к тебе на охоте такое настроение, когда как будто ни с того ни с сего вдруг подумаешь: как это хорошо, жить на белом свете, дышать полной грудью и ощущать холодноватые с морозца запахи земли, и видеть ее краски — до того хорошо, что от этого вдруг защежит душа... И ничего тогда тебе больше не надо — ни подкинутого смертельным выстрелом зайца, который только дернется на земле и через мгновение затихнет навсегда, ни какой-нибудь другой, убитой тобою животины — пусть каждая живет и тоже радуется и тугому току горячей крови в самой себе, и щедрому миру да вольной воле вокруг, пусть живет!..

Скоро мы продрались через голубоватые заросли терновника, свернули вбок, пересекли шуршавшую палым листом лесополосу и очутились на краю другого озимого поля. Со всех четырех сторон оно было ровно окаймлено серыми рядами сквозивших деревьев, а зелень посредине была такую мягкой и сочной, что мне подумалось: а вот как не хватает ей живого ярко-рыжего пятнышка — тогда бы все здесь в единый миг преобразилось!

И в порыве добра и братства ко всякому зверью я сказал про себя и раз и другой: а ну, выходи, лиса, а ну, появишься, красная, — и правда, я не стану в тебя стрелять!

И вдруг она появилась.

Я и тогда не понял, откуда она взялась, и сейчас не знаю — просто увидел вдруг, как она вскидывалась дугой и мелькала посреди поля, как, подпрыгивая, играла длинным своим хвостом...

И остальные ее заметили, это стало видно по тому, как все в цепочке пригнулись, все сделались пониже ростом.

Я тоже опустил плечи и сгорбился, смотрел теперь на лису исподлобья — может быть, даст подойти поближе?

Она медленно побежала нам навстречу.

Стоявший от меня первым Саша Капустин растопыренной пятерней повел книзу, и все мы тут же очутились на земле, все сидели теперь, разбросав ноги в тяжелых сапогах, уже слегка пригнувшись вперед и, хоть была она еще далеко, уже твердо прицелившись.

Такая рыжая на зеленом поле, она приближалась не торопясь, и, по мере того как медленно забирала наискосок, все мы судорожно перебирали ногами, все елозили по начинавшей оттаивать земле, вели корпусом, и только руки наши, сжимавшие ружья, оставались безжалостно неподвижными.

Лиса вышла на меня.

Когда она, шмыгнув по мне черными глазками, уже собиралась юркнуть в лесополосу, до нее было не больше тридцати метров — самая стрельба, и стволы мои плотно лежали у нее под передними ногами, они мерно двигались — лиса как будто подталкивала их огненно-рыжей грудью.

Бывает на охоте такое ощущение, что все сделано тобой по всем правилам жестокой игры, и никуда теперь зверю не уйти — осталось только нажать на спуск...

Я уже медленно надавливал на подагливую металлическую скобку и вдруг, словно опомнившись, слегка приподнял стволы и, так же точно, как целил в лису, ударил в неживой куст репейника на краю поля. Пожухлый репейник резко мотнулся, прыгнула испуганная лиса...

— Ты куда метил?! — орал позади меня Паша Капустин. — Нет, ты скажи — куда?..

Сдернул с головы громадную свою шапку и в сердцах пустил ее под ноги.

Солнце стояло уже в зените, когда, возвращаясь, мы снова пошли через пахоту, и тут-то, на этом бесконечном, как мне тогда показалось, поле, я навсегда оставил свой авторитет удалого сибиряка-охотника...

Днем пахота оттаяла, и густой чернозем сделался точно клей. Только обобьешь ноги, как сапоги опять начинают жадно тяжелеть, и через несколько шагов ты уже снова не идешь, а беспомощно ковыляешь на облепивших подошвы колтунах... Опять останавливайся, отдирай тяжелые ошметки, опять жди, пока икры перестанут мелко подрагивать.

Сперва я снял и положил в свой пустой рюкзак куртку, затем отправил туда же свитер — рубаха на спине и так была хоть выжми. Горьковатый, с полынным привкусом пот высыхал на горячих губах, глаза пощипывало, и я стоял, ставив кепку, и тоскливо смотрел, как мои товарищи, не нарушая цепи, уходят от меня все дальше и дальше...

Когда я выбрался наконец из черного месива, они давно уже лежали на рыжей соломе около большой скирды на краю поля. С каким наслаждением повалился я с ними рядом!

Это потом уже я освободился от рюкзака, потом сбросил сапоги, стащил портянки и тоже подставил сморщенные босые ступни ленивому степному ветерку, который пригрелся на этих спелых ворохах золотой, еще не потерявшей сытого пшеничного духа соломе. А сперва я просто опрокинулся навзничь и обмяк... Лежал молча, только глядел и глядел в синий свет у себя над головой, в далекое его и неслышное сиянье, и хотелось мне одного — чтобы это состояние блаженного равновесия, которое приходит, когда лежишь на земле и смотришь в небо, продлилось как можно дольше.

Потом мы сидели вокруг белой тряпицы, на которой кроме матово отсвечивающей жирком вареной курицы и куска толстого, с розовой прослойкой домашнего сала разложены были сваренные вкрутую яйца, соленые огурцы, горка глянцевого чесночного зубков да разрезанная крест-накрест крупная, с добрый кулак, головка лука, сидели и неторопливо закусывали. Паша Капустин, прижимая к груди большой, с поджаристой корочкой каравай, длинным охотничьим ножом каждому отрезал от него ломоть за ломтем, и мне все казалось, что горбушку, которая останется, он обязательно потом бережно завернет в эту самую тряпицу и аккуратно определит в уголок рюкзака — понесет потом ребятишкам как подарок «от зайчика». Когда мы были мальчишками, ничего не было вкусней этого хлеба, кусочек которого отдавал нам с братом, возвратившись с охоты, отец или мать приносила с поля. А может, это казалось только потому, что в то время, вскорости после войны, не было ничего дороже хлеба — и ржаного, и кукурузного, и хлеба из отрубей пополам с картошкой?

Кто потом попивал из фляжки молоко, а кто покуривал, и все мы, сидя в соломе или лежа на боку, наслаждались светлой осенней теплынью, когда Паша начал улыбаться да молча покачивать головой. Большие хрящеватые уши, вокруг которых вращались в детстве все многочисленные Пашкины прозвища, нынче так и остались торчать, и, глядя на него, сидевшего сейчас с непокрытой головой, можно было в шутку предположить, зачем ему такая просторная шапка. Паша наконец заговорил:

— А ты расскажи, Сережка, расскажи, как Саня тебя к порядку на охоте приучил?

Двое остальных моих друзей тоже стали посмеиваться.

— Да как? — начал Сережка, который лежал, покусывая соломинку, и лениво шурился из-под коротенького, надвинутого на самые глаза козырька.

И Паша нетерпеливо подзадорил:

— Ну, как, как?..

— Я тогда в Сельхозтехнике работал. Бортовой «газик» у меня был, новенький и с брезентом. Вот они каждую субботу: ну, давай завтра на охоту? Поехали? А я человек компанейский... Чего ж не поехать?

Саша Мирошников уже как будто ожидал своей очереди. Тряхнул цыганскими вихрами, и черные глаза его насмешливо сузились.

— Спрашиваю: а сам-то постреляешь? Будешь охотиться? А он: ну, ты заряди мне с десяток... А хватит тебе, говорю, с десяток? Так и быть, заряджу.

— Вот идем, я с краю...

— Сапогами шумурьгает, за версту слышать...

— А они, веришь, ну, прямо из-под ног. Были бы хвосты подлинней — наступал бы!

— Вот наш Сережка прикладывается — б-бах! С одного ствола. Со второго! А заяц как бежал себе, так и бежит...

— Представляешь? Что, думаю, такое? Вроде целюсь хорошо, а мажу и мажу...

— А потом уже остался у него последний патрон, — торжественно сказал Паша. — Вдруг видим, садится наш Сережка прямо в борозде, достает ножик, начинает пыж выковыривать...

— А он мне вместо дроби знаешь что положил?

— Ну, что, что? — радовался Паша.

Саша опять тряхнул черными вихрами и приподнял палец:

— Фасоль!

— Представляешь, какой паразит? Это другу-то!

— Зато теперь Сережка знаешь какие заряды делает?

— Научил-таки его Саня самого об охотничьем припасе заботиться! Не зря старался.

Потом они, все так же перебивая друг друга, стали рассказывать, как Паша завел себе пойнтера, который пугался одного вида ружья и начинал скулить, как только хозяин надевал старую телогрейку. Паша хотел приучить пойнтера, на охоте привязывал поводком к поясу, но после каждого выстрела собака, которая была ростом с хорошего бычка, бросалась в сторону и сбивала Пашу с ног...

Я тоже от души хохотал, но сам-то давно знал, что это они только так, для затравки, что главное для меня

еще впереди. И Саша Мирошников улучил минуту, первый невинно спросил:

— Так что там, я не понял, с лисой?

И пошло!

Чего только они не говорили, каких только догадок насчет моего промаха не строили! Поиздевались вволю, и шутки стали понемногу стихать, как тут Сережка нашел новую тему:

— А как он на пахоте тормознул?

И они опять стали хвататься за животы:

— Ясное дело — сибиряк! Он же привык, чтобы под ним снегу метров двадцать, а тут, понимаешь, голые кочки...

— А что? Подожди вот, зима ударит, снег ляжет, он тогда всем тут нос утрет.

И так им понравилось надо мной издеваться, так понравилось, что и по дороге домой они все еще продолжали изощряться.

— А тебе это... не тяжело? — заботливо спрашивал шаркавший рядом со мной Сережка.

Я охотно подыгрывал:

— Это в каком смысле?

А они спелись!

— Ну, зайцев-то нести?

— Двух сразу?

— Нет, у него — лиса!

— Да разве он устанет? — завистливо вздыхал Паша. — Он же на себе лося из тайги выносил. Один!

— Ага, только рога, грит, мешали — все деревья пообломал.

К опять: га-га-га!..

А я тоже посмеивался и думал: «Ну и что?.. Что рюкзак у меня пустой. Что я ее не стал, лису, убивать... Оно, конечно, есть мудрецы. Такой обещает про себя: выскочит заяц — честное слово, не трону! И тем самым этого зайца он как будто приманивает... А только тот, бедный, покажет уши, как этот мудрец ударит без всякой жалости... И это не кажется ему бессовестным, и сердце у него потом не болит... А ведь кого он прежде всего обманул? Как можно такому верить, если он так запросто готов солгать даже самому себе?..»

За рыжими холмами внизу уже видны были разноцветные крыши между облетевших деревьев, белые и светло-синие дома среди черных пустых садов... В тихом от осеннего солнца небе кувыркалась над станицей большая голубиная стая, и птицы то выравнивались над землей и тогда пропадали разом, а то, заворачивая, ложились на крыло и возникали тогда опять.

Я смотрел на них, пытаюсь уловить мгновенье, когда пропадут и когда появятся снова, и все продолжал размышлять о рыжей лисе и о том, что сегодня не обманул я в себе чего-то такого, что делает нас лучше, чем порою мы себе кажемся.

И думалось мне в те предвечерние минуты легко, и на душе было ласково и мирно...

ВЕТЕР В АВГУСТЕ

Все на свете перемешалось!

И тугое поскрипывание кукурузных листьев, похожее на тихий шелест жести на крыше; и плавный, до сих пор певучий голос девяностолетней нашей соседки — негромко говорит, что по-старому теперь уже отошли вспожинки и наступил спас, «всему час»; и протяжный и тонкий гуд самолета где-то в белесом небе — кажется, это какой-то крошечный самолет, и лишь когда он обронит басовую ноту и густой ее рокот докатится наконец до земли, тебе станет ясно, что за машина упрямо стремится свой путь в высокой бездне...

Ветер такой, что невольно кажется, будто только одной ей одной это сейчас и под силу.

Маленький двукрылый Ан, который привез меня в станицу два дня назад, до сих пор еще так и стоит, прижавшись к земле, на том месте, где был раньше выгон, была толока, все еще отходит от несусветной болтанки, и навстречу ему неудержимо несется вольное море ковылы, плещется у него под брюхом, бьет гребешками под крыльями около хвоста.

В редкие минуты затишья стремительно, будто пущенные из лука, крутою дугой уходят вверх ласточки и там замирают, долго висят на одном месте, стригут крыльями и потом, словно перестав наконец сопротивляться, ложатся на крыло и косо падают вниз.

Шмели и пчелы даже не пытаются подниматься — давно уже отяжелевшие от сладкой своей ноши, они только торопливо перекидываются с цветка на цветок, срываются и путаются в траве, и сидят потом долго, отдыхают, и, может быть, тихо жалеют о том, что не умеют ходить пешком.

Ветер шевелит тебе волосы, трогает усы, потом туго опухнет лицо, плотно заложит уши, ударит в грудь, и ты подумаешь, что точно так небось чувствует себя рыба, которая живет на быстрине... А он подтолкнет тебя еще и еще, заставит к себе прислушаться и сделается вдруг таким упругим, что на него, кажется, можно, если захочешь, опереться и ты тогда так и будешь держаться на весу, слегка откинувшись назад и вольно разбросав руки... И так и этак будет дразнить тебя ветер обещанием неизвестной тебе до сих пор легкости, обещанием поддержки, так что тебе в конце концов, и точно, начнет представляться, будто и ты мог бы сегодня полететь —

стоит только тебе сделать самый первый, самый трудный, конечно, взмах, чтоб оторваться от земли.

Люблю ветер! Может быть, оттого, что напоминает он о далеких местах, где я когда-то бывал — молодой, беззаботный, чуб наотлет... Может, оттого, что я вырос в предгорьях, где почти всегда ветрено.

С детства остались у меня в памяти бабушкины слова, что мы живем «как в трубе». Бабушка имела в виду обыкновенную печную трубу с хорошей тягой, но мне, когда она так говаривала, представлялось же другое, мне виделась при этом просторная и гулкая аэродинамическая труба — такая, как на картинке в учебнике физики.

На самом деле наша «труба» — это довольно широкая долина между двумя отрогами. Один из них — тот, что поднимается сразу за рекой, — повыше и покруче, зато второй лежит цепочкой пологих холмов, у которых такой вид, будто когда-то давным-давно один за другим съехали они с тех самых снежных гор, что возвышаются вдаль, съехали да так и застыли — меньший за большим, а потом еще меньше, и еще, пока совсем не расплылись по равнине.

Весной вся наша долина сочно зеленеет, а ранним летом, когда розовым да сиреневым зацветают травы-медоносы, когда начинают наливаться хлеба и горячим пламенем вспыхивают подсолнухи, она румянится, как жадно подставленный солнцу крутой бок большого яблока, и так же набирает щедрой желтизны и сытой спелости.

Побуревшую от осенних дождей долину разрежут жирные полосы черной пашни, ненадолго потом укроют снега, голубоватые уже в самом начале здешней зимы, и так она будет умирать и вновь возрождаться, как это было из века в век, так и будет менять краски — по-своему хороша во всякую пору...

В далеком краю в мае, когда по холодной сибирской реке несутся еще не истаявшие льдины, сколько являлись мне густо крапленные алым зеленые бугры, на которых растут дикие пионы, их называют у нас лазориками. Или потом, когда наступала осень, разве я не ловил вдруг щемящий журавлиный крик, тонко возникший вдруг за несколько тысяч верст над тихою от неслышного солнца нашей долиной? И все-таки этот августовский ветер всегда казался мне чем-то самым родным... Почему?

Вот он мчится, будто невидимый скорый поезд, и все вокруг трепещет и тянется за ним вслед.

Приподнимается и подрагивает на яблонях каждый листок, у каждого видна только шелковистая, с матовым налетом изнанка, поэтому деревья в саду сейчас серебрятся, и лишь на одно мгновение, когда ветер перестает, все распрямляется, раскрывается словно букет, снова зеленеет...

Но вот он передохнул, вот он как будто набрал воздуха, гулко дунул, и каждая крона опять дрогнула, опять обернулась вдруг косым белым парусом, опять упруго рванулась... Куда, в какую даль?

Говорят, в нашей долине сильный ветер никогда не дует меньше трех дней кряду, а если не улегся на четвертый, то продержится шесть дней, если не успокоится на седьмой — значит, зарядил на все девять.

Сегодня ему по всем статьям первый срок затихать, однако он не только не собирается униматься, но становится сильнее. И это после того, как в апреле он неожиданно принес холода, которые в одну ночь морозом сожгли абрикосовый да вишневый цвет, после того как весь жаркий июнь гнал и гнал из-за снеговых гор тяжелые и черные грозовые тучи, как повалил хлеба в начале июля...

Нынче почти все уже убрано, можно вздохнуть свободно, но вот он подул снова, словно хочет показать, сколько еще осталось у него нерастроченной силы.

Однако окончен извечный спор: он взял себе свое, а люди свое отстояли, никто никому не должен, и потому он, хоть по-прежнему крепок, в тоже время благодушно ленив... И он забавляется теперь игрою солнечных пятен на траве под деревьями и к высокому небу уносит теплые запахи только что родившей земли, а с высот гонит свежий, которым хочется дышать и дышать, тугой воздух — от него вдруг ознобом охватывает загорелые твои плечи...

Хорошо в это время валяться под яблоней на старом, вытертом до широких лысин тулупе, и краем глаза невольно ловить внизу неслышное шевеленье света и тени, и смотреть вверх, где, словно беспощадный лесной пожар, гудит в деревьях горячий ветер, и смотреть в белесое от августовского зноя просторное небо.

В слитном шуме вокруг будут тебе слышаться десятки знакомых звуков, и каждый из них — и тугое поскрипывание деревьев, и шелестение трав, и глухой хряск в падении пробивающего листву литого яблока, и шорох высыхающих на кукурузных стеблях фасолевых стручков, — каждый из этих звуков будет словно спрашивать тебя: а не забыл ли ты нас? А помнишь?

И, как будто бы это очень важно, торопится сердце отстучать: не забыл!

Никто не может вернуться в детство. Не потому ли мы почитаем за счастье даже короткое возвращение в родительский дом?

И под этими деревьями, которые видели нас маленькими, снова приходит к нам ощущение, что все еще впереди. Что все наши поражения перед этим не имеют ровным счетом никакого значения.

И это только кажется тебе, что ты ни о чем здесь не думаешь, — на самом-то деле в душе твоей, отрешенной от мелких забот, от суеты, сокровенно прорастает здесь самое главное...

Вчера я проходил мимо соседского дома, когда высоко над станицей резко ударил тугой хлопок... Пускавший бумажного голубя семилетний Мишка на секунду замер, потом, задрвав голову, раскинул поднятые руки, победно закричал:

— Превратился!

Я остановился поддержать разговор:

— Это кто же там во что превратился?

— Мой голуб, — с южным выговором твердо сказал пацан. — Превратился в большого сáмоля.

— А сáмоль — что это?

В зеленоватых глазах у него появилось и легкое превосходство, и будто сочувствие:

— Ну, перехватчик... Большой самолет.

— Во-он оно!

— Когда сильный ветер, и голуба высоко унесет, он там превращается...

— Ты так думаешь?

— Один я, что ли?

— А кто тебе сказал?

— Дядя Витя.

— Иванцов дядя Витя?

— А то кто?

В каждый мой приезд в последние годы с Витей Иванцовым мы подолгу просиживали в парке на той самой скамейке, где любили сидеть еще мальчишками. А нынче я его еще не видал.

— Ты не знаешь, он дома?

Мальчишка хотел присвистнуть, но вышло, что зашипел.

— Где ж дома? Улетел.

— Это куда?

— Летчиком работать. На Север.

— Он что, поправился?

Мальчишка опять посмотрел на меня так, будто из нас двоих ростом был ниже я, а не он.

— А чего это ему поправляться? У него и так — мускулы!

Ну, конечно, конечно, недаром же Витя Иванцов водил эту босоногую братву и в лес за цветами, и на гору по ягоды.

Я шел к дому, и мне все вспоминался Витин рассказ о последнем его полете, о том, как обернувшись, он увидел пламя на правом крыле; как выждал несколько секунд, прежде чем сказать будничным тоном: «Мотор горит, командир». Тот ответил так же спокойно: «Вижу». — «Как это ты, интересно, видишь мой мотор?» — сказал Витя. И только тут командир слегка удивился: «Ах, и твой горит?»

Потом они бросали машину вверх и вниз, пытались сбить пламя, и на трассе за ними оставались догорать на лету бушующие ошметки огня... И другое, что меня тогда потрясло: черная, как из-под плуга хлынувшая в разбитую кабину земля, засыпавшая летчиков по самые плечи.

Отлежавши в госпитале, Витя Иванцов приехал в станицу, отремонтировал заколоченный материн дом — она умерла, когда получила известие, что сын при смерти, — стал жить один. Он был не первый, с большой пенсией возвратившийся домой неудачник, но в отличие от многих других не простаивал днями около ларька с пивом. В огороде он построил себе баньку с каменной, летом и зимой ходил купаться на речку, и мальчишки с нашего края вытоптали ему не только палисадник, но и грядки, и огород — там у них было что-то среднее между мирной спортивной площадкой и повстанческим лагерем...

— Он же каждый год на комиссию ездил, и все ему нет говорят и нет, — стала в ответ на мой вопрос рассказывать мама. — Сперва переломы плохо срослись, а потом — нервы... Вот он зимой все бегал по утрам и зарядку делал какую-то особенную, а все лето сперва на покосе жил, а потом пастухам помогал в горах... Окреп, как сбитый стал, а они опять его не пускают. Он тогда жалобу в Москву да потом поехал туда, там и признали: годный. Вернулся веселый: все равно, говорит, моя взяла! Дом свой одним людям подарил, они из Сибири сюда переехали из-за девочки, у нее с легкими плохо... Сказал этим людям, в отпуск приеду, так пожить пустите. Чемодан собрал и подался...

Года три назад мы с Витей пошли побродить по нашим холмам за речкой. Ходили долго, потом присели в теплой, бегущей под ветром ковylie отдохнуть, и я все глядел на укрытую знойной дымкой станицу, а Витя опрокинулся навзничь и затих — даже тонкая травинка в губах перестала пошевеливаться и вздрагивать. Я тоже потом сцепил руки на затылке, прилег, молча к чему-то в себе прислушался, и откуда-то из бесконечной выси неслышно снизошло на меня ощущение такой сокровенной тишины и такой ясности...

— Нынче много всяких «терапий» напридумывали, — говорил Витя, когда мы спускались потом с холмов, шли к станице. — Недавно слышу новенькое: ландшафтотерапия! Посмотришь, мол, на красоту вокруг, и все печали — как рукой. А если края и красивые, да чужие? Другое дело в родной степи поваляться да в небо, как облака бегут, поглядеть... Ты не улыбайся! Не дай бог, как говорится. Но станет плохо — и ты попробуй...

Витя Иванцов теперь на Севере. Снова летает. Помогло ли ему одолеть болезни только упорство? Или отогрела теплая родная земля? Или новой силою напоил волшебный, как живая вода, воздух детства?

Со мной ничего такого не произошло, только сосало душу наше обычное: много работал, да не все, как задумывал, вышло; отец меня неправильно понял; друг обманул; огорчил сын.

Может быть, потому и прилетел я домой, потому и бросил под яблоней облезлый кожих...

Лежишь, словно бы растворившись во всем, что есть вокруг, и сам себя ощущаешь, кажется, только потому, что тонкая травинка касается иногда твоей щеки. Лежишь, и тебе вдруг приходит на ум, почему это люди придумали легенду об Антее, и тут же становится ясным, как оно все было на самом деле.

Это уже потом, решаешь ты, сочинили, будто всякий раз, когда надо было набраться сил, прижимался Антей к богине Земле, которая была ему матерью.

А просто был он родом крестьянин. И где-то в белой от солнца деревушке на берегу Эгейского моря жила

его старая мать. И он любил приезжать к ней, когда с моря дул серебривший листья маслин теплый шальной ветер, и дарил ей очередной платок, и сначала долго выслушивал жалобы на здоровье и на молодежь, у которой совсем не стало почтения к старшим, и украдкой вздыхал, а потом брал давно полысевший кожух, шел с ним в сад, бросал посреди травы...

И все у него было хорошо, пока он почаще приезжал, и никто не мог одолеть его ни в гульбе, ни в работе; это потом уже он из-за каких-то мелочных дел и раз и другой решил отложить поездку домой, и затосковал, и стал нервничать, а этот хитрец Геракл, который давно уже к нему присматривался, все заметил и тут-то и решился к нему наконец подойти... Слышите?

Нет, нет, надо почаще бывать дома — никак нам нельзя отрываться от родимой земли!

ИНЕЙ НА СТЕКЛЕ

Э. Овчаренко

Почти никого в городке не знаю, но уже со многими на улице здороваюсь... Наверное, это привычка: в рабочем поселке под Новокузнецком, где долго жил раньше, я ведь и шага не ступал не поздоровавшись. И теперь для меня достаточно самого маломальского повода, чтобы кивнуть потом человеку при встрече.

Тут мне стало казаться, что разные города населяют, в общем-то, очень похожие люди, только одеты они по-другому и занимаются другими делами — как бы живут другой жизнью. Там он был у нас до точки замотанным бригадиром, а тут, глядишь, с хорошей кожаной папкой под мышку выходит из облизполкома и, выпятив заметное брюшко, долго стоит на ступеньках под козырьком, неторопливо покуривает, скользит скачущими глазами по лицам прохожих... Или у нас он, предположим, в горькоме работал, приезжал к нам на стройку «щеу» раздавать, а тут вдруг появляется из-за ширмы в белом халате, укутывает тебя накрахмаленной простыней, берет в руки ножницы...

И с тем и с другим сперва я здоровался от неожиданности, а в следующий раз уже сознательно: если принял за своего — чего же теперь?..

Постоянно встречал тут на улице парня лет тридцати пяти, небольшого росточка, с горделивой осанкой, больше, пожалуй, рыжего, нежели просто блондина. У нас он был знатный экскаваторщик, на больших собраниях или каких конференциях всегда выступал с предложением избрать почетный президиум... На работе он, известное дело, в замасленной телогрейке да в кепочке, а когда при параде — черный костюм на нем, белая рубашка и галстук, и над карманом на груди обязательно белоснежная полоска платка. А этот постоянно был в светло-сером костюме, из-под которого выглядывала кремовая водолазка. Слегка наклонит, когда здоровается, голову с волнистой шевелюрой, глянет хитренько: знаю, знаю, мол, за кого меня принимаете!.. И тут же сделает независимое лицо, поднимет подбородок еще выше и пошел дальше — как аршин проглотил, хотя сделать это он не смог бы по причине малого роста.

На днях рано утром по морозцу иду я с почты и вижу: перед витриной гастронома стоит мой «экскаваторщик», пыгается заглянуть вовнутрь. Из-за малого своего росточка тянется на цыпочках так, словно хочет вылезти из модного, когда-то серого пальто с широким поясом, покачивает с бока на бок головой в черной, с длинным козырьком финской шапке.

Я — со своими новокузнецкими шуточками.

— Что, — спрашиваю, — колбаса небось выбросили?..

Он живо обернулся:

— Какую, извините, колбасу?

— Да тут ведь, кажется, колбасный отдел?..

— Да? — Он так искренне захохотал, что я тоже невольно заулыбался во все лицо.

Но он вдруг разом погасил улыбку — удивительно, тут и следа не осталось, — сказал доброжелательно и серьезно:

— Нет, видите ли, я — художник. Пишу сейчас картину, на которой должно быть заиндевевшее окно... А какие у нас морозы, сами знаете. Так долго ждал! А нынче утром глянул на градусник — наконец-то! И — скорее по городу. Где-нибудь, мол, да встречу... Мне разводы нужны, морозный узор, а тут видите — это и все!

Глядя на еле заметный, совсем размытый с краю чахлый ледяной росток, он огорченно вздохнул, развел руками, а я так все и стоял еще с дурацкой улыбкой.

Как мне потом хотелось помочь ему!

Пойти в мастерскую: «А хотите, я вам...» И рассказать, как солнечным днем в зимней тайге сыплется с деревьев серебряная кухта, как, пронизанные светом, под голубым небом в сахарном куржаке стоят желтобокие вековые сосны... И на оконцах в избе у деда Савелия и бабушки Марьи расцветает в те дни такое узорочье!..

Рассказать, как в прокаленном жгучим морозом автобусе девчонки долго дышат на стекла, как приникают одним глазком, чтобы глянуть, какая остановка, и как прозрачный кругляшок тут же снова затягивается острою ледяною пленкой... Как в самом большом гастрономе в центре города, очень теплом, по сантиметровым зарослям куржи кто-либо проводит ногтем, ставит черточку и потом стоит ждет в сторонке, пока не увидит ее другой, не поставит рядом свою отметинку, а когда появится третья, это значит, что коллектив уже сложился,

что можно становиться в очередь к родному отделу, а три этих длинных палочки на замерзшем стекле надо наискосок перечеркнуть, чтобы не сбивали с толку других, пусть эти другие заводят свою табличку — вон сколько их на просторной витрине магазина, этих следов коммуникабельности, которая возрастает, когда крепчает мороз...

В те дни у меня на столе лежало письмо в плотном продолговатом конверте со штемпелем станции «Северный полюс-21» — прислал недавно мой старый друг Юра Апенченко, спецкор одной центральной газеты... Может быть, думал я, отнести, показать художнику? Меня этот штампель спасал тогда от одиночества. А художника — вдруг вдохновит?..

И так хорошо мне было постоянно возвращаться к мысли о том, что есть в этом крошечном городке, есть человек, который приподнимался перед витриной гастронома на цыпочки вовсе не затем, чтобы посмотреть, большая ли очередь да какую сегодня продают колбасу.

ОСЕННИЕ КОСТРЫ

Вечерами глубину темнеющих улиц затягивает сизым дымком — жгут опавшие листья.

В этом маленьком городке их тщательно выметают из полегшей травы жесткими вениками, выскребают граблями, и под черными опустевшими деревьями рыжая трава потом стелется как расчесанная... Острая отава приподнимает на тонких пиках всякий листок, которому с помощью дождика удалось было прибиться к земле, их собирают по одному, чтобы жалостным своим видом не портили изумрудного торжества помолодевших газонов. Серые вороха отживших листьев сваливают на куски брезента, на старые клеенки, на серые прорезиненные фартуки и сносят в кучи, над которыми потом долго пластается первым холодком прижатый к теплой земле сырой дымок.

В обычае этом здесь, кроме желания чистоты, есть и правда что-то древнее, почти языческое...

Неспешные эти костерки с утра и до вечера курятся почти у каждого двора.

Запах прели в этом южном городке никогда не услышишь, ощущение осени связано здесь только с щекочущим ноздри горьковатым дымком...

Опершись на грабли, стоят, покуривая у костров, молодые мужчины, смотрят на медленно тлеющие листья древние старухи, сидящие на лавочках около калиток, снуют по улице, поднося в костер, малые ребята.

На днях видел: около совсем крошечного костерка, сунув озябшие руки в карманы старенького пальтеца, на короточках тихонько сидел нахохленный, лет четырех, одинокий мальчонка, задумчиво смотрел на крошечный, который он только что так долго раздувал, огонек.

Может быть, с первыми холодами просыпается в человеке спокойно себе дремавшая летом тысячелетняя тяга к огню?..

Или разноплеменным жителям этого лежащего в долине у подножия Кавказа маленького городка, где давно уже топят газом, все-таки не хватает и сухого шелеста огня, и потрескивания сучьев, и гуда пламени, не хватает едучего, от которого слезятся глаза, дымка, не хватает кислотоватого его запаха?..

Или над Кубанью, такую теперь многолюдной, синими осенними вечерами, все еще неслышно помаргивает зарево далеких кочевий, все еще призрачно дрожат отблески горских очагов, все еще безмолвно полыхают отсветы первых тут русских печек, и все эти костры из осенних листьев в первую холодную пору — это смутное желание вечернего тепла и спокойствия, желанье мира не только дому своему и дому чужому, но и умиротворенья и согласия душе...

ПИСЬМА-ПОСЫЛКИ...

Что-то стали пропадать мои письма...

Напишешь, сам бросишь в почтовый ящик, ждешь потом, ждешь ответа, а его нет и нет... Что, думаешь, такое?

Закажешь телефонный разговор, спрашиваешь у друга:

— Получил мое письмо?

— Н-нет, — удивляется. — А ты посылал?

— Как же так?.. Куда оно могло...

— Ну, что ты, — говорит он с легким укором. — Или не знаешь нашу почту?

Станешь объяснять, о чем ты с ним хотел посоветоваться, но настроение твое уже перебило, начинаешь путаться и сбиваться, и это невольно передается ему, ты вдруг чувствуешь, слушает невнимательно, нет, не понял — что ты тут будешь делать?!

А в письме ты все так хорошо ему обсказал!

Самое обидное, что раньше, когда все у меня было хорошо, мои письма всегда доходили, даже открытки, которые бросаешь в поржавевший почтовый ящик в каком-нибудь совсем малолюдном месте. Ты на них, признаться, и не очень надеешься, делаешь больше для очистки совести, как говорится, — и вдруг тебе тоже весточка: так и так, мол, получил поздравление, рад, спасибо, обнимаю и я...

А теперь, когда порой кажется, что от того, как тебе ответят, зависит чуть ли не вся твоя жизнь, — пожалуйста, на тебе! Письмо пропадает.

Всякое, конечно, бывает. И слышал я эту историю, когда на те переводы, которые сын-летчик регулярно слал матери-старушке, начальник почты построил себе двухэтажный дом, а она глаза выплакала, думала, сын ее забыл — не придет даже письмеца... И верю, что есть такие артисты, которые вложенный в письмо трешник достанут, не вскрывая конверта. И все-таки каждый раз мне как-то не по себе: жизнь каждого из нас так прочно связана с почтой, что стыдно ее и подозревать...

Начинаешь припоминать свое детство, когда мать чуть ли не с самого раннего утра посылала тебя к калитке подождать почтальона: «Смотри хорошо, детка, чтобы, не дай бог, дядя Коля мимо нас не прошел!»

И ты стоишь буквально часами — я до сих пор чувствую спиной этот столб, на который была навешена наша калитка!..

Потом где-то еще очень далеко появляется почтальон, и ты стремглав, летишь к матери, громко кричишь, и она каждый раз вздрагивает, испуганно хватается за сердце и, все бросив, тут же бежит за тобою следом, и теперь она стоит у этого столба и во все глаза смотрит, как медленно приближается дядя Коля — он редко к кому заходит, но зато во дворе остается всегда подолгу...

Виноватым голосом мать спрашивает:

— Ничего, дядя Коля?

И теперь он ей говорит, как она тебе:

— Нет, моя детка, ничего... Придется тебе еще обождать.

Это было после того, как мы получили бумагу, что отец пропал без вести, и у калитки мы дежурили зимою и летом — то я один, а то вдвоем с младшим братом — он был тогда еще маленький, и одному ему мама стала доверять только через год.

А потом случилась история счастливая.

Когда мамы не было дома, дядя Коля принес телеграмму от отца. Он ее нам прочитал и ушел, и мы сперва прыгали от радости, а потом стали делить эту телеграмму, чуть не разорвали ее и в конце концов положили под камень у порога, чтобы никто не трогал.

Уже вечерело, а мамы все не было, и тогда мы решили идти к реке ей навстречу — мама ходила в степь за топкой.

По дороге младший брат начал хныкать, и тогда я решил отдать ему телеграмму, но нести ее он должен был не в руках, а за пазухой. Я сам положил ему туда телеграмму, и он тут же нащупал ее под рубахой и прижал ладошкой.

Маму тогда мы не встретили, она пошла другою дорогой, а было уже темно, мы вернулись, нашли у порога вязанку сухих бодылок подсолнуха — мама уже пошла нас искать.

Когда мы нашлись наконец, брат мой уже спал на ходу, и ладошку он все так же держал на животе, но под нею ничего не было. Видно, он так прижимал руку, что коротенькая рубашонка выбилась у него из-под трусов и телеграмма упала.

Мама уложила брата спать, и с ней мы сперва туда и сюда пробежали по нашему следу, но нигде ничто не белело. И тогда мы побежали к дяде Коле, он повторил, что было написано, но мама не верила ему, и все плакала. Он сказал, что это большая ошибка, не надо было ему отдавать такую телеграмму малым ребятам.

Мы взяли из дома лампу и кусочек картона, чтобы огонь не забило ветром, мама прикрутила фитиль, и мы пошли уже втроем и ходили по тропкам, лазали по траве до тех пор, пока на нее уже не пала роса, — я хорошо помню, что телеграмма, когда мы ее наконец нашли, была влажная. Разглядел ее на берегу дядя Коля, не знаю, как это удалось ему — был он почти слепой, и через несколько лет ослеп уже совершенно. Сперва, правда, этого никто не заметил, потому что от двора ко двору торопился он все так же бойко, и мальчишки догадались об этом первые — иногда он подзывал кого-нибудь из нас на улице, спрашивал потихоньку, кому письмо, но треугольный конверт без марки совал обратной стороной.

И еще несколько лет мы таскали по улице его сумку, а он только держался за плечо и все потом, когда его угощали, пытался поделиться с тобой половинкой пирожка с капустой или с фасолью.

Это было уже после, а в ту ночь мы больше не зажигали огня; и еще несколько вечеров сидели потом без света — пока искали телеграмму, выгорел весь наш керосин...

Это теперь, когда я вдруг задумался, мне припомнилось то и другое, а раньше о почте я, конечно, не размышлял, можно сказать, просто не замечал ее, как не замечают, предположим, здоровья, или хорошего настроения, или еще чего-то, что разумеется как бы само собой. А ведь разве не удивительно: куда бы я потом, когда уже стал взрослым, ни уезжал, в какие бы далекие места ни забирался, письма тут же находили меня — как будто у почты только и было забот, чтобы я ни на минуту не почувствовал себя одиноким... И правда, есть в этом что-то от чуда: весь твой с таким трудом проделанный путь почти тут же уверенно повторяет сам по себе беспомощный крошечный лист бумаги. Не потому ли встретить его, когда дорогу не в силах одолеть вездеход, люди за сотни километров выходят пешком? Не потому ли пачку писем, если плывут на лодке, никогда не положат ни в ящик с продуктами, ни в тяжелый рюкзак и полевую сумку, если что, спасают прежде всего?

Помню, когда я работал в маленькой газете на большой сибирской стройке и уже начал потихоньку писать, почерк у меня испортился окончательно, и письма мои не смогла читать уже не только мама, но и наша соседка — учительница. И два года, пока меня не было дома, разрывая конверты, мама только терпеливо рассматривала письма — они стали для нее просто знаком того, что со мной все в порядке, а ждать к тому

времени она уже научилась.

Одно за другим я сам прочитал потом эти местами затертые мамиными пальцами письма, прочитал, опуская подробности, которые задним числом стали неинтересными или уже ненужными, и было любопытно заново оценить опоздавшие свои новости, и мама, понимая это, внимательно слушала, а потом, когда стопка кончилась, строго спросила:

— Все дошли? Ни одно не затерялось?

Почему-то я был уверен, что письма все.

Не знаю, кто как, а я привык верить почте так же, как верят лучшему другу или любимой женщине. Не стану говорить, кому в этом смысле я отдал бы предпочтение, но на третьем месте была бы она — почта, как бы объединяющая в себе и этих двух, и еще многих других людей — и родственников, и знакомых, и тех, кого я никогда не видел в лицо, но кто прислал мне когда-то крошечный листок с несколькими словами, от которых я расправил плечи и выше приподнял голову...

Думается, а почему у нас, имеющих столько недавно введенных праздников, нет одного — Дня почтальона? Неужели это менее важно, чем День работников, предположим, торговли? И наверное, не один бы я куда с большим сердцем поздравлял их — тех, кто мокнет под дождем, кто невольно чувствует себя виноватым, когда вам долго не пишут, кому первому жалуются те, кого совсем забыли, и кто читает бодрой рукой написанное на конверте: «Шире шаг, почтальон!» и менее уверенно — другое: «Если номер дома не тот, пожалуйста, помогите найти...»

Но вот стали пропадать мои письма... Куда деваются?

Конечно, думал я, письма — они как люди, они тоже погибают во время катастрофы; и если о нас сообщают родным, то о них, конечно же, нет. Может, отправлять лучше простые? Или это не имеет значения?

И пока я и так и этак прикидывал, пока ждал ответа, случилась одна забавная история.

Ребят у нас трое, и в этом году впервые мы отправили в лагерь среднего, Жору, который перешел во второй. Старший, Сережа, поехал в станицу к бабушке и там получил от брата письмо. И — какое!

Как раз в это время я должен был со дня на день приехать в станицу, и там, чтобы мне показать, сберегли его в таком виде, в каком оно пришло.

Я еще ничего не знал. Бабушка послала Сергея в зал, и он вернулся с тарелочкой в руках. На ней лежал изодранный, в пятнах масла конверт, из которого там и тут выглядывала толстая конфетная плитка — это были любимые Сережкины козинаки. Там, где должен быть адрес, лихо прыгали и одна на другую насакивали простым карандашом нацарапанные буквы.

Я удивился:

— Жора?

И Сережка рассмеялся так, что понятно было — смеяться по этому поводу ему уже не впервой:

— А кто б еще догадался так послать?

— Приходит почтальонка, — неторопливо начала мама. — Зовет меня. Я подхожу. Протягивает мне какой-то кулечек. Что это, спрашиваю. Ой, говорит, тетя, да мы и сами не знаем — или письмо вам, или посылка. Открывает кулечек, показывает: конверт, говорит, вон какой, наверно, тут было сперва чуть больше, да где-нибудь выпали... Так это не вы, спрашиваю, — кулечек? Нет, говорит, они к нам так и пришли — наверно, наши боялись, что не дойдут, так завернули в этот кулечек и только, какой край да какая станица, на нем написали.

И все мы опять смеялись и разглядывали накарябанное чуть пониже адреса на рваном конверте: «С днем раждения».

Дома они, конечно, ссорились и не раз дрались, оба плакали, но теперь, когда расстались, у Жоры, видно, что-то такое шевельнулось... может, плохо стало без защитника, может, еще что, а может, мальчишка впервые в жизни вдруг понял: брат!

Дед строго сказал Сергею:

— Не вздумай есть! Показали — и можно выбросить. Кто его знает, где они там валялись.

— Нет, — сказал Сергей. — Это такие конфеты... Съем!

И по тому, как при этом поглядывала на меня бабушка, я понял, чьи это слова.

К Жоре потом мы приставали с Сергеем вдвоем: как ты их посылаешь?

Жора не понимал:

— Как посылаешь? Да очень даже просто. Конверт у меня был, мама давала, а конфеты нам в лагере не разрешали, но я Алле Васильевне сказал, что день рождения, она купила плитку и принесла. Я положил в конверт и заклеил. А потом на прогулку шли, я попросился выйти из строя, к ящику подбежал и бросил...

— И все?

— А что еще? Они, правда, не сразу влезли, — припомнил Жора. — Но потом маленькая плиточка упала в ящик, и тогда уже все вошло...

Это жара была. Июль.

Я попробовал представить, как из брезентового мешка вытряхивают на почте продранный конверт, в котором еле держится плитка и еще подтаявший кусочек — отдельно... Как рассматривают уверенной рукою первоклассника нацарапанный адрес. Фамилия получателя. Фамилия отправителя. Братя?

Улыбнулись ли там? О чем-то поговорили? Там ли свернули кулек из серой почтовой бумаги? Или это уже в другом городе? Ведь эти самые козинаки проделали, скажу я вам, вовсе не близкий путь...

Кто-то кому-то сказал: «Смотри, поосторожней, там такая штука — в одном конверте конфеты». Другой

вспомнил об этом дома за столом и, прежде чем рассказать, улыбнулся и качнул головой: «Сегодня у нас — номер...»

И все это были, конечно, хорошие люди.

Ладно, стал я сам с собой потом рассуждать, а мои письма, предположим, попадают в руки людей злых, глупых и жадных. Которые, глядя на пухлый конверт, потирают руки и думают, что я не захотел тратить деньги на перевод и пачку сторублевок посылаю в простом конверте... И они разрывают его, торопясь, и не находят там ничего, кроме нескольких страниц на машинке. Им становится очень обидно, и тогда они рвут на части письмо, и в почтовом вагоне бросают в унитаз, и, торжествуя, долго жмут на педаль...

Грустно как-то. Я столько сидел над этим письмом. Так хотелось рассказать другу, что со мною произошло, что я понял, что вдруг мне открылось, что я хочу теперь предпринять... Я сидел за машинкой, отхлебывал из чашки крепкий чай, думал: поймет он меня или не поймет? Захочет ли поддержать?

Потом, написанное, несколько дней я носил это письмо в кармане пиджака: посылать или не посылать? И после положил на деревянную стойку, подтолкнул, заплатил, получил квитанцию... А оно не дошло. Странно!

У моего сына во всем этом деле была только одна проблема: дотянуться до почтового ящика.

Мне стало казаться, что в этом есть какая-то тайна — почему одни письма доходят так просто, словно от начала до конца сопровождает их добрый ангел-хранитель, а другие пропадают, несмотря на меры предосторожности? Есть!

Однажды мне показалось, будто я стал догадываться, в чем тут дело. И я позвал Жору и спросил у него:

— Слушай, а когда ты держал на ладошке это свое письмо... Которое весило двести пятьдесят граммов. Ты раздумывал?? Посылать его или не посылать?

Жорка у нас сероглазый. Глянул на меня ясно:

— Не-е-ет! Ни капельки. Чего бы я раздумывал?

— Значит, без всяких?

— Взял и послал. Конфеты нам в лагере не разрешали, но я сказал...

Остальное я уже слышал, но в том, как он сперва удивился, мне увиделось что-то похожее на разгадку... Как знать! Может, каким-то чудом твои сомнения и твои долгие раздумья и действительно влияют на судьбу письма? На нем как бы появляется некая роковая печаль. И она тем неизгладимей, чем серьезней письмо и чем ты дольше колеблешься... Вы меня понимаете? Это письмо еще в ваших руках. Но судьба его решена.

И пусть его вовремя вынут из ящика. Пусть почтовый придет минута в минуту. Пусть что угодно — уж каким-то одному ему постижимым образом оно сумеет пропасть.

Конечно, эта истина, которую я пытаюсь сейчас доказать, не относится к числу особенно радостных, но тут уж ничего не поделаешь...

Жорке я, конечно, ничего не стал говорить, а только похлопал его по плечу. Хорошо, что он пока ни капли ни в чем не сомневается, когда отправляет свои письма-посылки.

Длилось бы это дольше!

ТЕОРИЯ ПРИБОЯ

Окно мое выходило на море, и, проснувшись рано утром, я первым делом шел к нему, раскрывал всякий раз пошире и долго глядел потом на нырков, которые поодиночке плавали почти у самого берега или небольшими табунками держались поодаль.

Еще в один из первых дней кто-то из местных жителей рассказал мне, что утки эти прилетают сюда с холодного севера, а сам я тут же уверил себя, что есть тут, конечно, и наш сибирский нырок, который теперь чует небось весну и чует дальнюю и трудную к родному дому дорогу. И я относился к птицам будто к своим землякам, и каждую пробежку перед взлетом, когда птица часто-часто топчет по зеленоватой воде, оставляя на ней строчки крошечных всплесков, воспринимал я как нитку, которая словно связывала сегодняшние дни здесь, на море, с долгими годами, прожитыми мною в Сибири.

То ли поэтому, а то ли по какой другой причине мне всегда больно было смотреть, когда под моими окнами затевали на них настоящую охоту. То осыпала их градом камней проходившая по берегу ватажка мальчишек, то от медленной шеренги степенно гуляющих после обеда курортников отделялся какой-либо один, с солидным брюшком, но довольно шустрый, и принимался самым настоящим образом «пулять» по бедной утке. Иногда на гальку, волоча за собой на поводке унылого сеттера, скорым шагом выбегал усатый гражданин в галифе и в тапочках, с ходу стрелял по неплотной стайке, а потом, отложив ружье, обеими руками принимался затаскивать в воду своего четвероногого друга, который, приседая и корячась, оставлял после себя на берегу четыре глубокие и неровные бороздки...

Однажды я увидел зрелище, от которого заняла душа.

Около берега вверх белыми брюшками покачивались на спокойной волне несколько уток, а подалее от них, там, где вода начинала поблескивать от солнца, виднелась целиком погибшая стая.

Я наскоро оделся, поспешил к своему другу, у которого окна тоже выходили на море. Взял его повыше локтя, вывел на балкон.

— Ты видел? — кивнул на белеющие в море тушки.

А он молча показал рукою в другую сторону. Я глянул туда и замер: показалось, море покрыто погибшими птицами почти до самого горизонта.

Вместе мы вышли на улицу, пошли по берегу. Здесь и там кучками стояли люди, тоже смотрели в море.

— Ты понимаешь, какое дело? — виновато говорил буфетчик Володя, который оставил свою пропахшую сбевшим кофе плиту, но так и пришел сюда с крошечной чашкой. — Второй месяц рыба к берегу не идет, что бедная утка будет кушать? Это один ученый человек сказал, он тут каждый год отдыхает... Утка худеет, жира совсем нет. А перо без жира — какое перо? Воду начинает пропускать, мокнет, тяжелое становится... За рыбкой нырнула, голова вниз и — перекинулась. Лапками бьет, а обратно перевернуться не может, сил нет — понимаешь, какое дело!

В общем, оснований для того, чтобы относиться к нырку с сочувствием, было у меня, как говорится, больше чем достаточно, и, когда однажды рано утром дежурная по корпусу попросила меня отнести на берег и выпустить в море утку, которую ночью выбросило штормом и которая отогревалась теперь в тряпке на батарее под подоконником, к делу я отнесся со всей серьезностью.

Нырок странно изгибался у меня в руках, выпячивал острую грудку с пустым зобом, топырил лапы с желтыми полукружьями перепонки, отводил назад гибкую шею, и все это вместе я тут же воспринял как немедленное желание оказаться на воле.

— Сейчас, — сказал я ему, — сейчас! Вот только дойдем, и...

Чуть-чуть выждал, чтобы отступила большая волна, и легонько бросил нырка ей вслед. Его сперва потащило от берега, но вот он приподнялся на следующем гребешке, качнулся, стремительно понесся обратно.

Не успел я еще и шага сделать от наступающей воды, как его шлепнуло о гальку у моих ног, и привставать он начал, явно покачиваясь.

Я живо забрал его в руки и уже не спешил отпускать; теперь мне казалось, что дело это не такое простое — отпустить нырка. Чтобы взлететь, ему нужна длинная пробежка по воде, — но как ему выбраться на такое место, где бы он мог хорошенько разбежаться?

Слабели раз за разом удары волн, и, когда наступило короткое затишье, я кинул утку, пытаюсь забросить ее за ту невидимую черту, которая уже отделила бы ее от коварных прибрежных гребней... Не тут-то было!

Скоро нырок снова барахтался у моих ног, оскользнулся на мокрых камешках, и я снова приподнял его и легонько прижал к себе: выходит, опять я что-то упустил... Что? Может быть, надо сделать наоборот — перебросить его через самую большую волну, когда та станет откатываться назад? И пусть волна утащит нырка подальше, туда, где он сможет вырваться из приобья уже без посторонней помощи.

И опять я выждал, и слегка размахнулся, и бросил.

Как его, бедного, снова швырнуло на берег!

Мне стало так неловко, словно все это я прodelывал нарочно, и, снова поймав нырка, я незаметно глянул туда и сюда: нет ли кого за моею спиною? Не смотрит ли кто-нибудь с балкона?

Судорожно пытался я вспомнить что-либо о приобье, что помогло бы спасти нырка, да только где там!

Может быть, дать отдохнуть ему чуть подольше?

И снова он очутился на берегу.

Оставить его здесь и уйти? Его схватит первый, который появится на берегу, мальчишка. Подождать тут, понаблюдать, чтобы этого не случилось?

Теперь я уже не стал брать его в руки. Распластавшись, нырок лежал у меня под ногами.

Шея с нахохленными перьями беспомощно вытянулась во всю длину, тонкие ноги были судорожно откинuty. Желтый клюв ему, казалось, сомкнуло отчаяние, и карий глаз уже начал стекленеть — жили только худенькие птичьи бока, которые то неравномерно вздымались, а то подрагивали.

На утку жаль было смотреть.

Вот ведь какое дело, думал я про себя, есть же, наверное, какой-то закон приобья, какая-нибудь, может, хитрая, а может быть, и простая теория, зная которую, конечно же, несложно отправить нырка обратно в море... Но неужели нельзя все рассчитать так вот — чутьем, на глазок?

Я снова стал оглядываться — и посмеиваясь над тем положением, в которое попал, и одновременно стыдя себя за то, что совсем замучил маленького нырка.

По берегу шел высокий человек в синем спортивном костюме и с полотенцем через плечо. Показалось, что еще издали он с осуждением поглядывает мне под ноги, и мне сделалось стыдно, захотелось и оправдаться, и, может быть, посоветоваться.

Человек подошел уже совсем близко, и я слегка качнулся ему навстречу:

— Понимаете, какое дело...

И тут скорее почувствовал, чем увидел, какое-то движение у себя под ногами.

Я посмотрел вниз.

Отчаянно покачиваясь с бока на бок, нырок топтал к морю. Немножко пробежал по воде, ударился грудкой о волну, закачался, и мне вдруг стало ясно, что он уже там, за этой невидимой чертой, которую он до этого так долго не мог преодолеть.

— Вы что-то хотели спросить? — раздался позади меня глуховатый голос.

Я не знал, что теперь говорить, сказал сбивчиво:

— Тут был нырок...

Человек улыбнулся, и лицо у него стало доброе:

— Удрал от вас?

— Н-нет, я его не держал... Наоборот.

Тот насмешливо прищурился:

— Хотите сказать, что он вас держал?

Я тоже рассмеялся.

У меня за спиной опять заскрипела галька.

А я стоял и все смотрел на нырка, который что есть мочи удирал все дальше от берега.

Эх ты, говорил я себе, «теория приборя»! Наверное, тут может быть всего лишь одна теория: не лезть с непрошеной помощью, не навязывать своей воли, если ты не знаешь с точностью, чего именно надо бессловесному зверьку или птице... И как знать, может быть, единственное, что можно позволить себе в этом смысле — это в самом деле постоять терпеливо рядом, чтобы никто их не обидел.

А помогут они себе сами.

ЖУРАВЛИНАЯ СТАЯ

Ю. Сбитневу

К другу своему Ивану Яковлевичу я приехал явно не вовремя. Он сокрушался:

— Ну, что бы тебе прикатить денька три-четыре назад? И погода стояла какая, и со временем у меня было поспособней. А теперь морозец нам все карты спутал: ни картошку, ни свеклу не убрали, да и овчарни как следует к холодам подготовить не успели. Вот денька три-четыре назад...

— Да, конечно, — попробовал я поддеть его. — Тогда о зиме еще можно было не думать...

Но Иван Яковлевич только рукой махнул: ему было не до шуток.

Тут к нему вошли ветеринар да агроном, разговор у них начался горячий, и я, чтобы не мешаться, потихоньку поднялся да бочком в дверь.

Сначала, раздумывая о том, что теперь делать, принялся я шагать туда-сюда на небольшом пяточке сухой травы рядом с конторой, а потом вышел к высокому обрыву за ней и остановился оглядываясь.

Между белых — из меловой крошки — отлогих бережков извивалась внизу зеленоватая речка, а чуть поодаль по обе стороны от нее вставали кручи с гребешками пожухлой травы на макушках, дальше один за другим толпились крутые холмы, на которых причудливо расположилась станица, а вокруг этих холмов, как будто обступив их со всех сторон, цепь за цепью теснились горы, и ближние были изжелта-серыми от заштрихованной стволами деревьев опавшей листвы, а дальше становились все темней и темней, и смутно белевшие, кое-где уже покрытые снегом их вершины пропадали в предвечерней дымке.

Несмотря на то что радоваться было нечему, я почему-то был в очень хорошем расположении духа... Мне нравилась эта затерянная в синих предгорьях станица, нравились эти рыжие холмы и далекий снег на горбатых хребтах, и я в который уже раз начинал себе говорить: нет, нет, хорошо, что я не стал больше эту поездку откладывать, хорошо, что собрался наконец да и поехал...

Так я и прошагал по обрыву над речушкой до самых сумерек.

В окнах конторы давно уже ярко горел свет. Потом они погасли вдруг одно за другим, и я заспешил к крыльцу.

Иван Яковлевич улыбнулся мне, хитровато шурясь:

— Считаю, тебе повезло. Решили, что надо мне по отарам проехать да еще кой-куда заглянуть. Поедем верхами, так быстрее будет. Только, понимаешь, кони у нас один другого норовистей — не побоишься?

Тут на меня кашель напал, потом я начал прикуривать, и друг мой не стал дожидаться, пока я ему отвечу.

— А теперь, — сказал он, — ко мне... Попьем чайку с калиновым вареньем, отоспимся как следует, а рано утречком — в путь.

Домой к нему мы поехали на линейке. По крутой дороге она быстро скатилась вниз, и лошади побежали посреди мелкой речушки между смутно белевших в темноте меловых бережков. Снизу потянуло холодом. Глухие кручи с обеих сторон теперь придвинулись близко, и еще неяркие звезды то исчезали за темными их горбами, то появлялись вновь...

Потом пропали разом и острый всплеск под копытами лошадей, и мягкий шелест под колесами, линейку под нами дернуло, и кони, напрягаясь, пошли в гору. По накатанной дороге посреди очень широкой улицы побежали бойко, и звезды теперь то пропадали за крышами, то подрагивали и покачивались среди голых ветвей черных деревьев.

В садах уже собирался, густея, уже стыл сизый туман, и окна домов светились как будто сквозь дым.

Иван Яковлевич напевал без слов, негромко и задумчиво, словно все еще продолжал размышлять о делах, и я положил руку ему на колено, хотел заговорить, но линейка под нами опять дернулась и, клонясь на один бок, стремительно понеслась вниз. Я так и застыл с открытым ртом, вцепившись в колено своего друга, а он посмотрел на меня и снова хитровато прищурился.

И мы опять ехали по воде, и опять потом поднимались в гору, чтобы через несколько сотен метров снова

спуститься к руслу речушки. Одни и те же темные холмы, помеченные красноватыми квадратами света, оказывались от нас то слева, то справа, знакомые созвездия покачивались то впереди, то сбоку, а дорога наша кружила и кружила, шла петлями вверх и вниз, и все не было ей конца — будто ехали мы куда-то очень далеко.

Заметно похолодало, и огоньки в окнах стали еще уютней. От мокрых лошадиных ног отлетал еле видимый в темноте парок. Изредка хлопал кнут, и тогда громче начинали ёкать у коней селезенки, чаще похлостывали по грязи копыта, громче брэнчала и хлябала линейка, и все эти четкие звуки и теплые на осеннем морозце конские запахи как будто уносили куда-то очень далеко. Мне вспоминались воля и простор моего деревенского детства, то купание коней, а то ночное, пастьба, и отчего-то хотелось громко, во всю грудь вздохнуть...

А утром мы снова ехали на линейке, теперь только вдвоем с Иваном Яковлевичем, и он, отыгрываясь за вчерашнюю мою подковырку, насмешничал:

— Может, признаешься, что ночь не спал? Все небось думал: а вдруг конь и в самом деле такой попадетсЯ, что никакого сладу.

Я только улыбался. Спать-то я крепко спал, но насчет седла, признаться, задумывался. Мне и в детстве не очень везло, несколько раз с коня падал. С тех пор лет двадцать, если не больше, к лошадям и близко не подходил — какой из меня джигит?..

— Километров сто отмахать придется, тут и привычному да умелому не так просто, — говорил Иван Яковлевич уже серьезно. — А дорога — увидишь сам. Это — еще цветочки...

Мы ехали обочиной лесной топи, под ногами лошадей ломался ледок, глухо чавкала под ними загустевшая грязь. Линейка наша сильно кренилась, и Ивану Яковлевичу пришлось привстать на подножке, отклоняясь вправо, а я теперь лежал на спине, широко раскинутыми руками судорожно хватаясь за подстилку из сена, и ноги мои беспомощно висели над размытым краем болота.

А потом наши акробатические номера стали сложнее. То друг мой спрыгивал на ходу, а я торопливо переваливался на его край, то я плюхался на обочину и, оскользясь, бежал сзади, а он, вытягиваясь поперек линейки, отчаянно балансировал один.

Утро было студеное, но мы замечали это лишь тогда, когда выезжали на горб очередного холма и на минуту останавливались. Все остальное время мерзнуть нам было некогда.

Зато какая открывалась красота, когда с гор, где на северных склонах уже лежал снег, мы оглядывались вниз, на подернутые голубою дымкой долины!..

В тихой радости я только покачивал головой. Иван Яковлевич, который давно уже приглашал меня посмотреть родные ему предгорья, нарочно сдерживался:

— Это еще что. Погоди, я тебя на Батарею привезу, вот тогда скажешь!

Я оставался на месте, зачарованно вглядываясь то в подсвеченные утренним солнцем алые макушки далеких снежников, то в сине-зеленые, с рыжими пятнами цвета холмов, которые оставались внизу. А друг мой незаметно отходил от меня, уже ковырял носком кирзового сапога стылую землю, наклонялся, выбирая картофелину, придавливал ее пальцами, покачивал головой, торопливо шел дальше. Иногда он отбирал у меня бинокль, и тогда я видел, что смотрит он не на снеговые пики на горизонте — смотрит на соседний пригорок, где по коричневатой стерне бредет еле заметная отсюда отара.

К обеду мы побывали и в отарах, и в пустующих днем овчарнях, около которых неистовым лаем встречали нас сидящие на цепи волкодавы.

Я уже посматривал на рюкзак, в котором лежала еда. Иван Яковлевич, перехвативший мой взгляд, подмигнул:

— Сейчас к одному месту подьдем — там...

Линейка скатилась в неглубокую седловину, потом по краю ее лошади снова потянули нас вверх.

Дороги здесь не было, под линейкой тихо шуршала пожухлая степная трава.

Я увидел впереди край горы, уходящей вниз очень круто, невольно привстал, но Иван Яковлевич уже натянул вожжи.

— Говорят, в турецкую войну тут стояли русские пушки. Оттого и название пошло: Батарея.

Я подошел к краю холма и замер. Глубоко внизу лежала ярко освещенная солнцем просторная котловина. Прожилками посреди темно-рыжей степи тонко голубели вилюшки крошечной отсюда реки. Над зеленоватыми низинами еще курился туман, за серыми взлобками прятались сизые тени. Далеко впереди льдисто серебрился вытянутый овал озера. За ним снова поднимались холмы, на плоских их вершинах густела синяя кромка, а над нею вставали под ясным небом молочно-белые пики снеговых гор. Горы эти тянулись четким полукругом, они как будто замыкали обширную котловину, и слева и справа обрезанную крутыми обрывами далеких холмов.

Мы смотрели и смотрели не отрываясь.

Было недалеко за полдень. Наступил тот короткий глубокой осенью час, когда ненадолго снова побеждает теплынь. В воздухе как будто чувствовалось легкое дрожание марева, однако дымки не было видно. Небо оставалось по-осеннему высоким, четко виднелась даль, и тишина вокруг стояла тоже совершенно особая, такая, что даже тоненький скрип линейки, которую слегка подвигали изредка переступавшие позади нас лошади, отчего-то казался грустным.

— Другой раз допекут, расстроишься, — негромко заговорил Иван Яковлевич. — А посидишь на этом взгорке, притихнешь, и все — как рукой...

Мне показалось, что где-то далеко послышался слабый журавлиный крик. Я прислушался, еще не оглядываясь, а друг мой сказал:

— Поздненько они... вон смотри!

Птицы летели слева от нас, с востока. Яснее стали их голоса, как всегда трогательные своею как будто осознанною печалью, а потом они раздались совсем громко, и слышалось в них что-то необычное, каждый звук был словно не курлыканье, а тревожный вскрик.

И порядок, в котором они летели, тоже казался странным. Как будто не было обычного треугольника, внутри стаи журавли кружили и перелетали с места на место.

Я обернулся к своему другу:

— Что там... Может, их коршун бьет?..

Иван Яковлевич напряженно глядел из-под руки.

Птицы были уже совсем близко. Теперь они растягивались в треугольник и кричали потише прежнего, как вдруг я увидел: один журавль словно бы выпал из стаи, опять нарушая ее порядок. Заваливаясь набок, он косо уходил вниз, и в судорожном махе его крыльев было что-то беспомощное.

И в тот же миг журавлиный строй снова сломался. Несколько птиц, летевших в конце стаи, бросились вниз, обогнали отставшего журавля, подлетели под него с разных сторон. Взмахи их серых крыл стали резче, здесь, на земле, отчетливо послышался их тугий шелестящий посвист, и мне показалось, легкой волной сюда донесся и поколебленный холодок высоты, и слабое живое тепло разогретых полетом перьев.

Журавли снова курлыкали громко и как будто торопливо, и я готов был поклясться, что голоса их различимы, и что в тревожном хоре вверху можно уловить и обреченный вскрик отставшего, и клики остальных — они подбадривали, они напоминали о надежде, они обещали помощь...

Не знаю, поддерживал ли ослабшую птицу поток воздуха снизу или ее подталкивало вверх касание крыл, но она уже как будто приподнялась поближе к остальным. А журавли все перестраивались на лету, и задние вновь ныряли вниз, сменяя уставших, а те взмывали вверх, пристраиваясь в конце стаи. И только передний журавль да еще несколько птиц, летевших сразу за ним, махали крыльями по-прежнему неторопливо, все так же оставаясь на своих местах, все так же указывая путь всему косяку.

Мы все стояли, глядя им вслед, и тревожные голоса птиц становились все тише, они улетали дальше и дальше, унося ослабшего в нелегком странствии спутника.

Иван Яковлевич, все не убиравший от глаз козырек ладони, сказал, как будто сочувствуя:

— Полетели-то как! То обычно туда, еще дальше в горы идут, а эти напрямик к морю... Спешат!

Курлыканья уже не было слышно, только видно было, что птицы все еще перестраиваются, все еще кружат внутри стаи.

— А может, он все болел, да все никак не мог поправиться? — сказал Иван Яковлевич, и глаза у него потептели. — А они все ждали его, все дальнюю дорогу откладывали... Оттого и поздно!

Мы опять глядели вслед птицам.

Не упадет ли ослабший журавль?.. Не покинет ли его стая? Удастся ли им всем благополучно долететь до жарких стран, переждать холодную зиму и снова вернуться на свою родину? Как знать!..

...В станицу мы возвращались поздно вечером.

Снова резко похолодало. С гор потягивало острым холодком.

Иван Яковлевич, опять натянувший на кепку синий шерстяной башлык, что-то негромко напевал. Я прятал лицо под капюшоном куртки.

Впереди уже видны были красные огоньки, причудливо разбросанные на темных холмах.

А мне в который раз уже вспоминалась журавлиная стая, и сердце вдруг защемило, и я будто почувствовал какую вину. Я подумал о своих друзьях... подумал о других людях... Все ли я всегда делал, чтобы кого-то из них поддержать? Может быть, кого-то спасти?

И друг мой думал, верно, о том же. Он перестал петь и как будто сам себе негромко сказал:

— Подумать... птицы!

И вздохнул.

ЦЫГАНСКИЙ ОТПУСК

В ясный полдень над осенней станицею чутко замерла тишина, и временами казалось, будто оттого и срываются, оттого и падают листья, что поодаль коротко и чисто бьет по наковальне негромкий молот: д-динь! Дли-н-нь!

Голосистый звон упруго отскакивал от пригретой неслышным солнцем земли, легко взлетал над сквозившими садами, стремительно уносился выше обступивших неширокую долину крутых гор и там источался и пропадал совсем где-то в сверкающем тихой голубизной высоком небе...

А желтые да багряные листья, постукивая по пустующим веткам, косо скользили вниз — одни помедленней, а другие быстрее.

Д-динь! — снова с отскоком бил молот. Дли-н-нь!

И опять подрагивали те, что угадали свой срок, и обламывались ставшие хрупкими черешки...

Д-динь!.. Длин-н-нь!

Ставив кепку, я стоял у крыльца конторы, то поглядывал на белую кромку снежников, которые четко вставали далеко за станицей, то на просторный дом в глубине сада, — это из-за него доносился звон.

Странная судьба у этого дома!

Не знаю, почему он остался без хозяина и запустел, но теперь в нем жили то какие-нибудь шедшие к перевалу «дикари», которых управляющий совхозным отделением Иван Яковлевич уговорил недельку-другую полопатить на совхозном току зерно, то излишне бойкие девчата, которых он, когда бывал в городе, подбирали где-нибудь на вокзале да привозил сюда поработать на ферме...

Не знаю, повышались ли в это время надой молока, зато производительность тракторного парка, говорят, резко падала, и так продолжалось до тех пор, пока молодые казачки, вооружившись тяпками, не осадили Ивана Яковлевича в собственном его кабинете: увози, мол, управляющий, этих городских мокрохвосток, не то быть беде...

И в доме становилось пусто, пока в нем не поселялась какая-нибудь такая же непонятная публика.

И не гостиница, и не общежитие — так...

Теперь окна на задней стене дома были наглухо закрыты ставнями, вокруг не виднелось никаких признаков жизни.

— Кто там у тебя сейчас? — спросил я у Ивана Яковлевича, когда он вышел наконец на крыльцо.

Он слегка наклонил голову к плечу.

— А вон... слышишь? — и значительно приподнял палец. — Коваль!..

— А я гляжу, ставни прикрыты...

— Так это наши женщины проводины опять устроили, — улыбнулся, прикуривая, Иван Яковлевич. — Все до единой шибки, а застеклить не успели — одних гостей проводил, а других тут же встретил. Гляжу, за станицей в балочке шатро ладит... Я к нему: ковать умеешь? А он: не видишь, цыган? Помог я ему свернуться да сюда и привез: живи!

— А при нем, значит, нет — вставить?

Друг мой досадливо крикнул: хорошо, мол, тебе, вольной пташке, критику наводить, а ты попробовал бы тут, повертелся!

— И хороший кузнец?

А Иван Яковлевич, как будто что вспомнив, опять радостно улыбнулся:

— О! Как раз ты мне и нужен... Пойдем-ка!

Подтолкнул меня, и мы пошли по рыжей траве — Иван Яковлевич по одной стороне узкой тропки, а я — по другой.

— У тебя ж язык без костей должен быть, — посмеиваясь, говорил Иван Яковлевич.

— Ну, спасибо тебе...

— Нет, правда. Ты мне должен помочь. Как хочешь. Такой коваль, что сто сот стоит. И человек хороший... Да ты сейчас сам! А вот втемяшилось ему...

Из-за угла дома вынеслась ватага цыганчат. Все были грязные и оборванные, все босиком, с черными, в цыпках ногами. Окружили нас, заставили остановиться и не только бесцеремонно рассматривали, но и зачем-то трогали. Один, привставая на пальцах, заглядывал мне в глаза:

— Скажи, сколько время?

— Хэх, оно тебе надо! — ответил за меня Иван Яковлевич. — Ты б вон лучше нос, чтоб козюли не торчали...

Цыганчонок все тянулся и перебирал руками у меня на животе, словно хотел каким-то образом по мне взобраться.

— Скажи, сколько?

Я сказал и не успел еще опустить руку, как он вцепился в запястье:

— А подари часы?

— Часы ему! — Все как будто удивлялся Иван Яковлевич. — А по шее?

— А что у тебя в этом кармане, покажи? — не отставал цыганчонок. — А что вот в этом?

Все они были черные как галчата, и только один светлоголовый и сероглазый. Этот робко протянул измазанную ладонку и без всякой надежды попросил:

— Дай что-нибудь?

И такой он был тихий и вроде задумчивый, такой на остальных непохожий, что мне отчего-то сделалось жаль его и невольно припомнились слышанные в детстве рассказы об украденных цыганами детях... Как знать!

Иван Яковлевич в это время одного за другим брал за плечо, поворачивал к себе, озабоченно разглядывал:

— Ты, Колька?.. Или Петька? А где Васька? Вот он вроде Васька! — И обернулся, подмигнул мне. — Самый серьезный... Слышь, Васька? Тут вам ничего не обломится, ты лучше дуй в контору, найди там тетю Феню, скажи: тетя Феня, покажи, где стол у дядьки Ваньки? Она покажет, ты возьми там кулек, от тут, в правом ящике... И мне принесешь, ты понял?

Цыганчат сдуло ветром, побежали наперегонки.

— Он оно как! — сказал Иван Яковлевич, когда мы вышли из-за угла. — Уже и бричку подкатил к сходцам.

Приткнувшись задком к крыльцу, около дома стояла пустая одноконная телега, а подальше, в глубине сада,

виднелся почти добела выцветший шатер, и над ним еле заметно подрагивал светлый дымок. Иван Яковлевич одобрил.

— Кочегарит! — И уже особенным голосом, каким, считается, подобает разговаривать с цыганами, еще издали крикнул: — Можно к этой хате? Хозяин дома? Здоров, Мишка!

Плотный, лобастый цыган, с толстыми, хорошо ухоженными усами на чисто бритом лице ответил, старательно выговаривая каждый слог:

— Здравствуй, Яковлевич! Заходи, гостем будешь. — Потом неторопливо и с достоинством кивнул мне: — День добрый, присаживайтесь.

Мы устроились на низеньких чурбачках, стали смотреть в горно, где поверх раскаленных углей лежали синеватые, начинающие краснеть мелкие поковки.

Цыган сидел скрестив ноги, левой рукой продолжал покачивать мехи, и они негромко похрипывали, захлебывались в конце, фукали, всякий раз угли вспыхивали и отвечали им легким гудом. Предплечье правой лежало у кузнеца на колене, крупная, со вздутыми жилами кисть висела свободно, и смуглые пальцы были подогнуты, словно не отошли еще от долгой работы.

Рядом с наковальней на выбитой, с остатками пожухлой травы земле высилась горка ухналей, а за спиной у коваля одно на одном лежали три или четыре колеса, висели на деревянной стойке хомут да уздечки, валялась под ними какая-то пестрая рухлядь, и, кроме кислото-горького духа кузницы, под шатром слышны были разогретые костерком да осенней теплыню запахи сухого дерева, дегтя, старой кожи и еще чего-то, связанного с потными лошадьми да с пыльной дорогой...

Иван Яковлевич прокуренным пальцем шевельнул ухнали, спросил громко, как у глухого:

— Ты, я вижу, заканчиваешь?

— Все, Яковлевич, все! — заговорил кузнец слегка нараспев. — К вечеру с тобой, Яковлевич, рассчитаюсь... Старуха моя уже узлы связывает.

— Хэх, ты, ей-богу! — как будто обиделся управляющий. — Вот заладил! А о другом ты подумал: одним побродягой на дороге больше, одним меньше — какая разница? А тут ты — работник! Понимаешь? Ты мне только скажи, останешься, я сейчас за фотографом пошлю, и завтра на Почетной доске будешь висеть — руки-то у тебя золотые... Забирай себе этот дом, живи с богом, ребятишек твоих в школу определим...

Толстые усы у цыгана шевельнулись, сверкнули сахарно зубы:

— Этим рано!

— Ну, не на этот год, так на тот.

Около шатра послышался топот, цыганчата разом появились в косом проеме, сгрудились вокруг Васьки, стояли с набитыми рта, жевали и судорожно сглатывали.

— Был бы коваль да у коваля ковалиха — будет и этого лиха! — кивнул на ребятишек Иван Яковлевич. — Вот они — не запылились!

Васька, преданно глядя на управляющего, протягивал ему широко раскрытый кулек из серой бумаги.

— Давай-ка! — Иван Яковлевич только заглянул в кулек и бросил его поверх пыхнувших углей. — Ну, правильно... никого не обделили?

— Мне не дали! — тоненько выкрикнула девчонка в длинной, до пят, цветастой юбке.

— Брешет! — уверенно отбрил Васька. — Она просто быстрее жрет...

— А вы хоть заработали? — строго спросил цыган. — Конфеты?.. Или на шаромыжку? Надо спасибо сказать. А ну, Колька!

Все разом расступились, а один, большеротый и большеглазый, вровень с кудлатой головой приподнял над плечами ладони с растопыренными пальцами и, покачиваясь то в одну, то в другую сторону, стал прыгать с ноги на ногу:

Фу!.. Фу! Не могу!

Я поеду у Москву!

Цыган перестал качать мехи:

— Стой, Колька! Зачем хлеб ешь, ты как неживой?

— Ты, Мишка, как тот уркаган, — подлаживаясь, рассмеялся Иван Яковлевич. — Тот кормит своего пацаненка, а пацаненок говорит: «Пап, мало!» — «Мало? Прокурор добавит!»

— А ну, ты, Васька! — негромко приказал цыган. — Давай на пузе.

Все еще продолжая жевать, Васька ничком бросился на землю, запрыгал на животе, задрывал ногами, завертелся, и цыганчата, уступая круг, попятились в шатер.

— Ходи давай!

Иван Яковлевич незаметно подмигнул мне:

— Ну, хватит, хватит! — И, приподнявшись с чурбачка, стал подталкивать ребятишек на улицу. — Ступайте, пусть тут взрослые поговорят!

Цыган сидел, обе ладони положив теперь на колени и слегка приподняв разведенные в стороны локти:

— Петька! А ты на пузе?

— Ты нам зубы не заговаривай! — снова громко заговорил Иван Яковлевич. — Ты давай, Михаил, лучше еще раз подумай... Умный мужик, а тут, я гляжу, прохлопаешь. Ты скажи: обидел я тебя? Разве не по совести заплатил?

— Нет, Яковлевич! — построжал цыган. — Ты мне хорошо дал. Спасибо тебе. По совести.

— А так и всегда будет! Или к тебе наши мужики на огонек не подходили? Или ты с ними махорку не курил да разговоры не плел? У нас кто работает, тот не жалуется, да только в том и беда, работать некому... Ну?!

Глядя на меня, цыган отнял руки от колен, приподнял вверх ладонями и нарочно тяжело вздохнул: мол, хотел бы — да не могу!

Все это время я только с интересом прислушивался к разговору, красноречия Ивану Яковлевичу было не занимать.

— Ты мужик башковитый! — с жаром продолжал он убеждать. — А тут прошибешь, если доброго совета не послушаешь... Что, плохой дом? А я тебе говорю: бери! Твой. Да из этого дома знаешь, что можно сделать? Картинку!

— Я бы флюгарок наковал! — неожиданно загорелся цыган, и морщины на смуглом лице у него разгладились, виднее стал небольшой, с синими крапинками шрам под глазом. — Подул ветер, а они бы: скрип-ип!.. Скрип!

— О! — горячо обрадовался Иван Яковлевич. — А ветра у нас только нынче и нету, и я тебе о том же! Да ты только скажи, что останешься! Знаешь мы тебе какую помощь устроим? На всю станицу. Весь мир придет! Думаешь, не обрадуются люди, что у дома — хозяин? За один выходной все сделаем. Тебе останется только самогонки наварить — умеешь самогонку?.. Ну я тебе специально человека дам, он научит...

— Яковлевич! — нараспев сказал цыган. — А ты?

— Что — я?

— Тоже зубы, Яковлевич, заговариваешь...

— Значит, нет?

Цыган опять приподнял руки, с сожалением покачал головой и прицокнул:

— Батюшкина коня, Яковлевич, не удержишь! Матушкину покровку не скатаешь...

Управляющий прищурился:

— Это что же?

— А ваша поговорка, меня один человек научил. Это ветер, Яковлевич. И дальняя дорога...

Друг мой ударил себя по колену:

— Хэх ты! Ну, хоть на недельку еще?

— Я к тебе, Яковлевич, лучше на то лето приеду.

Опять мы с управляющим шли по бокам узкой тропинки, на которой там и тут валялись теперь разноцветные обертки.

— Мы тут что? — как будто сам с собой рассуждал Иван Яковлевич. — Одно время совсем дожились. Казаки!.. А порядочного коня днем с огнем... Все техника да техника, а лошадей извели. А попробуй без них в наших-то горах! Когда непогода да грязь такая начнется, что танки не пройдут. А коняшка, он всегда выручит, ты ему только руку на холку положи. Когда меня назначили, я первым делом: заведу опять лошадей! И там и тут искал, и менялся, ты веришь, только и того, что не воровал. А справки никакой, все поразбазарили, от бричек одни короба пооставались. Ни седельца, одним словом, ни уздицы, ни той вещицы, на что надеть уздицу... вот как. А спецов — ты веришь? Механизатор — пожалуйста, а этих нет. Хоть Михаил, спасибо, выручил. Другой раз подумаешь: как подарок! Все поперечинил, всех лошадей перековал, а кует как? Она сама ему копыто подает, какой там тебе станок — все на руках! И как человек... Эх, Мишка, Мишка! Про них же что? Затем цыган мать бьет, чтобы жинка боялась. А этот как тихое лето. Вежливый, хоть за пазуху сажай... И знаешь что?

Иван Яковлевич остановился и меня за локоть попридержал.

— Временами подумаю, какой-то он... как бы сказать, тайный. И покрикивает по-ихнему, и шутки шутит, цыган как цыган, а что-то такое есть... Сперва их с ним много сюда приехало. Полный дом! Тут столько никогда еще не жили. А недели две назад — раз, нету молодых. Все уехали. Детишек им с женой пооставляли... Думаешь, это его? То внуки, а то так. — Иван Яковлевич оглянулся и заговорил совсем тихо: — Я так подумаю иногда: а среди них, среди цыганей, — баптистов нету?

Мне осталось только пожать плечами.

2

После обеда мы поехали на ближнюю ферму, а когда к вечеру вернулись в контору, счетовод Аграфена Семеновна, та самая тетя Феня, сказала, что «из района» звонил мой товарищ, просил предупредить: машина придет за нами туда завтра рано утром. Выходило, сегодня мне надо было уезжать. Иван Яковлевич огорчился:

— Ты что, не мог рассчитать, чтобы побыть хоть денька два-три? Ни на Батарюю с тобой не съездили... Помнишь, это где мы с тобой видели журавлей, что слабому лететь помогали? Ни к старикам моим не сходили. Я к ним ездового посылал, заказал на вечер блины с калиновым вареньем да чай на травках... Ты чем, интересно, думал, когда сюда собирался?

Я оправдывался, говорил, что ничего не поделаешь, такая у меня на этот раз вышла поездка, но друг мой только махнул рукой и договариваться насчет машины ушел, явно расстроенный.

Я сел около конторы на скамейку и не успел оглядеться, как подбежал ко мне цыганчонок, сказал запыхавшись:

— Иди, тебя деда зовет!

Я сперва не понял:

— Какой деда?

— Какой-какой! Мишка. Цыган.

Старый яблоневоый сад, где стоял шатер кузнеца, почти вплотную подходил к высокому обрыву, под которым среди меловых бережков неслышно неслась маленькая, но быстрая речонка. Здесь, на краю сада, горел небольшой костер, около него сидела старая цыганка, а рядом с нею, кто на подстилке, а кто просто на земле, лежали ребяташки.

Михаил устроился чуть поодаль от них на одном из тех чурбачков, что днем были у него под шатром. Другой стоял рядом свободный, и он дружелюбно кивнул:

— Посидите за компанию.

Я тоже стал глядеть на рябившую поверхность реки, которая в сумерках казалась зеленоватою. Над нею уже зыбился почти незримый вблизи туманец, дальше собирался, плотнел, и серые косые его пряди наплзали на низкий противоположный берег, висели над потемневшими садами. На той и на другой стороне кое-где в домах уже красновато теплели редкие пока окна, горы над станицей сделались черными и притихли, снежники за ними синели далеким холодом и только одна, самая высокая вершина тонко пламенела в густеющем небе.

— Ха-рошее место! — сказал цыган таким тоном, словно поделился со мной какою радостью.

А мне хотелось хоть как-то загладить невольную свою вину перед Иваном Яковлевичем, хотелось ему удружить, и я поспешил откликнуться:

— Очень хорошее!

— Вы когда в город?

— Да вот придется сегодня выезжать, а буду завтра.

Цыган мягко положил руку мне на колено:

— Можно вас попросить? Только чтобы Яковлевич не знал. Мне надо такую телеграммку, — порылся во внутреннем кармане хлопчатобумажного своего, в полоску пиджака, достал аккуратнo сложенный тетрадный листок. — Прочитайте, чтобы на почте все ясно...

Я развернул бумажку, поднес ее поближе к глазам.

— Посветить, может? — Цыган достал из бокового кармана плоский фонарик.

Телеграмма была в Донецк, указывались в ней и улица, и дом, и квартира. Потом шел крупным почерком размашисто написанный текст: «Егорович, пожалуйста, побудь еще недельку за главного. Михаил».

«Во-он оно! — пронеслось у меня. — Наверное, он у них шишка, какой-нибудь, может, цыганский барон... главный, ишь ты!.. А Иван Яковлевич хочет, чтобы он ему — заявление в совхоз...»

— На шахте работаю, — сказал цыган так мягко, словно была в этом какая вина. — Механиком.

Я сам чувствовал, какая, должно быть, глупая расплылась у меня на лице улыбка:

— Так это у вас...

— Отпуск, — сказал он почему-то чуть грустно. — Я всегда так. Лошадку запрягу, жену посажу, детишек, и все заботы — долой... Ты в большом городе? Хорошо, а все равно... человеку воля нужна! Простор нужен. Чтобы дымом пахло. И звезды видеть. На звезды надо часто смотреть, тогда душа будет на месте...

Он затих как-то на полуслове, как будто не договорив чего-то, может быть самого главного. Сидел, зажав в кулаке коротенькую трубку, от которой крепко пахло остывшей махоркой, и все смотрел выше гор, туда, где только что догорела и скрылась в ночи последняя, укрытая вечным снегом вершина.

Может, это вечер был такой задумчивый, — поговорить с ним хотелось о чем-то сокровенном, однако нужные слова не шли, только мучили сладким предчувствием своего рождения.

Позади нас послышалось тугое пофыркивание, и я глянул вбок. К костру подошла серая, в яблоках лошадь, слегка вытянула шею, задумчиво смотрела из темноты.

— Скучает, — сказал кузнец. — Чует, что уже скоро...

— Ваша? А где вы ее...

— Друг у меня около Донецка, председатель колхоза...

Ощупывая карманы, он помолчал, потом голосом погромче окликнул:

— Голубушка!

Лошадь насторожила уши и сперва только посмотрела, медленно попятилась от костра и будто растворилась в темноте, а потом фыркнула уже рядом, остановилась позади кузнеца, положила морду ему на плечо. Он приподнял горсть, и она ткнулась ему в ладонь, пошевелила губами, захрумкала.

— Ну, гуляй пока! — Он похлопал ее около уха. — Иди гуляй... вот всю амуницию да инструмент в гараж, а Голубушку ему отведем. Зиму работать будет...

— У вас машина?

— Шахтер все-таки! — начал он нарочно лихо, но тут же опять притих. — Правда, я на ней редко... И вообще. Была бы моя воля, как говорится. Пусть бы люди лучше коней держали... Я и с Яковлевичем почему задружил? Гляжу, в лошадях понимает. И хозяин. А дела пока не совсем хорошо, помогать надо, дай, думаю, на самом деле пособилю... Не знал я, что на этот раз за отпуск еще и заработаю!

— Тоже не грех — колхоз-то у вас вон какой.

— Васька мой. Меньший сын. Остальные внуки. Сперва и дети с нами были, а потом у одной отпуск закончился, другому, видишь, на море приспичило...

— Тоже неплохо.

Лицо у него впервые стало сердитое:

— Не знаю, в кого пошел... Только потому простил — летчик!

— А тоже, бывает, с вами ездит?

— Да разве плохо, посуди? За месяц и сам обо всем на свете забудешь, и детишки хоть отдохнут. Ты не смотри на меня, я строгий! А тут им вольгота. Хоть на голове ходи — на то и цыган.

— И не болеют?

Слышно было, что он улыбается:

— У соседа сынишка... Из больницы не вылезал, где только с матерью не лежали — такой на простуду хваткий. А я и говорю: а ты отдай его нам со старухой. Вот посмотришь. Жена у него как раз на курсах, он рискнул. Мы уехали, а у них скандал. Чуть не разошлись, пока мы не вернулись... А на этот раз говорит: что, Михаил? Опять ты в свой цыганский отпуск? Опять. А нашего Андрюшку прихватишь? Смотри, говорю, как хозяйка. А вечером приходит она сама: «Дядя Миша! Возьми сына, пусть перед школой окрепнет да хоть набегается».

— Это беленький?

— Андрюшка! — позвал кузнец. И когда тот подскочил тут же, не то приказал ему, не то попросил: — А ну, принеси-ка нам с дядей по картошке!

Через минуту тот снова появился перед нами, каждому подавая на ладошке большую печеную картофелину. Стоял, босыми пальцами почесывая под коленом другой ноги, из куцега осеннего пальтеца тянул руки, и лицо у него было деловитое. Костер горел напротив, и хорошо было видно, как из-под курного носа у мальчишки медленно, но упорно поползла прозрачная соплюшина, докатилась почти до нижней губы, но он, только чуть покривив лицо, длинно шмыгнул носом, и все стало на свои места.

— Уже не пропадет мужик! — одобрил кузнец, когда Андрюшка отошел от нас и опять повалился около костра.

И я подтвердил сквозь смех:

— Все, этот не пропадет!

Картошка была горячая, пекла во рту, и я задыхался от парного ее запаха, который с давних пор был для меня как бы особым знаком простого и счастливого бытия — то в детстве пастушонком единственного теленка, то в студенческие времена грузчиком на каком-нибудь столичном вокзале, рабочим в дальней экспедиции, охотником.

И Михаил, видно, тоже припомнил что-то свое, потому что голос его стал глуше и как будто задумчивей:

— На недельку останусь, кой-что еще почию. А потом целый день буду флюгарки мастерить. Всяких понаделаю! И больших накую, тяжелых, и легких как пушинка, колдунчиков... Вроде нет ветра, ни глазом его, ни ухом, а он все равно тихонечко — раз! — и повернулся. Накую, понавешаю на крыше — пусть Яковлевич кузнеца Мишку вспоминает. Пусть люди соображают: а почему это такой большой дом — без хозяина? И почему один всю жизнь на месте — как дерево, а другой — как перекасти-поле? А я буду флюгарки зимою, когда метель, вспоминать и тоже... о всяком...

Из темноты появился управляющий:

— Вон ты где. А я гляжу, может, уже пешком ушел?

— Беседуем, — сказал Михаил.

Иван Яковлевич присел рядом на корточки, миролюбиво оперся о мое колено:

— Все легковые, как нарочно, в разгоне, а грузовая скоро будет, бураки повезет. Как ты?.. Только в кабинке у него женщина, уже успел посадить.

Я сказал, что сегодня будет тепло и наверху, и Михаил поддержал:

— Сенца у меня возьмешь подстелить.

— Хэх, а то в совхозе своего нету — у цыгана будем брать!

— Останусь я еще на недельку, Яковлевич. Так и быть, останусь.

Управляющий тут же ухватился:

— Маловато. Ты еще подумай, Мишка...

— А я вечера прихватывать буду, — сказал цыган. — Нет-нет да и постучу.

— Машина через два часа, — Иван Яковлевич, поднимаясь, оперся на мое колено. — К матери подойдет... Пошли и ты, Мишка. Так уж и быть, покормлю тебя блинами — ты еще в жизни таких не пробовал!

Машина медленно шла по ночной дороге, притормаживала и плавно покачивалась...

Я выбрал бураки на середине кузова, в ямку, словно в гнездо, постелил свежего сена, и теперь мне удобно было лежать, раскинув руки, и смотреть вверх.

Бураки были сегодняшние, еще не успели настыть, от них пахло теплым нутром земли, и через висевший над пыльной дорогой бензиновый дух тоже пробивались знакомые запахи осенних полей.

Когда машина нагужно ползла в темноте на взгорок, над бортами виднелись черные края гор, но она выравнивалась, и тогда у меня в глазах опять были только бескрайнее небо да высокие звезды.

Отчего это, в самом деле, надо человеку на них смотреть?

И я думал о цыгане, который не хотел давать свою телеграмму из станицы, чтобы еще хоть немножко не то чтобы побыть, а хотя бы казаться вольным, как и его предки, бродягой, и думал о моем хлопотливом и

доверчивом друге, и обо всем том, что было теперь позади, но вместе с тем как бы навсегда осталось куском и моей и их жизни.

Краем тронули душу завтрашние заботы, припомнилось отчего-то, как в ответ на мою подковырку о разбитых стеклах Иван Яковлевич досадливо крикнул: хорошо, мол, тебе, вольной пташке... И я пожалел, что мы с ним на этот раз так и не посидели хорошенько и не поговорили, задним числом захотелось вдруг ему рассказать, что не такая уж она у меня и вольная, моя жизнь, и для того, чтобы посеять свою строку, которая неизвестно когда взойдет, тоже поднимаюсь я по-крестьянски рано, что случаются и в моем деле недороды, и тоже бывают ранние заморозки, что порою устаешь чертовски, и хочется тоже другой раз на все плюнуть да и уйти в такой вот цыганский отпуск... Только где я возьму коня?

А над головою медленно поворачивался светлый обод Млечного Пути, покачивалось синее мирозданье.

Показалось, что сквозь тяжелый вой двигателя откуда-то издалека донесся тонкий упругий звон: д-динь! Дди-н-нь!

Одинокий звон, от которого в пустеющих садах неслышно срываются осенние листья...

ХРАНИТЕЛЬНИЦА СВЕТА

Деревенька называлась Чистая Грива, и название это подходило ей как нельзя больше. Лепилась она на пологом склоне довольно высокой сопки, расположенной в пойме реки посреди просторной, темной зубчаткой пихтача отороченной со всех сторон котловины, а за нею на вершине, на самом ее взлобке, рос молодой и ровный, без всякого подмеса березник.

Несколько дней перед этим все собиралась метель, и он упруго шумел, гладкие бока деревьев стали шершавыми, на них трепетали почти прозрачные лоскутки тонкой кожицы. Заячьи неглубокие следки здесь и там были засыпаны похожими на свежие стружки изжелта-белыми завитушками, а по насту катились и катились туго скатанные берестяные грамотки...

Невольно думалось, что под косыми, острыми от колючего морозца порывами ветра погибнет удивительная белизна, но когда кругом стихло, когда распогодилось наконец, березник стал словно еще белее и чище. Весь день, пока солнце от одного края котловины перекатывалось на другой, он так светился, что приходилось щуриться, а небо над густыми метелками верхушек сияло такое голубое, будто на дворе стоял апрель, а не февраль.

Вечером я увидел сквозь деревья, как вдалеке, над синеной зубчаткой пихтача, плавится перекаленный закат, как вытекшее наполовину солнце оседает за краем котловины. Сразу сделалась темь, фиолетовым стало небо, и крупные звезды, когда я поднял голову, уже подрагивали над молчаливыми снегами. Кругом наступила ночь, и лишь березник все еще ярко белел, словно продолжая удерживать среди стволов остатки дневного света.

И я остановился и притихшей душой долго вбирал в себя этот странный, удивительный свет, и все не проходило ощущение, что мне приоткрылась тайна...

Когда наезжал в Чистую Гриву раньше, был я куда счастливее, а теперь мне пока предстояло притерпеться к бесконечной, как мина замедленного действия, вложенной в сердце боли от утраты младшего сына, совсем еще маленького, еще в ангельском, как раньше считалось, возрасте мальчика, который сам бывал в этих местах лишь тогда, когда его только ждали... И вот не он бежит за мною днем на коротеньких лыжах, а поспешает, то и дело проваливаясь и зарываясь печальной мордою в снег, большая и черная, как наказание, собака. Ложится на лыжне, начинает с хрустом обкусывать лед на мохнатых лапах, а я вижу ее и не вижу, и все думаю об одном: как дальше жить, во что мне верить, во что не верить...

Спросили — не ответил бы, что приезжаю сюда искать, но этот короткий миг, когда стоял пораженный, что безвозвратно ушедший день все еще остался посреди берез и заметен, показался мне тогда кем-то посланным знаком.

Изба, в которой я жил у знакомых старика и старухи, стояла почти на вершине сопки, была крайнею, и за окном, когда погасили электричество, я снова видел среди березовых стволов размытую белизну и потом, когда просыпался, тоже почему-то подолгу смотрел и смотрел, как белеют, как среди мрака ночи хранят меж собой деревья пусть почти призрачный и все-таки негасимый свет.

Синим утром я снова пошел через березняк на лыжах.

Ночью ударил сильный мороз, и вся котловина вокруг сопки с Чистой Гривою на склоне была затоплена плотною темно-серой дымкой, но здесь, среди берез, уже ютился зыбкий рассвет, и почти на глазах все дальше и дальше отступали от него, пропадали остатки ночи.

Небо над гребешком пихтача вдали уже лизнул красный язычок, и я решил поскорей пересечь ложбинку, чтобы встретить восход на ровном месте, но собака моя замешкалась, отвлекла меня, и, когда я вышел на взлобок, солнце уже поднялось, уже разбилось о черный угол крайней избы, и молочно-белый березник, прошитый его лучами, весь был залит розовым дымящимся светом.

Опять я притих, глядя на деревья, которые так до конца и не поддались мраку, которые первыми теперь ослепительно, непобедимо вспыхнули, и снова промелькнуло, что я пока даже не подозреваю, как мне, может быть, вчера и сегодня повезло...

ПОРА СООТВЕТСТВОВАТЬ

Меня привлекают в прозе Гария Немченко два качества — доброта и откровенность. Немченко убежден, что, если говорить с человеком начистоту, по душам, то он непременно поймет тебя; Немченко убежден, что другому можно доверять самые личные, самые «трудные» мысли и чувства, только говорить при этом надо не скрытничая и не прикидываясь, а выкладывая все как есть, все до последнего.

Отсюда и его стиль, явно разговорный, беседующий, со множеством просторечий, жаргонизмов, оговорок и массой всяческих вводных «кажись», «вообще-то», «наверное», «по-моему», с перескакиванием с пятого на десятое. Речь откровенно неприглаженная, непричесанная, словно списана с фонограммы. Поначалу такой стиль даже обескураживает, его необязательность, неотточенность, его безыскусность кажутся нарочитыми. И лишь постепенно, вчитавшись, понимаешь, что перед тобой исповедь.

Да, это исповедь, хотя и нет в ней часто свойственного письменным признаниям этакого психологического надрыва, самобичевания, утомительного копания в недрах собственной совести. Писатель говорит о с в о е м, но говорит он это д р у г о м у человеку и постоянно обращается к собеседнику-читателю, словно спрашивая: «А у вас как?», «А вы разве не испытывали такое?», «А разве с вами подобного не случилось?» Вспомните конец главы «Отец» из повести «Под вечными звездами» — образец типично немченковского разговора.

«И возраст такой, что самая пора за все отвечать. Как говорит мой друг, с о о т в е т с т в о в а т ь.

Не один я небось все чаще об этом задумываюсь. Вот и захотелось мне тем, кому это интересно, что-то такое дружеское сказать и улыбнуться, хоть мы незнакомы, и, как говаривали в старину, подморгнуть усом.

Вы уж поймите правильно, если улыбка при этом вышла немножко грустная...»

Все здесь характерно для Немченко: и желание брать ответственность на себя, и прямое обращение к собеседнику, и надежда, что собеседник поймет все правильно, и улыбка, и грусть. Читая повести и рассказы Немченко, то вдруг засмеешься в голос, так, что даже окружающие посмотрят на тебя с недоумением, то оторвешься от страницы и посидишь, успокаиваясь, потому что слезы подтачивают веки, хоть и не сентиментальный ты человек.

О таланте следует судить по удачам — это сказано давно, и, по-моему, верно сказано, из чего, однако, вовсе не следует, что талантливому писателю удастся буквально все. На мой взгляд, у Немченко лучше получаются вещи автобиографические, и в этом сборнике, по-моему, повесть «Под вечными звездами» — лучшее из произведений.

Писатель многое видел, многое пережил, передумал и перечувствовал. И дело даже не в том, что ему есть что вспомнить. Иное он и рад бы забыть, да память уже не спрашивает дозволения, и не писатель ею правит, а она им. «Под вечными звездами» — одна из повестей, написанных действительно потому, что автор не мог, не в силах был молчать.

Немченко родился на Кубани в станице с великолепным, завидным даже названием — Отрадная, но пришлось ему там и бед изведать, и лиха вдосталь хлебнуть: оккупация, возвращение раненого отца, послевоенная разруха и голодуха. Потом он учился в Москве, в МГУ (поступил на философский факультет, а закончил журфак), и в конце пятидесятых годов уехал в Кузбасс на строительство Запсиба, где и прожил двенадцать лет. Эти двенадцать лет стали для него тем временем, когда человек обзаводится личным опытом, семьей, друзьями, убеждениями и своим пожизненным делом.

В повести и рассказах Немченко Кубань и Кузбасс словно рифмуются. Два совершенно несхожих края, два отрезка жизни, но писатель равно им принадлежит. Он не может да и не хочет отдавать предпочтение любому из них. И когда так у человека складывается судьба, то попробуй отдели одну ее половину от другой. И естественно, что в прозе Немченко Кубань и Кузбасс будто срослись, переплелись, и, бродя по степи, его герои вдруг вспоминают отяжелевшую от снега тайгу или шумный индустриальный город, столь основательно прокопченный гигантскими домами, что даже иней на деревьях там черен. Или, напротив, в предпусковой горячке на одном из комплексов Запсиба нет-нет да и припомнится им вдруг старый кожух, расстеленный в тени под яблонями, станичные плетни, и мазанки, и высокое кубанское небо с крупными и налитыми, словно вырешшими к августу, облаками.

Однако Кубань и Кузбасс все-таки слишком уж несхожи меж собой, не только пейзаж и климат, но сама атмосфера жизни и быта, привычки, нравы — все различно. Два этих края сливаются лишь в судьбе автора, а вот наделять сходной судьбой кого-то из персонажей оказывается не так-то просто. И порою мне трудно отделаться от впечатления, что из-за плеча героя, скажем инженера Котельникова (повесть «Долгая осень»), выглядывает сам Гарий Немченко. В таких случаях все достоинства его прозы — доверительная интонация, сюжетная раскованность, точность деталей — становятся не столь уж заметными, а доброта (как это ни странно) даже мешает, поскольку автор не судит строго своих героев, не в его это характере. Строго судить он умеет лишь себя.

Действительно, вспомните, ведь в повестях и рассказах Немченко почти нет людей, которых бы автор откровенно презирал или ненавидел. Даже совершающие зло (смотри рассказ «Жадюга» или главу «Озябший мальчик» из повести «Под вечными звездами») вызывают у него недоумение и еще... чувство личной вины. Немченко казнится тем, что слишком щепетильничал, постеснялся назвать мерзавца мерзавцем и уже этим способствовал перерастанию его в «сволочь со стажем».

Писатель чрезвычайно строг к себе. Именно к себе, а не к так называемому «лирическому герою», «персонажу от автора» или «повествователю». Нет, в произведениях автобиографических, таких, как «Под вечными звездами», «Эти мамы передачи», «Пустосмехи», «Малая птаха», «Тихие зарницы» и другие, Немченко судит самого себя, и судит немилосердно, без скидок и поблажек. Может быть, эта-то суровость самоосуждения и придает его автобиографической прозе ноту высокого трагизма, которой недостает тем его повестям и рассказам, где герои и ситуации вымышлены, хотя и среди них есть вещи прекрасные, прекрасные без всяких оговорок, например рассказ «Красный петух плимутрок».

«О себе» у Немченко, по-моему, получается лучше, но существует некий закон литературы (не берусь его точно сформулировать), не позволяющий автору ограничиться описанием собственной персоны или семейного круга. Вспомните: во всей нашей прозе редко отыщется писатель, не отдавший дани биографическому повествованию, но мало и таких, кто посвятил ему все свое творчество. Гарий Немченко — не исключение. Для того чтобы понять себя, ему нужно разобраться и в крутом нраве парней с Запсиба, и в характерах кубанских старожил.

Запсиб. Ухари-монтажники, готовые выбивать чечетку на «отметке 70»; суровые, властные прорабы; пройдохы снабженцы, умеющие доставать дефицитный кирпич и цемент буквально из-под земли, — все они съехались в этот отдаленный край с разных концов страны, чтобы, как говорят строители, «с нуля» начать и город, и завод, и собственную

судьбу, чтобы устроить жизнь по законам добровольности и бескорыстия.

На деле все оказалось сложнее. Эти парни заслужили право на гордость, они сделали то, что казалось невозможным. Но им можно и посочувствовать — не удалось им полностью воплотить то, о чем мечтали: и домна, построенная с таким напряжением, просуществовала лишь несколько лет (ее демонтировали как устаревшую и на ее месте смонтировали новую), и город, построенный второпях, оказался стандартным и неказистым, и судьбы складывались нелегко, а порой и драматично. Но в памяти каждого из них годы строительства запечатлелись как лучшее время в жизни. Гарий Немченко сам из «этих парней», он пережил и перечувствовал то же, что и они, и так же доньше не может оторваться памятью от тех лет.

Кубань же влечет писателя не только впечатлениями детства. Сюда его влекут и законы народной нравственности. Богатый и благодатный край. Селились на этой земле люди самостоятельные, независимые, самолюбивые, каждый со своим нравом, со своим гонором, а порой и с чудинкой своей. Но селились сразу же не врозь, не хуторами, а станицами, привыкая жить «миром», привыкая при всей гордости и самостоятельности и соседям помогать, и с благодарностью принимать чужую помощь.

«Я и раньше никогда от них не отрешивался, от своих земляков, — читаем в рассказе «Отец». — Излишне горячий в юности, нынче я давно уже знаю, что хорошее во мне — все от них, а дурное — только мое. Среди голосов, первыми из которых я научился различать в себе, — голоса моих предков, я отчетливо слышу теперь и безмолвные речи не только тех, кто жил с ними рядом, корешевал, роднился, соседился, но и тех, кто с ними открыто враждовал или тихо их ненавидел...»

И вот еще о чем хочется сказать: Гарий Немченко из тех писателей, которые в своих книгах стремятся не только спрашивать, но и отвечать. В последнее время, по-моему, мы слишком уж охотно вспоминаем известное чеховское изречение, по которому задача писателя не ответы давать, а вопросы ставить, забывая при этом, что сам Чехов далеко не всегда ограничивался этой «задачей» и не прибегал к услугам вопросительной формы, когда утверждал, что в человеке «все должно быть прекрасно», когда говорил о необходимости по капле выдавливать из себя раба, когда напоминал: «Дело надо делать, господа».

Ответ — штука рискованная. Читатель может и не согласиться с ним, и счесть его неполным, узким, прямолинейным. Вопрос лишен таких «недостатков», но ведь, раскрывая книгу, читатель хочет знать мнение писателя, а не только его сомнения.

Пора соответствовать — то есть отвечать наравне со всеми перед жизнью, отвечать за каждое слово, за каждый поступок — вот, по-моему, решение, к которому приходит Немченко, решение, к которому он стремится привести своего читателя. Отсюда и строгость самооценки, и придирчивость к себе, и нежелание прощать себе ни крупного греха, ни малой ошибки; отсюда и доверительность разговора с читателем, и полная, порой даже обескураживающая откровенность, отсюда и беспокойный поиск новых форм и жанров (кстати, начинал он не с рассказов, как большинство прозаиков, а с романов, рассказы появились значительно позже), отсюда и неудовлетворенность созданным (нетрудно заметить у Немченко желание «переписать» некоторые характеры и ситуации), отсюда и эта книга, которую, по-моему, лучше расценивать не столько как итог (пусть даже промежуточный) предшествующей работы, сколько как заявку будущих сочинений, как приглашение к предстоящему разговору, к продолжению беседы.

Е. СЕРГЕЕВ

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ

Под вечными звездами (4)

Долгая осень (79)

РАССКАЗЫ

Пустосмехи (218)

Северная тишина (240)

Тихие зарницы (268)

Эти мамины передачи (293)

Последний день дома (304)

Гостиница в центре (328)

Ангелы господни (345)

Опоздавший (361)

Хоккей в сибирском городе (378)

Колесом дорога (409)

Красный петух плимутрок (430)

Показание для тебя одного... (457)

Малая птаха (472)

Жадюга (473)

Манок на шелковой нитке (480)

Зазимок (484)

Тихая минута (486)

Ветер в августе (494)

Иней на стекле (501)

Осенние костры (503)

Письма-посылки (504)

Теория прибора (512)

Журавлиная стая (515)

Цыганский отпуск (522)

Хранительница света (534)

Пора соответствовать. Послесловие Е. Сергеева (537)

ИБ № 4180

Гарий Леонтьевич Немченко

ИЗБРАННОЕ

Редактор **Н. Лагранж**

Художественный редактор **А. Романова**

Технический редактор **Т. Кулагина**

Корректоры **И. Тарасова, Г. Василёва**

Сдано в набор 05.01.84. Подписано в печать 14.05.84. А08038 Формат 84X108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Условн. печ. Л 28,56+0,10 вкл. Усл. кр.-отг. 28,66. Учетно-изд. л. 30,7. Тираж 100 000 экз. Цена 2 р. 30 к. Заказ 2253.

Типография ордена Трудового Красного Знамени издательства ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Адрес издательства и типографии: 103030, Москва, К-30, Суцевская, 21.